

**ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН**

**МОЯ БИОГРАФИЯ**

**CHARLES CHAPLIN**

**MY AUTOBIOGRAPHIE**

**THE BODLEY HEAD**

**LONDON**

**М., «Искусство», 1966**

*ПЕРЕВОД З. ГИНЗБУРГ*

*ПЕРЕВОД СТИХОВ Д. САМОЙЛОВА*

*Печатается с некоторыми сокращениями*

*OCR и вычитка – Александр Продан, Кишинев*

*[alexpro@enteh.com](mailto:alexpro@enteh.com)*

*Посвящается Уне*

## **ВСТУПЛЕНИЕ**

Кеннингтон-роуд, до того как построили Вестминстерский мост, была всего лишь дорожкой для верховой езды. Но после 1750 года здесь прошла новая дорога на Брайтон. И тогда вдоль Кеннингтон-роуд, где прошли годы моего детства, выросли красивые дома с балконами, украшенными чугунными решетками. С этих балконов обитатели домов могли некогда созерцать, как Георг IV катил в карете в Брайтон.

К середине девятнадцатого столетия большинство этих особняков, потеряв былое величие, превратились в доходные дома. Лишь некоторые из них остались особняками, но теперь в них селились доктора, преуспевающие купцы и «звезды» варьете. В воскресное

утро на Кеннингтон-роуд всегда можно было видеть у какого-нибудь подъезда щегольскую коляску: любимец публики ехал кататься и, возвращаясь по Кеннингтон-роуд из Норвуда или Мертона, непременно останавливался возле питейного заведения — у «Белой лошади», «Рога» или «Пивной кружки».

Двенадцатилетним мальчишкой я часто стоял у входа в «Пивную кружку» и смотрел, как эти прославленные господа, покидая свои экипажи, шествовали в бар, где встречалось избранное актерское общество, чтобы по обычаю пропустить здесь «последнюю», перед тем как вернуться домой к полдневной трапезе. До чего же они были шикарны в своих клетчатых костюмах и серых котелках, как сверкали их бриллиантовые кольца и булавки в галстуках! По воскресеньям «Пивная кружка» закрывалась в два часа дня. Посетители ее высыпали на улицу, но расходились не сразу, и я глазел на них, как зачарованный. Это было очень интересно и забавно — некоторые держались с такой комической важностью.

Но когда последний из них уходил, — словно солнце пряталось в тучи. Я сворачивал за угол и возвращался туда, где в глубине квартала поднимались старые, унылые фасады, и взбирался по шатким ступенькам лестницы дома № 3 на Поунэлл-террас, которая вела на наш чердак. Вид этого дома наводил уныние, в нос ударяла вонь помоев и старой одежды.

Мать сидела у окна и смотрела на улицу. Услышав, что я вошел, она взглянула на меня и слабо улыбнулась. В комнатке, чуть больше десяти квадратных метров, было душно, и на этот раз она мне показалась еще меньше, а наклонный потолок мансарды еще ниже, чем обычно. Стоп у стены был завален грязной посудой, в углу, прижатая к той стене, что пониже, стояла старая железная кровать, которую мать когда-то выкрасила белой краской. Между кроватью и окном находился маленький очаг, а в ногах кровати стояло старое раскладное кресло, на котором спал мой брат Сидней. Но сейчас Сидней был в море.

В это воскресенье вид нашей комнаты угнетал меня больше, чем всегда, — мать почему-то ее не прибрала. Обычно она держала ее в чистоте. Матери тогда еще не исполнилось тридцати семи лет, она была живой, веселой женщиной, и в ее руках наша убогая мансарда выглядела даже уютно. Особенно хорошо бывало в те воскресные зимние утра, когда она подавала мне завтрак в постель; я просыпался и видел заботливо прибранную комнатку, веселый огонек в очаге, над которым кипел чайник и подогревалась рыба, пока мать готовила гренки. Мамина бодрость, уют комнаты, приглушенное бульканье кипятка, льющегося в фаянсовый чайничек, пока я читал юмористический журнал, — такими были мои безмятежные воскресные радости.

Но в это воскресенье мать сидела у окна, безучастно глядя на улицу. Последние три дня она все время так и сидела у окна, странно притихшая и чем-то удрученная. Я знал, что она очень тревожится. Сидней ушел в плаванье, и мы не имели от него вестей больше двух месяцев. Купленную матерью в рассрочку швейную машинку, с помощью которой она пыталась прокормить нас, отобрали за неуплату очередного взноса (что, кстати сказать, было уже не впервой). А тут еще и мой жалкий вклад в хозяйство — те пять шиллингов в неделю, которые я зарабатывал уроками танцев, — перестал поступать, так как неожиданно для меня уроки прекратились.

Едва ли я сознавал, в какое трудное положение мы попали, — нам ведь все время было трудно. С обычным мальчишеским легкомыслием я умел быстро забывать неприятности. Как всегда, после школы я сразу бежал к матери, выполнял ее поручения, выносил помои, приносил ведро воды, а потом бежал в гости к Маккарти и весь вечер проводил у них — только бы удрать подальше от нашего унылого чердака.

Маккарти были старыми друзьями матери, еще с тех времен, когда она выступала в варьете. Они занимали просторную квартиру в лучшей части Кеннингтон-роуд и, по сравнению с нами, жили в достатке. У них был сын Уолли, с которым мы обычно играли дотемна, и тут меня неизменно приглашали к чаю. Я всегда старался задержаться, и так подкармливался. Иногда миссис Маккарти спрашивала, почему так давно не видно мамы. Я придумывал какую-нибудь отговорку — в действительности же с тех пор как мы впали в бедность, матери не хотелось встречаться со своими друзьями по театру.

Разумеется, бывали дни, когда я оставался дома, и мать заваривала чай, поджаривала на сале хлеб, который я с удовольствием поглощал, а потом читала мне вслух — читала она изумительно хорошо. И тогда я понимал, какую радость может доставлять ее общество и насколько приятней оставаться дома, чем ходить в гости к Маккарти.

Но сейчас, когда я вошел в комнату, она обернулась и с упреком поглядела на меня. Я был потрясен ее видом. Она показалась мне такой худенькой, изможденной, в глазах ее было страдание. У меня сжалось сердце: я разрывался между необходимостью остаться дома, чтоб она не чувствовала себя одинокой, и страстным желанием удрать, не видеть этого горя. Она равнодушно посмотрела на меня и спросила:

— Почему ты не идешь к Маккарти?

А у меня уже слезы подступали к глазам.

— Потому что хочу побыть с тобой.

Она отвернулась и рассеянно посмотрела в окно.

— Беги к Маккарти и постарайся там пообедать. Дома нет ничего.

Я почувствовал в ее тоне упрек, но уже не хотел думать об этом.

— Если ты настаиваешь, я пойду, — сказал я нерешительно.

Она грустно улыбнулась и погладила меня по голове.

— Да, да, беги скорей!

И хотя я умолял ее позволить мне остаться, она настояла на своем. И я ушел, чувствуя себя виноватым: я оставил ее одну на нашем жалком чердаке, не подозревая, что спустя всего лишь несколько дней ее постигнет ужасное несчастье.

## I

Я родился 16 апреля 1889 года, в восемь часов вечера, на улице Ист-лэйн, в районе Уолворта. Вскоре после моего рождения мы переехали на Уэст-сквер, по Сент-Джордж-роуд, в Лэмбете. Тогда мы еще не были бедны и жили в квартире из трех со вкусом обставленных комнат. Одно из моих самых ранних воспоминаний — перед уходом в театр мать любовно укладывает Сиднея и меня в мягкие кровати и, подоткнув одеяла, оставляет на попечении служанки. В мои три с половиной года мне все казалось возможным. Если Сидней, который был на четыре года старше меня, умел показывать фокусы, мог проглотить монетку, а потом вытащить ее откуда-то из затылка, значит, и я мог сделать то же самое и не хуже. В доказательство я проглотил полпенни, и матери пришлось вызывать доктора.

Каждый вечер, вернувшись домой из театра, мать оставляла для нас с Сиднеем на столе какие-нибудь лакомства. Проснувшись поутру, мы находили ломтик

неаполитанского торта или конфеты — это служило напоминанием, что мы не должны шуметь, потому что маме надо выспаться.

Мать выступала в ролях субреток в театре варьете. Ей было тогда лет под тридцать, но она казалась еще совсем юной. У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния. Она любила наряжать нас и водить по воскресеньям на прогулки — Сиднея в длинных брюках и в итонской курточке с большим белым отложным воротником, меня — в синем бархатном костюмчике и перчатках в тон. Мы чинно прогуливались по Кеннингтон-роуд, и нас распирали гордость и самодовольство.

В те дни Лондон был нетороплив. Нетороплив был темп жизни, и даже лошади, тянувшие конку вдоль Вестминстербридж-роуд, шли неторопливой рысцой и степенно поворачивали на конечной остановке возле моста. Одно время, пока мать еще хорошо зарабатывала, мы жили на Вестминстербридж-роуд. Соблазнительные витрины магазинов, рестораны и мюзик-холлы придавали этой улице веселый и приветливый вид. Фруктовая лавочка на углу, как раз напротив моста, пленяла глаз богатством своей цветовой палитры — аккуратно сложенные пирамиды апельсинов, яблок, персиков и бананов великолепно контрастировали со строгостью серого парламента на том берегу реки.

Таким был Лондон моего детства, моих первых впечатлений и воспоминаний. Я вспоминаю Лэмбет весной, вспоминаю какие-то мелкие, незначительные эпизоды: вот я еду с матерью на империале конки и пытаюсь дотянуться рукой до веток цветущей сирени; яркие билеты — оранжевые, голубые, красные и зеленые — покрывают, словно мозаикой, всю мостовую там, где останавливаются конка или омнибусы; на углу Вестминстерского моста румяные цветочницы подбирают пестрые бутоньерки, ловкими пальчиками заворачивая каждую вместе с дрожащим листом папоротника в блестящую фольгу; влажный аромат только что политых роз пробуждает во мне неясную грусть; в унылые воскресенья бледные родители прогуливают детишек по Вестминстерскому мосту — в руках у детей ветряные мельницы и разноцветные воздушные шары; пузатые парходики, плавно опуская трубы, проходят под мостом. В восприятии этих мелочей рождалась моя душа.

Помню я и предметы в нашей гостиной, которые почему-то произвели на меня неизгладимое впечатление: портрет Нелл Гвин<sup>1</sup> во весь рост, нарисованный моей матерью, — я его терпеть не мог; графины с длинным горлышком на буфете, которые наводили на меня страх, и маленькую круглую музыкальную шкатулку с эмалевой крышкой, где были изображены ангелы, витающие в облаках, — она мне и нравилась и казалась таинственной. А вот свой детский стульчик, купленный у цыган за шесть пенсов, я любил — он создавал у меня восхитительное ощущение собственности.

Еще незабываемые события того периода моей жизни: посещение королевского Аквариума\*, где мы с матерью смотрели представления, например «Она»<sup>2</sup>, или разглядывали голову живой дамы, охваченной языками пламени, которая, однако, продолжала улыбаться, а потом, купив за шесть пенсов лотерейный билет, пытались счастье: мать поднимала меня повыше, и я из большой бочки с опилками вытаскивал пакетик с сюрпризом — в нем оказывалась леденцовая свистулька, которая не свистела, и рубиновая брошь-стекляшка. Вспоминается также поездка в Кентерберийский мюзик-холл, где я восседал в красном плюшевом кресле и смотрел, как выступает мой отец...

---

\* Большой зал, где давались представления и показывались различные аттракционы. Помещался он в здании на углу Виктория-стрит, напротив Вестминстерского аббатства.

А вот поздно ночью, укутанный дорожным пледом, я еду в карете, запряженной четверкой, с матерью и ее друзьями-артистами, и мне приятны их веселость и смех, когда наш трубач дерзкими звуками рожка возвещает наш проезд по Кеннингтон-роуд под drobный цокот копыт и звон упряжки.

А потом что-то произошло. Может быть, через месяц, а может, и через несколько дней, — я вдруг понял, что с матерью и в окружающем меня мире происходит что-то неладное. Мать на все утро куда-то ушла со своей приятельницей и вернулась очень расстроенная. Я чем-то забавлялся, сидя на полу, и воспринимал всю сцену словно из глубины колодца, — я слышал страстные восклицания матери и ее рыдания. Она то и дело поминала какого-то Армстронга: Армстронг сказал то, Армстронг сказал это, Армстронг — подлец и негодяй! Ее волнение было таким непонятным и сильным, что я заплакал, да так горько, что матери пришлось взять меня на руки. И только через несколько лет я узнал, что произошло в тот день. Мать вернулась из суда, где рассматривался ее иск моему отцу, не дававшему ей денег на содержание детей. Решение было вынесено не в ее пользу, а Армстронг был адвокатом отца.

Я тогда едва ли подозревал о существовании отца и не помню того времени, когда он жил с нами. Отец, тихий, задумчивый человек с темными глазами, тоже был актером варьете. Мать говорила, что он был похож на Наполеона. Он обладал приятным баритоном и считался хорошим актером. Отец зарабатывал сорок фунтов в неделю, что по тем временам было очень много. Все горе было в том, что он сильно пил; мать говорила, что поэтому они и разошлись.

Но в те времена актеру варьете трудно было не пить — во всех театрах продавали спиртное, и после выступления исполнителю даже полагалось зайти в буфет и выпить в компании зрителей. Некоторые театры выручали больше денег в буфетах, чем в кассах, и кое-кому из «звезд» платили большое жалованье не столько за их талант, сколько за то, что большую часть этого жалованья они тратили в театральном буфете. Так многих актеров погубило пьянство, и одним из них был мой отец. Тридцати семи лет он умер от злоупотребления алкоголем.

С грустным юмором мать рассказывала о нем всякие истории. Пьяным он вел себя буйно, и после одного из дебошей отца она сбежала со своими друзьями в Брайтон. Он послал ей вслед отчаянную телеграмму: «Что у тебя на уме? Отвечай немедленно!» И она в тон ему телеграфировала: «Балы, вечера и пикники, любимый!»

Мать была старшей из двух дочерей. Мой дед, Чарльз Хилл, ирландец из графства Корк, был сапожником. У него были румяные, словно яблочко, щеки, копна седых волос и борода, как у Карлейля на портрете Уистлера. Его скрючило ревматизмом, потому что, по его словам, ему приходилось спать на сырой земле, когда во время восстания он прятался от полиции. В конце концов он поселился в Лондоне и открыл сапожную мастерскую на Ист-лэйн.

Бабушка была наполовину цыганкой — это была наша страшная семейная тайна. Но это не мешало бабушке хвастаться тем, что ее семья всегда арендовала землю. Ее девичья фамилия была Смит. Я помню ее веселой старушкой — она осыпала меня ласками и, разговаривая со мной, всегда сюсюкала. Бабушка умерла, когда мне еще не исполнилось шести лет. Она разошлась с дедушкой, но по какой причине ни он, ни она не рассказывали. По словам тетушки Кэт, тут был свой роковой треугольник — дед застал бабушку с любовником.

Судить о морали нашей семьи по общепринятым нормам было бы так же неостроумно, как совать термометр в кипяток. При такой наследственности, обе хорошенькие дочери сапожника быстро расстались с отчим домом и устремились на сцену.

Тетя Кэт, младшая сестра мамы, тоже была субреткой. Но мы мало знали о ней, она лишь изредка появлялась на нашем горизонте, чтобы тут же внезапно исчезнуть. Она была хороша собой, не слишком уравновешенна и не ладила с матерью. Ее редкие визиты обычно кончались тем, что она отпускала какую-нибудь колкость моей матери и, хлопнув дверью, удалялась.

На восемнадцатом году мать сбежала в Африку с пожилым поклонником. Она любила рассказывать о своей роскошной жизни среди плантаций, слуг и верховых лошадей.

Там и родился мой брат Сидней, когда матери едва исполнилось восемнадцать лет. Она рассказывала мне, что Сидней — сын лорда и что, достигнув совершеннолетия, он унаследует состояние в две тысячи фунтов. Это меня и радовало и огорчало.

Мать недолго оставалась в Африке, она вернулась в Англию и вышла замуж за моего отца. Я не имел представления, чем закончилась ее африканская эпопея, но при нашей крайней бедности я иногда упрекал ее за то, что она отказалась от такой замечательной жизни. В ответ она, бывало, смеясь говорила, что была еще слишком молода и не могла проявить столь разумную предусмотрительность.

Сильно ли она любила моего отца, я не знаю, но говорила она о нем без горечи. Мне кажется, она была слишком беспристрастна для глубоко любящей женщины. Иногда она отзывалась о нем с симпатией, а в другой раз рассказывала всякие ужасы о его пьянстве и буйном нраве. В позднейшие годы, когда мать сердилась на меня, она печально говорила: «Ты кончишь жизнь в сточной канаве, как твой отец!»

Она была знакома с отцом еще до того, как уехала в Африку. Они вместе играли в ирландской мелодраме «Шэмас О'Брайен» и были влюблены друг в друга. Она играла героиню, хотя ей было только шестнадцать. Поехав с труппой в турне, она встретилась с пожилым лордом и сбежала с ним в Африку. Когда она вернулась в Англию, ее роман с моим отцом возобновился, и она вышла за него замуж. Через три года родился я.

Не знаю, что послужило тому причиной, кроме пьянства отца, но через год после моего рождения родители разошлись. Мать не брала у отца денег на наше содержание. Она сама была «звездой», зарабатывала двадцать пять фунтов в неделю и вполне могла содержать и себя и детей. И только когда с ней случилась беда, она стала требовать помощи от отца. Если бы ее не заставила нужда, она никогда не обратилась бы в суд.

У матери стал пропадать голос. Он и раньше не был особенно сильным — малейшая простуда вызывала у нее ларингит, который длился неделями. Но так как, несмотря на болезнь, приходилось работать, с голосом у нее становилось все хуже и хуже. Она уже не владела им. Он вдруг срывался у нее среди нения и переходил в шепот. Публика начинала смеяться и свистеть. Вечная тревога надломилась здоровье матери — она стала очень нервной. Все реже и реже получала она теперь ангажементы и, наконец, ее совсем перестали приглашать.

Своим первым выступлением на сцене в возрасте пяти лет я обязан именно больному голосу матери. Она не любила оставлять меня по вечерам одного в меблированных комнатах и обычно брала с собой в театр. В это время она играла в Олдершоте, в грязном плохоньком театре, где в зрительном зале собирались главным образом солдаты. Они были не прочь похулиганить, и им ничего не стоило высмеять человека. Гастроли в Олдершоте были для всех актеров тяжелым испытанием.

Я помню, что стоял за кулисами, как вдруг голос матери сорвался. Зрители стали смеяться, кто-то запел фальцетом, кто-то замыкал. Все это было странно, и я не совсем понимал, что происходит. Но шум все увеличивался, и мать была вынуждена уйти со сцены. Она была очень расстроена, спорила с директором. И вдруг он сказал, что можно попробовать выпустить вместо нее меня, — он однажды видел, как я что-то представлял перед знакомыми матери.

Я помню, как он вывел меня за руку на сцену среди этого шума, и после короткого пояснения оставил там одного. И вот при ярком свете огней рампы, за которой виднелись в табачном дыму лица зрителей, я начал петь популярную тогда песенку «Джек Джонс» под аккомпанемент оркестра, который долго не мог подстроиться ко мне,

Джек Джонс всем на рынке отлично знаком,  
Наверно вы знали его?  
Про то, каким он был прежде, сказать  
Худого нельзя ничего.  
Но вот наследство досталось ему,  
И Джонс уже вроде — не Джонс.  
И тошно глядеть его старым друзьям,  
Как он задирает нос.  
Ему по утрам подавай «Телеграф»,  
А прежде хватало и «Стар».  
Не знаем, чего можно ждать от него  
С тех пор, как богатым он стал.

Не успел я пропеть и половины песенки, как на сцену дождем посыпались монеты. Я прервал пение и объявил, что сначала соберу деньги, а уж потом буду петь. Моя реплика вызвала хохот. Директор вышел на сцену с платком и помог мне поскорее собрать монеты. Я испугался, что он оставит их себе. Мой страх заметили зрители, и хохот в зале усилился, особенно когда директор хотел уйти со сцены, а я не отступал от него ни на шаг. Только убедившись, что он вручил их матери, я вернулся и закончил песенку. Я чувствовал себя на сцене как дома, свободно болтал с публикой, танцевал, подражал известным певцам, в том числе и маме, исполнив ее любимый ирландский марш.

Райли, Райли — этот парень всем хорош,  
Райли, Райли — лучше парня не найдешь.  
Не сыщешь в армии во всей  
Пригожего такого.  
Как Райли, доблестный сержант  
Из семьдесят восьмого.

Повторяя припев, я по простоте душевной изобразил, как у нее срывается голос, и был несказанно удивлен тем, что это вызвало у публики бурю восторга. Зрители хохотали, аплодировали и снова начали бросать мне деньги. А когда мать вышла на сцену, чтобы увести меня, ее встретили громом аплодисментов. Таким было мое первое выступление и последнее выступление матери.

Когда в судьбу человека вмешивается злой рок, он не знает ни жалости, ни справедливости. Так случилось и с матерью. Голос к ней не вернулся. И как осенью с каждым днем становится все холоднее и все ближе подступает неумолимая зима, так день ото дня нам становилось все хуже и тяжелее. Мать оказалась предусмотрительной и

отложила немного денег про черный день, но ее сбережения очень быстро растаяли, так же как драгоценности и прочее небогатое имущество, которое она постепенно закладывала, все еще надеясь, что когда-нибудь голос должен вернуться. А тем временем из трех уютных комнат нам пришлось перебраться в две, а потом и в одну; вещей у нас становилось все меньше, а район, в который мы переселялись, с каждым разом оказывался все более убогим.

Мать обратилась к религии, должно быть, в надежде, что господь вернет ей голос. Она аккуратно посещала церковь на Вестминстербридж-роуд, и каждое воскресенье заставляла меня смиренно сидеть, пока на органе играли Баха, и слушать, изнывая от скуки, драматические рулады его преподобия Ф.-В. Мейера, отдававшиеся под церковными сводами глухим эхом, напоминавшим шарканье множества ног. Впрочем, его проповеди, наверно, были трогательны — я нередко видел, как мать украдкой смахивала слезу, и это меня немного смущало.

Я хорошо помню святое причастие в жаркий летний день и прохладную серебряную кружку, полную сладкого виноградного сока, которую прихожане передавали из рук в руки, — помню, как мать тихонько отстранила меня рукой, когда я надолго припал к кружке. Помню, какое облегчение я испытывал, когда его преподобие наконец закрывал библию — это означало, что проповедь скоро кончится, а затем еще немного помолются и споют заключительный гимн.

С тех пор как мать обратилась к церкви, она редко встречалась с прежними друзьями по театру. Этот мир ушел из нашей жизни, стал лишь воспоминанием. И мне уже казалось, что мы всегда жили в этой ужасающей нищете. Один минувший год представлялся мне целой жизнью, исполненной тягот и труда. Это было унылое, безрадостное существование. Матери почти невозможно было найти работу — кроме актерского ремесла она ничему не была обучена. Маленькая, хрупкая, впечатлительная, она должна была бороться в трудных, непосильных для нее условиях викторианской эпохи, когда богатство и бедность достигли крайних пределов. У бедной женщины был один выбор — либо идти в услужение, либо за нищенскую плату обречь себя на каторжный, бессмысленный труд где-нибудь на пуговичной фабрике. Иногда матери удавалось устроиться сиделкой у больного, но это бывало редко и очень ненадолго. Однако мать не терялась: когда-то она сама шила себе театральные костюмы и теперь ухитрялась заработать иглой несколько шиллингов, выполняя заказы знакомых прихожанок своей церкви. Но этого не хватало, чтобы прокормить троих. Из-за пьянства отец стал реже получать ангажементы, а мы еще реже — те десять шиллингов в неделю, которые он нам давал.

Мать распродала почти все, что у нее было, — оставался только сундук с ее театральными костюмами. Она все берегла их в надежде, что у нее поправится голос, и она сможет вернуться на сцену. Иногда она начинала рыться в сундуке, что-то вытаскивала, и мы с восторгом глазели на усыпанный блестками костюм или парик и упрашивали маму надеть их. Я вспоминаю, как она облачалась в мантию и шапочку судьи и пела слабым голоском одну из своих старых бойких песенок, пользовавшихся успехом, которую она, кстати сказать, сама сочинила. Там были такие слова:

Я — женщина судья,  
И — праведный судья.  
По совести я действую,  
Не то, что все судейские.  
Им дать уроков несколько  
Намереваюсь я.



Вот что такое женщина,

Глядите, мол, друзья!

И тут с удивительной непринужденностью и грацией она начинала танцевать и, забыв о шитье, пела нам другие свои коронные номера и танцевала до тех пор, пока, задохнувшись, едва не падала от усталости. Тогда она пускалась в воспоминания, показывала нам старые театральные афиши. Я помню одну из них:

### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!

*Выступает изящная, талантливая*

**ЛИЛИ ХАРЛЕЙ**

*артистка драмы и комедии, певица и танцовщица.*

Мать не только показывала нам свои мюзик-холльные номера, но изображала и других актрис, которых она видела в театре.

Пересказывая нам какую-нибудь пьесу, она играла все роли; например, в «Знамении креста» она сперва изображала Мерсию, которая с божественным сиянием во взоре шла на арену на растерзание львам, а затем подражала Уилсону Берретту, исполнявшему роль жреца. Будучи небольшого роста, он вынужден был играть в башмаках на подошве в пять дюймов толщиной. «...Что такое христианство, мне неизвестно. Но коль оно рождает женщин, подобных Мерсии, я верю, что Рим, да и не только Рим, но целый мир сподобится спасения!» Хотя моя мать имитировала Берретта с оттенком юмора, все же чувствовалось, что она глубоко ценит его талант. Мама всегда безошибочно умела распознать настоящее дарование. Была ли это драматическая актриса Эллен Терри или Джо Элвин из мюзик-холла, — она всегда очень тонко ощущала их искусство и понимала тайну мастерства. Она говорила о театре так, как может говорить о нем только тот, кто его по-настоящему любит.

Еще мама любила рассказывать в лицах исторические анекдоты. Например, такой эпизод из жизни Наполеона: однажды Наполеон поднялся на цыпочки, чтобы дотянуться до какой-то книги в своей библиотеке; в эту минуту вошел маршал Ней и сказал (мама изображала все это очень забавно) : «Сир, разрешите мне достать вам книгу. Я выше вас». «Выше?! — негодуя вскричал Наполеон. — Длиннее!» Она изображала Нелл Гвин, как та с ребенком на руках стоит на дворцовой лестнице и, перегнувшись через перила, говорит Карлу II: «Вы дадите этому ребенку имя или я брошу его вниз!» И король торопливо соглашается: «Хорошо! Он будет герцогом Сент-Албанским!»

Я вспоминаю один вечер в нашей комнате в подвале на Окли-стрит. Я лежал в постели, выздоравливая после гриппа, Сидней ушел в вечернюю школу, и мы с матерью остались вдвоем. Уже смеркалось, и мать, сидя спиной к окну, читала мне Новый завет, играя и объясняя в своей неподражаемой манере, как любил и жалел Христос бедняков и маленьких детей. Может быть, эта прочувзованность была вызвана моей болезнью, но мамино толкование Христа было самым понятным и самым трогательным из всех, какие мне когда-либо доводилось слышать или видеть. Она говорила о его терпимости и умении прощать, о грешнице, которую толпа хотела забросать камнями, а он сказал: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».

Она читала дотемна, прервав чтение только затем, чтобы зажечь лампу, а потом рассказывала о вере, которую Иисус вселял в больных, — им достаточно было коснуться лишь края его одежды, чтобы тут же излечиться.

Рассказывала она и о ненависти, зависти первосвященников и фарисеев, описывала, как схватили Христа и с каким спокойным достоинством держался он перед Понтием Пилатом, когда тот, умывая руки, сказал (это она уже играла актерски) : «Я

никакой вины не нахожу в нем». И дальше рассказывала, как они раздели его донага и стали бичевать, возложили на голову терновый венец, издевались и плевали ему в лицо, говоря: «Радуйся, царь Иудейский!».

Мама продолжала рассказывать, и слезы лились из ее глаз. Она вспоминала о Симоне, который помог Христу нести крест на Голгофу, и о том, как Христос благодарно взглянул на него, о раскаявшемся Варавве, который умирал вместе с ним на кресте, прося у него прощения, на что Христос ответил ему: «Сегодня же будешь со мной в раю». И о том, как распятый на кресте Спаситель смотрел на свою мать и говорил ей: «Женщина, се — сын твой!». И как в предсмертную минуту воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы оба плакали.

— Вот видишь, — говорила мать, — он был такой же, как и все мы. Он тоже мучился сомнениями.

Мать так увлекла меня своим рассказом, что мне захотелось умереть в эту же ночь, чтобы скорее встретиться с Христом. Но мать умерила мой пыл: «Иисус Христос хочет, чтобы ты жил и сперва выполнил на земле то, что тебе предназначено», — сказала она. В этой темной комнатке в подвале на Окли-стрит мать озарила мою душу тем светом доброты, который подарил литературе и театру самые великие и плодотворные темы: любовь, милосердие и человечность.

Теперь, когда нас окружала бедность, мы неизбежно переняли бы корявую речь трущоб, если бы мать перестала за этим следить. Но она всегда внимательно прислушивалась к нашей речи, исправляла наши ошибки и давала нам понять, что мы не должны говорить так, как наши соседи.

Мы становились все беднее и беднее, и часто, по своей детской наивности, я упрекал мать за то, что она не возвращается на сцену. В ответ она улыбалась и говорила, что в театре царят притворство и ложь и что в такой жизни легко забывают бога. Однако стоило ей самой заговорить о театре, как она увлекалась и вспоминала о нем с восторгом. Иногда эти воспоминания вызывали в ней грусть, и она надолго умолкала над своим шитьем. Я тоже впадал в дурное настроение, горько сожалея о том, что эта волшебная жизнь была уже не для нас. Но тут, бывало, мать взглянет на меня, заметит, что я огорчился, и начнет весело утешать меня.

Приближалась зима, а у Сиднея не было теплой одежды. Мать смастерила ему пальто из своего старого бархатного жакета. К несчастью, рукава в нем были сшиты из красных и черных полос, собранных на плечах в складку. Мать пыталась убрать складки, но ей это не очень удалось. Сидней горько плакал, когда ему пришлось надеть новое пальто:

— Что скажут мальчишки в школе?

— А разве это так важно, что люди скажут? — спросила мать. — К тому же пальто выглядит отлично.

Впоследствии Сидней не мог понять, как это он согласился тогда надеть такое пальто, но мать умела убеждать, и он подчинился. Из-за этого злополучного пальто, да еще пары старых материнских ботинок, у которых спилили высокие каблуки, ему пришлось выдержать в школе немало потасовок. Мальчишки дразнили его «Иосифом в разноцветных одеждах». А меня в красных чулках, отрезанных от маминого трико (они еще все время собирались в складку), прозвали: «Сэр Фрэнсис Дрэйк»<sup>1</sup>.

В довершение всех наших бед у матери начались сильные мигрени, и она была вынуждена бросить шитье. Целыми днями она лежала в темной комнате с компрессами из

распаренного чайного листа на глазах. У Пикассо был «голубой период», а у нас «серый», когда от голодной смерти нас спасали лишь дары благотворительности — талончики на суп да посылки для бедных. После уроков Сидней продавал газеты, и хотя его заработок был каплей в море, он все-таки был подспорьем. Но во всяком кризисе наступает перелом, и для нас он оказался счастливым.

В один прекрасный день, когда мать еще лежала с компрессом на глазах, в нашу темную комнату ворвался Сидней и, бросив на кровать свои газеты, завопил:

— Я нашел кошелек!

Он вручил его матери, и когда она его раскрыла, то увидела там кучку серебряных и медных монет. Мать сразу закрыла кошелек и от волнения снова упала на подушки.

Продавая газеты, Сидней вскакивал в проходящие мимо omnibusy. И вот на пустом сиденье империала он заметил кем-то оброненный кошелек. Словно нечаянно, он быстро бросил газету поверх кошелька, а потом подобрал ее вместе с кошельком и поспешил сойти. Укрывшись за афишной доской, он раскрыл кошелек и увидел там серебро и медь. Он рассказал, что у него страшно забилося сердце и, не пересчитав деньги, он сразу помчался домой.

Когда мать пришла в себя, она высыпала содержимое кошелька на кровать. Но в кошельке все еще ощущалась какая-то тяжесть. Значит, там было внутреннее отделение! Мать открыла его и увидела семь золотых sovereignов. Мы были без памяти от радости. Адреса в кошельке, слава богу, не оказалось, и поэтому мать не слишком мучилась угрызениями совести. Хотя тень сочувствия к незадачливому обладателю кошелька и омрачила на мгновение нашу радость, мать быстро рассеяла ее, сказав, что кошелек нам ниспослал господь.

Была ли болезнь матери вызвана причиной физического или психического характера, не знаю. Но через неделю она выздоровела. И как только поправилась, она купила нам новую одежду, и мы уехали отдыхать к морю, в Саусэнд.

Впервые увидев море, я был словно загипнотизирован. Когда в яркий солнечный день я сбегал к нему по крутой улочке, мне показалось, что оно повисло надо мною — живое, трепещущее чудовище, готовое вот-вот наброситься на меня. Мы втроем быстро скинули башмаки и зашлепали по воде. Теплая морская вода, мягкий песок под ногами — какое неизведанное дотоле блаженство я испытывал от их прикосновения.

Что это был за день! Ярко-золотистый пляж, усеянный красными и синими ведерками, лопатками, разноцветные тенты и зонты, парусные лодки, весело бегущие по смеющимся волнам, а на берегу — другие лодки, лениво отдыхающие на боку и пахнущие смолой и водорослями. Память об этом дне и его очаровании до сих пор живет во мне.

В 1957 году я снова приехал в Саусэнд, но напрасно искал там узкую крутую улочку, с которой впервые увидел море, — от нее не осталось и следа. На окраине города я разыскал остатки рыбацкой деревушки, увидел старинные фасады ее лавчонок. Там ощущалось какое-то дуновение прошлого — может быть, это был просто запах смолы и водорослей.

Деньги у нас текли, как песок в песочных часах, и вскоре вновь настали тяжелые времена. Мать искала какую-нибудь работу, но ее нелегко было найти. Снова перед нами вставали неразрешимые трудности. Мы не уплатили очередного взноса, и у матери забрали ее швейную машинку. А тут еще отец перестал давать свои десять шиллингов в неделю. В отчаянии мать обратилась к другому адвокату, а тот, не предвидя хорошего вознаграждения, посоветовал ей вместе с детьми перейти на попечение городских властей.

У матери не оставалось выбора: она была обременена двумя детьми, да и здоровье у нее было плохое. Мать решила, что мы все трое должны пойти в Лэмбетский работный дом.

## //

Хотя мы понимали, что жить в работном доме зазорно, но когда мать объявила нам о своем решении, мы с Сиднеем решили, что все-таки это выход и похоже на приключение, а главное, нам не придется больше шить в одной душной комнате. Но по-настоящему я понял, что происходит, лишь в тот печальный день, когда мы вошли в ворота работного дома. Тут меня охватило отчаяние: нам пришлось расстаться с матерью — она должна была пойти в женское отделение, а мы — в детское.

Как хорошо я помню острую грусть первого дня свиданий и ту боль, которую я испытал, увидев мать в казенном платье работного дома. Она выглядела такой растерянной и смущенной! За одну неделю она постарела и очень похудела. Но как только она увидела нас, ее лицо осветилось улыбкой. Мы с Сиднеем разревелись, а вместе с нами заплакала и мать. Крупные слезы катились по ее щекам. Однако она быстро справилась со своим волнением. Мы уселись на грубую скамью, тесно прижавшись друг к другу, и она нежно гладила наши руки, положив их себе на колени. Она гладила с улыбкой наши коротко остриженные головы и утешала нас, обещая, что скоро мы снова будем вместе. Из кармана своего фартука мать достала пакетик засахаренных орехов, купленных в лавочке работного дома на деньги, которые она заработала, связав кружевные манжеты для надзирательницы. Потом мы расстались, и Сидней долго с грустью говорил мне о том, как мама сразу постарела.

Мы с Сиднеем довольно быстро приспособились к жизни в работном доме, но нам по-прежнему было очень грустно. Эти дни почти изгладились из моей памяти, но я ясно помню, как нетерпеливо мы ждали часа полуденной трапезы за длинным столом в обществе других детей. За порядком во время еды наблюдал один из обитателей работного дома, почтенный старец, лет семидесяти пяти, очень достойного вида, с жиденькой седой бородкой и печальными глазами. Он выбрал меня, сказав, что я буду сидеть с ним рядом, потому что я самый маленький и, пока меня не остригли, самый кудрявый. Он называл меня своим «тигром» и обещал, что когда я вырасту большим, то буду носить цилиндр с кокардой и сидеть на запятках его кареты, скрестив руки на груди. Я был очень благодарен за такую честь и уже почувствовал к нему сердечную привязанность. Но через день-два появился мальчик моложе и кудрявее меня и занял мое место рядом со старым джентльменом, который, посмеиваясь, объявил мне, что это почетное право всегда принадлежит самому юному и самому кудрявому мальчику.

Через три недели нас перевели из Лэмбетского работного дома в Хэнуэллский приют для сирот и бедных детей, расположенный в двенадцати милях от Лондона. Поездка туда в хлебном фургоне была весьма приятным приключением. В те дни окрестности Хэнуэлла — обсаженные каштанами дороги, поля зреющей пшеницы и фруктовые сады — были необыкновенно хороши. До сих пор густой влажный запах земли после дождя всегда напоминает мне Хэнуэлл.

По приезде нас сразу направили в изолятор, затем на медицинский осмотр и проверку умственных способностей. Это была разумная мера, так как больной или умственно отсталый ребенок среди трехсот-четырехсот сверстников и сам будет страдать и принесет вред всей школе.

Первые несколько дней я чувствовал себя несчастным и брошенным. В работном доме я знал, что мать была где-то рядом, и это меня успокаивало, а здесь, в Хэнуэлле, нас разделяли многие мили. Сидней и я благополучно прошли все осмотры и были приняты в приют, но тут нас разлучили: Сиднею отправили в отделение старших, а меня к малышам. Мы спали в разных корпусах и редко виделись. Мне было тогда немногим больше шести, и я вдруг остался совсем один. Я чувствовал себя очень несчастным, особенно в летние вечера, в часы молитвы перед сном, когда, стоя на коленях в дортуаре среди двадцати других малышей в ночных рубашках, следил через высокое окно за сгущающимися над дальними холмами сумерками и громко, не очень в лад тянул вместе со всеми:

О не оставь меня на склоне дня!  
Темнеет. Боже, не оставь меня!  
Когда другие мне помочь не в силах,  
О не покинь меня, заступник сирых!

В эти минуты я был очень несчастен. Слов я толком не понимал, но печальный напев и синие сумерки усиливали мою грусть.

Однако не прошло и двух месяцев, как нас, к великой нашей радости, неожиданно выписали и доставили обратно в Лэмбетский работный дом. У ворот нас встретила мать, одетая в свое собственное платье. Желая устроить нам сюрприз, она заявила о своем уходе из работного дома только ради того, чтобы денек провести с нами. Она собиралась, побыв с нами несколько часов на воле, в тот же день вернуться в работный дом. Иного способа повидаться с нами у нее не было.

При поступлении в работный дом всю нашу одежду отобрали а как следует пропарили ее, а теперь возвратили неглаженной. Поэтому мы все трое имели довольно помятый вид, когда вышли из ворот. Было еще раннее утро, и идти нам было некуда. Мы направились в Кеннингтонский парк, находившийся примерно в миле от работного дома. У Сиднея в узелке носового платка были припрятаны заветные девять пенсов. Мы купили полфунта вишен и провели все утро в Кеннингтонском парке, сидя на скамейке и поедая вишни. Сидней сделал из газеты бумажный ком, обвязав его для прочности веревочкой, и мы втроем с удовольствием поиграли в мяч. В полдень мы зашли в кофейную и на остаток денег купили пирог за два пенса, копченую рыбу за один пенс и две чашки чаю по полпенни, которые разделили на троих. Потом мы снова вернулись в парк — я играл с Сиднеем, а мать занималась вязаньем.

Когда начало смеркаться, мы вернулись в работный дом, чтобы, как шутила мать: «Не опоздать к вечернему чаю». Начальство негодовало, возмущаясь нашим своеволием, ибо оно вело к тому, что нашу одежду нужно снова пропаривать и, следовательно, мы с Сиднеем опять задержимся на какое-то время в работном доме. Но нам это давало возможность еще раз повидаться с матерью.

После этой поездки в Лэмбет мы пробыли в Хэнуэлле почти год, оказавшийся важной вехой в моем образовании. Я начал заниматься в школе и выучился писать свою фамилию — «Чаплин». Это слово меня пленяло — мне казалось, что оно и вправду похоже на меня.

В Хэнуэллском приюте было два отделения — одно для мальчиков, а другое для девочек. По субботам старшие девочки мыли малышей. Правда, мне тогда еще не было семи, но все-таки эта процедура оскорбляла мою скромность. Это ощущение неловкости, когда четырнадцатилетняя девочка трет тебя голого мочалкой, было первым испытанным мною в жизни смущением.

Когда мне исполнилось семь лет, меня перевели из отделения малышей в старшее, где содержались мальчики от семи до четырнадцати лет. Теперь я имел право принимать

участие в жизни старших мальчиков, в их играх, мог наравне со всеми заниматься спортом и дважды в неделю отправляться в дальние прогулки.

Хотя в Хэнуэлле о нас заботились неплохо, это было все-таки унылое существование. Грусть словно пронизывала воздух, грустными казались даже проселки, по которым мы — сто мальчиков — чинно гуляли парами. Как я ненавидел эти прогулки и деревни, через которые мы проходили под любопытными взглядами местных жителей! Они видели в нас обитателей «кутузки», как они между собой прозвали работный дом.

Школьная площадка для игр, вымощенная каменными плитами, занимала примерно акр. Ее окружали одноэтажные кирпичные здания, в которых размещались служебные помещения, кладовые, амбулатория, кабинет зубного врача и раздевалка для мальчиков. В самом темном углу находился карцер, где с недавних пор сидел в заточении мальчик лет четырнадцати — «сорвиголова», по словам ребят. Он пытался убежать из школы, вылез через окно второго этажа на крышу, а когда надзиратели попробовали стащить его оттуда, оказал открытое сопротивление начальству, швыряясь обломками кирпичей и каштанами. Это случилось поздно вечером, когда мы, малыши, уже спали, но наутро старшие мальчики с боязливым восхищением сообщили нам о его подвиге.

За проступки такого рода наказывали по пятницам в гимнастическом зале. Это было мрачное помещение, метров двадцать на пятнадцать, с высоким потолком; у одной стены со стропил свисали канаты, по которым ребята учились лазать. В пятницу утром двести-триста мальчиков в возрасте от семи до четырнадцати лет входили туда парами и по-военному выстраивались в виде буквы «П». Длинный школьный стол, позади которого в ожидании суда и наказания толпились «преступники», замыкал образовавшийся прямоугольник. Справа перед столом высилась деревянная рама с ременными петлями для рук, а сбоку зловеще покачивались розги.

За проступки помельче провинившегося укладывали на стол ничком, связав ноги, чтобы надзирателю удобнее было держать, затем другой надзиратель задирает ему рубашку на голову и туго натягивал штаны.

Капитан Хиндрем, морской офицер в отставке, мужчина фунтов в двести весом, закладывал левую руку за спину, а в правую брал длинную трость, толщиной в палец, и примеривался, как ему будет ловчее нанести удар. Затем он медленно и грозно заносил трость, и она, со свистом рассекая воздух, опускалась на ягодицы мальчишки. Это было страшное зрелище, и каждый раз кто-нибудь из мальчиков, нарушая строй, падал в обморок.

Как минимум полагалось три удара, максимум — шесть. Если виновный получал больше трех ударов, он издавал душераздирающие крики. Но иногда он зловеще молчал или терял сознание. Избитого оттащивали в сторону и укладывали на гимнастический матрас, где он корчился и извивался от боли. Минут через десять боль немного утихала, на ягодицах вздувались три красных рубца, толстых, как распухший палец прачки.

Розги были еще страшнее. После трех ударов розгами двое надзирателей, поддерживая наказанного, уводили его к врачу.

Более опытные мальчишки советовали, даже если ты невиновен, не отрицать своей вины, потому что, если докажут, что ты виноват, получишь шесть ударов. Да и редко кто умел у нас оправдываться.

Мне уже исполнилось семь лет, и меня перевели в отделение старших. Помню, как я впервые присутствовал при экзекуции — я стоял молча, с бьющимся сердцем. Вошло начальство. «Сорвиголова», пытавшийся сбежать из школы, стоял позади стола. Были видны только его голова и плечи — так он был еще мал. Глаза на худом, костлявом лице казались огромными.

Директор школы, торжественно перечислив его проступки, спросил:

— Признаешь себя виновным или нет?

Наш «сорвиголова» не отвечал и вызывающе глядел мимо директора. Его подвели к раме, но он был так мал ростом, что пришлось поставить его на пустой ящик, иначе он не доставал до ременных петель. Он получил три удара розгами, и его потащили к врачу.

По четвергам на площадке для игр вдруг раздавался звук горна, мы сразу переставали играть и, окаменев, замирали на месте, а капитан Хиндрем выкрикивал в рупор имена тех, кто должен был в пятницу подвергнуться экзекуции.

В один из четвергов, к своему великому удивлению, я вдруг услышал, что было названо мое имя. Я не знал за собой ни одной провинности. И хотя это было совершенно необъяснимо, я почувствовал какое-то даже приятное возбуждение: должно быть потому, что ощутил себя центром драматического события. В день суда я выступил вперед. Директор провозгласил:

— Тебя обвиняют в том, что ты хотел поджечь сортир.

Это было неправдой. Кто-то из мальчишек действительно поджег несколько кусочков бумаги на каменном полу уборной, а я просто вошел туда по своим делам в тот момент, когда бумага еще горела. Но я не принимал никакого участия в этом «поджоге».

— Признаешь себя виновным или нет? — спросил директор.

Очень волнуясь, побуждаемый какой-то силой, над которой я был не властен, я выпалил:

— Признаю.

Когда меня вели к столу, у меня не было ни чувства возмущения, ни обиды на несправедливость, я лишь готовился к неведомому мне ужасу. Я получил три удара. Боль была столь мучительна, что у меня перехватило дыхание. Но я ни разу не вскрикнул. Скорченного от боли, меня перетащили на матрац, где я должен был прийти в себя, но я чувствовал себя победителем.

Сидней работал на кухне и узнал о грозившем мне наказании, только когда его вместе с другими мальчиками пригнали в гимнастический зал. Он был совершенно потрясен, заметив, что из-за стола выглядывает моя голова. Он мне потом рассказывал, что когда меня пороли, он ревел от ярости.

У нас в школе младший брат называл старшего «мой малыш». Говорилось это с гордостью и придавало тебе немного уверенности. Иногда, выходя из столовой, я встречал своего «малыша», и Сидней незаметно совал мне два ломтя хлеба, густо намазанных маслом, которые ему удавалось припрятать на кухне. Я быстро запихивал их под фуфайку, а потом делил с кем-нибудь из товарищей. Не могу сказать, чтобы мы голодали, но обильно намазанный маслом бутерброд все-таки был из ряда вон выходящей роскошью. Но такое баловство длилось недолго. Сидней вскоре оставил Хэнуэлл, поступив на учебное судно «Эксмут».

Когда приютским мальчикам исполнялось одиннадцать лет, им предлагали пойти либо в армию, либо во флот. Если мальчик выбирал службу во флоте, его посылали на «Эксмут». Разумеется, никого не принуждали, но Сидней давно хотел стать моряком. И я остался в Хэнуэлле совсем один.

Детям кажется, что волосы — это очень существенная часть их личности. Они горько плачут, когда их в первый раз стригут. Какие бы волосы ни были — кудрявые,

прямые или стоящие дыбом, — все равно, лишаясь их, дети испытывают острое чувство потери. В Хэнуэлле началась эпидемия стригущего лишая, а так как эта болезнь очень заразна, детей отправляли в изолятор. Он помещался на втором этаже и окнами выходил на площадку для игр. Мы часто поглядывали на эти окна и видели несчастных узников, грустно наблюдавших за нашими играми, — их обритые наголо головы были к тому же вымазаны йодом. Вид у них был ужасный, и мы смотрели на них с отвращением.

И вот в один несчастный день надзирательница остановилась позади меня в столовой и, приподняв прядь моих волос, вдруг объявила: «Стригущий лишай!» Я горько зарыдал.

Лечение потребовало несколько недель, которые показались мне вечностью. Меня обрили, вымазали голову йодом и обвязали платком — я стал похож на сборщика хлопка. Но я никогда, ни разу не посмотрел в окно на ребят, — я знал, с каким презрением они к нам относятся.

Во время моего заточения меня навестила мать. Ей удалось уйти из рабочего дома, и теперь она делала попытки снова устроить для нас дом. Когда она вошла, мне показалось, что в комнату внесли букет цветов, — она выглядела такой свежей и прелестной, что мне стало стыдно за свою обритую, вымазанную йодом голову и за свой неряшливый вид.

— Вы уж извините, что он такой неумытый, — сказала надзирательница.

Мама рассмеялась, прижала меня к себе и крепко поцеловала. И я на всю жизнь запомнил ее ласковые слова:

— Какой бы ты ни был грязный, я все равно тебя люблю!

Вскоре Сидней покинул «Эксмут», а я — Хэнуэлл, и мы вернулись к матери. Она сняла комнату неподалеку от Кеннингтонского парка. Некоторое время ей удавалось содержать нас. Однако продолжалось это недолго, и пришлось опять вернуться в рабочий дом — матери было очень трудно найти работу, а у отца тоже не было ангажемента. В течение этого короткого промежутка мы то и дело переезжали из одного угла в другой — это было похоже на игру в шашки, и последний ход запер нас в рабочем доме.

Так как мы жили последнее время в другом приходе, нас послали не в Лэмбет, а в другой рабочий дом, а оттуда в Норвудский приют, который был еще мрачнее Хэнуэлла. Деревья там были выше, а листва еще темнее. Возможно, природа Норвуда была и величественнее, но атмосфера там царила мрачная, безрадостная.

Однажды, когда Сидней играл в футбол, его отозвали две воспитательницы и сообщили, что наша мать потеряла рассудок и ее отправили в Кэнхиллскую психиатрическую больницу. Услышав эту страшную новость, Сидней и виду не подал, что расстроился, вернулся на поле и продолжал играть в футбол. Но, окончив игру, он забился в темный угол и заплакал.

Когда он мне рассказал о нашем горе, я долго не мог поверить. Я не плакал, но мной овладело отчаяние. Зачем она это сделала? Мама, такая веселая и беспечная, как она могла сойти с ума? У меня было смутное чувство, будто она потеряла рассудок нарочно, чтобы не думать о нас. Мое сердце сжималось от отчаяния, и мне чудилось, что я вижу ее перед собой! Она жалобно смотрит на меня, и ее ветром относит куда-то в пустоту.

Через неделю нам официально сообщили, что наша мать заболела душевным расстройством, и суд обязал отца взять на себя заботу обо мне и Сиднее. Я очень обрадовался тому, что теперь мы будем жить с отцом. До этого я видел его всего два раза — один раз на сцене, а другой — в палисаднике на Кеннингтон-роуд: он вышел из двери



дома с какой-то дамой, а я остановился и стал смотреть на него, каким-то чутьем угадав, что это мой отец. Он поманил меня к себе и спросил, как меня зовут. Ощувив всю драматичность ситуации, я с притворным простодушием ответил: «Чарли Чаплин». Отец бросил на даму многозначительный взгляд и, пошарив в кармане, дал мне полкроны. Взяв их без дальних церемоний, я помчался домой и рассказал матери, что встретил отца.

И вот теперь мы должны были жить с отцом. Что бы там ни случилось, Кеннингтон-роуд была нам родной, а не чужой и мрачной, как Норвуд.

Нас опять посадили в хлебный фургон, и надзиратель повез нас к дому 287 на Кеннингтон-роуд, в палисаднике которого я видел однажды отца. Дверь нам открыла та самая дама, с которой тогда шел отец. Вид у нее был несвежий и угрюмый. Но собой она была хороша — высокая, стройная, с полными красивыми губами и большими грустными, как у лани, глазами. Лет ей было, наверное, около тридцати. Оказалось, что мистера Чаплина нет дома. После того как были выполнены необходимые формальности и подписаны все бумаги, надзиратель уехал, оставив нас на попечении Луизы. Она провела нас на второй этаж и усадила в гостиной. Там на полу играл малыш лет четырех, очень хорошенький, с большими глазами и густыми темно-каштановыми кудрями. Это был сын Луизы, мой сводный брат.

Семья отца жила в квартире из двух комнат, и хотя в гостиной были большие окна, свет проникал через них слабо, словно сквозь воду. Все в этой комнате выглядело так же мрачно, как сама Луиза, — мрачные обои, мебель с мрачной обивкой и стеклянный ящик, в котором было чучело щуки, проглотившей другую щуку, чья голова торчала у нее из пасти, — зрелище и вовсе жуткое.

В задней комнате Луиза поставила еще одну кровать для нас с Сиднеем — мы должны были спать вдвоем, но кровать оказалась слишком узкой. Сидней сказал, что он может спать на диване в гостиной.

— Ты будешь спать там, где тебя положат, — отрезала Луиза.

Последовала небольшая пауза — резкость Луизы привела нас в замешательство.

Встреча была не слишком приветливой, но это было естественно. Нас с Сиднеем навязали Луизе совершенно неожиданно, а к тому же мы были детьми законной жены отца.

Мы молча смотрели, как Луиза накрывала на стол.

— Ты мог бы помочь, — сказала она Сиднею. — Принеси-ка ведро угля. А ты, — обратилась она ко мне, — сбегай в лавочку возле «Белого оленя» и купи на шиллинг солонины.

Я с большим облегчением выбежал на улицу: Луиза и вся эта давящая атмосфера внушали мне страх, и я уже жалел, что мы уехали из Норвуда.

Потом пришел домой отец и очень ласково поздоровался с нами. Меня он очаровал. Во время обеда я следил за каждым его движением, смотрел, как он ест, как держит нож, словно перо, когда режет мясо. Многие годы я подражал ему.

Когда Луиза сказала отцу, что Сидней жалуется, будто кровать слишком узка, отец посоветовал уложить его на диване в гостиной. Победа Сиднея разозлила Луизу — с тех пор она его невзлюбила и постоянно жаловалась на него отцу. Несмотря на свою угрюмость и раздражительность, Луиза ни разу не ударила меня и никогда не угрожала мне побоями, но я все равно отчаянно ее боялся, потому что она не любила Сиднея. Она пила, и от этого мой страх стал еще сильнее. Напившись, Луиза делалась совершенно

невменяемой. Она весело улыбалась своему малышу, глядя на его прелестное, ангельское личико и слушая, как он ругался самыми страшными словами.

Не знаю почему, но я никогда не мог сблизиться с этим мальчиком. Хотя он приходился мне сводным братом, я не помню, чтобы я когда-нибудь обменялся с ним хотя бы единым словом — правда, я был почти на четыре года старше его. Иногда, напившись допьяна, Луиза становилась еще более мрачной и подолгу сидела на диване, уставившись глазами в одну точку, — это приводило меня в трепет. Сидней не обращал на нее никакого внимания и почти всегда возвращался домой очень поздно. Мне же было приказано приходить домой сразу после школы, чтобы я мог сбежать за покупками и выполнить все дела по дому.

Луиза отдала нас в школу на Кеннингтон-роуд. Это уже было каким-то развлечением — в присутствии других ребят я чувствовал себя менее одиноким. В субботу школьников отпускали раньше, но я не ждал этого дня, как все ребята, потому что мне надо было бежать домой, мыть и скрести полы и чистить ножи. К тому же в субботу Луиза неизменно напивалась. Пока я чистил ножи, она сидела со своей приятельницей, пила и становилась все мрачнее и мрачнее, жалуясь вслух, что ей неизвестно за какие грехи приходится заботиться о Сиднее и обо мне. Я помню, как, указывая на меня, она (говорила:

— Ну этот еще ничего, зато другой — просто негодяй, его надо в исправительный отдать. Мало того, он даже не сын Чарли.

Ее нападки на Сиднея пугали и угнетали меня. Я печально ложился в кровать, но долго не мог уснуть от огорчения. Мне тогда еще не было восьми, но эти дни навсегда остались в моей памяти самыми долгими и самыми грустными в моей жизни.

Иногда субботними вечерами под окном спальни внезапно раздавались звуки веселой шотландской жиги — кто-то играл на концертино; вместе с музыкой доносились возгласы парней, женский визг и смех. Никому дела не было до моей тоски и печали, и тем не менее мне было жаль, когда веселье и музыка затихали вдали. Порой по улице проходили разносчики. Особенно хорошо я запомнил одного — каждый вечер он кричал что-то вроде: «Правь, Британия!» Потом он еще что-то приговаривал, видимо, расхваливал свой товар — свежие устрицы. Я слышал, как гурьбой высыпали на улицу пьяные, когда закрывалась соседняя пивная. Они во все горло распевали унылую чувствительную песенку, которая тогда была очень популярна:

В память прошлого пусть наша сгинет вражда,  
И скажите, что все прощено навсегда.  
Жалко жизни для ссор,  
Жаль для злобы сердец.  
И в честь дружбы старинной  
Всем распрям — конец!

Смысл песенки был мне далек, но мотив казался подходящим аккомпанементом моим грустным настроениям, и песня убаюкивала меня.

Если Сидней возвращался домой поздно — а это случалось почти каждый вечер, — он, перед тем как лечь спать, устраивал набеги на кладовую, чем приводил Луизу в неистовство. И как-то ночью Луиза совершенно пьяная вбежала в комнату, сорвала с Сиднея одеяло и стала кричать, чтобы он убирался вон из дому. Но Сидней был готов к этому — он быстро выхватил из-под подушки свой «стилет», длинный крючок для застегивания ботинок, который он заранее остро отточил.

— Только попробуйте подойти, — сказал он, — и я всажу его вам прямо в живот!

Пораженная, она отступила.

— Ах мерзавец! Хочешь убить меня?!

— Да, — мелодраматично подтвердил Сидней, — я убью вас!

— Ну погоди, вернется домой мистер Чаплин, ты у меня узнаешь!

Но мистер Чаплин редко возвращался домой. Впрочем, помню, как однажды субботним вечером отец с Луизой вместе напились, и мы почему-то все сидели внизу у хозяйки. Отец выглядел мертвенно бледным при газовом свете и все время что-то мрачно бормотал про себя. Вдруг он выхватил из кармана горсть монет и яростно бросил их на пол — золотые и серебряные монетки раскатились по всем углам. Эффект был зловещий. Никто не двинулся с места. Однако я заметил, что хозяйка, сидя с каменным лицом, проследила украдкой, куда закатился один золотой соверен. Я тоже его высмотрел: он очутился в углу под стулом. Никто не двигался, и я решил подобрать соверен. За мной последовали хозяйка и все остальные, спеша подобрать остальные монеты и стараясь, чтобы каждое их движение было видно отцу, который с угрозой смотрел на всех.

Как-то в субботу я прибежал из школы, но дома никого не застал. Сидней, как обычно, играл весь день в футбол, а Луиза, по словам хозяйки, еще с утра куда-то ушла с малышом. Сначала я даже обрадовался — не надо было мыть полы и чистить ножи. Я ждал почти до вечера, но потом меня охватило беспокойство. Может быть, бросили меня? Что случилось? Комната показалась мне мрачной и страшной — меня пугала пустота. К тому же, почувствовав голод, я заглянул в кладовую, но там не оказалось никакой еды. Я не мог больше выносить эту зияющую пустоту, в полном отчаянии вышел из дому и провел весь остаток дня на соседних рынках. Я бродил по Ламбет-уок и Кат, поглядывая голодными глазами в витрины кулинарных магазинов, и испытывал танталовы муки при виде аппетитных кусков жареного мяса, свинины и золотисто-коричневого картофеля, плавающего в жиру. Не один час я провел, глаза, как самозванные лекари продают свои сомнительные снадобья. Увлеченный таким зрелищем, я забыл и беспокойство и голод.

Когда я вернулся домой, была уже ночь. Я постучал в дверь, но никто не ответил, — никого не было дома. Усталый, я вышел на угол Кеннингтон-кросс и сел на обочине тротуара, напротив дома, чтобы увидеть, если кто-нибудь вернется. Я был очень утомлен, чувствовал себя несчастным и все думал, где же Сидней. Дело шло к полуночи, площадь опустела, лишь изредка проходил какой-нибудь бродяга. Окна лавок погасли одно за другим, только аптека и пивные были еще освещены. Я пришел в отчаяние.

И вдруг послышалась музыка. Какой восторг! Музыка слышалась из «Белого оленя» — пивной на углу, — она восхитительно звучала на опустевшей площади. Кто-то мастерски играл на аккордеоне и кларнете милую песенку «Жимолость и пчела». Мне еще никогда не нравилась ни одна мелодия без слов, но эта была такая красивая, такая душевная, она звучала радостно и весело, она внушала надежду, сулила тепло. Я забыл о своем горе и перешел через улицу туда, где находились музыканты. Аккордеонист был слепой — на месте глаз зияли пустые глазницы, а на кларнете играл человек с озлобленным, испитым лицом.

Песенка, увы, кончилась, музыканты ушли, а с их уходом ночь стала еще печальнее. Совсем ослабев от усталости, я повернул к дому, уже не думая о том, вернулся кто-нибудь или нет. Я мечтал только добраться до постели. И тут я увидел, что как будто бы по дорожке палисадника кто-то идет к дому. Это оказалась Луиза, а впереди нее бежал малыш. Я испугался, увидев, что она сильно хромает, припадая на одну ногу. Сначала я подумал, что с ней приключилось несчастье, и она сломала ногу, но потом я понял, что она просто пьяна. До этого дня я никогда не видел до такой степени пьяного человека. Я подумал, что сейчас лучше не попадаться ей на глаза и дожидаться минуты, когда она

войдет в дом. Через некоторое время вернулась домой хозяйка, и я вошел вместе с ней. Но когда я уже взбирался по темной лестнице, стараясь потихоньку добраться до кровати, Луиза, пошатываясь, вышла на площадку.

— Куда лезешь, а? — закричала она. — Это не твой дом!

Я замер.

— Больше не будешь здесь спать! Хватит с меня, все вы мне надоели. Убирайся отсюда! Вместе со своим братцем! Пусть ваш отец сам о вас позаботится.

Не колеблясь, я повернулся, спустился вниз и вышел из дому. Я больше не чувствовал усталости, я обрел второе дыхание. Вспомнив, что отец обычно проводит время в пивной на Принс-роуд, примерно в полумиле от дома, я направился туда, надеясь его найти. Но скоро в тусклом свете фонаря я увидел его, бредущего по улице мне навстречу.

— Она меня не пускает в дом, — захныкал я, — и, кажется, она пьяная.

Отец тоже сильно пошатывался.

— Я и сам выпил, — сказал он.

Я пытался уверить его, что он трезв.

— Нет, я пьян, — бормотал он виновато.

Кое-как добравшись до дому, он открыл дверь в гостиную и молча остановился на пороге, с угрозой глядя на Луизу. Она стояла, пошатываясь, и держалась за каминную полку.

— Почему ты непустила его в дом? — спросил отец.

Она растерянно взглянула на него, а потом пробормотала:

— Иди ты тоже к черту! Все разом — к дьяволу!

Тогда, схватив с буфета тяжелую платяную щетку, отец вдруг изо всех сил швырнул ее в Луизу. Удар пришелся по лицу, и она с закатившимися глазами упала без памяти на пол, словно радуясь этому беспомытству.

Я был потрясен поступком отца — при виде такой жестокости я потерял к нему уважение. Я плохо помню, что произошло затем. Кажется, Сидней вернулся позднее, а отец, уложив нас в постель, ушел из дому.

Впоследствии я узнал, что в это утро отец поссорился с Луизой и на целый день ушел в гости к своему брату Спенсеру Чаплину — владельцу нескольких пивных в Лэмбете. Остро чувствуя двусмысленность своего положения, Луиза не любила ходить в гости к богатым родственникам, и отец пошел один, а она из мести провела весь день где-то на стороне.

Луиза любила отца. Хотя я был еще очень мал, я увидел это по ее взгляду в ту ночь, когда она стояла у камина, по тому смятению и боли, которые она испытала от жестокости отца. Я уверен, что и он любил ее, — я видел подтверждение тому много раз. По временам он бывал с ней ласков и нежен — тогда он не уходил в театр, не поцеловав ее на прощанье. А в воскресенье утром, если не слишком был пьян накануне, он садился с нами завтракать и рассказывал Луизе о мюзик-холльных номерах актеров, которые выступали с ним в одной программе. Мы сидели словно замороженные. Я следил за ним, как ястреб, высматривая и запоминая каждый жест. Однажды, придя в веселое настроение, он обмотал голову полотенцем и стал гоняться вокруг стола за малышом, приговаривая: «Я — султан турецкий, грозный Рыбий жир!»

Вечером, часов около восьми, перед отъездом в театр отец проглатывал шесть сырых яиц, смешанных с портвейном, — больше он за целый день обычно ничего не ел. Домой он приходил редко и большей частью только для того, чтобы проспаться после пьянства.

Однажды Луизе нанесли визит члены «Общества защиты детей от жестокого обращения», чем она была крайне возмущена. Они пришли, узнав из донесения полиции, что Сиднея и меня нашли в три часа ночи уснувшими подле костра ночного сторожа. В эту ночь Луиза выгнала нас обоих из дому, но полиция заставила ее открыть дверь и впустить нас.

Несколько дней спустя — отец в это время был на гастролях в провинции — Луиза получила письмо, в котором сообщалось, что наша мать выздоровела и вышла из больницы. А через день или два к нам вошла хозяйка и объявила, что какая-то дама пришла навестить Сиднея и Чарли.

— Это ваша мать, — сказала Луиза.

После минутного замешательства Сидней бросился вниз, чтобы обнять маму, а я побежал за ним вслед. Мать нежно расцеловала нас — она была все та же, наша милая улыбающаяся мама.

Мать, как и Луизу, очень смущала возможная встреча, и она предпочла подождать нас с Сиднеем внизу, у двери, пока мы собирали свои пожитки. Никто из нас в эту минуту не испытывал обиды или какого-нибудь дурного чувства. Прощаясь, Луиза держалась приветливо не только со мной, но даже с Сиднеем.

Мать сняла комнату на одной из улочек позади Кеннингтон-кросс, поблизости от консервной фабрики Хэйуорда, откуда по вечерам разносились острые и пряные запахи. Но комната была дешевая, и к тому же мы опять были все вместе. Здоровье матери совсем поправилось, и мы даже не вспоминали о ее болезни.

Как мы существовали в то время, я понятия не имею. Однако никаких особых трудностей и лишений я не помню — видно, отец аккуратно платил свои десять шиллингов в неделю, а мать, конечно, снова взялась за шитье и возобновила свои хождения в церковь.

Вспоминается мне один случай. В конце нашей улицы была бойня, и часто мимо нашего дома гнали овец на убой. Как-то одна из них вырвалась из стада и побежала по улице к великому восторгу прохожих. Кто-то бросился ее ловить, кто-то побежал и, споткнувшись, растянулся — словом, было весело. Я тоже смеялся, глядя, как мечется овца, в страхе и ужасе спасаясь от людей, — мне это казалось очень забавным. Но когда овцу поймали и повели на бойню, я вдруг осознал ужасный смысл происходящего и, рыдая, помчался домой к маме.

— Они ее убьют! Сейчас убьют ее! — кричал я, обливаясь слезами.

Этот ясный весенний вечер и смешная погоня надолго остались в моей памяти. Иногда я думаю, может быть, этот эпизод в какой-то степени predetermined характер моих будущих фильмов, соединявших трагическое с комичным.

Школа открыла передо мной новые горизонты: историю, поэзию и естественные науки. Но некоторые предметы были слишком прозаичны и скучны, в особенности арифметика — сложение и вычитание немедленно вызывали в моем представлении образ

клерка и бухгалтерской книги; от арифметики была только одна польза — в лавочке не так будут обсчитывать.

История была летописью злобы и насилия, перечислением убиенных королей вперемешку с другими королями, которые сами убивали своих жен, братьев и племянников; географию составляли карты, поэзию сочиняли, наверное, исключительно для упражнения памяти. Факты и сведения не вызывали у меня особого интереса, сбивали с толку.

Если бы только кто-нибудь из учителей сумел показать «товар лицом», сделав завлекательное предисловие к своему предмету, сумел бы расшевелить мое воображение и разжечь фантазию вместо того чтобы вбивать мне в голову факты, открыл бы мне тайны цифр и романтику географических карт, помог бы мне ощутить идею в истории и музыку в поэзии, — кто знает, может быть, я и стал бы ученым.

С тех пор как мать вернулась к нам, она снова стала пробуждать во мне интерес к театру. Она внушила мне, что у меня есть к тому способности. И когда перед рождеством у нас в школе стали репетировать «Золушку», мне вдруг страстно захотелось показать то, чему меня учила мама. Не знаю почему, но меня не взяли играть в «Золушке», и я в глубине души остро завидовал тем, кого выбрали, чувствуя, что сыграл бы лучше их. Мне не нравилась скучная, лишенная воображения игра моих соучеников. Злые сестры казались плоскими и несмешными. Мальчики проговаривали свои роли заученным тоном, срываясь на фальцет. Вот бы мне сыграть уродливую сестрицу! И мама бы мне помогла... Однако я был очарован девочкой, игравшей Золушку. Она была так красива, изящна — ей уже было лет четырнадцать, и я был тайно в нее влюблен. Но она была недосыгаема для меня, как небо, и по годам и по положению наших семей.

Спектакль показался мне очень унылым — его спасала лишь красота Золушки, которая была так хороша, что даже навевала на меня грусть. Однако спустя два месяца я, сам того не ведая, добился невероятного успеха. Меня водили из класса в класс, и я декламировал «Есть у мисс Присциллы кошечка пушистая...». Это был смешной стишок, который мать прочла в витрине книжного магазина. Он показался ей таким забавным, что она тут же с витрины переписала его и принесла домой. На перемене я прочел его одному из мальчиков. Случайно меня услышал наш учитель, мистер Рейд, и я ему так понравился, что, когда собрались все наши ребята, он заставил меня повторить стишок перед классом. Ребята катались от хохота. Слава о моем таланте разнеслась по всей школе, и на следующий день меня заставили выступить в каждом классе и перед мальчиками, и перед девочками.

Хотя мне уже приходилось выступать и даже заменять маму в возрасте пяти лет перед публикой в театре, я только теперь впервые вкусил славу. Мне стало интересно в школе. Маленьким, робким, никому не известным мальшом заинтересовались теперь и учителя и школьники. Я даже учиться стал лучше. Но вскоре мое образование было прервано. Мне пришлось уйти из школы, чтобы поступить в ансамбль клогданса<sup>1</sup> «Восемь ланкаширских парней».

### ///

Руководитель этого ансамбля, мистер Джексон, был знаком с моим отцом. Отец убедил мать, что работа у мистера Джексона могла бы стать хорошим началом моей сценической карьеры, а для нее была бы подспорьем. Я получал бы стол и кров, а она еще

полкраны в неделю. Мать сначала сомневалась, но, познакомившись с мистером Джексоном и его семьей, согласилась.

Мистеру Джексону было лет пятьдесят пять. Прежде он был школьным учителем в Ланкашире. Его три сына и дочка танцевали в ансамбле «Восемь ланкаширских парней». Мистер Джексон был набожным католиком и после смерти первой жены советовался с детьми, следует ли ему снова жениться. Вторая жена была немного старше его. Он рассказывал нам весьма благочестивую историю этой женитьбы. Дав объявление в брачной газете, он получил больше трехсот писем. Помолвившись, он положился на божий промысел и распечатал только один конверт. Та, кто его написала, и стала второй миссис Джексон. Она тоже оказалась школьной учительницей и, словно в ответ на его молитву, тоже католичкой.

Господь бог не наградил миссис Джексон особой красотой, и вряд ли она могла кого-нибудь прельстить. Ее костлявое бледное лицо было изборождено множеством морщин, которые, возможно, объяснялись тем, что уже в довольно почтенном возрасте она наградила мистера Джексона еще одним сыном. Она была очень преданной и заботливой женой. Еще кормя сына грудью, она уже много работала, помогая мужу руководить ансамблем.

В ее рассказе романтическая история их женитьбы несколько отличалась от версии мистера Джексона. Они обменялись письмами, но до самой свадьбы не видели друг друга. При первом разговоре наедине в гостиной, пока вся семья ждала в соседней комнате, мистер Джексон сказал: «В вас есть все, о чем я мечтал в жизни», — и она отплатила ему тем же признанием. Заканчивая свой рассказ, она сухо прибавляла: «Но, конечно, я не предполагала, что сразу стану матерью восьми детей».

Старшему сыну мистера Джексона было шестнадцать лет, самому младшему двенадцать, девочке было девять. Ее стригли под мальчика, чтобы она могла тоже сойти за одного из «ланкаширских парней».

Каждое воскресенье все, кроме меня, ходили в католическую церковь. Будучи единственным протестантом, я оставался в одиночестве. Иногда за компанию и я ходил вместе с ними. Только уважение к религии матери помешало мне стать католиком. Мне очень нравился и мистицизм католической веры и маленький самодельный алтарь с гипсовой фигуркой Девы Марии, украшенный цветами и зажженными свечами, который мальчики ставили в углу своей спальни, не забывая преклонить перед ним колени каждый раз, когда им случалось пройти мимо.

После шести недель репетиций я начал выступать в ансамбле. Однако мне уже исполнилось восемь лет, я потерял младенческую самоуверенность и, выйдя на сцену, вдруг впервые в жизни ощутил страх перед публикой. У меня подкашивались ноги. Только через месяц-два я наконец смог танцевать сольные номера.

По правде сказать, я не испытывал особого восторга от сознания того, что являюсь одним из восьми участников ансамбля. Как и всем остальным, мне больше хотелось выступать со своим собственным номером, и не только потому, что это приносило бы больше денег. Я инстинктивно чувствовал, что это дало бы мне гораздо больше удовлетворения, чем наши танцы. Мне хотелось бы стать мальчиком-комиком, но я не знал, хватит ли у меня духу выйти на сцену одному. Как бы то ни было, мне хотелось смешить, а не танцевать. Моей мечтой был парный номер — двое мальчишек в костюмах комических бродяг. Я рассказал о своем замысле одному из мальчиков в ансамбле, и мы решили стать партнерами. Мы долго лелеяли эту мечту: назовем номер «Бристоль и Чаплин — бродяги-миллионеры», наклеим лохматые бороды, как у бродяг, и наденем перстни с большими бриллиантами, как у миллионеров. По нашему мнению, этот план обещал большой успех и большие доходы, но, увы, ему не суждено было осуществиться.

Публике нравились «Восемь ланкаширских парней», потому что, как утверждал мистер Джексон, мы были совсем непохожи на других выступавших в театре детей. Он всегда подчеркивал, что мы не гримируемся и наши щеки румяны от природы. Если перед выходом кто-нибудь из нас был бледен, он приказывал нам пощипать щеки. В Лондоне, где нам приходилось за один вечер выступать в двух-трех мюзик-холлах, мы все-таки иногда забывали об этом благодетельном совете и стояли на сцене усталые, со скучающим видом. Но стоило нам встретиться глазами со следившим за нами из-за кулис мистером Джексонем, который выразительно улыбался, указывая пальцем на свое лицо, и мы сразу расплывались в сияющих улыбках.

Во время наших турне мы посещали школу — по неделе в каждом городе, но это мало способствовало моему образованию.

На рождественские праздники нас пригласили играть кошек и собачек в пантомиме «Золушка», которая давалась в лондонском «Ипподроме». Тогда это был новый театр, соединявший в себе черты варьете и цирка, поражавший воображение зрителей роскошным убранством и чудесами техники. Пол арены опускался, арена заполнялась водой и начинался весьма замысловатый балет. Хорошенькие девушки в блестящих доспехах выходили ряд за рядом и исчезали под водой. Когда в воду погружалась последняя шеренга, появлялся Марселин, знаменитый французский клоун в мешковатом фраке и цилиндре. Он входил с удочкой, садился на складной стул, раскрывал большую шкатулку с драгоценностями, насаживал на крючок бриллиантовое ожерелье и закидывал удочку в воду. Потом он пытал счастье с драгоценностями помельче, насаживая на крючок браслеты и броши, пока наконец шкатулка оказывалась пустой. Внезапно леска натягивалась — «рыбка» клюнула. Марселин, очень смешно кружась и подпрыгивая, изображая азарт рыболова, боролся с непокорной удочкой. Наконец он «подсекал» и вытаскивал из воды маленького дрессированного пуделя, который повторял все его движения: Марселин садился, собака тоже садилась, когда он вставал на голову, собака повторяла и этот акробатический трюк.

Оригинальные и смешные номера Марселина покорили Лондон. В сцене на кухне, в крохотном комедийном эпизоде я был партнером Марселина. Я изображал кошку, которая пьет молоко, а Марселин, пятась от собаки, спотыкался об меня и падал. Он всегда жаловался, что я плохо выгибаю спину, и он ушибается. Кошачьей маске, которую я носил, было придано несколько удивленное выражение. На первом же детском утреннике я подошел с хвоста к собаке и принялся ее обнюхивать. Когда зрители засмеялись, я повернул к ним свою удивленную мордочку и, дернув за ниточку, приводившую в движение глаза, лукаво подмигнул. Потом я снова понюхал и снова подмигнул. Режиссер из-за кулис делал мне отчаянные знаки, чтобы я ушел со сцены. Но я продолжал свое и, обнюхав собачку, начал обнюхивать просцениум, а затем поднял лапку. Публика захлебнулась смехом, возможно, потому, что жест был совсем не кошачий. В конце концов режиссеру удалось перехватить мой взгляд, и я прыгнул за кулисы под гром аплодисментов. «Никогда больше не смей этого делать, — прошептал он. — Добьешься того, что лорд-камергер закроет наш театр!»

«Золушка» пользовалась огромным успехом. Но гвоздем спектакля был все же Марселин, хотя его вставные номера не имели никакого отношения к сюжету пантомимы. Несколько лет спустя Марселин выступал в нью-йоркском «Ипподроме» и здесь также завоевал огромную популярность. Но когда «Ипподром» отказался от цирковой арены, Марселина быстро забыли.

Примерно в 1918 году в Лос-Анжелос приехал цирк братьев Ринглинг. С ними был и Марселин. Я полагал, что он выступит с сольными номерами, и поразился, когда с



трудом узнал его в толпе клоунов, суетившихся на колоссальной арене. Великий артист был погублен погоней владельцев цирка за дешевой сенсацией.

В антракте я зашел к нему в уборную, назвал себя и напомнил, что играл кошку в лондонском «Ипподроме», когда он там выступал. Однако он отнесся к моим словам с полным равнодушием. Даже в гриме он казался мрачным и подавленным.

Через год он покончил самоубийством в Нью-Йорке. В маленькой газетной заметке сообщалось, что сосед Марселина прибежал на выстрел и увидел, что тот лежит на полу с револьвером в руках, а граммофон еще играет песенку «Луна и розы».

Многие знаменитые английские комики кончали жизнь самоубийством. Т.-Е. Данвилл, превосходный комик, услышал, входя в бар, как кто-то сказал о нем: «Этот уже сошел», — и в тот же день застрелился на берегу Темзы.

Марк Шеридан, один из самых выдающихся английских комиков, застрелился в городском парке Глазго, потому что тамошние зрители принимали его недостаточно хорошо.

Актёр Фрэнк Койн, с которым мне однажды довелось выступать, был веселым и жизнерадостным комиком. Он прославился исполнением куплетов:

Вы больше не увидите меня на том коне.  
Не тот коняга, чтоб на нем скакать хотелось мне.  
Теперь лишь одного коня взнуздать решился б я:  
Конягу женушки моей — подставку для белья.

В жизни он был настоящий весельчак и милейший человек. И вот, в один прекрасный день, собравшись поехать с женой на прогулку, он вдруг вспомнил, что оставил дома что-то нужное, и попросил жену подождать, пока он сбегает наверх. Прождав минут двадцать, она пошла узнать, почему он задержался, и нашла его на полу в ванной, в луже крови и с бритвой в руках — он перерезал себе горло.

Из многих артистов, которых я видел в детстве, мне запомнились не те, кто пользовался большим успехом у публики, а те, кто за кулисами вел себя не как другие. Жонглер Зармо каждое утро неизменно являлся в театр к открытию и часами тренировался. Мы видели, как он за кулисами балансировал бильярдным кием на подбородке и, подбросив бильярдный шар, ловил его на кончик кия, затем подбрасывал другой шар и старался поймать его на первый шар, но тут его часто постигала неудача. Он рассказал мистеру Джексону, что отрабатывал этот номер четыре года и в конце недели собирается впервые показать его публике. В тот вечер мы все стояли за кулисами и смотрели на него. Он выполнил номер великолепно: с первого раза, подбросив шар, поймал его на кончик кия, затем, бросив второй шар, поймал его на первый. Но аплодисменты были довольно жидкими. Мистер Джексон часто рассказывал нам потом, как в этот вечер он сказал Зармо: «Вы слишком легко проделываете ваш номер, надо уметь его подать. Лучше несколько раз промахнитесь, а уж потом сделайте, как надо». Зармо рассмеялся: «Я еще недостаточно набил руку, чтобы позволить себе промахнуться». Кроме того, Зармо увлекался френологией и определял характеры, ощупывая наши головы. Мне он сказал, что любые приобретенные мною знания я сумею употребить с пользой.

Помню я и братьев Гриффит, очень смешных и ловких клоунов, работавших на трапеции, которые, к большому моему замешательству, висая на трапеции, начинали яростно бить друг друга по лицу своими большими башмаками на мягкой подошве.

«Ой! — кричал тот, кого ударили, — только попробуй еще раз меня тронуть!»

«Попробовать?» — Хлоп!

И первый, делая ошеломленное лицо, удивленно бормотал: «И попробовал!»

Меня возмущала эта бессмысленная потасовка. Но за кулисами это были любящие и преданные друг другу братья, спокойные и серьезные люди.

Дэн Лейно был, по-моему, самым великим английским комиком после легендарного Гримальди. Хотя мне не пришлось видеть Лейно в расцвете его славы, он мне запомнился, скорее, характерным актером, чем комиком. Мать мне рассказывала, что типы лондонских низов в его изображении получались трогательными и симпатичными, зритель не мог их не полюбить.

Знаменитая Мари Ллойд слыла легкомысленной и капризной. Но когда нам пришлось играть с ней в старом «Тиволи» на Стрэнде, оказалось, что это удивительно серьезная и добросовестная артистка. Я во все глаза смотрел на эту миниатюрную толстушку, нервно шагавшую взад и вперед за кулисами. Перед выходом она бывала раздражительна и подавлена, но стоило ей выйти на сцену, и она сразу успокаивалась и держалась весело и непринужденно.

А Брэнсби Уильямс, изображавший персонажей Диккенса! Какой это был Урия Гип, Билл Сайкс и старик из «Лавки древностей»! Волшебное искусство этого красивого солидного молодого человека, который на виду у буйной публики города Глазго менял грим и мгновенно преображался, открыло мне еще одну область театра. Он возбудил во мне также интерес к литературе. Мне не терпелось узнать, какая тайна была скрыта в книгах — в этих галереях диккенсовских персонажей, которые жили в таком странном мире крушениковских <sup>1</sup> сепий. И хотя я почти не умел читать, я все же в конце концов купил «Оливера Твиста»...

Я был так заворожен Диккенсом, что начал даже имитировать имитации Брэнсби Уильямса. Такой «многообещающий» талант не мог очень долго оставаться незамеченным. И вот однажды мистер Джексон увидел, как я развлекаю остальных мальчиков, изображая старика из «Лавки древностей». Тотчас же я был объявлен гением, и мистер Джексон поспешил оповестить об этом мир.

Это знаменательное событие произошло в театре города Мидлсборо. По окончании нашего танца мистер Джексон вышел на сцену с таким торжественным видом, словно собирался объявить о пришествии Мессии, и сообщил, что среди своих мальчиков он открыл вундеркинда. Этот ребенок сейчас покажет, как Брэнсби Уильямс изображает старика из «Лавки древностей», который никак не может поверить в смерть своей маленькой Нелл.

Зрители, которые уже порядком устали от долгого и мало интересного представления, не выразили особого восторга. Я вышел в своем обычном костюме для танцев — белой полотняной блузе с кружевным воротником, коротких бархатных штанишках и в красных башмаках, но загримированный под девяностолетнего старика. Почему-то в реквизите нашего ансамбля оказался стариковский парик — возможно, мистер Джексон когда-то купил его, — но парик был мне великоват. Хотя у меня была большая голова, парик оказался еще больше. Он изображал лысину, обрамленную бахромой длинных седых волос. И когда я, горбясь, появился в нем на сцене, я больше всего напоминал ползущего жука — об этом свидетельствовали и смешки в публике.

После этого зрителей было уже трудно успокоить. Я же продолжал приглушенно бормотать:

«Тише, тише, не шумите, вы разбудите мою Нелли».

— Громче! Громче! Ничего не слышно! — кричали зрители.

Но я продолжал шептать в очень камерной манере,— настолько камерной, что публика начинала топтать ногами.

На этом и оборвалась моя карьера интерпретатора образов Чарльза Диккенса.

Хотя мы жили весьма скромно, жизнь с «Восьмью ланкаширскими парнями» в общем была приятной. Однако и у нас бывали небольшие осложнения. Как-то мы выступали в одной программе с двумя юными акробатами, примерно моего возраста, которые под секретом рассказывали нам, что их матери получают за их выступления по семь шиллингов и шесть пенсов в неделю, да еще им самим выдается по шиллингу на карманные расходы — в понедельник утром они находят монетки под тарелками с яичницей на сале. «А мы-то, — пожаловался кто-то из наших мальчиков, — получаем всего два пенса и на завтрак только ломоть хлеба с джемом».

Джон, сын мистера Джексона, услышав, что мы жалуемся, не выдержал, расплакался и рассказал, что по временам, оставаясь без ангажемента и давая представления в предместьях Лондона, его отец едва выколачивает семь фунтов в неделю на всю труппу, и ему очень трудно сводить концы с концами.

Однако роскошная жизнь юных акробатов внушила нам желание тоже стать акробатами. И вот по утрам, как только открывался театр, кто-нибудь из нас, обвязавшись веревкой, пропущенной через ворот, отрабатывал кульбиты, пока другой натягивал веревку. У меня все шло очень хорошо, но потом я упал и вывихнул большой палец. На этом закончилась моя карьера акробата.

Мы все время пытались пополнить свой репертуар какими-то другими номерами. Мне, например, хотелось стать жонглером. Я скопил немного денег, купил четыре резиновых мяча и четыре жестяные тарелки и часами тренировался, стоя подле кровати.

Мистер Джексон был добрым человеком. За три месяца до моего ухода из ансамбля мы приняли участие в бенефисе в пользу моего отца, который был тогда очень болен. Многие артисты варьете соглашались помочь товарищу, выступив бесплатно, и в их числе были и джексоновские «Восемь ланкаширских парней». Мой отец вышел на сцену и, с трудом дыша, через силу произнес речь. Я стоял за кулисами, смотрел на него, не подозревая, что ему уже недолго осталось жить.

Когда мы приезжали в Лондон, я по субботам и воскресеньям гостил у матери. Ей казалось, что я все бледнею и худею и что танцы вредны для моих легких. Ее это так тревожило, что она в конце концов написала мистеру Джексону, а он так возмутился, что отправил меня домой насовсем, сказав, что я не стою волнений такой любящей мамыши.

Через несколько недель я заболел астмой. Припадки были жестокими, и мать, решив, что у меня туберкулез, сразу повезла меня в Бромптонскую больницу. Там меня очень тщательно осмотрели, в легких ничего страшного не нашли, но астма продолжала меня терзать. Еще долго я страдал от удушья, испытывая страшные муки, — иногда мне даже хотелось выброситься из окна. Накрывшись с головой одеялом, я вдыхал запах сушеных трав, но это мало помогало. Однако, как и предсказывал доктор, с возрастом астма прошла.

Этот период моей жизни вспоминается мне то ясно, то словно в тумане. Ярче всего запомнилась мне наша тогдашняя нищета. Не помню, где тогда был Сидней. Из-за разницы в возрасте я как-то терял его из виду. Возможно, он жил тогда у деда, чтобы матери было полегче. Мы, помнится, часто переезжали и в конце концов поселились на чердаке дома номер три на Поунэлл-террас.

Я уже сознавал, что нищета делает нас отщепенцами. Даже самые бедные ребята по воскресеньям ели домашнее жаркое. Домашний обед был ритуалом респектабельности.

По этому признаку бедные отличались от нищих. Те, кто по воскресеньям не ел домашнего обеда, были нищими, как мы. Мать посылала меня в ближайшую обжорку купить обед за шесть пенсов (мясо и гарнир из овощей). И какой же это был стыд — особенно по воскресеньям! Я буквально изводил мать, упрекая ее за то, что она не может приготовить что-нибудь дома, и не желал слушать ее объяснений, что домашняя готовка обходится вдвое дороже.

Однако, выиграв в одну счастливую пятницу пять шиллингов на скачках, мать, чтобы доставить мне удовольствие, решила в воскресенье приготовить нам обед дома. В числе прочих деликатесов она купила довольно подозрительный кусок мяса — нечто среднее между говядиной и нутряным жиром. Кусок весил около пяти фунтов и был снабжен этикеткой «для жаренья».

Так как у нас не было своей плиты, мать воспользовалась плитой хозяйки, но, стесняясь часто заходить на кухню, определила «на глазок» время, которое могло понадобиться, чтобы мясо ужарилось. В результате, к нашему великому огорчению, оно «ужарилось» до размера крикетного шара. Тем не менее, несмотря на уверения матери, что с нашими обедами за шесть пенсов гораздо меньше возни и к тому же они гораздо вкуснее, я в полной мере наслаждался воскресным домашним обедом и почувствовал большое удовлетворение оттого, что и у нас все было, как у людей.

Неожиданно в нашей жизни произошла перемена. Мать встретила со своей давней приятельницей, которая жила теперь в полном достатке. Эта красавица, пышная и величавая, как богиня, оставила сцену ради того, чтобы стать любовницей богатого старого полковника. Она жила в фешенебельном квартале Стокуэлла. Очень обрадовавшись встрече с матерью, она пригласила нас пожить у нее все лето. Садней тогда батрачил где-то на сборе хмеля, и мать не пришлось долго уговаривать. Зная, что иголка в ее руках может творить чудеса, она была уверена, что даже в этой обстановке будет выглядеть вполне прилично, так же как и я в своем воскресном костюме, оставшемся у меня со времени выступлений в ансамбле «Ланкаширских парней».

И вот мы очутились в роскошном доме на углу Лэнсдаун-сквер, в котором были слуги, розовые и голубые спальни, кретоновые занавески и белые медвежьи шкуры на полу. Жили мы как в сказке. Я очень хорошо помню огромные лиловые гроздья тепличного винограда, украшавшие буфет в столовой, помню и свое чувство вины, которое возникало каждый день при виде ошипанных веточек.

Штат прислуги состоял из четырех человек — повара и трех девушек. Помимо меня и мамы в доме был еще один гость — очень застенчивый красивый молодой человек с коротко подстриженными рыжеватыми усиками. Он был очень мил и вежлив и казался совершенно необходимой принадлежностью этого дома... но лишь до появления полковника с седыми бакенбардами. Тут красивый молодой человек немедленно исчезал.

Визиты полковника были непостоянными — он появлялся один или два раза в неделю. И тогда дом окутывала атмосфера таинственности — в эти дни он был полон присутствием полковника, и мать приказывала мне не попадаться ему на глаза. Но однажды я вбежал в прихожую как раз в ту минуту, когда полковник спускался по лестнице. Это был высокий представительный джентльмен, в сюртуке и цилиндре, с красным лицом, длинными седыми бакенбардами и совершенно лысый. Он милостиво улыбнулся мне и проследовал дальше.

Я не понимал, почему приезд полковника всегда вызывал такой переполох. Он никогда не оставался надолго. После его отъезда молодой человек с подстриженными усиками немедленно возвращался, и дом снова начинал жить своей обычной жизнью.

Я очень привязался к молодому человеку с маленькими усиками. Мы совершали с ним далекие прогулки в сопровождении двух прелестных борзых — любимиц нашей хозяйки. Даже аптека, где мы иногда делали кое-какие покупки, казалась мне здесь какой-то особенно роскошной со своим смешанным запахом духов, мыла и пудры. С тех пор запах аптеки всегда вызывает у меня приятные воспоминания прошлого. Молодой человек посоветовал матери делать мне по утрам холодные обливания, чтобы излечить меня от астмы. Возможно, они мне и помогли, во всяком случае, они мне нравились и очень меня подбадривали.

Удивительно, до чего быстро человек привыкает к роскоши и каким избалованным он становится, пользуясь всеми земными благами! Не прошло и недели, как мне уже казалось, что так и должно быть всегда. Какое блаженное чувство я испытывал, гуляя утром с собаками, — так приятно было вести их на новеньком кожаном поводке, а затем вернуться в прекрасный дом со слугами и ждать завтрака, элегантно сервированного на серебряных блюдах.

Сад позади дома отделял нас от другого дома, в котором было так же много слуг, как и у нас. Семья соседей состояла из трех человек — молодые отец и мать и мальчик примерно моего возраста. Его детская была набита чудесными игрушками. Меня часто приглашали к нему поиграть, а потом остаться пообедать. Вскоре мы стали с ним закадычными друзьями. Его отец занимал какое-то очень важное положение в банке в Сити, а мать была очень молода и хороша собой.

И вот однажды я подслушал разговор нашей горничной с няней соседского мальчика. Няня говорила, что их мальчику уже нужна гувернантка. «Ах, этому тоже!» — сказала наша горничная, подразумевая меня. Я был польщен тем, что меня посчитали сыном богачей, но никогда не мог понять, зачем девушке понадобилось меня так возвысить, — разве что ей хотелось показать, что и она тоже служит у богатых и уважаемых людей. Но после этого разговора всякий раз, когда я оставался обедать у соседей, я чувствовал себя самозванцем.

Хотя печальным был день, когда нам пришлось покинуть роскошный стокуэллский особняк и вернуться к себе на Поунэлл-террас, 3, вместе с тем мы испытывали и какое-то чувство облегчения, оттого что обрели прежнюю свободу. Все-таки мы жили в постоянном напряжении, пока гостили в чужом доме. Гости, как говорила мама, подобны пирогам: чем дольше остаются, тем противнее становятся. Порвались шелковые нити, связывавшие нас с коротким и роскошным эпизодом нашей жизни, и мы вновь вернулись к своему привычному нищенскому существованию.

## IV

В 1899 году были в моде бакенбарды. Короли, государственные деятели, солдаты и матросы, Крюгеры, Солсбэри, Китченеры, кайзеры, игроки в крикет — все носили бакенбарды в эти годы нелепой помпезности, необычайного богатства и столь же необычайной бедности, твердолобой политической самонадеянности, выпиравшей из всякой карикатуры, из всякой газетной статьи. Но Англии пришлось снести много обид и ударов. Подумать только, кучка бургских фермеров в африканском Трансваале воевала так неблагородно — они убивали наших солдат в красных мундирах (отличная мишень!), прячась за камнями и скалами. Военное министерство спохватилось и приказало заменить красный цвет мундиров на хаки. Если бурам так больше нравится, доставим им это удовольствие!

О том, что идет война, я смутно догадывался по патриотическим песням, которые распевали повсюду, по сценкам в варьете и по сигаретным коробкам, на которых были изображены генералы. Враги, разумеется, все были отъявленными злодеями. Приходили горестные вести об окружении Ледисмита, или вся Англия сходила с ума от радости, узнав о снятии осады Мафекинга. В конце концов мы победили — вернее, кое-как выпутались из скверной истории. Об этом говорили все, кроме моей матери. Она ни разу даже не упомянула про войну — с нее хватало и той войны, которую ей самой приходилось вести в жизни.

Сиднею исполнилось четырнадцать лет, и, бросив школу, он получил на почте место разносчика телеграмм. На жалованье Сиднея и на то, что мать зарабатывала шитьем, уже можно было жить, хотя ее доходы были очень скромны. Она работала сдельно для белошвейной мастерской — за дюжину блузок она получала один шиллинг и шесть пенсов. Хотя блузки были уже скроены, на шитье дюжины уходило не меньше двенадцати часов. Больше пятидесяти четырех блузок в неделю мать сшить не могла, и эта рекордная цифра приносила ей шесть шиллингов и девять пенсов.

По ночам я часто лежал без сна на нашем чердаке и смотрел на мать, склонившуюся над швейной машинкой. Свет керосиновой лампы окружал ее голову золотым ореолом, а лицо было погружено в легкую тень. Чуть приоткрыв от напряжения губы, она быстро строчит блузки, и ровное гудение машинки в конце концов усыпляет меня. Если она засиживалась за работой до поздней ночи, это означало очередной денежный тупик. Нам всегда надо было уплачивать какие-нибудь срочные взносы.

На этот раз возник серьезный кризис. Сиднею понадобился новый костюм. Он носил свою почтовую униформу и в будни и по воскресеньям, и его друзья начали уже подшучивать над ним. Несколько воскресений подряд Сидней не выходил из дому, пока мать не сумела купить ему синий саржевый костюм — каким-то образом ей удалось наскрести восемнадцать шиллингов. Но эта покупка нанесла нашему бюджету тяжелый урон, и с тех пор каждый понедельник, как только Сидней облачался в свою форму и уходил на работу, мать отправлялась закладывать его костюм. Она получала за него семь шиллингов, а в субботу выкупала его, чтобы Сидней мог надеть его в воскресенье. Эта еженедельная процедура вошла в обычай, и так длилось больше года, пока костюм не износился. И вот тут-то на нас обрушился страшный удар.

В понедельник, как обычно, мать пошла закладывать костюм, но хозяин ломбарда сказал:

— Извините, миссис Чаплин, но больше мы не сможем давать вам за него по семь шиллингов.

Мать была поражена.

— Но почему? — спросила она.

— Риск слишком велик. Брюки очень износились. Вот, взгляните сами, — он указал на протертое место, — насквозь светится.

— Но ведь я их выкуплю в следующую субботу, — настаивала мать.

Хозяин покачал головой.

— Я могу дать только три шиллинга за пиджак и жилет.

Мать редко плакала, но это был слишком тяжелый удар, и она пришла домой вся в слезах. Она не представляла себе, как мы дотянем до конца недели без этих семи шиллингов.

А к этому времени и моя одежда пришла в ветхость. То, что осталось от моего костюма для выступлений в ансамбле «Восемь ланкаширских парней», выглядело довольно пестро. Повсюду были заплатки — на локтях, и на штанах, и на башмаках, и на чулках. И вот в таком-то жалком виде я как-то столкнулся лицом к лицу со своим благовоспитанным приятелем из Стокуэлла. Что ему понадобилось в нашем Кеннингтоне, я понятия не имел, но я был слишком смущен, чтобы расспрашивать. Он приветствовал меня достаточно дружелюбно, но все-таки я заметил, с каким удивлением он меня рассматривал. Чтобы скрыть смущение, я постарался держаться как можно небрежнее и, между прочим, самым светским тоном объяснил, что вот надел все это старье, потому что ходил на занятия в школьную столярную мастерскую, будь она неладна.

Но это известие его не заинтересовало. Он был в замешательстве и отводил от меня глаза, стараясь скрыть свое недоумение. Он справился о моей матери.

Я ответил коротко, что она за городом, и постарался перевести разговор на него.

— А вы живете все там же?

— Да, — он поглядел на меня, как на великого грешника.

— Ну ладно, я побегу, — сказал я вдруг.

Мальчик слабо улыбнулся.

— Прощай, — сказал он, и мы расстались. Он степенно пошел в одну сторону, а я, пристыженный, в ярости бросился со всех ног в противоположном направлении.

У матери была такая поговорка: «Не стоит нагибаться, если нечего поднять». Но сама она ее не придерживалась, чем порой возмущала мое чувство благопристойности. Однажды, когда мы возвращались из Бромптонской больницы, она остановилась, чтобы пристыдить мальчишек, которые издевались над грязной оборванной старухой. Старуха была стриженная — тогда это было в диковинку, — и мальчишки, смеясь, подталкивали к ней друг друга, словно от одного лишь прикосновения они могли чем-то заразиться от нее. Бедная женщина стояла среди них, как загнанный зверь, пока не вмешалась мать. И тут вдруг в лице женщины что-то промелькнуло.

— Лили, — сказала она тихо, назвав мать ее старым сценическим именем, — ты меня не узнаешь? Еву Лесток?

Мать сразу припомнила подругу тех дней, когда она еще работала в театре.

Мне было так неловко, что я, не останавливаясь, пошел дальше и только на углу задержался, чтобы подождать маму. Мальчишки проходили мимо меня, ухмыляясь и посмеиваясь. Я был вне себя от ярости. Я обернулся посмотреть, что там делает мать, и увидел, что она идет ко мне с этой нищенкой.

— Ты помнишь маленького Чарли? — спросила мать.

— Еще бы, — печально сказала женщина. — Сколько раз я его держала на руках, когда он был еще совсем малюткой.

Эта мысль была для меня невыносима — женщина выглядела такой грязной и неряшливой! Мне было неприятно видеть, что люди оборачиваются и смотрят на нас.

Мать знавала ее, когда она выступала в варьете и звалась лихой Евой Лесток. Она была тогда, по словам матери, бойкой и очень хорошенькой девушкой. Она рассказала нам, что долго болела, а выйдя из больницы, ночевала под мостами и в убежищах Армии спасения.

Мать прежде всего послала ее в баню, а потом, к моему ужасу, привела ее к нам, на наш тесный чердак. Я не знал, была ли болезнь причиной теперешнего состояния этой женщины или что-нибудь еще, но меня приводило в ужас, что она спала в раскладном кресле, которое служило кроватью Сиднею. Мать дала ей одежду, какую могла, и еще одолжила пару шиллингов. Прожив у нас три дня, она ушла, и больше мы никогда не слышали о «лихой Еве Лесток».

Еще до того как умер отец, мать переехала с Поунэлл-террас и сняла комнату в доме миссис Тэйлор, своей приятельницы, весьма набожной особы. Это была низенькая коренастая женщина лет пятидесяти пяти, с квадратным подбородком и морщинистым желтым лицом. Как-то глядя на нее в церкви, я открыл, что у нее вставная челюсть, которая, когда она пела, то и дело сваливалась с десны на язык. Это зрелище меня буквально гипнотизировало.

У нее были решительные манеры и неиссякаемый запас энергии. Она взяла мать под свое христианское крылышко и сдала ей за очень умеренную плату комнату на третьем этаже своего большого дома, стоявшего рядом с кладбищем.

Ее муж, точная копия диккенсовского мистера Пиквика, занимался изготовлением измерительных линеек. Его мастерская помещалась на верхнем этаже под застекленной крышей. Эта комнатка казалась мне раем — там было так тихо и спокойно. Я часто наблюдал за работой мистера Тэйлора и восхищался тем, как он, напряженно глядя сквозь толстые очки и большую лупу, делал стальную линейку, которой можно будет измерять с точностью до одной пятнадцатой дюйма. Он работал один, и я часто бегал по его поручениям.

Миссис Тэйлор горячо желала обратить на путь истинный своего мужа, который, по ее понятиям, был грешником. Ее дочь, точная копия матери, только не такая желтая и, конечно, гораздо более молодая, могла бы даже показаться привлекательной, если бы не ее высокомерие и сварливость. Как и отец, она никогда не ходила в церковь. Но миссис Тэйлор не теряла надежды наставить обоих на путь истинный. К своей дочери она относилась с обожанием, которого, между прочим, отнюдь не разделяла моя мать.

В один прекрасный вечер, когда я смотрел в мастерской, как работает мистер Тэйлор, я услышал, что внизу началась перепалка между моей матерью и мисс Тэйлор. Миссис Тэйлор не было дома. Не знаю, с чего у них началась ссора, но они обе старались перекричать друг друга. Когда я спустился на нашу площадку, мать, перегнувшись через перила, кричала:

— Да кем ты себя воображаешь? Сиятельное дерьмо!

— Ах! — возопила мисс Тэйлор. — Еще называет себя христианкой, а такие слова говорит!

— Тише, тише, милочка, — немедленно откликнулась мать. — Это и в библии есть! «Второзаконие», глава двадцать восьмая, тридцать седьмой стих, только там немножко по-другому сказано. Но для тебя и «дерьмо» сойдет.

После этого мы вернулись на Поунэлл-террас.

Мой отец не часто заходил в кабачок «Три оленя» на Кеннингтон-роуд, но как-то вечером я, сам не зная почему, заглянул туда, чувствуя, что он там. Я чуть-чуть приоткрыл дверь и в щелку сразу увидел его: он сидел в углу. Я хотел уйти, но его лицо озарилось улыбкой, и он поманил меня к себе. Меня удивила такая сердечность — отец не



любил показывать свои чувства. Видно было, что он тяжело болен: глаза запали, весь он был чудовищно опухший. Одну руку он наполеоновским жестом заложил за жилет, словно так ему легче было дышать. В этот вечер он был непривычно ласков и внимателен, расспрашивал меня о матери и Сиднее, а когда я уходил, крепко обнял меня и первый раз в жизни поцеловал. Больше я его живым не видел. Через три недели его отвезли в больницу святого Фомы — для этого пришлось его напоить. Когда он понял, где находится, он стал вырываться из рук санитаров, но сил у него не было — он был уже обречен. Хотя ему было всего тридцать семь лет, он умирал от водянки. У него выкачали из колена шестнадцать кварт жидкости.

Мать несколько раз ходила его навещать и всегда возвращалась грустной. Она рассказывала, что он хочет вернуться к ней, уехать в Африку и начать новую жизнь. Но, увидев, как я обрадовался, она покачала головой — она знала его лучше меня.

— Он сказал это только, чтобы сделать мне приятное, — объяснила она.

Как-то она пришла из больницы страшно возмущенная: преподобный Джон Мак-Нил, евангелист, навестив отца, сказал ему: «Ну что ж, Чарли, когда я смотрю на вас, мне на ум приходит старая поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь!»

— Утешил умирающего, нечего сказать! — негодовала мать. Через несколько дней отец умер.

Администрация больницы справилась, кто его будет хоронить. У матери не было ни пенни, и она предложила, чтобы его похоронили на средства фонда помощи артистам варьете, благотворительной театральной организации. Это вызвало страшное волнение в семье Чаплинов — хоронить, как нищего? Какой позор! В это время в Лондоне оказался дядюшка Альберт, младший брат отца, обычно живший в Африке. Он сказал, что берет расходы на себя.

В день похорон мы должны были встретиться с Чаплинами в больнице святого Фомы, а оттуда поехать на кладбище в Тутинге. Сидней работал и прийти не смог. Мы с матерью приехали в больницу часа за два до назначенного времени — ей хотелось проститься с отцом до того, как заколотят крышку гроба.

Гроб был обит белым атласом, а по краям, обрамляя лицо отца, были рассыпаны белые маргаритки. Мать заметила, что они выглядели мило и трогательно, и спросила, кто их положил. Служитель ответил, что рано утром приходила какая-то дама с маленьким мальчиком. Это была Луиза.

В первой карете ехали мать, дядя Альберт и я. Матери это было нелегко — до этого она не была знакома с дядей Альбертом. Этот щеголь с университетским выговором был очень вежлив, но от него веяло ледяным холодом. Говорили, что он очень богат — у него были в Трансваале конные заводы и ранчо. Во время бурской войны он поставлял лошадей английской армии.

Служба у могилы шла под проливным дождем. Могильщики бросали лопатами землю на гроб, и мокрые комья глухо ударяли о доски. Все это было так мрачно и страшно, что я заплакал. А тут родственники стали бросать в могилу цветы и венки. Мать, у которой ничего не было, взяла и кинула мой носовой платок с траурной каймой — я им очень гордился.

— Ничего, сынок, — шепнула она, — это за нас обоих.

После похорон Чаплины поехали в ресторан завтракать, вежливо осведомившись перед тем, куда нас надо отвезти. И нас отвезли домой.

Дома у нас не нашлось ничего съедобного, кроме блюдечка жира в буфете. У матери не было ни гроша — последние два пенса она отдала Сиднею на завтрак. С тех пор как заболел отец, она почти не работала, и теперь, к концу недели, семь шиллингов жалованья Сиднея были уже давно истрачены. Во время похорон мы очень проголодались. Но на наше счастье мимо проходил старьевщик, и мать продала ему за полпенни нашу старую керосинку и купила хлеба, который мы съели с оставшимся жиром.

Так как мать была законной женой моего отца, ей сказали, чтобы она на следующий день пришла в больницу за его вещами. Ей вручили черный забрызганный кровью костюм, нижнее белье, рубашку, черный галстук, старый халат и суконные шлепанцы, в которые было вложено по апельсину. Когда мать вытащила апельсины, на кровать упало полсоверена. Это была такая нежданная удача!

Еще долго я носил на руке черный креп. Этот знак траура оказался очень выгодным, когда однажды в субботу я решил заняться коммерцией и стал продавать цветы. Я уговорил мать дать мне взаймы шиллинг, купил на цветочном рынке два пучка нарциссов и после школы навязал из них букетики по пенсу. Реализация всего этого товара принесла бы стопроцентную прибыль. Я входил в пивную и грустно предлагал свои цветы: «Нарциссы, мисс?» или «Нарциссы, сударыня?» Женщины сочувственно осведомлялись: «Кто у тебя умер, сынок?» Я тихонько шептал: «Папа», — и они неизменно прибавляли монетку. Мать была поражена, когда, явившись домой, я принес пять шиллингов с лишним. Но однажды она увидела, что я выходил из пивной, и на этом моя торговля цветами кончилась: как добрая христианка, она не могла допустить, чтобы ее сын торговал цветами по кабакам. «Твоего отца сгубило пьянство, такие деньги счастья не принесут», — сказала она. Правда, она взяла всю мою выручку, но торговать цветами мне было запрещено.

А у меня был явный коммерческий талант; я постоянно обдумывал всевозможные деловые проекты. Я поглядывал на пустующие лавки и изобретал способы извлечения доходов. Хорошо бы открыть торговлю жареной рыбой или бакалеей. Все мои мечты вращались вокруг съестного. Нужен был только капитал, а как его добывают, этот капитал? В конце концов я уговорил мать разрешить мне оставить школу, чтобы я мог поступить на работу.

Я перепробовал множество занятий. Сначала я поступил рассыльным в мелочную лавку. Разнеся покупки, я с восторгом возился в подвале среди ящиков мыла, крахмала, свечей, конфет и печенья, отвеживая по очереди все сладости, пока меня не начинало тошнить.

Затем я стал работать в приемной у двух врачей страховой компании Хула и Кинси Тэйлора на Трогмортон авеню. Эту должность я унаследовал от Сиднея, который порекомендовал меня на свое место. Работа была очень прибыльная — я получал двенадцать шиллингов в неделю. Моей обязанностью было записывать больных, а потом, когда врачи уходили, мыть и убирать помещение. В качестве секретаря я пользовался большим успехом у больных, которым я всячески скрашивал часы ожидания. Когда же дело доходило до уборки, выяснялось, что Сидней справлялся куда лучше меня — признаюсь, не лежала у меня душа к этому занятию. Выливать принесенную на анализ мочу — это еще куда ни шло, но протирать трехметровые окна — это уже поистине была работа для Гаргантюа. И вот в кабинетах врачей день ото дня становилось все темнее, пыль оседала все более плотным слоем, и наконец мне очень вежливо сказали, что для такой работы я еще слишком мал.

Услышав это, я не выдержал и горько заплакал. Доктор Кинси Тэйлор, женатый на очень богатой даме и проживавший в большом доме на Ланкастер-Гэйт, сжалился надо

мною и сказал, что он возьмет меня к себе слугой. Я сразу повеселел. Еще бы, служить в частном доме, да еще таком шикарном!

Работалось мне очень приятно — я быстро стал любимцем всех горничных. Они обращались со мной, как с ребенком, и даже целовали, желая мне доброй ночи. Я мог бы стать дворецким, если бы не вмешался злой рок. Хозяйка велела мне привести в порядок подвал, где были свалены в кучу чуть не до потолка сундуки и всякий хлам. Все это надо было рассортировать, вычистить и убрать. В разгар работы я наткнулся на длиннющий кусок водопроводной трубы и принялся в нее дуть, словно в духовой инструмент. Увлеченный этим занятием, я не заметил, как вошла хозяйка. Я был немедленно уволен.

Я с удовольствием работал в магазине письменных принадлежностей «У. Смит и сын», но сразу же был уволен, когда хозяйка узнала, сколько мне лет. Один день я проработал стеклодувом. Еще в школе я читал о стеклодувах, и эта профессия казалась мне весьма романтической, но я не вынес жары и потерял сознание — очнулся я во дворе на куче песка. Этого с меня было довольно: я не вернулся даже за причитавшейся мне за день платой. Работал я и в типографии Стрэйков. Я наврал им, что умею работать на печатной машине Уорфдейла — чудовищной громадине, длиной больше шести метров. Заглядывая с улицы в подвал, где стояла машина, я наблюдал, как она работает, — оттуда мне казалось, что дело это простое и нетрудное. Объявление гласило: «Нужен мальчик для закладки бумаги в печатную машину Уорфдейла». Когда мастер подвел меня к машине, я даже испугался — такой она оказалась огромной! Работать нужно было на площадке в полутора метрах над полом. Мне же показалось, что я стою на вершине Эйфелевой башни.

— Пусти ее, — сказал мастер.

— Куда?

Заметив мое недоумение, он засмеялся.

— Да ты никогда не работал на этой машине.

— Только дайте мне попробовать, я быстро пойму, — взмолился я.

«Пусть» значило повернуть рычаг, который приводил в движение это чудовище. Мастер показал мне рычаг, а потом запустил зверюгу на половинную скорость. Она загремела, залязгала, заворчала, словно готовилась сожрать меня. Бумажные листы были так огромны, что меня вполне можно было завернуть в любой из них. Я должен был разделять листы костяным скребком, прихватывать их за уголки и точно, в нужный момент, подкладывать к зубцам машины, чтобы чудовищу было удобно схватить их своими когтями, проглотить, а затем изрыгнуть. В первый день я совсем ошалел, стараясь не отстать от голодного чудовища, которое все время норовило меня опередить. Все-таки меня взяли на это место, обещав платить двенадцать шиллингов в неделю.

Мне было занятно вставать до рассвета и бежать на работу по тихим пустынным улицам, где лишь изредка промелькнут две-три смутные фигуры, спешащие на огонек маяка — уже открывшейся чайной Локкарта, где можно позавтракать в этот ранний час. Как приятно было глотать горячий чай среди такой же рабочей публики, как и я, и чувствовать тепло и уют этой минутной передышки перед началом трудового дня. А работать печатником было даже весело. Если бы только в конце недели не приходилось отмывать краску с огромных, тяжелых желатиновых валиков, весивших больше ста фунтов каждый. Но как бы то ни было, через три недели я заболел гриппом, и мать настояла, чтобы я вернулся в школу.

Сиднею уже исполнилось шестнадцать лет. Однажды он прибежал домой вне себя от радости и сообщил, что получил место горниста на пассажирском пароходе

африканской линии компании «Донован и Касл». Он будет трубить сигналы к завтраку, к обеду и к ужину. Он выучился горнить еще когда плавал на учебном судне «Эксмут», и теперь это оказалось весьма кстати. Он будет получать два фунта десять шиллингов в месяц, не считая чаевых от пассажиров, — ведь ему поручалось кроме того обслуживать три столика в салоне второго класса. Он получит аванс в тридцать пять шиллингов, которые, конечно, отдаст матери. Будущее представлялось нам таким радужным, что мы тут же переехали в две комнаты над парикмахерской на Честер-стрит.

Из первого плавания Сидней вернулся победителем — он привез с собой больше трех фунтов чаевых, и все серебром. Я помню, как он высыпал из карманов это серебро на кровать. Никогда еще я не видел столько монет сразу, и не мог от них оторваться. Я их сгребал и снова рассыпал, складывал в столбики и играл ими до тех пор, пока мать и Сидней не назвали меня скрягой.

Какая роскошь! Какая беззаботная жизнь! Было лето, и мы много дней питались пирожными и мороженым и еще всяческими деликатесами — копченой и жареной селедкой, треской, гренками к завтраку, а по воскресеньям даже горячими пышками.

Сидней простудился и несколько дней провалялся в постели, а мы с мамой за ним ухаживали. Как раз тогда мы и прирастали к мороженому — я обычно шел к итальянцу-мороженщику с большим стаканом и просил мороженого на пенс, чем выводил его из себя. Как-то раз он посоветовал мне прийти в следующий раз с корытом. Самым любимым напитком был у нас шипучий шербет с молоком — в жаркий летний день ничего не могло быть вкуснее.

Сидней рассказывал нам много забавных историй о своем путешествии. Перед самым отплытием он чуть не потерял работу, когда в первый раз стал трубить к завтраку. Он давно не практиковался и, должно быть, совсем разучился горнить. Матросы на борту, услышав его сигнал, дружно расхохотались. Старший стюард в ярости подбежал к нему:

— Какого дьявола, что ты сигналишь?

— Извините, сэр, — сказал Сидней, — я немного отвлек, сейчас приноруюсь.

— Приноравайся, да поживей, пока пароход не отчалил, а то как бы тебя не оставили на берегу.

Во время завтрака, обеда и ужина в кухне выстраивалась длинная очередь стюардов, обслуживавших столики. К тому времени, когда подходила его очередь, Сидней успевал забыть, что ему было заказано, — ему приходилось повторить заказ и снова вставать в конец очереди. Сидней рассказывал, что в первые дни, когда все уже кончали десерт, он еще только подавал суп.

Сидней оставался дома до тех пор, пока мы не истратили все его деньги. Но его снова взяли в рейс, и снова выдали аванс в тридцать пять шиллингов, которые он отдал матери. Их нам хватило ненадолго. Через три недели мы уже опять сидели на мели, а до возвращения Сиднея надо было как-то протянуть еще три недели. Мать продолжала заниматься шитьем, но ее швейная машинка не могла нас прокормить. В нашей жизни вновь наступил кризис.

Однако я был изобретателен. У матери хранилось много старой одежды, и как-то в субботу утром я предложил сходить на рынок и продать, что удастся. Мать немного смутилась и сказала, что это тряпье ничего не стоит. Но я все-таки завернул его в старую простыню и направился на рынок Ньюингтон-Баттс. Я без стеснения разложил эти жалкие обноски прямо на тротуаре, а сам стоял в канаве и, размахивая рваной рубашкой или ветхим корсетом, громко зазывал покупателей: «А вот, поглядите-ка! Что дадите? Шиллинг, шесть пенсов, три пенса, два пенса?» Но покупателей не находилось. Люди

останавливались, удивленно разглядывали мой товар, смеялись и шли дальше. Я уже начинал чувствовать себя неловко, особенно, когда заметил, что приказчики из ювелирного магазина напротив поглядывают на меня через витрину. Однако я пренебрег и этим. В конце концов мне удалось продать за шесть пенсов подвязки, которые выглядели не слишком изношенными. Но чем дольше я там стоял, тем хуже себя чувствовал. Вскоре приказчик из ювелирного магазина подошел ко мне и с сильным акцентом спросил, давно ли я занимаюсь торговлей? Несмотря на всю его серьезность, я почувствовал в его словах насмешку и ответил, что еще только начинаю. Он не спеша вернулся к своим улыбающимся товарищам, которые глядели на меня через стекло. Тут я все-таки не выдержал. Пора было собирать товар и возвращаться домой. Когда я рассказал матери, что продал подвязки за шесть пенсов, она вдруг возмутилась: «За них можно было выручить гораздо больше, — воскликнула она. — Это были прекрасные подвязки!»

При таком положении дел мы не слишком торопились платить за квартиру. Проблема эта разрешалась довольно легко: в тот день, когда должен был прийти сборщик, мы исчезали на весь день из дому, а наши пожитки стоили так мало, что не имело смысла забирать их в счет долга — перевозка обошлась бы дороже. Однако мы все-таки переехали обратно на Поунэлл-террас, в дом номер три.

В это время я познакомился со стариком, который вместе с сыном работал в конюшне на задворках нашей Кеннингтон-роуд. Это были бродячие игрушечных дел мастера из Глазго. Переезжая из города в город, они мастерили свои игрушки и тут же на месте продавали их. Они жили свободно и беззаботно, и я от души завидовал им. Затраты на их производство были очень невелики. При капиталовложении в один шиллинг уже можно было начать дело. Игрушечники собирали коробки из-под ботинок, от которых каждый обувной магазин рад был избавиться, и пробковые опилки, в которых возили виноград, — их они тоже получали задаром. Капитальными затратами были покупки клея на один пенс, еще на пенс — дощечек, на два пенса — бечевки, на пенс — цветной бумаги и на шесть пенсов — трех рулонов цветной фольги. За шиллинг они могли смастерить семь дюжин корабликов и продать их по пенсу за штуку. Борта вырезались из картонных обувных коробок и пришивались к картонному же днищу, потом все обмазывалось клеем и посыпалось пробковыми опилками. К мачтам прикреплялись паруса из цветной фольги; на верхушках, а также на носу и на корме развевались голубые, желтые и красные флажки. Сотня, а то и больше таких игрушечных корабликов с их разноцветными мачтами и флажками являла собой веселое и нарядное зрелище, быстро привлекавшее покупателей, — игрушки распродавались очень легко.

Вскоре после нашего знакомства я начал помогать им мастерить кораблики и довольно быстро приобрел в этом деле сноровку. Когда старик с сыном покинули Кеннингтон, я открыл собственное производство. При довольно ограниченном капитале в шесть пенсов, да еще ценой волдырей, натертых при нарезании картона, мне удалось в течение недели изготовить три дюжины корабликов.

Но у нас на чердаке не хватало места и для маминой работы и для моего кораблестроения. К тому же мать жаловалась на невыносимый запах при варке клея, причем мой горшочек с клеем постоянно угрожал ее белым блузкам, которые, кстати сказать, занимали почти все свободное пространство в нашей комнате. А так как мой вклад в хозяйство был все же меньше маминого, ее работе было оказано предпочтение, и мне пришлось прекратить свое производство.

В этот период нашей жизни мы редко виделись с дедушкой. Последний год дела его шли плохо — от подагры у него распухли руки, и ему стало трудно заниматься починкой обуви. Прежде, когда у него была хоть малейшая возможность, он помогал матери, давая ей шиллинг-другой или угощая нас обедом, который сам и готовил, —

изумительной квакерской густой овсянкой с луком, сваренной на молоке, с солью и перцем. В студеные зимние вечера эта овсянка поддерживала наши силы, и нам не так страшен был холод.

Когда я был еще маленьким, я считал деда очень строгим и сердитым стариком — он всегда делал мне замечания: то я не так веду себя, то неправильно говорю. Из-за этих небольших стычек я стал его недолюбливать. Теперь он лежал в больнице, его свалил ревматизм, и мать каждый день, когда разрешалось, навещала его. Эти посещения имели и свою выгоду — мать всегда возвращалась из больницы с сумкой, полной свежих яиц, что было для нас в ту пору настоящей роскошью. В те дни, когда мать сама не могла пойти, она посылала меня. Я всегда удивлялся тому, что дедушка так радовался моему приходу и бывал со мной так ласков. Его очень любили все няни в больнице. Он рассказывал мне потом, как, шутя, хвастался перед ними, что, хоть ревматизм его и скрутил, вообще-то он еще кавалер хоть куда. Такие игривые шуточки очень забавляли няnek. Когда его не очень мучил ревматизм, он помогал на кухне — оттуда мы и получали яйца. В дни посещений он неизменно оставался в постели и украдкой вытаскивал из тумбочки большой пакет яиц, который я быстро засовывал за пазуху своей матросской курточки.

В продолжение нескольких недель мы питались этими яйцами во всех видах — варили, жарили яичницу, заливали ими картофель. Несмотря на уверения дедушки, что няньки с ним в дружбе и более или менее посвящены в наш секрет, я всегда волновался, уходя из больницы с пакетом, боясь, что вдруг поскользнусь на хорошо натертом полу или кто-нибудь заметит подозрительную опухоль на моем животе. Но интересно, что каждый раз, когда я собирался уходить, все няньки блистательно отсутствовали. Печальным для нас был тот день, когда дедушка, подлечив ревматизм, покинул больницу.

Прошло уже полтора месяца, а Сидней все не возвращался. Сначала мама не очень беспокоилась, но когда прошла еще неделя, она написала в контору компании «Донован и Касл» и получила ответ, что Сидней списан в Кейптауне на берег и помещен в больницу для лечения ревматизма. Эта новость очень встревожила мать, и волнение отразилось на ее здоровье. Однако она продолжала работать, шить на машинке, а тут и мне повезло получить урок танцев, который я после школы давал в одной семье, получая за это пять шиллингов в неделю.

Примерно в это время на Кеннингтон-роуд поселились Маккарти. Миссис Маккарти была когда-то ирландской комической актрисой и близкой подругой матери, но потом она вышла замуж за бухгалтера Уолтера Маккарти. Когда матери пришлось оставить сцену, она потеряла из виду мистера и миссис Маккарти, и только спустя семь лет снова встретилась с ними, когда они поселились в самой лучшей части Кеннингтон-роуд, на Уолкотт-Мэншионс.

С их сыном, Уолли Маккарти, мы были примерно одного возраста и малышами очень любили играть во взрослых — мы изображали актеров варьете, курили воображаемые сигары и ехали в воображаемых колясках, очень забавляя родителей нашими представлениями.

С тех пор как Маккарти поселились на Уолкотт-Мэншионс, мать редко виделась с ними, но зато мы с Уолли стали неразлучными друзьями. Как только у меня в школе кончались уроки, я рысью мчался домой к матери, чтобы узнать, не нужно ли сбегать куда-нибудь по ее поручениям, а потом бежал к Маккарти. Мы играли в театр где-нибудь на задворках Уолкотт-Мэншионс. В качестве режиссера я всегда выбирал для себя роли злодеев, уже и тогда сознавая, что они красочнее положительных героев. Мы играли до тех пор, пока Уолли не звали ужинать. Обычно меня тоже приглашали. Я всегда ухитрялся чем-нибудь услужить хозяйке и тем завоевать ее расположение. Но бывали случаи, когда все мои маневры ни к чему не приводили, и я очень неохотно возвращался

домой. Мать была рада меня видеть и старалась приготовить мне что-нибудь повкуснее — хлеб, поджаренный на сале, или вареное яйцо из дедушкиной больницы и чашку чая. Она читала мне вслух или мы вместе садились у окна, смотрели вниз, и она смешила меня своими замечаниями о прохожих, выдумывая о них забавные истории. Если проходил молодой человек смешной подпрыгивающей походкой, она говорила: «Вот идет мистер Гопшотландец. Он торопится сделать ставку на скачках. Если ему повезет, он купит подержанный велосипед-тандем для себя и для своей девушки».

За ним тащился унылый, задумчивый человек. «Гм, а этот идет домой обедать — знает, что сегодня на обед тушеное мясо с пастернаком, а он его терпеть не может».

Следом вышагивал кто-нибудь с важным, самодовольным видом. «А это — гляди, какой изысканный молодой человек! Правда, он сейчас немного озабочен — у него сзади дырка на штанах».

Кто-то проносился почти бегом. «А этот джентльмен только что выиграл скачку». И так она продолжала шутить, а я смеялся до упаду.

Прошла еще неделя, а от Сиднея по-прежнему не было никаких вестей. Если бы я был постарше и мог бы понять тревогу матери, дальнейшее не застало бы меня врасплох. Я заметил бы, что вот уже несколько дней она безучастно сидит у окна, не убирает комнату и, вопреки обыкновению, все время молчит. Я испугался бы, когда фирма, на которую мать работала, стала находить все больше недочетов в ее шитье и перестала давать ей заказы, а швейную машину у нее забрали за неуплату очередного взноса, и когда неожиданно прекратились уроки танцев, за которые я получал пять шиллингов в неделю. Я должен был заметить, что мать оставалась совершенно равнодушной ко всем этим бедам.

Внезапно умерла миссис Маккарти. Некоторое время она чувствовала недомогание, а потом здоровье ее стало быстро ухудшаться, и она умерла. И тут меня осенила блестящая идея: как было бы замечательно, если бы мистер Маккарти женился на маме, — ведь мы с его сыном Уолли такие друзья. К тому же это было бы идеальным разрешением всех наших трудностей.

Вскоре после похорон я заговорил об этом с матерью.

— Тебе надо теперь почаще видаться с мистером Маккарти. Ручаюсь, он будет рад жениться на тебе.

Мать слабо улыбнулась.

— Дай бедняге погулять на воле.

— Если бы ты приоделась, как раньше, и стала бы покрасивее, он женился бы на тебе. Но ты ничуть не стараешься. Только и знаешь, что сидишь в этой грязной комнате, и вид у тебя стал ужасный.

Бедная мама! Как я теперь сожалею об этих словах. Мне и в голову не приходило, что она просто ослабела от постоянного недоедания. На следующий день, сделав нечеловеческое усилие, она все-таки убрала нашу комнату.

Было время летних каникул, и я пораньше удрал к Маккарти, только бы не видеть нашей мрачной мансарды. Они приглашали меня остаться пообедать, но какое-то внутреннее чувство подсказало мне, что я должен скорей вернуться домой к матери. Когда я свернул на Поунэлл-террас, у калитки меня остановили соседские ребяташки.

— А твоя мать помешалась, — сказала какая-то малышка.

Мне показалось, будто меня ударили по лицу.

— Врешь ты все.

— Нет, правда, — подтвердила другая девочка. — Она стучала ко всем соседям и предлагала кусочки угля на подарки детям ко дню рождения. Спроси у моей мамы, если не веришь.

Не слушая больше, я кинулся по дорожке к дому, взбежал по лестнице и распахнул дверь нашей комнаты. Совсем запыхавшись, я остановился, чтобы перевести дух и внимательно посмотрел на мать. День был жаркий, и в нашей каморке стояла невыносимая духота. Мать, как всегда, сидела у окна. Она медленно обернулась и посмотрела на меня. Лицо у нее было бледное и измученное.

— Мама! — отчаянно закричал я.

— Ну, что тебе? — спросила она безучастно.

Я подбежал к ней, упал на колени, зарылся лицом в подол ее платья и горько заплакал.

— Ну, ну, — ласково сказала она и погладила меня по голове. — Что случилось?

— Ты больна, — всхлипывал я.

— Что ты! Я здорова, — ответила она, стараясь меня успокоить.

Однако вид у нее был рассеянный и какой-то отсутствующий.

— Нет! Нет! Они говорят, что ты ходила ко всем соседям и... — я не мог договорить, захлебнувшись в рыданиях.

— Я искала Сиднея, — сказала она растерянно. — Они прячут его от меня.

И тут я понял, что девочки сказали мне правду.

— Ой, мамочка, не говори так! Не надо! Не надо! — рыдал я. — Позволь мне позвать к тебе доктора.

Она продолжала гладить меня по голове.

— Маккарти знают, где он, но они прячут его от меня.

— Мамочка, позволь мне привести доктора, — умолял я и, вскочив, побежал к двери.

Она огорченно посмотрела на меня.

— Куда ты идешь?

— За доктором. Я ненадолго.

Она ничего не ответила, но продолжала тревожно смотреть мне вслед. Я быстро сбежал вниз к хозяйке.

— Мне нужно позвать доктора, мама заболела!

— Мы уже послали за доктором, — сказала хозяйка.

Приходский врач был стар и раздражителен. Выслушав рассказ хозяйки, который был схож с тем, что я услышал от детей, он осмотрел мать очень невнимательно.

— Душевнобольная, — сказал он, — ее надо отправить в больницу.

Доктор написал свое заключение, указав, в частности, что больная сильно истощена. Мне он объяснил, что мать заболела оттого, что голодала.



— В больнице ей будет лучше, да и кормить ее там будут как следует, — утешала меня хозяйка.

Она собрала вещи матери и помогла мне одеть ее. Мать была послушна, как ребенок. Она была так слаба, что у нее уже не было своей воли. Когда мы выходили из дома, соседи собрались у калитки, глаза на нас с любопытством и страхом.

Больница находилась примерно в миле от нашего дома. Мы еле брели, и, хотя я поддерживал мать, она шаталась, словно пьяная. Беспощадное летнее солнце безжалостно выставляло напоказ наше горе. Прохожие, вероятно, думали, что мать пьяна, но я почти не замечал их. Мать молчала, однако мне казалось, что она понимает, куда мы идем, и хочет только поскорей добраться. По дороге я старался ободрить ее, а она только улыбалась в ответ — говорить у нее не было сил.

Наконец мы добрались до больницы, и я передал записку приходского доктора молодому дежурному врачу. Прочитав ее, он ласково обратился к матери: «Ну что же, миссис Чаплин, пройдите вон туда».

Она покорно повернулась. Но когда сестры взяли ее под руки, чтобы увести, она вдруг оглянулась с тоской в глазах, поняв, что я с ней дальше не пойду.

— Я приду к тебе завтра, — притворно веселым голосом сказал я.

Ее увели, но, уходя, она продолжала тревожно оглядываться на меня. Когда она вышла, доктор повернулся ко мне: «А что теперь будет с вами, молодой человек?» Я был сыт по горло приютами и вежливо ответил: «Я буду жить у тети».

Когда я возвращался домой из больницы, оцепенев от горя, все-таки на душе у меня стало полегче, потому что я знал, что в больнице маме будет лучше и ей не придется больше сидеть одной в темной комнате и голодать. Но я никогда не забуду ее надрывавшего мне сердце взгляда в ту минуту, когда ее уводили от меня. Я вспоминал ее ласковую веселость, ее доброту и нежность; вспоминал, как она, худенькая, усталая и озабоченная, шла по улице, но, едва завидев меня, бегущего к ней навстречу, мгновенно преображалась и начинала радостно улыбаться, а я нетерпеливо заглядывал в бумажный пакетик, в котором она всегда приносила с собой какое-нибудь лакомство для меня и Сиднея. Даже в это утро, когда я заплакал, уткнувшись в подол ее платья, она совала мне припрятанный леденец.

Я не мог пойти прямо домой. Я повернул в сторону рынка на Ньюингтон-Баттс и до позднего вечера бродил там, заглядывая в витрины магазинов. Когда я вернулся на наш чердак, в его пустоте мне почудился какой-то укор. На стуле стоял таз с водой, в котором мама замочила две моих рубашки и свою сорочку. Мне хотелось есть, но в шкафу не оказалось никакой еды, кроме маленькой начатой пачки чаю. На полке над очагом лежал мамин кошелек, в котором я нашел три полпенни, ключи и несколько квитанций на заложенные вещи. На краю стола лежал тот леденец, который она для меня припрятала. И тут я снова горько заплакал.

Утомленный всем пережитым, я крепко проспал эту ночь, а утром проснулся и сразу ощутил страшную пустоту нашей комнаты. Лучи яркого солнца, игравшие на полу, заставили меня еще острее почувствовать мамино отсутствие. Вскоре пришла хозяйка и сказала, что я могу пожить здесь, пока она не сдаст нашу комнату, а если мне нечего будет есть, я должен попросить у нее. Я поблагодарил ее, сказав, что, когда Сидней вернется, он оплатит наши долги. Я был слишком застенчив, чтобы попросить у нее поесть.

На следующий день я не пошел навестить мать, как обещал, — это было слишком тяжело. Но хозяйка видела врача, и он сказал, что мать уже перевели в Кэнхиллскую

психиатрическую лечебницу. Эта грустная новость немного облегчила укоры совести — Кэнхилл был в двадцати милях от Лондона, и у меня не было никакой возможности туда добраться. Скоро должен вернуться Сидней, и тогда мы сможем вместе повидать ее. Первые несколько дней я не видел никого из знакомых и ни с кем не разговаривал.

Ранним утром я, крадучись, выходил из дома, и весь день где-то бродил. Я всегда ухитрялся добыть себе какую-нибудь пищу, а если и не поем когда — тоже не беда. Но однажды утром хозяйка встретила меня в тот момент, когда я, крадучись, спускался по лестнице, и спросила, завтракал ли я. Я покачал головой. «Тогда сейчас же идем ко мне», — сказала она в своей грубоватой манере.

Маккарти я избегал — мне не хотелось, чтобы они узнали, что случилось с мамой. В это время я от всех бегал.

Я уже неделю жил без матери и начал привыкать к своему новому безнадзорному существованию, которое меня не радовало, но и не тяготило. Больше всего я опасался нашей квартирной хозяйки. Ведь если Сидней не вернется, то рано или поздно она должна будет сообщить обо мне приходским властям, и меня снова отправят в Хэнуэллский приют. Поэтому я всячески избегал попадаться ей на глаза и иногда даже не ночевал дома.

В это время я познакомился с двумя пильщиками дров — печальными оборванцами, которые работали в темном сарае на задворках Кеннингтон-роуд. Переговариваясь вполголоса, они с утра до вечера пилили и кололи дрова и связывали их в маленькие вязанки для продажи по полпенса за штуку, а я стоял у открытых ворот и смотрел на них. Они брали толстый полуметровый чурбак, раскалывали его на поленья, потом поленья кололи на щепу. Они кололи дрова быстро и ловко, их работа приводила меня в восхищение и казалась очень заманчивой. Вскоре я начал им помогать. Они покупали бревна у подрядчиков, которые сносили старые дома, привозили их в свой сарай и укладывали, на следующий день пилили, а на третий день кололи. По пятницам и субботам они продавали дрова. Но продажа меня не интересовала — гораздо приятней было работать в сарае в дружеской компании.

Это были тихие, приветливые люди, лет под сорок, хотя выглядели они и вели себя так, словно были гораздо старше. У Хозяина (как мы его звали) был красный диабетический нос, а из всех зубов на верхней челюсти сохранился только один клык. И все-таки выражение его лица было добрым и ласковым. Он очень забавно улыбался, обнажая свой единственный клык. Если не хватало чайной чашки, он подбирал консервную банку из-под молока и, сполоснув ее, улыбаясь спрашивал: «Ну как, подойдет?» Другой пильщик был тоже приятный, спокойный, толстогубый человек; у него было бледное лицо и медлительная речь. Около часу дня, взглянув на меня, Хозяин обычно спрашивал:

— А тебе доводилось пробовать гренки с приправой из сырных корок?

— А как же! — отвечал я.

И тут, рассмеявшись и подмигнув мне, он давал мне два пенса, и я отправлялся за угол в бакалейную лавочку Эша, который питал ко мне симпатию и всегда отпускал мне больше, чем полагалось за мои деньги. Я покупал на пенс сырных корок и на пенс хлеба. Помыв корки и измельчив их, мы наливали в них воду, сыпали соль и перец. Иногда Хозяин добавлял сюда кусочек сала и половину луковицы. С хлебом получалось вкусное блюдо, особенно если запить его кружкой горячего чаю.

Я не заговаривал о деньгах, но в конце недели Хозяин дал мне шесть пенсов — это было приятной неожиданностью.

У Джо — второго пильщика — иногда бывали припадки, и тогда Хозяин жег у него под носом оберточную бумагу, чтобы привести его в чувство. Бывало, что у Джо показывалась даже пена в углах рта и он прикусывал язык, а когда приходил в себя, он смотрел робко и пристыженно.

Они работали с семи утра и до семи вечера, а иногда и позже, но когда запирали сарай и уходили домой, мне всегда становилось грустно. Как-то вечером Хозяин решил устроить нам праздник и купил двухпенсовые билеты на галерку в мюзик-холл. Мы с Джо уже помылись и почистились и с трепетом дожидались только Хозяина, чтобы отправиться в театр. Я был вне себя от волнения — эту неделю там играла труппа Фреда Карно (актером которой я стал через несколько лет); они показывали комедию «Ранние пташки». Джо стоял, прислонившись к стене сарая, я — напротив него. Неожиданно Джо захрипел и, съехав вбок по стене, упал на землю и забился в припадке. Слишком напряженным было наше ожидание. Хозяин хотел остаться и присмотреть за Джо, но тот, очнувшись, настоял, чтобы мы пошли в театр без него, — завтра к утру он уже будет совсем здоров.

Словно страшный призрак, меня постоянно преследовала мысль о приюте. Иногда пильщики спрашивали меня о школе, а когда кончились каникулы, очевидно, начали что-то подозревать. Я стал приходить к ним только тогда, когда занятия в школе уже кончались. Но как долго тянулось время, пока я бродил по улицам, словно укорявшим меня за мою неприкаянность, и ждал половины пятого, когда уже можно было бежать в мое уютное полутемное убежище, к пильщикам.

И вот однажды вечером, когда я тихонько крался на свой чердак, меня окликнула хозяйка, которая не ложилась спать, дожидаясь моего возвращения. Очень взволнованная, она торжественно протянула мне телеграмму, — и я прочел: «Приеду завтра десять утра вокзал Ватерлоо. Целую Сидней».

На вокзале, встречая его, я, должно быть, являл собой жалкое зрелище: моя одежда успела превратиться в лохмотья, башмаки просили каши, подкладка выглядывала из-под кепки, словно нижняя юбка из-под платья. К тому же последнее время, если уж приходилось умываться, я предпочитал проделывать это под краном в сарае — мне не слишком хотелось таскать воду на третий этаж, да еще через хозяйскую кухню. Я встречал Сиднея, а за ушами и на шее у меня чернели ночные тени.

Оглядев меня, брат спросил:

— Что случилось?

Я сразу и не слишком мягко выложил свои новости:

— Мама сошла с ума, и нам пришлось отправить ее в больницу.

Лицо Сиднея омрачилось, но он сразу взял себя в руки:

— Где ты живешь?

— Там же, где и раньше, на Поунэлл-террас.

Он отошел к своему багажу, и тут я заметил, что он очень исхудал. Сидней нанял извозчика, и носильщики погрузили его багаж в карету. Среди других вещей я заметил корзину бананов!

— Это наши? — живо осведомился я.

Он кивнул.

— Только они еще совсем зеленые. Придется подождать денек-другой, пока их можно будет есть.

По дороге домой он начал расспрашивать меня о матери. Я был слишком возбужден и не сумел ничего толком объяснить. А он рассказал мне, что заболел и что в Кейптауне его свезли с парохода в больницу. Однако на обратном пути он заработал двадцать фунтов и всю дорогу мечтал, как отдаст их матери. Он заработал эти деньги, устраивая лотереи и тотализаторы для солдат.

Сидней посвятил меня в свои планы. Он намеревался бросить пароход и стать актером. Он считал, что заработанных им денег нам должно хватить на пять месяцев, а за это время он подыщет работу в театре.

Наш приезд в карете да еще с корзиной бананов произвел впечатление и на соседей и на хозяйку. Она рассказала Сиднею о болезни матери, избегая, однако, неприятных подробностей.

В тот же день Сидней отправился за покупками и купил мне новую одежду, а вечером, разодевшись, мы сидели в партере мюзик-холла. Во время представления Сидней не устал повторять:

— Ты только подумай, что бы значил сегодняшний вечер для мамы!

К концу недели мы поехали в Кэнхиллскую больницу навестить ее. Минуты, пока мы ждали в комнате для свиданий, были невыразимо мучительны. Я помню, как повернулся ключ в замке и вошла мать. Она была очень бледна, и губы у нее были синие. Она узнала нас, но не обрадовалась. От ее былой жизнерадостности не осталось и следа. Ее сопровождала сестра, безобидная, но очень говорливая женщина, которая оставалась при нашем свидании. Ей все время очень хотелось вставить словечко:

— До чего же обидно, что вы попали в такое время, — лепетала она, — а мы, как на грех, сегодня немножко не в себе, правда, моя дорогая?

Мать вежливо взглянула на нее, слегка улыбнулась, будто ждала, когда же она уйдет.

— Вот приходите в другой раз, когда мы будем получше себя чувствовать, — добавила сестра.

В конце концов она все-таки ушла, и мы остались одни. Но хотя Сидней всячески пытался развеселить мать, рассказывая ей о своей удаче, о том, сколько денег он заработал и почему так долго не возвращался, она слушала его молча и только рассеянно кивала головой, занятая какими-то своими мыслями. Я сказал ей, что она скоро поправится.

— Если бы ты только дал мне тогда чашку чаю, — ответила она жалобно, — я не заболела бы.

Потом доктор объяснил Сиднею, что постоянный голод несомненно повлиял на ее рассудок, и ей необходимо долго лечиться. Хотя у нее бывают минуты просветления, чтобы окончательно вылечить ее, потребуется много месяцев. А у меня в ушах еще долго звучали ее слова: «Если бы ты только дал мне тогда чашку чаю... я не заболела бы!»

## V

Джозеф Конрад как-то писал своему другу, что, думая о жизни, он чувствует себя слепой крысой, которую загнали в угол и вот-вот добьют палкой. Это сравнение довольно точно характеризовало положение, в котором мы очутились к тому времени. Но иногда человеку вдруг улыбается счастье. Так случилось и со мной.

Я продавал газеты, клеил игрушки, работал в типографии, в стеклодувной мастерской, в приемной врача и так далее, но чем бы я ни занимался, я, как и Сидней, помнил, что все это временно и в конце концов я стану актером. Перед тем как поступить на очередное место, я начищал башмаки и костюм, надевал чистый воротничок и отправлялся в театральное агентство на Бэдфорд-стрит, возле Стрэнда. Только когда костюм мой приобрел совершенно неприличный вид, я прекратил эти хождения.

В первый раз, когда я туда пришел, приемную украшали своим присутствием элегантные служители Мельпомены обоего пола, которые величественно беседовали друг с другом. Трепеща от волнения, я стоял в дальнем уголке, возле двери, мучительно робея и стараясь быть как можно незаметнее: слишком уж поношен был мой костюм, а носки башмаков подозрительно вспухли, готовые лопнуть, как почки на деревьях. Время от времени из кабинета выходил молодой служащий и, словно серпом, срезал под корень высокомерие актеров, коротко бросая: «Для вас ничего... и для вас... и для вас». Приемная мгновенно пустела — точно церковь по окончании службы. И вот как-то раз, когда все быстро разошлось, я остался в приемной один. Увидев меня, молодой человек остановился:

— А вам что угодно?

Я почувствовал себя, как Оливер Твист, попросивший добавки.

— Нет ли у вас роли для мальчика, — пробормотал я.

— Вы зарегистрированы?

Я покачал головой.

К моему великому удивлению, он повел меня в соседнюю комнату, записал мое имя и адрес и еще некоторые подробности, а затем сказал, что даст мне знать, если подвернется что-нибудь подходящее. Я ушел с приятным сознанием исполненного долга, но скорее довольный тем, что из этого ничего не вышло.

И вот теперь, через месяц после возвращения Сиднея, я получаю открытку, в которой черным по белому сказано: «Будьте добры зайти в агентство Блэкмор, Бэдфорд-стрит, Стрэнд».

Я явился туда, облаченный в новый костюм, и был приглашен к самому мистеру Блэкмору, чьи улыбки источали любезность и благожелательность. Мистер Блэкмор, которого я представлял себе всевидящим и всемогущим, обошелся со мной очень ласково и тут же дал мне записку к мистеру Гамильтону в бюро Чарльза Фромана.

Мистер Гамильтон прочел записку и, рассмеявшись, спросил, не слишком ли я мал. Разумеется, я скрыл свой истинный возраст и сообщил ему, что мне уже четырнадцать — на самом деле мне было двенадцать с половиной. Он мне пояснил, что я должен буду играть посылного Билли в пьесе «Шерлок Холмс» и с осени на десять месяцев поехать в турне.

— А пока, — продолжал мистер Гамильтон, — для вас есть прекрасная роль мальчика в новой пьесе «Джим, роман оборванца» мистера Х.-А. Сентсбери — джентльмена, который в турне будет играть самого Шерлока Холмса.

«Джима» собирались поставить в Кингстоне — это был пробный ангажемент. И здесь, как потом за «Шерлока Холмса», я должен был получать по два фунта десять шиллингов в неделю.

Хотя эта сумма показалась мне манной небесной, я и бровью не повел.

— По поводу условий я должен еще посоветоваться с братом, — заявил я с важным видом.

Мистер Гамильтон расхохотался и, по-видимому, от души, а затем вызвал всех служащих поглядеть на меня.

— Вот наш Билли! Как он вам нравится?

Все были в восторге и улыбались мне. Что произошло? Мне казалось, что мир вдруг преобразился и заключил меня в любящие родительские объятия. Мистер Гамильтон дал мне записку к мистеру Сентсбери, которого, по его словам, я мог найти в клубе «Зеленая комната» на Лейстер-сквер, и я ушел, от радости ног под собой не чуя.

И в «Зеленой комнате» мистер Сентсбери тоже созвал всех членов клуба поглядеть на меня. Затем он вручил мне роль Сэмми, присовокупив, что это одна из главных ролей в его пьесе. Я побаивался, что он попросит меня почитать ее тут же, при нем, а это поставило бы меня в затруднительное положение: ведь читать-то я почти не умел. Но, к счастью, он велел мне взять ее домой и почитать на досуге, так как репетиции начнутся только через неделю.

Опьянев от счастья, я отправился домой в омнибусе, мало-помалу начиная осознавать, что со мной произошло. Наконец-то я вырвался из оков нищеты и вступил в долгожданное царство своей мечты — в царство, о котором так часто и так самозабвенно говорила мать. Я стану актером! И все это пришло вдруг и так неожиданно! Я перелистывал страницы своей роли, у нее была новенькая обложка из толстой оберточной бумаги. Мне никогда еще не приходилось держать в руках столь важного документа. И в омнибусе, по дороге домой, я вдруг осознал, что перешел важный рубеж: я уже больше не жалкий обитатель трущоб, я причастен к театру. Мне хотелось плакать.

Глаза Сиднея тоже наполнились слезами, когда я рассказал ему, что произошло. Он сидел на кровати, задумчиво глядел в окно и кивал головой, а потом сказал торжественным тоном:

— Это поворотный момент в нашей жизни. Если бы только мама была здесь и могла порадоваться вместе с нами.

— Ты подумай, — продолжал я, задыхаясь от восторга, — десять месяцев я буду получать по два фунта десять шиллингов в неделю. А я еще сказал мистеру Гамильтону, что мои дела ведешь ты, и, значит, — мечтательно добавил я, — мы можем попытаться получить еще больше. И уж, во всяком случае, в этом году мы сумеем отложить про черный день не меньше шестидесяти фунтов!

После того как наши восторги немного поостыли, мы рассудили, что два фунта десять шиллингов за такую большую роль — это действительно мало. Сидней хотел добиться прибавки.

— Почему бы и не попробовать! — поддержал я его в этом намерении. Но мистер Гамильтон оставался тверд, как скала.

— Два фунта десять — это максимум, — сказал он. Но мы-то были рады и этому.

Сидней читал мне роль вслух и помог выучить ее наизусть. Роль была большая, страниц на тридцать пять, но через три дня я уже знал ее всю.

«Джим» репетировался в верхнем фойе театра «Друри-Лейн». Сидней натаскивал меня с таким усердием, что я говорил почти без запинки. Мне не давалась только одна реплика: «Вот еще Пирпонт Морган выискался!». Я неизменно произносил это имя «Паттерпонт Морган». Мистер Сентсбери велел мне так и оставить. Эти первые репетиции оказались для меня откровением. Они раскрывали передо мной новый мир техники сценического искусства. Я понятия не имел, что существуют ритм действия, умение держать паузу, умение легко входить в предлагаемую режиссером мизансцену.

Все это пришло ко мне само собой. Мистеру Сентсбери пришлось исправить только один мой недостаток: говоря, я дергал головой и слишком гримасничал.

Прорепетировав со мной несколько сцен, он удивленно спросил, не приходилось ли мне играть и раньше? Как же я был счастлив тем, что понравился мистеру Сентсбери и всей остальной труппе! Но принимал я все эти похвалы так, словно они причитались мне от рождения.

Мы должны были играть «Джима» на пробу — неделю в театре Кингстон, а неделю в Фулхеме. Это была мелодрама, написанная по «Серебряному королю» Генри Артура Джонса, о богаче-аристократе, потерявшем память. Он живет в мансарде с юной цветочницей и мальчишкой газетчиком Сэмми, роль которого я и играл. По линии нравственности в нашей мелодраме все было в полнейшем порядке — девушка спала в стенном шкафу мансарды, Герцог, как мы его звали, — на диване, а я — на полу.

Действие первого акта происходило в доме номер 7-А, по Темпл-корт, в кабинете преуспевающего адвоката Джеймса Ситона Гэтлока. Нищий, оборванный Герцог приходит к своему бывшему сопернику — когда-то они оба любили одну женщину — и просит у него милостыни, чтобы помочь больной цветочнице, спасшей его во время болезни.

Но злодей грубо выгоняет Герцога: «Вон отсюда! Убирайся! Подышайте с голоду оба — и ты и твоя уличная девка!»

И тут хрупкий и слабый Герцог, намереваясь ударить злодея, хватается со стола нож, но роняет его и в припадке эпилепсии без сознания падает к ногам Гэтлока. В этот момент входит бывшая жена злодея, в которую когда-то был влюблен нищий Герцог. Она умоляет адвоката помочь несчастному: «Ему всю жизнь не везло — и в любви и в делах. Ты должен помочь ему!»

Но злодей отказывается. Сцена достигает крайней степени напряжения в тот момент, когда он обвиняет свою бывшую жену в измене с этим нищим и угрожает ей. В бешенстве она хватается нож, выпавший из рук несчастного, и вонзает его в грудь злодея: тот мертвым падает в кресло. А нищий в беспомощности продолжает лежать на полу у его ног. Женщина исчезает, Герцог, очнувшись, видит своего соперника мертвым. «О, боже, что я наделал!» — восклицает он.

И за сим следует довольно неожиданное действие. Герцог обследует карманы убитого, нащупывает кошелек, в котором находит несколько фунтов, бриллиантовое кольцо и другие драгоценности. Скрываясь через окно, он говорит: «Прощай, Гэтлок! И все-таки ты мне помог!» Занавес.

В следующем акте место действия — мансарда, где жил Герцог. Поднимается занавес. На сцене сыщик. Он заглядывает в стенной шкаф. В этот момент вхожу я, весело насвистывая, но, увидев сыщика, останавливаюсь.

«Мальчишка. Эй, вы! Может, вы не знаете, что это дамская спальня?»

Сыщик. Что?! В шкафу? Поди-ка сюда.

Мальчишка. Какая наглость, а?

Сыщик. Ты это брось. Входи и закрой за собой дверь.

Мальчишка (*подходя к нему*). Вот это я понимаю — вежливость! Приглашают человека в его собственную гостиную.

Сыщик. Я сыщик.

Мальчишка. Что? Шпик? Меня здесь нет!

Сыщик. Да я тебе ничего плохого не сделаю. Я хочу только кое-что разузнать, чтобы оказать услугу одному человеку.

Мальчишка. Услугу? Как бы не так! Тут еще пока от шпииков добра не видели.

Сыщик. Не будь дураком! Неужели я стал бы тебе рассказывать, что служу в полиции, если б хотел тебя зацапать?!

Мальчишка. Вот спасибо, дяденька, а то я сам бы не догадался!

Сыщик. Кто здесь живет?

Мальчишка. Герцог.

Сыщик. Да, но как его настоящее имя?

Мальчишка. Не знаю. Он говорит, что «Герцог» — это его «nom de guerre» \*, и, провались я на этом месте, если я знаю, что это значит.

Сыщик. А каков он из себя?

Мальчишка. Худой, как щепка. Волосы седые, бритый, ходит в цилиндре, в глазу стеклышко. И как он на вас через это стеклышко взглянет — душа в пятки!

Сыщик. А Джим? Кто он?

Мальчишка. Он?! Вы хотите сказать — она?

Сыщик. А... Значит, это та дама, которая...

Мальчишка (*перебивая*). ...спит в шкафу. А эта комната наша — моя и Герцога...» И т. д. и т. д.

---

\* — прозвище (*франц.*).

Роль у меня была большая и, хотите верьте, хотите нет, очень нравилась публике — может быть, еще и потому, что я выглядел даже моложе своего возраста. Каждая моя реплика вызывала смех. Меня смущала только кое-какая техника. Например, как надо заваривать на сцене настоящий чай — я не знал, нужно ли сначала насыпать в чайник чай, а потом налить кипятку, или наоборот. Как это ни парадоксально, тогда мне было легче говорить на сцене, чем действовать.

«Джим» не имел успеха. Рецензенты разнесли пьесу в пух и прах, но тем не менее дали обо мне несколько благоприятных отзывов. Особенно благожелателен был один из них — мне его показал актер нашей труппы, мистер Чарльз Рокк. Это был старый и довольно известный актер, с которым мне пришлось играть большую часть своих сцен. «Молодой человек,— сказал он торжественно, — смотрите, чтобы у вас голова не закружилась, когда вы это прочтете!» И, преподав мне наставление о пользе скромности и вежливости, он прочел мне обзор из «Лондон Топикал Таймс», который я запомнил слово в слово. После нелестного разбора пьесы, критик писал: «Единственное, что спасает пьесу, это роль Сэмми — малыша-газетчика, этакого продувного лондонского уличного мальчишки, вызывавшая смех зрителей. Достаточно банальная и избитая, она была, однако, очень забавна в исполнении юного Чарльза Чаплина, способного и темпераментного молодого актера. Мне еще не приходилось слышать об этом мальчишке, но я надеюсь в самом ближайшем будущем услышать о нем немало». Сидней купил дюжину экземпляров этой газеты.

Закончив двухнедельные гастроли «Джима», мы начали репетировать «Шерлока Холмса». Мы с Сиднеем продолжали жить на Поунэлл-террас, так как все еще не были уверены в прочности своего положения.



Во время этих репетиций мы с ним съездили в Кэнхилл повидаться с матерью. Сначала сестры сказали нам, что ее нельзя увидеть, она себя плохо чувствует. Они отозвали Сиднея в уголок, но я слышал, как он им ответил: «Нет, я думаю, он не захочет». А потом, обернувшись ко мне, он грустно спросил:

— Ты ведь не хочешь увидеть маму в палате для буйных?

— Нет, нет! Я этого не вынесу! — сказал я, с ужасом отшатнувшись.

Но Сидней к ней пошел, и мать узнала его и даже вела себя вполне разумно. Несколько минут спустя сестра сказала мне, что мать сейчас в достаточно хорошем состоянии, и если я хочу, то могу ее повидать. Мы сидели втроем в палате, обитой войлоком, и разговаривали. Перед нашим уходом она вдруг отвела меня в сторону и подавленно прошептала: «Только смотри, не заблудись — они могут тебя здесь оставить!» Она пробыла в Кэнхилле полтора года. И Сидней аккуратно навещал ее, пока я был на гастролях.

Мистер Сентсбери, игравший Холмса в нашем турне, словно сошел с картинки в «Стрэнд мэгэзин». У него было тонкое интеллигентное лицо и высокий лоб. Он считался самым лучшим Холмсом, даже лучше Уильяма Джиллета<sup>1</sup>, первого Холмса и автора пьесы.

Дирекция театра решила, что во время турне я буду жить с мистером и миссис Грин — театральным плотником и его женой — костюмершей. Но мне это не слишком понравилось. Мистер и миссис Грин по временам напивались. Кроме того, мне не всегда хотелось есть тогда, когда хотелось им, и есть то, что ели они. Да и они, очевидно, тяготились мною. Через три недели мы, по обоюдному согласию, расстались. Однако я был слишком молод для того, чтобы жить с другими членами нашей труппы, и мне пришлось жить одному. Я бродил в одиночестве по незнакомым городам, спал в чужих комнатах, ни с кем не виделся до вечерних представлений, и весь день не слышал человеческого голоса, кроме собственного — иногда я разговаривал сам с собой. Порой я заходил в бар, где собирались актеры нашей труппы, и смотрел, как они играют на бильярде. Но я всегда чувствовал, что мое присутствие мешает им, и они, не стесняясь, давали мне это понять. Если я улыбался какой-нибудь легкомысленной шуточке, они сразу хмурились.

Мало-помалу мной овладела тоска. На новое место мы приезжали в воскресенье вечером, и я особенно остро ощущал свое одиночество, торопливо шагая по неосвещенной главной улице северного города и слушая унылый колокольный звон. В будни я бродил по местному рынку и покупал овощи и мясо, а хозяйка готовила мне из них обед. Иногда я снимал комнату с питанием, и тогда я ел вместе с семьей на кухне. Мне это очень нравилось — кухни в небогатых домах на севере, с их начищенными печными решетками и синими очагами сверкали чистотой и были очень уютными. А в пасмурный холодный день было удивительно приятно войти с улицы в кухню, где хозяйка пекла хлеб, почувствовать жар ярко пылающего ланкаширского очага, увидеть расставленные вокруг формы с подходившим тестом и сесть за стол пить чай вместе со всей семьей, в торжественном молчании поглощавшей душистые ломти еще теплого хлеба со свежим маслом.

Наше турне длилось уже шесть месяцев. Сиднею так и не удалось устроиться в театре, он был вынужден распрощаться со своей мечтой о сцене и стать буфетчиком в «Угольной яме» на Стрэнде. Его выбрали из ста пятидесяти претендентов на это место, но он чувствовал себя бесконечно униженным.

Он писал мне регулярно и всегда сообщал новости о здоровье матери, но я редко отвечал на его письма — в частности потому, что был не в ладах с правописанием. Но одно его письмо меня глубоко тронуло и еще больше сблизило нас. В этом письме он упрекал меня за то, что я не отвечаю ему, хотя нам пришлось вместе перенести много горя, и мы должны держаться друг за друга.

«С тех пор как заболела мама, — писал Сидней, — у нас никого не осталось на свете, кроме друг друга. И поэтому ты должен писать мне почаще, чтобы я чувствовал, что у меня есть брат».

Письмо взволновало меня, и я немедленно ответил ему. Я увидел Сиднея в другом свете. Его письмо скрепило нашу братскую любовь, которую я пронес через всю жизнь.

Постепенно я привык к одиночеству. Но зато почти разучился разговаривать, и когда мне случалось неожиданно встретиться с кем-нибудь из нашей труппы, я мучительно смущался и в ответ на вопросы бормотал что-то бессвязное. Конечно, человек отходил встревоженный, опасаясь за мой рассудок. Наша примадонна, мисс Грета Хаан, была красивой, милой и очень доброй женщиной, но стоило мне увидеть, что она переходит улицу, направляясь ко мне, как я отворачивался к какой-нибудь витрине или просто уходил в другую сторону, лишь бы не встретиться с ней.

Я перестал следить за собой, сделался неряшливым. Всегда опаздывал, являлся к самому отходу поезда, без воротничка, за что неизменно получал выговоры.

Потом я приобрел товарища — купил кролика. Куда бы мы ни приезжали, я тайком от хозяйки устраивал его у себя в комнате. Это был прелестный зверек, к сожалению, не приученный жить в домашней обстановке. Шерсть у него была удивительно белая и чистенькая; просто не верилось, что он способен так скверно пахнуть. Я держал его под кроватью в деревянной клетке. Утром хозяйка весело входила ко мне в комнату с завтраком, но в полном замешательстве удалялась, почувствовав вонь. Как только дверь за ней захлопывалась, я выпускал кролика, и он вприпрыжку бегал по комнате.

Вскоре я выучил его прятаться в клетку, едва раздастся стук в дверь. Если хозяйка раскрывала мой секрет, я заставлял кролика показать свой номер, после чего она обычно смягчалась и соглашалась потерпеть до конца недели.

Но в Тонипенди, в Уэльсе, посмотрев наш фокус, хозяйка, не произнеся ни слова, загадочно улыбнулась, а когда я вечером вернулся из театра, я обнаружил, что мой любимец пропал. Я спросил о нем хозяйку, но она только покачала головой. «Должно быть, убежал или его украли!» Она по-своему, но достаточно эффективно разрешила эту проблему.

Из Тонипенди мы поехали в шахтерский городок Эббу-Вейл. Там мы должны были дать только три спектакля. И я рад был, что не больше — в те дни Эббу-Вейл был мрачным, сырым поселком, застроенным одинаковыми унылыми четырехкомнатными домиками, с керосиновой лампой в каждом окне. Большинство наших актеров поселились в небольшой гостинице, а я подыскал комнату в доме шахтера, хотя и маленькую, но удобную и чистую. Когда я поздно вечером возвращался после спектакля, меня ждал ужин, оставленный в очаге, чтобы не остыл.

Во взгляде хозяйки дома, красивой женщины средних лет, было что-то трагическое. Она входила по утрам в мою комнату с завтраком, не говоря ни слова. Я заметил, что дверь кухни была всегда заперта, а когда я стучал, чтобы попросить что-нибудь, хозяйка лишь чуть-чуть приоткрывала ее.

На другой день после моего приезда, когда я ужинал, в мою комнату вошел хозяин дома. Он был примерно одних лет со своей женой. Он заглянул ко мне по дороге в

спальню — в руке он держал зажженную свечу. В этот вечер хозяин был в театре и очень хвалил наше представление. Вдруг он умолк и о чем-то задумался.

— Знаете, у меня может найтись кое-что интересное для вашего театра. Вы видели когда-нибудь человека-лягушку? Возьмите-ка свечу, а я зажгу лампу.

Он повел меня в кухню, поставил лампу на буфет, нижняя часть которого вместо дверцы была задернута занавеской. «Ну-ка, Гилберт, вылезай!» — сказал хозяин, откидывая занавеску.

Из буфета выполз получеловек — без ног, с огромной плоской головой, светловолосый, с мучнисто-белым лицом, большим ртом, запавшим носом и мощными, мускулистыми руками. На нем были фланелевые кальсоны с отрезанными штанинами — из дыр торчали десять толстых, похожих на обрубки пальцев. Этому страшному существу можно было дать и двадцать и сорок лет. Он посмотрел на нас и ухмыльнулся, обнажив желтые редкие зубы.

— Ну-ка, Гилберт, попрыгай, — скомандовал отец, и несчастный припал на руках к полу и тут же взлетел почти до уровня моей головы.

— Как, по-вашему, годится он для цирка? Человек-лягушка!

Я был в таком ужасе, что почти лишился языка. Но все-таки я назвал несколько цирков, куда он мог бы написать.

Отец настоял, чтобы урод показал мне еще несколько номеров, — он прыгал, лазал, делал стойку. Когда он наконец кончил, я сделал вид, что пришел в восторг, и похвалил его.

— Спокойной ночи, Гилберт, — сказал я уходя, и бедняга невнятно пролепетал: «Спокойной ночи».

Ночью я просыпался несколько раз и все пробовал, заперта ли дверь. Наутро хозяйка вдруг стала очень разговорчива.

— Вы, оказывается, вчера видели Гилберта, — сказала она. — Вы, конечно, понимаете, что он спит в буфете, только когда мы пускаем к себе жильцов из театра.

И тут мне пришла в голову ужасная мысль, что я спал в кровати Гилберта.

— Да, да, — ответил я и с наигранной уверенностью сказал, что его, наверное, возьмут в цирк. Она кивнула:

— Мы часто думали об этом.

Мои похвалы были, видимо, приятны хозяйке. Перед уходом я заглянул на кухню, чтобы проститься с Гилбертом. Сделав над собой усилие, я спокойно пожал его большую мозолистую ладонь, и он ласково ответил на мое пожатие.

По истечении десяти месяцев мы вернулись в Лондон и еще два месяца играли в пригородах. «Шерлок Холмс» пользовался необыкновенным успехом, и через три недели после окончания первого турне мы должны были отправиться во второе.

Теперь мы с Сиднеем решили уехать с Поунэлл-террас и снять более приличную квартиру на Кеннингтон-роуд. Нам хотелось, как змеям, поскорее скинуть кожу, избавиться от всех следов прошлого.

Я попросил директора дать Сиднею маленькую роль в «Холмсе». Ему дали и роль и тридцать пять шиллингов в неделю! Теперь мы поехали в турне вместе.

Сидней писал матери каждую неделю, и к концу второго турне мы получили из Кэнхиллской больницы письмо, в котором нам сообщали, что наша мать выздоровела. Как мы обрадовались! Мы написали, что будем ждать ее в Ридинге. В честь такого события мы сняли дорогую квартиру из двух спален с гостиной, в которой стоял рояль, украсили мамину комнату цветами и заказали роскошный обед.

Счастливые и взволнованные, мы с Сиднеем ждали на перроне, но меня мучили опасения, сумеем ли мы снова приспособиться друг к другу, — ведь Сидней и я уже были не дети, и наша бывшая близость с матерью ушла безвозвратно.

Наконец подошел поезд. Неуверенно и со страхом вглядывались мы в лица пассажиров, выходявших из вагонов. Но вот и она! Улыбаясь, она неторопливо шла нам навстречу. Когда мы подбежали к ней, она поздоровалась с нами нежно, но сдержанно. Очевидно, и она старалась приспособиться к изменившимся обстоятельствам.

Мы взяли извозчика и, пока ехали домой, болтали о тысяче важных и неважных вещей.

Но когда мы показали матери во всем блеске нашу квартиру и цветы в ее спальне, когда немного улеглись первые восторги и мы сели в гостиной, нам вдруг стало неловко друг с другом. День был солнечный. Окна квартиры выходили на тихую улицу, но сейчас в этой тишине чудилось что-то тревожное, и как я ни старался почувствовать себя счастливым, мной вдруг овладело гнетущее уныние. Бедняжка мама, которой нужно было так мало, чтобы к ней вернулись бодрость и веселье, напомнила мне сейчас о моем горьком прошлом, хотя, казалось бы, она-то меньше, чем кто бы то ни было, должна была вызывать у меня такие мысли. Я старался скрыть от нее свое настроение. Она немного постарела и пополнела. Прежде я всегда гордился ее наружностью и умением одеваться, и я надеялся, что она сразу очарует наших товарищей, но теперь она показалась мне какой-то опустившейся. Должно быть, она почувствовала мои опасения и вопросительно посмотрела на меня.

Я смущенно поправил выбившуюся прядь ее прически.

— Я хочу, — улыбнулся я, — чтобы ты выглядела как можно лучше, когда будешь знакомиться с нашей труппой.

Она достала пудреницу и попудрилась.

— А все-таки хорошо жить, — сказала она весело.

Однако вскоре мы уже привыкли друг к другу, и мое уныние рассеялось. Она лучше нас понимала, что мы стали взрослыми и что прежние отношения между нами невозможны. От этого она стала нам еще дороже. Пока продолжалось турне, она ходила на рынок и в лавки и всегда приносила домой фрукты, всякие лакомства и непременно цветы. Даже прежде, как бы мы ни были бедны, запасая в субботу вечером провизию, она непременно ухитрялась купить хотя бы на пенни букетик полевых цветов. По временам она вдруг становилась очень сдержанной и молчаливой, и это ее настроение огорчало меня. Она держалась с нами скорее как гостья, чем как наша мать.

Через месяц мать решила вернуться в Лондон — ей хотелось поскорее устроиться, чтобы к нашему возвращению у нас уже был свой дом. «К тому же, — говорила она, — это обойдется дешевле — не придется тратить на лишний билет при поездках по стране».

Она сняла ту же квартиру на Честер-стрит, над парикмахерской, где мы жили когда-то, и купила в рассрочку мебель за десять фунтов. Простором и роскошью эти комнаты едва ли могли сравниться с залами Версаля, но мать творила чудеса, покрывая кретоном ящики из-под апельсинов, и они выглядели в наших спальнях красивыми

комодами. Мы с Сиднеем вместе зарабатывали четыре фунта пять шиллингов в неделю, и из них посылали матери фунт и пять шиллингов.

Когда второе турне закончилось, мы с Сиднеем вернулись домой и несколько недель прожили с матерью. Нам было хорошо с ней, но пришло время уезжать в новое турне, и мы почувствовали в глубине души облегчение. На Честер-стрит не было удобств, к которым мы уже привыкли во время поездок. И мать, несомненно, это понимала. Она пришла провожать нас на вокзал и старалась казаться веселой, но мы оба видели, с какой тоской она смотрела на нас, стоя на платформе, улыбаясь и помахивая платком вслед уходившему поезду.

Вскоре мать написала нам, что Луиза, у которой мы с Сиднеем жили на Кеннингтон-роуд, умерла по иронии судьбы в том самом Лэмбетском рабочем доме, узниками которого мы были когда-то. Она только на четыре года пережила отца, оставив сиротой маленького сына. Его, как и нас с Сиднеем, отправили в Хэнуэллский приют.

Мать писала, что она навестила мальчика, рассказала ему, кто она, и напомнила о том, как мы с Сиднеем жили у его матери и отца на Кеннингтон-роуд. Однако он почти не помнил нас — в то время ему было всего четыре года. Не помнил он и отца. Сейчас ему уже исполнилось десять лет. Он был записан под девичьей фамилией Луизы и, как узнала мать, у него не осталось никаких родственников. Она писала, что это красивый мальчик, очень тихий, застенчивый и замкнутый. Мать привезла ему конфет, апельсинов и яблок и пообещала аккуратно навещать его, и я уверен, что она свято выполняла свое обещание до тех пор, пока сама не заболела, и ее снова не отвезли в больницу.

Весть о рецидиве ее болезни словно ножом полоснула нас по сердцу. Мы так и не узнали никаких подробностей, получив лишь короткое официальное извещение о том, что ее нашли блуждающей по городу в невменяемом состоянии. Оставалось смириться с судьбой. Ясность рассудка уже никогда к ней не возвращалась. Несколько лет она томилась в Кэнхиллской психиатрической больнице, пока у нас не появилась возможность перевести ее в частную лечебницу.

Иногда боги устают от своих забав и являют милосердие — во всяком случае, над матерью они сжалились. Последние семь лет она жила спокойно, окруженная цветами и солнечным светом, и увидела, как ее взрослые сыновья достигли славы и богатства, о каких она и мечтать не могла.

Прошло много времени, прежде чем мы с Сиднеем снова могли повидаться с матерью, так как все время разъезжали с «Шерлоком Холмсом».

Наши турне с труппой Фромана закончились, но тут владелец Королевского театра в Блэкберне купил у Фромана право на постановку «Холмса» в маленьких городах. Нас с Сиднеем пригласили в новую труппу, правда, жалование нам предложили не прежнее, а по тридцать пять шиллингов каждому.

Это был значительный шаг назад — играть в маленьких северных городках, да еще в плохой труппе. Но, с другой стороны, сравнивая игру актеров этой труппы с той, к которой мы привыкли, я развивал свой вкус, умение разбираться в актерской игре. Я пытался скрыть свое разочарование, но на репетициях, усердно стараясь помочь новому режиссеру, который часто спрашивал у меня о тех или иных мизансценах, я охотно рассказывал ему о постановке фромановской труппы. Понятно, актерам это не особенно нравилось — на меня смотрели как на зазнавшегося щенка. Некоторое время спустя помощник режиссера свел со мной счеты, оштрафовал меня на десять шиллингов за то, что я не пришел пуговицы, оторвавшейся от форменной куртки, хотя он уже не раз предупреждал меня.

Автор «Шерлока Холмса», Уильям Джиллет, привез в Лондон написанную им пьесу «Кларисса», в которой он сам играл с Мари Доро. Критика неодобительно отозвалась о пьесе и о дикции Джиллета, после чего он написал интермедию под названием «Затруднительное положение Шерлока Холмса», в которой он сам не произносил ни слова. Действующих лиц было всего трое: сумасшедшая, Холмс и его посыльный Билли. В результате я получил телеграмму от мистера Постэнта, режиссера Джиллета, — мне предлагали приехать в Лондон и сыграть роль Билли вместе с Уильямом Джиллетом в его интермедии. Это было подобно вести с небес.

Правда, я боялся, что нашей труппе в такой короткий срок, да еще в провинции, не удастся найти мне замену. Несколько дней я томился в мучительной неизвестности, но в конце концов там нашелся другой Билли.

Это возвращение в Лондон, где мне предстояло играть в Вест-Эндском театре, я могу назвать своим вторым рождением. Каждая мелочь казалась упоительной — и приезд вечером в театр герцога Йоркского, и встреча с режиссером, мистером Постэнтом, который привел меня в уборную мистера Джиллета, и слова последнего, когда меня представили ему: «Хотите играть со мной в «Шерлоке Холмсе»?» И мой трепетный ответ: «Еще бы, мистер Джиллет!» А на следующее утро, когда я ждал начала репетиции, я в первый раз увидел Мари Доро, одетую в очаровательнейшее летнее белое платье! Я был потрясен, увидев в столь ранний час такую несравненную красавицу! Пока она ехала в театр на извозчике, ей в глаза бросилось чернильное пятнышко на платье и теперь она расспрашивала бутафора, не может ли он его вывести. А когда бутафор усомнился, она разгневалась самым очаровательным образом:

— Ну как же это? Какая досада!

Она была так ошеломительно хороша, что я возмутился. Меня злили ее нежные, изящно очерченные губки, ровные белые зубы, прелестный подбородок, волосы цвета воронова крыла и темно-карие глаза. Меня злил и ее притворный гнев, и то, что он делал ее еще обворожительней. Пререкаясь с бутафором, она даже не заметила меня, хотя я стоял совсем рядом и не сводил с нее глаз, зачарованный ее красотой. Мне только что исполнилось шестнадцать, и неожиданная близость такой сияющей прелести пробудила во мне решимость не поддаваться ей. Но до чего же она была хороша! Это была любовь с первого взгляда.

В «Затруднительном положении Шерлока Холмса» говорила только мисс Айрин Ванбру, очень одаренная актриса, игравшая роль сумасшедшей, а Холмс просто сидел и слушал. Так Джиллет отплатил критикам. Интермедия начиналась с того, что я вбегал в кабинет Холмса и изнутри наваливался плечом на дверь, в которую ломилась сумасшедшая. Пока я пытался объяснить Холмсу, что случилось, дверь распахивалась, и в кабинет врвалась сумасшедшая. В продолжении двадцати минут, ни на секунду не останавливаясь, она бессвязно сообщала Холмсу обстоятельства преступления, которое он должен был раскрыть. Холмс незаметно писал какую-то записку, звонил и совал ее мне. Затем появлялись двое дюжих верзил и уводили даму, а мы с Холмсом оставались вдвоем, и я произносил заключительную реплику: «Вы были правы, сэр, это оказался тот самый сумасшедший дом».

Критики посмеялись шутке, но «Кларисса», которую Джиллет написал для Мари Доро, провалилась. Хотя все обозреватели восторгались красотой Мари, они тут же подчеркивали, что даже она не смогла спасти от провала такую слащавую стряпню, так что Джиллету пришлось возобновить «Шерлока Холмса» и играть его до конца сезона. Меня оставили на роли Билли.

Я был так взволнован перспективой играть вместе с знаменитым Уильямом Джиллетом, что забыл спросить об условиях. В конце недели мистер Постэнт подошел ко мне с конвертом в руке и, извиняясь, сказал:

— Мне просто совестно давать вам так немного, но в конторе мне сказали, что я должен платить вам столько, сколько вы получали у нас раньше, — два фунта десять шиллингов.

Я был приятно удивлен.

На репетициях «Холмса» я снова увидел Мари Доро, она показалась мне еще прекрасней. Несмотря на мое твердое решение не поддаваться ее чарам, меня все глубже и глубже затягивало в трясину молчаливой и безнадежной любви. Я ненавидел свою слабость, меня приводило в ярость отсутствие у меня силы воли. Мои чувства были очень противоречивы — я и ненавидел и любил ее. Она же была мила и очаровательна.

В «Холмсе» она играла Алису Фолкнер, и по пьесе нам не приходилось встречаться. Но я всегда ждал ее и, выбрав момент, пробегал мимо нее по лестнице, чтобы пробормотать: «Добрый вечер». Она приветливо отвечала мне: «Добрый вечер». Больше между нами никогда ничего не было.

«Холмс» пользовался огромным успехом. На одном из спектаклей присутствовала королева Александра. Вместе с ней в королевской ложе сидели король Греции и принц Христиан. Принц, по-видимому, пересказывал пьесу королю, и вот во время самой напряженной паузы, когда мы с Холмсом оставались на сцене одни, вдруг на весь театр раздались слова, произнесенные с заметным акцентом: «Да не рассказывай же мне! Не говори ничего!»

У Дайона Бусико была своя контора в театре герцога Йоркского, и часто, проходя мимо, он гладил меня по голове, так же как и Холл Кэйн, нередко приходивший за кулисы повидаться с Джиллетом. Как-то раз я был даже удостоен улыбки лорда Китченера.

Когда мы еще играли «Шерлока Холмса», умер сэр Генри Ирвинг<sup>1</sup>, и я пошел на его похороны в Вестминстерское аббатство. Как актер Вест-Эндского театра я получил пропуск и очень этим гордился. Во время заупокойной службы я сидел между важным Льюисом Уоллером, романтическим кумиром лондонской публики и «доктором» Уолфордом Боди, иллюзионистом, прославившимся своим номером «магии» бескровной хирургии, которого я впоследствии пародировал в одном из своих скетчей. Уоллер, выставляя на всеобщее обозрение свой профиль, сидел неподвижно и глядел перед собой, но «доктор» Боди во что бы то ни стало хотел увидеть, как опускают в склеп тело сэра Генри, и, к великому негодованию Уоллера, то и дело вскакивал, наступая на каменную грудь какого-то давно упокоившегося герцога. Я же после нескольких попыток что-нибудь увидеть опустил на скамью и удовлетворился разглядыванием спин впереди сидящих.

За две недели до снятия «Шерлока Холмса» с репертуара мистер Бусико дал мне письмо к знаменитым мистеру и миссис Кендел, рекомендуя меня на роль в их новом спектакле. Они как раз заканчивали гастроли в театре Сент Джеймс, проходившие с большим успехом. Миссис Кендел назначила мне явиться в десять часов утра в фойе театра. Она опоздала на двадцать минут. Наконец в дверях возник силуэт входящей с улицы дамы — это была миссис Кендел, весьма рослая и на вид очень властная особа. Не поздоровавшись, она сказала:

— А, это вы! На днях мы уезжаем в турне по провинции с новым спектаклем, и я готова вас послушать. Но сейчас мы очень заняты. Может быть, вы придете сюда завтра утром, в это же время?

— Извините, сударыня, — ответил я холодно, — но провинция мне не подходит.

Я вышел из театра, окликнул проезжавшего мимо извозчика... и на десять месяцев остался без работы.

После заключительного спектакля «Шерлока Холмса» в театре герцога Йоркского и отъезда Мари Доро в Америку я отчаянно напился в полном одиночестве. Два-три года спустя в Филадельфии я снова увидел Мари. Она открывала новый театр, в котором я играл в труппе Карно. Она была так же хороша, как и прежде. Пока она произносила речь, я, загримированный, стоял за кулисами, но так и не решился напомнить ей о нашем знакомстве.

Когда «Холмс» был снят с репертуара, закончилось и турне Сиднея, так что мы оба остались без работы. Но Сидней вскоре устроился в труппу бродячих комедиантов Чарли Мэнона по объявлению в театральной газетке «Эра». В то время было несколько таких трупп: «Банковские клерки» Чарли Болдуина, «Сумасшедшие булочники» Джо Богэнни и труппа Бойсетта. Все они ставили только пантомимы. Но их «комедии затрепчин» исполнялись под прекрасную балетную музыку и пользовались огромным успехом. Лучшей среди них была труппа Фреда Карно с большим репертуаром комедий. Название каждой обязательно включало слово «пташки»: «Тюремные пташки», «Ранние пташки» и «Молчаливые пташки». Постепенно Карно создал театральную антрепризу, включавшую больше тридцати трупп. В их репертуар входили рождественские пантомимы и сложные музыкальные комедии, на которых воспитались такие замечательные актеры-комики, как Фред Китчен, Джордж Грейвс, Гарри Уэлдон, Билли Ривс, Чарли Белл и многие другие.

Фред Карно увидел Сиднея у Мэнона и подписал с ним контракт на четыре фунта в неделю. Я был на четыре года моложе Сиднея и в этот момент не подходил ни к какому амплуа — что называется, ни рыба ни мясо. Но за время лондонского ангажемента я сумел скопить кое-какие деньги, и пока Сидней работал в провинции, я жил в Лондоне и болтался в бильярдных.

## VI

Я вступил в трудный и не слишком приятный период ранней юности, со всеми его психологическими особенностями. Я преклонялся перед безрассудством и мелодрамой, был мечтателем и ипохондриком, проклинал жизнь и любил ее — моя душа была словно в коконе, сквозь который лишь изредка пробивались первые проблески зрелости. Я бродил по этому лабиринту кривых зеркал, вынашивая честолюбивые замыслы. Слово «искусство» в те времена я не употреблял и не думал о нем. Театр был источником заработка и только.

И вот с таким туманом в голове и в сердце я жил один. По временам были проститутки, были изредка и шумные попойки, но ни вино, ни женщины, ни песни не влекли меня всерьез. Я жаждал любви и романтики.

Я прекрасно понимаю психологию современного «тедди боя», одевающегося по модам начала века. Как и все мы, он ищет внимания к себе, романтики и драмы. Так почему бы ему не доставить себе удовольствие и не выставить себя напоказ, козыряя грубыми шутками? Разве дебоширство — это привилегия одних только учеников аристократических закрытых школ? Он видит в среде так называемых высших классов безмозглых щеголей и самоуверенных фатов — почему бы и ему не добиваться самоутверждения, щеголяя своей «стильностью»?



Он знает, что машина будет послушна его воле, как и воле любого другого, что не требуется особого интеллекта, чтобы включить механизм или нажать на кнопку. В этом самоупоении разве он не кажется себе столь же грозным, как какой-нибудь Ланселот, аристократ или ученый, и разве одним движением пальца он не может разрушить целые города, с беспощадностью наполеоновских армий? И разве нынешний «тедди-бой» не Феникс, восстающий из пепла преступных правящих классов, подсознательно перенявший у них отношение к человеку как к не до конца укрощенному зверю, который из века в век главенствовал над остальными с помощью обмана, жестокости, насилия? Однако, говоря словами Бернарда Шоу: «Я отвлекся, как это свойственно человеку, у которого есть давняя и горькая обида».

В конце концов мне удалось устроиться в ансамбле «Цирк Кейси». Я выступил там в двух скетчах, изображая «благородного разбойника» Дика Тюрпина и шарлатана-«доктора» Уолфорда Боди. Мой Боди пользовался кое-каким успехом, потому что это был уже не просто бурлеск, а попытка изобразить тип ученого профессора. К тому же я придумал удачный грим. Теперь я был «звездой» труппы и зарабатывал три фунта в неделю. В нашей труппе играли и дети, изображающие взрослых в сценах из жизни трущоб. В целом труппа была скверной, но эта работа помогла мне раскрыться как комедийному актеру.

Пока «Цирк Кейси» гастролировал в Лондоне, я и еще пять наших актеров поселились на Кеннингтон-роуд у миссис Филдс, пожилой вдовы лет шестидесяти пяти. У нее было три дочери: Фредерика, Тельма и Феба. Фредерика была замужем за русским краснодеревщиком, добрым, но удивительно некрасивым человеком. У него было скуластое татарского типа лицо, светлые волосы и усы, он сильно косил на один глаз. Все мы ели на кухне и близко познакомились с семьей Филдсов. Сидней, приезжая в Лондон, тоже жил с нами.

Уйдя из ансамбля, я продолжал жить у Филдсов. Старушка была добра, терпелива и работала, не покладая рук, — она жила тем, что сдавала комнаты. Фредерику содержал муж, а Тельма и Феба помогали матери по хозяйству. Пятнадцатилетняя Феба была красавицей с тонким изящным профилем. Меня влекло к ней физически, и она нравилась мне как человек, но этому последнему чувству я сопротивился изо всех сил — мне еще не было семнадцати и, как обычно в этом возрасте, отношение к девушкам у меня было самое циническое. Но Феба была добродетельна, и мои посягательства ни к чему не привели. Однако я ей тоже нравился, и мы подружились.

Филдсы были народ горячий, и время от времени между ними вспыхивали бурные ссоры. Спор обычно начинался из-за того, чья очередь помогать по хозяйству. Двухлетняя Тельма была по натуре ленива и вела себя в семье барыней — она неизменно утверждала, что сегодня убирать должна Фредерика или Феба. Начинался скандал, и тут уж они перебирали все давние обиды и семейные тайны, не стесняясь присутствием посторонних. Миссис Филдс, например, во всеуслышание попрекала Тельму тем, что она, пожив недолгое время на содержании одного ливерпульского адвоката, возомнила себя настоящей леди и теперь гнушается домашней работы. «Ну что ж, — кричала старушка, — если ты такая барыня, убирайся к своему адвокату и живи с ним! Только он-то тебя и на порог не пустит!» Для большей выразительности миссис Филдс хватала со стола чашку и со всего размаху кидала ее об пол. В продолжение всей сцены Тельма чинно и невозмутимо сидела за столом. Затем она спокойно выбирала на столе чашку и тоже кидала ее на пол, со словами: «Я ведь тоже могу выйти из себя», — затем летела на пол вторая чашка, и третья, и четвертая — так что в конце концов вся комната была усыпана черепками. — И я тоже могу устроить сцену!» Мать и сестры беспомощно глядели на поле боя. «Посмотрите, что она делает, — стонала мамаша. — На,

на, вот эта еще осталась. Бей все!» — и совала Тельме сахарницу. Тельма брала сахарницу и так же невозмутимо кидала ее на пол.

В таких случаях Феба играла роль третейского судьи — в семье ее уважали за справедливость и беспристрастие. Обычно она просто говорила, что сделает все сама, но тут уж Тельма не соглашалась.

Я оставался без ангажемента почти три месяца. Сидней платил за меня миссис Филдс по четырнадцать шиллингов в неделю. Он был теперь ведущим комиком у Фреда Карно и часто заводил с ним речь о своем талантливом младшем брате, но Карно ничего не желал слышать — он считал, что я еще слишком молод.

В это время в Лондоне были в большой моде еврейские комики, и мне пришло в голову, что я легко могу скрыть свою юность под пейсами старого еврея. Сидней дал мне два фунта — я потратил их на ноты песенок и на американские юмористические книжонки «Мэдисон Баджет», в диалогах которых я должен был почерпнуть забавные реплики. В течение нескольких недель я готовился, репетируя свое выступление перед семьей Филдсов. Они слушали очень внимательно и всячески меня подбадривали.

Наконец мне дали недельную пробу без оплаты в мюзик-холле Форстера — маленьком театрике вблизи Майлэнд-роуд, в центре еврейского квартала. Я однажды играл там с «Цирком Кейси», и дирекция решила устроить мне пробу. Мне казалось, что все мое будущее зависит от этой недели. В случае успеха я буду участвовать в самых интересных турне по Англии. И кто знает? Может быть, через год стану одним из самых знаменитых артистов варьете, чье имя будут писать на афишах крупными буквами. Я пообещал миссис Филдс и ее дочерям достать билеты на пятницу или субботу, когда я буду увереннее в себе.

— После такого успеха, — грустно заметила Феба, — вы, наверно, не захотите жить у нас.

— Ну что вы, я все равно останусь у вас, — великодушно заверил я.

В понедельник в двенадцать часов была репетиция с оркестром, во время которой я держался вполне профессионально. Но я не продумал своего грима, не решил, как должен выглядеть. Перед первым представлением я просидел несколько часов в уборной, пробуя то один грим, то другой. Но какие бы парики я ни надевал, мне никак не удавалось скрыть свою юность. По наивности я не понимал, что мой грим, да и весь номер имел сильный антисемитский привкус, а мои шутки были не только избитыми, но и столь же скверными, как мой еврейский акцент. К тому же я даже не был смешон.

После первых моих шуток зрители стали кидать в меня медяками, апельсиновыми корками, начали топтать ногами и свистеть. Сначала я просто не понял, в чем дело, но мало-помалу осознал весь ужас происходящего. Я начал торопиться и говорил все быстрее и быстрее, а град насмешек, корок и медяков с каждой секундой усиливался. Уйдя со сцены, я не стал ждать приговора дирекции, разгримировался и ушел из театра, чтобы больше туда не возвращаться, даже за нотами.

Домой на Кеннингтон-роуд я вернулся очень поздно. Филдсы уже легли спать, и я был очень этому рад. Утром за завтраком миссис Филдс стала расспрашивать, как прошло мое выступление. Я с притворным равнодушием ответил:

— Все в порядке. Только надо кое-что изменить.

Миссис Филдс сообщила мне, что Феба ходила меня смотреть, но ничего не стала им рассказывать, — она очень устала и захотела поскорее лечь спать. Когда я позже увидел Фебу, она ни слова мне не сказала. Промолчал и я. Ни сама миссис Филдс, ни ее

дочери никогда не упоминали об этом моем дебюте и как будто не заметили, что я больше не ходил в театр.

К счастью, Сидней был тогда на гастролях в провинции, и я избежал мучительного рассказа о том, что произошло, но, вероятно, он сам обо всем догадался или ему рассказали Филдсы; во всяком случае, он никогда меня об этом не спрашивал. Я изо всех сил старался вычеркнуть из памяти тот ужасный вечер, однако он нанес жестокий удар моей самоуверенности. Этот страшный случай помог мне увидеть себя в истинном свете. Я понял, что никогда не буду настоящим комиком варьете — у меня не было способности к непосредственному общению со зрителем. Я утешился мыслью, что стану характерным актером. Но прежде чем я окончательно нашел себя, мне пришлось испытать еще немало разочарований.

В семнадцать лет я сыграл молодого героя в скетче «Веселый майор» — скучном, пошлом спектакле, который мы играли всего неделю. Нашей премьерше — моей жене по пьесе — было лет пятьдесят. Каждый вечер она появлялась на сцене пьяной, от нее несло джином, а мне, ее горячо любящему супругу, надо было заключать ее в объятия и целовать. Этот опыт навсегда отбил у меня охоту быть первым любовником.

Потом я попробовал силы в драматургии. Я написал скетч, «Двенадцать справедливых мужчин». Это была «комедия пощечин». Действие разворачивалось в суде, где разбирается дело о нарушении брачного обещания. Один присяжный — глухонемой, второй — пьяница, а третий — врач-шарлатан. Я продал эту тему «гипнотизеру» Чаркоуту, который показывал в варьете следующий номер: «загипнотизировав» своего помощника, он заставлял его с завязанными глазами сесть в экипаж и ехать по всему городу — сам он сидел на заднем сиденье, посылая помощнику «магнетические импульсы». Гипнотизер дал мне три фунта за пьесу, но в придачу я сам должен был ее поставить. Я набрал трупку и начал репетировать в помещении над пивной Хорна, на Кеннингтон-роуд. Один из актеров, сердитый старик, сказал, что мой скетч не только безграмотен, но и глуп.

На третий день, посреди репетиции, я получил записку от Чаркоута. Он сообщал, что решил не выпускать мой скетч. Не отличаясь храбростью, я положил записку в карман и продолжал репетировать — у меня не хватило духу сказать об этом актерам. В перерыв я повел их к нам домой, сказав, что мой брат Сидней хочет с ними поговорить. Я увел Сиднея в спальню и показал ему записку. Прочтя ее, он спросил:

— И что ж, ты им еще не сказал?

— Нет, — прошептал я.

— Надо сказать.

— Не могу! Просто не могу! Выходит, они задаром репетировали три дня?

— Но ты же не виноват! Поди и скажи им, — заорал на меня Сидней.

Я совсем оробел и заплакал.

— Ну что я могу им сказать?

— Не будь дураком!

Сидней вышел в другую комнату и показал актерам письмо Чаркоута, а потом повел нас в ближайшую пивную и угостил всех пивом с бутербродами.

Никогда нельзя предсказать, как поведут себя актеры. Старик, больше всех ругавший мою пьесу, отнесся к этому известию философски и только посмеялся, когда Сидней рассказал ему, в какое отчаяние оно меня привело.

— Ты тут ни при чем, сынок, — сказал он, похлопав меня по спине. — Это нас старый подлец Чаркоут подвел!

После моего провала у Форстера долгое время, что бы я ни предпринимал, все кончалось неудачей. Но молодости свойствен несокрушимый оптимизм — она инстинктивно чувствует, что и беды преходящи, а бесконечная полоса сплошного невезения — вещь столь же немислимая, как и бесконечная прямая стезя добродетели, — рано или поздно неизбежно наступает поворот.

Кончилась и моя полоса невезения. В один прекрасный день Сидней сказал, что меня хочет видеть мистер Карно. Он был недоволен партнером мистера Гарри Уэлдона в «Футбольном матче», одном из самых удачных своих скетчей. Уэлдон был очень известным комическим актером и пользовался успехом до самой смерти — умер он в тридцатых годах.

Мистер Карно был невысокий, смуглый человек с зорким, испытующим взглядом блестящих глаз. Он начал свою карьеру акробатом на параллельных брусьях, но затем подобрал себе трех партнеров-комиков, и этот квартет стал ядром его будущей труппы, игравшей пантомимы и скетчи. Он и сам был великолепным комиком и создал много интересных комедийных образов. Карно продолжал выступать даже тогда, когда у него уже гастролировали в провинции пять других трупп.

Один из первых его партнеров рассказывал, как Карно оставил сцену. Однажды, после представления в Манчестере, актеры стали жаловаться, что Карно теряет ритм, губит весь эффект, и публика не смеется. Карно, который к тому времени скопил уже пятьдесят тысяч фунтов, спорить не стал. «Ну что ж, ребята, если вы так считаете, — я ухожу! — Сняв парик, он бросил его на столик и сказал, ухмыльнувшись: — Вот вам моя отставка».

Мистер Карно жил на Колдхарбор-лэйн, в Кэмберуэлле. При доме был склад, в котором хранились декорации для его двадцати постановок. Там же помещалась и его контора. Карно встретил меня очень любезно.

— Сидней мне все уши прожужжал о том, какой вы способный актер, — сказал Карно. — Сможете вы быть партнером Гарри Уэлдона в «Футбольном матче», как вы думаете?

Гарри Уэлдон был «звездой», он получал тридцать четыре фунта в неделю.

— Дайте мне только на сцену выйти, — сказал я невозмутимо.

Карно улыбнулся:

— Семнадцать лет, — это очень мало, а вы выглядите даже еще моложе.

Я небрежно пожал плечами:

— Ну, это вопрос грима.

Карно рассмеялся. Он потом рассказывал Сиднею, что из-за этого пожатия плечами он и взял меня в труппу.

— Ну, ну, посмотрим, на что вы способны, — заключил беседу Карно.

Он предложил мне пробный ангажемент на две недели по три фунта десять шиллингов в неделю и годовой контракт, если я ему подойду.

До начала наших спектаклей в лондонском «Колизеуме» у меня оставалась неделя, чтобы выучить роль. Карно посоветовал мне сходить в «Буш эмпайр» Шеферда, где тогда

показывали «Футбольный матч», и посмотреть актера, которого мне предстояло заменить. Признаюсь, он показался мне скучным и неловким, и, скажу без ложной скромности, я знал, что сыграю лучше. Роль требовала большей остроты, настоящего бурлеска, — так я и решил ее играть.

Мне дали только две репетиции — у мистера Уэлдона больше не было свободного времени. Даже на эти две он согласился скрепя сердце — он был занят игрой в гольф.

На репетициях я не произвел хорошего впечатления. Читал я медленно и чувствовал, что Уэлдон не в восторге от моих способностей. Если бы Сидней, выступавший раньше в этой роли, находился в Лондоне, он помог бы мне, но он был на гастролях.

«Футбольный матч» был бурлескной «комедией пощечин», но обычно до первого выхода Уэлдона в зале не слышалось ни одного смешка. Актеры только подготавливали его выход, но с того момента, как Уэлдон, действительно великолепный комик, появлялся на сцене, зрители смеялись не умолкая.

В вечер премьеры в «Колизеуме» нервы у меня были натянуты до предела. Этот вечер должен был восстановить мою веру в себя и загладить позор кошмарного провала у Форстера. В волнении, граничащем с ужасом, я шагал взад и вперед за кулисами огромной сцены и мысленно молился.

Но вот послышалась музыка. Занавес поднялся. На сцене пел хор футболистов, занятых тренировкой. Затем они ушли, и сцена осталась пустой. Мой выход! Я был в полном смятении. Мне предстояло победить или погибнуть. Но как только я оказался на сцене, напряжение исчезло. Я успокоился. Вышел я спиной к залу — это я сам придумал. Со спины я выглядел безупречно: сюртук, цилиндр, гетры и трость в руке — тип театрального злодея начала века. Внезапно я обернулся, и зрители увидели мой красный нос. Раздался смех. Я понравился. Мелодраматически я пожал плечами, щелкнул пальцами, пошатываясь, пошел по сцене и споткнулся о гантели. Затем моя трость зацепилась за тренировочную грушу, она качнулась и хлопнула меня по лицу. Я зашатался, сделал выпад и ударил себя тростью по уху. Публика хохотала.

Теперь я чувствовал себя свободно и дал волю фантазии. Я мог бы пробыть на сцене пять минут, не сказав ни слова, и зрители смеялись бы без передышки. Я вновь принялся расхаживать взад и вперед злодейской походкой, но тут у меня начали спадать штаны. Оторвалась пуговица. Я принялся ее искать, нащупал что-то, поднял и тут же с возмущением отбросил: «Черт бы побрал этих кроликов». И снова хохот в зале.

Из-за кулис, словно полная луна, выглянула голова Гарри Уэлдона. Впервые зал смеялся до его выхода.

Не успел он выйти на сцену, как я схватил его руку и трагически зашептал: «Скорей! Падают! Булавку!» — Все это было чистой импровизацией и, конечно, не репетировалось. Я хорошо подогрел публику к выходу Гарри, в этот вечер его замечательно принимали, и мы вместе заставили публику смеяться там, где она раньше никогда не смеялась. Когда опустился занавес, я знал, что все в порядке. Товарищи поздравляли меня и пожимали мне руку. Уэлдон по дороге в уборную оглянулся и через плечо бросил сухо:

— Неплохо... даже хорошо.

Я пошел домой пешком, чтобы хоть немного успокоиться. На Вестминстерском мосту я остановился, облокотился о парапет и долго смотрел на темную, бархатистую воду. Мне хотелось плакать от радости, но я не мог. Я старался изо всех сил, морщил лицо, но слез не было — я был опустошен. От Вестминстерского моста я направился к

«Слону и Замку», зашел в кафе и выпил чашку чаю. Мне нужно было с кем-нибудь поговорить, но Сидней был в провинции. Как я жалел, что его нет со мной и я не могу рассказать ему о сегодняшнем вечере, особенно важном для меня после провала у Форстера.

Я чувствовал, что не смогу уснуть. От «Слона и Замка» я пошел к Кеннингтон-гейт и выпил еще одну чашку чаю. По дороге я все время разговаривал сам с собой и смеялся. И только в пять утра, в полном изнеможении, я наконец отправился спать.

Мистер Карно не был на премьере, но побывал на третьем спектакле, когда зрители встретили меня аплодисментами. В антракте он пришел за кулисы и, широко улыбаясь, велел мне пораньше утром зайти в контору подписать контракт.

Я не стал писать Сиднею о премьере, но теперь послал ему лаконичную телеграмму: «Подписал контракт на год по четыре фунта в неделю. Целую, Чарли». Мы играли «Футбольный матч» в Лондоне три с половиной месяца, а потом повезли его в провинцию.

Уэлдон играл в скетче тупого деревенщину, медлительного ланкаширского простака. Он очень нравился на севере Англии, но на юге не пользовался особым успехом. В Бристоле, Кардиффе, Плимуте и Саутгемтоне Уэлдона принимали холодно, и поэтому он был раздражителен, играл небрежно, а свою злость срывал на мне. По ходу действия он награждал меня множеством оплеух и подзатыльников, то есть он делал вид, что бьет меня, а в это время кто-нибудь за кулисами хлопал в ладоши — получался похожий звук. Но иногда Уэлдон бил по-настоящему — мне казалось потому, что завидовал.

В Бельфасте дело приняло совсем крутой оборот. Критики изругали Уэлдона, а меня похвалили. Этого Уэлдон уже не мог перенести, и в тот же вечер ударил меня в полную силу, разбив мне нос, так что мне уже было не до шуток. За кулисами я сказал ему, что если он еще раз сделает что-либо подобное, я проломлю ему голову гантелями, и добавил, что если его так мучает зависть, вовсе не обязательно вымещать ее на мне.

— Зависть? К тебе? — переспросил он презрительно. — Да у меня в заднице больше таланта, чем в тебе с головы до ног!

— Ах, вот где вы прячете ваш талант, — парировал я и быстро захлопнул дверь своей уборной.

Когда Сидней вернулся в Лондон, мы решили снять квартиру на Брикстон-роуд и истратить на мебель фунтов сорок. Мы отправились в магазин подержанной мебели на Ньюингтон-баттс, сказали хозяину, что нам нужно обставить четыре комнаты, и назвали сумму, которую мы собирались на это потратить. Хозяин заинтересовался и, не жалея времени, помог нам отобрать необходимые вещи. В гостиной мы постелили ковер, а пол остальных комнат покрыли линолеумом и купили гарнитур — диван и два кресла. В углу гостиной мы поставили резную мавританскую ширмочку, освещенную сзади ярким желтым фонарем, а в противоположном углу на позолоченном мольберте красовалась картина в золотой раме. Она изображала обнаженную натурщицу, которая поглядывала через плечо на бородатого художника, сгоняющего муху с ее ягодицы. Мне казалось, что именно этот шедевр и мавританская ширмочка придавали нашей гостиной особый шик. Стиль ее убранства представлял собой сложную комбинацию табачной лавочки в мавританском вкусе и французского публичного дома. Но нам эта комната нравилась. Мы даже купили пианино и, хотя нам пришлось потратить на него пятнадцать фунтов сверх ассигнованной суммы, не жалели об этом. Эта квартира в доме номер 15 по Брикстон-роуд казалась нам раем земным. Гастролируя в провинции, мы предвкушали минуту, когда вернемся туда. Теперь мы были достаточно богаты и могли помогать деду, посылая

ему десять шиллингов в неделю, и даже наняли служанку, которая приходила два раза в неделю убирать квартиру, хотя особой надобности в этом не было,— мы почти не прикасались к нашим вещам и жили словно в храме. Мы опускались в свои мягкие кресла, преисполненные невыразимым самодовольством. У нас была еще полукруглая медная каминная решетка с сиденьем, обитым красной кожей, и я то и дело переходил с кресла на это сиденье, — все примеривался, где уютнее посидеть.

В шестнадцать лет свое представление о романтической любви я почерпнул из театральной афиши, изображавшей девушку, которая стояла на скале, а ветер играл ее длинными волосами. Я воображал, как играю с ней в гольф (игра, которую я терпеть не могу), как брожу с ней по росистым холмам, упиваясь трепетным чувством и красотой природы. Но это была чистая романтика, а юношеская любовь — это совсем другое, — она почти всегда следует шаблону. Взгляд, два-три слова (обычно удивительно глупых), и в несколько минут жизнь становится иной — природа вдруг проникается к нам благоволением и открывает неведомые доселе радости. Именно так и случилось со мной.

Мне почти исполнилось девятнадцать, я был актером труппы Карно, уже пользовавшимся успехом, и все-таки в моей жизни чего-то не хватало. Наступила и прошла весна, на меня уже надвигалось томительное, пустое лето. Повседневная, жизнь мне приелась, все вокруг вызывало уныние. Будущее представлялось сплошными буднями среди скучных, неинтересных людей. Мне уже было мало просто работать, чтобы зарабатывать. Это было лакейское существование, лишненное какой бы то ни было прелести. Меня томили неудовлетворенность и тоска, и по воскресеньям я в одиночестве бродил по лондонским паркам и слушал музыку. Меня тяготило и общество других людей и свое собственное. И, конечно, случилось неизбежное: я влюбился.

Мы играли в «Стритхем эмпайр». В то время мы в один вечер давали представления в двух-трех мюзик-холлах, и у нашей труппы был даже собственный омнибус, чтобы мы могли успеть вовремя к началу наших номеров. Мы начинали со «Стритхема», с тем чтобы потом спеть в «Кентербери мюзик-холл», а затем в «Тиволи». Таким образом, мы начинали работать засветло. Стояла невыносимая жара, и зал «Стритхем» почти пустовал, что, понятно, тоже не разгоняло моей тоски.

Перед нами выступали «Янки Дуддлс гёрлс» Берта Кутса — танцевальный ансамбль, исполнявший и песенки. Он мало меня интересовал. Но во второй вечер, когда я, равнодушный и безразличный ко всему на свете, стоял за кулисами, какая-то танцовщица вдруг споткнулась, а остальные начали хихикать. И одна из них, оглянувшись, встретилась со мной взглядом, словно спрашивала, смеюсь ли я. Меня сразу покорили искрившиеся лукавством огромные карие глаза стройной, как лань, девушки, с изящным овалом лица и очаровательно пухлыми губками, обнажавшими в улыбке чудесные зубы. Эффект был потрясающим и мгновенным. За кулисами она попросила меня поддержать зеркальце, пока поправит волосы, и это дало мне возможность рассмотреть ее поближе. Это было начало. В среду я спросил, не могу ли я с ней встретиться в воскресенье. Она рассмеялась:

— Я даже не знаю, как вы выглядите без этого красного носа!

Я играл тогда пьяницу в «Молчаливых пташках», во фраке с белым галстуком.

— Право же, мой собственный нос не такой уж красный, да и сам я не так дряхл, как выгляжу, — заверил я ее. — А чтобы это доказать, я вам завтра принесу свою фотографию.

И я принес ей портрет печального юнца в черном галстуке, по моему мнению, весьма мне льстивший.

— Да вы еще совсем молодой,— искренне удивилась она. — Я думала, вы гораздо старше.

— Сколько же лет вы мне давали?

— По крайней мере, тридцать.

Я улыбнулся:

— Мне скоро исполнится девятнадцать.

По будням мы репетировали, и я никак не мог назначить ей свидание, но она обещала, что будет ждать меня в воскресенье в четыре часа у Кеннингтон-гэйт.

Был чудесный солнечный день. На мне был темный костюм, элегантно облегающий талию, темный галстук, и я небрежно помахивал черной эбеновой тростью. До четырех часов оставалось только десять минут, я с волнением вглядывался в каждую женщину, выходящую из трамвая.

Тут я сообразил, что ни разу не видел ее без грима, и вдруг вообще забыл, как она выглядит. Как я ни старался, я не мог вспомнить ее лица. Ужас охватил меня. Может, ее красота всего лишь подделка?! Иллюзия?! Стоило выйти некрасивой девушке из трамвая, и я погружался в бездну отчаяния. Неужели мне предстоит разочарование? Неужели меня обмануло собственное воображение или театральные гримы?

Без трех минут четыре какая-то девушка сошла с трамвая и направилась прямо ко мне. У меня упало сердце — нет, это далеко не красавица. Одна мысль о том, что мне придется провести с ней весь вечер, да еще прикидываться, будто это доставляет мне неизъяснимое удовольствие, приводила меня в ужас. Однако я приподнял шляпу и радостно улыбнулся. Испепелив меня возмущенным взглядом, незнакомка прошла мимо. Слава богу, это была не она.

Затем в одну минуту пятого из трамвая выпрыгнула молоденькая девушка, подошла ко мне и остановилась. Она была без грима и казалась еще прелестней в простенькой матросской шапочке, синей матросской курточке с блестящими медными пуговицами, в карманы которой она глубоко засунула руки,

— Ну вот и я! — сказала она.

Я вдруг так растерялся, что лишился дара речи. От смущения я не знал, что сказать и что сделать.

— Давайте возьмем такси, — хрипло сказал я, оглядываясь по сторонам. Но потом я все-таки повернулся к ней.

— Куда бы вы хотели поехать?

Она пожала плечиками.

— Мне все равно.

— Тогда давайте поедем обедать в Вест-Энд.

— Я уже обедала, — невозмутимо сказала она.

— Мы это обсудим в такси, — возразил я.

Мое лихорадочное волнение, должно быть, смутило ее.

В такси я без конца повторял:

— Я знаю, что еще пожалею об этих минутах — вы слишком прекрасны!



Я пытался быть остроумным и веселым, но у меня ничего не получалось. Я взял в банке три фунта и собирался повезти ее в «Трокадеро», где в атмосфере музыки и плюшевой элегантности мог бы предстать перед ней в самом романтическом свете. Мне хотелось ее поразить. Однако она сохраняла полнейшую невозмутимость, а мои тирады просто ставили ее в тупик, особенно когда я назвал ее своей Немезидой, — это слово я узнал незадолго перед нашим знакомством.

Она не догадывалась, как много для меня значила. Физическое влечение не играло тут почти никакой роли — мне было важно ее присутствие. Изящество и красота были редкими гостями в жизни такого человека, как я.

В «Трокадеро» я пытался уговорить ее пообедать, но безуспешно. Она согласилась только съесть бутерброд, чтобы составить мне компанию. Мы занимали отдельный столик в очень дорогом ресторане, и я считал своим долгом заказать изысканный обед, хотя мне вовсе не хотелось есть. Этот обед был тяжким испытанием. Я не знал, что какой вилкой полагается есть. Но все-таки я с грехом пополам одолел обед и даже держался со светской непринужденностью, а после еды ухитрился небрежно сполоснуть пальцы в поданной для этой цели мисочке. Однако я уверен, что, выйдя из ресторана, мы оба вздохнули с облегчением.

После «Трокадеро» она решила вернуться домой. Я предложил отвезти ее в такси, но она предпочла пойти пешком. Это мне было только на руку: она жила далеко, в Кэмберуэлле, и, таким образом, я мог дольше оставаться в ее обществе.

Теперь, когда я немного опомнился, она стала держаться со мной свободнее. Мы шли по набережной Темзы, и Хетти весело рассказывала мне о своих подружках и о всяких пустяках. Но я почти не слышал, что она говорила. Я испытывал невыразимое блаженство, и мне казалось, что мы гуляем в раю.

Расставшись с ней, я, все еще во власти этого вечера, вернулся на набережную и роздал остатки своих трех фунтов спавшим на набережной бродягам — меня переполняли радость и любовь к ближнему.

Мы условились с Хетти встретиться на другой же день в семь утра — в восемь у нее была репетиция, где-то на Шефтсбери-авеню. От ее дома до станции метро Вестминстербридж-роуд было примерно мили полторы, и хотя я поздно возвращался с работы и никогда не ложился раньше двух часов, я вскакивал на рассвете, чтобы встретиться с ней.

Кэмберуэлл-роуд казалась мне теперь волшебной улицей, потому что там жила Хетти Келли. Эти утренние прогулки, когда мы, держась за руки, шли до станции метро, были блаженством, к которому примешивалось какое-то неясное и страстное томление. Убогая, унылая Кэмберуэлл-роуд, которую я раньше всегда обходил стороной, обрела теперь особую притягательную силу, потому что там в утреннем тумане вдруг вырисовывалась тонкая фигурка Хетти, идущей мне навстречу. Я не помнил, что она говорила во время этих прогулок. Я был слишком захвачен мыслью, что нас свела таинственная сила и что наш союз уже предопределен судьбой.

Я провожал ее так три раза — три коротких утра, после которых сутки переставали существовать до следующего утра. Но на четвертый день она вдруг резко переменилась ко мне. Она поздоровалась со мной холодно и не взяла меня за руку. Я упрекнул ее и, шутя, обвинил в том, что она меня не любит.

— Вы требуете слишком многого, — сказала она. — В конце концов, мне только пятнадцать лет, и вы на четыре года старше меня.

Я никак не мог понять, что кроется за этой фразой. Одно было ясно: она вдруг отделилась от меня. Она шла, глядя прямо перед собой и засунув руки в карманы, как школьница.

— Другими словами, вы в самом деле меня не любите, — повторил я.

— Не знаю, — ответила она.

Я был ошеломлен.

— Если не знаете, значит, не любите.

Она промолчала.

— Вот видите, каким пророком я оказался, — продолжал я шутливым тоном. — Я же говорил, что еще пожалею о том, что мы встретились.

Я пытался разгадать, что происходит у нее в душе, узнать, как она ко мне относится, но на все мои вопросы она продолжала отвечать «не знаю».

— А вы согласились бы выйти за меня замуж? — вдруг спросил я.

— Я еще слишком молода.

— Ну а если бы вам все-таки пришлось выйти замуж, вы бы выбрали меня или кого-нибудь другого?

Но она все так же уклончиво повторяла:

— Не знаю... вы мне нравитесь, но...

— ...но вы меня не любите, — заключил я, и сердце у меня упало.

Она ничего не сказала. Небо было затянуто тучами, улица казалась серой и тоскливой.

— Беда в том, что я вовремя не остановился, — сказал я хрипло. Мы подошли к входу в метро. — Нам надо расстаться и больше никогда не видеться, — добавил я, желая узнать, какое впечатление произведут на нее мои слова.

Она нахмурилась. Я взял ее руку и нежно погладил.

— Прощайте, так будет лучше. Ваша власть надо мной уже и сейчас слишком велика.

— Прощайте, — ответила она. — Мне очень жаль.

То, что она сочла нужным извиниться, доконало меня. Она вошла в метро, и меня охватило ощущение невыносимой пустоты.

Что я наделал? Может быть, я слишком поторопился? Какое право я имел задавать ей подобные вопросы? Я вел себя, как самодовольный идиот, и добился того, что теперь не смогу ее видеть, если не захочу поставить себя в смешное положение. Что же мне остается? Страдать и больше ничего! Если бы я мог не чувствовать этой муки и не просыпаться до тех пор, пока снова не увижу ее! Нет, любой ценой я должен избегать встречи с ней, пока она сама не захочет меня увидеть. Может быть, я был слишком серьезен, слишком настойчив? В следующий раз, когда мы увидимся, я буду шутлив и спокоен. Но захочет ли она встретиться со мной? Конечно, захочет! Ведь что-то я для нее значу!

На следующее утро я не смог удержаться и пошел на Кэмберуэлл-роуд. Хетти я не встретил, зато встретил ее мать.

— Как вы поступили с Хетти! — сказала она. — Она пришла домой в слезах сказала, что вы больше не хотите ее видеть.

Я пожал плечами и иронически улыбнулся.

— А как она поступила со мной?

И тут же я, запинаясь, спросил, не могу ли я ее все-таки повидать.

Она покачала головой.

— Пожалуй, не стоит.

Я спросил, не выпьет ли она со мной чего-нибудь, и мы зашли в пивную, чтобы там поговорить. Я умолял ее позволить мне повидаться с Хетти, и в конце концов она согласилась.

Мы подошли к их дому, и Хетти открыла нам дверь. Увидев меня, она удивилась и нахмурилась. Она только что вымыла лицо мылом «Солнечный свет» и благоухала свежестью. Она не пригласила меня войти, и ее большие карие глаза смотрели холодно и равнодушно. Я потерял всякую надежду.

— Ну что ж, — сказал я, стараясь говорить шутливо. — Я пришел еще раз проститься.

Она ничего не ответила, но я понял, что ей хочется поскорей отделаться от меня.

Я протянул руку и улыбнулся.

— Итак, прощайте еще раз!

— Прощайте, — ответила она холодно.

Я повернулся и услышал, что дверь тихонько закрылась.

Хотя мы встретились с Хетти всего пять раз и кроме первого раза мы проводили вместе не больше двадцати минут, это короткое знакомство надолго оставило след в моей душе.

## VII

В 1909 году я поехал в Париж. Мсье Бюрнель пригласил на месяц труппу Карно выступать в театре «Фоли Бержер». Как я был счастлив, узнав, что поеду за границу! Последнюю неделю перед отъездом мы играли в Вуличе — то была томительная, тоскливая неделя в унылом провинциальном городке, я не мог дождаться, когда наконец наступит чудесная перемена в моей жизни. Мы уезжали в воскресенье рано утром, Я чуть не опоздал, и, бегом догоняя уже тронувшийся поезд, еле успел вскочить в последний багажный вагон, в котором мне пришлось ехать до самого Дувра. В те дни я обладал удивительной способностью опаздывать на все поезда.

Над Ла-Маншем дождь лил как из ведра, и все-таки, когда я впервые сквозь туман увидел Францию, это было незабываемое зрелище. Я твердил себе: «Это уже не Англия! Это континент! Франция!» Франция всегда меня интересовала. Со стороны отца во мне есть французская кровь — дело в том, что во времена гугенотов Чаплины переселились в Англию из Франции. Дядя отца с гордостью говорил, что родоначальником английской ветви семьи Чаплинов был французский генерал.

Путешествие из Кале в Париж поздней осенью было довольно унылым. Однако чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем восторженнее билось мое сердце. Перед нами

проходили скучные, пустынные пейзажи, но вскоре темное небо порозовело. Оно становилось все ярче и ярче. «Это уже зарево Парижа», — сказал француз, ехавший с нами в одном вагоне.

Париж оказался таким, как я и ожидал. Переезд от Гар дю Нор до улицы Жоффруа-Мари привел меня в такое волнение и нетерпение, что на каждом углу мне хотелось выскочить из кареты и пойти пешком. Было около семи часов вечера, золотые манящие огни сияли в окнах кафе и ресторанов, а столики на тротуарах перед бистро и кафе без слов говорили о том, как тут умеют радоваться жизни. Это все еще был Париж Моне, Писсарро и Ренуара. И даже такие нововведения, как автомобиль, не портили картины. Мы приехали в воскресенье вечером, и казалось, все люди здесь только и думают как бы им получше развлечься. Веселье и живость наполняли воздух Парижа. Даже моя комната на улице Жоффруа-Мари с ее каменным полом, которую я назвал своей Бастилией, не могла охладить моего пыла — ведь в Париже человек живет на улице, за столиками бистро или кафе.

Воскресный вечер был у нас свободным, и мы решили посмотреть ревью в «Фоли Бержер», где с понедельника начинались наши выступления. Такой роскоши я и представить себе не мог — всюду золото и плюш, зеркала и роскошные хрустальные люстры. В фойе, устланном толстыми коврами, и в бельэтаже прогуливалась публика. Осыпанные драгоценностями индийские принцы в красных тюрбанах, французские и турецкие офицеры с плюмажами на касках потягивали в баре коньяк. В просторном гардеробе, где дамы поправляли перед зеркалами палантины и меховые накидки, обнажая белые плечики, играла музыка. Это были «habituees» \* — постоянные дамы «Фоли Бержер», — прогуливаясь в фойе и в бельэтаже, они очень деликатно заигрывали с мужчинами. В те дни эти дамы были еще прелестны и очень изысканны.

---

\* — завсегдатаи (*франц.*).

В «Фоли Бержер» имелись также профессионалы-полиглоты. У них на лацканах было написано «переводчик». Я быстро подружился с самым главным из них — он свободно болтал на нескольких языках.

По окончании номера я в том же фраке, в котором выступал на сцене, смешивался с прогуливавшимися по фойе зрителями. И тут некое весьма изящное существо с лебединой шейкой и очень белой кожей заставило затрепетать мое сердце. Это была высокая девушка в стиле Гибсона<sup>1</sup> — настоящая красотка с вздернутым носиком и длинными темными ресницами. На ней было черное бархатное платье и длинные белые перчатки. Спускаясь по лестнице, она уронила перчатку, и я быстро поднял ее.

— Мерси, — сказала красотка.

— Я был бы счастлив, если бы вы ее еще раз уронили, — сказал я чуть-чуть дерзко.

— Пардон?

Тут я сообразил, что она не понимает по-английски, а я не говорил по-французски. Я бросился к своему приятелю переводчику.

— Мне очень понравилась одна дама. Но боюсь, что она слишком дорогая.

Он пожал плечами.

— Не дороже луидора.

— Согласен, — сказал я, хотя в те времена считал, что луидор — это целое состояние, да так оно и было для меня.

Я попросил переводчика написать на открытке несколько любовных фраз по-французски: «Je vous adore», «Je vous ai aime la premiere fois, que je vous ai vu» \*, и так далее, — я надеялся в нужную минуту использовать их. Затем я попросил его договориться с дамой, и он стал бегать от меня к ней и обратно. Наконец он вернулся и объявил.

— Договорились за луидор, но вы должны еще оплатить карету до ее квартиры и обратно.

Я задумался:

— А где она живет? — спросил я.

— Это вам обойдется не дороже десяти франков.

Лишние десять франков были уже настоящим разорением, я не рассчитывал на этот дополнительный расход.

— А что, она не может пройти? — сказал я шутя.

— Слушайте, это первосортная девушка, не скупитесь, — оплатите карету.

Я согласился.

После того как мы обо всем договорились, я как бы невзначай повстречался ей на лестнице бельэтажа — она улыбнулась мне, я тоже ответил улыбкой.

— Ce soir!

— Enchantee, monsieur! \*\*

---

\* — Я вас обожаю. Я вас полюбил с первого взгляда (*франц.*).

\*\* — Сегодня вечером!

— Очень рада, мсье (*франц.*).

Наш номер шел до антракта, и я сговорился встретиться с ней сразу после выступления. Мой приятель посоветовал:

— Я пойду за девушкой, а вы скорей бегите за каретой, чтобы не терять времени.

— Не терять времени?

...Мы ехали по Бульвар-дез-Итальяен. Блики света пробежали по ее лицу и длинной белой шейке — она выглядела прелестно. Я исподтишка заглянул в свою открытку и начал:

— Je vous adore!

Она рассмеялась, показав прекрасные белые зубы.

— Вы очень хорошо говорите по-французски.

— Je vous ai aime la premiere fois, que je vous ai vu, — продолжал я с чувством.

Она снова рассмеялась и поправила меня, сказав, что по-французски лучше сказать более интимно «тебя», а не «вас». Она еще о чем-то подумала и опять рассмеялась, а потом посмотрела на часики, заметила, что они остановились, и жестами дала мне понять, что хочет узнать, который час, потому что в полночь у нее назначено очень важное свидание.

— Но ведь не сегодня вечером? — спросил я многозначительно.

— Oui, ce soir \*.

— Но вы же заняты сегодня *toute la nuit!* \*\*

Она вдруг удивилась.

— *O, non, non, non! Pas toute la nuit!* \*\*\*

Дальше разговор принял малоприятный оборот!

— *Vingt francs pour le moment?!* \*\*\*\*

— *C'est ca!* \*\*\*\*\* — заявила она.

---

\* Да, сегодня (*франц.*).

\*\* — всю ночь (*франц.*).

\*\*\* — О, нет, нет, нет! Не всю ночь! (*франц.*).

\*\*\*\* — Двадцать франков за одно мгновение?! (*франц.*).

\*\*\*\*\* — Вот именно! (*франц.*).

— Извините, — сказал я, — лучше я остановлю карету.

Я заплатил кучеру, чтобы он отвез ее обратно в «Фоли Бержер», а сам удалился, грустный и разочарованный в жизни.

Мы пользовались в Париже очень большим успехом и могли бы остаться в «Фоли Бержер» месяца на два с половиной, но у мистера Карно были другие контракты. Мне платили шесть фунтов в неделю, и я их тратил в Париже до последнего пенса. Со мной познакомился кузен моего брата Сиднея по линии отца. Он был богат и по рождению принадлежал к так называемому высшему обществу. Мы с ним весело проводили время, пока он жил в Париже. Очень увлекаясь нашим театром, он даже сбрил усы, чтобы сойти за актера нашей труппы и, таким образом, беспрепятственно проходить за кулисы. К сожалению, ему пришлось вскоре вернуться в Англию, где, как я понимаю, почтенные родители дали ему здоровый нагоняй за парижские похождения и в воспитательных целях срочно отослали в Южную Америку.

До отъезда в Париж я слышал, что труппа, в которой выступала Хетти, тоже играла в «Фоли Бержер», и надеялся здесь встретиться с ней. В первый же вечер я пошел за кулисы, чтобы справиться о ней, но от одной из балерин узнал, что их труппа неделю назад уехала на гастроли в Москву. Пока я разговаривал с девушкой, с лестницы вдруг послышался резкий оклик:

— Сию же минуту поди сюда! Как ты смеешь разговаривать с иностранцем?!

Это была мать девушки. Я попытался объяснить ей, что хотел только осведомиться о своей приятельнице, но она меня будто и не замечала.

— Не смей с ним разговаривать, сейчас же поди сюда.

Я был возмущен ее грубостью, но вскоре мы с ней познакомились ближе — она жила с двумя дочерьми в том же отеле, что и я. Дочери были танцовщицами «Фоли Бержер». Младшая, которой едва исполнилось тринадцать, очень хорошенькая и талантливая, была прима-балериной, а старшая, пятнадцатилетняя, не отличалась ни талантом, ни красотой. Мать, француженка, полная женщина лет сорока, была замужем за шотландцем, жившим в Англии. После нашей премьеры в «Фоли Бержер» она зашла ко мне и извинилась за свою резкость. Так начались наши дружеские отношения. Она часто приглашала меня пить чай, который обычно сервировала в своей спальне.

Оглядываясь назад, я начинаю понимать, что в те годы я был не по летам наивен. Однажды вечером, когда девочек не было дома и мы с мамашей остались наедине, она вдруг повела себя несколько странно — ее бросало в дрожь, пока она наливала мне чай. Я

рассказывал ей о своих надеждах и мечтах, о своих привязанностях и разочарованиях и, видимо, очень растрогал ее. Когда я встал, чтобы поставить чашку на стол, она приблизилась ко мне.

— Как вы милы, — сказала она, взяв в ладони мое лицо и пристально глядя мне в глаза. — Разве можно обидеть такого славного мальчика?!

Взгляд ее стал очень странным — словно она меня гипнотизировала, голос дрожал.

— Знаете, я люблю вас, как сына, — говорила она, все еще держа ладонями мою голову.

И тут ее лицо медленно приблизилось к моему, и она поцеловала меня.

— Благодарю вас, — сказал я очень искренне и вполне невинно ответил на ее поцелуй. Она все еще пронзала меня взглядом, губы ее дрожали, глаза покрылись поволокой. Но затем, вдруг взяв себя в руки, она стала наливать мне другую чашку чаю. Ее поведение неожиданно изменилось, на губах заиграла легкая усмешка.

— Вы, в самом деле, очень милы, — сказала она. — Вы мне очень нравитесь.

И она стала поверять мне свои тревоги по поводу дочек.

— Младшая — очень хорошая девочка, а за старшей нужно присматривать, она доставляет мне много забот.

После спектакля мамаша часто приглашала меня поужинать в их большой спальне, где она спала с младшей дочерью. Уходя к себе, я всегда целовал в щеки маму и младшую дочку, желая им доброй ночи. Но затем мне надо было пройти через маленькую комнату, где спала старшая дочь. И вот однажды вечером она вдруг поманила меня к себе и зашептала:

— Оставьте свою дверь открытой! Я к вам приду, когда наши уснут.

Можете мне не верить, но я возмущенно оттолкнул ее и выскочил из комнаты. К концу гастролей в «Фоли Бержер» я услышал, что старшая дочь, которой было всего пятнадцать лет, сбежала с дрессировщиком собак — толстым немцем, лет шестидесяти.

И все-таки я был не так невинен, как могло показаться. Случалось и я проводил ночи с актерами нашей труппы в борделях, принимая участие во всех эскападах, свойственных молодости. Однажды вечером, выпив несколько бокалов абсента, я ввязался в драку с парнем по имени Эрни Стоун, бывшим чемпионом по боксу в легком весе. Драка началась в ресторане, но после того как официантам с помощью полицейских удалось нас растащить, Эрни сказал:

— Увидимся в отеле.

Мы с ним жили в одной гостинице. Его комната была как раз над моей, и в четыре утра, пошатываясь, я приплелся в отель и постучал к нему в номер:

— Входи, — сказал он оживленно, — только снимай башмаки, чтобы мы шуму не наделали.

Мы обнажились до пояса и посмотрели друг на друга. Колотили мы друг друга и увертывались от ударов нескончаемо долго, как мне показалось. Несколько раз он двинул меня прямо в подбородок, но безрезультатно.

— А я-то думал, что ты умеешь действовать кулаком, — ухмыльнулся я.

Он сделал выпад, промахнулся и ударился головой о стену с такой силой, что едва сам себя не нокаутировал. Я было попытался его прикончить, но мне это не удалось. В ту минуту я мог почти безнаказанно колотить его, но моим ударам не хватало силы. И вдруг

я получил такой удар в челюсть, что у меня едва зубы не зашатались, — это меня сразу отрезвило.

— Хватит! — сказал я. — Не хочу, чтобы ты мне зубы выбил.

Он подошел ко мне, обнял меня и поглядел на себя в зеркало — я исколошматил ему все лицо, а у меня так распухли руки, словно на мне были боксерские перчатки. На потолке, на занавесях и на стенах — повсюду была кровь. Я даже понять не мог, как она туда попала.

Всю ночь у меня из губы сочилась кровь, стекая на шею. Маленькая прима-балерина, которая по утрам обычно приносила мне чашку чаю, увидев меня, громко закричала — она думала, что я покончил самоубийством. С тех пор я никогда в жизни больше не дрался.

Как-то вечером ко мне подошел мой приятель переводчик и сказал, что со мной хочет познакомиться знаменитый музыкант и просит меня зайти к нему в ложу. Приглашение показалось мне довольно заманчивым, потому что с ним в ложе сидела очень красивая дама — иностранка. Она приехала с русским балетом. Переводчик представил меня, и музыкант сказал, что он получил большое удовольствие от моей игры, но не предполагал, что я так молод. Я вежливо поклонился в ответ, взглянув при этом на его даму.

— Вы и музыкант и танцор от рождения, — добавил он.

Почувствовав, что в ответ на такой комплимент мне остается лишь мило улыбнуться, я посмотрел на переводчика и снова вежливо поклонился. Музыкант, встав, протянул мне руку, я тоже поднялся.

— Да, — сказал он, пожимая мне руку, — вы настоящий артист!

Выйдя из ложи, я обернулся к переводчику:

— А кто эта дама с ним?

— Это русская балерина — мадемуазель... — и он назвал очень длинную и трудную фамилию.

— А как фамилия господина? — спросил я.

— Дебюсси, — ответил он. — Знаменитый композитор.

— Не слышал о таком.

Мое знакомство с Дебюсси произошло в год нашумевшего скандала и сенсационного процесса мадам Штейнхейль, которую в конце концов признали невиновной в убийстве мужа, в год, когда начали танцевать неприличный танец «пом-пом», в год, когда был принят невероятный закон, устанавливавший подоходный налог в размере целых шести пенсов с фунта, и в тот самый год, когда Дебюсси познакомил Англию со своим прелюдом «Послеполуденный отдых фавна», который был освистан публикой, не пожелавшей даже дослушать его до конца.

С грустью вернулся я в Англию. Мы поехали в турне по провинции. Какой контраст Парижу! Я вспоминаю унылые воскресные вечера в наших северных городах: все закрыто, загулявшие юнцы бродят с хихикающими девицами по неосвещенным улицам и переулкам под меланхолический перезвон колоколов, словно упрекающий их за что-то. Это было единственное воскресное развлечение молодежи.



Я прожил так в Англии полгода и уже вошел в колею, стал привыкать к ее однообразию, как вдруг из лондонской конторы пришла весть, которая сразу меня оживила. Мистер Карно сообщал, что в будущем сезоне я должен заменить Гарри Уэлдона в «Футбольном матче». Я почувствовал, что моя звезда восходит, — это уже был серьезный шанс в жизни. Хотя я пользовался успехом в «Молчаливых пташках» и других скетчах нашего репертуара — все это не шло в сравнение с возможностью выступить в главной роли в «Футбольном матче». Мы должны были играть в «Оксфорде» — самом большом лондонском мюзик-холле, а так как наш скетч был гвоздем программы, мое имя впервые должно было быть напечатано в афишах крупным шрифтом и самым первым.

Это был уже значительный шаг вперед. Я надеялся, что если в «Оксфорде» буду пользоваться успехом, то смогу потребовать прибавки жалованья и когда-нибудь создать труппу и играть свои скетчи.

В общем, успех мог привести к осуществлению самых моих заветных мечтаний. Для «Футбольного матча» была приглашена та же самая труппа. На репетиции нам потребовалась всего неделя. Я очень много думал над тем, как играть эту роль, — Гарри Уэлдон играл своего героя ланкаширцем, а я решил сделать его лондонским кокни<sup>1</sup>.

Но на первой же репетиции у меня начался ларингит. Я принимал все меры, чтобы не пропал голос: говорил шепотом, делал ингаляции, полоскал горло, пока все эти волнения не привели к тому, что я совершенно утратил легкость и всякий комизм.

В вечер премьеры каждая жилка, каждая связка у меня в горле были натянуты до предела, но в зале меня не было слышно. Карно потом пришел за кулисы, и в лице его я прочел разочарование и презрение.

— Тебя никто не слышал, — сказал он с упреком.

Я заверил его, что к завтраму голос у меня поправится, но этого не случилось. С голосом стало еще хуже — я так форсировал его, что мог совсем потерять. На третий день играл мой дублер, и в результате наши гастроли закончились на первой же неделе. Все мои надежды и мечты, связанные с выступлениями в «Оксфорде», рушились, а огорчения совсем свалили меня с ног — я заболел гриппом.

Я не виделся с Хетти больше года. В глубоком унынии и очень ослабевший после болезни, я как-то вспомнил о ней и однажды поздним вечером пошел побродить в направлении ее дома, в Кэмберуэлл. Но дом пустовал и на двери висела табличка: «Сдается».

Без всякой цели я продолжал бродить по этим улочкам, как вдруг из темноты показалась фигурка — она переходила через улицу и направлялась ко мне:

— Чарли! Что вы тут делаете?

Это была Хетти — в черной котиковой шубке и круглой котиковой шапочке.

— Да вот пришел повидать вас, — сказал я шутя.

Она улыбнулась.

— Какой вы стали худой.

Я рассказал ей, что едва оправился после гриппа. Хетти недавно исполнилось семнадцать, она была очень хороша и прелестно одета.

— А позвольте спросить, что вы-то так поздно здесь делаете?

— Я была в гостях у подруги, а сейчас иду к брату. Может быть, и вы пойдете со мной?

По пути она мне рассказала, что ее сестра вышла замуж за американца-миллионера, Фрэнка Гульда, живут они теперь в Ницце, и завтра утром она уезжает к ним.

В этот вечер я стоял и смотрел, как она кокетливо танцует с братом. Она вела себя глупо, как красивая, но бездушная женщина, и вдруг, совершенно неожиданно для себя, я почувствовал, что мой пыл охладевает. Неужели она так же банальна, как и все другие девушки? От этой мысли мне стало грустно, но я мог уже вполне беспристрастно смотреть на нее.

Она очень развилась за этот год. Я видел обрисовывавшуюся под платьем грудь и думал, что она у нее слишком мала и не так уж пленительна. Хотел бы я на ней жениться, если бы я мог себе это позволить? Нет, я ни на ком не хотел жениться.

И когда в эту холодную, звездную ночь я провожал ее домой, должно быть, я с такой же печальной объективностью говорил, что ее, наверно, ждет замечательная и счастливая жизнь.

— В ваших словах звучит такая тоска, что я готова заплакать, — сказала она.

Я возвращался домой торжествуя, — я тронул ее своей грустью, заставил почувствовать во мне человека.

Карно предложил мне снова играть в «Молчаливых пташках» — а между тем не прошло и месяца, как ко мне полностью вернулся голос. Я старался не предаваться отчаянию, в которое меня поверг мой провал в «Футбольном матче», но меня неотступно преследовала мысль, что, может быть, я в самом деле не достоин занять место Уэлдона. А за этими мыслями еще стояло воспоминание о провале у Форстера. Моя вера в себя все еще не возвращалась, и каждый новый скетч, в котором я должен был играть главную роль, становился для меня тяжким испытанием. А тут подошел тот решающий день, когда я должен был предупредить мистера Карно, что срок моего контракта подошел к концу и я прошу повысить мне жалованье.

Карно бывал очень циничен и жесток с теми, кто ему не нравился. Мне никогда не доводилось видеть его таким, потому что он хорошо ко мне относился, но я знал, что он может быть очень резок и груб. Если ему не нравился кто-нибудь из его актеров, он мог стоять за кулисами во время спектакля, издеваясь над актером и громко и неодобрительно прищелкивая языком. С одним актером у него вышла из-за этого неприятность: тот не стерпел издевательства, бросился посреди представления за кулисы и налетел на него с кулаками. С тех пор Карно уже не прибегал к подобным мерам. И вот теперь я стоял перед ним, требуя прибавки при возобновлении контракта.

— Вот видите, — сказал он, цинично улыбаясь, — вы требуете прибавки, а театральные антрепренеры требуют скидки. — Он пожал плечами. — После вашего провала в «Оксфорде» я только и слышу одни жалобы. Говорят, наша труппа не выдерживает марки — «разношерстная компания»\*.

---

\* В труппе Карно у нас обычно проходило не меньше полугода, пока мы всем ансамблем не добивались в спектакле нужного темпа. До этого времени мы считались «разношерстной компанией».

— Но уж меня-то не приходится в этом винить, — пытался я защититься.

— Да они и вас ругают, — ответил он, решительно глядя на меня.

— И на что они жалуются?

Он откашлялся, опустив глаза.

— Говорят, что вы плохо играете.

Хотя его замечание ударило меня по самому больному месту и обозлило, я ответил спокойно:

— Ну что ж, а кое-кто держится другого мнения и предлагает мне больше, чем я получаю у вас.

Это было неправдой — у меня не было предложений.

— Говорят, что спектакль из рук вон плох, и комики никуда не годятся. Да вот, — сказал он, поднимая трубку, — я позвоню Бермондсею в «Стар», и вы сами послушаете, что он говорит... Бермондсей? На прошлой неделе, как я понимаю, дела шли неважно? — спросил он по телефону.

— Паршиво! — слышалось в трубке. Карно улыбнулся.

— А чем вы это объясните?

— Да ваш спектакль ни черта не стоит!

— А Чаплин, ведущий комик? Разве он не хорош?

— Дерьмо! — сказал тот же голос.

Улыбаясь, Карно передал мне трубку.

— Послушайте сами.

Я взял трубку.

— Может быть, он и дерьмо, но не такое вонючее, как ваш театр! — крикнул я.

Попытка Карно сразить меня не имела успеха. Я сказал, что, если и он так же думает обо мне, тогда вообще не стоит говорить о возобновлении контракта. Карно, несомненно, был человеком проницательным, но плохим психологом. Если бы даже я и вправду был никудышным актером, то и тогда Карно поступил неблагоразумно, заставив человека на другом конце провода сказать мне об этом. Я получал у Карно пять фунтов и, хотя был в те дни не очень уверен в себе, попросил у него шесть. К моему удивлению, Карно согласился. Вскоре он снова стал ко мне благоволить.

В Англию вернулся Алф Ривс, режиссер труппы Карно, гастролировавшей в Америке, — по слухам, для того, чтобы найти хорошего комика и увезти его в Соединенные Штаты.

А я как раз мечтал поехать в Америку и не только из любопытства — после моих неудач в Лондоне я надеялся начать в новой стране новую жизнь. К счастью, в Бирмингеме в это время шел с большим успехом наш новый скетч «Ринк», в котором я играл главную роль. В тот вечер, когда к нам приехал мистер Ривс, я, конечно, старался изо всех сил, и в тот же вечер Ривс телеграфировал Карно, что он нашел комика для Америки. Но у Карно в отношении меня были свои планы. Я мучился неизвестностью довольно долго, пока, на мое счастье, Карно не увлекся новым скетчем «Вау-Ваус»: его сюжет был построен на вовлечении героя в тайное общество. Мы с Ривсом считали этот скетч глупой, пустой, никчемной затеей. Но Карно, которому он очень нравился, уверял нас, что в Америке скетч будет пользоваться огромным успехом, потому что там полно таких тайных обществ, и американцы будут рады посмеяться над ними. И тут, к моей великой радости, Карно выбрал меня на главную роль в этом скетче, который мы должны были везти в Америку.

Поездка в Америку — этого-то мне и хотелось. Я чувствовал, что в Англии я уже достиг потолка — мои возможности были здесь очень ограничены. Если бы я перестал

пользоваться успехом на сцене мюзик-холла, мне, при моем скудном образовании, оставалось бы только пойти в лакеи. Мне казалось, что в Штатах возможности гораздо шире.

Вечером перед нашим отъездом я пошел погулять по Вест-Энду. Я останавливался на Лейстер-сквер, на Ковентри-стрит, на Пелл-Мелл и на Пикадилли, с тоской думая о том, что вижу Лондон в последний раз, — ведь я решил навсегда остаться в Америке. Я бродил по городу до двух часов ночи, упиваясь поэзией пустынных ночных улиц и собственной грустью.

Я ненавижу прощания. Что бы человек ни чувствовал, разлучаясь с близкими, эти минуты расставания лишь растрavляют его боль. Я поднялся в шесть утра, не стал будить Сиднея и только оставил ему на столе коротенькую записочку: «Уезжаю в Америку. Буду писать. Целую, Чарли».

## VIII

До Квебека мы плыли двенадцать дней — погода была ужасной. Три дня мы потеряли из-за поломки руля. Но как только я вспоминал, что еду в другую страну, на сердце у меня становилось легко и радостно. Мы плыли в Канаду на судне для перевозки скота. Впрочем, скота на борту не было, но зато пароход кишел огромными крысами. По ночам они нахально усаживались на край моей койки, и мне приходилось кидать в них башмаки.

Стоял сентябрь, и Ньюфаундленд оставался в тумане, когда мы проходили мимо него. Наконец мы увидели материк. Моросило, берега реки св. Лаврентия казались пустынными. С борта парохода очертания Квебека напоминали крепостной вал, по которому когда-то прохаживалась тень отца Гамлета. Я гадал, какими же я увижу Штаты.

Но по мере нашего приближения к Торонто, пейзаж в своем пышном осеннем наряде становился все прекраснее, а мои надежды — все радужнее. В Торонто у нас была пересадка и проверка документов в департаменте американской иммиграции. Наконец, в воскресенье, в десять утра мы прибыли в Нью-Йорк. Выйдя из трамвая на Таймс-сквер, я почувствовал некоторое разочарование. Ветер гнал по мостовой обрывки газет, и Бродвей в эту пору был похож на неряшливую женщину, только что вставшую с постели. Почти на каждом углу, удобно расположившись на высоких табуретах, восседали люди без пиджаков, а чистильщики обуви трудились над их башмаками, — казалось, они начали одеваться дома, а заканчивают эту процедуру на улице. Многие бесцельно слонялись по тротуарам, словно приезжие, желающие убить время между двумя поездами.

И все-таки это был Нью-Йорк, город риска, город большого бизнеса, захватывающий дух и немного пугающий. Париж показался мне более гостеприимным. Хотя я и не знал языка, но Париж на каждом углу приветствовал меня своими быстро и столиками кафе на тротуарах. Зато Нью-Йорк был, конечно, самым подходящим местом для крупных дел. Высокие небоскребы глядели надменно — им было не до маленьких людей. Даже в барах посетителям негде было приятно посидеть — разве только у длинной медной перекладки, на которую можно поставить ногу. В дешевых ресторанах, хотя и чистых и облицованных белым мрамором, было по-больничному холодно.

Я снял комнату, выходящую окнами во двор, в одном из каменных домов на 43-й улице, где теперь помещается «Таймс билдинг». Комната была мрачной и грязноватой, и вскоре я затосковал по Лондону и нашей уютной квартирке. В подвале помещалось

заведение химической чистки и глажки, и к неудобствам моего жилья еще прибавлялось ядовитое влажное зловоние.

В первый день моего пребывания в Нью-Йорке я чувствовал себя очень неуверенно. Для меня было мукой зайти в ресторан и что-нибудь заказать — меня смущал мой английский акцент и то, что я медленно говорю. Американцы говорят очень быстро, глотая окончания слов, и я стеснялся, боясь, что начну заикаться и задержу кого-нибудь.

Я не привык к столь быстрому темпу жизни. В Нью-Йорке даже самый мелкий предприниматель проявляет в работе необычайное рвение. Мальчишка-чистильщик сапог с необычайным рвением орудует своими щетками, буфетчик с тем же рвением торопится подать вам пива, подвигая налитую кружку. А уж бармен, сбивая нам яично-солодовый коктейль, действует с ловкостью настоящего жонглера. Он молниеносно хватает бокал, бросает в него ваниль, шарик мороженого, две ложки солоду, сырое яйцо, которое он разбивает одним ударом, прибавляет молока, сбивает коктейль и подает его вам, затратив на всю операцию меньше минуты.

На улице среди прохожих многие выглядели такими же одинокими и покинутыми, как я. Другие, наоборот, расхаживали с важным видом, словно Бродвей их личная собственность. Лица встречных выражали холодную суровость; очевидно, любезность и вежливость рассматривались как признак слабости. Но вечером, когда Бродвей заполнился толпой в ярких летних костюмах, мне стало легче на душе. Мы уезжали из Англии холодным сентябрьским днем, а приехали в Нью-Йорк в разгар бабьего лета, когда термометр показывал восемьдесят градусов по Фаренгейту. Бродвей светился мириадами разноцветных электрических лампочек, сверкавших, как драгоценные ожерелья. В этот теплый вечер стало меняться мое отношение к Америке — я начинал ее чувствовать. Высокие небоскребы, сияние веселых огней рекламы вселяли новые надежды, наполняли меня предчувствием необыкновенных приключений.

«Здесь! — сказал я себе. — Мое место здесь!»

Казалось, что чуть ли не каждый прохожий на Бродвее имеет отношение к театру или какому-нибудь другому зрелищному бизнесу. Повсюду — на улице, в ресторанах, в отелях и универмагах — можно было встретить актеров драмы, артистов варьете, циркачей, эстрадников, всегда занятых профессиональными разговорами. На каждом шагу упоминались имена театральных антрепренеров: Ли Шуберта, Мартина Бека, Уильяма Морриса, Перси Уильямса, Клоу и Эрлангера, Фромана, Салливана и Консидайна, Пентэджа. Даже уборщицы, лифтеры, официанты, вагонновожатые, бармены, молочники и булочники — все говорили на одном и том же профессиональном жаргоне. На улице можно было услышать, как пожилые женщины, с виду обыкновенные фермерши, обменивались впечатлениями: «Он только что вернулся с трехразовых у Пентэджа \* на Западе. Дайте ему настоящий материал, и он сделает классный номер». «А вы видели Ола Джолсона<sup>1</sup> в «Зимнем саду»? — спрашивал швейцар. — У Джейка все на нем только и держится».

---

\* Труппа Пентэджа на гастролях давала по три представления в день.

Газеты ежедневно посвящали театру целую страницу, напоминая отчет о скачках: в зависимости от успеха и длительности аплодисментов номера ревью «приходили» первыми, вторыми или третьими, словно беговые лошади. Мы еще не начали скачку, но мне, конечно, уже не терпелось узнать, какое место мы займем на финише. Нам предстояло играть у Перси Уильямса всего полтора месяца, а дальше у нас не было ангажемента. От нашего успеха зависел срок дальнейших гастролей в Америке. Если мы провалимся, придется возвращаться в Англию.

Мы сняли на неделю зал, чтобы репетировать свой скетч «Вау-Ваус». У нас в труппе был старый эксцентрик, знаменитый клоун из театра «Друри-лейн». Ему уже было за семьдесят, он обладал глубоким звучным голосом при очень плохой дикции, а почти всю экспозицию скетча должен был пояснять зрителю именно он. Старик никак не мог выговорить даже самой простой реплики и на премьере понес такую тарбарщину, что даже мы не могли разобрать.

В Америке труппа Карно имела хорошую репутацию. В программе, составленной из номеров превосходных артистов, мы были главной приманкой. И хотя мне очень не нравился наш скетч, я, конечно, старался сделать все, что в моих силах, чтобы содействовать его успеху. Я надеялся, что, может быть, Карно окажется прав, и скетч — именно «то, что нужно Америке».

Не стану описывать, как я волновался в вечер премьеры перед выходом на сцену, какая неуверенность в своих силах мучила меня и как меня смущали американские актеры, стоявшие за кулисами и смотревшие на нас. В Англии моя первая острота неизменно вызывала хохот и служила своего рода барометром, по которому можно было определить, как будет воспринят весь скетч. Мы изображали туристов, расположившихся на лоне природы. Я выходил из палатки с чашкой в руке.

«Арчи (я). Доброе утро, Хадсон. Не дадите ли вы мне немного воды?»

Хадсон. С удовольствием. А зачем вам вода?

Арчи. Хочу принять ванну. (В публике легкий смешок, сменяющийся гробовым молчанием.)

Хадсон. Как вы спали сегодня, Арчи?

Арчи. Ужасно! Мне приснилось, что за мной гоняется гусеница».

В зале по-прежнему стояла мертвая тишина. Мы продолжали что-то бубнить, а лица у актеров-американцев за кулисами все больше вытягивались. Впрочем, они скоро ушли, не досмотрев нас до конца.

Это был глупый и скучный скетч: я предупреждал Карно, что им нельзя открывать гастроли. В нашем репертуаре были гораздо более смешные скетчи, такие, как «Ринк», «Воры в смокингах», «Почтовая контора» и «Мистер Перкинс, член парламента», которые, несомненно, понравились бы американской публике. Но Карно был очень упрям.

Провал в чужой стране, мягко выражаясь, мало приятен. Было невыразимо тягостно каждый вечер выступать перед холодно невозмутимыми зрителями с многословными и добродушными английскими шутками. В театр и из театра мы старались проходить как можно незаметнее. Полтора месяца мы терпели этот позор. Другие артисты, выступавшие в той же программе, чурались нас. Когда мы перед выходом, подавленные и униженные, собирались за кулисами, у нас было такое чувство, будто пас сейчас поставят к стенке и расстреляют.

Хотя я чувствовал себя одиноким и посрамленным, я был рад, что живу один, — по крайней мере, мне не приходилось делиться с другими своим унижением. Весь день я гулял по улицам, таким длинным, что, казалось, они ведут в никуда. Я заходил в зоологические сады, в парки, аквариумы и музеи. После нашего провала Нью-Йорк представлялся мне слишком большим, его небоскребы слишком высокими, а царивший в нем дух конкуренции — неодолимым, всеподавляющий. Великолепные здания на Пятой авеню были не домами, а памятниками чьего-то успеха. Эти вздымающиеся ввысь роскошные сооружения и нарядные магазины будто напоминали мне каждую минуту, что я оказался здесь ни к чему не пригодным.

Я совершал далекие прогулки через весь город, забираясь в трущобы Нью-Йорка, и проходил через Мэдисон-сквер, где на скамьях в мрачном оцепенении сидели, опустив головы, старики-нищие. Затем я направлялся к 3-й и 2-й авеню. Здесь бедность была ожесточенной, горькой и циничной — она толкалась, кричала, смеялась, плакала, собираясь в кружок у дверей, у пожарных лестниц, покрывала улицы блевотиной. Зрелище этой нищеты приводило меня в уныние — я спешил вернуться на Бродвей.

Американец, всегда погруженный в деятельную мечту, неутомимо пытающийся чего-то достичь, по существу, оптимист. Он надеется мгновенно составить состояние! Схватить крупный куш! Всплыть на поверхность! Сразу продать весь товар! «Сделать деньги» и бежать! Найти другой, более легкий заработок! И эта чисто американская несдержанность в мечтах стала действовать и на меня. Как это ни парадоксально, после нашего провала я почувствовал даже какую-то легкость и свободу. В Америке есть другие возможности. Где это сказано, что я должен быть прикован к театру? Выяснилось, что я не предназначен для искусства. Значит, надо войти в другое, более выгодное предприятие! Ко мне возвращалась вера в свои силы. Как бы там ни было, я твердо решил остаться в Америке.

Чтобы отвлечься от мыслей о нашем провале, я решил заняться самообразованием и начал захаживать к букинистам., Я купил несколько учебников: «Риторику» Келлога, английскую грамматику, латино-английский словарь — и дал себе клятву заняться всей этой премудростью. Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Едва раскрыв эти книги, я поспешил уложить их на дно чемодана и не вспомнил о них до нашего второго приезда в Штаты.

Первую неделю в нашей программе был номер под названием «Школьные дни Гэса Эдвардса». В этой детской труппе выступал довольно милый прохвост, который был не по летам искушен в житейских делах. С необыкновенным азартом он играл в кости на сигаретные этикетки: набрав много, их можно было менять в специальных табачных лавочках на разные предметы, начиная с никелированного кофейника и кончая роялем. Он готов был играть на них с рабочими сцены, с кем угодно. Звали его Уолтер Уинчелл. Он удивительно быстро говорил и впоследствии сохранил пулеметную быстроту речи, но ему часто не хватало точности в передаче истины.

Несмотря на провал нашего скетча, меня лично газеты хвалили. Силвермен писал в «Вэрайити»: «...Но в труппе все-таки есть один хороший английский комик, который подойдет и Америке».

Мы уже смирились с мыслью, что через полтора месяца нам придется упаковать чемоданы и вернуться в Англию. На третьей неделе наших гастролей мы играли в театре на 5-й авеню, где большинство зрителей составляли англичане — лакеи и дворецкие богатых американцев. Первое представление в понедельник прошло великолепно. Зрители смеялись каждой шутке. Мы все были удивлены — я, например, не сомневался, что прием будет холодным, и, может быть поэтому, не чувствуя внутренней скованности, играл неплохо.

На одном из представлений в этом театре нас посмотрел агент антрепризы Салливана и Консидайна и предложил нам поехать на четыре месяца в турне по Западу. Это были дешевые спектакли варьете, и нам приходилось давать по три представления в день.

Хотя в этом первом турне по Западу оглушительного успеха мы не имели, но по сравнению с другими номерами программы, можно считать, что мы все-таки выдержали испытание.

В те дни средний Запад сохранял еще свое очарование. Темп жизни был спокойнее, самый воздух здесь был романтичен. В каждой аптеке, в каждом салуне можно было сыграть в кости на то, что продавалось в этом заведении. В воскресное утро на главной улице повсюду слышался глухой, приятный и мирный звук кидаемых костей. Сколько раз мне и самому удавалось за десять центов выиграть на целый доллар добра.

Жизнь была недорога. Комнату в скромном отеле с трехразовым питанием можно было иметь за семь долларов в неделю. Особенно дешева была еда. Вся наша труппа обычно собиралась в салуне, где в часы завтрака можно было за пять центов получить стакан пива и любую закуску, выставленную на стойке. Нашему вниманию предлагались свиные ножки, ветчина, картофельный салат, сардины, макароны с сыром, всевозможные колбасы и сосиски. Кое-кто из наших злоупотреблял столь щедрой возможностью и накладывал на тарелки такие горы еды, что бармену приходилось вмешаться:

— Эй! Интересно, куда вы держите путь с этакой кладью — на Клондак, что ли?

В труппе нас было человек пятнадцать или даже больше, и каждый из нас больше половины своего жалованья откладывал, даже в том случае, если не скупился за свой счет оплачивать при переездах спальные места. Мне платили семьдесят пять долларов в неделю, и пятьдесят из них неизменно и регулярно шли в манхеттенский банк.

Наше турне привело нас на побережье. Вместе с нами в этом турне по Западу ездил один красивый молодой техасец. Мы выступали в одной программе. Он работал на трапедии и никак не мог решить: продолжать ли ему это занятие или стать призовым боксером. Каждое утро я надевал боксерские перчатки, и мы с ним тренировались. Но, несмотря на то, что он был выше и тяжелее меня, я бил его, как хотел. Мы с ним очень подружились и после боя шли вместе завтракать. Он рассказывал мне, что его родители простые техасские фермеры, и с увлечением описывал жизнь на ферме. Вскоре мы стали обсуждать с ним новый проект: оставить театр и вместе заняться разведением свиней.

У нас было две тысячи долларов и общая мечта — разбогатеть. Мы собирались купить землю в Арканзасе по пятьдесят центов за акр, полагая, что для начала нам хватит двух тысяч акров, а остальные деньги рассчитывали вложить в покупку свиней и оборудование фермы. Мы высчитали, что если дело с приплодом свиней пойдет хорошо, — скажем, если каждая матка будет давать в среднем по пяти голов в год, — то за пять лет каждый из нас сумеет сколотить по сто тысяч долларов.

По пути мы смотрели в окна вагонов и, если видели свиноводческую ферму, приходили в неистовый восторг. Мы ели, спали и видели во сне свиней. Если б я тогда не купил книгу о научном разведении свиней, я мог бы оставить театр, стать фермером и разводить свиней, но в этой книге весьма наглядно был показан способ их кастрации, что сильно охладило мой пыл, и вскоре я забыл о свиньях.

На этот раз я взял в турне скрипку и виолончель. С шестнадцати лет я каждый день играл у себя в номере по четыре, а то и по шесть часов в день. Раз в неделю я брал уроки у нашего театрального дирижера или еще у кого-нибудь по его рекомендации. Так как я был левшой, мне перетянули скрипку на левую руку, переместив струны. Я мечтал стать концертным исполнителем, а если не удастся, по крайней мере, подготовить номер для мюзик-холльной программы. Но со временем я понял, что не смогу здесь достичь совершенства, и вскоре забросил музыкальные занятия.

В десятые годы нашего столетия Чикаго, безобразный и прокопченный, обладал, однако, особой притягательной силой. В этой буйно разраставшейся героической столице «дыма и стали», как сказал о ней Карл Сэндберг, еще жив был дух первых поселенцев. Безбрежные плоские равнины вокруг Чикаго, должно быть, похожи на русские степи. Взвинченное веселье било в городе через край, но в глубине его таилось горькое мужское



одиночество. Люди топили свою тоску в бурлеске, где работали грубые комики, устраивавшие свалки на потеху зрителям. Их обычно сменяло двадцать, а то и больше, хористок. Некоторые из них были даже хорошенькими, другие имели довольно поношенный вид. Кое-кто из бурлескных комиков был смешон, но большинство комедий было непристойно, грубо и цинично. Здесь царила «чисто мужская» атмосфера, насыщенная враждебностью ко всему женскому. Чикаго был переполнен подобного рода зрелищами. В одном из них под названием «Говяжий трест Уотсона» показывали двадцать чудовищно толстых немолодых женщин, чьи могучие формы были обтянуты трико. Зрителям объявляли, что общий вес этих дам достигает скольких-то тонн. Их фотографии, выставленные на улице, для которых они позировали с грубым жеманством, производили грустное и довольно безотрадное впечатление.

В Чикаго мы жили далеко от центра, в маленьком отеле на Уэбеш-авеню. Отель был довольно паршивый, но в нем была своя прелесть — девушки из бурлеска тоже жили здесь. Мы всегда старались поселиться поближе к тому отелю, где жили хористки мюзик-холла, в надежде, которая потом никогда не оправдывалась. По ночам мимо нашего отеля мчались поезда воздушных линий, отбрасывая на стены моей комнаты тени, будто в старомодном биоскопе. И все-таки мне нравился наш отель, хотя ничего интересного тут так и не приключилось.

Некая молодая девушка, тихая, хорошенькая и очень застенчивая, почему-то почти всегда была одна. Иногда она встречалась мне в вестибюле отеля, но у меня не хватало смелости познакомиться с ней, да по правде говоря, она меня к этому и не поощряла.

По пути из Чикаго на побережье мы оказались о ней в одном поезде. Труппы бурлеска, ездившие в турне на Запад, обычно направлялись по одному и тому же маршруту, играя в одних и тех же городах. Проходя по вагонам поезда, я вдруг увидел эту девушку — она разговаривала с кем-то из наших актеров. Вскоре этот актер вернулся в наш вагон.

— Что это за девушка? — спросил я.

— Очень милая. Бедняжка — мне ее так жалко.

— Почему?

Он придвинулся ко мне поближе.

— Помнишь, были разговоры, что у одной из девушек сифилис? Так вот это она и есть.

В Сиэттле она должна была расстаться со своей труппой и лечь в больницу. Мы собрали для нее немного денег, причем в сборе участвовали все труппы, ехавшие в этом поезде. Бедная девушка — все узнали, какая беда ее постигла. И все-таки она была очень благодарна за помощь, а вскоре, подлечившись вливанием сальварсана, еще нового тогда средства, она вернулась в труппу.

В те дни в Америке повсюду были кварталы красных фонарей. Чикаго был особенно знаменит своим «Домом всех наций», владелицами которого были сестры Иверли — две пожилые старые девы. Славился этот дом тем, что в нем можно было найти женщину любой национальности. Комнаты тоже были обставлены в соответствующем стиле: турецкие, японские, апартаменты в стиле Людовика XVI, был там даже арабский шатер. Это заведение считалось самым роскошным в мире и самым дорогим. Миллионеры, промышленные магнаты, сенаторы и судьи были его завсегдатаями. Делегаты различных съездов и конвенций обычно подкрепляли свои соглашения тем, что занимали все заведение на целую ночь. Какой-то богатый сибарит прославился тем, что поселился здесь на три недели безвыходно, все это время не видя белого света.

Чем дальше мы углублялись на Запад, тем больше он нравился мне. Широкие пространства необработанной земли, которые я видел из окна вагона, тоскливые и грустные, наполняли меня какой-то надеждой. Простор всегда благотворно действует на душу человека — свободней дышится, и мои горизонты тоже становились шире. В таких городах, как Кливленд, Сент-Пол, Канзас-сити, Денвер, Батт, Биллингс, уже ощущался пульс завтрашнего дня, наполняя и меня его предчувствием.

Мы подружились со многими актерами мюзик-холльных трупп. В каждом городе, собравшись группой человек по шесть, а то и больше, мы отправлялись кутить. Иногда нам удавалось заслужить расположение мадам какого-нибудь веселого дома, и тогда она на всю ночь закрывала свое заведение, и мы царили там единолично. Случалось, что девушки влюблялись в наших актеров, и тогда они сопровождали нас до ближайшего города.

Квартал красных фонарей в Батте, в штате Монтана, занимал длинную улицу и несколько близлежащих переулков, в которых были сотни каморок, где молодые девушки от шестнадцати лет и старше продавались за доллар. Батт бахвалился тем, что в его квартале красных фонарей были самые красивые на всем Западе девушки, и это было правдой. Если случалось увидеть в городе хорошенькую и красиво одетую девушку, можно было с уверенностью сказать, что это обитательница квартала красных фонарей пошла за покупками. Когда они были не «на работе», они не поглядывали по сторонам и вели себя весьма респектабельно. Несколько лет спустя я поспорил с Сомерсетом Моэмом по поводу Сэди Томпсон — героини его пьесы «Дождь». Костюм Жанны Иггс в этой роли с сапожками на резинках выглядел, насколько я помню, довольно гротескно. Я сказал Моэму, что в Батте проститутка не заработала бы ни гроша, если бы стала так одеваться.

В 1910 году Батт в Монтане оставался еще ник-картеровским <sup>1</sup> городом — там разгуливали шахтеры в высоких сапогах с отворотами, в огромных сомбреро и красных шейных платках. Я сам был свидетелем перестрелки на улице, когда толстый старый шериф стрелял вслед сбежавшему арестанту, которого в конце концов загнали в тупик, но, к счастью, взяли живым и невредимым.

Чем дальше на запад мы забирались, тем легче становилось у меня на душе. Города, которые мы проезжали, — Виннипег, Такома, Сиэтл, Ванкувер, Портленд, — выглядели чище, наряднее. В Виннипеге и Ванкувере публика была преимущественно английская, и, несмотря на мои проамериканские настроения, мне было приятно снова играть перед англичанами.

И наконец Калифорния, — земной рай, где светило яркое солнце, росли апельсины и виноград, а пальмовые рощи тянулись по берегу Тихого океана на тысячи миль. Мы увидели Сан-Франциско — эти врата на Восток, город отличной еды и дешевых цен. Там я впервые попробовал лягушачьи лапки по-провансальски, песочные пирожные с клубникой и груши авокадо. Мы приехали в Сан-Франциско в 1910 году, когда город уже был восстановлен после землетрясения 1906 года, или, как говорили местные жители, после пожара. Кое-где на улицах еще видны были трещины, но других следов разрушения почти не осталось. Все решительно, включая и маленький отель, в котором я остановился, блистало новизной.

Мы играли в театре «Эмприсс», владельцами которого были Сид Грауман и его отец — очень милые и приветливые люди. Именно они впервые выделили на афише мое имя крупным шрифтом, без упоминания труппы Карно. А публика! Какое наслаждение было играть перед такими зрителями! Несмотря на то, что «Вау-Ваус» был очень скучным скетчем, каждый вечер зал был переполнен, и зрители смеялись до упаду. Очень довольный, Грауман обратился ко мне с предложением.

— Если вы когда-нибудь рассоритесь с Карно, в любое время приезжайте и мы с вами будем ставить спектакли.

Такой пыл был для меня внове. В Сан-Франциско человек начинает чувствовать целебную силу оптимизма, соединенного с предприимчивостью.

А вот жаркий и душный Лос-Анжелос показался мне тогда безобразным, жители выглядели бледными и анемичными. Климат здесь гораздо теплее, но в нем не было свежести Сан-Франциско. Природа одарила север Калифорнии такими естественными богатствами, что он все равно будет процветать, если даже Голливуд когда-нибудь и перестанет существовать.

Мы закончили наше первое турне в Солт-Лейк-сити, этом обиталище мормонов, которое заставило меня вспомнить о Моисее, выведшем из рабства детей Израиля. Этот просторный, свободно раскинувшийся город, с такими широкими улицами, какие могли проложить только жители бескрайней прерии, весь колышется в знойных лучах солнца, как мираж. Город показался мне суровым и отчужденным, как и сами мормоны.

Закончив эти гастроли по контракту с компанией Салливана и Консидайна, мы вернулись в Нью-Йорк, намереваясь сразу уехать в Англию. Но тут мистер Уильям Моррис предложил нам ангажемент на полтора месяца в своем нью-йоркском театре, на 42-й улице, где мы должны были показать весь наш репертуар. Мы начали свои гастроли скетчем «Вечер в английском мюзик-холле», и он очень понравился зрителям.

И вот однажды некий молодой человек, которому его возлюбленная назначила свидание на довольно поздний час, от нечего делать зашел с приятелем в американский мюзик-холл Уильяма Морриса, как раз когда там шел «Вечер в английском мюзик-холле». Посмотрев меня в роли пьяницы, он сказал: «Вот этому парню я предложу контракт, если когда-нибудь добьюсь успеха». В то время этот молодой человек был еще статистом у Д.-У. Гриффита<sup>1</sup> в кинокомпании «Байограф»<sup>2</sup> и получал в день пять долларов. Его звали Мак Сеннет<sup>3</sup>. Впоследствии он основал кинокомпанию «Кистоун»<sup>4</sup>.

После большого успеха полуторамесячных гастролей в мюзик-холле Уильяма Морриса, Салливан и Консидайн предложили нам поехать в новое турне на пять месяцев.

К концу второго турне я загрузил. Нам оставалось пробыть в Штатах всего три недели: гастроли в Сан-Франциско, Сан-Диего, в Солт-Лейк-сити, а затем надо было возвращаться в Англию.

Накануне нашего отъезда из Сан-Франциско я пошел погулять, и на Маркет-стрит увидел небольшую лавчонку с закрытыми ставнями, на которой висело объявление: «Предсказываю судьбу по руке и картам за один доллар». Немного стесняясь, я вошел в лавчонку. Навстречу мне из задней комнаты вышла полная женщина лет сорока, которая на ходу что-то дожевывала. Небрежным жестом она указала мне на маленький столик, стоявший у стены против двери, и, не глядя на меня, сказала: «Садитесь, пожалуйста», — а сама села напротив меня. Говорила она отрывисто.

— Потасуйте карты, снимите три раза, а потом положите руки на стол, ладонями кверху.

Она раскинула карты и внимательно стала их разглядывать, а затем посмотрела на мои руки.

— Вы сейчас думаете о дальнем путешествии, и вы уедете из Штатов. Но скоро вернетесь и займетесь новым делом, не тем, чем сейчас.

Здесь она замялась.

— Ну да, почти то же самое дело, а все-таки другое. И в этом новом предприятии у вас будет очень большой успех. Я вижу, вас ждет блестящая карьера, но что это за дело — я не знаю.

Она впервые взглянула мне в лицо и снова взяла мою руку.

— Женитесь вы три раза. Первые два брака будут несчастливые, но конец вашей жизни вы проведете в счастливом браке, и у вас будет трое детей. (Тут она ошиблась.)

Она продолжала внимательно изучать мою руку.

— Да, вы наживете огромное богатство, — такая рука умеет делать деньги.

Она окинула изучающим взглядом мое лицо.

— Вы умрете от воспаления легких восьмидесяти двух лет от роду. С вас доллар, прошу вас. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне?

— Нет, — рассмеялся я, — лучше я уж не стану ничего уточнять.

В Солт-Лейк-сити газеты были полны сообщениями о грабежах и кражах со взломом. В ночные клубы врывались бандиты, чьи лица были скрыты чулком вместо маски, они ставили всех, кто там был, к стенке и обирали до нитки. Однажды за ночь было совершено три ограбления. Город был терроризирован.

Обычно после спектакля мы шли в ближайший кабачок выпить и знакомились с его завсегдатаями. Как-то вечером там появился толстый круглолицый веселый человек в сопровождении двух товарищей. Толстяк, по-видимому самый старший из них, подошел к нам.

— Это вы, ребята, английские актеры, которые играют в театре «Эмприсс»?

Мы кивнули, улыбаясь.

— Я вас сразу узнал! Эй, мальчики, идите сюда!

Он поманил своих товарищей и, представив их нам, предложил выпить.

Толстяк оказался англичанином, хотя в его речи уже почти не чувствовался английский акцент. Ему было лет под пятьдесят, он казался добродушным, маленькие глазки сверкали на красном лице.

Немного погодя двое его товарищей и наши актеры отошли к стойке, оставив меня наедине с Толстяком.

И тут он разоткровенничался.

— Три года тому назад я ездил на старую родину, но это совсем не то, — жить надо здесь! Я приехал сюда лет тридцать назад. Совсем еще сосунком. Сначала надрывался в медных рудниках Монтаны, но потом взялся за ум. «Это работа для дураков», — сказал я себе. А сейчас дураки на меня работают.

И он вытащил из кармана толстенную пачку банкнотов.

— Давай еще выпьем!

— Осторожней, — сказал я шутя. — Как бы вас не ограбили!

Он посмотрел на меня с хитрой улыбочкой и подмигнул.

— Не на такого мальчика напали!

От этого подмигивания мне стало страшно — оно говорило о многом. Не отводя от меня глаз, он продолжал улыбаться.

— Понятно? — снова подмигнул он.

Я благоразумно кивнул.

И тут он приблизил лицо к моему уху и таинственно зашептал, кивнув в сторону своих друзей.

— Видишь этих ребят? Это моя команда, два бессловесных чурбака, — ума ни на грош, зато уж не струсят.

Я осторожно приложил палец к губам, показывая, что его могут подслушать.

— А мы уже, братец, в порядке, сегодня ночью снимаемся с якоря. Но ведь мы с тобой англичане, верно? Со старого острова? Я тебя много раз видел в «Излингтон Эмпайр». — Он сделал гримасу. — Тяжелая у тебя работа!

Я рассмеялся.

Он становился все доверчивей и уже провозгласил меня своим другом до гробовой доски и непременно хотел узнать мой адрес в Нью-Йорке.

— Я тебе обязательно черкну ради старой дружбы, — говорил он.

К счастью, я больше никогда о нем не слышал.

## IX

Я не слишком огорчился тем, что уезжаю из Штатов. Еще не зная, как и когда, я, однако, твердо решил снова сюда приехать. К тому же я предвкушал радость возвращения в нашу уютную лондонскую квартирку — я не переставал о ней мечтать, с тех пор как приехал в Штаты.

Я уже давно не получал никаких вестей от Сиднея. В последнем письме он сообщал, что в нашей квартире живет дед. Но, встретив меня на вокзале, Сидней рассказал, что он женился, отказался от квартиры и поселился в меблированных комнатах на Брикстон-роуд. Это был жестокий удар — наш милый, радостный приют, даривший мне ощущение полноты жизни, гордости тем, что у меня есть дом, увы, больше не существовал... Я остался бездомным. Я снял на Брикстон-роуд комнату, выходящую окнами во двор, но она так угнетала меня, что я решил как можно скорее вернуться в Штаты. Лондон встретил меня с таким безразличием, словно пустой автомат, в который зря бросили монетку.

Сиднея я видел мало — по вечерам он был занят в театре, а к тому же он был теперь женат. В ближайшее воскресенье мы с ним поехали навестить мать. Это был грустный день; мама чувствовала себя плохо. У нее только что кончился приступ буйного помешательства, во время которого она непрерывно пела религиозные гимны. Ее и теперь продолжали держать в палате, обитой войлоком, — нас об этом заранее предупредила сиделка. Сидней все-таки пошел повидаться с матерью, а у меня не хватило мужества, и я остался ждать его. Вернулся он очень расстроенный и рассказал, что мать подвергают жестокому курсу лечения ледяными душами, от которых она вся посинела. Мы тут же решили поместить ее в частную лечебницу — теперь мы могли себе это позволить — и вскоре перевезли ее в то самое заведение, где окончил свои дни великий английский комик Дэн Лейно.

С каждым днем я все острее ощущал свою неустроенность и неприютность. Вероятно, если бы я вернулся в нашу квартирку, я чувствовал бы себя иначе. Конечно, я

старался не поддаваться этим мрачным настроениям. Привычность, близость родного мне образа жизни особенно трогали меня после возвращения из Штатов. Стояло изумительное английское лето, и ничто из того, что я видел за океаном, не могло сравниться с его романтической прелестью.

Однажды мой босс мистер Карно пригласил меня провести субботу и воскресенье в его плавучем доме у Тэггс-айленда. Это было роскошное судно, отделанное внутри красным деревом, с богато убранными каютами для гостей. Вечером по борту вспыхивали яркие гирлянды разноцветных огней — все это мне казалось прекрасным. Был чудесный теплый вечер, мы сидели на верхней палубе и при свете огней пили кофе и курили. Это была та Англия, сравнение с которой не выдерживала в моем сердце ни одна другая страна.

И вдруг мы услышали, как кто-то, кривляясь, завопил истерическим фальцетом:

— О, поглядите, все поглядите на мое прелестное судно! Посмотрите на мой плавучий дом! На иллюминацию! Ха-ха-ха!

Крики сменились издевательским хохотом. Мы посмотрели, откуда исходят эти звуки, и увидели в лодке мужчину в белом фланелевом костюме и даму, полулежавшую на корме. Вся мизансцена напоминала юмористические иллюстрации из «Панча». Карно перегнулся через борт и ответил громкой отповедью, но смех не прекращался.

— Единственно, что нам остается, — заметил я, — быть такими же пошляками, какими он нас считает.

И тут я выдал такую порцию раблезианской брани, что его дама не выдержала, и им пришлось быстро ретироваться.

Нелепая выходка этого человека означала не то, что он нас осуждал за дурной вкус, — в ней отразилось снобистское предубеждение против тех, кого он считал хвастливыми выскочками. Перед Букингемским дворцом он не стал бы вопить: «Посмотрите, в каком дворце я живу!», как не стал бы потешаться и над коронационным кортежем. В Англии я всегда живо чувствовал это постоянное классовое разграничение. Англичанин такого типа всегда торопится вам показать, насколько вы ниже его по социальному положению.

Наша «американская» труппа выступала в пригородах Лондона три с половиной месяца. Публика принимала нас замечательно, но меня не оставляла мысль о возвращении в Америку. Я любил Англию, однако жить в ней ни за что не хотел — прошлое не забывалось, и я боялся, что здесь снова могут наступить для меня унылые будни. Поэтому я страшно обрадовался, когда нас пригласили в новое турне по Соединенным Штатам.

По воскресеньям мы с Сиднеем навещали мать — здоровье ее заметно поправилось. Перед отъездом Сиднея на гастроли в провинцию мы с ним поужинали вместе. А в ночь накануне моего отъезда из Лондона я снова бродил по Вест-Энду. Я был очень взволнован, мне было горько и грустно думать, что сегодня я вижу эти улицы в последний раз.

На этот раз мы прибыли прямо в Нью-Йорк вторым классом на лайнере «Олимпик». Шум машин постепенно замер, знаменуя приближающуюся перемену в нашей жизни. Теперь я уже чувствовал себя в Штатах как дома — чужестранец среди чужестранцев, но такой, как они.

Как мне ни нравился Нью-Йорк, я с удовольствием думал о поездке на Запад, о встречах с теми знакомыми, о которых я теперь вспоминал, как о близких друзьях: об ирландце-буфетчике из Ватта, в Монтане, о милом и гостеприимном миллионере из

Миннеаполиса, о прелестной девушке в Сент-Поле, с которой я провел очень романтическую неделю, о шотландце Макаби, владельце шахт в Солт-Лэйк-сити, о добром дантисте в Такоме и о Грауманах в Сан-Франциско.

До нашего отъезда на тихоокеанское побережье мы играли в маленьких театриках в предместьях Чикаго и Филадельфии и в промышленных городах — Фолл-Ривер и Дулут.

Как всегда, я жил один. Это имело и свои преимущества, так как давало мне возможность заняться самообразованием, о чем я думал уже давно, хотя никак не мог перейти к делу.

В мире существует своеобразное братство людей, страстно стремящихся к знаниям. И я был одним из них. Но мое стремление к знаниям было не так уж бескорыстно. Мною руководила не чистая любовь к знанию, а лишь желание оградить себя от презрения, которое вызывают невежды. И когда у меня выпадала свободная минута, я заглядывал к букинистам.

В Филадельфии я нечаянно наткнулся на книгу Роберта Ингерсолла<sup>1</sup> «Этюды и лекции». Она стала для меня настоящим откровением. Атеизм автора подтверждал мои собственные мысли о том, что чудовищная жестокость Ветхого завета унизительна для человеческого духа. Затем я открыл для себя Эмерсона<sup>2</sup>. Прочитав его эссе «Обретение опоры в себе», я почувствовал, что мне будто возвращено золотое право первородства. За Эмерсоном последовал Шопенгауэр. Я купил три тома «Мир, как воля и представление», которые время от времени почитывал в течение сорока лет, но никогда не мог прочесть до конца. «Листья травы» Уолта Уитмена мне не понравились, как не нравятся и сейчас. Слишком уж он назойлив со своим распираемым любовью сердцем, со своим мистическим национализмом. В перерывах между выходами на сцену я имел удовольствие познакомиться в своей уборной с Твенном, По, Готорном, Ирвингом и Гэзлитом<sup>1</sup>. Во втором турне я, может быть, не сумел пополнить свое гуманитарное образование в той степени, в какой бы мне этого хотелось, но зато в полной мере познал безнадежную скуку работы в третьеразрядном театре.

Эти турне были невыразимо унылыми — мы выступали три-четыре раза в день все семь дней недели, — и гнетущее однообразие этой тяжелой работы убивало все мои надежды на блестящую карьеру в Америке. Работа в английском варьете по сравнению с американским была просто райским житьем. Там мы по крайней мере играли только шесть дней в неделю и всего два раза в вечер. Единственным утешением было то, что в Америке нам удавалось откладывать немного больше денег.

Гастроли продолжались пять месяцев, и я настолько устал, что был очень рад, когда в Филадельфии у нас выдалась свободная неделя. Мне было необходимо переменить обстановку, чтобы встряхнуться и хоть на время стать другим человеком. Я был сыт по горло серостью и однообразием своей работы и решил эту неделю предаваться радостям роскошной жизни. Я скопил довольно большую сумму и с горя решил кутнуть. А почему бы и нет? Я жил очень скромно, чтобы их скопить, а если останусь без работы, ведь опять буду жить очень скромно. Так лучше уж хоть немного повеселюсь.

Я купил дорогой халат и модный чемодан, истратив на это семьдесят пять долларов. Продавец был крайне любезен: «Прикажете, сэр, доставить вам домой?» Эта короткая фраза означала, что я поднялся на несколько ступеней вверх по общественной лестнице и обрел новое достоинство. Теперь я мог ехать в Нью-Йорк и забыть о своем жалком существовании и работе в третьеразрядном варьете.

В Нью-Йорке я снял номер в отеле «Астор», который в те дни был самым шикарным. На мне была модная визитка, котелок, а в руках трость и новый чемодан.

Величественный вестибюль и невозмутимая самоуверенность расхаживавших там людей подавляли меня и, разговаривая с портье, я оробел.

Номер стоил четыре с половиной доллара в сутки. Я нерешительно спросил, нужно ли платить вперед. Любезный портье поспешил меня успокоить: «О нет, сэр! Это не обязательно!»

Позолота и плюш вестибюля так сильно на меня подействовали, что, войдя в свой номер, я чуть было не заплакал. Целый час я провел в ванной, рассматривая начищенные медные краны и пробуя, как из них потоком льется горячая и холодная вода. До чего же щедро роскошь и как она помогает обрести уверенность в себе!

Я принял ванну, причесался и надел свой новый халат, намереваясь использовать каждую крупинку роскоши, купленной за мои четыре с половиной доллара. Если бы еще можно было что-нибудь почитать, ну хотя бы газету. Однако у меня не хватило мужества позвонить и попросить, чтобы ее принесли. И я сел на стул посреди комнаты и со смешанным чувством радости и печали стал внимательно разглядывать подавлявшее меня богатство.

Немного погодя я оделся, спустился вниз и спросил, где ресторан. Время обеда еще не наступило, и ресторан был почти пуст. Метрдотель подвел меня к столику у окна.

— Вам будет здесь удобно, сэр?

— Мне все равно где, — сказал я, стараясь говорить, как английский аристократ.

И тут сразу вокруг меня засуетилась целая армия официантов, подавая меню, воду со льдом, хлеб и масло. Я был слишком взвинчен и не чувствовал голода, однако внимательно прочел меню и заказал бульон, жареного цыпленка, а на десерт ванильное мороженое. Официант подал мне карточку вин, и, тщательно изучив ее, я заказал полбутылки шампанского. Я был настолько озабочен ролью обитателя отеля «Астор», что не получил удовольствия ни от еды, ни от вина. Кончив обедать, я дал официанту на чай доллар — в те дни это было более чем щедро. Но право же стоило потратиться ради поклона и внимания, с каким он меня провожал. Сам не зная зачем, я вернулся к себе в номер, посидел там минут десять, а потом, вымыв еще раз руки, отправился гулять по городу.

Я не спеша шел в направлении «Метрополитен опера» — теплый летний вечер как нельзя лучше гармонировал с моим настроением. В тот день в «Метрополитене» давали «Тангейзера», а мне еще ни разу в жизни не пришлось побывать в опере, я лишь слышал кое-какие арии в программах варьете и, по правде говоря, терпеть их не мог. Но сейчас мне вдруг захотелось послушать оперу, я купил билет и уселся во втором ярусе. Пели по-немецки, и я не понимал ни слова; сюжета «Тангейзера» я тоже не знал. Но когда мертвую королеву понесли под звуки хора пилигримов, я горько заплакал. Мне казалось, я слышал жалобу на горести всей моей жизни. И я не смог совладать с собой — не знаю, что подумали обо мне мои соседи, но я вышел из театра потрясенным и ослабевшим от волнения.

Я еще долго гулял, выбирая самые темные закоулки — я не мог вынести вульгарной яркости Бродвея, не хотелось мне возвращаться и в свой глупый номер в отеле до тех пор, пока у меня не пройдет это настроение. Наконец я несколько успокоился и решил лечь спать. Я устал и душевно и физически.

Однако у самого входа в отель я вдруг увидел Артура Келли, брата Хетти, — он когда-то был администратором труппы, в которой танцевала Хетти. В те времена я старался поддерживать с ним дружбу, так как он был ее братом. Но я не видел его уже несколько лет.



— Чарли! Куда вы направляетесь? — спросил он.

Небрежно кивнув в сторону «Астора», я сказал:

— Да вот собирался лечь спать.

Эффект не пропал даром.

Артур был с двумя приятелями и, представив меня, предложил пойти к нему, на Мэдисон-авеню, выпить кофе и поболтать.

Квартирка у него была очень милая. Мы уютно расселись и стали весело беседовать. Артур осторожно избегал каких бы то ни было упоминаний о нашем прошлом, однако ему не терпелось узнать, каким образом я стал обитателем «Астора». Я отвечал ему крайне скупно, сказав лишь, что приехал сюда отдохнуть на два-три дня.

Как и я, Артур далеко ушел со времен Кэмберуэлла. Теперь, работая в фирме своего зятя, Фрэнка Дж. Гульда, он стал преуспевающим коммерсантом. Я слушал его светскую болтовню, и мне становилось все грустнее. Говоря об одном из своих приятелей, Келли заметил:

— Он славный парень и, насколько мне известно, из очень хорошей семьи.

Я про себя улыбнулся его интересу к генеалогии своих друзей и понял, что у меня с Артуром осталось мало общего.

В Нью-Йорке я пробыл всего один день, и на следующее утро уехал обратно в Филадельфию. Этот день был для меня той переменной обстановки, в которой я нуждался, но он меня растревожил, — я острее почувствовал свое одиночество, и сейчас мне нужно было общество людей. Я уже предвкушал, как в понедельник утром начну играть и встречусь с актерами нашей труппы. Снова тянуть ляжку было не слишком-то приятно, но одного дня роскошной жизни с меня оказалось совершенно достаточно.

Как только я вернулся в Филадельфию, я сразу пошел в театр. Я попал в тот момент, когда мистер Ривс вскрывал адресованную ему телеграмму.

— Не о вас ли идет речь? — спросил он меня.

В телеграмме значилось: «Есть ли вашей труппе актер по фамилии Чаффин или этом роде точка Если есть пусть свяжется с фирмой Кессел и Баумен 24 Лонгэйкр-билдинг Бродвей».

Актера с такой фамилией в нашей труппе не было, но, как и подумал Ривс, она могла означать «Чаплин». Я страшно разволновался, зная, что Лонгэйкр-билдинг находится в самом центре Бродвея и в нем расположено много юридических контор. Вспомнив, что где-то в Штатах у меня была богатая тетка, я дал волю своему воображению: она могла умереть и оставить мне большое наследство. Я немедленно телеграфировал Кесселу и Баумену, что в труппе есть Чаплин — не его ли они имеют в виду. Ответа я ждал с величайшим нетерпением. Он пришел в тот же день. Я вскрыл телеграмму и прочел: «Просим Чаплина приехать нашу контору как можно скорее».

Преисполненный самых радужных надежд, я с первым утренним поездом отправился в Нью-Йорк — туда езды из Филадельфии было тогда всего два с половиной часа. Я не знал, что меня ждет, но представлял себе, как сижу в приемной адвоката и слушаю, как мне читают теткинo завещание.

Приехав, я был несколько разочарован — выяснилось, что Кессел и Баумен не адвокаты, а кинопродюсеры. Однако действительность оказалась не менее сказочной.

Мистер Чарльз Кессел, один из владельцев фирмы «Кистоун», сообщил мне, что мистер Мак Сеннет видел меня в роли пьяницы в Американском мюзик-холле на 42-й

улице, и, если я действительно тот самый актер, он приглашает меня на место комика Форда Стерлинга<sup>1</sup>. Мне часто приходила в голову мысль поработать в кино, и я даже предлагал нашему режиссеру Ривсу создать компанию и купить у Карно право экранизации всех его скетчей. Но Ривс отнесся к моему предложению довольно скептически и был, конечно, прав — мы оба ничего не смыслили в кинематографии.

Мистер Кессел осведомился, приходилось ли мне видеть комедии фирмы «Кистоун»? Разумеется, я ответил утвердительно, однако не сказал ему, что они мне показались грубыми и нелепыми. Правда, в них неизменно появлялась темноглазая и совершенно очаровательная девушка по имени Мэйбл Норман<sup>1</sup>, и это до некоторой степени оправдывало их существование. Нет, кистоуновские комедии не приводили меня в восторг, но я сразу понял, что они могут создать мне имя. Проработав год в кино, я мог бы вернуться в варьете уже «звездой» международного класса. К тому же это означало новую жизнь и приятную обстановку. Кессел предложил мне контракт на участие в трех фильмах с еженедельной оплатой в сто пятьдесят долларов — вдвое больше того, что я получал у Карно. Я сделал вид, что колеблюсь, и сказал, что не могу согласиться меньше, чем на двести. Мистер Кессел ответил, что этот вопрос решит мистер Сеннет — он сообщит ему о моих требованиях в Калифорнию и даст мне знать.

В ожидании известий от Кессела я ходил сам не свой. Может быть, я слишком много запросил? Наконец пришло письмо, подтверждающее согласие фирмы подписать со мной контракт на год — первые три месяца я буду получать по сто пятьдесят долларов в неделю, а остальные девять — по сто семьдесят пять. Таких сумм мне не предлагали еще никогда в жизни. Приступать к работе надо было сразу по окончании нашего турне у Салливана и Консидайна.

К счастью, в Лос-Анжелосе, наша комедия «Ночь в клубе» очень понравилась публике. Я играл дряхлого пьяницу и выглядел лет на пятьдесят, не меньше. Как-то после спектакля ко мне в уборную зашел мистер Сеннет поздравить меня с успехом. Я увидел широкоплечего человека с мохнатыми бровями, широким ртом и волевым подбородком. Наружность Мака Сеннета произвела на меня сильное впечатление. Как-то мы будем с ним работать? Найдем ли общий язык? Я очень волновался и не знал, понравился я ему или нет. Он спросил меня, когда я начну работать у них, и я ответил, что с сентября, когда истечет срок моего контракта с труппой Карно.

В Канзас-сити, когда пришло время покинуть труппу, меня стали одолевать мучительные сомнения: все возвращались в Англию, а я оставался в Лос-Анжелосе один как перст — перспектива не из приятных. Перед последним спектаклем я угостил всех актеров. При мысли о расставании с ними мне было очень грустно.

Один из наших актеров, Артур Дэндо, почему-то невзлюбивший меня, решил сыграть со мной шутку и распространил потихоньку слух, что труппа готовится преподнести мне подарок. Должен сознаться, я был этим очень тронут, однако подарка не последовало. Когда гости покинули мою уборную, Фред Карно-младший рассказал, что Дэндо собирался произнести речь и преподнести мне приготовленный им «подарок», но после того как я угостил всех до единого в нашей труппе, у него не хватило смелости довести замысел до конца и он засунул свой так называемый «подарок» за зеркало моего туалета. Это была обернутая фольгой пустая коробка из-под табака, в которой лежали старые тюбики из-под грима.

Со страхом и нетерпением прибыл я в Лос-Анжелос и снял номер в маленькой гостинице, носившей название «Большой северный отель». В первый вечер я решил развлечься и, подобно кондуктору из анекдота, в выходной день поехавшему кататься на своем же автобусе, отправился в театр «Эмприсс», в котором выступал раньше с труппой Карно. Капельдинер узнал меня и спустя несколько минут подошел сказать, что через два ряда от меня сидят мистер Сеннет и мисс Мэйбл Норман, и они приглашают меня сесть рядом с ними. Я с восторгом принял приглашение. Сеннет шепотом представил меня своей спутнице и мы досмотрели спектакль вместе. Затем мы вышли на Мейн-стрит и зашли в соседний погребок поужинать. Мистер Сеннет был несколько обескуражен моей молодостью. «Я думал, вы гораздо старше», — сказал он мне. Я заметил, что это ему не понравилось, и встревожился, вспомнив, что все сеннетовские комики были люди пожилые. Фреду Мейсу было за пятьдесят, Форду Стерлингу — сорок с лишним. «Я могу загримироваться под любой возраст», — заверил я его. Мэйбл Норман была приветливее — какие бы опасения я ей ни внушал, она их не выдала. Мистер Сеннет сказал, что я начну работать не сразу, а пока мне надо прийти на студию в Идендейл и познакомиться с актерами. Выйдя из кафе, мы сели в роскошную гоночную машину мистера Сеннета, и он отвез меня в мою гостиницу.

На следующее утро я отправился на трамвае в Идендейл, предместье Лос-Анжелоса; в те годы он выглядел довольно нелепо, словно сам еще не решил, оставаться ли ему скромным пригородом, застроенным жилыми домами, или превратиться в фабричный район. Дровяные склады соседствовали там с лавками старьевщиков. На полях бывших ферм кое-где были выстроены фасадом к дороге дощатые здания магазинов. После долгих расспросов я наконец нашел студию «Кистоун» — довольно ветхое сооружение за низким зеленым забором. Чтобы попасть туда, надо было пройти через сторожку и дальше по аллее — все в этом Идендейле было не по-людски. Я стоял на противоположной стороне улицы, смотрел и не мог решиться войти.

Наступил обеденный перерыв. Из сторожки хлынули загримированные актеры, в том числе знаменитые «кистоуновские полицейские»<sup>1</sup>. Перебежав улицу, они ныряли в лавчонку напротив и возвращались, на ходу жуя бутерброды и сосиски. Громкими, хрипылыми голосами они окликали друг друга: «Пошли Хэнк!», «Поторопи-ка Слима!»

Меня внезапно охватила робость, и я быстро ретировался, все время оглядываясь, не идет ли мистер Сеннет или мисс Мэйбл Норман. Но они так и не показались. Простояв на углу около получаса, я решил вернуться в гостиницу. У меня не хватило духу войти в студию, где предстояло познакомиться со всеми этими людьми. Назавтра и послезавтра я опять приезжал и стоял на углу, но переступить порог сторожки у меня по-прежнему не хватало мужества. На третий день мистер Сеннет позвонил мне, чтобы узнать, почему я не показываюсь. Я наскоро придумал какую-то отговорку.

— Сейчас же приезжайте, мы ждем вас, — сказал он.

Я сразу поехал, храбро вошел в сторожку и спросил мистера Сеннета.

Он очень приветливо меня встретил и тут же повел в студию. Я был околдован. Мягкий ровный свет заливал весь павильон. Белые полотняные шторы рассеивали яркие лучи калифорнийского солнца, придавая всему воздушную легкость. Такой рассеянный свет был весьма важен для съемок при дневном освещении.

Меня познакомили с двумя-тремя актерами, а потом все мое внимание было поглощено тем, что происходило в студии. Три разные декорации были установлены бок-о-бок, и в них одновременно работали три съемочные группы. Это напоминало павильоны Всемирной выставки. В одном углу Мэйбл Норман колотила кулаками в дверь и кричала: «Впустите меня!» Затем оператор перестал вертеть ручку камеры — эпизод был отснят. Я впервые узнал, что фильмы делаются вот так, по кускам.

Возле другой декорации стоял великий Форд Стерлинг, которого я должен был заменить. Мистер Сеннет познакомил меня с ним. Форд покидал фирму «Кистоун», собираясь создать свою кинокомпанию на паях с фирмой «Юниверсл». Форд пользовался любовью не только у публики, но и у актеров своей студии. Пока шла съемка, они толпились около его декорации и громко смеялись.

Сеннет отвел меня в сторону и объяснил свой метод работы.

— У нас нет сценария, мы находим основную сюжетную идею, а затем следуем естественному ходу событий, пока они не приведут нас к погоне, а погоня составляет суть наших комедий.

Метод был весьма поучителен, но лично я терпеть не мог погонь. Они сводили на нет индивидуальность актера, а как бы мало я ни разбирался в кино, я уже тогда понимал, что ничего не может быть важнее актерской индивидуальности.

В тот день я переходил от одной декорации к другой и смотрел, как работают актеры, — оказалось, что все они подражают Форду Стерлингу. Меня это очень встревожило, так как его стиль игры мне не подходил. Он играл голландца-неудачника, болтая, что на ум взбредет, с голландским акцентом, — это было смешно, но в немом фильме, конечно, пропадало.

Я пытался угадать, чего Сеннет ждет от меня. Он видел меня на сцене и должен был понимать, насколько мой стиль игры отличается от манеры Форда. А ведь в студии все сюжеты и все игровые ситуации сознательно или бессознательно ориентировались на Стерлинга. Даже Роско Арбакль<sup>1</sup> подражал Стерлингу.

Студия была расположена, по-видимому, на месте бывшей фермы. Уборная Мэйбл Норман находилась в старом домике, и к ней примыкала еще одна комната, в которой одевались другие актрисы. Напротив домика, в бывшем амбаре, была устроена общая уборная для второстепенных актеров и «кистоуновских полицейских» — в большинстве своем бывших цирковых клоунов или боксеров. Меня поместили в уборной для звезд, которой пользовались Мак Сеннет, Форд Стерлинг и Роско Арбакль. В прошлом, по-видимому, это был сарай, в котором хранилась упряжь. Кроме Мэйбл Норман я заметил в студии еще несколько прелестных девушек. Здесь, как в сказке, рядом с красавицами были и чудовища.

Целыми днями я бродил по студии, не зная, когда же наконец я начну работать. Иногда я встречал Сеннета, но он, чем-то озабоченный, пробежал мимо, не замечая меня. У меня появлялось неприятное подозрение: уж не раскаивается ли Сеннет, что пригласил меня? Разумеется, на душе от таких мыслей легче не становилось.

Мое настроение всецело зависело от Сеннета. Если он замечал меня и улыбался, во мне вновь оживали надежды. Труппа держалась со мной выжидательной тактики, но кое-кто — я это чувствовал — считал мою кандидатуру для замены Форда Стерлинга весьма сомнительной.

Наконец наступила суббота, и Сеннет очень любезно сказал мне:

— Идите в контору и получите свой чек.

Я сказал, что хотел бы как можно скорее начать работать. Я намеревался обсудить с ним вопрос и о подражании Форду Стерлингу, но он прервал меня:

— Не волнуйтесь, все в свое время.

В таком бездействии прошло девять дней, я совсем измучился. Чтобы подбодрить меня, Форд иногда после работы подвозил меня в город, мы заезжали в бар

«Александрия» и там встречались с его приятелями. Один из них, мистер Элмер Элсуорт, который сначала мне не понравился и показался грубияном, часто подшучивал надо мной:

— Значит, место Форда займете вы! А вы умеете быть смешным?

— Скромность не позволяет, — неохотно парировал я его шуточки. Такие колкости, да еще в присутствии Форда, были мне очень неприятны. Но Форд великодушно старался вывести меня из смущения.

— Вы не видели его в «Эмприсс», в роли пьяницы? Это было очень смешно.

— Пока он еще ни разу не заставил меня рассмеяться, — неумолимо продолжал свое Элсуорт.

Он был высокий и нескладный, с грустным, словно виноватым выражением гладко выбритого лица, глаза у него были печальные, рот большой, и когда он улыбался, видно было, что у него не хватает двух передних зубов. Форд с уважением шепнул мне, что Элсуорт большой знаток литературы, финансов и политики, что он один из самых осведомленных людей в стране, и к тому же обладает чувством юмора. Однако на меня все это не произвело впечатления, я решил держаться от Элмера подальше. Но случилось так, что однажды вечером, встретив меня в баре «Александрия», он спросил:

— Что же, наш англичанин все еще не начал работать?

— Нет еще, — я смущенно рассмеялся.

— Все-таки постарайтесь быть посмешнее.

Я уже достаточно натерпелся от этого джентльмена и решил отплатить ему той же монетой.

— Если я буду хоть наполовину так смешон, как вы сейчас, успех мне обеспечен.

— Бог ты мой! Какой сарказм! Придется угостить его бокалом вина.

Но вот наконец долгожданный момент наступил. Сеннет с Мэйбл Норман и группа Форда Стерлинга уехали на натуру, и в студии почти никого не осталось. Мистер Генри Лерман<sup>1</sup>, один из главных кистоуновских режиссеров после Сеннета, приступал к съемкам новой картины и хотел, чтобы я сыграл у него газетного репортера. Лерман был очень тщеславен, он ни на минуту не забывал, что несколько его комедий, представлявших собой набор механических трюков, прошли с успехом. Он часто повторял, что индивидуальность актера его не интересует, а смеха публики он добивается съемочными трюками и монтажом.

Сценария у нас не было. Это был не сюжетный, а скорее документальный фильм о печатной машине с несколькими комедийными эпизодами. Я напялил летний сюртук, цилиндр и приклеил огромные, загнутые кверху усы. Мы начали, и я почувствовал, что Лерман ищет каких-то комедийных поворотов. Поскольку я был в «Кистоуне» новым человеком, мне не терпелось дать свои предложения, чем я немедленно восстановил Лермана против себя. Эпизод разговора с редактором газеты я постарался расцветить всеми комическими эффектами, какие только успел придумать, и даже подсказывал другим актерам, что надо делать. Фильм был отснят всего за три дня, и мне казалось, что он получился смешным. Однако, когда я увидел законченный фильм, у меня сердце облилось кровью — Лерман при монтаже искромсал его до неузнаваемости и беспощадно вырезал почти все мои находки.

Я никак не мог понять, зачем это ему было нужно. Впоследствии, через много лет, Генри Лерман признался, что сделал это умышленно, потому что, как он выразился, я слишком много себе позволял.

На следующий день, после того как я кончил сниматься у Лермана, Сеннет вернулся с натуральных съемок. В одной декорации снимался Форд Стерлинг, в другой Арбакль — павильон был заполнен актерами трех групп, снимавшихся одновременно. Я был в своем обычном костюме и, не зная, чем заняться, встал так, чтобы Сеннет не мог меня не заметить. Он с Мэйбл осматривал декорацию, изображавшую вестибюль отеля, и покусывал кончик сигары.

— Тут нужно что-нибудь забавное, — сказал он и вдруг обернулся ко мне. — Ну-ка, загримируйтесь. Любой комедийный грим подойдет.

Я не знал, как мне гримироваться. Моя внешность в роли репортера мне не нравилась. По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моем костюме все было противоречиво: мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет счел меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики.

Одеваясь, я еще не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и, когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился. Я уже был этим человеком к, подойдя к Сеннету, принялся расхаживать с гордым видом, небрежно помахивая тросточкой. В моем мозгу уже роились всевозможные трюки и комедийные ситуации.

Секрет успеха Мака Сеннета заключался в его способности увлекаться. Он был великолепным зрителем и всегда искренне смеялся над тем, что казалось ему смешным. Взглянув на меня, он прыснул со смеху, и вскоре уже весь трясся от хохота. Это меня ободрило, и я стал описывать ему своего героя:

— Видите ли, он очень разносторонен — он и бродяга, и джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он ученый, или музыкант, или герцог, или игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурки или отнять у малыша конфету. И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, — но только под влиянием сильного гнева.

Я продолжал расхаживать и болтать минут десять, а может, и больше, и Сеннет не переставал смеяться.

— Хорошо, — сказал он, — идите на съемочную площадку. Посмотрим, что у вас получится.

Как и в фильме Лермана, я имел о сюжете лишь самое смутное понятие и знал только, что Мэйбл Норман запутывается в своих отношениях с мужем и любовником.

В комедии очень важно найти верное состояние, но это бывает нелегко. Однако в вестибюле отеля я сразу почувствовал себя самозванцем — бродягой, который выдает себя за постояльца отеля, чтобы немного побыть в тепле. Я вошел и тут же споткнулся о ногу какой-то дамы. Обернувшись, я извинился, слегка приподнял котелок, затем пошел дальше, споткнулся о плевательницу и, снова обернувшись, приподнял котелок перед плевательницей. За камерой раздался смех.

Там собралось немало зрителей — и не только актеры других групп, оставившие съемки, чтобы посмотреть на нас, но и рабочие, плотники и костюмеры. Это была высшая похвала. К концу репетиции вокруг нас собралась уже целая толпа, и все весело смеялись. Увидев среди зрителей Форда Стерлинга, я понял, что сыграл хорошо.

Когда в конце дня я пришел в уборную, там разгримировывались Форд Стерлинг и Роско Арбакль. Мы почти все время молчали, но атмосфера была наэлектризованна. И Форду и Роско я понравился, но я ясно чувствовал, что ни тот, ни другой еще не решили, как ко мне отнестись.

Мой эпизод оказался очень длинным, метров на двадцать пять. Поскольку обычно длина таких эпизодов не превышала трех метров, мистер Сеннет и мистер Лерман довольно долго обсуждали вопрос, оставить ли его в таком виде или сократить.

— Но если это смешно, — сказал я, — зачем же его резать? И эпизод было решено оставить без сокращений. А я дал себе слово сохранить грим и костюм, подсказавшие мне образ.

В этот вечер я возвращался домой на трамвае с одним из второстепенных актеров, и он мне сказал:

— Да вы затеяли что-то новенькое! В нашем павильоне еще никогда так не смеялись, даже когда играл сам Форд Стерлинг. Видели бы вы его лицо, когда он на вас смотрел!

— Будем надеяться, что публика тоже будет смеяться, — сказал я, стараясь сдержать свою радость.

Спустя несколько дней в баре «Александрия» я нечаянно услышал, как Форд Стерлинг описывал моего героя нашему общему знакомому Элмеру Элсуорту.

— Штаны мешком, башмаки стоптанные — ну, в общем, на редкость замызганный оборванец. И все время еще дергается, словно его блохи кусают. Но смешон!

Мой персонаж был непохож на образы других комиков и непривычен и для американцев и для меня самого. Но стоило мне надеть «его» костюм, и я чувствовал, что это настоящий живой человек. Он внушал мне самые неожиданные идеи, которые приходили мне в голову, только когда я был в костюме и гриме бродяги.

Я очень подружился с тем актером, с которым мы каждый вечер вместе возвращались на трамвае домой. Он подробно рассказывал мне о том, как кто относился в студии к моей игре, и обсуждал со мной мои новые выдумки.

— Это замечательная находка, когда вы споласкиваете пальцы в мисочке, а потом вытираете их о бороду старичка — такого у нас не видывали. — И дальше все в том же духе, а я слушаю, от гордости на седьмом небе.

Если моим режиссером бывал Сеннет, я чувствовал себя хорошо — мы все сразу придумывали тут же, в павильоне. В то время никто в студии не был особенно уверен в себе и в своих познаниях (включая и режиссера), и я решил, что понимаю столько же, сколько и другие. Это придавало мне смелости, я стал делать всякие предложения, с которыми Сеннет охотно соглашался. Я начинал верить в себя, в свои творческие возможности, в то, что могу сам создавать для себя сценарии. Эту веру вдохнул в меня именно Сеннет. Но хотя я и нравился Сеннету, мне еще надо было понравиться публике.

В следующей картине мне снова пришлось работать с Лерманом. Он уходил от Сеннета к Стерлингу, но из любезности согласился поработать у нас две недели сверх

контракта. В начале съемки я еще предлагал ему всевозможные трюки. Лерман выслушивал меня, улыбался, но ничего не принимал.

— Может быть, это и смешно в театре, — говорил он, — но в фильме на это нет времени. Мы постоянно должны быть в движении, комедия — это только повод для погони.

С таким заявлением я не мог согласиться.

— Юмор остается юмором, будь то в фильме или на сцене, — пытался я спорить. Но он твердо держался дурацких шаблонов, издавна принятых на студии «Кистоун». Всякое действие должно было быть стремительным, что, в сущности, означало непрерывную беготню, лазанье по крышам домов или трамваев, прыжки в реку или в море. Вопреки его теориям, мне все же удалось в двух-трех эпизодах сыграть так, как я хотел, но он снова изуродовал их при монтаже.

Не думаю, чтобы Лерман дал обо мне Сеннету особенно лестный отзыв. После Лермана я попал к другому режиссеру, мистеру Николсу, человеку лет шестидесяти, который работал в кино с его первых дней. С ним у меня начались те же трудности. У Николса был только один прием — взять комика за горло и тащить из одного эпизода в другой. Я пытался предложить что-нибудь «потоньше», но он тоже не хотел меня слушать.

— У нас нет времени, нет времени! — кричал он. Ему нужно было только одно, — чтобы я подражал Форду Стерлингу. И все. И хотя я восставал не очень бурно, Николс все-таки пожаловался Сеннету, что «с этим сукиным сыном невозможно работать».

Примерно в это время на экраны вышла наша комедия «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл», которую ставил Сеннет. Трепеща, я отправился посмотреть ее в одном из городских кинотеатров. Первое появление Форда Стерлинга, как всегда, публика приветствовала смехом и бурей восторга, а я был встречен холодной тишиной. Все, что я проделывал сначала — в вестибюле отеля, — не вызывало даже улыбки. Однако дальше начались смешки, сперва отдельные, потом дружные и к концу картины зал дважды покатывался с хохоту. Я убедился, что к новым актерам зрители относятся не так восторженно, как к своим старым любимцам.

Вероятно, Сеннет ждал от меня большего. Он явно был разочарован. Дня два спустя он подошел ко мне:

— Слушайте, говорят, что с вами трудно работать.

Я пытался объяснить ему, что я работаю добросовестно и думаю только о том, как сделать картину лучше.

— Ладно, — холодно прервал он меня, — делайте, что вам говорят, этого с нас хватит.

Однако на следующий день у меня произошла новая стычка с Николсом, и я вышел из себя.

— Да любой статист за три доллара в день сыграет то, что вы требуете от меня, — крикнул я. — Мне хочется сделать что-нибудь настоящее, а не получать пинки и без толку падать с трамвайных крыш. Не за это мне платят сто пятьдесят долларов в неделю.

Бедный, старый «папаша Николс», как мы называли его, пришел в ярость.

— Я больше десяти лет занимаюсь этим делом, — кричал он. — А вы что в этом понимаете?



Я пытался урезонить его, но мне это не удалось. Пробовал что-то доказать другим членам нашей группы, но все были против меня.

— Нет, он знает, что делает, он ведь занимается этим куда дольше вас, — возражал мне один старый актер.

Я снялся уже в пяти фильмах, и лишь в двух-трех мне удалось сделать несколько эпизодов по-своему и так, чтобы мясники в монтажной их не изуродовали. Познакомившись с методикой монтажа, я давал себе волю только в начале или в конце эпизода, так как знал, что вырезать появление или уход невыносимо. Я пользовался каждой возможностью поближе узнать, как создаются фильмы, и постоянно заходил то в проявочную, то в монтажную, где смотрел, как из кусков пленки монтируется фильм.

Мне очень хотелось писать сценарии для своих фильмов и самому их ставить, о чем я и сказал Сеннету, но он, пропустив мои слова мимо ушей, направил меня в группу Мэйбл Норман, которая как раз начинала самостоятельно делать картины. Я был очень уязвлен — как ни была очаровательна Мэйбл, ее режиссерские способности вызывали у меня сильные сомнения. В первый же день, как и следовало ожидать, мы поссорились. Съемка шла на натуре, в предместье Лос-Анжелоса, и Мэйбл поручила мне поливать дорогу из шланга, чтобы автомобиль злодея занесло на повороте и он перевернулся. Я предложил сделать так: я нечаянно наступаю на шланг, начинаю озираться, заглядываю в трубку, недоумеваю, почему не идет вода, при этом схожу со шланга и струя ударяет мне прямо в лицо. Но Мэйбл тут же перебила меня:

— У нас нет времени! Нет времени! Делайте, что вам говорят!

Этого я стерпеть не мог, да еще от такой хорошенькой девушки!

— Извините, мисс Норман, я не стану делать того, что мне говорят. По-моему, вы недостаточно компетентны, чтобы указывать, что мне надо делать.

Эпизод снимался посреди дороги. Я отошел и сел на обочину. Милая Мэйбл — всеобщая любимица, прелестная и очаровательная, ей тогда было всего двадцать лет — в растерянности сидела у камеры: с ней еще никто не разговаривал так резко. Должен признаться, что и я не остался равнодушен к ее обаянию и красоте — в глубине души я был даже немножко влюблен в нее, но здесь речь шла о моей работе. Мэйбл немедленно окружили актеры и другие члены труппы, и началось совещание. Впоследствии Мэйбл рассказывала мне, что кто-то из статистов даже предложил отколотить меня, но она не позволила. Она послала ко мне ассистента узнать, буду ли я продолжать работу.

Я подошел к ней.

— Извините меня, — сказал я примирительно, — только, по-моему, это не смешно и не забавно. Но если вы разрешите мне предложить вам несколько комедийных ситуаций...

Она не стала спорить.

— Хорошо, — перебила она меня, — если вы не хотите делать того, что вам говорят, мы вернемся в студию.

Хотя мое положение было отчаянным, я уже смирился с этим и только пожал плечами. На все это ушло не слишком много рабочего времени, так как съемку начали в девять утра, а сейчас был шестой, и солнце клонилось к западу.

Я еще снимал грим, когда ко мне в уборную ворвался Сеннет.

— В чем дело, черт вас поберет? — спросил он.

— Сюжет надо подкрепить комедийными трюками, — пытался я объяснить, — а мисс Норман не хочет слушать никаких предложений.

— Вы будете делать то, что вам говорят, или вылетите отсюда, несмотря на ваш контракт!

Я сохранял хладнокровие.

— Мистер Сеннет, — сказал я, — я зарабатывал на хлеб с маслом и до того, как пришел сюда, и если вы меня решили уволить, — ну что ж, увольняйте. Но я честно отношусь к своей работе, и мне не меньше вашего хотелось бы, чтобы фильм получился хорошим.

Не сказав ни слова, Сеннет вышел, хлопнув дверью.

Возвращаясь домой в трамвае, я рассказал своему приятелю, что произошло.

— Жалко, — сказал он. — А начали вы здорово!

— По-вашему, меня уволят? — спросил я весело, стараясь скрыть тревогу.

— Возможно. Когда Сеннет выскочил из вашей уборной, он был зол, как черт!

— Ну что ж, не пропаду. У меня есть полторы тысячи долларов, этого за глаза хватит, чтобы добраться до Англии. Завтра я все-таки явлюсь на студию, а если меня попросят уйти — *C'est la vie!* \*

---

\* — Такова жизнь (*франц.*).

На следующий день съемка должна была начаться в восемь утра, но я не знал, что делать, и сидел в уборной, не гримируясь. Без десяти восемь в дверь просунул голову Сеннет.

— Чарли, я хочу с вами поговорить. Пошли к Мэйбл, — тон его был неожиданно дружеским.

— Хорошо, мистер Сеннет, — сказал я и последовал за ним.

Мэйбл в уборной не оказалось, она сидела в просмотровом зале.

— Послушайте, — начал Мак, — Мэйбл вас очень любит, да и все мы вас любим и считаем хорошим актером.

Я был удивлен этой внезапной переменой и сразу начал оттаивать.

— Разумеется, и я питаю глубочайшее уважение и восхищаюсь мисс Норман, — заметил я, — но не думаю, что она может быть режиссером. В конце концов, она еще слишком молода.

— Как бы вы там ни думали, смирите свою гордыню и помогите Мэйбл, — Сеннет похлопал меня по плечу.

— Именно это я и пытался сделать.

— Во всяком случае, постарайтесь ладить с ней.

— Если бы вы позволили мне самому ставить картины, у вас не было бы никаких неприятностей.

Последовала небольшая пауза.

— А кто оплатит нам фильм, если его не возьмут в прокат?

— Я сам, — ответил я. — Внесу полторы тысячи долларов в любой банк по вашему выбору, и, если картина не пойдет в прокат, вы возьмете себе эти деньги.

Мак на минуту задумался.

— А у вас есть сюжет?

— Конечно! И не один, а сколько угодно.

— Хорошо, — сказал Мак, — кончайте картину с Мэйбл, а там посмотрим.

Мы расстались самым дружеским образом. Затем я пошел к Мэйбл, извинился, и в тот же вечер Сеннет повез нас обедать в ресторан. На следующий день Мэйбл была как нельзя более любезна. Она даже сама обращалась ко мне за советом. И так, к большому недоумению операторов и всей группы, мы в полном согласии закончили фильм. Я никак не мог понять, почему Сеннет вдруг переменялся. Причину я узнал почти через год — Сеннет, оказывается, уже собрался уволить меня в конце недели, но наутро после моей ссоры с Мэйбл он получил из нью-йоркской конторы телеграмму, в которой его просили побыстрее сделать еще несколько чаплиновских картин, так как на них небывалый спрос.

Средний тираж кистоуновской комедии обычно не превышал двадцати копий. Если в прокат брали тридцать копий, это уже считалось большим успехом. Моя последняя картина — четвертая по счету — была выпущена в количестве сорока пяти копий. Но и это не удовлетворило спроса. Вот почему, получив телеграмму, Мак проникся ко мне дружескими чувствами.

Режиссура в те дни была очень проста. Следовало только помнить, где право, где лево. Если в первом эпизоде персонаж уходил направо, то в следующем он должен был появляться слева; если же он сначала шел прямо на камеру, то потом должен был появиться спиной к ней. Таковы были основные правила.

Однако, приобретя некоторый опыт, я понял, что местоположение камеры имеет не только психологическое значение, но и определяет характер композиции эпизода. Другими словами, именно в этом заключается основа кинематографического стиля. Если камеру поставить чуть ближе или чуть дальше, — это может либо усилить впечатление, либо совсем свести его на нет. Движение актера должно быть экономным, не следует заставлять его идти слишком долго, если только это не оправдано какой-то особой причиной. Процесс ходьбы сам по себе не обладает драматизмом. Определяя композицию кадра, камеру надо устанавливать таким образом, чтобы актеру было обеспечено наиболее выгодное появление в кадре. Установка камеры — это киноинтонация. Крупный план вовсе не обязательно воздействует сильнее, чем общий, — это вопрос чувства постановщика. Иногда общий план может оказаться гораздо выразительнее.

В качестве примера упомяну эпизод из моей ранней комедии «Ринк». Появляется бродяга и начинает на одной ноге выписывать сложные фигуры. Он задевает других катающихся, налетает на них, сбивая с ног. В результате весь передний план заполняют упавшие, а бродяга продолжает кататься и отъезжает в дальний конец рынка. Фигура его все удаляется, все уменьшается. На общем плане видно, как он уселся среди зрителей и невинно взирает на произведенное им опустошение. И это гораздо смешнее, чем было бы его лицо, показанное крупным планом.

Начав ставить свою первую картину, я вдруг утратил уверенность в себе, меня охватил панический страх. Но как только Сеннет посмотрел то, что было снято в первый день, я сразу успокоился. Картина называлась «Застигнутый дождем» — ее никак нельзя было назвать боевиком, но все-таки она была смешна и пользовалась успехом. Когда я ее закончил, мне, конечно, не терпелось узнать мнение Сеннета. А он, выйдя из зала после просмотра, только спросил:

— Ну как, начнете другую?

С тех пор я сам писал сценарии и сам ставил все свои комедии. В виде поощрения Сеннет давал мне за каждую картину премию в двадцать пять долларов.

Теперь я уже был у него в чести и он каждый вечер приглашал меня обедать. Он обсуждал со мною сюжеты комедий для других групп, и зачастую я придумывал совершенно сумасшедшие ситуации, которые даже мне самому казались слишком уж в моем собственном духе, чтобы нравиться публике. Но Сеннет смеялся и принимал их.

Когда я теперь смотрел свои фильмы в кино, я замечал совсем другую реакцию зрителей. Мне было очень приятно, что уже заглавные титры очередной кистоуновской комедии вызывают радостный гул в зале, а мое появление на экране встречается веселым смехом.

Я стал любимцем публики. Если бы так могло продолжаться, я был бы вполне счастлив. Вместе с премией я зарабатывал двести долларов в неделю.

Я ушел с головой в работу, у меня не оставалось времени ходить в бар «Александрия» и видаться с моим саркастическим другом Элмером Элсуортом. Но как-то я повстречал его на улице.

— Послушайте, — воскликнул он, — я видел недавно ваши картины. Честное слово, вы здорово играете! И в вас есть что-то такое, что отличает от всех других. Я не шучу. Вы очень смешны! Почему ж вы, черт вас подери, сразу мне не сказали?

Разумеется, с этой минуты мы стали добрыми друзьями.

Студия «Кистоун» многому меня научила, но и я многому их научил. Тогда они еще плохо разбирались в технике актерского искусства, не ощущали силы жеста, не знали законов ритма и движения — всего того, что я принес из театра. Они плохо знали пантомиму. Режиссер мог поставить трех или четырех актеров в ряд, прямо перед камерой, и один из них с помощью весьма примитивных жестов изображал: «Я — хочу — жениться — на вашей — дочери», — указывая сначала на себя, затем на свой безымянный палец, а затем на девушку. Их мимика и жестикация не отличались ни тонкостью, ни выразительностью, и, конечно, тут я оказывался в гораздо более выгодном положении. В этих первых фильмах на моей стороне были все преимущества, и я чувствовал, что, подобно геологу, открываю новую богатую жилу. Вероятно, это был самый интересный период в моей жизни — я стоял на пороге чего-то чудесного.

Успех привлекает, и вскоре все сотрудники студии стали моими близкими приятелями. Для статистов, рабочих павильона, костюмеров и операторов я был уже просто «Чарли». Хотя я не люблю панибратства, это мне было приятно — я понимал, что такая фамильярность — вернейший признак успеха.

Теперь я вновь обрел уверенность в себе, за что могу поблагодарить Сеннета. Хотя он был так же необразован, как и я, он доверял своему вкусу и заразил этой верой меня. Его манера работать помогла мне поверить в себя, я считал ее правильной. Слова, сказанные им, когда я в первый раз пришел на студию: «У нас нет сценария, мы находим основную сюжетную идею, а затем следуем естественному ходу событий...» — дали толчок моей фантазии.

Это было увлекательное творчество. В театре я был вынужден изо дня в день строго, без отклонений повторять одно и то же. После того как номер был отрепетирован и показан публике, уже нельзя было выдумывать что-то новое. Только бы не сыграть

хуже, чем раньше, — вот все, о чем заботится актер. Фильмы предоставляли больше свободы — каждый был для меня как бы новым приключением.

— Как вам нравится такая идея? — спрашивал меня Сеннет. — Наводнение на Главной улице?

Подобной фразы было достаточно, чтобы запустить кистоуновскую комедию. Этот чудесный дух импровизации был истинным наслаждением и стимулом для творчества. Мы работали легко и свободно: ни сценария, ни сценариста — одна идея, вокруг которой мы разрабатывали трюки, постепенно создавая сюжет.

Например, фильм «Его доисторическое прошлое» я начал с того, что появлялся в одеянии доисторического человека, в медвежьей шкуре, и, оглядывая окрестности, в рассеянности выщипывал из шкуры волоски и набивал ими трубку. Этого было уже достаточно, чтобы сложился сюжет на доисторическую тему, с любовью, ревностью, дракой и погоней. Таков был метод нашей работы в кистоуновской студии.

Я могу точно сказать, когда у меня впервые появилась мысль придать своим комедийным фильмам еще одно измерение. В картине «Новый привратник» был эпизод, когда хозяин выгоняет меня с работы. Умоляя его сжалиться, я начинал показывать жестами, что у меня куча детей, мал мала меньше. Я разыгрывал эту сцену шутовского отчаяния, а тут же в сторонке стояла наша старая актриса Дороти Дэвенпорт и смотрела на нас. Я случайно взглянул в ее сторону и, к своему удивлению, увидел ее в слезах.

— Я знаю, что это должно вызывать смех, — сказала она, — но я гляжу на вас и плачу.

Она подтвердила то, что я уже давно чувствовал: я обладал способностью вызывать не только смех, но и слезы.

Слишком «мужская» атмосфера студии была бы почти невыносима, если бы не женственность прелестной Мэйбл Норман — ее присутствие придавало студии особое очарование. Мэйбл была удивительно хороша, ее большие глаза были опущены длинными ресницами, полные губы чуть изгибались, выражая задорную насмешку и снисходительность к людским слабостям. Хороший, добрый и великодушный товарищ, она всегда была жизнерадостна и весела. Мы все обожали ее.

Б студии рассказывали о Мэйбл всякие истории — какие щедрые подарки она делала сынишке костюмерши, как весело подшучивала над нашим оператором. Ко мне Мэйбл относилась с сестринской любовью — в то время она была без памяти влюблена в Мака Сеннета. Благодаря Маку я часто виделся с Мэйбл. Обычно мы обедали втроем, после чего Мак засыпал в вестибюле отеля, а мы с Мэйбл уходили на часок в кино или в кафе, а потом возвращались и будили его. Такая близость, казалось бы, должна была привести нас к роману, но этого не случилось. К сожалению, мы остались лишь добрыми друзьями.

Впрочем, однажды, когда Мэйбл, Роско Арбаклю и мне пришлось выступить с благотворительной целью в одном из театров Сан-Франциско, мы с Мэйбл оказались очень близки к тому, чтобы по-настоящему увлечься друг другом. Вечер был чудесный, мы все трое имели огромный успех. Мэйбл оставила свою шубку в уборной и попросила меня проводить ее. Арбакль остался нас ждать в машине с другими актерами. На мгновение мы с Мэйбл остались наедине. Она была так ослепительно хороша, что, накидывая ей шубку на плечи, я не удержался и поцеловал ее, и она ответила мне поцелуем. Мы могли бы зайти и дальше, но люди ждали нас на улице. Впоследствии я попытался продолжить этот эпизод, но из этого так никогда ничего и не вышло.

Нет, Чарли, — добродушно говорила Мэйбл, — я женщина не вашего типа, а вы мужчина — не моего.

Примерно в это же время в Лос-Анжелос приехал «бриллиантовый» Джим Брэди с сестрами Долли. В те дни Голливуд еще только рождался. Джим устраивал роскошные приемы. На обеде, который он дал в отеле «Александрия», присутствовали сестры-близнецы Долли с мужьями, Карлотта Монтерей, Лу Телледжен, премьер театра Сары Бернар, а также Мак Сеннет, Мэйбл Норман, Бланш Суит, Нат Гудвин и многие другие. Сестры Долли были удивительно хороши собой. Обе они, их мужья и «бриллиантовый» Джим Брэди были неразлучны — весь Голливуд очень интриговало это содружество.

«Бриллиантовый» Джим был даже в Америке явлением уникальным. С виду он казался этаким добрым Джоном Буллем. Но в первый же вечер я не мог поверить своим глазам — в манжетах и в манишке у него были бриллиантовые запонки, причем каждый камень крупнее шиллинговой монеты. Несколько дней спустя мы обедали в кафе Ната Гудвина на набережной, и на этот раз «бриллиантовый» Джим явился с изумрудами — каждый камень был с небольшую спичечную коробку. Я подумал, было, что эти он надел уже в шутку, и наивно спросил, настоящие ли они? Он подтвердил, что и эти настоящие.

— Да они же просто сказочные! — воскликнул я, пораженный.

— Если вы хотите полюбоваться действительно красивыми изумрудами, смотрите сюда, — ответил он и, отвернув полу жилета, показал довольно широкий пояс, сплошь усыпанный самыми большими изумрудами, какие мне доводилось видеть когда-либо в жизни. Он гордо сообщил, что у него десять таких гарнитуров из драгоценных камней и каждый вечер он их меняет.

Мне тогда, в 1914 году, едва исполнилось двадцать пять лет, я был в расцвете молодости, влюблен в свою работу, и не только потому, что она принесла мне успех. В ней было для меня еще особое очарование: возможность встречаться со всеми знаменитыми кинозвездами — я был их страстный поклонник. Мэри Пикфорд<sup>1</sup>, Бланш Суит, Мириам Купер<sup>2</sup>, Клара Кимбелл Янг<sup>3</sup>, сестры Гиш<sup>4</sup> и другие — все они были прелестны, видеть их живых, настоящих было райским блаженством.

Томас Инс<sup>5</sup> устраивал пирушки и танцы в своей студии, расположенной на побережье Тихого океана в северной части Санта-Моники. Какие это были удивительные вечера! Здесь царили юность и красота. Мы танцевали на открытой площадке под грустную музыку и мягкий шум набегавшей на берег волны.

И тут изумительно красивая девушка, Пегги Пиерс, с изящно очерченным личиком, прекрасной белой шейкой и очаровательной фигурой, заставила затрепетать мое сердце. Она появилась лишь на третьей неделе моего пребывания в студии «Кистоун» — все это время она болела гриппом. Но стоило нам увидеть друг друга, и мы оба воспламенились. Чувство было взаимным, и душа моя пела. Какими романтическими были те утра, когда я бежал в студию, зная, что вот сейчас увижу ее.

По воскресеньям я ходил к ней в гости, она жила с родителями. Каждая наша встреча была полна признаниями в любви, и каждая наша встреча была полна борьбы. Да, Пегги любила меня, но добиться я ничего не мог. Она была тверда, и в конце концов я отчаялся и отступил. Жениться я тогда еще намерения не имел. Я слишком ценил свободу, сулившую мне необыкновенные приключения. Ни одна женщина не могла сравниться с тем смутным образом, который жил в моей душе.

Каждая студия напоминала семью. Фильмы делались за неделю, даже на съемку полнометражных картин уходило не больше двух-трех недель. Снимали при дневном свете, вот почему мы и выбрали Калифорнию, где солнце сияет девять месяцев в году.

Прожекторы Клига появились примерно в 1915 году, но студия «Кистоун» ими не пользовалась, потому что они мерцали, не давали такой яркости, как солнце, и к тому же их установка отнимала много времени. А кистоуновская комедия очень редко снималась дольше недели. Как-то я сделал картину «Двадцать минут любви» за один день, и она шла под неумолкаемый смех публики. «Тесто и динамит» — фильм, пользовавшийся огромным успехом, отнял девять дней и обошелся в тысячу восемьсот долларов. За то, что я превысил предел расходов на целые восемьсот долларов, меня лишили премии в двадцать пять долларов. Единственное спасение для фирмы, как объяснил мне Сеннет, было в том, чтобы пустить комедию как двухчастевку, что они и сделали, получив на ней в первый год больше ста тридцати тысяч долларов чистой прибыли.

Я уже снял несколько фильмов, пользовавшихся большим успехом, среди них были «Двадцать минут любви», «Тесто и динамит», «Веселящий газ» и «Реквизитор». В это же время мы с Мэйбл и Мэри Дресслер снялись в ведущих ролях в одном полнометражном фильме. Работать с Мэри было очень приятно, но фильм, по-моему, получился неудачным, и я с радостью вернулся к своей режиссерской работе.

Я порекомендовал Сеннету Сиднея, а так как к тому времени фамилия Чаплин стала уже достаточно известной, Сеннет был рад взять на студию еще одного члена нашей семьи. Сеннет подписал с ним контракт на год с жалованьем в двести долларов в неделю, что было на двадцать пять долларов больше того, что получал я. Только что приехав из Англии, Сидней с женой явились прямо в студию, как раз тогда, когда я уезжал на натурные съемки. Но вечером мы обедали вместе, и я стал расспрашивать брата, как идут мои фильмы в Англии.

Еще до того как мое имя приобрело известность, рассказывал Сидней, многие артисты мюзик-холла с восторгом описывали ему нового американского киноактера. Сам он еще не видел ни одной моей комедии и зашел в контору проката, чтобы узнать, когда они будут выпущены на экран. Едва Сидней назвал себя, его тут же пригласили в просмотровый зал и показали три моих фильма. Он сидел в зале один и смеялся до упаду.

— То-то ты, наверно, поразился? — спросил я его.

Но Сидней удивления не выказал.

— А я всегда был уверен в твоём успехе, — объяснил он убежденно.

Мак Сеннет, как член лос-анжелосского клуба «Атлетик», имел право давать временный членский билет кому-нибудь из своих друзей. Он дал его мне. В этом аристократическом клубе собирались все холостяки и деловые люди Лос-Анжелоса. На первом этаже были расположены ресторан, коктейль-холл и гостиные, в которых по вечерам появлялись дамы.

Я занимал на верхнем этаже большую угловую комнату с роялем и небольшой библиотекой, рядом с номером Мозеса Хембергера, владельца самого крупного в городе универсального магазина. В те дни жизнь в клубе была поразительно дешевой. Я платил за свою комнату всего двенадцать долларов в неделю, и это давало мне еще право бесплатно пользоваться спортивными площадками, плавательным бассейном и превосходным обслуживанием. В общем, я мог вести роскошную жизнь на семьдесят пять долларов в неделю, включая сюда даже расходы на выпивку, когда была моя очередь угощать всю компанию.

В клубе царили приятельские отношения между всеми, их даже первая мировая война не могла нарушить. Все тогда были уверены, что она закончится в течение полугода, не больше. Предсказание же лорда Китченера, утверждавшего, что она

продлится не меньше четырех лет, казалось абсурдным. Многие даже радовались объявлению войны, надеясь, что теперь-то уж мы как следует проучим немцев. В исходе войны никто не сомневался — разумеется, англичане и французы в полгода прикончат немцев. Военные действия еще не развернулись во всю мощь, к тому же Калифорния была очень удалена от них.

Примерно в это время Сеннет завел разговор о возобновлении моего контракта и пожелал узнать мои условия. Я отдавал себе отчет в своей популярности, но это не мешало мне сознавать всю эфемерность нашей славы — я понимал, что если и дальше я буду работать в таком же темпе, то через год выдохнусь. Поэтому я решил ковать железо, пока горячо.

— Тысячу долларов в неделю! — сказал я спокойно.

Сеннет пришел в ужас.

— Да я сам столько не зарабатываю.

— Знаю, — ответил я. — Но ведь публика становится в очередь у кассы, когда видит на афишах мое имя, а не ваше.

— Возможно, — согласился Сеннет, — но без нас вы пропадете.

И тут же предостерег меня.

— Вспомните, что случилось с Фордом Стерлингом.

Это была правда. С тех пор как Стерлинг покинул студию «Кистоун», дела у него шли неважно. Однако я ответил Сеннету:

— А мне, для того чтобы сделать комедию, нужен только парк, полицейский и хорошенькая девушка.

И действительно, я снял несколько своих наиболее удачных фильмов с помощью этого, более чем скромного ассортимента.

Сеннет послал телеграмму своим компаньонам Кесселу и Баумену, сообщив им мои требования, и просил совета по поводу возобновления контракта. Несколько времени спустя Сеннет пришел ко мне со следующим предложением:

— Послушайте, срок вашего контракта истекает через четыре месяца, но мы его порвем и будем уже сейчас платить вам по пятьсот долларов в неделю, второй год — по семьсот долларов, а третий год — по тысяче пятьсот долларов. Таким образом, вы и получите свои тысячу долларов в неделю.

— Мак, — ответил я, — я согласен на эти условия, если только вы предложите их мне в обратном порядке: дайте мне тысячу пятьсот долларов в первый год, семьсот долларов — во второй и пятьсот долларов — в третий.

— Но это же дико, — воскликнул Сеннет.

Вопрос о новом контракте больше не поднимался.

Мне оставалось поработать на студии «Кистоун» всего месяц, а я все еще не получил приглашения ни от какой другой фирмы. Я начал нервничать и, возможно, Сеннет понимал это и тянул, выжидая удобного момента. Обычно, стоило мне кончить фильм, как он полушутливо требовал, чтобы я сразу начинал другой. Однако теперь, хотя я не работал уже две недели, Сеннет не подходил ко мне. Он был вежлив, но холоден.



Тем не менее я не падал духом, решив, что, если мне никто ничего не предложит, я попробую основать собственную фирму. А почему бы и нет? Я верил в себя и надеялся на свои силы. Я точно помню, когда у меня зародилась эта идея, — в ту минуту, когда я подписывал заявку на реквизит.

Работая в студии «Кистоун», Сидней сделал несколько очень удачных фильмов. Один из них, «Лоцман подводной лодки», в котором Сидней использовал всевозможные съемочные трюки, имел неслыханный успех во всем мире. Я предложил ему войти со мной в компанию и начать свое дело.

— Ведь нам нужна только камера и пустырь, — уговаривал я.

Но Сидней был консервативен. Он считал, что риск слишком велик.

— К тому же, — прибавил он, — я не хочу отказываться от жалованья, какого не получал никогда в жизни.

И он остался в «Кистоуне» еще на год.

В один прекрасный день мне позвонил представитель фирмы «Юниверсал» Карл Лэмл. Беря на себя все расходы по производству, он предложил мне по сорок центов за полезный метр фильма, но не соглашался платить тысячу долларов в неделю, и поэтому у нас с ним ничего не вышло.

Затем некий молодой человек по имени Джесс Роббинс, представлявший фирму «Эссеней», сказал мне, что он слышал, будто я требую до подписания контракта чек на десять тысяч долларов и, кроме того, тысячу двести пятьдесят долларов в неделю. Эти десять тысяч были для меня новостью. Но после его слов мысль эта крепко запала мне в голову.

В тот же вечер я пригласил Роббинса пообедать и предоставил ему инициативу в разговоре. Он заявил, что его послал ко мне мистер Андерсон<sup>1</sup>, более известный под псевдонимом Бронко Билли, один из владельцев фирмы «Эссеней» (его компаньоном был мистер Джордж Спур). Роббинс уполномочен предложить мне тысячу двести пятьдесят долларов в неделю, но о десяти тысячах пока ничего не может сказать. Я пожал плечами.

— На этом почти все спотыкаются, — заметил я. — Сулят золотые горы, а на наличные скупятся.

Роббинс позвонил Андерсону в Сан-Франциско и сообщил, что в принципе я согласен, но требую чек на десять тысяч долларов. Он вернулся ко мне, сияя улыбкой:

— Договорились, — сказал он, — завтра вы получите свой чек на десять тысяч.

Я страшно обрадовался. Но мне не верилось, что это окажется правдой. Увы, я не ошибся: на следующий день Роббинс вручил мне чек всего на шестьсот долларов, объяснив, что мистер Андерсон прибудет в Лос-Анжелос и сам решит вопрос о десяти тысячах. Приехав, Андерсон сообщил мне, что он очень рад, наобещал всего, но десяти тысяч так и не дал.

— Мой компаньон мистер Спур займется этим, как только мы приедем в Чикаго.

У меня возникли некоторые подозрения, но я поспешил подавить их — слишком уж радужным рисовалось мне будущее. Еще две недели мне предстояло пробыть в кистоуновской студии. У меня едва хватило силы закончить последний фильм «Его доисторическое прошлое», я никак не мог сосредоточиться из-за всех этих треволнений. Но в конце концов фильм был завершен.

## XI

Мне было нелегко покидать «Кистоун» — я привязался и к Сеннету и ко всем остальным. Я даже не смог ни с кем проститься. Все произошло до жестокости просто. Я кончил монтировать свой фильм в субботу вечером, а в понедельник утром выехал с мистером Андерсоном<sup>1</sup> в Сан-Франциско, где нас встретил его новенький зеленый «мерседес». Мы успели лишь позавтракать у «Святого Франциска» и сразу уехали в Найлс, где у Андерсона была маленькая студия, — там он и снимал все свои «вестерны Бронко Билли» для фирмы «Эссеней» («Эссеней» — соединение начальных букв фамилий Спура и Андерсона).

От Сан-Франциско до Найлса, расположенного вблизи железной дороги, было около часа езды. В то время Найлс был маленьким поселком с населением в четыреста человек, занятых разведением скота и люцерны для кормов. Студия была расположена среди поля, простиравшегося мили на четыре вокруг. Когда я ее увидел, у меня упало сердце, — ничего менее вдохновляющего нельзя было и придумать. Крыша студии была стеклянная, и летом там было нестерпимо жарко работать. Андерсон утешал меня, говоря, что студия в Чикаго гораздо лучше приспособлена для съемок комедий и, наверно, понравится мне. Я провел в Найлсе всего час, пока Андерсон занимался своими делами, а затем мы вернулись в город и сели на поезд Сан-Франциско — Чикаго.

Андерсон мне нравился. В нем было свое, присущее ему одному, обаяние. В поезде он ухаживал за мной, как брат, покупал на остановках журналы и сладости. Ему было лет под сорок, он был застенчив, мало общителен. Когда мы с ним начинали говорить о делах, он был не мелочен и всегда успокаивал меня:

— Об этом не беспокойтесь. Все будет в порядке!

Разговаривал он мало и всегда казался чем-то озабоченным. Но чувствовалось, что он человек проникательный и умный.

Наше путешествие неожиданно оказалось интересным. Вместе с нами в поезде ехало трое мужчин, на которых мы обратили внимание в вагоне-ресторане. Двое из них выглядели вполне благопристойно, присутствие же третьего, грубого, простого человека рядом с ними казалось неуместным. Странно было видеть, как они вместе обедают. Мы строили разные предположения, вроде того, что эти двое могут быть инженерами, а их неотесанный спутник у них черноработчий. Мы ушли из ресторана, и тут к нам в купе неожиданно явился один из них. Представившись нам как шериф города Сент-Луис, он сказал, что узнал Бронко Билли. Они везут преступника из Сан-Квентинской тюрьмы в Сент-Луис, где его должны повесить. Так как оставить его одного ни на минуту нельзя, он приглашал пройти в их купе, чтобы познакомиться с окружным прокурором.

— Мы подумали, может быть, вам будет интересно узнать историю нашего преступника, — заметил шериф. — У этого парня богатое уголовное прошлое. Когда его арестовали в Сент-Луисе, он попросил разрешения пройти в свою комнату, чтобы взять из чемодана кое-какие вещи. А сам порылся для виду в чемодане, выхватил вдруг револьвер, тут же на месте убил полицейского и бежал в Калифорнию. Но там он вскоре попался на грабеже и получил три года тюрьмы. А когда вышел на свободу, мы уже с прокурором были тут как тут и сразу взяли его. С ним дело совершенно ясное, мы его повесим, — благодушно закончил свой рассказ шериф.

Мы с Андерсоном отправились в их купе. Шериф был коренастым, веселым человеком — улыбка не сходила с его лица, глаза лукаво подмигивали. Прокурор держался серьезнее.

Представив нас своему товарищу, шериф пригласил нас сесть и затем обернулся к заключенному.

— А это Хэнк, — сказал он. — Везем его в Сент-Луис, где ему грозит небольшая неприятность.

Хэнк иронически улыбнулся, но ничего не сказал. Это был человек без малого двух метров ростом, — на вид ему было лет под пятьдесят. Пожимая руку Андерсону, он сказал:

— Я много раз смотрел вас, Бронко Билли. До чего ж вы классно управляетесь с револьвером — ей-богу, я лучшего налетчика в жизни не видел.

Обо мне Хэнк знал мало. «Просидев три года в Сан-Квентине, пока на воле много чего произошло, — пояснил он, — немудрено было отстать от жизни».

Хотя все мы внешне были очень оживлены, внутренне я испытывал почти невыносимое напряжение. Я не знал, что сказать, и лишь улыбался в ответ на замечания шерифа.

— Да, жизнь — нелегкая штука, — заметил Бронко Билли.

— Вот мы и стараемся сделать ее полегче, — сказал шериф. — И Хэнк это понимает.

— Конечно, — грубовато сказал Хэнк.

Тут шериф начал морализировать:

— Я так Хэнку и сказал, только он вышел из ворот Сан-Квентина. Если он будет с нами по-хорошему, то и мы будем с ним по-хорошему. Мы не хотим пользоваться наручниками и вообще подымать шум. Кроме «железки» на одной ноге, у него ничего и нет.

— «Железки»?! А что это такое? — спросил я.

— А вы никогда не видели? — удивился шериф. — Задери штанину повыше, Хэнк.

Хэнк задрал штанину, и я увидел никелированную металлическую манжету, дюймов пяти шириной и в три дюйма толщиной, плотно облегающую лодыжку. Весила она, наверное, фунтов сорок. За осмотром последовало обсуждение новейших моделей современных кандалов. Шериф разъяснил нам, что данная модель снабжена внутри резиновой прокладкой, которая делает их гораздо удобнее для арестанта.

— Он и спит с этой штукой? — спросил я.

— Смотря по обстоятельствам, — ответил шериф, многозначительно поглядывая на Хэнка. Тот загадочно и мрачно улыбнулся.

Мы просидели в их купе до обеда. Под вечер разговор зашел о том, как получилось, что Хэнка сразу арестовали, когда он вышел из тюрьмы. Шериф пояснил нам, что при существующей системе обмена информацией между тюрьмами они смогли получить его фотографии и отпечатки пальцев, по которым и решили, что Хэнк — тот самый человек, кого они разыскивают. Шериф с прокурором поехали туда и в тот день, когда Хэнка должны были выпустить, стали у ворот Сан-Квентина.

— Да, — сказал шериф, и при взгляде на Хэнка его маленькие глазки засверкали, — мы ждали его на противоположной стороне улицы. Вскоре в проходной тюремных ворот показался Хэнк. — Шериф провел указательным пальцем по своему носу, потом указал на Хэнка и с дьявольской усмешкой раздельно проговорил: — И я подумал, это он и есть!

Мы с Андерсоном были захвачены его рассказом.

— Мы с ним сразу договорились, — продолжал шериф, — если он поведет себя с нами по-честному, мы обещаем обращаться с ним хорошо. И, видите, мы повели его завтракать с нами, накормили горячими лепешками и яичницей с салом. Путешествует он с нами в первом классе. Это же лучше, чем ехать в наручниках и кандалах.

Хэнк улыбнулся и пробормотал:

— Если б я захотел, я мог бы протестовать. Они не имели права выдавать меня властям другого штата.

Шериф холодно посмотрел на него.

— Ты ничего не выиграл бы на этом, Хэнк, — произнес он медленно. — Это дало бы тебе лишь небольшую отсрочку. А разве не лучше проехаться с таким комфортом, да еще в первом классе?

— Должно быть, лучше, — сказал Хэнк.

Мы приближались к цели их путешествия, и Хэнк начал почти с любовью говорить о Сент-Луисской тюрьме. Он уже предвкушал, как станет центром всеобщего внимания.

— Интересно, что эти бандиты со мной сделают, когда они устроят мне суд в камере! Наверно, отберут у меня весь табак и сигареты.

Отношения шерифа и прокурора к Хэнку напоминали мне нежность матадора к быку, которого он должен сейчас убить. Наша встреча произошла 31 декабря, и при расставании шериф и прокурор поздравили нас с наступающим Новым годом. Хэнк тоже пожал нам руки, уныло добавив, что всему хорошему в жизни бывает конец. Я никак не мог придумать, что бы сказать ему на прощанье. Преступление, которое он совершил, было подлое и жестокое, но все-таки, когда он, сильно прихрамывая из-за своей «железки», выходил из вагона, я пожелал ему счастья. Впоследствии я слышал, что его повесили.

В Чикаго нас встретил директор студии, но мистера Спура там не оказалось — он уехал по делам и должен был вернуться только после рождественских каникул. Я не придавал особого значения отсутствию мистера Спура, так как до Нового года жизнь студии все равно замерла. Новый год я встретил с Андерсоном и его женой, а 1 января Андерсон уехал в Калифорнию, заверив меня, что, как только Спур вернется, он сразу займется моими делами и, конечно, чеком на десять тысяч. Студия находилась в фабричном районе, в помещении бывшего склада. Когда я снова явился туда, оказалось, что Спур еще не приехал, а контора не получила никаких распоряжений относительно моего контракта. Я уже почувствовал, что дело нечисто, — люди, с которыми я беседовал, несомненно знали больше, чем говорили мне. Впрочем, меня это не встревожило — я был уверен, что хорошая картина сразу разрешит все вопросы. Поэтому я спросил у директора, известно ли ему, что сотрудники студии должны оказывать мне полное содействие и что я могу использовать всю аппаратуру студии по своему усмотрению.

— Разумеется, мистер Андерсон именно так и распорядился, — подтвердил он.

— В таком случае я хотел бы немедленно приступить к работе.

— Прекрасно, — ответил он, — на втором этаже вы найдете заведующую сценарным отделом, мисс Луэллу Парсонс, и получите у нее сценарий.

— Я не работаю по чужим сценариям, а пишу их для себя сам, — отрезал я.

Я уже был настроен воинственно. Эти недомолвки и непонятное отсутствие Спура меня раздражали. Кроме того, сотрудники студии держались уж очень официально и были обложены бумагами, словно банковские клерки. Деловая обстановка студии производила впечатление, чего нельзя было сказать о ее фильмах. Контора на верхнем этаже была разгорожена на множество клетушек, напоминавших кассы. Все это мало способствовало творческой атмосфере. Ровно в шесть, невзирая на то, что режиссер мог в эту минуту снимать эпизод, свет выключался, и все расходились по домам.

На следующее утро я пошел в отдел распределения актеров.

— Мне нужна группа, — сказал я сухо. — Будьте добры, прислать ко мне незанятых актеров.

Они послали актеров, которые, по их мнению, могли бы мне подойти. Среди них был косоглазый Бен Тюрпин<sup>1</sup>. По-видимому, он знал свое дело, но в то время почти не был занят на студии. Бен мне сразу понравился, и я его взял к себе. Но у меня не было еще актрисы на роли героинь. Правда, одна из предложенных мне кандидатур вроде была подходящей — довольно хорошенькая молодая девушка, недавно пришедшая в студию. Однако тут же выяснилось, что она совсем не умеет играть. Девушка оказалась настолько тупа, что я в конце концов ее прогнал. Много лет спустя Глория Свенсон<sup>2</sup> призналась мне, что это была она. Мечтая стать драматической актрисой, Глория терпеть не могла «комедии пощечин» и нарочно притворилась бездарностью.

Почувствовав мое недовольство, Френсис Бушмен, бывший в то время звездой «Эссенея», сказал:

— Знайте, что наша студия — полная антитеза тому, что вы о ней думаете.

К сожалению, это было не так. Мне не нравилась студия, не нравилось и слово «антитеза». Дела шли из рук вон плохо. Если я хотел посмотреть отснятый материал, мне показывали лишь негатив, стремясь избежать расходов по напечатанию позитива. Это меня приводило в ужас. А когда я все-таки требовал, чтобы мне давали позитив для просмотра, руководители студии держались так, словно я решил пустить их по миру. Это были ограниченные и самодовольные люди. Войдя в кинопромышленность одними из первых, защищенные своими патентами<sup>1</sup>, предоставлявшими им монополию, они меньше всего заботились о том, чтобы делать хорошие картины. И хотя другие фирмы, оспаривая их патенты, делали лучшие фильмы, «Эссенея» самоуверенно продолжал действовать по-своему, «сдавая» по понедельникам сценарии режиссерам, будто карты в игре.

Прошло уже две недели. Я почти закончил съемки своей первой картины «Его новая работа», а мистер Спур все еще не показывался в студии. Не получая ни чека на десять тысяч, ни жалованья, я начал понимать цену этим людям.

— Куда он подевался, ваш мистер Спур? — спрашивал я в конторе. Сотрудники были смущены и не могли ничего толком ответить. Я не пытался скрывать своего негодования и спросил, всегда ли Спур ведет свои дела подобным образом.

Несколько лет спустя Спур сам мне рассказал, что произошло. Оказывается, он ничего обо мне не слышал до этого времени, и когда узнал, что Андерсон подписал со мной контракт на год по тысяче двести долларов в неделю да еще пообещал дать мне чек на десять тысяч долларов, он послал ему яростную телеграмму, спрашивая, не спятил ли Андерсон с ума? А когда еще выяснилось, что Андерсон пошел тут на риск и заключил со мной контракт лишь по рекомендации Джесса Роббинса, Спур совсем озверел. Своим лучшим комикам он платил по семьдесят пять долларов в неделю, и то их комедии едва оправдывали расходы. Этим и объяснялось отсутствие Спура в Чикаго.

Когда же он все-таки вернулся и пошел позавтракать в один из самых больших чикагских отелей, то, к его великому удивлению, друзья стали поздравлять его с тем, что ему удалось меня заполучить для «Эссенея». К тому же и в студии пошли разговоры о Чарли Чаплине, непохожие на обычную рекламу. Тогда Спур решил произвести опыт. Он дал посыльному двадцать пять центов и велел ему пробежать по всему отелю, громко вызывая меня по имени: «Мистер Чарли Чаплин!» Немедленно начали собираться люди, и вскоре вестибюль отеля был забит народом. Сенсация, вызванная моим именем, явилась первым доказательством моей популярности. Вторым было известие о том, что произошло за время отсутствия Спура в отделе проката. Оказалось, что еще до того, как я начал снимать картину, они продали авансом шестьдесят пять копий — цифра для них неслыханная, — а ко времени окончания фильма было продано сто тридцать копий, и заказы все еще продолжали поступать. Фирма, не теряя времени, повысила расценки с сорока центов до семидесяти пяти за метр.

Когда, наконец, Спур появился в студии, я потребовал у него свое жалованье и чек. Он рассыпался в извинениях, говоря, что оставил в конторе соответствующие распоряжения, и они должны были все оформить. Сам он, правда, контракта не видел, но в конторе обо всем, конечно, осведомлены. Эти выдумки привели меня в ярость.

— Чего вы испугались? — коротко спросил я. — Если желаете, вы и сейчас можете расторгнуть контракт. Да фактически вы его уже нарушили!

Высокий, осанистый и очень сладкоречивый, Спур был бы просто красавцем-мужчиной, если бы не вялая бледность щек и хищно выступающая верхняя губа, которая его портила.

— Мне очень жаль, что у вас создалось такое представление о нас, — сказал он. — Но вы должны знать, Чарли, что у нашей фирмы хорошая репутация, и мы всегда выполняем условия наших контрактов.

— Но условия моего контракта вы не выполнили, — возразил я.

— Мы немедленно позаботимся об этом.

— А я не тороплюсь, — саркастически заметил я.

За время моего недолгого пребывания в Чикаго Спур делал все, что мог, чтобы поладить со мной, но мне он положительно не нравился. Я сказал ему, что мне очень трудно работать в Чикаго, и если он хочет получать хорошие картины, то должен устроить так, чтобы я мог снимать в Калифорнии.

— Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя хорошо, — поспешил он заверить меня. — Хотите поехать в Найлс?

Эта перспектива меня не слишком обрадовала, но все-таки работать с Андерсоном было приятнее, чем со Спуром. Закончив фильм «Его новая работа», я уехал в Найлс.

Все свои ковбойские фильмы Бронко Билли снимал здесь. Они были одночастные, и он обычно делал такой фильм за день. У него было семь сюжетов, и, повторяя их без конца в различных вариантах, он сумел заработать на этом деле несколько миллионов долларов. Работал он рывками. Иногда мог снять семь одночастных вестернов за неделю, а потом на полтора месяца уезжал отдыхать.

Бронко Билли построил возле студии в Найлсе несколько небольших бунгало калифорнийского типа для членов своей группы и один побольше — для себя. Он предложил мне поселиться у него, и я очень обрадовался. Мне показалось весьма заманчивым жить у ковбоя-миллионера Бронко Билли — он так широко принимал меня в

Чикаго, в роскошном доме своей жены — я думал, что по крайней мере это сделает более сносным мое пребывание в Найлсе.

Когда мы вошли в его бунгало, было уже темно, но хозяин зажег свет, и я был потрясен. Дом оказался совершенно пуст и на редкость убог. В комнате Бронко Билли стояла старая железная кровать, над изголовьем свисала с потолка электрическая лампочка без абажура. Убранство комнаты дополняли старый шаткий стол и стул. Возле кровати стоял дощатый ящик, а на нем — медная пепельница, полная окурков. Предоставленная мне комната выглядела точно так же — в ней не хватало лишь ящика. Все в доме не работало: ванна была в немыслимом состоянии, для того чтобы спустить воду в уборной, надо было взять кувшин, наполнить его водой в ванной и слить в унитаз. Таков был дом Дж.-М. Андерсона, ковбоя-мультимиллионера.

Познакомившись с ним поближе, я понял, что он и впрямь человек со странностями. Хотя и миллионер, он тем не менее был совершенно равнодушен к роскошной жизни, его увлечениями были красные автомашины, боксеры и собственный театр, в котором он сам ставил музыкальные ревю. Если он не работал в Найлсе, то почти все свое время проводил в Сан-Франциско, живя в маленьких скромных гостиницах. Нрава он был скрытного, беспокойного, куда-то исчезал, постоянно был чем-то озабочен. Он предпочитал развлекаться в одиночестве. В Чикаго у него были очаровательная жена и дочь, но он очень редко виделся с ними — они жили врозь, каждый своей жизнью.

Переходить из одной студии в другую было трудно. Нужно было создавать группу, искать хорошего оператора, ассистента режиссера и, наконец, актеров, а в Найлсе это было почти невыполнимо — не из кого было выбирать. Кроме андерсоновских ковбоев там была только одна группа комиков, из рук вон плохих — фильмы с их участием едва возмещали студии издержки, если не работал Андерсон. У Андерсона было двенадцать актеров, в основном ковбоев. Снова передо мной встала проблема — найти красивую девушку на роли героинь, а мне хотелось как можно скорее приступить к работе. У меня не было сюжета для будущего фильма, но я уже приказал построить декорацию шикарного кафе. Когда в голову ничего не приходило, декорация кафе всегда подсказывала мне какой-нибудь трюк или комедийное положение. Пока ее строили, я отправился с Андерсоном в Сан-Франциско поискать героиню среди хористок в его театре. Занятие это было из приятнейших, но среди красоток не нашлось ни одной фотогеничной. И тут Карл Штраус, красивый молодой немец, он же американский ковбой, снимавшийся у Андерсона, рассказал нам, что в кафе Тейта, на Хилл-стрит, бывает очень хорошенькая девушка. Сам он с ней не знаком, но думает, что хозяин кафе может знать ее адрес.

Мистер Тейт знал ее очень хорошо. Девушка жила со своей замужней сестрой, приехала она из Невады, из Ловлока, и зовут ее Эдна Первиэнс<sup>1</sup>. Мы сейчас же разыскали ее и условились встретиться в отеле св. Франциска. Девушка оказалась не хорошенькой, а просто красавицей. Она выглядела грустной и серьезной — потом я узнал, что она как раз в эту пору переживала горести неудачного романа. Эдна окончила колледж и занималась на коммерческих курсах. Держалась она спокойно и замкнуто. У нее были чудесные большие глаза, прекрасные зубы и чувственный рот. Я сомневался лишь, сможет ли она играть, есть ли у нее хоть какое-нибудь чувство юмора — она была слишком серьезна. Но, несмотря на все мои сомнения, мы все-таки пригласили ее — она по крайней мере должна была послужить украшением моих комедий.

На следующий день мы вернулись в Найлс. Кафе еще не было готово, а то, что уже было построено, выглядело немыслимо грубо и уродливо — техника на студии оставляла желать много лучшего. Указав, какие изменения следует внести в декорацию, я стал думать о сюжете фильма. Прежде всего я придумал название «Ночь напролет» — пьяница

в погоне за развлечениями, — для начала этого уже было вполне достаточно, Я распорядился установить в моем ночном ресторане фонтан; имея партнером Бена Тюрпина, я знал, что смогу построить на этом несколько хороших трюков.

Накануне того дня, когда мы должны были начать съемки, кто-то из актеров группы Андерсона пригласил меня поужинать. Это была очень скромная вечеринка с пивом и бутербродами. Приглашенных было человек двадцать, и среди них — мисс Первиэнс. После ужина кое-кто занялся игрой в карты, а остальные, усевшись в кружок, стали беседовать. Разговор зашел о гипнотизме, и тут я похвастался, что обладаю гипнотической силой. Я утверждал, что за одну минуту могу загипнотизировать любого в этой комнате, и говорил это так убедительно, что большинство присутствующих — вернее, все, кроме Эдны, — поверили мне. Она рассмеялась.

— Какая чепуха! Меня никто не загипнотизирует!

— А вы как раз самый подходящий объект для гипнотизера, — сказал я. — Держу пари на десять долларов, что через минуту вы у меня уснете.

— Согласна, — ответила Эдна, — принимаю ваше пари.

— Только не вините меня, если вы потом плохо себя почувствуете! Разумеется, ничего особенно опасного не будет.

Я пытался запугать ее, надеясь, что она отступится, но Эдна была настроена решительно. Какая-то женщина убеждала ее:

— Вы делаете глупость!

— Пари остается в силе, — спокойно заявила Эдна.

— Прекрасно, — сказал я. — Прошу вас стать спиной к стене, но подальше от всех, чтобы я мог полностью овладеть вашим вниманием.

Скептически улыбаясь, Эдна повиновалась. Все присутствующие были очень заинтересованы моим сеансом.

— Попрошу кого-нибудь точно заметить время, — сказал я.

— Но помните, — предупредила Эдна, — вы обещали усыпить меня за одну минуту.

— Через минуту вы потеряете сознание, — ответил я.

— Начинайте! — дал знак тот, кто смотрел на часы.

Я немедленно сделал два-три очень эффектных пасса, пристально глядя Эдне прямо в глаза, а потом, подойдя к ней, быстро шепнул так, чтобы остальные не слышали:

— Разыграйте их!

Я продолжал делать пассы, приговаривая:

— Вы заснете! Вы засыпаете... Вы спите!..

Тут я отступил назад, и Эдна слегка пошатнулась. Я быстро подхватил ее, двое зрителей вскрикнули.

— Скорей ко мне! — сказал я. — Помогите мне уложить ее на диван.

Когда Эдна «пришла в себя», она казалась очень взволнованной, говорила, что чувствует ужасную усталость.



Она могла выиграть пари, доказать свою правоту, но щедро пожертвовала триумфом ради хорошей шутки. Этим Эдна заслужила мое уважение и привязанность, а главное, убедила меня в том, что она не лишена чувства юмора.

Я снял в Найлсе четыре комедии, но возможности студии меня не удовлетворяли. Я сказал Андерсону, что предпочел бы обосноваться в Лос-Анжелосе, где снимать комедии было гораздо легче. Он согласился на это еще и потому, что практически я захватил почти всю студию, которая не могла вместить три съемочные группы, да и штат был недостаточен. Андерсон арендовал мне маленькую студию на Бойл-Хайтс, в центре Лос-Анжелоса.

Пока мы там работали, два начинающих киноактера сняли часть нашей студии — это были Хэл Роч<sup>1</sup> и Гарольд Ллойд<sup>2</sup>.

С каждым новым фильмом цена на мои картины повышалась, и фирма «Эссеней» начала ставить владельцам кинотеатров беспрецедентные условия, требуя не менее пятидесяти долларов в день за прокат моей двухчастной комедии. Это значило, что за каждую мою картину фирма получала теперь пятьдесят тысяч долларов авансом.

Как-то вечером, когда я вернулся к себе в «Столл-отель», гостиницу средней руки, однако новую и достаточно комфортабельную, мне позвонили из лос-анжелосского «Экзаминера» и прочли полученную на мое имя из Нью-Йорка срочную телеграмму: «Предлагаем Чаплину двадцать пять тысяч долларов за две недели ежевечерних пятнадцатиминутных выступлений в нью-йоркском «Ипподроме». Это не мешает его работе».

Я немедленно позвонил Андерсону в Сан-Франциско. Но было уже поздно, и я смог добиться разговора с ним только в три часа ночи. Я рассказал ему о телеграмме и спросил, отпустит ли он меня на две недели, чтобы я мог заработать двадцать пять тысяч долларов. Я обещал, что начну писать сценарий новой комедии в поезде и закончу в Нью-Йорке. Но Андерсон не хотел меня отпускать.

Окно моей спальни выходило во двор-колодец, и голос мой был слышен во всех номерах, тем более, что связь оказалась очень плохой.

— Я не собираюсь отказываться от двадцати пяти тысяч долларов за две недели работы! — мне пришлось прокричать эту фразу несколько раз.

Наверху открылось окно, и кто-то рявкнул: «Хватит болтать! Ложись спать, идиот!»

Андерсон ответил, что, если я сделаю для «Эссеней» еще одну двухчастную комедию, они заплатят мне эти двадцать пять тысяч. Он обещал завтра приехать в Лос-Анжелос, дать мне чек и подписать соглашение. Повесив трубку, я погасил свет и уже готов был уснуть, но вдруг, вспомнив, как нас перебили, вылез из постели, открыл окно и закричал: «Пошел к черту!»

На другой день Андерсон приехал в Лос-Анжелос с чеком на двадцать пять тысяч долларов, а нью-йоркская фирма, сделавшая мне столь блестящее предложение, через две недели обанкротилась. Вот так мне везло в те дни.

В Лос-Анжелосе я почувствовал себя гораздо лучше. Наша студия на Бойл-Хайтс была расположена в районе трущоб, но зато поблизости жил Сидней, и по вечерам я часто виделся с ним. Сидней продолжал работать в студии «Кистоун» — срок его контракта истек на месяц раньше моего со студией «Эссеней». Успех моих фильмов был столь велик, что брат решил всецело посвятить себя моим делам. С каждой последующей картиной росла моя популярность. Длинные очереди у касс кинотеатров говорили о том, что в Лос-Анжелосе я пользуюсь успехом, но я еще не отдавал себе отчета, каких

размеров достигала моя популярность в других местах. В Нью-Йорке, например, во всех универсальных магазинах и даже в аптеках продавались игрушки и статуэтки, изображавшие меня в роли бродяги. Гёрлс в ревю «Зигфелд Фоллис» показывали чаплиновский номер, уродуя себя усиками, цилиндрами, огромными башмаками и мешковатыми штанами, они пели песенку «Ах, эти ножки Чарли Чаплина».

Фирмы, торговавшие книгами, готовым платьем, свечами, игрушками, сигаретами и зубной пастой, засыпали меня всяческими деловыми предложениями. Груды писем, приходивших от моих поклонников, стали для меня проблемой; Сидней настаивал, что надо отвечать на все письма, невзирая на расходы, — он понимал, что придется нанять специального секретаря.

Брат поставил перед Андерсоном вопрос о том, что мои картины следовало бы продавать на особых условиях, а не так, как всю остальную продукцию «Эссенея», — было бы несправедливо, если бы вся прибыль доставалась прокатчикам. «Эссенея» продавал сотни копий моих фильмов, но на условиях, которые давно устарели. Сидней предложил повысить цены проката в больших кинотеатрах, в соответствии с количеством мест в зале. Осуществление такого проекта могло бы увеличить прибыли на каждой картине до ста тысяч долларов, а то и больше. Андерсон усомнился в его реальности, полагая, что трест кинопрокатных организаций, включающий шестнадцать тысяч кинотеатров, несомненно окажет сопротивление — правила и условия покупки картин считались нерушимыми. По мнению Андерсона, очень немногие прокатчики стали бы покупать мои фильмы на новых условиях.

Однако некоторое время спустя газета «Моушн пикчэр хералд» сообщила, что кинофирма «Эссенея» отказалась от старого порядка продажи картин прокатчикам и установила новые цены, в зависимости от вместимости кинотеатра. Как брат и предсказывал, новые расценки повысили прибыли фирмы на каждую из моих картин до ста тысяч долларов. Эта новость заставила меня насторожиться. Будучи одновременно сценаристом, актером и режиссером своих комедий, то есть делая, в общем, всю работу, я получал только тысячу двести пятьдесят долларов в неделю. Я начал жаловаться, что слишком много работаю, устаю и что мне нужно больше времени для моих картин. У меня был контракт на год, и до сих пор я чуть не каждые две-три недели выпускал новую комедию. В Чикаго не замедлили откликнуться на мои жалобы. Спур примчался в Лос-Анжелос и немедленно подписал со мной соглашение о добавочном вознаграждении в десять тысяч долларов за каждую картину. От такого стимула здоровье мое сразу поправилось.

Примерно в это время Д.-У. Гриффит выпустил свою эпическую ленту «Рождение нации», которой снискал себе славу выдающегося режиссера. Несомненно, Гриффит — гений немного кино. Хотя он был склонен к мелодраме, хотя подчас ему изменяли и вкус и чувство меры, картины его всегда были отмечены оригинальностью, из-за которой их все безусловно стоило посмотреть.

Де Милль <sup>1</sup> начал многообещающе фильмами «Шепчущий хор» и «Кармен», но после «Мужчины и женщины» его творчество почти замкнулось в будуарной тематике. И все-таки его «Кармен» произвела на меня столь сильное впечатление, что я сделал двухчастную пародию на нее. Это был мой последний фильм в студии «Эссенея». После того как я с ними расстался, они подклеили к нему все сделанные мною вырезки и выпустили фильм в четырех частях. Это меня совершенно убило, и я два дня пролежал в постели. Но их бесчестный поступок оказал мне большую услугу — с тех пор в каждом контракте я неизменно оговариваю, что кинокомпания не имеет права исказить законченный мною фильм, ни путем увеличения метража, ни каким бы то ни было иным способом.

Приближался срок окончания моего контракта, и это снова привело Спура в Лос-Анжелос. Он сделал мне предложение, с которым, по его словам, никто не смог бы конкурировать. Если я соглашусь выпустить для них двенадцать двухчастевых картин, фирма, беря на себя все расходы по производству, уплатит мне триста пятьдесят тысяч долларов. Я ответил, что при подписании любого контракта прежде всего требую сто пятьдесят тысяч долларов прямо на стол. На этом закончились дальнейшие разговоры со Спуром.

Будущее, будущее — сказочное будущее! Куда оно меня приведет? Перспективы были ослепительны. Деньги лились рекой, с каждым днем возрастал мой успех. Все это обескураживало, даже пугало, и все-таки было восхитительно.

Пока Сидней в Нью-Йорке рассматривал различные деловые предложения, я заканчивал съемки «Кармен». Жил я в Санта Монике, на берегу океана. Иногда по вечерам я обедал в кафе Ната Гудвина, что находилось на самом краю мола. В свое время Нат Гудвин считался величайшим комиком американской сцены. Он сделал блестящую карьеру, будучи превосходным исполнителем персонажей Шекспира, а также и современных комедий. Он был близким другом сэра Генри Ирвинга, восемь раз женился, причем все его жены славились своей красотой. Пятой его женой была Мэксин Эллиот, которую он в шутку называл «римским сенатором». «Но она очень хороша и неслыханно умна», — добавлял он при этом. Гудвин был очень милым, культурным человеком и уже довольно пожилым, он к этому времени ушел на покой. У него было удивительное чувство юмора. Хотя мне и не довелось видеть его на сцене, я относился с большим уважением к нему самому и к его славе великого актера.

Мы с ним очень подружились, и часто холодными, осенними вечерами подолгу гуляли по безлюдному берегу океана. Меланхолическая грусть этих вечеров как-то по-особому оттеняла мое внутреннее волнение. Когда Гудвин узнал, что по окончании съемок я собираюсь уехать в Нью-Йорк, он дал мне один добрый совет:

— Вы добились исключительного успеха, вас ждет чудесная жизнь, если только вы правильно себя поведете. В Нью-Йорке держитесь подальше от Бродвея, как можно меньше будьте на глазах у публики. Знаете, в чем самая большая ошибка многих знаменитых актеров? Им хочется, чтоб ими любовались и восхищались, а ведь это разрушает иллюзию.

У него был глубокий и звучный голос.

— Вас будут повсюду приглашать, — продолжал он, — но вы не принимайте приглашений. Выберите себе одного-двух друзей, а в остальном положитесь на собственное воображение. Многие актеры совершили тут ошибку. Вот, например, Джон Дрю: он был любимцем светского общества, охотно ходил в гости к своим светским знакомым, но они-то не стали ходить к нему в театр — с них хватало того, что они видели его у себя в гостиных. Вы пленили мир, и он останется у ваших ног, но только если вы будете держаться от него подальше! — закончил он печально.

Это были чудесные, хотя и грустные беседы. В осенних сумерках мы подолгу бродили по пустынным набережным океана — Нат на закате своей блистательной карьеры, а я в самом начале моей.

Закончив монтаж «Кармен», я уложил небольшой саквояж и прямо из студии отправился на шестичасовом поезде в Нью-Йорк, предупредив брата телеграммой о дне и часе своего приезда.

Ехал я каким-то очень медленным поездом, и путешествие заняло у меня пять суток. Я сидел один в открытом купе — в те дни люди еще не узнавали меня без грима. Мы проезжали Техас, и должны были прибыть в Амарильо в семь вечера. Я решил

побриться, но уборная была занята, меня опередили другие пассажиры, и мне пришлось ждать. В результате, когда мы подъезжали к Амарильо, я еще не был одет. Поезд остановился, и я услышал на вокзале какой-то необычный шум и говор. Выглянув из окна уборной, я увидел, что перрон переполнен. Вокзал был украшен флагами, от столба к столбу были протянуты полотнища, и тут же на перроне расставлены длинные столы, на которых были сервированы прохладительные напитки. Я подумал, что готовится торжественная встреча или проводы какого-то местного магната, и спокойно продолжал намыливать лицо. Но всеобщая сумятица все усиливалась, началась беготня по вагонам, и я совершенно ясно услышал голоса: «Где же он?» Вдруг в коридоре нашего вагона кто-то крикнул: «Куда он подевался? Где Чарли Чаплин?».

— Я здесь, — ответил я.

— От имени мэра города Амарильо и всех ваших почитателей просим вас выпить с нами и слегка закусить.

Я всполошился.

— Но я же не могу... в таком виде, — пробормотал я сквозь мыльную пену.

— О, об этом не беспокойтесь, Чарли! Накиньте халат и выйдите к людям.

Я быстро ополоснул наполовину побритое лицо, надел рубашку, повязал галстук и вышел из вагона, на ходу застегивая пиджак.

Меня встретили аплодисментами и приветственными возгласами. Мэр попытался произнести речь:

— Мистер Чаплин, по поручению ваших почитателей из города Амарильо... — но его голос потонул в неумолкавшем приветственном шуме. Он снова начал.

— Мистер Чаплин, по поручению ваших почитателей из города Амарильо...

Толпа стала напирать, нас с мэром столкнули нос к носу и так прижали обоих к вагону, что мэр забыл о своем приветственном спиче и, видно, только и думал, как бы самому уцелеть.

— Назад! Назад! — орал полицейские, врезаясь в гущу толпы, чтобы пробить нам дорогу.

Весь восторг мэра иссяк, и он только сухо и деловито сказал:

— Ну ладно, Чарли, давайте скорей кончать, тогда вы сможете вернуться в вагон.

Все, толкаясь, ринулись к столам, и здесь страсти несколько поутихли, мэр, наконец, смог начать свое приветствие. Он постучал ложкой по столу.

— Мистер Чаплин, ваши друзья из города Амарильо, в Техасе, хотели выразить вам свою признательность за ту радость, которую вы им доставили, и пригласить вас выпить с нами кока-колы и закусить.

Закончив на этом свой панегирик, он спросил, не хочу ли и я сказать несколько слов. По его совету я взобрался на стол и пробормотал, что счастлив посетить Амарильо и потрясен замечательной и столь волнующей встречей, которую буду помнить до конца своих дней, и так далее и тому подобное. Потом я уселся и попробовал вступить в разговор с мэром.

Я спросил его, как они узнали, что я буду проезжать Амарильо.

— Вас выдали телеграфисты, — ответил он и объяснил, что телеграмма, посланная мною Сиднею, передавалась в Нью-Йорк через Амарильо, Канзас-сити и Чикаго, и телеграфисты немедленно сообщили эту новость представителям печати.

Вернувшись в вагон, я смиренно сел на свое место, мною овладело смущение. Вскоре вагон заполнили пассажиры, сновавшие взад и вперед по проходу. Они откровенно глазели на меня и весело хихикали. А я не мог радоваться, в голове у меня все это не укладывалось. Я был слишком взвинчен — в одно и то же время и окрылен и подавлен.

В Амарильо мне вручили несколько телеграмм. В одной значилось: «Добро пожаловать, Чарли! Ждем вас в Канзас-сити!», в другой: «В Чикаго вас будет ждать автомобиль, который отвезет вас с одного вокзала на другой», в третьей: «Не согласитесь ли вы остаться ночевать и быть нашим гостем в отеле «Блэкстоун?» Подъезжая к Канзас-сити, я увидел, что вдоль железнодорожного пути стоят люди, громко кричат и машут шляпами.

Огромный вокзал в Канзас-сити был плотно забит встречающими. Полиция с трудом сдерживала напор толпы, собравшейся на площади. К моему вагону была приставлена лестница, чтобы я мог по ней подняться и встать на крышу для всеобщего обозрения. И снова я повторял те же общие фразы, которые говорил в Амарильо. Меня ждали уже новые телеграммы. Не соглашусь ли я посетить такие-то школы и институты? Я запихал их все в чемодан, намереваясь по приезде в Нью-Йорк вежливо ответить. По пути из Канзас-сити в Чикаго я снова видел людей, стоявших на железнодорожных переездах и просто в поле и приветственно махавших руками, пока поезд проносился мимо них. Мне хотелось радоваться, просто и ото всей души, но меня не оставляла мысль, что мир сошел с ума! Если несколько «комедий пощечин» могли вызвать такой ажиотаж, может быть, в славе этой есть что-то ненастоящее? Мне всегда казалось, что я буду счастлив признанием публики, и вот оно пришло, а я, как это ни парадоксально, чувствую себя отрезанным от всех и еще более одиноким, чем раньше.

В Чикаго, где у меня была пересадка, у выхода с вокзала тоже собралась толпа людей, и под крики «ура» меня запихнули в лимузин и отвезли в отель «Блэкстоун». Там меня ждали роскошные апартаменты, где я мог отдохнуть до поезда на Нью-Йорк.

В «Блэкстоуне» я получил телеграмму от начальника нью-йоркской полиции, — он просил меня, если можно, выйти на 125-й улице, а не на вокзале «Гранд Централ», как я предполагал, потому что там в ожидании моего приезда уже собрались огромные толпы.

На 125-й улице меня ждал в закрытой машине очень взволнованный и возбужденный Сидней. Он говорил шепотом.

— Ну что ты на это скажешь? С самого утра на вокзале собрались толпы народу. С тех пор, как ты уехал из Лос-Анжелеса, пресса каждый день печатает бюллетени.

И он протянул мне газету, в которой крупным шрифтом стояло: «Он приехал!», а рядом другой заголовок: «Чарли прячется!». По дороге в отель Сидней рассказал мне, что заключил от моего имени договор с «Мючуэл филм корпорейшн» на шестьсот семьдесят тысяч долларов, которые они должны мне выплачивать по десять тысяч в неделю. Кроме того, при подписании контракта, как только меня обследуют страховые врачи, я получу еще чек на сто пятьдесят тысяч долларов. За ужином Сидней должен был встретиться с адвокатом, который, вероятно, задержит его до ночи; поэтому он довез меня до отеля «Плаза», где снял мне номер, и оставил, обещая завтра утром повидаться со мной. И «вот я один», — как сказал Гамлет. В этот вечер я долго гулял по улицам Нью-Йорка, заглядывая в витрины магазинов, и подолгу, без всякой цели, стоял на перекрестках. Что со мной происходит? Казалось бы, я достиг апогея славы. И вот я, шикарно одетый молодой человек, стою на перекрестке, а пойти мне некуда. Как знакомятся с интересными людьми? Все меня знают, а я никого не знаю. Я заглянул к себе в душу, и мне стало жаль себя — меня охватила грусть. Я вспомнил, как однажды, кистоуновский комик, достигший большого успеха, сказал мне: «Ну что ж, Чарли, теперь, когда мы его

добились, скажи, чего все это стоит?» «А чего мы добились?» — в свою очередь спросил я.

Я вспомнил совет Ната Гудвина: «Держитесь подальше от Бродвея». Для меня Бродвей пока еще был пустыней. Я подумал о старых друзьях, которых теперь мне, овеванному славой, хотелось бы повидать. А есть ли у меня такие друзья в Нью-Йорке, или в Лондоне, или где бы то ни было? Мне нужны были особые собеседники, может быть, такие, как Хетти Келли. С тех пор как я стал работать в кино, я потерял ее из виду, а было бы забавно узнать, что она теперь обо мне думает.

Хетти жила в Нью-Йорке у своей сестры, миссис Фрэнк Гульд. Я пошел пешком по 5-й авеню, ее сестра жила в доме 834. Я остановился перед их дверью — у меня не хватило мужества позвонить. Но ведь Хетти могла выйти, и мы могли бы случайно встретиться с ней. Я прождал с полчаса, прогуливаясь взад и вперед, но за это время никто не вышел и не вошел в этот дом.

Я дошел до ресторана Чайлда на Колумбус-сэркл, заказал пшеничные лепешки и чашку кофе. Официантка отнеслась ко мне довольно невнимательно, но в ту минуту, когда я попросил ее принести добавочную порцию масла, она вдруг узнала меня, и тут уже суматоха пошла по законам цепной реакции — все посетители ресторана, все повара и судомойки стали глазеть на меня. В конце концов мне пришлось пробиваться к выходу сквозь толпы народа, собравшиеся в зале ресторана и на улице, и удрать, вскочив в проходившее мимо такси.

Два дня я бродил по Нью-Йорку, не встретив ни одного знакомого. Настроение мое колебалось — я то ликовал, то погружался в уныние. За это время страховые врачи успели меня обследовать, и спустя несколько дней Сидней, очень довольный, объявил мне: «Все в порядке!»

Затем последовало торжественное подписание контракта. Меня сфотографировали в момент получения чека на сто пятьдесят тысяч долларов. Вечером я стоял в толпе на Таймс-сквер, когда на световом табло здания, где помещалась редакция газеты «Таймс», побежали буквы: «Чаплин подписывает контракт с «Мючүэл» на 670 000 долларов в год». Я читал это сообщение так, словно оно касалось не меня, а кого-то другого. В моей жизни за это время произошли такие перемены, что я уже потерял способность волноваться.

## XII

Одиночество отталкивает. Оно овевано грустью и не может возбуждать в людях ни интереса, ни симпатии. Человек стыдится своего одиночества. Но в той или иной степени одиночество — удел каждого. Однако меня оно тогда особенно угнетало, потому что у меня, казалось бы, в избытке имелось все необходимое, чтобы обзавестись друзьями — я был молод, богат и знаменит, — и тем не менее я в смущении и полном одиночестве бродил по Нью-Йорку. Я вспоминаю встречу с прелестной Джози Коллинс, звездой английской оперетты, с которой я неожиданно столкнулся на 5-й авеню.

— О, — воскликнула она сердечно, — но почему я вас вижу в одиночестве?

Я почувствовал себя так, словно она уличила меня в каком-то мелком преступлении. Улыбнувшись, я соврал, что иду завтракать с друзьями. А ведь мне так хотелось сказать ей правду, — что мне очень одиноко, и я был бы рад, если б она согласилась со мной позавтракать. Но застенчивость помешала мне это сделать.

В тот же вечер, проходя мимо оперного театра «Метрополитен», я наткнулся на Мориса Геста, зятя Дэвида Беласко<sup>1</sup>, — мне случилось встречаться с ним в Лос-Анжелосе. Гест начинал свою деятельность со спекуляции театральными билетами; в те времена, когда я впервые приехал в Нью-Йорк, это был довольно распространенный бизнес. (Такой спекулянт обычно скупал лучшие места в зале и стоял у театра, продавая их с большой надбавкой.) С головокружительной быстротою Морис сделал карьеру театрального антрепренера, вершиной которой стала великолепная постановка Максом Рейнгардтом «Чуда». Бледное славянского типа лицо Мориса с огромными раскосыми глазами и широким толстогубым ртом представлялось мне грубым изданием портрета Оскара Уайльда. Он был весьма эмоционален, и, когда разговаривал, всегда казалось, что он на вас кричит.

— Где вы пропадаете, черт бы вас побрал? — заорал он и, прежде чем я успел ответить, продолжал: — почему вы мне не позвонили?

Я пробормотал, что просто вышел погулять немного.

— Какого черта! Вы не смеете пребывать в одиночестве! Куда вы направляетесь?

— Никуда в особенности, — ответил я кротко. — Хочу подышать свежим воздухом.

— Вы пойдете со мной, — решительно заявил он, взял меня под руку и потащил за собой; сбежать уже не было никакой возможности. — Я вас познакомлю с настоящими людьми, с какими вам и следует встречаться.

— А куда мы идем? — спросил я уже с некоторым беспокойством.

— Сейчас я вас представлю моему другу Карузо, — ответил Морис.

Все мои протесты оказались тщетными.

— Сегодня утренник, дают «Кармен» с Карузо и Джеральдиной Феррар.

— Но я...

— Только не пугайтесь, ради бога! Карузо — замечательный парень, такой же простой и славный, как вы. Он будет счастлив познакомиться с вами.

Я пытался напомнить Морису, что вышел погулять и мне еще хочется побыть на воздухе.

— Это будет вам полезнее свежего воздуха!

И вскоре, миновав вестибюль «Метрополитен-опера», я уже шел по проходу к двум свободным местам в партере.

— Садитесь, — шепнул Гест. — В антракте я к вам подойду. — И тут же исчез.

Я слышал «Кармен» несколько раз, но сейчас музыка показалась мне незнакомой. Я взглянул на программу: действительно, в среду объявлена «Кармен». Но исполняли другую и тоже знакомую мне арию — мне казалось, из «Риголетто». Я растерялся. Минуты за две до конца появился Гест и тихонько занял свое место рядом со мной.

— Разве это «Кармен»? — прошептал я.

— Конечно, — ответил он, — у вас же есть программа. — И он выхватил ее из моих рук. — Вот видите, — шепнул он, — Карузо и Джеральдина Феррар в «Кармен», в среду утром — тут же все сказано!

Опустился занавес, и Морис потащил меня к боковому выходу, ведущему за кулисы.

Рабочие сцены в мягких шлепанцах поверх сапог передвигали декорации, а я, как в кошмаре, всем мешал по пути. Над всеми остальными возвышался могучий, широкоплечий человек, важный и строгий, с остроконечной бородкой и глазами ищейки, который посмотрел на меня сверху вниз. Он стоял посреди сцены и с озабоченным видом следил за установкой декораций.

— Как поживает мой добрый друг, синьор Гатти-Казацца? — приветствовал его Морис Гест, протягивая руку.

Гатти-Казацца поздоровался, пренебрежительно пожал плечами и пробормотал что-то невнятное. И тут Гест обернулся ко мне:

— Вы правы, сегодня дают «Риголетто», а не «Кармен». Джеральдина Феррар в последнюю минуту позвонила по телефону и сказала, что она простужена. А это Чарли Чаплин, — представил меня Гест. — Хочу познакомить его с Карузо, может быть, это хоть немного развеселит его. Пойдемте с нами. — Но Гатти-Казацца мрачно покачал головой.

— Где его уборная?

Гатти-Казацца подозвал режиссера.

— Он вас проводит.

Я чувствовал, что сейчас не время беспокоить Карузо, и сказал об этом Гесту.

— Не валяйте дурака, — ответил он кратко.

Мы почти ощупью пробирались к уборной певца.

— Кто-то выключил свет, — сказал сопровождавший нас режиссер. — Подождите минуточку, сейчас я найду выключатель.

— Послушайте, — сказал Гест, — меня там ждут, я должен бежать.

— Но вы же не бросите меня? — испугался я.

— Не волнуйтесь, все будет в порядке.

И прежде чем я успел что-нибудь сказать, он оставил меня одного в кромешной тьме. Режиссер чиркнул спичкой.

— Здесь, — сказал он и легонько постучал в дверь. Из-за двери послышался гневный голос, что-то прорывавший по-итальянски. Мой спутник в ответ, тоже по-итальянски, сказал какую-то фразу, кончавшуюся словами «Чарли Чаплин». В ответ послышался новый взрыв.

— Послушайте, — зашептал я, — лучше как-нибудь в другой раз.

— Нет, нет, — ответил он, считая, видимо, своим долгом выполнить данное ему поручение. Дверь слегка приоткрылась, и в щелку выглянул костюмер. Мой спутник обиженным тоном во второй раз пояснил, кто я такой.

— О! — воскликнул костюмер и быстро закрыл дверь. Мгновение спустя дверь снова открылась. — Входите, пожалуйста!

Эта маленькая победа, казалось, воодушевила моего спутника. Мы вошли, Карузо сидел перед зеркалом к нам спиной и наклеивал усы.

— Синьор, — весело сказал режиссер, — я счастлив представить вам Карузо кинематографа, мистера Чарли Чаплина.

Карузо кивнул в зеркало, продолжая наклеивать усы.



В конце концов он встал и, затягивая пояс, стал меня разглядывать.

— Вы пользуетесь большим успехом, а? Много денег зарабатываете?

— Да, — улыбнулся я.

— Вы должны быть очень счастливы.

— Да, конечно. — И тут я взглянул на режиссера.

— Ну вот, — сказал он весело, намекая, что нам пора уходить.

Я встал и, улыбнувшись Карузо, сказал:

— Боюсь пропустить арию тореадора.

— То — «Кармен», а сегодня идет «Риголетто», — возразил Карузо, пожимая мою руку.

— О, да, конечно! Ха-ха!

Я уже наслаждался Нью-Йорком — насколько это было тогда в моих силах — и полагал, что пора уезжать, прежде чем радости Ярмарки тщеславия начнут мне приедаться. К тому же мне не терпелось поскорее начать работу по новому контракту.

Вернувшись в Лос-Анжелос, я поселился на 5-й улице, в отеле «Александрия», самом роскошном во всем городе. Он был построен в стиле рококо; мраморные колонны и хрустальные люстры украшали вестибюль, посреди которого был расстелен легендарный «миллионный ковер» — своеобразная Мекка кинобизнеса, — на котором заключались крупнейшие сделки. «Миллионным» его прозвали еще и потому, что здесь же обычно толпились репортеры, досужие киноболельщики и прочие любители чужой славы и вслух смаковали астрономические цифры чьих-то сделок.

И тем не менее на этом ковре Абрахамсон сумел составить состояние, продавая прокатчикам стандартные картины, которые он снимал задешево: арендовал на время какую-нибудь студию и за гроши нанимал безработных актеров. Называлось это его предприятие «нищие ряды». Покойный Гарри Коон, глава фирмы «Колумбия пикчэрс», тоже начинал свою карьеру в «нищих рядах».

Абрахамсон был реалистом и признавался, что его интересует не столько искусство, сколько деньги. Говорил он с заметным русским акцентом и, ставя картины, бывало, кричал героине:

— Хорошо, теперь вы входите с заднего боку (подразумевая, что актриса входит из глубины сценической площадки), потом подходите к зеркалу и смотрите на себя. «У-у-у! Разве я не красавица!» А теперь покрутитесь здесь метров на семь (подразумевая, что актриса должна импровизировать игру на протяжении семи метров фильма). Обычно его молодые героини обладали роскошным бюстом, щедро показанным в глубоком свободном вырезе. Режиссер приказывал актрисе, стоя прямо перед камерой, наклониться и завязывать шнурок ботинка, либо качать колыбель, либо гладить собаку. Таким путем Абрахамсон заработал два миллиона долларов, после чего благоразумно удалился на покой.

«Миллионный ковер» соблазнил и Сиды Граумана уехать из Сан-Франциско и начать строить в Лос-Анжелосе свои «миллионные» театры. Когда впоследствии Лос-Анжелос начал процветать, стал процветать и Сид. У него было чутье на забавную рекламу, и однажды он удивил Лос-Анжелос, пустив по городу два такси, пассажиры которых, обгоняя друг друга, стреляли из пистолетов холостыми патронами. На багажниках машин были укреплены плакаты: «Смотрите «Преступный мир» в

«миллионном» театре Граумана». Сид был великий выдумщик. Ему пришла в голову фантастическая идея: все голливудские звезды должны были оставить след ноги и ладони на незатвердевшем асфальте тротуара перед его «Китайским театром»; почему-то кинозвезды подчинились. Стало считаться, что это так же почетно, как получить премию «Оскар».

Когда я водворился в отеле «Александрия», портье вручил мне письмо от мисс Мод Фили, знаменитой актрисы, партнерши сэра Генри Ирвинга и Уильяма Джиллета, в котором она приглашала меня на обед, даваемый ею в честь Павловой в отеле «Голливуд» в среду. Конечно, я был очень польщен. Хотя мне не доводилось встречаться с мисс Фили, я повсюду в Лондоне видел ее портреты и, разумеется, восхищался ее красотой.

Во вторник я попросил секретаря позвонить и выяснить, должен ли я быть при черном галстуке или это неофициальный прием?

— А кто говорит? — осведомила мисс Фили.

— Секретарь мистера Чаплина, по поводу обеда у вас, в среду вечером...

Мисс Фили заметно встревожилась.

— О, совсем неофициальный, — сказала она.

Мисс Фили встретила меня на веранде отеля «Голливуд». Она была так же прелестна, как и всегда. Мы просидели с ней не меньше получаса, болтая о всяких пустяках, и я уже нетерпеливо подумывал, когда же явятся остальные гости.

Наконец, она сказала:

— Может быть, мы пойдем пообедаем?

К моему удивлению оказалось, что мы обедаем с ней вдвоем!

Мисс Фили при всем своем обаянии была, однако, очень сдержанна. Она сидела напротив меня, а я смотрел на нее и гадал, что может означать этот неожиданный *tete-a-tete*. В голове у меня уже пробежали всякие проказливые и недостойные мысли, но мисс Фили казалась слишком утонченной для таких легкомысленных подозрений. И все-таки я попытался нащупать, чего, собственно, от меня ожидают.

— Как это приятно, — начал я пылко, — пообедать вот так, наедине!

Она вежливо улыбнулась.

— Давайте придумаем после обеда что-нибудь позабавнее, поедем в ночной клуб или еще куда-нибудь?

На лице мисс Фили промелькнула тень тревоги, она замаялась.

— Очень жаль, но мне надо сегодня пораньше лечь, завтра утром у меня репетиция «Макбета».

Чутье меня обмануло, я был окончательно сбит с толку. К счастью, подали суп, и на некоторое время мы молча занялись едой. Что-то было не так, и мы оба это почувствовали. Мисс Фили нерешительно проговорила:

— Боюсь, что вы проскучали сегодняшний вечер.

— Что вы! Все было просто изумительно, — поспешил я ее заверить.

— Обидно, что вас не было здесь три месяца тому назад, когда я давала обед в честь Павловой, — я знаю, что вы с ней большие друзья. Но вы, к сожалению, были в Нью-Йорке.

— Простите, — сказал я, выхватил из кармана письмо мисс Фили и впервые поглядел на его дату. Затем я передал его ей.

— Вот видите, — рассмеялся я, — я опоздал к обеду всего на три месяца!

Для Лос-Анжелоса 10-е годы были завершением блистательной эры пионеров Запада и магнатов американской промышленности. Я тогда перезнакомился чуть ли не со всеми.

Одним из моих тогдашних знакомых был покойный Уильям А. Кларк, мультимиллионер, железнодорожный магнат и медный король, музыкант-любитель. Ежегодно он жертвовал сто пятьдесят тысяч долларов филармоническому симфоническому оркестру, в котором сам же играл рядовым оркестрантом в группе вторых скрипок.

Скотти из Долины смерти был довольно загадочной личностью; веселый, толстый человек в огромном сомбреро, красной рубашке и рабочих брюках, он за одну ночь проматывал в подвальчиках на Спринг-стрит и ночных клубах тысячи долларов, устраивая там попойки и давая официантам по сто долларов на чай, а затем таинственно исчезал, чтобы появиться через месяц или два и устроить новую попойку. И так год за годом. Никто не знал, откуда у него деньги. Некоторые считали, что у него имеются тайные копи где-то в Долине смерти, пытались даже выследить его, но он всегда ухитрялся скрыться, и никому до сегодняшнего дня так и не удалось узнать его секрета. Незадолго до своей смерти — а умер он в 1940 году — он построил огромный дворец в Долине смерти, среди пустынь, совершенно фантастическое сооружение, стоившее ему больше полумиллиона долларов. Это здание и посейчас там стоит, постепенно разрушаясь под жгучими лучами солнца.

Миссис Крейни-Гэттс из Пасадены владела состоянием в сорок миллионов долларов, но она была ревностной социалисткой и оплачивала защиту в суде многих анархистов, социалистов и членов ИРМ<sup>1</sup>.

В те дни Гленн Кэртис еще работал у Сеннета, показывая фигуры высшего пилотажа, но все его помыслы уже и тогда были направлены на поиски капитала для финансирования тех предприятий, из которых потом была создана знаменитая самолетостроительная фирма Кэртиса.

А.-П. Джианнини руководил в то время двумя маленькими банками, которые позднее развились в самую крупную финансовую организацию Соединенных Штатов — Американский банк.

Говард Хьюз унаследовал крупное состояние своего отца, изобретателя новейшего нефтебура. Но свои миллионы Говард во много крат увеличил, вложив их в самолетостроение. Он был человек с большими странностями — своими огромными промышленными предприятиями он руководил по телефону, сидя в номере третьеразрядного отеля, и на люди почти не показывался. Занимался он по-любительски и кинематографом: сделал несколько удачных фильмов, например «Ангелы преисподней» с покойной Джин Харлоу в главной роли.

В те дни я, как правило, по пятницам ездил смотреть бокс Джека Дойля в Верноне, по понедельникам ходил в театр варьете «Орфеум», а по четвергам — в театр «Мороско». Кроме того, время от времени я посещал симфонические концерты в зале «Клунз филармоник».

Лос-анжелосский клуб «Атлетик» был тогда центром, здесь в часы коктейля собиралось избранное местное общество — дельцы и артисты. Это был словно сеттлмент в иностранном государстве.

В гостинице часто можно было видеть одиноко сидевшего там молодого человека. Это был актер на маленьких ролях, недавно приехавший попытать счастья в Голливуд, но пока не добившийся никакого успеха,— Рудольфо Валентино<sup>1</sup>. Как-то мне представил его другой маленький актер, Джек Гилберт, но после этой встречи я не видел Валентино около года, а он за это время успел стать звездой. Когда мы встретились вновь, он держался несколько недоверчиво до тех пор, пока я не сказал: «За то время, что я вас не видел, вы вошли в стан бессмертных». Он рассмеялся, отбросил свою подозрительность и повел себя очень дружески.

Валентино всю жизнь выглядел грустным. Он ничуть не кичился своим успехом — он почти тяготился им. Умный, спокойный, совершенно лишенный тщеславия, он очень нравился женщинам. Но ему с ними не везло — женщины, на которых он женился, вели себя подло. Одна из его жен вскоре после свадьбы завела роман с фотографом, с которым она часто исчезала в темной проявочной. Ни одного мужчину так не любили женщины, как Валентино, и ни одного мужчину они так не обманывали.

Теперь мне предстояло выполнять условия нового контракта на шестьсот семьдесят тысяч долларов. Уполномоченный фирмы «Мючуэл филм корпорейшн» мистер Колфилд арендовал студию в самом центре Голливуда. Я чувствовал себя уверенно, начиная работать с группой опытных актеров, среди которых были Эдна Первиэнс, Эрик Кемпбелл<sup>2</sup>, Генри Бергман<sup>3</sup>, Альберт Остин<sup>4</sup>, Ллойд Бэкон<sup>5</sup>, Джон Рэнд<sup>6</sup>, Фрэнк Джо Колеман<sup>7</sup> и Лео Уайт<sup>8</sup>.

Моя первая картина «Контролер универмага», к счастью, имела большой успех. Погоню в универмаге я снимал на эскалаторе. Когда Сеннетт увидел фильм, он схватился за голову: «И как это мы, черт возьми, ни разу не подумали об эскалаторе?»

Вскоре я уже втянулся в работу и каждый месяц выпускал комедию в двух частях. За «Контролером универмага» последовали «Пожарный», «Скиталец», «В час ночи», «Граф», «Лавка ростовщика», «За экраном», «Ринк», «Тихая улица», «Лечение», «Иммигрант», «Искатель приключений». Эти двенадцать картин заняли у меня в общей сложности около шестнадцати месяцев, включая простои из-за болезней актеров и всякие другие задержки.

Но иногда что-то заедало, и мне не удавалось справиться с каким-либо сюжетным положением. В таких случаях я прекращал работу и начинал мучительно думать, меряя шагами уборную, либо сидя часами перед декорацией в поисках решения. В этих случаях мне страшно мешали вопросительные взгляды представителей дирекции или актеров — ведь фирма «Мючуэл» оплачивала расходы по производству, и мистер Колфилд обязан был следить, чтобы не было простоев.

Я видел, как он проходит по павильону и даже на расстоянии по его силуэту понимал, о чем он думает, — ничего еще не сделано, а расходы все растут. И тогда, не церемонясь, я давал понять, что, когда мне хочется подумать, я не терплю, чтобы около меня кто-то вертелся, да еще выражал нетерпение.

В конце такого бесплодного дня мистер Колфилд непременно как бы невзначай встречал меня у выхода и с притворным равнодушием спрашивал:

— Ну, как подвигается картинка?

— Паршиво! Я выдохся. Ничего не могу придумать.

Тут он издавал какой-то хриплый звук, долженствовавший изобразить смех.

— Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Но иногда решение приходило именно в конце дня, когда я впадал в отчаяние, перебрав десятки вариантов и от всех отказавшись. Вот тут-то мне вдруг все становилось ясным, словно с мраморного пола сметали пыль и открывалась та прекрасная мозаика, которую я так долго искал. Уныние рассеивалось, и работа закипала. Мистер Колфилд смеялся уже по-настоящему.

Ни один актер из моей группы ни разу не получил травмы во время съемок. Все драки тщательно репетировались, как хореографический номер. Пощечины никогда не бывали настоящими. Какой бы дикой ни представлялась свалка, на самом деле каждый ее участник знал, что и когда он должен делать. Травмы в кино непростительны, поскольку и драку, и землетрясение, и кораблекрушение, и любую катастрофу можно подделать с полной убедительностью.

За все время у нас произошел только один несчастный случай. В одном из эпизодов «Тихой улицы», когда я нахлобучивал уличный фонарь на голову хулигана, чтобы отравить его газом, крышка фонаря отломилась и острый металлический край поранил мне переносицу так, что пришлось наложить два шва.

Пожалуй, работа в «Мючуэл» была самым счастливым периодом моей творческой жизни. Мне было двадцать семь лет, меня не обременяли никакие заботы, а будущее сулило быть сказочным. Скоро я должен был стать миллионером — все это чуть-чуть смахивало на бред. Деньги лились рекой. Десять тысяч долларов, которые я получал каждую неделю, собирались в сотни тысяч. Только что у меня было четыреста тысяч, а теперь уже полмиллиона; я никак не мог в это поверить.

Мэксин Эллиот, приятельница Дж.-П. Моргана, как-то сказала мне: «Деньги хороши тем, что о них можно забыть». Я же скажу, что о них неплохо и помнить.

Бесспорно, успех меняет в жизни человека все. Когда меня с кем-нибудь знакомили, новый собеседник неизменно смотрел на меня с огромным интересом. Хотя я был всего только выскочка, мое мнение приобрело большой вес. Случайные знакомые всегда готовы были предложить мне горячую дружбу и делить со мной все тяготы и тревоги, как самые близкие родственники. Это было очень лестно, но это было не по мне. Друзья, как и музыка, нужны мне только в определенном настроении. Правда, за такую свободу приходилось иногда расплачиваться одиночеством.

В один прекрасный день, когда уже почти истекал срок моего контракта с «Мючуэл», ко мне в спальню, в клубе «Атлетик», ворвался Сидней и весело объявил:

— Ну, Чарли, теперь ты миллионер! Я договорился с «Фёрст нейшнл»<sup>1</sup>. Ты сделаешь для них восемь комедий в двух частях за миллион двести тысяч долларов!

Я только что вылез из ванны и расхаживал по комнате, препоясав чресла мохнатым полотенцем и наигрывая на скрипке «Сказки Гофмана».

— Что же, по-моему, это замечательно.

Сидней расхохотался.

— Это я непременно запечатлею в своих мемуарах: голый, с одним полотенцем на бедрах, ты играешь на скрипке и с полным равнодушием выслушиваешь известие о том, что я подписал за тебя контракт на миллион с четвертью!

Готов признать, что я чуть-чуть позировал, — но ведь эти деньги еще нужно было заработать.

Перспективы такого богатства не изменили моего образа жизни. Я уже начинал привыкать к богатству, но еще не научился им пользоваться. Деньги казались мне каким-

то символом в цифрах — ведь я ни разу не видел их воочию. Необходимо было что-нибудь сделать, чтобы поверить в их существование. Поэтому я обзавелся секретарем, лакеем, автомобилем и шофером. Проходя как-то мимо демонстрационного зала автомобилей, я увидел семиместный «локомотив», который в то время считался в Америке лучшей машиной. Но он был слишком великолепен и слишком элегантен, чтобы можно было вообразить, что он продается. Тем не менее я вошел в магазин и спросил:

— Сколько?

— Четыре тысячи девятьсот долларов.

— Заверните, — сказал я.

Приказчик был потрясен и попытался, хотя и слабо, оказать сопротивление моей поспешности.

— Может быть, вы сначала проверите мотор? — спросил он.

— А зачем? Я все равно ничего в них не смыслю, — ответил я, но тем не менее потыкал большим пальцем в шину, чтобы не казаться совсем уж профаном.

Вся операция была очень проста: мне оставалось только подписать свое имя на листке бумаги — и машина уже стала моей.

### XIII

В то время мою студию часто посещали знаменитости — Мельба, Леопольд Годовский и Падеревский, Нижинский и Павлова.

В Падеревском было много обаяния, и вместе с тем в нем был и какой-то оттенок мешанства, может быть, в чрезмерной важности, с какой он держался. Длинные волосы, сурово отвисающие усы и маленькая эспаньолка под нижней губой — несомненный признак тайного тщеславия — были весьма внушительны. Но во время его концертов, когда потухал свет, воцарялась строгая, даже благоговейная тишина, и Падеревский уже собирался сесть за рояль, я всегда боялся, что вот сейчас, в последнюю минуту, кто-то выдернет из-под него стул.

Во время войны я встретился с ним в Нью-Йорке, в отеле «Ритц», и, очень обрадовавшись, спросил, не собирается ли он дать концерт. С величавостью папы римского он мне ответил: «Когда я нахожусь на службе моей родины, я не даю концертов».

Падеревский был в то время премьер-министром Польши. Но, думается, прав был Клемансо, который во время конференции, обсуждавшей условия злополучного Версальского мира, сказал ему:

— Как это случилось, что такой талантливый артист, как вы, мог пасть так низко, чтобы стать политиком?!

С другой стороны, великий пианист Леопольд Годовский, небольшого роста человек с круглым, улыбающимся лицом, был всегда прост и весел. Дав в Лос-Анжелосе концерт, он решил там поселиться, снял в аренду дом, и я стал довольно частым его гостем. По воскресеньям мне позволялось слушать, как он упражняется, и я видел, с какой исключительной легкостью его необыкновенно маленькие руки преодолевали все трудности техники.

Нижинский пришел на студию вместе с другими русскими танцорами и балеринами. Серьезный, удивительно красивый, со слегка выступающими скулами и грустными глазами, он чем-то напоминал монаха, надевшего мирское платье. Мы тогда снимали «Лечение». Он сел позади камеры и, ни разу не улыбнувшись, смотрел, как я снимаюсь в эпизоде, который мне казался очень смешным. Остальные зрители смеялись, но лицо Нижинского становилось все грустнее и грустнее. На прощанье он пожал мне руку и, сказав своим глуховатым голосом, что моя игра доставила ему большое наслаждение, попросил разрешения прийти еще раз.

— Разумеется, — ответил я.

Еще два дня он все с тем же мрачным лицом наблюдал за моей игрой. На второй день я велел оператору не заряжать камеру — унылый вид Нижинского действовал столь угнетающе, что у меня ничего не получалось. Тем не менее после «съемки» он похвалил меня.

— Ваша комедия — это балет, — сказал он. — Вы прирожденный танцор.

Я тогда еще не видел русского балета, да и никакого другого вообще. И вот в конце недели меня пригласили на утренник. В театре меня встретил Дягилев, полный жизни, влюбленный в свое искусство человек. Он извинился за то, что в программу не входят балеты, которые, по его мнению, доставили бы мне наибольшее удовольствие.

— Обидно, что сегодня мы не даем «Послеполуденный отдых фавна», — сокрушался он. — Мне кажется, эта вещь в вашем вкусе.

И вдруг, быстро обернувшись к режиссеру, добавил:

— Скажите Нижинскому, что после антракта мы покажем Шарло «Фавна».

Первым шел балет «Шехеразада». Он оставил меня довольно равнодушным — тут было слишком много пантомимы и слишком мало танца, а музыка Римского-Корсакова показалась мне однообразной. Но следующим номером было па-де-де с Нижинским. В первую же минуту его появления на сцене меня охватило величайшее волнение. В жизни я встречал мало гениев, и одним из них был Нижинский. Он зачаровывал, он был божествен, его таинственная мрачность как бы шла от миров иных. Каждое его движение — это была поэзия, каждый прыжок — полет в страну фантазии.

Нижинский попросил Дягилева привести меня в антракте к нему в уборную. Но я был не в силах говорить. Нельзя же в самом деле, заламывая руки, пытаться выразить в словах восторг перед великим искусством. Я сидел молча, глядя на отражавшееся в зеркале странное лицо, пока Нижинский гримировался фавном, рисуя на щеках зеленые круги. Он неловко пытался завязать разговор и задавал мне какие-то пустые вопросы о моих фильмах, на которые я мог отвечать лишь односложно. Раздался звонок, возвещавший об окончании антракта, и я сказал, что мне пора возвращаться в зал.

— Нет, нет, подождите, — возразил он.

В дверь постучали.

— Мистер Нижинский, увертюра уже кончилась.

Я встревожился.

— Ничего, — ответил Нижинский, — времени еще много.

Это меня поразило, я не мог понять его поведения.

— По-моему, пора уходить.

— Нет, нет, пусть еще раз сыграют увертюру.

Но тут в уборную ворвался Дягилев.

— Скорей, скорей! Публика аплодирует!

— Пусть подождут, мне здесь гораздо интереснее, — сказал Нижинский и продолжал расспрашивать меня о пустяках.

— Право, мне надо вернуться на свое место, — сказал я, наконец, совсем смутившись.

Никто не мог сравниться с Нижинским в «Послеполуденном отдыхе фавна». Несколькими простыми движениями, без видимых усилий, он создавал таинственный и страшный мир, таившийся в пасторальном пейзаже, в котором трагически метался его пылкий и печальный бог.

Спустя полгода Нижинский сошел с ума. Какие-то симптомы заболевания можно было заметить уже и в тот вечер в его уборной, когда он заставил публику ждать. Я случайно явился свидетелем того, как эта болезненно тонкая душа, не выдержав, ушла из жестокого, раздираемого войной мира в иной мир — в мир ее собственной мечты.

Высочайшее совершенство — редкость в любой области искусства. К немногим художникам, достигшим его, принадлежала и Павлова. Ее танец я никогда не мог смотреть равнодушно. В ее искусстве, при всей ее блестящей технике, была какая-то светлая сияющая нежность, напоминавшая лепесток белой розы. Каждое ее движение притягивало. Когда Павлова появлялась на сцене, мне всегда хотелось плакать, как бы она ни была весела и обаятельна, ибо для меня она олицетворяла трагедию совершенства в искусстве.

Я познакомился с «Пав», как ее называли друзья, во время ее пребывания в Голливуде, где она снималась в студии «Юниверсал». Мы подружились. Невыносимо жаль, что камеры старого типа не были в состоянии воспроизвести лиризм ее танца, и ее великое искусство не сохранилось для мира.

Как-то русское консульство давало обед в честь Павловой, на который был приглашен и я. Банкет был весьма официальный. Тосты произносились на французском и на русском языках. Если не ошибаюсь, из англичан только меня попросили произнести спич. Однако передо мной некий профессор расточал Павловой страстные похвалы по-русски. Кончил же он тем, что расплакался, подошел к Павловой и горячо ее поцеловал. Я почувствовал, что мне его никак не превзойти в красноречии, и, встав, заявил, что английский язык слишком беден, чтобы выразить все величие искусства Павловой, и потому я буду говорить по-китайски. И начал бормотать что-то с китайским акцентом, приходя, как и профессор, все в больший раж. Я заключил свою речь тоже поцелуем, но гораздо более пылким, укрыв наши головы салфеткой от посторонних взоров. Присутствующие разразились хохотом, и это разрядило торжественную строгость обстановки.

В «Орфеуме» тогда играла Сара Бернар. Она была, разумеется, уже очень стара — это был закат ее артистической карьеры, и я не могу по-настоящему судить об ее игре. Но когда в Лос-Анжелос приехала Дузе, блеск ее гения не могли затмить ни возраст, ни близость конца. Она привезла с собой великолепную итальянскую труппу. До ее выхода в спектакле превосходно играл очень красивый молодой актер, полностью овладев вниманием зрительного зала. Я даже усомнился, сумеет ли Дузе превзойти его.

Но вот в глубине сцены слева незаметно появилась Дузе. Она остановилась возле вазы с белыми хризантемами, стоявшей на рояле, и начала перебирать цветы. Зал всколыхнулся, и я, сразу забыв про молодого актера, видел только Дузе. Не глядя ни на молодого человека, ни на других персонажей, она продолжала неторопливо подбирать



букет, добавляя к нему те цветы, которые принесла с собой. Затем она медленно пересекла по диагонали всю сцену, опустилась в кресло у камина и стала смотреть на огонь. Один раз, только один раз она взглянула на молодого человека, и в этом взгляде была вся мудрость и вся боль человечества. Потом она продолжала слушать, грея у огня руки, — прекрасные, необыкновенно выразительные руки.

Выслушав его бурную речь, Дузе, не отводя глаз от огня, спокойно произнесла несколько слов. В ее игре нельзя было заметить никаких актерских приемов, ее голос, казалось, звучал уже догоравшей трагической страстью. Я не понимал ни слова, но чувствовал, что передо мной самая великая актриса, какую мне когда-либо доводилось видеть.

Кинокомпания «Трайэнгл» пригласила Констанс Коллиер, партнершу сэра Герберта Бирбома Три, сыграть леди Макбет вместе с сэром Гербертом. Еще мальчиком я много раз с галерки Королевского театра восхищенно следил за ее замечательной игрой в «Вечном городе» и исполнением роли Нэнси в «Оливере Твисте». Разумеется, я очень обрадовался, когда в кафе Леви получил любезную записку: мисс Коллиер была бы рада познакомиться со мной и приглашает меня пересесть за ее столик. С этого вечера мы стали большими друзьями. Это была добрая душа, очень теплое и жизнерадостное создание. Констанс искренне радовалась, если ей удавалось сдружить между собой людей. Ей ужасно хотелось познакомить меня с сэром Гербертом и еще с неким молодым человеком по имени Дуглас Фербенкс<sup>1</sup>, — по ее словам, у нас с ним было много общего.

Сэр Герберт был, по-моему, главой английского театра и самым тонким его актером. Созданные им образы столько же говорили уму, сколько и сердцу зрителя. Его Феджин в «Оливере Твисте» был и смешон и страшен. Без особых усилий он мог создавать почти нестерпимое напряжение. Стоило ему лишь легонько и как бы шутя ткнуть Ловкого Плута вертелом — и зрителя охватывал ужас. Решение образа у Три всегда было блистательно — примером тому был его смешной Свенгали. Он заставлял поверить в этого нелепого человека, наделяя его не только комическими чертами, но и поэтичностью. Критики упрекали Три в некоторой манерности; это справедливо, но он и ее превосходно использовал. Его игра была всегда удивительно современной. В «Юлии Цезаре» его герой был мыслящим человеком. В сцене похорон, вместо того чтобы обратиться, как принято, к толпе со страстной речью, его Марк Антоний говорил, не удостаивая своим вниманием людей, горько, насмешливо и презрительно.

Мальчишкой лет четырнадцати я видел сэра Герберта Три почти во всех его ролях, и, когда Констанс устроила небольшой обед, на котором должны были быть сэр Герберт и его дочь Айрис, я очень обрадовался. Мы условились встретиться в отеле «Александрия», в номере сэра Герберта. Я сознательно пришел немного попозже, надеясь, что Констанс уже будет там и избавит меня от неловкости первых минут знакомства. Но когда я вошел в комнату сэра Герберта, оказалось, что кроме него там был лишь его кинорежиссер, Джон Эмерсон.

— Входите, входите, Чаплин, — приветливо пригласил меня сэр Герберт. — Я так много слышал о вас от Констанс!

Он познакомил меня с Эмерсоном и объяснил, что они обсуждали предстоящую постановку «Макбета». Вскоре Эмерсон ушел, и тут я сразу оцепенел от робости.

— Извините, что заставил вас подождать, — сказал сэр Герберт, усаживаясь в кресло напротив меня. — Мы обдумывали с Эмерсоном сцену ведьм.

— О-о-о... — запинаясь, выдавил я.

— Мне кажется, это может быть довольно эффектно, если повесить газ на воздушные шары и пустить их летать по сцене. Как вы считаете?

— О-о-о... чудесно!

Сэр Герберт умолк и внимательно посмотрел на меня.

— Вы пользуетесь феноменальным успехом, неправда ли?

— Ну что вы, — виновато пробормотал я.

— Но вас же знают во всем мире! В Англии и Франции солдаты даже песни поют о вас.

— Неужели? — я сделал вид, будто первый раз об этом слышу.

Он поглядел на меня с сомнением и даже некоторой опаской и встал.

— Констанс опаздывает. Пойду, позвоню ей и выясню, в чем дело. А покамест познакомьтесь с моей дочерью Айрис, — сказал он, выходя из комнаты.

Я почувствовал облегчение: я представлял себе, что сейчас войдет девчурка, с которой я запросто смогу, как с равной, потолковать о школе и кинокартинах. А тут в комнату вошла высокая молодая девушка с длинным мундштуком в зубах и заговорила низким звучным голосом:

— Здравствуйте, мистер Чаплин! Наверно, я единственный человек на свете, который еще не видел вас на экране.

Я улыбнулся в ответ и поклонился.

Айрис, со своими коротко стриженными светлыми волосами, вздернутым носиком и светло-голубыми глазами, была истое дитя Скандинавии. Она была очень миловидна и, хотя ей едва исполнилось восемнадцать лет, стремилась казаться весьма искусенной в житейских делах и в искусстве — когда ей было пятнадцать лет вышел первый сборничек ее стихов.

— Констанс так много говорит о вас, — заметила она.

Я улыбнулся и снова кивнул.

Наконец вернулся сэр Герберт и объявил, что Констанс не сможет приехать — ее задержала примерка костюмов, — и нам придется обедать без нее.

Боже милостивый! Как же я вынесу этот вечер с совершенно незнакомыми мне людьми? Эта мысль жгла мой мозг. Мы молча вышли из номера, молча вошли в лифт, так же молча проследовали в зал ресторана и сели за столик, словно только что вернулись с похорон.

Бедный сэр Герберт и Айрис изо всех сил старались поддерживать разговор. Но вскоре девушка сдалась и сидела, молча и пристально разглядывая ресторан. Хоть бы скорей подали еду, — думал я, — может быть, это расслабит мою мучительную скованность... Отец и дочь еще немного поговорили о юге Франции, о Риме и Зальцбурге, спросили, не приходилось ли и мне там бывать? Видел ли я когда-нибудь постановки Макса Рейнгардта?

Я виновато покачал головой.

Три пристально поглядел на меня.

— А вам, знаете ли, было бы полезно попутешествовать!

Я сказал, что у меня не было на это времени, и добавил: — Видите ли, сэр Герберт, мой успех был так неожидан, что я попросту не успел с ним освоиться. Но еще

мальчиком, лет четырнадцати, я видел вас в ролях Свенгали, Феджина, Антония, Фальстафа и даже не по одному, а по многу раз. С тех пор вы стали моим кумиром. Я никогда не мог себе представить вас, существующим вне сцены. Вы были для меня мифом. И то, что я сегодня вдруг обедаю с вами в Лос-Анжелосе, совершенно естественно, до глубины души потрясло меня.

Три был тронут.

— В самом деле? — повторял он. — В самом деле?

С этого вечера мы стали с ним добрыми друзьями. Время от времени он звонил мне, и мы втроем, Айрис, сэр Герберт и я, отправлялись обедать. Иногда к нам присоединялась и Констанс, мы шли в ресторан «Виктор Гюго» и за кофе долго сидели, слушая сентиментальную камерную музыку.

Констанс часто говорила мне о Дугласе Фербенксе, о том, какой это милый и одаренный человек, и хвалила его как блестящего застольного собеседника. В то время я недолюбливал блестящих молодых людей, в частности, застольных собеседников. Тем не менее она добилась от меня согласия пообедать у Фербенкса.

И Дуглас и я не раз рассказывали историю нашей первой встречи. В назначенный день я попытался увернуться и заявил Констанс, что плохо себя чувствую, но она и слушать не хотела никаких отговорок. Тогда я решил, что сошлюсь на головную боль и уйду как можно раньше. Фербенкс рассказывал, что ему тоже было не по себе, и едва раздался звонок, он сбежал вниз, в бильярдную, и начал гонять шары. Эта встреча положила начало дружбе, длившейся всю жизнь.

Дуглас недаром пленял воображение зрителей и заслужил их горячую любовь. Весь дух его картин, их оптимизм, неизменная удачливость героя отвечали вкусу американцев, да и зрителей всего мира. Он обладал удивительным обаянием и мальчишеской способностью увлекаться, заражая ею публику. Когда я узнал его поближе, меня особенно подкупила его обезоруживающая честность — Дуглас признавался, что по натуре он сноб и его тянет к знаменитостям.

Хотя сам Дуг пользовался невероятной популярностью, это не мешало ему искренне хвалить чужой талант и очень скромно отзываться о своем. Он часто повторял, что Мэри Пикфорд и я гениальны, а его дарование очень невелико. Конечно, это не соответствовало истине, Дуглас был очень творческим человеком и умел работать с размахом.

Он построил для «Робин Гуда» декорацию на территории в десять акров — замок с огромным крепостным валом и подъемными мостами, которые были куда больше реальных подъемных мостов. С великой гордостью Дуглас показал мне эту чудовищную механику.

— Великолепно, — заявил я. — Отличная декорация для начала какой-нибудь моей комедии: мост опускается, я выпускаю погулять кошку и забираю бутылки, которые оставил молочник.

У Дугласа было множество друзей из самых разных слоев общества, начиная от ковбоев и кончая королями, — и в каждом он находил что-то интересное для себя. Особенно ценил Дуглас своего приятеля Чарли Мака, весьма бойкого и речистого ковбоя, который всегда умел его рассмешить. Иногда во время обеда в двери внезапно возникал Мак и провозглашал:

— А у вас тут неплохо, Дуг! — Затем, обеда взглядом столовую, добавлял: — Только вот камин далековато от стола — не доплюнешь.

Потом, присев на корточки у стены, он рассказывал нам о том, как жена подала в суд иск о разводе, ссылаясь на его жестокое обращение.

— А я говорю: «Ваша честь, да у этой женщины в одном мизинце побольше жестокости, чем у меня во всем теле. А уж револьвера эта баба прямо из рук не выпускает. Вы только посмотрите, наше старое дерево прямо насквозь светится, это она его так изрешетила, пока я за ним прятался».

Я подозревал, что, прежде чем идти к Дугу, Чарли все это старательно репетировал.

Дуглас жил в бывшем охотничьем домике — довольно уродливом двухэтажном здании, расположенном среди тогда еще пустынных, заросших кустарником холмов Беверли. От кислото-горького запаха полыни и солончаков во рту появлялась неприятная сухость.

В те дни Беверли-хилс напоминал заброшенный строительный участок. Тротуары обрывались на пустырях, матовые шары фонарей украшали безлюдные улицы. Многих шаров не хватало — они были разбиты завсегдатаями ближайших пивных.

Дуглас Фербенкс поселился в Беверли-хилс первым из кинозвезд. Он часто приглашал меня к себе на субботу и воскресенье. По ночам в мою спальню доносился вой койотов, которые стаями рылись в помойках. В этом вое было что-то жуткое, казалось, в воздухе стоит звон неведомо откуда взявшихся колокольцев.

У Дугласа всегда жило несколько приятелей: Том Джерати, его сценарист, силач Карл, бывший олимпийский чемпион, два-три ковбоя. Том, Дуг и я стали чем-то вроде «трех мушкетеров».

По воскресеньям Дуг поднимал нас до света, и мы отправлялись верхом в горы встречать зарю. Ковбои привязывали лошадей, разводили костер и готовили завтрак — кофе и оладьи с беконом. Любуясь восходом, Дуг не скупился на лирические тирады, а я, наоборот, ворчал, что мне не дали выспаться и что зарю стоит встречать только в обществе хорошенькой женщины. Тем не менее в этих ранних прогулках была своя романтика. Дуглас был единственным человеком в мире, которому удалось заставить меня ездить верхом. Я утверждал, что лошадь слишком опозтизирована, на деле же — это животное с подлым и вредным характером и вовсе не такое уж умное.

В то время Дуг только что разошелся со своей первой женой. По вечерам он приглашал к обеду друзей, в том числе и Мэри Пикфорд, в которую был отчаянно влюблен. Но оба они вели себя, как перепуганные кролики. Я советовал им ни в коем случае не жениться, а просто сойтись, чтобы излечиться от страсти, но они никак не могли согласиться с моими идеями, не принятыми в обществе. Я так возражал против их брака, что, когда они наконец поженились, на свадьбу пригласили всех друзей, кроме меня.

В те дни мы с Дугласом любили пофилософствовать: я разглагольствовал о тщетности жизни, а Дуглас утверждал, что людские судьбы предопределены свыше и наделены таинственным значением. Когда Дуглас впадал в мистическое настроение, я немедленно превращался в насмешливого скептика. Помню, как однажды, в теплый летний вечер, мы с ним взобрались на большую цистерну для воды и болтали, созерцая дикий и величавый ландшафт Беверли. Таинственно мерцали звезды, луна светила вовсю, и я заявил, что жизнь не имеет никакого смысла.

— Взгляни, — горячо воскликнул Дуглас, широким жестом: указывая на небо. — Луна! И эти мириады звезд! Ведь во всей этой красоте должен быть какой-то смысл! Должно быть какое-то свое предназначение! И ты и я — тоже часть этой красоты.

Тут его озарила новая мысль, и он обернулся ко мне:

— Зачем же тебе дан талант и для чего существует кино — чудеснейший посредник между артистом и миллионами зрителей во всем мире?

— Зачем оно отдано на волю Луи Майера и братьев Уорнер?!<sup>1</sup> — возразил я.

Дуглас весело рассмеялся.

Он был неисправимым романтиком. Случалось, что в три часа ночи, когда я спал крепким сном, меня вдруг будили звуки музыки, и я видел в тумане на лужайке гавайский оркестр, исполнявший серенаду в честь Мэри. Это было очень мило, но испытывать восторг от этой ночной музыки могли только те, кому она предназначалась. Однако в подобном мальчишестве и заключалась тайна обаяния Дугласа.

Он, например, любил сажать на заднее сиденье своего открытого «кадиллака» овчарку или добермана. Такие выходки доставляли ему искреннее удовольствие.

Голливуд очень быстро стал Меккой писателей, актеров и интеллигенции. Сюда отовсюду съезжались знаменитые писатели — сэр Гилберт Паркер, Уильям Локк, Рекс Бич, Джозеф Хергесхаймер, Сомерсет Моэм, Гавернер Моррис, Ибаньес, Элинор Глин, Эдит Уортон, Кэтлин Норрис и многие другие.

Сомерсет Моэм никогда не работал в Голливуде, хотя на его произведения был большой спрос. Он провел там несколько недель до своего отъезда на тихоокеанские острова, где он создал чудесную книгу рассказов. За обедом Моэм рассказал нам с Дугласом историю Сэди Томпсон, — по его словам, это был реальный случай. Впоследствии он положил ее в основу пьесы «Дождь», которую я всегда считал образцом драматургии. Преподобный Дэвидсон и его жена сделаны изумительно, еще интереснее самой Сэди Томпсон. Как великолепен был бы Три в роли Дэвидсона! Он бы сыграл его мягким и безжалостным, вкрадчивым и страшным.

Все это общество размещалось в скверной, смахивавшей на сарай гостинице, носившей громкое название «Отель Голливуд». Сие заведение, неожиданно ставшее фешенебельным, чем-то напоминало деревенскую девушку, которая и сама не может опомниться от того, что ей на голову неожиданно свалилось наследство. Номера там были нарасхват — это объяснялось тем, что дорога от Лос-Анжелоса до Голливуда была в те дни почти непроезжей, а литературные знаменитости непременно хотели жить поблизости от студий. Однако чувствовали они себя там неудобно, словно ошиблись адресом.

Элинор Глин занимала в этом отеле два номера, превратив один из них в гостиную; она покрыла подушки какой-то неяркой тканью и разбросала их по кровати — получилось нечто вроде дивана. Здесь она принимала гостей.

Впервые я познакомился с Элинор, когда она пригласила меня на обед в числе десяти гостей. Мы должны были встретиться у нее в номере, выпить коктейль, а затем спуститься в ресторан. Я пришел первым.

— А, — сказала она, приподымая обеими руками мой подбородок и внимательно глядя в мое лицо, — позвольте мне хорошенько поглядеть на вас. Это же необыкновенно! Я была уверена, что у вас карие глаза, а, оказывается, они совсем голубые!

Она показалась мне несколько экзальтированной, но вскоре я очень привязался к ней.

Несмотря на то, что Элино́р, несомненно, была столпом английской респектабельности, своим романом «Три недели» она потрясла читателей эпохи короля Эдуарда. У героя этого произведения, хорошо воспитанного молодого англичанина Пола, любовная связь с королевой — это ее последний рывок к счастью перед тем, как выйти замуж за старого короля. Впоследствии маленький кронпринц несомненно окажется сыном Пола.

В ожидании гостей Элино́р повела меня в другую комнату, на стенах которой были развешаны портреты молодых английских офицеров времен первой мировой войны. С широким жестом в их сторону она пояснила:

— Это все мои Полы.

Элино́р была страстно увлечена оккультизмом. Помню, как однажды вечером Мэри Пикфорд пожаловалась на усталость и бессонницу. Мы все сидели в спальне Мэри.

— Покажите мне, где у вас север, — скомандовала Элино́р. Затем она осторожно положила палец на бровь Мэри и стала повторять: «Она спит глубоким сном!». Мы с Дугласом подкрались поближе и стали смотреть на Мэри — у нее трепетали ресницы. Мэри потом признавалась, что ей пришлось терпеть эту муку больше часа, делая вид, что она спит, потому что Элино́р продолжала неотступно следить за ней.

У Элино́р была репутация очень эксцентричной особы, на самом же деле трудно было бы найти более степенную даму. Ее представления о том, как надо показывать в кино любовь, были детскими и весьма наивными: женщина у нее лишь ресницами касалась щеки своего возлюбленного и с томным видом возлежала на тигровых шкурах.

Трилогия, написанная ею для Голливуда, была ужасна. Первая серия называлась «Три недели», вторая — «Его час», а третья — «Ее минута». В «Ее минуте» все было крайне многозначительно. Сюжет строился на том, что прелестная дама, которую играла Глория Свенсон, должна выйти замуж за нелюбимого человека. Они приезжают в тропики, и однажды она одна отправляется верхом в джунгли. Интересуясь ботаникой, она слезает с лошади, чтобы рассмотреть редкий цветок, и в тот момент, когда нагибается, чтобы сорвать его, ее прямо в грудь кусает ядовитая змея. Глория сжимает укушенную грудь и кричит, и тут ее слышит красивый Томми Мейган<sup>1</sup> — человек, которого она действительно любит, — к счастью, он случайно проходил поблизости. Он поспешно продирается сквозь заросли джунглей.

— Что случилось?

Она указывает ему на ядовитое пресмыкающееся.

— Она укусила меня!

— Куда?

Глория указывает на грудь.

— Это самая ядовитая из всех гадюк! — кричит Томми, конечно, имея в виду змею. — Надо немедленно что-то сделать. Нельзя терять ни секунды!

Но они в джунглях, на много миль вокруг нет врача, а обычное средство — жгут, носовой платок, которым туго перетягивают пораженное место, чтобы яд не распространялся по кровеносным сосудам, — тут неприменимо. Томми вдруг подымает ее, разрывает на ней блузку, обнажая сверкающие белизной плечи, заслоняет ее от нескромного ока камеры, наклоняется над ней и губами отсасывает смертельный яд,

сплевывая его то и дело на землю. В результате этой отважной операции прелестная дама выходит за героя замуж.

## XIV

Закончив работу по контракту с фирмой «Мючуэл», я хотел как можно скорее начать съемки для «Фёрст нейшнл», но у нас не было студии. Я решил купить участок в Голливуде и построить студию. На углу улиц Сансет и Ла-Бреа мы нашли хороший десятикомнатный дом с садом в пять акров, где росли лимонные, апельсиновые и персиковые деревья. Мы построили превосходную студию с проясочной, монтажной и всеми другими необходимыми помещениями.

Пока строилась студия, я решил месяц отдохнуть и поехал с Эдной Первиэнс в Гонолулу. В те дни Гавайские острова были прелестны. И все-таки от сознания, что ты живешь там, за две тысячи миль от материка, становилось не по себе. Я был рад расстаться со всеми экзотическими красотами острова — ананасами и сахарным тростником, заморскими фруктами и цветами — и вернуться назад. Я почувствовал легкие приступы клаустрофобии \*, словно был заключен внутри благоухающего цветка.

---

\* — боязнь замкнутого пространства. — *Прим. пер.*

Близость такой прелестной девушки, как Эдна, не могла не тронуть моего сердца — это было неизбежно. По приезде в Лос-Анжелос Эдна сняла квартиру неподалеку от клуба «Атлетик», и я почти каждый вечер водил ее туда обедать. Мы относились друг к другу очень серьезно, и в глубине души у меня таилась мысль, что рано или поздно мы поженимся, но мне хотелось испытать наши чувства временем, я не был уверен в ней, да и в самом себе тоже.

В 1916 году мы с ней были неразлучны — вместе ходили на вечера Красного Креста, на все балы и приемы. Случалось, что Эдна ревновала меня. Выражала она свою ревность довольно тонким и коварным способом. Стоило кому-нибудь выказать мне слишком явное внимание, Эдна сразу исчезала, и мне тотчас же сообщали, что ей стало дурно и она просит меня подойти к ней. Разумеется, я бежал со всех ног и просиживал возле нее остаток вечера. Однажды произошел такой случай: очаровательная хозяйка дома, дававшая в своем саду праздник в мою честь, сначала водила меня от группы к группе, знакомя со светскими красавицами, а в конце концов завела меня в беседку.

И тут же немедленно мне сообщили, что Эдне снова стало дурно. Разумеется, мне льстило, что такая прелестная девушка, как Эдна, приходя в чувство, всегда зовет только меня, но это уже начинало действовать на нервы.

Развязка произошла на вечере у Фанни Уорд <sup>1</sup>, куда была приглашена целая плеяда хорошеньких девушек и красивых молодых людей. Эдне и тут стало дурно, но, придя в себя, она на этот раз позвала не меня, а Томаса Мейгана — высокого, красивого героя-любовника из фирмы «Парамаунт». Я тогда был в полном неведении, мне только на другой день сказала об этом Фанни Уорд, зная, как я отношусь к Эдне, и не желая, чтобы я остался в дураках.

Я возмутился. Я не поверил своим ушам. Гордость моя была уязвлена. Если это правда, — конец всему, что было между нами. Но я не мог так вдруг расстаться с Эдной, в моей жизни образовалась бы слишком большая пустота. Воспоминание о том, чем мы были друг для друга рождало во мне надежду.

На другой день я не мог работать. К вечеру я решил позвонить ей и потребовать объяснений. Я думал, что буду рвать и метать, но лишь только она подняла трубку, возобладало мужское самолюбие, и я с шутливым сарказмом спросил:

— Я слышал, на вечере у Фанни Уорд вы позвали не того, кого нужно? Вам, видимо, стала изменять память.

Эдна рассмеялась, но я почувствовал в ее смехе некоторое смущение.

— О чем вы говорите? — спросила она.

Я надеялся, что она станет горячо отпираться. Но она проявила благоразумие, прежде всего осведомившись, кто мне наговорил всю эту чепуху.

— А не все ли равно, кто сказал? Я надеялся, что я для вас хоть что-то значу, а вы выставили меня дураком всем на посмешище!

Эдна оставалась совершенно спокойной и утверждала, что я просто прислушиваюсь ко всякой лжи.

Мне захотелось обидеть ее, показав свое полное равнодушие.

— Вам незачем притворяться, — сказал я, — вы совершенно свободны делать все, что вам вздумается. Вы мне не жена, и если вы будете так же добросовестно работать, как и раньше, — это все, что и требуется.

Эдна очень мило согласилась со мной — она тоже хотела, чтобы нашей совместной работе ничто не мешало. «Мы всегда можем оставаться добрыми друзьями», — сказала она; при этих словах я почувствовал себя совсем несчастным.

Мы говорили с ней до телефону больше часа, — расстроенный, очень нервничая, я ждал хоть какого-нибудь повода для примирения. И как бывает обычно в таких случаях, мое чувство к ней вновь разгорелось с особой силой, и разговор неожиданно закончился тем, что я пригласил ее пообедать со мной в этот же вечер, под предлогом того, что нам необходимо выяснить отношения.

Она заколебалась, но я так настаивал, вернее, забыв всякую гордость и осторожность, так умолял и заклинал ее, что она в конце концов согласилась. ...В этот вечер мы пообедали яичницей с ветчиной, которую Эдна зажарила у себя дома.

Последовало примирение, и я немного успокоился — по крайней мере на следующий день я смог работать. И все-таки я чувствовал какую-то боль и неясные угрызения совести. Я упрекал себя в том, что по временам бывал к ней невнимателен. Передо мной вставала дилемма: должен ли я окончательно порвать с ней или нет? Может быть, вся эта история с Мейганом была, действительно, ложью?

Недели три спустя она зашла на студию получить свой чек. Я столкнулся с нею у выхода, она была не одна.

— Вы, вероятно, знакомы с Томми Мейганом? — вежливо спросила она. Я был потрясен. В это мгновение Эдна стала мне чужой — будто я ее только сейчас впервые увидел.

— Разумеется, — ответил я. — Здравствуйте, Томми.

Он немного смутился. Мы пожали друг другу руки и, обменявшись несколькими шуточками, расстались — они ушли вдвоем.

Жизнь — это, в сущности, синоним противоречий, — она не дает нам возможности останавливаться. Если перед вами не стоит проблема любви — значит, появится какая-нибудь другая. Успех — замечательная штука, но ему обычно сопутствует напряжение —



как бы не отстать от этой изменчивой нимфы, которая зовется славой. Главное мое утешение всегда было в работе.

Однако писать сценарии, играть и самому ставить фильмы пятьдесят две недели в году — это все-таки требовало невероятных усилий, изнурительного расхода нервной энергии. После каждой картины я чувствовал себя разбитым и вконец измученным — мне необходимо было хотя бы день пролежать в постели.

К вечеру я подымался и в одиночестве шел гулять. Я грустно бродил по городу, рассеянно поглядывая в витрины магазинов. Я не пытался думать в эти минуты — мозг у меня словно цепенел. Но я всегда быстро приходил в себя: обычно уже на следующее утро, пока я ехал на студию, я чувствовал, как ко мне возвращается обычное возбуждение и мозг снова становится активным.

Едва у меня появлялся хотя бы самый неясный намек на идею какого-то фильма, я немедленно заказывал декорации. Художник приходил ко мне уточнять детали, и я, делая вид, что мне все уже ясно, с ходу выдумывал их, давая точные указания, где мне нужны двери и проходы. Так наудачу я начинал не одну комедию.

Но иногда я чувствовал, что напряжение достигало предела и нужна разрядка. Очень полезно было в таких случаях закатиться куда-нибудь на целую ночь. Я никогда не был пристрастен к спиртным напиткам. Когда я работал, у меня был почти суеверный страх перед какими бы то ни было стимуляторами, — я считал, что все они, без исключения, понижают ясность мысли. А ведь ни один вид искусства не требует такой живости ума, какая бывает нужна, когда придумываешь и ставишь кинокомедию.

Я старался, чтобы и романы не мешали моей работе. А когда страсть все-таки прорывалась сквозь преграды, все обычно выходило не слава богу — либо перебор, либо недобор. Но работа всегда была для меня важнее всего. Бальзак говорил, что за ночь любви приходится расплачиваться хорошей страницей. Я тоже считал, что отдаю за нее всякий раз день хорошей работы на студии.

Известная писательница, услышав, что я пишу автобиографию, сказала мне:

— Надеюсь, у вас хватит мужества сказать о себе правду?

Я подумал, что она имеет в виду мои политические убеждения, но оказалось, что речь идет о моих любовных похождениях. Не знаю почему, но от пишущего автобиографию ждут подробной диссертации на тему его чисто физиологических влечений. По-моему, такие сведения мало способствуют пониманию и воссозданию образа человека. В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию.

В моей жизни, как и у всякого человека, были в этом плане какие-то счастливые и довольно безрадостные периоды. Но это никогда не становилось всепоглощающим интересом моей жизни — у меня всегда были творческие интересы, которые захватывали меня гораздо глубже. Во всяком случае, я не собираюсь давать здесь подробный отчет об этой стороне своей жизни: по-моему, она физиологична, нехудожественна и непоэтична. Уж если на то пошло, гораздо интереснее те обстоятельства, которые приводили к ней.

Кстати, я вспоминаю один забавный эпизод, случившийся со мной в отеле «Александрия» в первый же вечер после возвращения из Нью-Йорка в Лос-Анжелос. Я рано ушел к себе в номер и стал уже раздеваться, негромко напевая одну из последних нью-йоркских песенок. Задумавшись о чем-то, я на минуту замолчал и вдруг услышал, что в соседнем номере женский голос подхватил мелодию, которую я пел. Я продолжил ее

с того места, где остановилась она, — и началась игра. В конце концов мы закончили песенку. Может, стоит познакомиться? Это было довольно рискованно — я не знал, как она выглядит. Я снова стал насвистывать песенку, и комедия повторилась.

— Ха-ха-ха, это забавно, — рассмеялся я, модулируя интонацию так, что она могла быть обращена и к ней и ко мне самому.

Из соседней комнаты послышалось:

— Простите?

— Очевидно, вы недавно приехали из Нью-Йорка, — зашептал я в замочную скважину.

— Я вас не слышу, — сказала она.

— А вы откройте дверь, — посоветовал я.

— Я ее чуть-чуть приоткрою, но вы не смейте входить!

— Клянусь !

Дверь приоткрылась дюйма на четыре, и оттуда выглянула преочаровательная блондиночка. Не могу точно сказать, что на ней было надето — какое-то облако тончайшего шелкового неглиже, — но это было упоительно.

— Не входите, а то я вас избыю! — сказала она, обнажая в прелестной улыбке чудесные белые зубы.

— Здравствуйте, — прошептал я и представился. Оказывается, она уже знала, кто ее сосед по комнате.

Позднее, ночью, она предупредила меня, что я не должен узнавать ее ни при каких обстоятельствах и даже не смею кивнуть ей при встрече в вестибюле отеля. Больше она мне не сказала о себе ни слова.

А когда я на другой день довольно поздно вернулся, она откровенно постучала ко мне, и мы еще одну ночь провели вместе.

На третью ночь мне уже это поднадоело, к тому же мне надо было работать и подумать о своих делах. Поэтому в четвертый вечер я открывал дверь как можно бесшумнее и на цыпочках входил в номер, надеясь, что она не узнает о моем возвращении. Но она все-таки меня услышала и начала барабанить в дверь. Однако на этот раз я не обратил на стук никакого внимания и сразу улегся спать. На следующий день она прошла мимо меня с ледяным выражением лица.

В эту ночь она уже не стучала, но вскоре я заметил, как ручка двери, скрипнув, поворачивается. К счастью, я заблаговременно запер дверь со своей стороны. Она с силой повертывала ручку, а потом принялась нетерпеливо стучать. На следующее утро я решил, что разумней будет уехать из отеля, и снова переселился в клуб «Атлетик».

Моей первой картиной в новой студии была «Собачья жизнь». В ее сюжете имелся элемент сатиры — параллель между жизнью собаки и бродяги. Этот лейтмотив послужил основой, на которую я нанизал всевозможные трюки и обычные приемы «комедии пощечин». Я уже начинал думать о структуре комедии, начинал чувствовать ее архитектонику. Каждый эпизод определял последующий, и все они были связаны в единое целое.

Первый эпизод был посвящен спасению собаки от накинувшейся на нее собачьей своры, а второй эпизод — спасению в дансинге девушки, у которой тоже была «собачья

жизнь». И другие эпизоды фильма строились на логической связи событий. В эти «комедии пощечин», несмотря на их примитивность, было вложено много мысли и выдумки. Если какой-нибудь трюк нарушал логику событий, то, как бы он ни был смешон, я его исключал.

В кистоуновских комедиях бродяга был свободнее и не так подчинен сюжету. Он редко думал, а больше следовал инстинктам и искал лишь пищи, крова и тепла. Но теперь, с каждой новой комедией, бродяга становился все сложнее. Он даже стал чувствительным, что создало новые трудности для сценариста, связанного жесткими законами «комедии пощечин». Как ни парадоксально это звучит, но «комедия пощечин» требует очень точных психологических мотивировок.

Решение пришло, когда я представил себе бродягу близким образу Пьеро. Такая концепция позволяла более свободно выражать чувства, помогала облагородить комедию. Зато было очень трудно найти логически оправданную ситуацию, при которой красивая девушка могла бы заинтересоваться бродягой. Эту сложную задачу мне приходилось решать во всех моих фильмах. В «Золотой лихорадке» девушка обращала внимание на бродягу, сыграв с ним злую шутку, потом начинала жалеть его, а он ошибочно принимал эту жалость за любовь. В «Огнях большого города» девушка слепа, и бродяга кажется ей романтическим героем, необыкновенным человеком до тех пор, пока к ней не возвращается зрение.

Овладевая искусством построения сюжета, я все больше утрачивал свободу в выборе комедийных положений. Один поклонник, предпочитавший мои ранние кистоуновские комедии более поздним, писал мне: «Тогда публика была вашим рабом, а теперь вы стали рабом публики».

Но даже в этих ранних комедиях я искал настроение. Обычно его создавала музыка. Старая песенка «Миссис Гранди» создала настроение для «Иммигранта». В ней была печальная нежность, подсказавшая мне и грустный дождливый день, и двух измученных одиночеством и бедностью людей, которые в конце фильма стучат в дверь священника.

В «Иммигранте» Шарло едет в Америку. На палубе четвертого класса он знакомится с девушкой и ее матерью, такими же бесприютными бедняками, как он сам. В Нью-Йорке они расстаются. В конце концов он снова встречает девушку, она одинока и так же несчастна, как он сам. Пока они сидят и разговаривают, она вынимает носовой платок — на нем траурная кайма, которая говорит о том, что она похоронила мать. И, конечно, в конце в грустный дождливый день они женятся.

Простые, незатейливые песенки подсказывали мне образы и для других фильмов. В «Двадцати минутах любви», грубоватой и довольно бессмысленной комедии, действие которой разыгрывалось в парке, где сидят няньки с младенцами и рассказывают полицейские, я попадал из одного затруднительного положения в другое под звуки очень популярного в 1914 году тустепа «Слишком много горчицы». Песенка «Фиалки» сообщила настроение «Огням большого города», а «Забыть ли старых нам друзей?» — «Золотой лихорадке».

К 1916 году у меня уже было много замыслов для полнометражных фильмов, в том числе о путешествии на Луну, где обыгрывались бы иные законы притяжения. Это была бы сатира на технический прогресс. Я придумал здесь кормящую машину и радиоэлектрическую шляпу, которая делает явными мысли своего владельца — это должно было доставить мне множество неприятностей, так как мне предстояло носить ее в ту минуту, когда меня познакомили бы с очень соблазнительной женой обитателя Луны. Кормящую машину я в конце концов использовал в «Новых временах».

Меня часто спрашивали, как возникал замысел того или иного фильма. Я и сейчас не могу исчерпывающе ответить на этот вопрос. С годами я понял, что идеи приходят, когда их страстно ищешь, когда сознание превращается в чувствительный аппарат, готовый зафиксировать любой толчок, пробуждающий фантазию, — тогда и музыка и закат могут подсказать какую-то идею.

Я посоветовал бы делать так: выберите тему, которая увлечет вас, разрабатывайте и усложняйте ее, насколько возможно, а потом, когда сделать с нею уже ничего больше нельзя, отбросьте и ищите другую. Исключение из накопленного — вот процесс, с помощью которого можно найти то, что вам нужно.

Откуда берутся идеи? Только из упорных поисков, граничащих с безумием. Для этого человек должен обладать способностью мучиться и не утрачивать увлеченности в течение длительных периодов. Может быть, для некоторых людей это легче, чем для других, хотя я сильно в этом сомневаюсь.

Разумеется, каждый начинающий комический актер обязательно стремится философски обобщить принцип построения комедии. «Элемент неожиданности и напряженного ожидания» — эту фразу можно было каждый день слышать в студии «Кистоун».

Я не стану забираться в дебри психоанализа, чтобы объяснить поведение человека, непостижимое, как сама жизнь. Мне кажется, наше мышление не столько обуславливается моментами сексуального порядка или детскими впечатлениями, сколько причинами атавистического происхождения, — во всяком случае, мне не нужно было читать книги для того, чтобы понять, что в основе жизни лежат противоречия и страдания. И моя клоунада инстинктивно строилась именно на этом. Мой метод создания комедийного сюжета был очень прост: я ставил персонажей в затруднительные положения, а потом спасал их.

Однако юмор — это уже нечто другое, более тонкое. Макс Истмэн в своей книге «Чувство юмора» пришел к выводу, что в основе юмора лежит «страдание понарошку». Он пишет, что homo sapiens склонен к мазохизму и извлекает радость из различных форм страдания, и зрителям нравится страдать вместе с героем, подобно тому, как детям, играющим в индейцев, нравится служить мишенью для стрел и умирать в муках.

Я согласен с этим, но, по-моему, это скорее анализ драматизма, а не юмора, хотя они во многом совпадают. Моя концепция юмора несколько иная: юмор — это легкая несообразность в как будто бы нормальном поведении. Другими словами, юмор помогает нам увидеть иррациональное в том, что кажется рациональным, и незначительное в том, что кажется значительным. Юмор повышает нашу жизнеспособность и помогает сохранить здравый смысл. Благодаря юмору мы легче переносим превратности судьбы. Он помогает нам понять истинное соотношение вещей и показывает, что в преувеличенной серьезности таится смешное.

Я поясню свою мысль примером: в комнату, где у гроба усопшего в почтительном молчании собрались друзья и близкие, как раз в ту минуту, когда начинается панихида, входит на цыпочках опоздавший и пробирается к своему стулу, на который кто-то из присутствующих положил цилиндр. В спешке опоздавший нечаянно садится на цилиндр, тут же вскакивает и, прося взглядом прощения, молча вручает владельцу его раздавленную собственность. Тот с немой досадой берет ее, продолжая слушать панихиду. Торжественность момента снимается, обращаясь в свою противоположность.

## XV

Когда началась первая мировая война, все были уверены, что она продлится не больше четырех месяцев, так как современные методы ведения войны повлекут за собой ужасающие жертвы, и человечество потребует, чтобы вандализму был положен конец. Но мы ошиблись. Потрясенное человечество оказалось затянутым в бешеную лавину разрушения и чудовищной резни, которая длилась четыре года. Мы начали кровопролитие в мировом масштабе и уже не могли его прекратить. Сотни тысяч солдат сражались, умирали, и люди начинали требовать ответа на вопрос, почему и как началась война. Объяснения же были не очень вразумительны: кто-то утверждал, что всему причиной было убийство эрцгерцога, однако вряд ли оно могло вызвать мировой пожар. Людям было нужно более реалистическое объяснение. Тогда им сказали, что война ведется во имя защиты демократии. И хотя у одних было что защищать в этом смысле, а у других — нет, количество убитых было поистине «демократичным». Когда война уже скосила миллионы человеческих жизней, слово «демократия» обрело великую силу. В результате рушились троны, возникали республики, и лицо Европы неузнаваемо изменилось.

Но в 1915 году Соединенные Штаты еще заявляли, что «они не снизойдут до того, чтоб воевать». Американцы распевали песенку «Не для того я сына рошу, чтобы он стал солдатом». Она всем нравилась, но лишь до тех пор, пока не была потоплена «Лузитания». Тогда уж стали петь «Там, за океаном» и другие песенки в том же зажигательном духе. До потопления «Лузитании» в Калифорнии почти не ощущались тяготы европейской войны. Всего было вдоволь, продовольствие не нормировалось. В садах богатых вилл устраивались роскошные приемы и вечера в пользу Красного Креста, — по существу, это был лишь повод для встреч представителей светского общества. На одном из таких вечеров-гала некая дама пожертвовала в пользу Красного Креста двадцать тысяч долларов за привилегию быть моей соседкой по столу на каком-то шикарном обеде. Но время шло, и вскоре страшная действительность войны стала ясна каждому.

К 1918 году Америка уже выпустила два Займа Свободы, а теперь нас — Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса и меня — попросили официально открыть в Вашингтоне кампанию по выпуску третьего Займа Свободы.

Я почти закончил свою первую картину — «Собачья жизнь» — для «Фёрст нейшнл», однако для того, чтобы выпустить ее в срок и освободиться для новой деятельности по распространению займа, мне пришлось просидеть в монтажной трое суток безвыходно. В поезд я сел вконец измученный и проспал двое суток подряд. Наконец, я пришел в себя, и мы все трое стали готовить свои выступления. До этого мне ни разу не приходилось произносить серьезных речей, я очень нервничал, и Дуглас посоветовал мне порепетировать на тех толпах народу, которые на вокзалах ждали нашего проезда. Мы где-то остановились, и в конце платформы, против нашего вагона, действительно собралась толпа. Вначале Дуг представил Мэри, произнесшую несколько слов, затем меня. Но едва я успел начать, как поезд тронулся, и чем больше я удалялся от своих слушателей, тем становился красноречивее, драматичнее, увереннее, а люди на платформе становились все меньше и меньше.

Прибыв в Вашингтон, мы с царскими почестями проследовали по улицам к стадиону, где должны были открыть митинг.

Трибуна для ораторов была построена из неструганых досок и украшена флагами и полотнищами. Среди стоявших тут же представителей армии и флота я заприметил высокого, красивого молодого человека, с которым мы вскоре разговорились. Я признался ему, что мне никогда еще не приходилось выступать и что я очень волнуюсь.

— Вам нечего бояться, — доверительно сказал он мне. — Рубите прямо сплеча, говорите, чтобы покупали Заем Свободы, и все. Только не старайтесь их смешить.

— Об этом не беспокойтесь, — иронически успокоил я его.

Вскоре я услышал, что было названо мое имя, я вскочил на трибуну с ловкостью Фербенкса и безо всякой паузы, не переводя дыхания, сразу начал строчить, словно из пулемета:

— Немцы уже стоят у вашей двери! Мы должны их остановить! И мы *остановим* их, если вы купите Заем Свободы! Помните, что каждая купленная вами облигация спасает жизнь солдата — сына своей матери! — и приводит войну к быстрой победе!

Я говорил так быстро и пришел в такое возбуждение, что, кончив, спрыгнул с трибуны прямо в объятия Мэри Дресслер, она не удержалась на ногах, и мы с ней упали на того самого красивого молодого человека, с которым я разговаривал перед началом митинга и который оказался заместителем военно-морского министра Франклином Делано Рузвельтом.

После церемонии официального открытия мы должны были посетить в Белом доме президента Вильсона. Трепещущих от волнения, нас ввели в Зеленый зал. И вдруг дверь открылась, показался секретарь и отрывисто скомандовал:

— Прошу вас, станьте в ряд и сделайте один шаг вперед.

И тут вошел президент.

Мэри Пикфорд взяла инициативу в свои руки.

— Господин президент, публика проявила живейший интерес к займу, и я уверена, что кампания по продаже облигаций пойдет очень успешно.

— Безусловно проявила и безусловно пойдет... — в полном смятении вмешался я.

Президент недоуменно взглянул на меня и вслед за тем рассказал сенатский анекдот о министре, который был слишком пристрастен к виски. Мы вежливо посмеялись и вскоре ушли.

Для своего турне по продаже облигаций Дуглас и Мэри выбрали северные штаты, а я — южные; мне еще не приходилось там бывать. Я пригласил поехать со мной в качестве гостя своего лос-анжелосского приятеля, художника-портретиста и писателя Роба Вагнера. Реклама была организована хорошо и с выдумкой, и мне удалось продать облигаций на миллионы долларов.

В одном из городов Северной Каролины главой комитета по приему гостей оказался крупный промышленник. Он сознался, что поставил на вокзале десятерых парней, которые должны были забросать меня пирожками, но, увидев, какие мы серьезные и солидные люди, одумался и отказался от своего намерения.

Этот самый джентльмен пригласил нас пообедать у него. Среди приглашенных было несколько генералов армии Соединенных Штатов, включая и генерала Скотта, который явно недолго любил хозяина. Во время обеда он задал гостям такую загадку:

— Какая разница между нашим хозяином и бананом?

Последовала неловкая пауза.

— С банана можно содрать кожу.

Кстати, о джентльменах-южанах. Я вспоминаю, что в Огасте, городке штата Джорджия, мне довелось встретить вполне законченный тип такого джентльмена. Судья Хеншоу был главой комитета по распространению займа. Мы получили от него письмо, в

котором он сообщал о своем намерении устроить в местном клубе прием в мою честь, ввиду того, что наш приезд в Огасту совпадает с днем моего рождения. Я представил себе, что попаду в большое общество, где мне придется поддерживать беседу, а так как я был достаточно измучен, то решил отказаться и сразу поехать в гостиницу.

Обычно, когда мы куда-нибудь приезжали, на вокзале собиралась огромная толпа народа и местный духовой оркестр. В Огасте на вокзале не оказалось никого, кроме судьи Хеншоу в черном альпаговом пиджаке и старой, выгоревшей под солнцем панаме. Он был очень спокоен и вежлив и, представившись, повез нас с Робом в отель на лошадке, впряженной в старое ландо.

Некоторое время мы ехали в полном молчании. Но вдруг судья нарушил его:

— Что мне нравится в ваших комедиях, так это понимание основы основ. Вот вы, например, понимаете, что самая несолидная, так сказать, часть человеческого тела — это зад, и ваши комедии это подтверждают. Когда вы самому солидному джентльмену даете пинка в зад, пропадает все его достоинство. Даже торжество вступления в должность нового президента можно погубить, если подойти к нему сзади и дать президенту пинка в это самое место.

Мы ехали под яркими лучами южного солнца, а он, иронически покачивая головой, продолжал рассуждать:

— Тут не приходится сомневаться, именно в этом месте таится наша застенчивость.

Я подтолкнул Роба и шепнул:

— Приветственная речь по случаю моего рождения.

В действительности, прием в мою честь состоялся в день митинга. Хеншоу пригласил только трех своих приятелей и, извинившись за столь ограниченное количество гостей, объяснил это своим эгоизмом и желанием как можно полнее насладиться нашим обществом.

Местный клуб для игры в гольф был расположен в прелестной местности. Мы сидели вшестером на террасе за круглым столом, на котором стоял пирог с зажженными свечками; тени высоких деревьев, окаймлявшие зеленую лужайку, придавали всей мизансцене спокойное изящество.

Жуя кусочек сельдерея, судья насмешливо взглянул на Роба и меня и сказал:

— Не знаю, много ли облигаций вы продадите в Огасте... Я в таких делах не очень ловок. Во всяком случае, надеюсь, люди знают, что вы приехали.

Я начал превозносить местные красоты.

— Да, — сказал он, — одного только не хватает у нас, виски со льдом и мятой.

Это замечание привело нас к теме о предполагаемом запрещении продажи спиртных напитков, о хороших и дурных последствиях этого закона.

— Медицина доказывает, — сказал Роб, — что запрещение продажи спиртного должно благотворно подействовать на здоровье людей. В медицинских газетах пишут, что если мы перестанем пить виски, уменьшатся заболевания язвой желудка.

Лицо судьи выразило обиду.

— Не следует связывать виски с желудком, виски — это пища для души.

Затем он обернулся ко мне:

— Чарли, сегодня ваш двадцать девятый день рождения, а вы все еще не женаты?

— Нет, — рассмеялся я, — а вы?

— Тоже нет, — тоскливо вздохнул он. — Я в суде наслушался о стольких разводах... Но все-таки, если бы я снова стал молодым, я бы непременно женился — очень уж одиноко жить холостяком. И тем не менее я за разводы. Наверно, ни одного судью в Джорджии не осуждают так, как меня за это. Но если люди не хотят жить вместе, разве можно их принуждать?

Немного погодя Роб взглянул на часы.

— Если митинг начинается в половине девятого, — сказал он, — нам следует поторопиться.

Судья продолжал не спеша обсасывать свой сельдерей.

— Времени много, — остановил он нас. — Давайте поболтаем еще. Я люблю поболтать.

По пути на митинг мы прошли через маленький парк. Там стояло штук двадцать, а то и больше статуй сенаторов в нелепо величавых позах: одна рука за спиной, другая — на бедре и в ней развернутый свиток. Я заметил шутя, что они так и просят, чтоб им дали того самого пинка в зад, о котором так благожелательно говорил судья.

— Да, — весело отозвался он. — Вид у них идиотский и чванливый.

Он пригласил нас к себе домой. У него был прекрасный старинный особняк в колониальном стиле, обставленный антикварной мебелью XVIII столетия, — сам Вашингтон ночевал в нем однажды.

— Как красиво! — воскликнул я.

— Да, но дом без жены — пустая шкатулка для драгоценностей. Не откладывайте женитьбы в долгий ящик, Чарли!

Мы посетили на юге несколько учебных военных лагерей и увидели там много мрачных, ожесточенных лиц. Кульминационным моментом нашего турне был последний митинг в Нью-Йорке, на Уолл-стрит, перед зданием казначейства, где мы с Мэри и Дугласом продали облигаций больше, чем на два миллиона долларов.

Нью-Йорк подействовал на меня угнетающе — повсюду чувствовалась власть этого чудовища-милитаризма. От него не было никакого спасения. Америка была ему покорна, каждая ее мысль была подчинена религии войны. С двенадцатого этажа отеля я слышал музыку военных оркестров, шествующих по мрачному каньону Мэдисон-авеню, и их притворная бодрость угнетала меня — я знал, что они направляются в Бэттери, чтобы там погрузиться на корабли и отправиться за океан.

Но иногда эту мрачную атмосферу разряжал смешной эпизод. Семь духовых оркестров должны были как-то пройти через футбольный стадион перед губернатором города Нью-Йорка. У входа на стадион Уилсон Майзнер, нацепив какой-то знак отличия, останавливал каждый оркестр и давал указания, чтобы, проходя перед трибуной губернатора, они играли национальный гимн. Однако, когда губернатору и всем сопровождающим в четвертый раз пришлось подняться, чтобы выслушать гимн стоя, Майзнер передал оркестрам указание, чтобы больше гимн не играли.

До отъезда из Лос-Анжелоса в турне по распространению третьего Займа Свободы, я встретился с Мари Дорро. Она приехала в Голливуд сниматься в студии «Парамаунт». Мари оказалась поклонницей Чаплина и сказала Констанс Коллиер, что единственный



человек, с которым ей хотелось бы познакомиться в Голливуде, это Чарли Чаплин — она и представления не имела, что я когда-то выступал вместе с ней в Лондоне, в театре герцога Йоркского.

Итак, я снова встретился с Мари Дорю. Наша встреча напоминала второй акт любовной пьесы. Едва Констанс успела меня представить, я сказал:

— Но ведь мы с вами встречались, и тогда вы успели разбить мое сердце. Я был тайно влюблен в вас.

И Мари, такая же красивая, как и прежде, глядя на меня в лорнетку, шепнула:

— Как это интересно!

Я напомнил ей, что играл роль посыльного Билли в «Шерлоке Холмсе». Обедали мы в саду, стоял теплый летний вечер, и я при свете свечей говорил о том, какой безнадежной была моя безмолвная юношеская влюбленность, рассказывал, как я поджидал в театре минуты, когда мог встретить ее на лестнице и пробормотать: «Добрый вечер!» Мы вспоминали с ней Лондон и Париж. Мари любила Париж, и мы вспоминали с ней парижские бистро, кафе, «Максима» и Елисейские поля...

И вот теперь Мари в Нью-Йорке! Узнав, что я живу в отеле «Ритц», она прислала мне письмо, приглашая пообедать у нее.

*«Чарли, дорогой, я живу не на Елисейских полях (а на Мэдисон-авеню), но мы можем пообедать у меня или пойти к «Максиму» (в «Колони»). А потом, если захотите, можем прокатиться в Буа де Булонь (в Централ-парк)...».*

Правда, ничего этого мы не стали делать, а просто пообедали вдвоем в квартирке Мари.

Вскоре я вернулся в Лос-Анжелос и снова поселился в своей комнате в клубе «Атлетик» и начал думать о работе. «Собачья жизнь» снималась дольше и обошлась дороже, чем я предполагал. Но меня это не смущало — ко времени истечения моего контракта этот перерасход должен был покрыться. Меня гораздо больше беспокоило то, что я никак не мог найти темы для другой картины. И вдруг мне пришла мысль: а почему бы не сделать комедию о войне? Я рассказал о своем замысле кое-кому из друзей, но все они с сомнением покачивали головой.

— В такое время смеяться над войной опасно, — сказал де Милль.

Опасно или нет, но эта мысль завладела мною.

Сперва я собирался сделать комедию «На плечо!» в пяти частях. Начало должно было изображать «жизнь дома», середина — «войну», а конец — «банкет», на котором все монархи Европы чувствовали бы меня за героическое пленение кайзера. А «под занавес» я, разумеется, просыпался.

Все эпизоды до и после войны были потом выброшены. Банкет даже не был отснят, но начало мы снимали. Тут комический эффект достигался недоговоренностью: Шарло идет домой в сопровождении своих четырех детей. Он оставляет их на минуточку, а потом возвращается, на ходу утирая рот и рыгая. Едва он входит в дом, как в голову ему летит сковородка. Его жена на экране не появляется, но на веревке в кухне сушится женская сорочка чудовищного размера, которая позволяет судить о пропорциях этой дамы...

В следующем эпизоде Шарло проходит медицинский осмотр и раздевается догола. На стеклянной двери кабинета он видит надпись: «Доктор Фрэнсис»; стекло матовое, на нем появляется тень человека, собирающегося открыть дверь. Шарло кажется, что это

женщина, он выскакивает в другую дверь и попадает в лабиринт разделенных стеклянными перегородками комнаток, где работают девушки-клерки. Когда одна из них подымает голову, он прячется за конторку, но оттуда он хорошо виден другой девице. В конце концов он убегает в третью дверь, но снова видит там стеклянные клетки. Так он бежит все дальше и дальше от призывного пункта и, наконец, оказывается голый на балконе, выходящем на очень оживленную улицу. Этот эпизод был отснят, но в фильм не вошел. Я решил оставить Шарло человеком без адреса, без семьи и без определенных занятий и показать его сразу на войне.

Мы снимали «На плечо!» в страшную жару. Играть в дупле дерева (как мне приходилось в одном из эпизодов) было не очень приятно. Я ненавижу работать на натуре, потому что там все время отвлекаешься — и сосредоточенность и вдохновение словно уносятся ветром.

Съемки этой картины потребовали очень много времени, я был недоволен фильмом; этим настроением я заразил всех на студии. Но тут картину пожелал посмотреть Дуглас Фербенкс. Он приехал с кем-то из приятелей, и я предупредил их, что фильм мне не очень нравится и я раздумываю, не бросить ли его в корзину. В просмотрном зале мы были втроем. С первых же кадров Фербенкс начал хохотать и умолкал только, чтобы перевести дух и откашляться. Милый Дуг, он был самым лучшим моим зрителем. Когда фильм кончился, и мы вышли из зала, я увидел, что он смеялся буквально до слез — глаза у него были мокрые.

— Ты в самом деле считаешь, что это смешно? — спросил я недоверчиво.

Он повернулся к своему приятелю.

— Ну что ты скажешь? Он собирается выбросить этот фильм в корзину! — Больше Дуглас не произнес ни слова.

Фильм «На плечо!» имел сногшибательный успех, особенно у солдат. Но и на этот раз я снимал фильм дольше, чем предполагал, и обошелся он еще дороже «Собачьей жизни». А мне теперь уже хотелось превзойти самого себя, и я считал, что «Фёрст нейшнл» должна мне помочь. С тех пор как я начал у них работать, компания процветала — теперь другим режиссерам и звездам платили по двести пятьдесят тысяч долларов за картину и еще пятьдесят процентов с прибыли. Их фильмы стоили дешевле, и их легче было снимать, чем мои комедии, но зато они давали меньше прибыли.

Я решил поговорить об этом с мистером Дж. Д. Уильямсом, президентом «Фёрст нейшнл», однако он сказал, что должен обсудить этот вопрос с директорами компании. Просил я немного — только компенсировать перерасход, который не превышал пятнадцати тысяч долларов на картину. Уильямс ответил, что на этой неделе директора соберутся в Лос-Анжелосе и я смогу сам с ними побеседовать.

В те годы прокатчики были обыкновенными торговцами, и в фильмах они видели только товар по такой-то цене за метр. Мне казалось, что, защищая свое дело, я говорил хорошо и искренне. Я сказал им, что нуждаюсь в дополнительных средствах, так как потратил больше, чем рассчитывал. Но с равным успехом не состоящий в профсоюзе рабочий мог бы требовать прибавки у боссов «Дженерал моторс». После моей речи наступило молчание, а затем один из директоров компании заявил от имени остальных:

— Но, Чарли, это же деловое предприятие. Вы подписали контракт, и мы полагаем, что вы будете выполнять его условия.

— Я тоже мог бы месяца за два выпустить ваши несчастные шесть картин, если вам нужны такие картины, — ответил я кратко.

— Это уж ваше дело, Чарли, — невозмутимо сказал он.

— Я прошу об увеличении суммы, чтобы сделать фильм лучше, — продолжал я. — А ваше безразличие свидетельствует о том, что вы не психологи и недалковидны. Поймите, вы же не колбасой торгуете, вы имеете дело с творческой индивидуальностью.

Но их ничем нельзя было пробрать. Я никак не мог понять их позиции — ведь я считался самым крупным «козырем» американского кино.

— Мне кажется, — сказал после этого разговора мой брат, — что тут дело в предполагающемся объединении кинокомпаний. Ходят слухи, что все компании по производству фильмов сливаются.

На другой день Сидней навестил Дугласа и Мэри. Они тоже были встревожены — срок их контрактов с «Парамаунт» истекал, а компания молчала. Дуглас, как и Сидней, полагал, что это связано с возможным слиянием кинофирм.

— Неплохо было бы нанять сыщика и разведать, что они там затевают.

Мы все согласились нанять сыщика и обратились к очень ловкой девушке, изящной и привлекательной. Вскоре глава крупной кинофирмы уже назначил ей свидание. Она сообщила нам, что прошла мимо «указанного лица» в вестибюле отеля «Александрия», улыбнулась ему и сразу же извинилась, сказав, что приняла его за своего старого друга. В тот же вечер он пригласил ее пообедать с ним. Из ее сообщения следовало, что «указанное лицо» отличается слабостью к прекрасному полу и редкой хвастливостью. Три вечера подряд она обедала с ним, уклоняясь от дальнейшего с помощью обещаний и разных отговорок. За это время она успела выведать у него все, что происходило в кинопромышленности. Он и его партнеры решили создать объединение кинокомпаний с капиталом в сорок миллионов долларов, связав всех прокатчиков Соединенных Штатов контрактами сроком на пять лет. Он ей рассказывал, что они собираются поставить кинопромышленности на деловую основу и унять сумасшедших актеров, получающих астрономические гонорары. Такова была суть добытых ею сведений, и нам этого было совершенно достаточно. Мы четверо показали ее отчет Д.-У. Гриффиту и Биллу Харту<sup>1</sup>, и они отнеслись к этому так же, как и мы. Сидней сказал, что мы можем провалить их объединение, если объявим прокатчикам, что создаем собственную кинокомпанию и, оставаясь независимыми, будем свободно продавать свою продукцию. А в то время мы были наиболее популярными фигурами американского кино. Впрочем, осуществлять этот проект мы тогда не собирались. Мы хотели только помешать прокатчикам подписать пятилетний контракт с предполагающимся кинообъединением — ведь без «звезд» оно ничего не стоило бы. Мы договорились, что накануне их совещания все вместе явимся в ресторан отеля «Александрия» и за обедом сообщим представителям печати о нашем намерении.

В указанный вечер Мэри Пикфорд, Д.-У. Гриффит, У.-С. Харт, Дуглас Фербенкс и я сели за столик в большом зале ресторана. Эффект был потрясающим. Дж.-У. Уильямс, который, ничего не подозревая, зашел туда пообедать, увидев нас, сразу бросился вон. Один за другим в дверях появлялись продюсеры и, едва взглянув на нас, поспешно удалялись, а мы продолжали сугубо деловой разговор и покрывали скатерть колонками астрономических цифр. Стоило кому-нибудь из продюсеров войти в зал, как Дуглас вдруг начинал пороть какую-то чушь.

— В настоящее время весьма важны капуста плюс арахис и бакалейные товары плюс свинина, — объявлял он во всеуслышание.

Гриффит и Билл Харт решили, что он сошел с ума.

Вскоре вокруг нашего стола уже собралось человек шесть репортеров, записывая наше заявление о том, что мы организуем кинокомпанию «Юнайтед артистс», чтобы

сохранить независимость и выступить против намеченного объединения. Заявление было помещено в газетах на первой полосе.

На следующий день руководители нескольких кинокомпаний изъявили желание занять у нас пост президента, соглашаясь на умеренное жалование при условии участия в прибылях. Подобная реакция и побудила нас осуществить задуманный проект. Так возникла «Юнайтед артистс корпорейшн».

Мы устроили совещание в доме Мэри Пикфорд. Каждый из нас пришел со своим адвокатом и менеджером. Собралось так много народу, что если кому-нибудь из нас хотелось что-то сказать, это уже приобретало характер публичного выступления, и, беря слово, я каждый раз волновался. Я был потрясен деловитостью Мэри, ее умением разбираться во всех правовых вопросах. Она свободно пользовалась языком деловых людей, всякими этими словечками, вроде «амортизация», «отсрочки», «привилегированные акции» и т. п. Она наизусть знала всю юридическую сторону корпораций и могла преспокойно рассуждать о неувязке в параграфе А, статьи 27, на странице 7, или указывать на противоречивость формулировки параграфа Д, статьи 24. В этих случаях Мэри даже не столько удивляла меня, сколько огорчала — этой стороны характера «любимицы Америки» я еще не знал. Я никогда не мог забыть одной ее фразы. Торжественно обращаясь к нашему представителю, она вдруг сказала: «Джентльмены, нам надлежит...» Я расхохотался и долго затем еще повторял: «Нам надлежит! Нам надлежит!»

При всей обаятельности Мэри у нее была репутация исключительно деловой женщины. Я вспоминаю, как Мэйбл Норман, знакомя меня с ней впервые, сказала: «Это Хетти Грин \* по прозвищу Мэри Пикфорд».

---

\* Хетти Грин — одна из самых богатых женщин в мире, о которой говорили, что она заработала свыше ста миллионов долларов, исключительно благодаря своей деловой сметке.

Мое участие в этих деловых совещаниях было равно нулю. Но, к счастью, мой брат разбирался в делах не хуже Мэри. Однако Дуглас, всегда изображавший милую беспечность в делах, был, пожалуй, самым ловким из нас. Пока наши адвокаты договаривались по всем статьям, он дурачился, как школьник, когда же они начинали зачитывать параграфы условий объединения, он не пропускал ни единой запятой.

Среди продюсеров, изъявивших желание уйти из своих фирм и войти в наше объединение, был и Адольф Цукор, основатель и президент кинофирмы «Парамаунт». Это был очень живой и милый человек, небольшого роста, внешне похожий на Наполеона и такой же неукротимой энергии. Стоило ему заговорить о делах — и он становился неотразим и даже драматичен.

— Вы имеете полное право, — говорил он с явным венгерским акцентом, — целиком воспользоваться теми доходами, которые являются результатом ваших трудов, потому что вы художники! Вы творцы! И именно вас приходят смотреть.

Мы скромно соглашались с ним.

— Вы решили создать компанию, которая, по моему мнению, станет самой мощной во всей кинопромышленности, если только... — подчеркнул он, — ею будут умело руководить. Вы являетесь творцами в одной области нашего искусства, а я — в другой. Что же может быть лучше?

Он еще долго распространялся на эту тему, рассказывая нам о своих планах и мечтах, а мы жадно ловили каждое его слово. Он поверял нам свой проект объединения

театров и киностудий, но тут же сказал, что готов от него отказаться ради того, чтобы связать свою судьбу с нашей. Он говорил с силой и авторитетностью патриарха.

— Вы думаете, я вам враг! А я вам друг, настоящий друг артистов. Вспомните, ведь я же первый понял, что таит в себе кинематограф! Кто изгнал дешевые «иллюзионы»? Кто посадил зрителей в плюшевые кресла? Это я построил первые большие кинозалы, повысил в них цены и тем самым дал вам возможность получать за ваши картины большие деньги. А теперь именно вы и хотите меня распять?!

Цукор был великим актером и одновременно великим дельцом. Он создал самое крупное в мире объединение кинотеатров. Однако он требовал участия в прибылях, и потому из наших переговоров так ничего и не вышло.

В течение полугода только Мэри и Дуглас делали картины для вновь образованной кинофирмы, а мне еще предстояло сделать шесть комедий для «Фёрст нейшнл». Бестолковое упрямство руководителей этой фирмы так меня злило, что мне даже работать не хотелось. Я предложил им выкупить свой контракт, соглашаясь компенсировать им сто тысяч долларов в счет прибыли, но они отказались.

Так как Мэри и Дуг были единственными звездами, продававшими картины через нашу кинокомпанию, они все время жаловались мне, что на их плечи легло слишком большое бремя. Они давали картины в прокат по очень низкой цене, и в результате у «Юнайтед артистс» образовался дефицит в миллион долларов. Но с выпуском моего первого фильма — «Золотая лихорадка» — долги были выплачены, и это несколько умерило чувство обиды у Мэри и Дугласа. Больше они уже не жаловались.

Война становилась все беспощадней. В Европе шла жестокая резня и разрушение. В военных лагерях людей учили ходить в атаку со штыком, учили, как надо при этом кричать, бросаться на врага и колоть его прямо в кишки, а если штык застревал в паху, стрелять в живот, чтобы легче было вытащить штык. Истерия переходила все границы. Уклоняющихся от призыва в армию приговаривали к пяти годам тюрьмы, каждый мужчина обязан был иметь при себе регистрационную карточку. Гражданский костюм считался постыдным одеянием, почти каждый молодой мужчина был в военной форме, а если нет, то в любую минуту у него могли потребовать регистрационную карточку. И любая женщина могла обзвать его трусом.

Кое-какие газеты и меня обвиняли в трусости за то, что я не иду на войну. Другие, напротив, стали на мою защиту, объявив, что мои комедии приносят больше пользы, чем могла бы принести моя служба в армии.

Только что сформированная и еще необстрелянная американская армия, прибыв во Францию, жаждала немедленных действий и, несмотря на советы французов и англичан, закаленных тремя годами кровавых битв, пренебрегая опасностью, храбро бросилась в бой. Наши потери исчислялись сотнями тысяч. В продолжение нескольких недель приходили скорбные вести, печатались длинные списки убитых и раненых американцев. Затем наступило затишье, и американцы так же, как и остальные союзники, познали невыразимую скуку сидения в грязи и крови окопов в продолжение долгих месяцев.

Но наконец союзники зашевелились. Толпы народу ежедневно с волнением следили за передвижением наших флажков на картах. И вот ценою огромных жертв осуществлен прорыв. Газеты запестрели крупными заголовками: «Кайзер бежит в Голландию!» А вскоре вся первая полоса была заполнена двумя словами: «Подписано перемирие!» Я услышал эту новость в клубе «Атлетик». Внизу на улицах началось настоящее столпотворение, гудели автомобили, заводские сирены, весь день и всю ночь

ревели трубы. Мир сходил с ума от радости — люди пели, танцевали, обнимали, целовали и любили друг друга. Наконец наступил мир!

Кончилась война, и людям показалось, будто их вдруг выпустили из тюрьмы. Однако за это время нас так приучили к дисциплине, так вымуштровали, что несколько месяцев мы еще боялись выйти без своих регистрационных карточек. Что бы там ни говорили, союзники все-таки выиграли войну. Но они и сами не были уверены в том, что они выиграли мир. Одно лишь было ясно: тот мир, который мы знали, уже никогда не будет прежним — та эпоха ушла в прошлое. Вместе с ней ушли в прошлое и все так называемые основы благопристойности, хотя, надо признаться, что ни одна эпоха не отличалась особой благопристойностью.

## XVI

Том Харрингтон попал ко мне на службу почти случайно, но ему суждено было сыграть некоторую роль в драматической перемене моей судьбы. Он был костюмером и вообще подручным у моего друга Берта Кларка, английского актера варьете, работавшего вместе со мной в студии «Кистоун». Превосходный пианист, рассеянный и непрактичный человек, Берт как-то уговорил меня в компании с ним заняться изданием нот. Мы сняли комнату на третьем этаже дома, где находились различные деловые учреждения, и напечатали две тысячи экземпляров двух очень плохих песенок, и слова и музыка которых были моего сочинения. И стали ждать покупателей. Это было совершенно безумное предприятие. Насколько я помню, мы продали всего лишь три экземпляра: один — Чарльзу Кэдмену, американскому композитору, и два — случайным людям, проходившим мимо нашего «издательства».

Берт посадил туда управляющим Харрингтона, а месяц спустя уехал в Нью-Йорк, и наше предприятие закрылось. Том с ним не поехал, он сказал мне, что с радостью стал бы работать у меня в той же должности, что и у Кларка. К моему великому удивлению, он сообщил мне, что не получал у Кларка никакого жалованья — ему оплачивались лишь стол и квартира, а это стоило Кларку не более восьми долларов в неделю: будучи вегетарианцем, Том пил только чай, ел хлеб с маслом и картошку. Мне это показалось чудовищным, я уплатил ему приличное вознаграждение за то время, что он занимался делами нашего музыкального издательства, и Том остался у меня моим личным секретарем, камердинером и помощником.

Это был добрый, деликатный человек неопределенного возраста, молчаливый и немного загадочный. У него было кроткое аскетическое лицо святого Франциска, тонкие губы, высокий лоб и глаза, которые смотрели на мир с печальным беспристрастием. Ирландец по происхождению, он вырос в нью-йоркском Ист-Сайде, но ему больше подходило бы жить в монастыре, чем в самой гуще театрального бизнеса.

По утрам он появлялся с моей почтой и газетами в клубе «Атлетик» и заказывал мне завтрак. Иногда, ничего не говоря, он оставлял на столике возле моей кровати какие-то книги — Лафкадио Хирна и Фрэнка Харриса, авторов, о которых я и не слышал никогда. По милости Тома я прочел босуэловскую «Жизнь Джонсона». «Вот вам отличное снотворное», — усмехаясь, сказал он. Том никогда не заговаривал первый и обладал таинственной способностью испаряться, пока я завтракал. Вскоре он стал необходимым условием моего существования. Без него я был как без рук. Стоило мне лишь сказать ему, что надо сделать то-то и то-то, он кивнет, и считайте, что все уже сделано.

Если бы в ту минуту, когда я выходил из клуба «Атлетик», не зазвонил телефон, моя жизнь могла бы сложиться иначе. Звонил Сэм Голдвин<sup>1</sup> и приглашал меня к себе на виллу купаться. Было это осенью 1917 года.

День прошел весело, но довольно глупо. Среди приглашенных была ослепительная Олив Томас и много других красавиц. Позже приехала девушка по имени Милдред Харрис в сопровождении некоего мистера Хэма. Она мне показалась хорошенькой. Кто-то сказал, что мисс Харрис по уши влюблена в Элиота Декстера<sup>2</sup>, и я заметил, что она все время строила ему глазки, но он не обращал на нее внимания. Я вскоре забыл о ней, но когда я собрался уходить, она вдруг попросила меня подвезти ее в город, объяснив, что повздорила со своим приятелем, и он уже уехал.

В машине я в шутку сказал, что не иначе, как ее приятель приревновал ее к Элиоту Декстеру. Она тут же призналась, что находит Элиота изумительным.

Я почувствовал, что она кокетничает, желая этой наивной болтовней вызвать к себе интерес.

— В таком случае его можно назвать счастливым, — сказал я, усмехнувшись.

Все это говорилось просто так, чтобы как-то занять время, пока мы ехали. Она рассказала мне, что работает у Луиса Вебера и сейчас снимается в ведущей роли в одном из фильмов «Парамаунт». Я довез ее до дому, и мы расстались. Мне она показалась довольно глупенькой, и я, с облегчением вздохнув, поехал к себе — мне хотелось побыть одному. Но не прошло и пяти минут, как вдруг зазвонил телефон: это была мисс Харрис.

— Я только хотела узнать, что вы делаете, — пролепетала она простодушно.

Меня удивила ее манера — она говорила так, словно мы были давними и более чем нежными друзьями. Я сказал, что собираюсь пообедать у себя в комнате, а потом сразу лечь в постель и почитать.

— О! — протянула она печально и тут же поинтересовалась, что я буду читать и какая у меня комната, чтобы ей легче было представить себе, как я лежу в постели один, уютно свернувшись калачиком.

Эта слащавая манера разговора была заразительна, и вскоре я в тон ей тоже начал ворковать.

— Когда мы снова увидимся? — спросила она.

Я в шутку упрекнул ее за измену Элиоту, она стала уверять меня, что никогда им всерьез не увлекалась, и я, отказавшись от своих благих намерений, совершенно неожиданно для себя пригласил ее пообедать со мной.

Хотя в тот вечер она была очень красива и мила, я не почувствовал того радостного возбуждения, которое обычно вызывает общество хорошенькой девушки. Я испытывал к ней определенное влечение, но затевать романтическое ухаживание, которого от меня ждали, мне было просто лень.

Я не вспоминал о ней до середины недели, когда вдруг Харрингтон сказал мне, что она звонила. И опять-таки я, наверное, и не подумал бы снова с ней встретиться, не обмолвись он случайно, что, по словам моего шофера, я тогда уехал от Сэма Голдвина с красавицей, каких ему еще не доводилось видеть в жизни. Это нелепое замечание польстило моему тщеславию, и с этого все и началось. Последовали обеды, танцы, лунные ночи, прогулки по морю, и произошло неизбежное. Милдред встревожилась.

Что бы ни было у Тома Харрингтона на уме, он умел скрывать свои мысли. Когда однажды утром за завтраком я небрежным тоном объявил ему, что собираюсь жениться, он и бровью не повел.

— Когда? — спросил он невозмутимо.

— А какой у нас день сегодня?

— Вторник.

— Значит, в пятницу, — сказал я, не отрывая глаз от газеты.

— Я полагаю, это мисс Харрис.

— Да.

Он деловито кивнул.

— У вас есть кольцо?

— Нет. Купите кольцо и договоритесь об остальном, но так, чтобы это не стало известно.

Он снова кивнул, и мы больше не упоминали об этом до дня свадьбы. Он договорился, что церемония произойдет в пятницу, в восемь вечера.

В этот день я задержался на студии. В семь тридцать Том тихонько вошел в павильон и шепнул мне:

— Не забудьте, что в восемь у вас назначена встреча.

Чувствуя себя очень скверно, я разгримировался и переоделся с помощью Харрингтона. Пока мы не сели в машину, Харрингтон молчал. Только тогда он сообщил мне, что я должен встретиться с мисс Харрис в доме мистера Спаркса, мирового судьи.

Милдред уже сидела в приемной, когда мы туда вошли. Она грустно улыбнулась, и мне стало ее немного жаль. В простом темно-сером костюме она выглядела прелестно. Не успел Харрингтон сунуть мне в руку кольцо, как в двери уже показался высокий, худой человек, который очень любезно пригласил нас в другую комнату. Это и был мистер Спаркс.

— Ну, Чарли, — сказал он, — у вас замечательный секретарь. О том, что это будете вы, я узнал только полчаса назад.

Церемония была до ужаса простой и деловитой. Кольцо, которое Харрингтон передал мне, я надел на палец Милдред, и мы стали мужем и женой. На этом церемония закончилась. Когда мы уже собирались уходить, мистер Спаркс мне напомнил:

— Чарли, не забудьте поцеловать новобрачную.

— О да, конечно, — улыбнулся я.

На душе у меня было смутно. Я чувствовал, что запутался в сети глупых случайностей, что все это бессмысленно и ненужно, и наш союз лишен прочной основы. Но, с другой стороны, мне уже давно хотелось иметь жену, а Милдред была красива и молода — ей еще не исполнилось девятнадцати, — и хотя я был на десять лет старше ее, все еще могло получиться неплохо.

На следующее утро я пошел в студию с тяжелым сердцем. Эдна Первиэнс была уже там. Она прочла утренние газеты, и, когда я проходил мимо ее уборной, выглянула в двери.

— Поздравляю, — сказала она негромко.

— Спасибо, — ответил я и прошел в свою уборную. Эдна меня смутила.

Дугласу я признался, что Милдред никак нельзя назвать светилом в интеллектуальном плане. Но я и не хотел жениться на «ходячей энциклопедии» — для



интеллектуальных занятий существуют библиотеки. Но при всей оптимистичности этой теории меня не покидало беспокойство: не помешает ли женитьба моей работе? Хотя Милдред была молода и хороша, неужели я обречен всегда находиться в ее обществе? И хочу ли я этого? Я стоял перед трудной проблемой. Я не был влюблен, но теперь, когда я женился, мне хотелось, чтобы я любил свою жену и чтобы наш брак оказался счастливым.

Но для Милдред брак был приключением, столь же увлекательным, как победа на конкурсе красоты. Свое отношение к нему она вычитала из романов; она как-то не могла осознать, что это жизнь, а не беллетристика. Я пытался говорить с ней серьезно о наших планах на будущее, но до нее ничего не доходило — она жила, как в тумане.

На следующий день после нашей свадьбы Луис Майер из студии «Метро-Голдвин-Майер» начал с Милдред переговоры, предложив ей подписать контракт на год, в течение которого она должна была сняться в шести картинах за пятьдесят тысяч долларов. Я попытался отговорить ее:

— Если ты хочешь сниматься, я могу добиться для тебя пятидесяти тысяч долларов за одну картину.

С улыбкой Джоконды Милдред утвердительно кивала, что бы я ни говорил, но потом все-таки подписала контракт с Майером.

Больше всего меня раздражало в ней именно то, что она всегда кивала головой и соглашалась со мной, а потом все делала наоборот. Меня обозлила не столько она, сколько Майер, накинувшийся на нее с этим контрактом, прежде чем успели высохнуть чернила на нашем брачном свидетельстве.

Месяц или два спустя у Милдред начались осложнения с фирмой, и она попросила меня встретиться с Майером и уладить ее дела. Я сказал ей, что ни при каких обстоятельствах не желаю с ним встречаться, но она уже успела пригласить его к нам обедать, сообщив мне об этом за несколько минут до его прихода. Я был возмущен и страшно зол.

— Если он здесь появится, дело кончится скандалом.

Едва я успел произнести эти слова, как раздался звонок. Я, как заяц, прыгнул в оранжерею, примыкающую к гостиной, но из этой стеклянной клетки не было выхода наружу.

Мне казалось, что я скрывался там бесконечно долго, пока Милдред в гостиной, в нескольких шагах от меня, разговаривала с Майером о делах. У меня было такое чувство, словно он подозревал, что я прячусь где-то рядом, — его фразы звучали слишком поточески и были тщательно отредактированы. Вскоре наступила пауза, и вслед за тем я услышал, что было упомянуто мое имя — Милдред сказала, что, должно быть, меня нет дома. Я услышал какое-то движение и, до смерти испугавшись, что они могут войти в оранжерею и обнаружить мое присутствие, лег и притворился спящим. К счастью, Майер, извинившись, под каким-то предлогом ушел, не оставшись обедать.

Вскоре после нашей свадьбы выяснилось, что опасения Милдред по поводу ее беременности оказались ложной тревогой. Прошло несколько месяцев, и за все это время я сделал только одну комедию в трех частях — «Солнечную сторону»; работа над ней была мучительна. Несомненно, брак плохо сказывался на моих творческих способностях. После «Солнечной стороны» я ничего не мог придумать для новой картины.

Чтобы отвлечься, я пошел в «Орфеум». Там выступал какой-то танцор-эксцентрик, ничем особенным не отличавшийся. Кончив номер, он вывел на сцену своего

четырёхлетнего сына. Мальчуган поклонился публике вместе с отцом, а потом вдруг сделал несколько забавных па, лукаво посмотрел на зрителей, помахал ручкой и убежал. Публика была в восторге, и мальчику пришлось снова выйти на сцену. На этот раз он исполнил другой танец, который мог бы произвести неприятное впечатление, если бы не исполнитель. Но Джекки Куган<sup>1</sup> был очарователен, и зрителям танец очень понравился. Что бы он ни делал, этот малыш, все в нем было очаровательно.

Я вспомнил о нем примерно через неделю, когда сидел в павильоне, окруженный актерами, и мучительно раздумывал над темой будущей картины. В те дни я часто сидел с актерами — их присутствие и реакция на мои слова меня как-то подстегивали. Но в тот день на меня нашла апатия, я был очень вял, и, несмотря на вежливые улыбки актеров, понимал, что у меня ничего не получается. Отвлечшись, я стал рассказывать, что видел в «Орфеуме», упомянул о мальчишке Джекки Кугане, который вышел с отцом на вызовы.

Тут кто-то сказал, что читал в утренней газете, что Роско Арбакль пригласил Джекки Кугана сниматься в его фильме. Эта новость словно громом поразила меня.

— Боже мой! Как же я об этом не подумал?

Конечно, он был бы великолепен на экране! И я начал придумывать трюки и сюжетные ситуации, в которых мог бы с ним сыграть.

Выдумки так и посыпались.

— Представьте себе, малыш бежит по улицам и бьет стекла, а потом является бродяга-стекольщик и вставляет их. А какая прелесть — малыш и бродяга живут вместе и попадают в самые невероятные приключения!

Целый день я потратил на то, чтобы подробно развить этот сюжет, описывая один эпизод за другим, а актеры хмурились, не понимая, почему я так увлечен уже потерянной для нас возможностью. Много часов подряд я все продолжал придумывать действия и положения. Потом спохватился: «Но к чему это все? Арбакль подписал с ним контракт и, быть может, придумал что-нибудь в том же роде. Ну что бы мне подумать об этом раньше!»

Весь вечер и всю ночь я мысленно перебирал те возможности, которые мог бы дать сюжет, рассчитанный на участие этого мальчугана. На следующее утро, очень подавленный, я вызвал актеров на репетицию, хотя одному богу было известно, зачем я это сделал, ведь репетировать было нечего. Я сидел с ними на сцене в полной растерянности.

Кто-то предложил мне поискать другого мальчишка, быть может, подошел бы негритенок. Но я с сомнением покачал головой — трудно было найти второго такого же очаровательного малыша, как Джекки.

Около половины двенадцатого в павильон, запыхавшись, вбежал Карлайл Робинсон, наш заведующий рекламой, — он был вне себя от волнения.

— Арбакль взял не Джекки Кугана, а его отца — Джека Кугана!

Я вскочил.

— Живей! Звоните отцу и скажите ему, чтобы он сию же минуту шел сюда! По очень важному делу!

Мы все были наэлектризованы этой новостью. Кто-то подошел и похлопал меня по плечу — все были в восторге. Когда об этом услышали служащие студии, они тоже пришли в павильон и стали меня поздравлять. Но я еще не получил Джекки; могло случиться, что Арбаклю пришла бы в голову та же мысль. Я сказал Робинсону, чтобы он был очень осторожен в разговоре по телефону, и просил его не упоминать о малыше,

«даже отцу ничего не говорите, пока он не придет сюда. Просто скажите, что дело очень срочное и что мы должны с ним повидаться в ближайшие полчаса. А если ему нельзя сейчас уйти, пойдите сами к нему. Но ничего не говорите, пока он не придет сюда». Джека Кугана нашли не сразу — в студии его не оказалось, — и в течение двух часов я томился мучительной неизвестностью.

Наконец в павильон вошел недоумевающий отец Джекки. Я схватил его за плечи.

— Он произведет сенсацию! Потрясающую! Ему надо только сняться в этой картине.

И я еще долго продолжал говорить так же восторженно и так же нечленораздельно. Наверно, он подумал, что я сошел с ума.

— Этот фильм прославит вашего сына на всю жизнь!

— Моего сына?

— Да, вашего сына, если вы дадите мне его на одну картину.

— Да берите этого клопа на здоровье! — сказал он.

Говорят, младенцы и собаки — лучшие актеры в кино. Посадите годовалого ребенка с куском мыла в ванночку, и, как только он начнет его вылавливать, это немедленно вызовет взрыв хохота в зале. Все дети в той или иной форме гениальны, — задача в том, чтобы эту гениальность выявить. С Джекки это было нетрудно. Ему надо было лишь преподать несколько основных правил пантомимы; Джекки овладел ими очень быстро. Он умел вкладывать чувство в действие и действие — в чувство и мог повторять сцену по нескольку раз, не утрачивая непосредственности.

В фильме есть эпизод, когда малыш замахивается, чтобы бросить камень в окно. Сзади к нему подкрадывается полицейский, и занесенная назад рука с камнем задевает полицейский мундир. Малыш оглядывается и, словно играя, подкидывает камень вверх, ловит его, затем, как ни в чем не бывало, отбрасывает камень, не торопясь отходит, а через несколько шагов пускается наутек.

Разработав все детали сцены, я велел Джекки внимательно следить за мной и начал перечислять, что ему предстоит сделать:

— У тебя в руках камень; ты смотришь на окно; прицеливаешься; отводишь руку назад, но касаешься мундира полисмена; касаешься его пуговиц, смотришь и видишь его самого; тогда ты подкидываешь камень, будто играешь, затем отбрасываешь его и не спеша уходишь, а потом пускаешься бежать со всех ног.

Он репетировал эту сцену три или четыре раза. В конце концов мальчик был абсолютно уверен в каждом движении, а с уверенностью пришло чувство. Другими словами, движения вызвали и чувство. Эта сцена особенно удалась Джекки и стала одним из лучших мест фильма.

Конечно, не все эпизоды давались ему так же легко. Самые простые порой оказывались наиболее трудными, как это часто бывает. Мне хотелось, чтобы он где-то просто покачался на двери, но при этом ему не о чем было думать, и он утратил естественность, так что мне пришлось от этого отказаться.

Очень трудно вести себя естественно, если ум ничем не занят. На сцене очень трудно изобразить слушающего — неопытный актер при этом непременно будет переигрывать. Пока внимание Джекки было занято, он выглядел превосходно.

Срок контракта отца Джекки с Арбаклем вскоре истек, и он мог теперь оставаться с сыном у нас на студии. Впоследствии в эпизоде ночлежки он сыграл роль карманника.

Иногда он нам очень помогал. В одной сцене, когда два надзирателя рабочего дома уводят малыша от меня, мы хотели, чтобы Джекки заплакал по-настоящему. Я ему рассказывал всякие грустные истории, но Джекки был очень весел и шалил. Прождав целый час, отец вдруг заявил:

— Он у меня сейчас заплачет!

— Только не пугайте и не бейте мальчика,— сказал я виновато.

— Нет, нет, не бойтесь, — заверил меня отец.

Джекки был в веселом настроении, и у меня не хватило духу остаться и посмотреть, что сделает отец, чтобы заставить его заплакать. Я пошел к себе в уборную, и через несколько минут услышал крики и плач Джекки.

— Готово, — позвал меня отец.

Это был тот эпизод, в котором я спасаю мальчика от надзирателей и плачущего обнимаю и целую.

Когда эпизод был отснят, я спросил отца:

— Как вам это удалось?

— Я просто сказал ему, что, если он не заплачет, его на самом деле заберут из студии и отправят в рабочий дом.

Я обернулся к Джекки и, желая утешить его, взял на руки. Лицо малыша было мокро от слез.

— Мы тебя никому не отдадим, — сказал я.

— Я знаю,— шепнул он. — Папа говорил понарошку.

Гавернер Моррис, новеллист и автор многих киносценариев, часто приглашал меня в гости. Гавви, как мы все его называли, был милым и очень доброжелательным человеком, но когда я ему рассказал о «Малыше» и о той форме, которую фильм обретал, соединяя в себе «комедию пощечин» с подлинной трогательностью, Моррис сказал:

— Ничего не выйдет. Форма должна быть чистой: либо «комедия пощечин», либо драма. Смешать их невозможно, при этом один из элементов вашего фильма неизбежно окажется фальшивым.

Разгорелся философский спор. Я говорил, что переход от «комедии пощечин» к трогательности — это вопрос такта и точности в монтаже. Я доказывал, что форма возникает в процессе творчества, и, если художник искренне верит в существование какого-то мира, он покажет его убедительно, что бы он в нем ни смешивал. Конечно, моя теория основывалась исключительно на интуиции. В искусстве уже были известны сатира, фарс, реализм, натурализм, мелодрама и сказка, но сочетание грубой «комедии пощечин» с трогательностью, положенное в основу «Малыша», — это было нечто новое.

Когда я монтировал «Малыша», нашу студию посетил Сэмюэл Решевский, семилетний шахматист-вундеркинд. Он собирался дать в клубе «Атлетик» сеанс одновременной игры на двадцати досках, причем среди его противников был доктор Гриффитс, чемпион Калифорнии. У мальчика было худое, бледное, сосредоточенное личико с большими глазами, в которых, когда его с кем-нибудь знакомили, появлялось воинственное выражение. Меня предупредили, что он очень своенравен и не любит здороваться.

После того как его тренер нас познакомил, мальчик молча уставился на меня. Я продолжал монтировать фильм, проглядывая куски.

Спустя минуту я повернулся к нему.

— Ты любишь персики?

— Люблю, — ответил он.

— У нас в саду есть дерево, на котором их полно. Можешь на него залезть и нарвать сколько хочешь. Принеси один и мне.

Он просиял:

— Вот здорово! А где это дерево?

— Карл тебе покажет, — сказал я и кивнул нашему заведующему отделом рекламы.

Минут через пятнадцать он вернулся с несколькими персиками в руках и в отличном настроении. Это было началом нашей дружбы.

— Вы умеете играть в шахматы? — спросил он меня.

Пришлось признаться, что не умею.

— Я вас научу. Приходите сегодня вечером, посмотрите, как я буду играть с двадцатью шахматистами сразу, — сказал он не без хвастовства.

Я пообещал прийти и сказал, что после игры повезу его ужинать.

— Хорошо, тогда я с ними быстро расправлюсь.

Не надо было уметь играть в шахматы, чтобы понять всю драматичность происходившего в тот вечер: двадцать взрослых мужчин, склонившись к шахматным доскам, ломали голову над задачами, которые ставил перед ними семилетний ребенок, казавшийся даже меньше своих лет. Зрелище того, как он, маленький, расхаживает от игрока к игроку между поставленными буквой «П» столами, было достаточно драматично.

И весь этот зал, где триста или больше зрителей молча наблюдали, как ребенок меряется силами с серьезными пожилыми людьми, казался каким-то нереальным. У некоторых игроков был снисходительный вид, и они смотрели на доску с загадочной улыбкой Джоконды.

Мальчик был изумителен, но я тревожился, глядя на его сосредоточенное личико, которое то заливалось краской, то вдруг белело как полотно. Я понимал, что за свои успехи он расплачивается здоровьем.

— Сюда, — подзывал его кто-нибудь из противников, и ребенок подходил, несколько секунд смотрел на доску и решительно делал ход, порой прибавляя: «Мат!» В публике слышался легкий смешок. Я видел, как он быстро объявил мат восьми игрокам подряд, вызвав в публике смех и аплодисменты.

Затем он начал изучать позицию на доске доктора Гриффитса. Публика сидела молча. Сделав ход, он повернулся и увидел меня. Его лицо осветилось улыбкой, он помахал мне рукой, показывая, что долго не задержится.

Победив еще несколько игроков, он вернулся к глубоко задумавшемуся над своей доской доктору Гриффитсу.

— Вы все еще не сделали ход? — нетерпеливо спросил мальчик.

Доктор покачал головой.

— Ну, пожалуйста, поскорей.

Гриффитс улыбнулся.

Мальчик сердито посмотрел на него.

— Вы не можете меня обыграть! Если вы пойдете так, я пойду вот так! А если вы пойдете так, я отвечу вот так! — И он быстро указал семь или восемь вариантов.

— Мы просидим тут всю ночь. Вы согласны на ничью?

Доктор согласился.

Хотя я уже успел привязаться к Милдред, я понимал, что наш брак был ошибкой — мы очень не подходили друг другу. По натуре Милдред была не злой, но она была безнадежно зоологична. Я никогда не мог добраться до ее души — она была у нее забита каким-то розовым тряпьем и всякой чепухой. Она вечно была чем-то взволнована, вечно искала каких-то новых ощущений. Спустя год после свадьбы у нас родился ребенок, но прожил он всего три дня; с этого и начал распадаться наш брак. Мы продолжали жить в одном доме, но виделись редко — она была много занята в своей студии, а я — в своей. Наш дом стал печальным. Я возвращался к себе, находил на столе лишь один прибор и обедал в одиночестве. Случалось, что Милдред, ни слова не сказав, уезжала куда-нибудь на неделю, и я узнавал об ее отъезде, лишь увидев открытую дверь в ее опустевшую комнату.

Иногда мы сталкивались в подъезде, и она небрежно сообщала мне, что уезжает на субботу и воскресенье с сестрами Гиш или с какой-нибудь другой подругой, а я отправлялся к Фербенксам (Дуглас и Мэри к этому времени уже поженились). И, наконец, наступил разрыв. Это произошло в то время, когда я был занят монтажом «Мальша». Я проводил субботу и воскресенье у Фербенксов, и Дуглас решил мне рассказать о слухах, которые ходили о Милдред.

— Мне казалось, что ты должен об этом знать, — сказал он.

Мне не хотелось выяснять, насколько были верны эти слухи, но они огорчили меня. Я заговорил об этом с Милдред, она холодно все отрицала.

— Во всяком случае, так не может продолжаться, — заявил я. Последовала пауза, она так же холодно посмотрела на меня.

— А чего бы ты хотел? — спросила она.

Она была так бесстрастна, что я даже смутился.

— Я... я думаю, нам надо разойтись, — сказал я как можно спокойнее. Мне хотелось проверить, какая будет реакция. Но Милдред молчала, и после небольшой паузы я продолжил: — Мне кажется, так будет лучше для нас обоих. Ты еще молода, у тебя вся жизнь впереди, и, разумеется, мы должны разойтись по-хорошему. Попроси своего адвоката встретиться с моим, и все может быть улажено так, как ты потребуешь.

— Я хочу только одного, чтобы у меня было достаточно денег, на которые я могла бы содержать мать, — сказала Милдред.

— Может быть, ты предпочитаешь, чтобы мы с тобой сами все это обсудили, — предложил я.

Она на минуту задумалась, но потом заключила:

— Я думаю, мне все-таки прежде всего нужно повидаться с моими адвокатами.

— Прекрасно, — согласился я. — И ты пока живи в нашем доме, а я вернусь в клуб «Атлетик».

Мы расстались дружески, согласившись на том, что она потребует развода по причине моей душевной черствости, а прессе мы вообще ничего не станем сообщать.

На следующее утро Том Харрингтон перевез мои вещи в клуб. Это было ошибкой, потому что немедленно разнесся слух о нашем разводе, и газетчики стали звонить Милдред. Они, конечно, звонили и в клуб, но я отказался встречаться с ними и делать какие бы то ни было заявления. А Милдред бросила бомбу: в интервью, помещенном на первой полосе газет, она сообщала, что я бросил ее, и она добивается развода, обвиняя меня в душевной жестокости. Впрочем, по теперешним меркам это выступление носило вполне невинный характер. И все-таки я решил ей позвонить, чтобы выяснить, зачем она это сделала. Вначале она отказывалась говорить с репортерами, пояснила мне Милдред, но ей сказали, что я уже выступил и с очень резким заявлением. Понятно, газетчики ей солгали, пытаясь посеять между нами вражду, и я ей сказал об этом. Милдред пообещала мне не давать больше никаких интервью, но обещания своего не сдержала.

По калифорнийским законам Милдред причиталось получить с меня двадцать пять тысяч долларов, а я предложил ей сто тысяч, с тем, что она больше никаких претензий предъявлять ко мне не будет. Милдред согласилась. Но когда наступил срок подписания всех бумаг, она вдруг отказалась без объяснения причин.

Мой адвокат был крайне удивлен: «Тут дело нечисто», — сказал он и оказался прав. У меня были неприятности с фирмой «Фёрст нейшнл» по поводу «Малыша». Семичастную полнометражную комедию фирма хотела засчитать за три двух-частевки. При таком расчете они заплатили бы мне за «Малыша» всего лишь четыреста пять тысяч. А так как фильм обошелся мне почти в полмиллиона долларов, не считая полутора лет работы, я заявил им, что скорей ад замерзнет, чем я на это соглашусь. Они стали мне угрожать судом, но по закону у них было мало шансов выиграть, и они это прекрасно понимали. Поэтому они решили действовать через Милдред и попытались наложить арест на «Малыша».

Я еще не закончил монтировать фильм, и тут чутье подсказало мне, что безопасней будет смонтировать его в другом штате. С двумя монтажерами и с пятьюстами роликов, в которых было около ста сорока тысяч метров пленки, я переехал в Солт-Лейк-сити. В одном из номеров отеля «Солт-Лейк» мы разложили пленку, использовав всю имеющуюся мебель, — ролики лежали на подоконниках, на комодах и шкафах. Мы действовали вопреки правилам пожарной безопасности, запрещающим держать в номерах гостиниц воспламеняющийся материал, и поэтому нам приходилось работать тайно. В таких условиях я монтировал «Малыша». Нам надо было просмотреть больше двух тысяч дублей, а иногда один из них вдруг терялся, и, хотя они были, конечно, занумерованы, нам приходилось часами искать его на кровати и под кроватью, или в ванной, пока он, наконец, не находился. И вот при таких обидных потерях времени, при отсутствии самых примитивных и необходимых условий каким-то чудом мне все-таки удалось закончить монтаж.

Теперь мне предстояла новая мука — просмотр «Малыша» на публике. Я сам видел его только на монтажном столе, причем изображение, проецировавшееся на полотенце, было не больше почтовой открытки. Хорошо хоть я успел посмотреть кадры в студии на нормальном экране, но сейчас меня угнетала мысль, что работа пятнадцати месяцев закончена вслепую.

Кроме работников студии, никто не видел картины. Но после того, как мы ее много раз просмотрели на мовиоле, ничто уже не казалось нам таким смешным или интересным,

как мы себе это представляли раньше. Приходилось утешаться мыслью, что просто фильм утратил для нас прелесть новизны.

Мы решили подвергнуть его самому серьезному испытанию и устроили просмотр в местном кинотеатре без предварительного объявления. Очень большой кинозал был заполнен на три четверти. В волнении, граничащем с отчаянием, я ждал начала фильма. Мне казалось, что эта публика ничего не воспримет из того, что мы собираемся ей сейчас показать. Я даже начал сомневаться, знаю ли я вообще, что нравится публике и что вызывает смех. А вдруг я просчитался? Вдруг дал осечку, и зрители не испытают ничего, кроме полного замешательства? Страшно подумать, как иногда заблуждается автор в оценке собственного произведения.

Когда на экране появилась надпись: «Чарли Чаплин в своем новом фильме «Малыш», — я вдруг почувствовал, что горло у меня сжимается. В зале послышались радостные возгласы, раздались аплодисменты. Как это ни парадоксально, но это меня еще больше обеспокоило: может быть, они ждут слишком многого и будут разочарованы?

Пока шли первые сцены, представлявшие собой экспозицию, серьезные и несколько замедленные по темпу, я буквально изнемогал от неуверенности и волнения. Мать подбрасывает новорожденного ребенка в роскошный автомобиль, но воры похищают машину и оставляют ребенка на улице, возле мусорного ящика. И тут появляется бродяга. В публике послышался смех, который становился все громче и громче. Зрители поняли шутку! Теперь я уже не сомневался, не боялся ошибиться! Я находил ребенка и заменял ему мать. Зрители весело смеялись, увидев импровизированную люльку, сделанную из мешка, и вопили от восторга, когда я поил малыша из чайника, надев на носик соску, или вырезал дыру в старом соломенном стуле и ставил его над ночным горшком. Хохот стоял на протяжении всей картины.

После проверки на публике, убедившись, что картина смонтирована правильно, мы упаковали ее и уехали из Солт-Лейк-сити на восток. В Нью-Йорке я был вынужден сидеть в номере отеля «Ритц» безвыходно, я боялся, как бы меня не подстерегли и не вручили бы повестку в суд по иску фирмы «Фёрст нейшнл». Воспользовавшись заявлением Милдред о разводе, они пытались наложить арест на мой фильм. Трое суток посыльные из суда дежурили в вестибюле отеля. Это уже начало мне надоедать, и, когда Фрэнк Харрис пригласил меня пообедать у него, я не смог устоять против искушения. В этот вечер через вестибюль отеля «Ритц» прошла дама под густой вуалью и села в такси — это был я! Я позаимствовал дамский туалет у своей невестки, надел его поверх костюма, а по дороге в такси разоблачился.

Фрэнк Харрис был моим кумиром: я читал его книги и очень любил их. Фрэнк постоянно испытывал финансовый кризис — каждую неделю его журнал «Пирсонс мэгэзин» оказывался под угрозой закрытия. В ответ на одно из воззваний Фрэнка, опубликованных в журнале, я отправил редакции пожертвование, и в благодарность Фрэнк прислал мне два тома своей монографии об Оскаре Уайльде со следующей надписью:

*«Чарли Чаплину,*

*одному из немногих, кто помог мне, даже не будучи со мною знаком, — тому, чье редкое мастерство юмориста всегда восхищало меня, ибо те, кто заставляет людей смеяться, более достойны похвалы, чем те, кто заставляет их плакать, — от его друга Фрэнка Харриса. Посылаю вам мой личный экземпляр. Август. 1919.*

*«Я высоко ценю и превозношу лишь того писателя, который говорит правду о людях... со слезами на глазах. Паскаль».*



В тот вечер я встретился с Фрэнком впервые. Это был невысокого роста, коренастый человек с гордо посаженной головой, хорошо вылепленными, сильными чертами лица и закрученными кверху усами, которые несколько дисгармонировали с его обликом. У него был глубокий, звучный голос, которым он умело пользовался. Ему было тогда уже шестьдесят семь лет, и у него была молодая жена, рыжая красавица, очень ему преданная.

Будучи социалистом, Фрэнк, однако, был большим почитателем Бисмарка и несколько неуважительно относился к социалисту Либкнехту. Он с большим мастерством изображал, как Бисмарк с выразительными, чисто немецкими паузами отвечал в рейхстаге на вопросы Либкнехта<sup>1</sup>. Фрэнк мог бы быть великим актером. Мы проболтали с ним до четырех утра, причем в основном беседу вел он.

Я решил провести эту ночь в другом отеле, на случай, если посыльные из суда даже в этот час будут меня подкарауливать. Но ни в одном из отелей Нью-Йорка не оказалось свободных номеров. После целого часа безуспешных поисков шофер такси, грубоватый на вид человек лет сорока, обернулся ко мне и сказал:

— Послушайте, в такой поздний час вы не попадете в отель. Поедьте-ка лучше ко мне домой, и поспите у меня до утра.

Я не сразу решился принять его приглашение, но когда он упомянул о жене и детях, я успокоился. К тому же выследить меня там уж наверняка никто не мог.

— Вы очень добры,— сказал я и назвал себя.

Он был поражен и весело рассмеялся.

— А жена как обрадуется, когда узнает!

Мы приехали в какой-то крайне перенаселенный район Бронкса, где выстроились рядами одинаковые домики из бурого камня, и вошли в один из них, очень скромно обставленный, но сияющий чистотой. Шофер проводил меня в комнату, выходящую окнами во двор, где стояла широкая кровать; в ней крепко спал его сын, мальчик лет двенадцати.

— Минуточку, — сказал он, поднял мальчика и перекинул на край кровати, причем тот даже не проснулся. Потом, обернувшись ко мне, сказал: — А теперь ложитесь!

Я снова засомневался, но его гостеприимство было так трогательно, что я не смог отказаться. Он дал мне чистую ночную рубашку, и я, стараясь не разбудить мальчугана, осторожно забрался в кровать.

Всю ночь я не сомкнул глаз. Наконец мальчик проснулся, встал, оделся, и я сквозь полуприкрытые веки увидел, как он мельком, без особого интереса взглянул на меня и поспешно вышел из комнаты. Несколько минут спустя он снова прокрался в комнату, но уже в сопровождении молодой особы лет восьми, очевидно, его сестренки. По-прежнему прикидываясь спящим, я наблюдал, как они разглядывали меня, вытаращив от волнения глаза. Потом малышка прыснула со смеху, прикрыв ладонью рот, и на этом оба удалились.

Не прошло и нескольких минут, как за дверью послышался легкий шорох, а вслед за тем я услышал приглушенный голос хозяина дома, тихонько открывавшего дверь, чтобы посмотреть, не проснулся ли я. Я заверил его, что я уже не сплю.

— Ваша ванна готова, — там на лестничной площадке, — сказал он, внося мне халат, чьи-то шлепанцы и полотенце. — Что бы вы хотели на завтрак?

— Что-нибудь, это не важно, — извиняясь ответил я.

— Все, что хотите! Может, яичницу со свиной, поджаренный хлеб и кофе?

— Прекрасно!

Завтрак был подан вовремя. Едва я успел одеться, как в общую комнату, выходящую окнами на улицу, вошла его жена с дымящимся завтраком.

Эта комната была также скудно обставлена; посередине стоял обеденный стол, в углу — кресло и кушетка; над камином и над кушеткой висели семейные фотографии в рамках. Пока я в одиночестве доедал свой завтрак, я услышал, что перед домом собирается толпа ребятишек и взрослых.

— Уже проведали, что вы здесь, — улыбнулась жена хозяина, внося кофе. И тут в комнату вошел очень взволнованный шофер.

— Посмотрите, — сказал он, — какая толпа собралась на улице, и с каждой минутой народу все прибывает. Если вы позволите ребятишкам хоть одним глазком взглянуть на вас, они уйдут, — иначе тут такая свалка начнется, что вам самому не выбраться.

— Конечно, впустите их сюда, — ответил я.

И дети тотчас же устремились в комнату и, хихикая, вереницей пошли вокруг стола, за которым я продолжал пить свой кофе. Я слышал, как шофер на улице приговаривал:

— Хорошо, хорошо, только не толкайтесь, становитесь парами и идите друг за другом.

В комнату вошла молодая женщина с серьезным взволнованным лицом. Она взглянула на меня и вдруг расплакалась:

— Нет, не он! А я-то подумала, что он вернулся! — рыдала она.

Выяснилось, что кто-то из подруг таинственно ей сказал: «Как ты думаешь, кто у них там? Ни за что не догадаешься!» И она прибежала сюда, надеясь увидеть своего брата, пропавшего без вести на войне.

Я решил вернуться в «Ритц», чем бы мне это ни угрожало. Но никто меня не подкарауливал, а в отеле ждала телеграмма от моего калифорнийского адвоката, сообщавшая о том, что все улажено и Милдред согласилась на развод.

На следующий день ко мне с визитом явились принаряженные шофер с женой, и он рассказал мне, что его осаждают репортеры, требуя, чтобы он дал большую статью для воскресных выпусков газет о том, как я гостил у него в доме.

— Но, — добавил он решительно, — я им прямо заявил, что не скажу ни слова до тех пор, пока не будет на то вашего разрешения.

— Валяйте, — великодушно сказал я.

Теперь уже джентльмены из «Фёрст нейшнл» стали передо мной заискивать. Один из вице-президентов кинокомпании, мистер Гордон, владелец множества кинотеатров в восточных штатах, сказал мне как-то:

— Вы хотите получить полтора миллиона долларов, а мы даже картины не видели.

Я был вынужден сознаться, что здесь они правы, и мы устроили просмотр.

Это был страшный вечер. Двадцать пять прокатчиков фирмы «Фёрст нейшнл», холодные, равнодушные, вереницей входили в просмотровый зал, точно свидетели, призванные исполнить тягостный долг — опознать труп.

Начался просмотр. Первые титры гласили: «Фильм заставит вас улыбнуться, а, может быть, вызовет и слезы».

— Неплохо, — великодушно промолвил мистер Гордон.

После просмотра в Солт-Лейк-сити я чувствовал себя несколько увереннее, но прежде чем мы успели просмотреть половину картины, моя уверенность уже растаяла. В тех местах, где на том просмотре фильм вызывал дружный хохот, здесь раздались лишь один-два приглушенных смешка. Когда фильм закончился и в зале зажегся свет, наступила минутная пауза. А затем прокатчики стали потягиваться, щуриться на свет и болтать о своих делах.

— Гарри, где вы сегодня вечером обедаете?

— Повезу жену в ресторан «Плаза», а потом поедem с ней смотреть ревью Зигфелда.

— Я слышал, что это очень здорово.

— Хотите с нами поехать?

— Нет, я сегодня уезжаю из Нью-Йорка. Непременно хочу поспеть вовремя домой — сын кончает колледж.

Во время всей этой болтовни я чувствовал, что нервы у меня напряжены до предела. В конце концов я не выдержал:

— Каков же будет ваш приговор, джентльмены?

Кое-кто смущенно задвигался, другие смотрели себе под ноги. Мистер Гордон, очевидно их главный оратор, начал медленно прохаживаться взад и вперед. Это был плотный, коренастый человек с круглым лицом, похожий в своих очках с толстыми стеклами на сову.

— Ну что ж, Чарли, — вымолвил он, — мне придется посоветоваться со своими компаньонами.

— Это я понимаю, — живо перебил я его, — но как вам понравилась картина?

Он нерешительно помолчал, потом улыбнулся:

— Чарли, мы же пришли покупать ее, а не делиться своими впечатлениями.

Кто-то одобрительно загоготал.

— Не бойтесь, я с вас лишнего не возьму, если даже она вам понравилась, — сказал я.

Он снова помолчал в нерешительности.

— По правде говоря, я ждал чего-то другого.

— А чего именно вы ждали?

Он заговорил медленно.

— Видите ли, Чарли, честно говоря, за полтора миллиона долларов удар должен был быть посильнее.

— А чего бы вы хотели? Чтобы лондонский мост провалился на глазах у зрителя?

— Нет. Но все-таки, за полтора миллиона... — голос его зазвучал фальцетом.

— Ну что ж, джентльмены, такова моя цена. Хотите берите, хотите нет, — нетерпеливо перебил его я.

Дж.-Д. Уильямс, президент кинокомпании, подошел ко мне и сразу начал меня умасливать.

— Чарли, по-моему, фильм замечательный. Он так человечен, так непохож на все... — это «непохож» мне не понравилось. — Но вооружитесь терпением, и мы все уладим.

— А тут нечего улаживать, — обрезал я его. — Даю вам неделю сроку на окончательное решение.

После всего, что они себе позволили в отношении меня, я уже не чувствовал к ним никакого уважения. Но, надо сказать, решение они приняли очень быстро, и вскоре мой адвокат подписал контракт, по которому я должен был получать пятьдесят процентов с прибыли после того, как фирма возместит свои полтора миллиона долларов. Контракт был заключен сроком на пять лет, после чего фильм переходил в мою собственность, как и все остальные мои картины.

Освободившись от бремени домашних неприятностей и деловых забот, я витал в облаках. Много дней я жил, как затворник, прячась от всех и по неделям не видя ничего, кроме четырех стен моего номера в отеле. Теперь, прочтя в газетах статью о том, как я оказался в гостях у шофера такси, друзья стали мне звонить, и вскоре я снова зажил свободной, ничем не омрачаемой, изумительной жизнью.

Я почувствовал всю прелесть нью-йоркского гостеприимства. Фрэнк Крауниншилд, редактор журналов «Вог» и «Вэнити фэр», опекал меня и был моим чичероне, а Кондэ Наст, владелец и издатель этих журналов, устраивал в мою честь роскошные приемы. Он жил в большом доме на Мэдисон-авеню, где собиралось самое избранное общество представителей артистического мира и богатой знати. Обычно его украшали своим присутствием примадонны ревю Зигфелда, включая красавицу Олив Томас и прелестную Долорес.

Даже сидя у себя в номере отеля «Ритц», я чувствовал, как новые волнующие события выносят меня на вершину славы. Весь день непрерывно звонил телефон, приглашения сыпались на меня градом. Не приеду ли я на субботу и воскресенье туда-то, не хочу ли я посмотреть выставку лошадей? Развлечения были очень разнообразны, и мне это нравилось. Нью-Йорк оказался полон романтических интриг, каких-то ужинов в полночь, завтраков, обедов, которые так плотно заполняли все мое время, что мне приходилось уже улаживать встречу с кем-то за утренним кофе. Но, скользнув лишь по поверхности нью-йоркского общества, я захотел теперь проникнуть поглубже в интеллектуальную жизнь Гринвич-Вилледжа.

У многих комиков, клоунов и эстрадных певцов после большого успеха вдруг возникает острое желание пополнить свои знания, самоусовершенствоваться в духовном плане — они жаждут интеллектуальной манны. Где только ни встречаются эти алчущие знаний — среди портных, табачных торговцев, призовых боксеров, официантов, водителей грузовиков.

Помню, однажды я говорил в доме своего приятеля в Гринвич-Вилледже о том, как бывает мучительно, когда не можешь найти единственно правильного слова для выражения своей мысли, и о том, что существующие словари не годятся для этой цели.

— Нужно разработать такую лексикографическую систему, чтобы для каждого понятия регистрировались все выражения, от наиболее общих до самых конкретных, —

говорил я, — и тогда дедуктивным или индуктивным методом можно будет прийти к единственно правильному слову.

— А такая книга уже существует, — успокоил меня негр, шофер грузовика. — «Энциклопедия» Роджета.

Официант ресторана «Александрия», подавая мне очередное блюдо, каждый раз цитировал либо Карла Маркса, либо Уильяма Блейка <sup>1</sup>.

Комик-акробат, говоривший с сильнейшим бруклинским акцентом, усиленно рекомендовал мне прочесть «Анатомию меланхолии» Бэртона, ведь даже Шекспир оказался под сильным влиянием Бэртона, так же как и Сэм Джонсон <sup>2</sup>. «Латынь можете там пропускать», — подбодрял он меня.

Все мы, конечно, были дилетантами в этой области. С того времени, как я работал в театрах варьете, я успел прочесть много, но все это было не очень основательно. Я не умею читать быстро, и поэтому не всегда дочитываю книги до конца. Как только мне становится ясным основной тезис автора и стиль его доказательства, я уже теряю к нему интерес. Я прочел от корки до корки все пять томов «Жизнеописаний» Плутарха, но считаю, что их воспитательное значение не оправдывает усилий, затраченных на этот труд. Я читаю с разбором и некоторые книги перечитываю по многу раз. За жизнь я пересмотрел не раз Платона, Локка, Канта, «Анатомию меланхолии» Бэртона; при таком чтении я всегда умел по крупицам подобрать то, что мне было нужно.

В Гринвич-Вилледже я познакомился с очеркистом, историком и романтиком Уолдо Фрэнком, поэтом Хартом Крейном, с редактором «Мэссес» Максом Истменом, с блестящим адвокатом, инспектором нью-йоркского порта Дэдди Филд Мелоном и его женой, суфражисткой Маргарет Фостер. Обычно я завтракал в ресторане Христины, где нередко встречался с актерами труппы «Провинстаун плеейерс», которые в это время репетировали «Императора Джонса», драму, написанную молодым драматургом Юджином О'Нилом (впоследствии ставшим моим тестем). Они показали мне свой театр, больше напоминавший конюшню, примерно лошадей на шесть, не больше.

Я впервые узнал Уолдо Фрэнка по его книге очерков «Наша Америка», выпущенной в 1919 году. Эссе о Марке Твене дает глубокий, проникновенный анализ творчества писателя. Уолдо, кстати говоря, оказался первым писателем, написавшим всерьез обо мне. Естественно, мы стали с ним добрыми друзьями. В этом человеке мистик сочетается с историком; его проникновенный взгляд позволил ему заглянуть глубоко в душу Америки, и Северной и Южной.

Мы проводили в Вилледже интересные вечера. Уолдо познакомил меня с Хартом Крейном. Мы обедали в маленькой квартирке Уолдо, порой засиживаясь у него за разговорами до утреннего завтрака. Это были волнующие диспуты, во время которых мы все трое выбивались из сил, пытаясь как можно точнее выразить тончайшие оттенки своей мысли.

Харт Крейн был безнадежно беден. Его отец, миллионер, фабрикант конфет, желал, чтобы сын продолжал его дело, и не давал ему ни цента, пытаясь хоть этим способом отбить у сына охоту к поэзии. Лично у меня нет ни слуха, ни вкуса к современной поэзии, но именно теперь, когда я писал эту книгу, я прочел «Мост» Харта Крейна, очень эмоциональное излияние, странное и драматичное, полное ранящей вас боли, остро отточенных образов, которое, однако, показалось мне слишком пронзительным. Может быть, эта резкость была в характере Харта Крейна, но в то же время в нем была и какая-то мягкая нежность.

Мы говорили о поэзии, и я сказал, что поэзия — это, в сущности, любовное письмо, обращенное ко всему миру.

— Но только к очень ограниченному миру, — печально поправил меня Харт.

Он говорил о том, что я работаю в традициях греческой комедии. Я рассказал ему, что пытался читать Аристофана в английском переводе, но так и не смог дочитать.

В конце концов Харту была присуждена стипендия Гуггенхейма, но произошло это слишком поздно. Годы бедности и небрежения к его таланту сделали свое дело — он стал пить, повел беспутный образ жизни и, возвращаясь на пароходе из Мексики в Штаты, бросился в море.

За несколько лет до самоубийства он прислал мне книгу своих стихов «Белые здания» со следующей надписью: «Чарльзу Чаплину в воспоминание о «Малыше» от Харта Крейна. 20 января, 28 г.». Одно из стихотворений называлось «Чаплинеска».

Мы приспособливаемся к миру,  
И рады всяческому утешенью,  
Какой бы ветер его ни занес  
В дырявые и слишком пустые карманы.  
Потому что все еще любим мир,  
Где кто-то подбирает котенка  
И прячет его от жестокости улиц  
В теплый, рваный рукав.

Всем уступаем дорогу,  
Дурацкой улыбкой  
Хотим отсрочить удар кулака,  
Следим невинно и удивленно,  
Взглядом погасшим и окосевшим,  
На перст, что медленно целит в нас.

И все же эти крушенья не большой обман,  
Чем танцы гибкого камыша.  
А наша смерть — небольшое событие.  
От всего уйдешь, но не от сердца,  
Оно не виновато, что не может жить.

Играем, вынуждены глупо ухмыляться;  
Но мы видели луну в пустынных проулках,  
Что творила из свалки чашу Грааля,  
Наполненную весельем и смехом.  
И все же, сквозь шум веселья и поисков,  
Мы сумели расслышать котенка под лестницей —  
Глас вопиющего в пустыне.

Дэдди Филд Мэлон устроил в Вилледже интересный вечер, пригласив на него голландского промышленника Жана Буассевена, Макса Истмена и других. Один из гостей, назвавшийся «Джорджем» (мне так никогда и не пришлось узнать его настоящего имени), показался мне очень нервным и чем-то крайне взволнованным. Кто-то мне рассказал, что он был в большой милости у короля Болгарии, и тот помог ему получить

образование в Софийском университете. Но вскоре Джордж отказался от королевского покровительства, примкнул к красным, эмигрировал в Штаты, вошел здесь в ИРМ и в конце концов был приговорен к двадцати годам заключения.

Просидев из них два года, он по кассации добился решения о пересмотре дела и сейчас был выпущен до суда под залог.

Я смотрел, как он играл в шарady, а Дэдди Филд Мелон, словно угадав мои мысли, шепнул мне: «У него нет никаких шансов выиграть кассацию».

Накинув на себя скатерть, Джордж изображал Сару Бернар. Мы смеялись, глядя на него, но, должно быть, многих, как и меня, не оставляла мысль о том, что ему придется вернуться в тюрьму и отсидеть там еще долгих восемнадцать лет.

В атмосфере этого вечера было какое-то странное, лихорадочное возбуждение. Я уже собрался уходить, как вдруг Джордж окликнул меня:

— Куда вы торопитесь, Чарли? Почему так рано решили уйти?

Я отвел его в сторону, не зная, что ему сказать.

— Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? — шепнул я.

Он отмахнулся, словно отгоняя от себя эту мысль, а потом схватил мою руку и с чувством сказал:

— Обо мне не тревожьтесь, Чарли. Как-нибудь выпутаюсь.

Мне хотелось подольше остаться в Нью-Йорке, но в Калифорнии меня недала работа. Прежде всего я намеревался выполнить контракт с «Фёрст нейшнл», желая как можно скорее начать снимать для «Юнайтед артистс».

После свободы и легкости моей интересной жизни в Нью-Йорке пришлось спуститься на землю. Снять еще четыре двухчастные комедии для «Фёрст нейшнл» представлялось мне задачей почти непреодолимой трудности. Несколько дней я просидел в студии, тренируя привычку думать. Способность думать, подобно игре на скрипке или рояле, требует ежедневной практики, а я в последнее время утратил эту привычку.

Я слишком увлекся калейдоскопом Нью-Йорка, и это не могло не оказать своего действия. Чтобы привести себя в норму, я решил поехать со своим другом, англичанином доктором Сесилем Рейнольдсом, на Каталину, половить рыбу.

Всякому рыбаку Каталина должна показаться раем. В Авалоне, старом, сонном городишке на острове, было две маленькие гостиницы. Рыба в Каталине хорошо ловилась весь год, но в часы, когда шел тунец, достать там лодку было совершенно невысказано. Ранним утром, бывало, кто-нибудь крикнет: «Пошел!» — и тут уже, куда только глазом ни кинешь, в море бьется и плещет тунец, каждый — от десяти и чуть не до ста килограммов весом. Сонная авалонская гостиница вмиг начинала гудеть, охваченная рыболовной горячкой. Не было времени даже одеться, и если вы оказывались тем счастливецом, который догадался накануне заарендовать лодку, вы мчались, сломя голову, на бегу застегивая штаны.

В один из таких дней нам с доктором удалось до завтрака поймать восемь тунцов, каждый из которых весил килограммов по десять. Но тунец обычно исчезает так же внезапно, как и показывается, и тогда мы снова спокойно сидели над удочками. Тунца мы иногда ловили с помощью воздушного змея, которого привязывали к леске, а приманкой была летучая рыбка, плескавшаяся на водяной глади. Такой способ рыбной ловли очень

увлекателен — вы видите, как бьется тунец, вспенивая воду вокруг приманки, а потом отплывает с ней на двести-триста метров.

Меч-рыба, которую ловят на Каталине, бывает от тридцати и до двухсот килограммов весом. Ловля этой рыбы требует большой сноровки. Леску оставляют свободной, меч-рыба мягко берет приманку — маленькую макрель или летучую рыбку — и отплывает с ней метров на сто. Затем она замирает на месте, и вы останавливаете лодку и ждете целую минуту, давая ей время проглотить приманку, а затем начинаете медленно наматывать леску, пока она не натянется. Тогда вы наносите решительный удар — два-три раза, сильно дергаете леску — и тут начинается игра. Меч-рыба делает рывок метров на сто, а то и больше, катушка жужжит и вдруг замолкает. Вы начинаете быстро сматывать слабинку — иначе леска лопнет, как нитка. Если, удирая, меч-рыба сделает резкий поворот, сопротивление воды перережет леску. А рыба начинает выскакивать из воды и проделывает это от двадцати до сорока раз, трясая головой, словно бульдог. В конце концов рыба опускается на дно, и тут начинается самая трудная работа — надо тащить ее наверх. Я поймал рыбку весом в семьдесят с половиной килограммов и вытащил ее всего лишь за двадцать две минуты.

Какие это были счастливые часы, когда мы с доктором на заре, с удочками в руках, дремали на корме, а над океаном расстился утренний туман, горизонт сливался с бесконечностью, и тишина была такой глубокой, что даже крики чаек и ленивое пыхтение мотора нашей лодки наполнялись каким-то особым значением.

Доктор Рейнольдс был подлинным гением в области хирургии мозга, добиваясь поистине чудотворных результатов. Мне были известны многие истории болезни его пациентов. У одной девочки, у которой оказалась опухоль мозга, бывало до двадцати припадков в день, и ей грозил клинический идиотизм. После сделанной Сесилем операции она совершенно выздоровела и впоследствии стала блестящим ученым.

Но Сесиль был «тронутый» — он был помешан на желании стать актером. Эта неутолимая страсть сделала его моим другом.

— Театр поддерживает душу, — говорил он. Я спорил с ним, утверждая, что его душу достаточно поддерживает врачебная работа. Что может быть драматичнее превращения бессмысленной идиотки в блистательного ученого?

— Тут только надо точно знать, как проходят нервные волокна, и все, — ответил Рейнольдс, — а вот актерская игра, она дает переживание, от которого душа расцветает.

Я спросил, почему же он тогда избрал мозговую хирургию.

— Из-за ее драматичности, — ответил доктор.

Он часто играл небольшие роли в любительском театре в Пасадене. В моем фильме «Новые времена» он сыграл священника, посещающего заключенных в тюрьме.

По возвращении с рыбной ловли меня ждала дома весть, что здоровье матери поправилось, и, так как война уже кончилась, мы спокойно можем перевезти ее в Калифорнию. Я послал за ней в Англию Тома, который должен был привезти ее на пароходе. В списке пассажиров она была записана под вымышленной фамилией.

Во время всего путешествия мать вела себя совершенно нормально. Каждый вечер она обедала в ресторане, а днем участвовала во всех играх на палубе. В Нью-Йорке она держалась очень любезно и непринужденно, вполне владела собой до того момента, когда с ней поздоровался представитель иммиграционных властей.

— Так, так, миссис Чаплин! Очень рад с вами познакомиться! Значит, вы и есть мать нашего знаменитого Чарли?!



— Да, — очень мило ответила мать. — А вы Иисус Христос!

Воображаю, какое лицо было у этого чиновника! Он взглянул на Тома, а затем вежливо сказал:

— Не пройдете ли вы на минуточку вот сюда, миссис Чаплин?

Том сразу понял, что им грозят большие неприятности. Но все-таки после довольно долгой волокиты департамент по делам иммиграции оказался настолько любезен, что дал матери разрешение на въезд, при условии, что она не будет находиться на иждивении государства. Разрешение было временным, его надо было ежегодно возобновлять.

Я не видел ее со времени моей последней поездки в Англию, то есть десять лет, и был потрясен, когда из вагона в Пасадене вышла маленькая старушка. Она сразу узнала Сиднея и меня и вела себя вполне разумно.

Мы поселили ее неподалеку от нас, в маленьком домике на берегу моря. При ней была опытная сестра, и там же жили муж с женой, которые вели ее хозяйство. По временам мы с Сиднеем навещали ее; вечерами мы играли во всякие игры, а днем она любила устраивать пикники, отправляясь в машине в далекие прогулки. Иногда она приезжала ко мне в студию, и я показывал ей свои комедии.

Наконец «Малыш» вышел на экраны в Нью-Йорке и имел огромный успех. Джекки Куган, как я и предсказывал его отцу при первой нашей встрече, произвел сенсацию. После своего успеха в «Малыше» Джекки заработал в кино более четырех миллионов долларов. Каждый день мы получали газетные вырезки с восторженными рецензиями, в которых «Малыша» причисляли к классике кинематографического искусства. Но у меня так и не хватило смелости поехать в Нью-Йорк и посмотреть там фильм, — я предпочитал оставаться в Калифорнии и узнавать обо всем из вторых рук.

Хотя я пишу автобиографию, тем не менее позволю себе сказать несколько слов о том, как делаются фильмы. На эту тему было написано много хороших книг, но все горе в том, что в большинстве из них читателю навязывают вкусы автора. А такая книга должна быть лишь учебником технологии нашего искусства, который знакомит человека с орудиями его производства. Ученик, обладающий даром воображения, должен сам находить приемы достижения драматических эффектов. Если это натура творческая, ему нужно лишь знание основ техники. Настоящего художника больше всего возбуждает и стимулирует полная свобода творить по-своему, вопреки сложившейся традиции. Вот почему у многих режиссеров именно первый фильм обладает наибольшей свежестью и оригинальностью.

Сугубо интеллектуальные рассуждения о линии и пространстве, композиции, темпе и так далее — все это очень интересно, однако же имеет весьма отдаленное отношение к актерской игре и легко может оказаться бесплодной догмой. Простота подхода — всегда самое лучшее.

Лично я терпеть не могу всяческие хитроумные эффекты, вроде съемки через огонь, из-за решетки камина — «с точки зрения» уголька, или передвижение камеры за актером по вестибюлю гостиницы, словно я следую за ним на велосипеде. Такие приемы слишком прозрачны и примитивны. Как только зритель познакомится с местом действия, ему будет скучно бесконечное панорамирование лишь с целью показать, что актер перешел с одного места на другое. Эти надуманные эффекты только замедляют действие, они скучны и неприятны, хотя их и принимают ошибочно за то, что обозначается навязчивым словом «искусство».

Обычно я помещаю камеру так, чтобы по возможности облегчить свободу движения актера. Когда камеру кладут на пол или, наоборот, вплотную придвигают к ноздрям актера, — играет камера, а не актер. Камера не должна навязывать себя зрителю.

Умение ценить время по-прежнему остается главным достоинством в искусстве кино. Это понимали и Эйзенштейн и Гриффит. Быстрые монтажные переходы и наплывы составляют основу динамики фильма.

Меня удивляют высказывания некоторых критиков о том, что моя техника съемки старомодна, что я не иду в ногу со временем. С каким временем? Моя техника порождается моей мыслью, моей логикой и моим подходом к данному произведению; я не заимствую ее у других. Если бы художник обязан был идти в ногу со временем, то Рембрандт оказался бы давно устаревшим по сравнению с Ван-Гогом.

Кстати, следует сказать и несколько слов, полезных для тех, кто намерен создавать так называемые супербоевики: их-то, в сущности, легче всего делать. Супербоевик почти не требует от актера и от режиссера ни воображения, ни таланта. Тут нужны лишь десять миллионов долларов, многотысячные толпы статистов, костюмы, сложные установки и декорации. Утверждая могущество клея и холста, ничего не стоит пустить по течению Нила томную Клеопатру, загнать в Красное море двадцать тысяч статистов и обрушить трубным звуком стены Иерихона — все это сведется лишь к умению строителей и декораторов. Пока сам фельдмаршал сидит в своем режиссерском кресле, заглядывая попеременно то в сценарий, то на карту дислокации своих сил, его вымуштрованные офицеры в поту и в мыле носятся по полю боя, отдавая приказы частям: один свисток означает «десять тысяч слева», два свистка — «десять тысяч справа», а три — «валяйте все разом!».

Главной темой большинства этих зрелищ является сверхчеловек. Герой прыгает, карабкается, стреляет, дерется и любит несравненно лучше всех. И это относится ко всем его качествам, кроме одного: способности мыслить.

И еще коротко о режиссуре. Работая с актерами, надо быть психологом. Скажем, какой-то актер приходит работать в мою группу уже после начала съемок. Каким бы превосходным актером он ни был, он станет нервничать в непривычном ему окружении. И тут, как я выяснил на собственном опыте, очень помогает скромность режиссера. Хотя я прекрасно знал, чего хотел, я все же отводил новичка в сторону и признавался ему, что устал, волнуюсь и не знаю, как сделать этот эпизод. Пытаясь мне помочь, актер очень быстро забывал о собственной неуверенности и начинал хорошо играть.

Драматург Марк Коннелли однажды поставил такой вопрос: на что должна воздействовать пьеса — на чувства или на разум зрителя? Я считаю, что на чувства. В театре чувство воздействует сильнее, чем интеллект. Театр предназначен для чувства — сцена, просцениум, красный занавес, — вся архитектура театра обращается прежде всего к чувствам зрителя. Разумеется, здесь участвует и разум, но он вторичен. Это понимал Чехов, понимал и Мольнар<sup>1</sup> и многие другие драматурги. Они хорошо понимали и значение сценичности — этой основы искусства драматургии.

Для меня сценичность означает усиление драматического действия: искусство паузы (резко захлопнутая книга, закуренная папироса), шумы за сценой (выстрел, крик, падение, грохот), эффектное появление или уход актера — все то, что может на первый взгляд показаться банальным, но что становится поэзией театра, если этими приемами пользоваться тонко и осторожно.

Идея, лишённая сценичности, мало чего стоит. Гораздо важнее уметь воздействовать на зрителя. Можно воздействовать и пустяком, если только художник обладает настоящим чувством сценичности.

Примером, поясняющим мою мысль, может стать пролог, который предшествовал показу «Парижанки» в Нью-Йорке. В те дни ко всем полнометражным фильмам давались прологи, длившиеся примерно полчаса. У меня не было ни сценария, ни сюжета для такого пролога, но я вспомнил виденный мною однажды сентиментальный цветной эстамп «Соната Бетховена», изображавший студию художника, где несколько его друзей в полумраке грустно слушают скрипача. Я решил воспроизвести это на сцене, хотя на подготовку пролога у меня оставалось всего два дня.

Я пригласил пианиста, скрипача, исполнителей танца апашей и певца и использовал в этом прологе все известные мне театральные трюки. Гости сидели на маленьких диванчиках или на полу, спиной к зрителям, не думая о них и попивая виски, пока скрипач играл свою сонату. В музыкальной паузе можно было услышать, как всхрипнул один подвыпивший гость. Когда скрипач кончил играть, начали танцевать апаши, потом певец запел песенку «Aupres de ma Blonde» \*, но едва он спел две строчки, как один из гостей сказал: «Уже три часа, я иду домой». Другой поддержал его: «Да, нам всем пора расходиться». Еще две-три реплики — и сцена пустеет. Хозяин остается один, закуривает, тушит свет в студии, а за окном снова слышится: «Aupres de ma Blonde». Когда на сцене становится совсем темно, и лишь лунный свет пробивается сквозь окно, исчезает хозяин, музыка постепенно замирает, и занавес медленно опускается.

---

\* — «Рядом с моей блондиночкой» (*франц.*).

Пока на сцене шла вся эта чепуха, в зале слышно было, как муха пролетит. За целых полчаса на сцене не было сказано ни одного путного слова и только были исполнены два-три заурядных эстрадных номера. И все-таки в вечер премьеры девять раз поднимался занавес.

Я не стану прикидываться, что очень люблю Шекспира в театре. Я слишком привержен современности. Шекспир требует особой, костюмной манеры игры, которую я лично не люблю — она меня не волнует. Мне всегда кажется, что я слышу ученого эрудита:

Мой милый Пук, поди сюда скорее!  
Ты помнишь ли, однажды там сидел  
Я на мысу и слушал, как сирена,  
Несомая дельфином на хребте,  
Так хорошо, так сладко распевала,  
Что песнь ее смирила ярость волн,  
И звездочки со сфер своих сбегали,  
Чтоб музыку сирены услышать? \*

---

\* В переводе Н. Сатина.

Это может быть замечательно и прекрасно, но такая поэзия в театре не доставляет мне радости. К тому же я не люблю шекспировских сюжетов, в которых замешаны короли, королевы, высокие и знатные люди и их чувство чести. Может быть, это неприятие имеет в своей основе какие-то психологические, очень личные мотивы, может быть, оказывает влияние мой странный солипсизм. В погоне за хлебом насущным в моей юности редко возникали вопросы чести, и мне трудно разделять заботы принца. Мать Гамлета могла переспать с кем угодно во дворце, а я продолжал бы оставаться безучастным к той боли, которую это причинило Гамлету.

В постановке пьесы мне нравится условность театра, с его просцениумом, отделяющим зрителей от изображаемого мира. Я люблю, чтобы сцена открывалась, когда подымается или раздвигается занавес. Мне не нравится, когда действие переходит границу рампы, смешивается со зрителем, а актер, перегнувшись через рампу, объясняет зрителю сюжет. Я уже не говорю о том, что такая затея, будучи по своему существу дидактической, разрушает все очарование театра, — это же очень прозаический способ экспозиции.

В декорации мне хочется видеть то, что создает реальность данной сцены, и ничего больше. Если это современная пьеса о повседневной жизни людей, я не хочу в ней видеть геометрических конструкций. Такие поражающие воображение эффекты лишь нарушают для меня достоверность сцены.

Порой очень тонкие художники, навязывая зрителю свой сценический замысел, доходят до подчинения этому замыслу и актера и пьесы. С другой стороны, сцена почти без декораций — кулисы и уходящие в пустоту ступени — худший вид насилия над зрителем. От пустой сцены просто разит ученостью. Она как бы кричит: «Мы все оставляем на волю вашего тонкого восприятия и воображения». Мне как-то довелось увидеть Лоренса Оливье<sup>1</sup>, когда он во фраке читал отрывок из «Ричарда III». Своим искусством он добивался ощущения средневековой атмосферы, но его белый галстук и фрак выглядели при этом несколько неуместно.

Кто-то сказал, что искусство игры актера определяется его раскованностью, полным освобождением. Этот основной принцип приложим ко всякому искусству, но актер особенно должен уметь владеть собой, внутренне себя сдерживать. Какой бы бешеной ни была сцена, в актере всегда должен жить мастер, способный оставаться спокойным, свободным от всякого напряжения, — он ведет и направляет игру страстей. Внешне актер может быть очень взволнован, но мастер внутри актера полностью владеет собой, и добиться этого можно лишь путем полного освобождения. А как достичь такой раскованности? Это трудно. Мой способ, наверно, очень индивидуален. До выхода на сцену я всегда так страшно нервничаю и бываю так возбужден, что к моменту выхода, вконец измученный, уже не чувствую никакого напряжения.

Я не верю, что игре можно научить. Я видел очень умных людей, у которых ничего не получалось, и тупиц, которые играли хорошо. Но актерская игра, по своему существу, требует души. Уэйнрайт, большой авторитет в области эстетики, друг Чарльза Лэма и многих литературных светил своего времени, был жестоким, холодным убийцей, который из корыстных побуждений отравил своего двоюродного брата. Он может послужить примером умного человека, который никогда не смог бы стать хорошим актером, потому что был бездушен.

Интеллект при полном отсутствии чувства может быть типичен для отъявленного злодея, а чувством без интеллекта может обладать и безобидный идиот. Только когда интеллект и чувство находятся в полной гармонии, мы получаем великого актера.

Большой актер непременно должен любить себя в образе. И я не вижу в этом ничего плохого. Мне часто приходилось слышать от актеров: «Как я люблю эту роль», — и это означало, что он любил себя в этой роли. Может быть, это эгоцентризм, но ведь большой актер всегда занят главным образом своим мастерством: Ирвинг в «Колоколах», Три в роли Свенгали, Мартин Харвей в «Романе папиросницы» — все они играли в очень посредственных пьесах, но у них были очень хорошие роли. Одной горячей любви к театру недостаточно, нужна горячая любовь к себе и вера в себя.

Школу игры по системе я знаю мало. Если не ошибаюсь, она сосредоточивает внимание на развитии индивидуальности актера, которая, кстати сказать, у иных актеров могла бы быть менее развита. В конце концов играть на сцене — значит притворяться

другим человеком. Индивидуальность же — это то неопределимое нечто, которое и так всегда просвечивает в игре актера. Но каждая школа актерской игры имеет свои достоинства. Станиславский, например, стремился к «внутренней правде», что, как я понимаю, означает «быть им», вместо того чтобы «играть его». А это требует проникновения в образ: актер должен побывать в шкуре льва или орла, должен обладать способностью почувствовать душу образа и точно знать, как он должен реагировать на любое конкретное обстоятельство. Научить этому нельзя.

Чтобы объяснить настоящему актеру характер действующего лица, часто бывает достаточно одного слова или фразы: «Это же Фальстаф» или «Это современная мадам Бовари». Правда, рассказывают, что Джек Харрис сказал однажды актрисе: «Ее характер обладает гибкостью черного тюльпана, который колыхается на ветру». Тут уж он зашел слишком далеко.

Я не согласен с теорией, требующей, чтобы актер знал историю жизни своего персонажа. Ни один драматург не в состоянии вложить в текст пьесы те изумительные нюансы, которые, например, Дузе давала почувствовать зрителям. Тут уже была та глубина образа, которая выше авторского понимания. А насколько мне известно, Дузе не была интеллектуальной актрисой.

Я ненавижу те школы драматического искусства, которые требуют рефлексии и самоанализа для пробуждения в актере верного чувства. Самый факт, что учащегося приходится подвергать такой душевной операции, уже доказывает, что он не может быть актером.

Что же касается столь часто рекламируемого метафизического словечка «правда», то ведь она существует в различных формах, и каждая из них по-своему права. Классической манере игры в «Комеди Франсэз» веришь, как веришь и так называемой реалистической манере в пьесе Ибсена; обе они существуют в театральном искусстве и должны создавать иллюзию правды, — в конце концов, во всякой правде есть частица лжи.

Я никогда не учился актерскому мастерству, но мне посчастливилось жить в эпоху великих актеров, и еще ребенком я видел их и впитал какую-то часть их мастерства и опыта. Хотя я был достаточно одарен, на репетициях, к моему изумлению, оказалось, что мне еще надо учиться технике сценического искусства. Всякого, даже самого талантливого новичка, нужно обучать технике нашего мастерства: как бы ни была велика его одаренность, он должен научиться пользоваться ею.

Я понял, что для этого важнее всего уметь ориентироваться, другими словами, твердо знать в каждое мгновение на сцене, где ты находишься и что ты сейчас делаешь. Выходя на сцену, актер должен знать, почему и где он остановится, когда повернется и где станет, когда и где сядет и будет ли он говорить обращаясь прямо к партнеру или в сторону. Способность ориентироваться оправдывает действие актера и отличает профессионала от любителя. Как режиссер я всегда требую от актеров точной ориентации.

В актерской игре меня привлекает тонкость и сдержанность. Воплощением этих качеств был, по-моему, Джон Дрю<sup>1</sup>. Он был жизнерадостен и тонок, в нем был настоящий юмор и много обаяния. Быть эмоциональным нетрудно — этого всегда ждут от хорошего актера, — нужны, конечно, и голос и хорошая дикция. А вот Дэвид Уорфилд<sup>1</sup> обладал великолепным голосом и способностью выражать сильные чувства, но что бы он ни говорил, зрителю всегда слышалась заученность Десяти заповедей.

Меня часто спрашивали, кто мои любимые актеры и актрисы в американском театре. На этот вопрос трудно ответить хотя бы потому, что такой отбор предполагает, что остальные актеры ниже названных, а это вовсе не так. Среди моих любимцев далеко не

все были серьезными актерами — одни были комиками, другие эстрадными исполнителями.

Например, я считаю Ола Джолсона великим артистом, бессознательно владевшим тайной очарования и удивительной жизненности. Из всех эстрадных артистов Америки он оставлял наиболее сильное впечатление, этот чернолицый менестрель, обладавший мощным баритоном, который пел сентиментальные песенки и отпускал банальные шуточки. Что бы он ни пел, он поднимал либо опускал вас до своего уровня. И даже смешной песенкой «Мамми» он мог увлечь любого слушателя. В фильмах отражена лишь слабая тень его искусства, но в 1918 году он был на вершине своей славы и буквально гипнотизировал публику. В его гибком теле, большой голове и глубоко запавших глазах, пронизывающих вас насквозь, таилась какая-то странная притягательная сила. Когда он пел такие песни, как «Надо мной сияет радуга» или «Когда я покидаю мир», никто не мог остаться равнодушным. Он олицетворял в себе поэзию Бродвея, ее живость и вульгарность, ее устремления и мечты.

Голландский комик Сэм Бернارد, превосходный артист, по всякому поводу приходил в отчаяние. «Яйца! Шестьдесят центов дюжина! Да еще гнилые! А солонина почему? Плати за нее два доллара! Два доллара за маленький кусочек солонины!» И тут, показывая, какой это маленький кусочек, он сжимал два пальца перед носом, словно вдевал нитку в игольное ушко, а потом вдруг взрывался, бросался ко всем по очереди: «А я помню время, когда на два доллара давали столько солонины, что и не унести было!»

За кулисами Сэм был философом. Когда Форд Стерлинг пришел к нему жаловаться, что его обманывает жена, Сэм спокойно заметил: «Ну и что? Они и Наполеона обманывали!»

Фрэнка Тинней я увидел в первый мой приезд в Нью-Йорк. Он был любимцем публики «Зимнего сада» и с удивительной легкостью общался со зрителями. Склонившись над рампой, он мог шепнуть: «Наша премьерша, кажется, вторилась в меня!», — а потом исподтишка оглянуться в сторону кулис, словно чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, и, снова обернувшись к публике, поведать ей свой секрет. «Даже трогательно! Она сегодня входит на сцену, и я говорю ей: «Добрый вечер», — а она так влюблена в меня, что даже ответить не может».

В этот момент премьерша выходила на сцену, и Тинней живо прикладывал палец к губам, предупреждая публику, что она не должна его выдавать. Он весело окликал партнершу: «Привет, деточка!». Она оборачивалась с негодующим видом и, гневно удаляясь со сцены, роняла гребень.

И тут Тинней шептал публике: «Что я вам говорил? А наедине мы с ней вот как!» — и он крепко переплетал два пальца. Подобрав гребень, он звал режиссера: «Гарри,несите это, пожалуйста, в нашу уборную!»

Я снова увидел его на сцене несколько лет спустя и был потрясен: муза комедии покинула его. Тинней был так неловок на сцене — я не мог поверить, что это тот же актер. Именно эта перемена в нем подала мне впоследствии идею «Огней рампы». Мне хотелось понять, каким образом Тинней мог потерять живость и уверенность в себе. В «Огнях рампы» причиной была старость. Кальверо постарел, стал чаще заглядывать себе в душу, глубже ощущать свое человеческое достоинство, и это разлучило его с публикой — пропала легкость непосредственного общения.

Больше других американских актрис я восхищался миссис Фиске, ее кипучим темпераментом, юмором и умом; мне нравилась также и ее племянница Эмили Стивенс, очень одаренная актриса, обладавшая настоящим блеском и легкостью. В образах Джен Коул всегда чувствовалась мысль и сила, миссис Лесли Картер также захватывала меня

своей игрой. Из комедийных актрис особое удовольствие доставляла мне Трикси Фригэнца и, разумеется, Фанни Брайс, чей особый талант в жанре бурлескной комедии так обогащало превосходное чувство сценичности. У нас, англичан, были свои великие актрисы: Эллен Терри, Ада Рив, Айрин Ванбру, Сибилла Торндайк и умница миссис Пат Кемпбелл, — я видел их всех, за исключением миссис Пат.

Джон Барримор выделялся очень точным ощущением истинных традиций театра, и в то же время со свойственной ему вульгарностью Джон носил свой талант, словно шелковые носки без подвязок, — с той небрежностью человека, который ко всему на свете относится свысока. Для него все было шуткой — сыграть ли Гамлета или переспать ночь с герцогиней.

В его биографии, написанной Джин Фаулер, есть рассказ о том, как после чудовищной попойки с шампанским его пришлось перед спектаклем вытаскивать из кровати и кое-как вытолкать на сцену играть Гамлета. Он играл, но едва выходил за кулисы, его начинало рвать. Он опохмелялся и снова выходил на сцену. И тем не менее наутро английские критики превознесли его игру до небес и провозгласили его лучшим Гамлетом нашей эпохи. Эта нелепая история всякому разумному человеку может показаться просто оскорбительной.

Я познакомился с Джоном, когда он был в зените своей славы. Он сидел мрачный в одной из комнат студии «Юнайтед артистс», нас познакомили и оставили наедине. Я начал говорить о его триумфе в роли Гамлета и о том, что Гамлет раскрывается подробнее и точнее, чем какой-нибудь другой персонаж Шекспира.

Джон на минуту задумался.

— Король — тоже неплохая роль. Мне он даже нравится больше, чем Гамлет.

Это меня удивило, я так и не понял, искренне он говорил или нет. Если бы Барримор был не столь тщеславен и держался бы проще, он мог бы стать в ряд с величайшими актерами, такими, как Бут, Ирвинг, Мэнсфилд и Три. Но эти обладали истинным благородством духа и тонкой восприимчивостью. Все горе Джона было в том, что он составил наивно-романтическое представление о себе самом, как о гении, обреченном на самоуничтожение. В конце концов он к этому и пришел довольно пошлым и шумным образом, допившись до смерти.

«Малыш» прошел с большим успехом, но впереди у меня была трудная задача: мне предстояло сделать для «Фёрст нейшнл» еще четыре фильма. В тихом отчаянии я бродил по бутафорской, надеясь, что какой-нибудь старый реквизит — тюремная решетка, рояль или каток для белья — вдруг подскажет мне тему для новой комедии. На глаза мне попался набор клюшек для игры в гольф. Нашел! Бродяга играет в гольф... и появилась комедия «Праздник класс».

Сюжет фильма был незамысловат. Бродяга предается всем радостям жизни богатых людей. Он едет летом на юг, но не в вагоне, а под вагоном. Он играет в гольф мячами, которые теряют на площадке другие. На балу-маскараде его принимают за богача в костюме бродяги, и он влюбляется в красавицу. Но все кончается крахом. И, ускользнув от взбешенных гостей, бродяга снова уходит своей дорогой.

Во время съемки одного из эпизодов я обжегся паяльной лампой. Карл Робинсон решил в целях рекламы сообщить об этом случае репортерам. И в тот же вечер я с ужасом узнал из газет, что Чаплин получил опасные ожоги лица, рук и всего тела... Сотни писем и телеграмм посыпались в студию, непрерывно звонил телефон. Я послал опровержение, но очень немногие газеты напечатали его. Из Англии я получил письмо от Г. Уэллса. Он

писал, что потрясен постигшим меня несчастьем и что для искусства будет большой потерей, если я не смогу играть. Я немедленно послал ему телеграмму, объяснив, что случилось на самом деле.

По окончании съемки «Праздного класса» я собирался начать новую комедию в двух частях. Меня забавляла мысль сделать фильм-бурлеск о роскошной жизни водопроводчиков. В первом эпизоде мы с Маком Суэйном<sup>1</sup> выходим из лимузина с шофером в ливрее, и нас с распростертыми объятиями встречает прелестная хозяйка дома, Эдна Первиэнс. Она щедро угощает нас обильным обедом, поит вином и только после этого решается показать нам ванную комнату. Я немедленно вытаскиваю стетоскоп и начинаю выслушивать водопроводные трубы, выстукивая их, как врач пациента.

Но ничего больше мне выдумать не удавалось. Я просто не мог сосредоточиться. Я не отдавал себе отчета, до какой степени я устал. К тому же в последние два месяца мною вдруг овладело страстное желание посетить Лондон — я просто мечтал об этом, и письмо Уэллса лишь подлило масла в огонь. А тут еще после десяти лет молчания я получил письмо от Хетти Келли. «Помните ли вы еще маленькую глупую девочку?!..» — писала она. Она была теперь замужем, жила на Портмен-сквер и приглашала навестить ее, если я когда-нибудь буду в Лондоне. Письмо было без интонаций, и оно не могло возродить никаких чувств. В конце концов за эти десять лет я несколько раз успевал влюбиться и разлюбить, и все-таки мне, конечно, хотелось посмотреть на Хетти. Я попросил Тома упаковать мои вещи, а Ривса — закрыть студию и дать всем отпуск. Я решил ехать в Англию.

## XVII

Накануне отъезда из Нью-Йорка я устроил в кафе «Элизе» прием человек на сорок. Среди приглашенных были Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс и мадам Метерлинк. Мы играли в шарады, и первую поставили Мэри с Дугласом. Дуглас, изображавший трамвайного кондуктора, брал у Мэри деньги и отрывал ей билет. Второй слог они изобразили пантомимой спасения утопающей. Мэри визжала: «Тону! Спасите!» Дуглас бросился в воду и благополучно вытаскивал ее на берег реки. Конечно, все мы хором вскричали: «Фербенкс!» \*

---

\* Фер (fair) — по-английски плата за проезд, а бенкс (banks) — берега. — *Прим. пер.*

Когда гости совсем развеселились, мы с мадам Метерлинк показали сцену смерти из «Камиллы»: мадам Метерлинк изображала Камиллу, а я — Армана. Умирая у меня на руках, она начала кашлять, сперва почти неслышно, а потом все сильнее и сильнее. Кашель ее оказался заразителен, я тоже начал кашлять, и вскоре это превратилось у нас в настоящее состязание. В конце концов я умирал в объятиях Камиллы.

В день отплытия меня с трудом разбудили в половине девятого утра, но, приняв ванну, я почувствовал, что вся усталость сразу прошла, и я уже думал только о предстоящей поездке в Англию. Вместе со мной отплывал на «Олимпике» и мой друг Эдуард Кноблок, автор «Судьбы» и многих других пьес.

На борту собралась толпа репортеров, и меня охватило гнетущее предчувствие: а вдруг они будут сопровождать нас до Англии? Двое действительно остались на лайнере, но остальные сошли на берег.



И вот наконец я один в своей каюте, заваленной цветами и корзинами фруктов, присланными моими друзьями. Десять лет назад на этом самом пароходе я покинул Англию с трупной Карно, но тогда мы ехали во втором классе. Помню, как стюард торопливо провел нас мимо кают и по палубе первого класса, чтобы мы могли хоть мельком взглянуть, как путешествуют избранные. Он рассказывал нам о роскоши кают-люкс и назвал астрономическую цифру стоимости билета, а теперь я возвращался в Англию в такой каюте. Я знал Лондон, как знают его обитатели лэмбетских трущоб, а сейчас, богатый и знаменитый, я увижу Лондон новыми глазами, будто первый раз в жизни.

Прошло всего несколько часов после отплытия, но я уже словно дышал воздухом Англии. Каждый вечер мы с Эдди Кноблоком обедали не в салоне, а в ресторане «Ритц», где можно было заказать по карточке шампанское, икру, жареную утку, шотландских куропаток и фазанов, различные вина, соусы и блинчики с коньячной подливкой. Свободного времени у меня было много, и мне доставляло удовольствие соблюдать глупый этикет и каждый вечер облачаться в вечерний костюм с черным галстуком. Вся эта роскошь и возможность потакать любым своим желаниям давали мне ощущение прелести богатства.

Я рассчитывал отдохнуть на пароходе. Но на доске объявлений «Олимпика» уже появились сообщения о моем ожидаемом приезде в Лондон. Мы были еще на полпути через Атлантический океан, а на меня уже обрушилась лавина телеграмм с приглашениями и просьбами. Истерия нарастала, как ураган. Бюллетень «Олимпика» цитировал статьи из «Юнайтед ньюс» и «Морнинг телеграф». Там были следующие строки: «Чаплин возвращается победителем! Путь от Саутгемптона до Лондона будет напоминать римский триумф».

И еще: «Вместо ежедневных бюллетеней о плавании «Олимпика» и времяпрепровождении Чарли на его борту теперь с лайнера поступают ежечасно телеграммы-молнии. На улицах Лондона уже продаются специальные выпуски газет, рассказывающие о великом маленьком человеке в нелепых башмаках».

И еще цитата: «Старая якобитская песенка<sup>1</sup> «Чарли, мой возлюбленный» как бы суммирует размах психоза, охватившего за последнюю неделю всю Англию и с каждым часом принимающего все более острые формы, по мере продвижения «Олимпика», на борту которого Чарли возвращается на родину».

И еще: «Сегодня «Олимпик» не мог войти в Саутгемптонский порт из-за тумана, а город уже переполнили толпы поклонников, жаждавших приветствовать любимого артиста. Полиции пришлось принимать специальные меры, чтобы сдерживать толпу в доках во время церемонии встречи, когда приветствовать Чарли будет мэр города... Газеты так же, как и в дни перед парадом победы, указывают наиболее выгодные пункты обозрения, с которых можно будет увидеть Чаплина».

Я не был подготовлен к такому приему. Как бы замечательно все это ни было, я бы, конечно, отложил свой визит до тех пор, пока не почувствовал бы себя душевно готовым к таким переживаниям. Мне просто очень хотелось посетить старые, родные места, спокойно погулять по Лондону, посмотреть на Кеннингтон и Брикстон, увидеть окна дома номер 3, на Поунэлл-террас, заглянуть в темный сарай, где я помогал когда-то дровосекам колоть дрова, постоять и под окнами второго этажа дома номер 287 по Кеннингтон-роуд, где я жил с Луизой и отцом, — я был буквально одержим этим желанием.

Наконец, мы достигли Шербурга! Кое-кто из пассажиров сошел здесь на берег, но вместо них на пароход сели другие — и это были главным образом фотографы и репортеры. Что бы я хотел передать Англии? И что — Франции? Собираюсь ли я посетить Ирландию? Как я отношусь к ирландскому вопросу? Меня буквально рвали на части.

После Шербура мы были уже на пути в Англию, но мы еле ползли,— господи, как медленно! О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Час, два, три часа ночи, а я все еще не смыкал глаз. Наконец, я почувствовал, что пароход остановился, дал задний ход, потом машины окончательно стали. Я услышал глухие звуки шагов — по коридору кто-то бегал назад и вперед. Я с волнением выглянул в иллюминатор, ничего не мог разглядеть в полной темноте, но я услышал английские голоса!

Вскоре начало светать, и я, измученный волнением этой ночи, вдруг уснул, но проспал часа два, не больше. Стюард подал мне горячий кофе и утренние газеты, и я уже вскочил, как ни в чем не бывало.

Один из газетных заголовков гласил:

**ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМИКА — СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С  
ДНЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ**

Другой:

**ВСЬ ЛОНДОН ГОВОРIT О ПРИЕЗДЕ ЧАПЛИНА**

И третий:

**ЧАПЛИН ПРИЕЗЖАЕТ В ЛОНДОН!  
ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ ОБЕСПЕЧЕН!**

И еще один, напечатанный крупным шрифтом:

**ВОТ ОН, НАШ СЫН!**

Разумеется, не обошлось и без критических замечаний.

**«ПРИЗЫВАЕМ К ЗДРАВОМЫСЛИЮ.**

*Во имя неба, давайте мыслить здраво! Я тоже полагаю, что мистер Чаплин заслуживает всяческого уважения, и я даже не собираюсь задавать ему вопроса, почему та тоска по родине, которая так трогательно волнует его сейчас, никак не давала себя чувствовать в страшные годы, когда домам Великобритании угрожало нашествие гуннов. Может быть, в самом деле и справедлив тот довод, который кое-кто приводил в спорах, что, мол, Чарли Чаплин, показывая смешные трюки перед кинокамерой, приносил большие пользы, чем если бы он, взяв в руки оружие, занялся настоящим мужским делом».*

Мэр Саутгемптона приветствовал меня в доках, после чего я поспешил на поезд. Наконец я подъезжаю к Лондону! В моем купе оказался Артур Келли, брат Хетти. Я вспоминаю, как я пытался поддержать разговор с Артуром, а сам все время поглядывал в окно на расстилавшиеся передо мной зеленые пастбища Англии. Я рассказал Артуру, что получил письмо от его сестры с приглашением пообедать у нее дома, на Портмен-сквер.

Артур как-то странно посмотрел на меня — он был в смущении. «А ведь Хетти умерла», — сказал он.

Я был потрясен, но в ту минуту не смог по-настоящему осознать всю трагедию ее смерти — слишком много волнующих событий заполняли мою душу. И все-таки я почувствовал себя в чем-то обездоленным: Хетти была единственным человеком из моего прошлого, кого мне хотелось бы снова увидеть, особенно в этих фантастических обстоятельствах.

Мы проезжали предместья Лондона. С волнением смотрел я в окно, тщетно стараясь узнать хоть одну из мелькавших мимо улиц. В душе возникала тревога, что Лондон, должно быть, сильно изменился после войны.

Мое волнение росло с каждой минутой, я ничего не замечал, я был весь в ожидании. В ожидании чего? В душе моей царил хаос, я не мог ни о чем думать. Я видел своими глазами крыши Лондона, но он все еще оставался для меня нереальным. Это было лишь предчувствие и ожидание!

Наконец, мы въехали под своды вокзала. Вокзал Ватерлоо! Выходя из вагона, я увидел в конце перрона толпы народа, отделенные от нас канатами и цепью полицейских. Казалось, воздух был наэлектризован. И хотя я в своем волнении почти ничего не воспринимал, я все-таки ощутил, как меня схватили и повели вдоль перрона, будто арестованного. Когда мы приблизились к толпе, отделенной от нас канатами, напряжение разрядилось криками приветствий: «Вот он! Вот он!», «Добрый старый Чарли!». Под этот шум меня кое-как запихнули в закрытую машину вместе с моим кузеном Обри, которого я не видел пятнадцать лет. Я ничего не соображал и даже не попытался протестовать против того, что меня увели от людей, которые так долго меня ждали.

Прежде всего я осведомился у Обри, будем ли мы проезжать Вестминстерский мост. По пути от Ватерлоо и вниз по Йорк-роуд я заметил, что старые дома снесены и на их месте воздвигнуты новые здания Совета Лондонского графства. Едва мы свернули с Йорк-роуд, как я увидел вдруг Вестминстерский мост — он сверкнул, словно солнечный луч, нежданно пробившийся в тучах! Он был точно такой, как и прежде, и его по-прежнему сторожили строгие здания Парламента, вечные своей красотой. Все здесь было таким, как я оставил когда-то, — и к глазам моим подступили слезы.

Я решил поселиться в отеле «Ритц» — он строился в те годы, когда я был еще мальчишкой, и однажды, проходя мимо, успел краем глаза заглянуть в дверь, увидел позолоту и роскошь вестибюля; с тех пор мне все хотелось увидеть когда-нибудь, как же он выглядит внутри.

У входа собралась огромная толпа, и тут уж я произнес небольшую речь. Наконец я вошел в номер, и меня охватило мучительное желание остаться наедине с самим собою. Но я был вынужден несколько раз выходить на балкон, подобно некоему королевскому величеству, и выражать народу свою признательность. Трудно описать, что испытывает человек в столь необычных обстоятельствах.

Мои комнаты в отеле были заполнены друзьями, но мне не терпелось как можно скорее от них отделаться. Было уже около четырех часов, и я им сказал, что хочу до обеда немножко вздремнуть, а вечером мы непременно увидимся.

Едва все ушли, я быстро переоделся, спустился на грузовом лифте и задним ходом незаметно выскользнул на улицу. Я бросился вниз по Джермин-стрит, поймал такси и поехал через Хей-маркет, Трафальгар-сквер, по улице Парламента и по Вестминстерскому мосту.

Такси свернуло за угол, и передо мной открылась Кеннингтон-роуд! Вот она. Невероятно! Здесь ничего не изменилось. На углу Вестминстербридж-роуд стояла, как прежде, церковь Христа. А на углу Брук-стрит — кабак «Пивная кружка».

Я остановил такси, не доезжая дома номер 3, на Поунэлл-террас, и пока я шел к дому, мою душу охватило странное чувство покоя. Я остановился, вбирая в себя ощущение этой минуты. Дом номер 3 на Поунэлл-террас! Вот он, похожий на старый голый череп. Я взглянул вверх на два окна нашего чердака, у которых сидела когда-то мама, ослабевшая от голода и уже терявшая рассудок. Окна были плотно занавешены — они не выдавали чужих секретов, оставаясь равнодушными к человеку, который стоял

внизу и долго, долго смотрел на них. Однако их молчание говорило мне больше, чем могли бы сказать слова. Вскоре меня окружили любопытные ребята, и я был вынужден уйти.

Я пошел искать на задворках Кеннингтон-роуд конюшню, где я помогал дровосекам, но она была заложена кирпичом, и дровосеков там не было.

Затем я поехал к дому номер 287 по Кеннингтон-роуд, где мы с Сиднеем жили вместе с отцом, Луизой и их маленьким сыном. Я смотрел на окна комнаты во втором этаже, которые так живо напомнили мне горести моего детства. А как безобидно выглядели они теперь, такие мирные и незнакомые!

И дальше, в Кеннингтонский парк, мимо почты, где у меня на сберегательной книжке лежало шестьдесят фунтов — деньги, которые я с невероятными ухищрениями скопил еще в 1908 году, — они были все еще там.

Кеннингтонский парк! Несмотря на ушедшие годы, он все так же печально зеленел. Здесь у Кеннингтон-гейт Хетти назначила мне первое свидание. Я на минуту остановился и посмотрел, не выйдет ли кто из трамвая? Кто-то вошел в вагон, но никто не вышел.

И, наконец, я поехал к дому номер 15 на Гленшоу-Меншионс, по Брикстон-роуд, где была квартирка, которую мы с Сиднеем с такой любовью обставили для себя. Но я уже был неспособен что-либо почувствовать — во мне оставалось лишь любопытство.

Возвращаясь в отель, я по пути остановился возле ресторана «Рог» и зашел туда промочить горло. В свое время это было довольно элегантное заведение с баром, отделанным полированным красным деревом, зеркалами во всю стену и бильярдной. В большом зале этого ресторана состоялся последний бенефис моего отца. Сейчас «Рог» имел вид совсем плохонький, хотя все здесь оставалось нетронутым с прежних дней. Здесь же неподалеку была и кеннингтонская школа, где я проучился два года. Я посмотрел на нашу площадку для игр — этот жалкий клочок серого асфальта стал еще меньше: его потеснили воздвигнутые здесь новые здания.

Я бродил по Кеннингтону, и вся жизнь моя здесь казалась мне сном, и только жизнь в Америке была реальностью. Но тем не менее меня не оставляло легкое чувство страха: а вдруг эти глухие улицы нищеты еще обладают властью заманить меня и похоронить в зыбучих песках своей безнадежности.

Много чепухи писали о моей склонности к одиночеству и глубокой меланхолии. Может быть, у меня никогда не было потребности в большом количестве друзей без разбору, которых привлекает лишь знаменитое имя. Я люблю друзей, как и музыку, — когда я в настроении. Нетрудно помочь другу в нужде, но не всегда можно пожертвовать для него своим временем. Когда моя популярность достигла апогея, вокруг меня толпилось несметное количество приятелей и знакомых. А так как мне свойственна не только общительность, но и некоторая замкнутость, я порой испытывал непреодолимое стремление уйти от людей. Может быть, именно это и послужило основанием для тех статей, авторы которых писали о моей нелюдимости, скрытности и неспособности к настоящей дружбе. Это, конечно, вздор. У меня есть два-три добрых друга, которые скрашивают мне жизнь, и их общество всегда доставляет мне радость.

Однако в прессе меня либо превозносили, либо поносили — в зависимости от точки зрения автора. Например, Сомерсет Моэм писал обо мне так:

*«Чарли Чаплин... его комизм прост, мил и непосредствен. И все-таки вы все время ощущаете, что за этим скрывается глубокая грусть. Он человек настроения, и, чтобы почувствовать, что его юмор пронизан печалью, вам вовсе не обязательно слышать, как он шутливо говорит: «Вчера вечером на меня напала такая хандра, прямо не знал, куда деваться». Он не кажется счастливым человеком. Я подозреваю, что он иногда тоскует по тем трущобам, где вырос. Слава и богатство вынуждают его вести образ жизни, который его тяготит. Мне кажется, он с грустью, чувствуя невозвратимость утраты, вспоминает о свободе своей юности, с ее бедностью и горькой нуждой, когда ему приходилось бороться за кусок хлеба. Улицы южного Лондона по-прежнему остаются для него средоточием озорства, веселья и сумасбродных приключений... Мне кажется, я вижу, как он теперь входит в свою виллу и не понимает, зачем он пришел сюда, в это чужое жилище. Я подозреваю, что единственный дом, который остался для него родным, — это крохотная каморка на втором этаже дома на Кеннингтон-роуд с окнами во двор. Как-то вечером мы с ним гуляли по Лос-Анжелосу и зашли в один из беднейших кварталов. Нас окружали обшарпанные доходные дома и жалкие аляповатые витрины лавчонок, где продаются товары, которые изо дня в день покупают бедняки. Его лицо вдруг осветилось улыбкой, и он с оживлением воскликнул: «Вот это настоящая жизнь, верно? А все остальное — одно лишь притворство»\*.*

---

\* Этого я никогда не говорил. Мы зашли в мексиканский квартал Лос-Анжелоса, и я сказал: «Здесь больше жизни, чем в Беверли-хилс».

Подобное стремление приписывать другому любовь к бедности меня раздражает. Мне еще не приходилось встречать бедняков, которые томятся тоской по нищете или находят в ней свободу. И мистеру Моэму не удастся убедить ни одного бедняка, что слава и большое богатство тяготят человека. Я не чувствую, что богатство меня стесняет, — наоборот, оно дает мне большую свободу. Не думаю, что Моэм стал бы приписывать столь нелепые идеи даже самым второстепенным персонажам своих произведений. А эта бойкая фраза: «Улицы южного Лондона по-прежнему остаются для него средоточием озорства, веселья и сумасбродных приключений» — звучит как шутка в стиле Марии Антуанетты.

Я не нахожу в бедности ничего привлекательного или поучительного. Она меня ничему не научила, и лишь извратила мое представление о ценностях жизни, внушив мне неоправданное уважение к добродетелям и талантам богатых и так называемых высших классов общества.

И, наоборот, именно богатство и слава научили меня видеть мир в истинном свете, помогли мне узнать, что вблизи знаменитые люди, каждый в своем роде, столь же несовершенны, как и все мы. Богатство и слава научили меня презирать такие знаки отличия, как военный мундир, дорогая трость или хлыст для верховой езды, потому что те, кто потрясают ими, обыкновенные снобы; богатство и слава помогли мне понять, что достоинство и ум человека определяются вовсе не оксфордским произношением, — а ведь этот миф в какой-то степени парализовал умы средних классов Англии: и что интеллект человека не обязательно является плодом образования или знакомства с классиками.

Вопреки утверждениям Моэма, я, как и всякий другой, есть то, что я есть; единственная в своем роде и неповторимая личность, итог побуждений и устремлений моих предков, а также моих собственных желаний, мечты и опыта.

В Лондоне меня постоянно окружали мои голливудские знакомые. А я хотел перемен, новой жизни и новых лиц. Я жаждал в полной мере насладиться тем, что я

знаменитость. У меня была назначена только одна встреча — с Г. Уэллсом. Дальше я был совершенно свободен — я лелеял смутную надежду познакомиться с новыми людьми.

— Я уговорился насчет обеда в клубе Гаррика <sup>1</sup>, — объявил мне Эдди Кноблок.

— Опять встреча с актерами, художниками и писателями? — пошутил я. — А где же эта особая, чисто английская атмосфера, где их загородные дома и интимные вечера, на которые меня никто не приглашает?

Признаюсь, мне хотелось войти в необычную для меня среду английской знати. Не то чтобы я был снобом, но я чувствовал себя туристом, которому хочется увидеть все достопримечательности страны.

Темные дубовые панели и старые картины по стенам придавали клубу Гаррика благородный колорит. В этом сумрачном убежище я познакомился с сэром Джеймсом Берри, Е.-В. Лукасом, Уолтером Хеккеттом, Джорджем Фремптоном, сэром Эдвином Лутиенсом, сквайром Бенкрофтом и другими знаменитостями <sup>2</sup>. Вечер проходил довольно скучно, но я был тронут тем, что все эти, столь известные люди почтили меня своим присутствием.

Однако я чувствовал, что вечер не удался. Такое собрание знаменитостей требует атмосферы дружеской и веселой, что в данном случае было почти недостижимо, поскольку гость, в честь которого был устроен прием, был выскочкой, хотя и прославленным. К тому же он еще настоял, чтобы не было никаких застольных речей, а может быть, именно их-то и не хватало. Правда, скульптор Фремптон со свойственным ему обаянием попытался внести в застольную беседу какую-то нотку легкомыслия, но и ему нелегко было блистать остроумием в строгом сумраке клуба Гаррика, пока все мы сосредоточенно поглощали вареный окорок и пудинг с патокой.

В первом интервью, данном мною представителям английской печати, я на горе себе заявил, что стремился в Англию, чтобы вновь посетить места своего детства и снова насладиться вкусом тушеного угря и пудинга с патокой. И в результате меня кормили этим пудингом и в клубе Гаррика, и в отеле «Ритц», и у Г. Уэллса, и даже на роскошном обеде у сэра Филиппа Сассуна на десерт тоже подали пудинг с патокой.

Гости вскоре разошлись, и Эдди Кноблок шепнул мне, что сэр Джеймс Берри приглашает нас к себе в Адельфи-террас на чашку чая.

Квартира Берри напоминала студию — это была большая комната с чудесным видом на Темзу. Посреди комнаты высилась круглая печь с трубой, уходившей к потолку. Берри подвел нас к окну, выходившему в узкий переулок, и указал на окно дома как раз напротив.

— Это спальня Шоу, — озорно сказал он со своим шотландским акцентом. — Когда я вижу там свет, я кидаю в окно вишневые или сливовые косточки. Если Шоу тоже хочется поболтать, он открывает окно, и мы с ним начинаем сплетничать, а если не хочет, не открывает окна, а то и свет тушит. Обычно я разика три брошу косточки и успокаиваюсь.

Киностудия «Парамаунт» собиралась экранизировать в Голливуде «Питера Пэна».

Я сказал Берри, что в кино «Питера Пэна» можно интереснее поставить, чем в театре, и он согласился со мной. Ему особенно хотелось увидеть сцену, в которой Венди загоняет веником фей в древесный ствол. В тот вечер Берри спросил меня:

— А зачем вы ввели эпизод сна в «Малыше»? Он же мешает развитию сюжета.

— Я сделал это под влиянием «Поцелуя Золушки», — признался я откровенно.

На следующий день мы с Эдди Кноблоком отправились за покупками, а потом по его настоянию решили нанести визит Бернарду Шоу, хотя мы с ним и не улаивались встретиться.

— Просто зайдём к нему без предупреждения и все, — сказал Эдди.

Ровно в четыре Эдди нажал кнопку звонка на Адельфи-террас. Но пока мы ждали, я вдруг струсил.

— Лучше как-нибудь в другой раз, — пробормотал я и пустился наутек, а Эдди бежал за мной вслепую, тщетно заверяя меня, что все выйдет как нельзя лучше. Но я все-таки сбежал и лишь в 1931 году имел удовольствие познакомиться с Шоу.

На следующее утро меня разбудил звонок телефона в гостиной, и я услышал металлические нотки в голосе моего секретаря-американца.

— Кто?.. Принц Уэлльский!

Эдди, оказавшийся поблизости и претендовавший на роль человека, достаточно сведущего в правилах дипломатического этикета, немедленно взял трубку.

— Вы слушаете? О да, конечно. Сегодня вечером? Благодарю вас!

Очень взволнованный, Эдди объявил моему секретарю, что принц Уэлльский приглашает мистера Чаплина пообедать у него сегодня вечером, и ринулся ко мне в спальню.

— Не будите его! — попытался остановить его мой секретарь.

— Боже ты мой, но это же принц Уэлльский! — возмутился Эдди и разразился целой тирадой на тему о британском этикете.

Услышав, как поворачивается ручка моей двери, я сделал вид, что только-только продрал глаза. Эдди вошел в комнату и с едва сдерживаемым волнением, но с притворной небрежностью сказал:

— Не занимайте сегодняшний вечер, вы приглашены на обед к принцу Уэлльскому.

Я с такой же наигранной небрежностью ответил, что получается очень неудобно, потому что я уже пообещал обедать сегодня у Г. Уэллса. Не обратив никакого внимания на мои слова, Эдди повторил приглашение. По правде сказать, меня тоже взволновала мысль об обеде с принцем в Букингемском дворце!

— Боюсь, что нас кто-то разыгрывает, — сказал я, — только вчера я читал, что принц сейчас на охоте в Шотландии.

Эдди посмотрел на меня с глупым видом.

— Может быть, стоит позвонить во дворец и выяснить?

Вернулся он быстро и с непроницаемым выражением лица бесстрастно объявил:

— Совершенно верно, принц еще в Шотландии.

В то же утро в газетах появилось сообщение о том, что Арбакль, с которым мы вместе работали на студии «Кистоун», обвиняется в убийстве. Какая дикость! Я знал Роско, веселого, добродушного толстяка, который и мухи не обидит, и высказал свое мнение о нем газетчикам, которые тут же явились меня интервьюировать. Впоследствии Арбакль был совершенно оправдан, но этот процесс погубил его: хотя его отношения с публикой восстановились, пережитые испытания подействовали на него, и год спустя Арбакль скончался.

Вечером я должен был встретиться с Уэллсом в управлении театров Освальда Столла, где нам должны были показать фильм — экранизацию одного из рассказов Уэллса. Подъехав к дому, я увидел, что у входа собралась довольно плотная толпа народу. Меня кое-как протолкнули к подъезду, зачихнули в лифт и провели в небольшой кабинет, в котором тоже толпились люди.

Я был несколько обескуражен тем, что наше знакомство с Уэллсом должно состояться при столь неблагоприятных обстоятельствах. Уэллс спокойно сидел у стола, но его ласково улыбающиеся фиалково-синие глаза выражали некоторое смущение. Прежде чем мы с ним успели пожать друг другу руки, из всех углов хлынули фотокорреспонденты и засверкали вспышки фотоаппаратов. Уэллс наклонился ко мне и шепнул:

— Мы с вами в роли козлов отпущения.

Затем нас повели в просмотровый зал, и там к концу картины Уэллс шепотом спросил:

— Как вам понравился фильм?

Я откровенно сказал ему, что картина не удалась. Когда в зале зажегся свет, Уэллс быстро наклонился ко мне.

— Скажите что-нибудь хорошее о мальчике.

И действительно, мальчик — Джордж К. Артур — единственно, кто в какой-то мере спасал картину.

Отношение Уэллса к кино в то время отличалось исключительной терпимостью.

— Плохих фильмов вообще не может быть, — говорил он. — Одно то, что они движутся, уже само по себе изумительно!

На просмотре нам не представилось возможности познакомиться поближе, но в тот же день позднее я получил от Уэллса записку:

*«Не забудьте об обеде. Наденьте пальто теплее, если посчитаете мой совет благоразумным, и приходите в половине восьмого — мы спокойно у нас пообедаем».*

В этот вечер у Уэллса была и Ребекка Уэст<sup>1</sup>. Сначала разговор как-то не клеился, но постепенно мы начали оттаивать. Уэллс рассказывал о России, откуда он недавно вернулся.

— Развитие идет медленно, — говорил он. — Идеальные манифесты издавать легко, но очень трудно их выполнять.

— А в чем же вы видите решение? — спросил я.

— В образовании.

Я сказал, что плохо разбираюсь в проблемах социализма, и шутя заметил, что не вижу особых достоинств в системе, при которой человек, чтобы жить, должен работать.

— Откровенно говоря, я предпочитаю такую систему, которая дает ему возможность жить не работая.

Уэллс рассмеялся.

— А как же ваши фильмы?

— Это не работа, а детская игра, — отшутился я.

Уэллс спросил меня, как я собираюсь проводить свои каникулы в Европе. Я рассказал, что хочу поехать в Париж, а потом в Испанию — посмотреть бой быков.



— Говорят, это волнующее и красивое зрелище.

— Безусловно, — сказал Уэллс, — только это очень жестоко по отношению к лошадям.

— К чему такое сентиментальное отношение к лошадям?

Я готов был убить себя за эту глупость — всему виной были проклятые нервы. Я видел, что, к счастью, Уэллс это понял. Но тем не менее всю дорогу домой я проклинал себя за то, что оказался таким ослом.

На следующий день к нам в отель приехал друг Эдди Кноблока, известный архитектор сэр Эдвин Лутиенс. Он был занят проектом нового правительственного здания в Дели и только что вернулся из Букингемского дворца после аудиенции у короля Георга V. Он брал с собой миниатюрный макет действующей уборной, около шести дюймов высоток, снабженной бачком, в котором помещалось с полстакана воды, и, когда дергали цепочку, вода спускалась, как в настоящей уборной. И король, и королева были так очарованы и так забавлялись игрушкой, дергая цепочку и вновь наполняя бачок водой, что Лутиенс предложил пристроить к уборной целый игрушечный домик. Миниатюрные картины для парадных игрушечных комнат писали самые крупные английские художники. Все в домике было настоящее, только крошечное. Когда домик был закончен, королева разрешила показать его публике, и на этом были собраны большие суммы денег для благотворительных целей.

Спустя некоторое время в моей бурной светской жизни начался отлив. Я уже познакомился с английской интеллигенцией и знатью, посетил места, где протекало мое детство.

Оставалось только прыгать на ходу в такси, спасаясь от назойливых толп, а так как Эдди Кноблок уехал в Брайтон, я вдруг решил сложить чемоданы и удрать в Париж.

Я уехал тайно (так мне по крайней мере казалось), но в Кале у причала меня приветствовала огромная толпа, кричавшая «Vive Charlot», пока я спускался по трапу. Ла-Манш донимал нас качкой, и морская болезнь совсем меня измучила, но тем не менее я махал толпе и криво улыбался. В поезд меня буквально втолкнули. В Париже меня тоже встретила огромная толпа и полицейский кордон. И снова меня восторженно толкали и хлопали по плечу, а затем не без помощи полиции подняли и запихнули в такси. Все это было весело, и мне очень нравилось, однако такого пылкого приема я никак не ожидал и совершенно обессилел.

В моем номере в отеле «Кларидж» телефон настойчиво звонил каждые десять минут. Звонила секретарша мисс Энн Морган. Я понимал, что последует какая-нибудь просьба, так как мисс Энн была дочерью Дж.-П. Моргана. Поэтому я попытался отделаться от секретарши, но она продолжала звонить. Не могу ли я встретиться с мисс Морган? Она отнимет у меня не слишком много времени. В конце концов я сдался и сказал, что буду ждать мисс Энн в отеле без четверти четыре. Мисс Морган опоздала, и, прождав ее десять минут, я уже собирался уйти. Но когда я проходил через вестибюль, меня в волнении бегом нагнал управляющий.

— Сэр, к вам мисс Морган.

Я уже был раздражен настойчивостью и самоуверенностью мисс Морган — к тому же она еще и опаздывает! Улыбаясь, я поздоровался с ней.

— Я очень сожалею, но у меня в четыре часа встреча.

— В самом деле? — сказала она. — Но я вас задержу не больше, чем на пять минут.

Я взглянул на часы — без пяти четыре.

— Может быть, мы присядем на минутку, — сказала она, и, не дождавшись ответа, продолжала: — Я участвую в сборе средств на восстановление разрушенной Франции. Если бы для вечера-гала в «Трокадеро» мы получили ваш фильм «Малыш» и вы могли бы выступить перед его просмотром, это принесло бы нам многие тысячи долларов.

Я ответил, что готов предоставить фильм для этой цели, но выступать отказываюсь.

— Ваше появление дало бы нам лишних несколько тысяч долларов, — настаивала она. — К тому же, я уверена, что вы получили бы орден Почетного легиона.

И тут, словно дьявол меня подтолкнул, я пристально посмотрел на нее:

— Вы уверены?

Мисс Морган рассмеялась:

— Правительству можно лишь рекомендовать, — сказала она, — но, разумеется, я сделаю все, что в моих силах.

Я посмотрел на часы и протянул ей руку.

— Прошу прощения, но мне пора. Ближайшие три дня я пробуду в Берлине. Может быть, вы дадите мне знать.

На этой загадочной фразе я простился с ней. Я понимал, что вел себя не слишком корректно, и, как только вышел из отеля, пожалел о своей дерзости.

Обычно человек попадает в светское общество по воле случая; подобно искре, высеченной из кремня, случай может все воспламенить, — и вот вы уже приняты в свет.

Я вспоминаю двух простых, милых девушек, приехавших из Венесуэлы. Они рассказывали мне, как им удалось прорваться в нью-йоркское общество. На палубе океанского лайнера они познакомились с кем-то из Рокфеллеров, и тот дал им рекомендательное письмо к своим друзьям — с этого все и началось. Несколько лет спустя одна из них рассказала мне, что секретом их успеха было то, что обе они никогда не кокетничали с женатыми мужчинами, — и в результате все хозяйки нью-йоркских салонов обожали их, наперебой приглашали к себе и в конце концов даже подыскали им женихов.

Что касается меня, то я проник в высший английский свет довольно неожиданно. Я принимал ванну в номере «Клариджа», как вдруг прямо туда ко мне вошел Жорж Карпантье<sup>1</sup>, с которым я познакомился в Нью-Йорке перед его боем с Джеком Демпси<sup>1</sup>. Мы обменялись с ним дружескими приветствиями, и Жорж шепнул мне, что в гостиной его ждет друг, с которым он хотел бы меня познакомить, — это англичанин и «tres important en Angleterre»\*. Я накинул купальный халат и в таком виде предстал перед сэром Филиппом Сассуном. С этого и началась наша очень дорогая мне дружба, длившаяся больше тридцати лет. В тот же вечер я обедал с сэром Филиппом и его сестрой, леди Роксведж, а на следующий день уехал в Берлин.

---

\* — «очень влиятельный в Англии» (франц.).

В Берлине мне была оказана очень забавная встреча. Там моих картин еще не знали, и для них я был всего лишь обыкновенное частное лицо, а этого было мало даже для того, чтобы получить приличный столик в ночном клубе. К счастью, меня узнал один американский офицер и с возмущением сообщил взволнованному владельцу ресторана, кто я такой. Только тогда нас пересадили за столик, где, по крайней мере, не было сквозняка. Забавно было наблюдать за физиономиями хозяев, когда они увидели, как вокруг нашего столика собираются узнававшие меня люди. Один из них, немец, который был в Англии в плену и видел там две-три мои комедии, вдруг громко завопил: «Шаарли!» — и, обернувшись к удивленным посетителям, пояснил: «Вы знаете, кто это? Шаарли!» И он бросился обнимать меня и целовать. Но его волнение не вызвало особого переполоха. И только когда Пола Негри<sup>1</sup>, германская кинозвезда, на которую были обращены все взоры, передала мне приглашение пересесть за ее столик, это уже вызвало некоторый интерес и к моей персоне.

На следующий день после приезда я получил таинственную записку:

*«Дорогой друг Чарли!*

*С тех пор, как мы с вами встретились в Нью-Йорке, на вечере у Дэдди Мелона, в моей жизни произошло слишком многое. Но сейчас я болен, лежу в больнице и очень прошу вас прийти и навестить меня. Это доставило бы мне так много радости...»*

Автор письма, подписавшийся именем «Джордж», сообщал адрес больницы. Сначала я не мог понять, кто бы это мог быть, а потом вдруг сообразил: конечно же, это был тот самый болгарин Джордж, которому предстояло отсидеть в тюрьме еще восемнадцать лет. По тону письма мне показалось, что дело шло о денежной помощи, и я решил захватить на всякий случай пятьсот долларов. Но в больнице, к моему великому удивлению, меня провели в большую комнату, где стоял письменный стол с двумя телефонами и где меня приветствовали двое прекрасно одетых молодых людей, — как я потом узнал, это были секретари Джорджа. Один из них провел меня в соседнюю комнату, где лежал Джордж.

— Мой друг, — взволнованно приветствовал он меня. — Я так счастлив, что вы пришли. Никогда не забуду, с каким сочувствием и добротой вы отнеслись ко мне в тот вечер у Дэдди Мелона!

Тут он небрежным жестом выслал секретаря из комнаты, и мы с ним остались наедине. Так как Джордж не вдавался в подробности по поводу своего отъезда из Штатов, я посчитал неделикатным задавать ему какие бы то ни было вопросы. К тому же он сам засыпал меня вопросами о своих друзьях в Нью-Йорке. Я был в крайнем смущении и никак не мог разобраться, в чем же тут дело, — у меня было такое чувство, словно я, читая книгу, пропустил несколько глав. Но все сразу разъяснилось, когда Джордж рассказал мне, что он теперь торговый представитель Советского Союза и занят в Берлине закупкой локомотивов и железнодорожных стальных мостов. Я ушел от него со своими пятьюстами долларов в кармане.

Берлин действовал угнетающе. Там все еще царила атмосфера поражения. На каждом углу просили милостыню безногие и безрукие калеки — жертвы мировой войны. На другой день я начал получать тревожные телеграммы от секретарши мисс Морган: газеты уже сообщили, что я буду присутствовать в «Трокадеро». Я ответил, что вовсе не обещал этого, о чем не замедлю поставить в известность французскую публику, чтобы не утратить ее доверия.

В конце концов пришла телеграмма: «Получила надежнейшие заверения, что в случае вашего приезда вы будете награждены орденом. Это стоило мне бездны хлопот и

усилий. Энн Морган». И вот после трехдневного пребывания в Берлине я вернулся в Париж.

В «Трокадеро» я сидел в ложе с Сесиль Сорель, Энн Морган и еще с кем-то. Сесиль наклонилась ко мне, чтобы сообщить под большим секретом: «Сегодня вам дадут орден Почетного легиона».

— Какая чудесная новость! — скромно откликнулся я.

Сначала показывали какой-то нудный, нескончаемый документальный фильм, и я отчаянно скучал. Наконец в зале зажегся свет и двое чиновников проводили меня в ложу министра. Вслед за нами двинулось несколько журналистов. Один из них, весьма осведомленный американский корреспондент, все время шептал мне в затылок: «Ты получишь орден Почетного легиона, малыш!» А пока министр произносил свой панегирик, он шипел у меня над ухом: «Тебя надули, малыш, ленточка — не того цвета, такую дают школьным учителям. Тебя даже не чмокнут в щечку. Тебе полагается красная ленточка, малыш!»

Но я был очень рад, что меня почтили, причислив к учителям. В наградном свидетельстве было сказано: «Чарльз Чаплин, драматург, артист, деятель народного просвещения...»

Я получил от Энн Морган любезное письмо с благодарностью и приглашением на завтрак в вилле «Трианон», в Версале, где она надеялась со мной встретиться. Собравшееся там общество было весьма смешанным: греческий принц Георг, леди Сара Уилсон, маркиз де Талейран-Перигор, комендант Поль Луи Вейлер, Эльза Максвелл и другие. Я даже не могу припомнить, что происходило на этом утреннем приеме, какие там велись разговоры: я был всецело поглощен тем, чтобы быть как можно обаятельней.

На другой день к нам в отель явился мой друг Уолдо Фрэнк с Жаком Копо<sup>1</sup>, возглавлявшим в ту пору новое течение во Французском театре. Мы пошли вместе в цирк, где посмотрели великолепных клоунов, а потом ужинали в Латинском квартале с актерами труппы Копо.

На следующий день к завтраку я должен был быть в Лондоне у сэра Филиппа Сассуна и лорда и леди Роксведж, которые пригласили меня, чтобы познакомить с Ллойд Джорджем. Но наш самолет из-за тумана над Ла-Маншем вынужден был приземлиться во Франции, и мы опоздали на три часа.

Кстати, несколько слов о сэре Филиппе Сассуне. Во время войны он был секретарем Ллойд Джорджа. Это была очень колоритная фигура — человек примерно одного со мной возраста, очень хорош собой, хотя внешность его была несколько экзотична. Он был членом парламента от Брайтона и Хоува. Несмотря на то, что Филипп был одним из самых богатых людей в Англии, праздность его не удовлетворяла, он много работал и жил очень содержательной, интересной жизнью.

Когда я только познакомился с ним в Париже, я как-то пожаловался ему, что очень устал, что мне не хочется видеть людей, а нервы у меня напряжены до такой степени, что даже цвет стен в отеле меня раздражает. Он рассмеялся:

— А какие тона вы предпочитаете?

— Желтые и золотистые, — ответил я шутя.

Он пригласил меня поехать к нему в его поместье Лимпне, где я мог бы спокойно отдохнуть вдали от людей. Приехав туда, я, к своему удивлению, увидел, что в моей комнате повешены занавеси в пастельно-желтых и золотистых тонах.

Поместье его было необыкновенно красиво, дом был обставлен очень смело и ярко, но, обладая безукоризненным вкусом, Филипп мог себе это позволить. Я вспоминаю, какое впечатление произвели на меня комфорт и роскошь, окружавшие меня в его доме: плитки, на которых еда оставалась горячей на тот случай, если мне вдруг среди ночи захочется есть; по утрам двое рослых лакеев подкатывали к моей кровати целый кафетерий с обширным выбором американских каш, рыбных котлет и яичницы со свиной. Я как-то обмолвился, что с тех пор, как приехал в Европу, стал скучать по американским пшеничным лепешкам, — и пожалуйста, мне их подавали тоже, прямо в кровать, горячими, с маслом и кленовым сиропом. Это было похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи».

Сэр Филипп расхаживал по дому, отдавая распоряжения по хозяйству, и при этом постоянно держал руку в кармане — он перебирал пальцами жемчуг, принадлежавший его матери; это была нитка длиной больше метра, а каждая жемчужина — величиной с ноготь большого пальца.

— Я их всегда ношу с собой, чтобы они оставались живыми, — пояснил мне сэр Филипп.

Когда я как следует отдохнул, сэр Филипп пригласил меня поехать вместе с ним в госпиталь, где лежали инвалиды войны — неизлечимые больные со спастическим параличом. Невыносимо грустно было смотреть на эти молодые лица, зная, что у них потеряна всякая надежда на выздоровление. Один юноша, у которого были парализованы конечности, пытался писать картины, держа кисть в зубах — это была единственная часть тела, которой он мог управлять. У другого больного кулаки были так крепко сжаты, что приходилось давать наркоз, когда хотели обрезать ему ногти, чтобы они не врастали в ладони. Некоторые больные были в таком ужасном состоянии, что мне даже не позволяли на них взглянуть, но сэр Филипп навещал всех.

Из Лимпне мы вместе вернулись в Лондон, в его дом на Парк-лейн, где он с благотворительной целью открывал ежегодную выставку живописи «Четырех Георгов». У него был великолепный дом с оранжереей, в которой понизу сплошным ковром были посажены голубые гиацинты. Впрочем, когда я в следующий раз туда пришел, вместо голубых гиацинтов там цвели уже какие-то другие цветы.

Мы посетили студию сэра Уильяма Орпена, посмотрели прелестный, весь светящийся портрет сестры Филиппа, леди Роксведж. Сам Орпен произвел на меня довольно невыгодное впечатление: представляясь молчаливым и скептическим, он был попросту высокомерен.

Г.-Дж. Уэллса я посетил в его загородном доме в поместье графини Уорик, где он жил с женой и двумя сыновьями, только что приехавшими из Кембриджа. Меня пригласили остаться ночевать.

Днем появилось человек тридцать профессоров Кембриджского университета. Они уселись в саду тесной группой, словно позируя перед фотоаппаратом, и безмолвно наблюдали за мной, как за существом с другой планеты.

Вечером семья Уэллсов развлекалась игрой под названием «Животное, овощ или минерал»; у меня от нее было такое ощущение, будто я прохожу проверку умственного развития. Однако больше всего мне запомнилось, что простыни в моей кровати были ледяными, а раздевался я при свече. Никогда еще я так не мерз в Англии. Наутро, когда я уже немного оттаял, Уэллс спросил меня, как я спал.

— Очень хорошо, — ответил я вежливо.

— А многие наши гости жалуются, что эта комната очень холодная, — простодушно сказал он.

— Я бы не назвал ее холодной, она просто ледяная!

Он рассмеялся.

И еще несколько воспоминаний об этом посещении Уэллса. Его небольшой, простой кабинет, затененный росшими перед домом деревьями, у окна старомодный письменный стол-конторка со скошенной доской; его красивая, изящная жена, которая показывала мне церковь XI века; наш разговор со старым гравером на кладбище; олени, бродившие стадами неподалеку от дома; как-то во время завтрака Сент Джон Эрвин сказал, что цветную фотографию ждет большое будущее, а я признался, что питаю к ней отвращение; Уэллс прочел нам отрывок из лекции кембриджского профессора, и я сказал, что такое тяжеловесное многословие больше подходило бы монаху XV столетия. И еще помню, как Уэллс рассказывал о своем знакомстве с Фрэнком Харрисом. В молодости, задолго до того, как он приобрел известность, Уэллс как-то написал научную статью, в которой одним из первых коснулся вопроса о четвертом измерении. Он предлагал ее редакторам многих журналов, но все безуспешно. Наконец он получил письмо от Фрэнка Харриса с приглашением зайти в редакцию.

«Хотя у меня тогда совсем не было денег, — рассказывал Уэллс, — ради такого случая я купил подержанный цилиндр.

Харрис встретил меня восклицанием:

— Где вы, черт вас возьми, откопали этот цилиндр? И почему вы считаете, черт бы вас побрал, что вы сможете продать журналам такую статью?

С этими словами он бросил мою рукопись на стол.

— Она слишком умна. А на такой товар на нашем рынке нет спроса!

Я осторожно поставил свой цилиндр, — продолжал Уэллс, — на краешек стола, но Фрэнк для большей убедительности все время стучал кулаком по столу, и мой цилиндр подпрыгивал в такт его тирадам. Я смертельно боялся, что в увлечении он стукнет кулаком по цилиндру. И все-таки Харрис взял статью и заказал несколько других».

В Лондоне я познакомился также с Томасом Бэрком, автором «Ночей в Лаймхаузе». Бэрк был спокойным маленьким человечком, непроницаемое лицо которого напоминало портрет Китса<sup>1</sup>. Он всегда сидел неподвижно, редко взглядывая на собеседника, и тем не менее сумел вызвать меня на разговор. Я вдруг почувствовал, что мне хочется раскрыть перед ним душу. Я чувствовал себя с Бэрком гораздо свободнее, чем с Уэллсом. Мы с ним подолгу бродили по улицам Лаймхауза и китайского квартала в Лондоне, причем он не говорил ни слова — он по-своему показывал их мне. Бэрк был очень сдержанный человек; я так и не знал, как он ко мне относится, до тех пор пока года три-четыре спустя он не прислал мне в подарок свою полуавтобиографическую книгу «Ветер и дождь». Оказалось, что его юность была очень схожа с моей. И только тут я понял, что вызвал его симпатию.

Под конец своего пребывания в Лондоне, когда суматоха начала спадать, я встретился со своим кузеном Обри и его семьей, а на следующий день пошел в гости в Джимми Расселу, которого знал еще в дни работы у Карно, — теперь Джимми стал владельцем пивной.

Я уже начал подумывать о возвращении в Штаты.

Я понимал, что, если я вскоре не уеду из Лондона, мне наскучит безделье. Мне было жаль покидать Англию, но моя слава уже дала мне все, что могла дать. Я

возвращался очень довольный, но и с некоторой грустью; позади оставались не только шум похвал и приемы у богатых и знаменитых людей, старавшихся меня развлечь, но и горячая искренняя любовь простых англичан и французов, которые толпами ждали у вокзалов Ватерлоо и Гар-дю-Нор, чтобы только приветствовать меня. Я испытывал страшную неловкость, когда меня чуть не бегом тащили мимо них и так быстро вталкивали в такси, что я даже не успевал им что-нибудь сказать, — у меня возникало тоскливое чувство, точно я на ходу топтал цветы. Позади осталось и мое прошлое. Побывав на Кеннингтон-роуд, пройдя под окнами дома номер 3 на Поунэлл-террас, я словно поставил точку. Теперь я был готов уехать в Калифорнию и вернуться к работе, ибо только работа придавала смысл жизни — все остальное была суета.

## XVIII

Вскоре после моего приезда в Нью-Йорк мне позвонила Мари Доро. Позвонила Мари Доро! Что бы это значило для меня несколько лет тому назад! Я пригласил ее позавтракать со мной и сразу после завтрака отправился на утренник — посмотреть пьесу «Полевые лилии», в которой она играла.

Вечером я обедал с Максом Истменом, его сестрой Кристаль Истмен и Клодом Мак-Кей, ямайским поэтом и рыбаком.

В последний день моего пребывания в Нью-Йорке мы с Фрэнком Харрисом посетили тюрьму Синг-Синг. По пути он рассказал мне, что пишет сейчас автобиографию, но боится, что слишком поздно взялся за это дело.

— Я становлюсь стар, — сказал он.

— Старость имеет свои преимущества, — возразил я, — ее не так легко запугать здравым смыслом.

Фрэнк хотел повидать Джима Ларкина, ирландского повстанца, организатора рабочих союзов, отбывавшего в Синг-Синге пятилетний срок заключения. По словам Фрэнка, Ларкин, блестящий оратор, был осужден предубежденными против него судьей и присяжными по ложному обвинению в попытке свергнуть правительство. Слова Фрэнка подтвердились; губернатор Эл Смит отменил приговор, но Ларкин к тому времени успел отсидеть несколько лет.

В тюрьмах всегда испытываешь странное чувство, — кажется, будто там приостановлена жизнь человеческого духа. Старые здания Синг-Синга овеяны мраком средневековья: в маленькую, узкую каменную камеру набивали по четыре, а то и по шесть заключенных. В чьем дьявольском мозгу могла зародиться мысль о таком ужасе?! В час нашего посещения камеры были пусты — всех заключенных, кроме одного молодого человека, вывели на прогулку. Погруженный в мрачное раздумье, он стоял у открытой двери своей камеры. Сопровождавший нас начальник тюрьмы пояснил нам, что вновь прибывающие арестанты с долгими сроками заключения, прежде чем попасть в новые, модернизированные здания тюрьмы, проводят первый год в старой тюрьме. Я прошел мимо молодого человека в его камеру, и меня сразу охватил страх, что отсюда нет выхода.

— Боже мой, — вскрикнул я, быстро выходя из камеры, — это же бесчеловечно!

— Вы правы, — с горечью шепнул молодой заключенный.

Начальник тюрьмы, очевидно незлой человек, объяснил, что Синг-Синг переполнен — нужны ассигнования на постройку новых зданий.

— Но о нас вспоминают в последнюю очередь — никто из политиков не интересуется тюремными условиями.

Длинное узкое помещение с низким потолком, где приводились в исполнение смертные приговоры, напоминало классную комнату: там стояли скамьи и столы для репортеров, а против них — дешевая деревянная мебель — электрический стул. С потолка к нему спускался шнур электропроводки. Ужас этой комнаты подчеркивался ее простотой, отсутствием какой бы то ни было драматичности, и это было страшнее самой зловещей плахи. Позади электрического стула — дощатая перегородка, куда сразу после казни оттащивали труп и там производили вскрытие. «В случае, если электрический стул не до конца справляется со своей функцией, приговоренного немедленно обезглавливают хирургическим способом», — сообщил нам врач, пояснив попутно, что температура крови в мозговых сосудах непосредственно после казни бывает обычно около 212 градусов по Фаренгейту.

Из камеры смерти мы вышли шатаясь.

Фрэнк спросил о Джиме Ларкине, и начальник тюрьмы, в виде исключения, разрешил нам свидание, хотя это и было против правил. Ларкин работал в обувной мастерской — там он и встретил нас, красивый, высокий человек, около двух метров ростом, с пронизывающим взглядом голубых глаз и милой улыбкой.

Несмотря на радость встречи с Фрэнком, Ларкин явно был чем-то обеспокоен, нервничал и стремился как можно скорее вернуться к работе. Даже заверения начальника тюрьмы его не успокаивали.

— Нехорошо, что у меня посетители в рабочие часы. Это производит дурное впечатление на остальных заключенных, — пояснил Ларкин.

Фрэнк спросил, как с ним обращаются в тюрьме, и не может ли он ему чем-нибудь помочь. Джим ответил, что обращаются с ним сносно, но он очень обеспокоен судьбой жены и всей его семьи в Ирландии — со времени ареста он не имеет от них никаких вестей. Фрэнк обещал ему в этом помочь. Выйдя из тюрьмы, Фрэнк сказал, что ему было мучительно видеть, что такой мужественный, горячий человек, как Джим Ларкин, вынужден покоряться тюремной дисциплине.

Возвращаясь в Голливуд, я заехал по пути навестить мать. Она показалась мне очень оживленной, — она уже все слышала о моем триумфе в Лондоне.

— Ну, что ты скажешь о своем сыне и обо всей этой суматохе? — шутливо спросил я.

— Конечно, это замечательно, но разве тебе не хотелось бы лучше оставаться самим собой, чем жить в этом призрачном мире театра?

— Кто бы это говорил, — рассмеялся я. — Ты одна ответственна за эту призрачность.

Она умолкла.

— Если бы ты отдал свой талант на службу господу богу, — подумай, сколько тысяч душ ты мог бы спасти!

Я улыбнулся.

— Души бы я спасал, но денег бы не скопил.

По пути домой миссис Ривс, жена моего администратора, обожавшая мою мать, рассказывала, что все время, пока я был в Европе, мама прекрасно себя чувствовала — у



нее почти не бывало провалов памяти. Она была весела и радостна, ее не угнетали никакие страхи. Миссис Ривс с удовольствием навещала ее — мама всегда была так забавна, а ее рассказы о прошлом заставляли миссис Ривс от души смеяться. Конечно, бывали случаи, когда мать проявляла упрямство. Миссис Ривс рассказала мне, как однажды они с сиделкой повезли мать в город, чтобы заказать ей там новые платья. И вдруг мать закапризничала — она не пожелала выходить из машины.

— Пусть они придут сюда, — настаивала она. — В Англии вас встречают у подножки экипажа.

В конце концов она все-таки вышла из машины. Милая молоденькая продавщица показала им несколько кусков материи; одна из них, тускло-коричневого цвета, показалась и миссис Ривс и сиделке вполне подходящей, но матери она не понравилась. И она со своим изысканным английским произношением заявила:

— Нет, нет, это цвет дерьма! Покажите мне что-нибудь повеселее.

Потрясенная девушка, не веря своим ушам, повиновалась.

Миссис Ривс рассказала мне также, как она возила мать на ферму, где разводят страусов. Тамшний сторож, милый и вежливый человек, показывал им инкубаторы.

— Вот из этого яйца, — сказал он, держа в руках страусовое яйцо, — на будущей неделе должен вылупиться страусенок.

Но тут его позвали к телефону, и он, извинившись и передав яйцо сиделке, удалился. Едва он вышел, как мать выхватила яйцо из рук сиделки и прикрикнула:

— Отдай его бедному страусу, будьте вы все прокляты! — и выбросила яйцо в загон, где оно с треском разбилось. Миссис Ривс и сиделка стремительно увели мать с фермы, прежде чем сторож успел вернуться.

— В жаркие солнечные дни, — продолжала рассказывать миссис Ривс, — она любит покупать всем мороженое — и нам и шоферу.

Однажды, когда они не спеша проезжали по какой-то улице, из люка на мостовой вдруг показалась голова рабочего. Мать высунулась из машины, намереваясь угостить его мороженым, но вместо того вдруг кинула это мороженое ему прямо в лицо.

— Так тебе будет прохладнее, сынок, — крикнула она, помахав ему из машины ручкой.

Как я ни пытался скрывать от мамы мои личные дела, она всегда знала, что происходит. Однажды, когда у меня были неприятности с моей второй женой, она вдруг заметила посреди партии в шахматы (между прочим, надо сказать, что она всегда выигрывала) :

— Почему бы тебе не плюнуть на все эти волнения? Поезжай-ка на Восток, развлекись.

Я очень удивился и спросил, о чем она говорит.

— Обо всей этой шумихе в газетах по поводу твоих личных дел, — ответила она.

Я рассмеялся:

— А что тебе известно о моих личных делах?

Она пожала плечами.

— Если бы ты относился ко мне с большим доверием, я могла бы дать тебе неплохой совет.

Такие замечания она делала мимоходом и больше к ним не возвращалась.

Она часто приезжала ко мне в Беверли-хилс повидать детей, Чарли и Сиднея. Я вспоминаю ее первый визит. Я только что построил дом, красиво обставил его и набрал целый штат прислуги — дворецких, горничных и т. д. Она осмотрела комнаты, выглянула в окно, в котором виднелся вдали Тихий океан. Мы все ждали, что она скажет.

— Как жаль нарушать эту тишину, — проговорила она.

Казалось, мать воспринимает и мое богатство и успех как нечто само собой разумеющееся — она никогда не говорила об этом со мной. Но как-то мы остались с ней наедине на лужайке; она восхищалась садом и порядком, в котором он содержался.

— У меня ведь два садовника, — сообщил я ей.

Она молча взглянула на меня.

— Должно быть, ты очень богат, — сказала она.

— Мама, мое состояние оценивается сейчас в пять миллионов долларов.

Она задумчиво покачала головой.

— Только бы ты был здоров и счастлив, — это было единственное, что она мне сказала в ответ.

Года два мать чувствовала себя совсем хорошо. Но во время съемок «Цирка» я получил известие, что она заболела. У нее когда-то уже было воспаление желчного пузыря, но тогда она довольно быстро оправилась, а на этот раз врачи предупредили меня, что наступивший рецидив опасен для жизни. Мать поместили в больницу Глендейл, но врачи не рекомендовали оперировать ее из-за крайней слабости сердца.

Когда я приехал в больницу, она была в полубессознательном состоянии — ей дали большую дозу болеутоляющего.

— Мама, это я, Чарли, — шепнул я, мягко пожимая ее руку. Она слабо ответила на мое пожатие и открыла глаза. Она попыталась сесть, но была слишком слаба для этого. Она металась, жаловалась на боли. Я попытался успокоить ее, говорил, что она скоро поправится.

— Может быть, — устало шепнула она, снова пожала мою руку и впала в беспамятство.

На другой день, во время съемки, мне сказали, что она скончалась. Я был к этому готов — врачи предупредили меня. Я остановил работу, снял грим и поехал в больницу с Гарри Кроккером<sup>1</sup>, моим вторым режиссером.

Гарри остался ждать меня в коридоре, а я вошел в палату и сел на стул между окном и ее кроватью. Занавеси были приспущены. За окном ярко светило солнце, в палате царил полнейшая тишина. Я сидел и смотрел на эту маленькую фигурку на кровати, на запрокинутое лицо, на закрытые глаза. Даже после смерти ее лицо выражало смятение, словно она боялась, что и там ее поджидают новые горести. Как странно, что ее жизнь должна была закончиться здесь, вблизи Голливуда, вблизи всех его ничего не стоящих ценностей, за семь тысяч миль от Лэмбета, от земли, надорвавшей ей сердце.

На меня нахлынули воспоминания — воспоминания о той борьбе, которую матери приходилось вести всю жизнь, о ее страданиях, ее мужестве, о трагически, впустую растроченной жизни... и я заплакал.

Прошло не меньше часа, пока я, наконец, оправился и смог выйти из палаты. Гарри Кроккер все еще был тут, я извинился, что заставил его ждать так долго, но он, конечно, понимал меня, и мы с ним в молчании вернулись домой.

Сидней, оказавшийся в это время в Европе, был болен и не смог приехать на похороны. Мои сыновья Чарли и Сидней приехали со своей матерью, но я их не видел. Меня спросили, не хочу ли я кремировать маму, но меня ужаснула даже самая мысль. Нет, я предпочитал предать ее тело земле, на зеленом голливудском кладбище, где она лежит и сейчас.

Не знаю, удалось ли мне воспроизвести образ, достойный моей матери. Я знаю лишь, что она мужественно и весело несла свой крест в жизни. Самыми замечательными ее качествами были доброта и отзывчивость. Хотя сама она была религиозна, она любила грешников и себя считала такой же грешницей, как все. В ней не было ни грама пошлости. Какими бы раблезианскими выражениями она порой ни пользовалась, они всегда звучали уместно и образно. Несмотря на ту нищету, в которой мы были вынуждены жить, она уберегла нас с Сиднеем от влияния улицы и внушила нам, что мы не просто нищие, что мы — не такие, как все прочие обитатели трущоб, что у нас — особая судьба.

Сэм Голдвин дал обед в честь приехавшей в Голливуд скульптора Клер Шеридан, чья книга «От Мэйфер до Москвы» произвела сенсацию. В числе приглашенных был и я.

Клер, высокая, красивая женщина, была племянницей Уинстона Черчилля и происходила по прямой линии от Ричарда Шеридана. Она была первой англичанкой, побывавшей в России после революции.

Хотя ее книга была проникнута симпатией к большевикам, она не вызвала особого негодования — американцев сбивала с толку принадлежность Клер к высшей английской аристократии. Ее приглашали в лучшие дома Нью-Йорка, и она даже сделала несколько бюстов по заказу местных магнатов. Она лепила, кроме того, Герберта Суопа, Бернарда Баруха и многих других. Я познакомился с ней в ту пору, когда она со своим шестилетним сыном Дикки ездила с лекциями по стране.

Клер жаловалась, что в Штатах трудно заработать на жизнь скульптурой.

— Американцы ничего не имеют против того, чтобы их жены позировали для портретов, но сами позировать не желают — они слишком скромны.

— А я скромностью не отличаюсь, — заметил я.

И мы договорились, что ее глина и инструменты будут доставлены ко мне домой, и после второго завтрака до вечера я буду ей позировать. Клер умела втягивать собеседника в разговор, и скоро я уже из кожи вон лез, чтобы только не ударить в грязь лицом. Когда бюст был уже почти готов, я внимательно разглядел его.

— Голова преступника, — заметил я.

— Напротив, голова гения, — ответила она с притворной торжественностью.

Я рассмеялся и стал развивать теорию о тесном родстве гениев и преступников: те и другие крайние индивидуалисты.

Она рассказала мне, что с тех пор, как начала читать лекции о России, она чувствует себя в обществе отверженной. Я знал, что Клер по натуре не публицистка и ей чужд политический фанатизм.

— Вы написали очень интересную книгу о России — и остановитесь на этом, — сказал я. — Зачем вам соваться в политику? Навлечете на себя неприятности.

— Эти лекции меня кормят, — возразила она. — Но никто не хочет слушать правду. А когда я выступаю без подготовки, я могу говорить только правду. И к тому же, — прибавила она шутливо, — я люблю моих милых большевиков.

«Мои милых большевиков», — повторил я и рассмеялся. Однако я чувствовал, что внутренне Клер совершенно ясно и вполне реалистически понимала свое положение. Когда я снова встретился с ней в 1931 году, она рассказала мне, что живет неподалеку от Туниса.

— Но почему вы решили там обосноваться? — спросил я.

— Жизнь гораздо дешевле, — живо ответила она. — В Лондоне, при моих ограниченных доходах, мне пришлось бы жить в двух маленьких комнатках, где-нибудь в Блумсбери, а в Тунисе я могу на эти деньги жить в доме со слугами, окруженном прекрасным садом, в котором гуляет Дикки.

Дикки умер девятнадцати лет от роду, и для Клер это был слишком горестный, ужасный удар, от которого она так никогда и не смогла оправиться. Клер стала католичкой и какое-то время даже жила в монастыре, видимо, обратившись к религии в поисках утешения.

На одном из кладбищ на юге Франции я когда-то видел на могильной плите фотографию улыбающейся девочки, лет четырнадцати, а ниже можно было прочесть: «Pourquoi?»\*. В таком отчаянии тщетно искать ответа. Это повело бы лишь к лживому морализированию и лишней муке, и все-таки это не значит, что не может быть ответа. Я не могу поверить, что наша жизнь случайна и не имеет смысла, как нас убеждают некоторые ученые. Жизнь и смерть слишком непреложны, слишком неумолимы для того, чтобы быть случайными.

---

\* — Почему? (франц.)

Человек имеет право думать о тщетности нашей жизни, о том, что жизнь и смерть бессмысленны, когда он видит, как погибает гений во цвете лет, видит происходящие в мире катаклизмы, катастрофы и гибель. Но уже то, что они происходят в мире, говорит о том, что она существует — эта твердо установленная, непреложная цель, которая непостижима для нашего сознания, ограниченного тремя измерениями.

Некоторые философы полагают, что все в мире является материей, находящейся в той или иной форме движения, и что к уже существующему в природе ничего нельзя ни прибавить, ни отнять. Но если материя — это движение, оно должно совершаться по законам причины и следствия. Если же я с этим соглашаюсь — значит, каждое действие предопределено, и в таком случае царапина на моем носу так же предопределена, как и падение метеора? Кошка гуляет вокруг дома, лист падает с дерева, ребенок спотыкается. Разве эти действия не предопределены в бесконечности? Разве их причины и следствия не уходят в вечность? Нам известна непосредственная причина того, что упал лист или споткнулся ребенок, но мы не можем проследить истинного начала и конца.

Я не религиозен в догматическом понимании этого слова. Мои взгляды сходны с взглядами Маколея<sup>1</sup>, писавшего, что и в XVI веке велись те же самые религиозные споры и с теми же самыми философскими ухищрениями, как и сейчас; и, несмотря на все приобретенные человечеством знания и на прогресс в науке, ни один философ прошлого или современности не внес в эти вопросы какой-либо ясности.

Я и не верю ни во что и ничего не отрицаю. То, что можно вообразить, является таким же приближением к истине, как и то, что можно доказать математически. Но человек не может ограничиваться одним лишь рациональным подходом к истине — ведь

для этого требуется геометрический склад ума, образ мыслей, основанный на логике и правдоподобию. А мы видим во сне мертвых и воспринимаем их, как живых, хотя и знаем, что они мертвы. Несмотря на то, что этот сон неразумен, разве в нем нет своего правдоподобия? Существуют вещи вне нашего разума. Как можем мы осознать триллионную частицу секунды? А она должна существовать, если верить математикам.

Чем старше я становлюсь, тем все больше занимают меня вопросы веры. Мы больше живем верой, чем нам это кажется, и получаем от нее больше, чем представляем себе. Из веры, по-моему, рождаются все наши идеи. Без веры никогда не возникли бы новые гипотезы и теории, не развивались бы естественные науки и математика. Я думаю, что вера есть продолжение нашего разума, за пределами очевидного, она — тот ключ, который открывает непознаваемое. Отрицать веру — это значит опровергать самого себя и тот дух в себе, который порождает нашу творческую силу.

Я верю в непознаваемое, в то, чего мы не можем понять разумом; я верю в то, что недоступное нашему уму представляет собой самое простое явление в системе иных измерений, верю и в то, что в царстве непознаваемого существует безграничная сила, направленная к добру.

В Голливуде я по-прежнему жил словно одинокий волк. Я работал у себя на студии. Поэтому у меня почти не было случая встречаться с актерами других студий и заводить новых друзей. Если бы не Дуглас и Мэри, я бы совсем одичал.

Они поженились и были удивительно счастливы. Дуглас перестроил свой старый дом, отлично его обставил и прибавил несколько комнат для гостей. Фербенксы жили на широкую ногу — у них была превосходная прислуга, превосходный повар, а Дуг был превосходным хозяином.

И у себя — в студии — он располагал роскошными апартаментами, с турецкой баней и бассейном для плавания. Здесь он развлекал своих именитых гостей: угощал их завтраками, водил по студии и показывал, как делаются фильмы, а затем приглашал попариться в турецкой бане и поплавать в бассейне. После турецкой бани они рассаживались у него в уборной, завернувшись в купальные простыни, — ни дать ни взять римские сенаторы.

Было даже забавно представляться королю Сиаму в тот момент, когда ты только что выскочил из парной и собираешься нырнуть в бассейн.

В турецкой бане Дугласа я таким образом познакомился со многими высокопоставленными персонами, включая герцога Альбу, герцога Сатерлендского, Остина Чемберлена, маркиза Вены, герцога Панаранда и многих других, и сделал вывод, что только когда человек лишен всех земных знаков отличия, можно узнать его истинную цену: в турецкой бане герцог, Альба немало выиграл в моих глазах.

Когда Дугласа посещали такие знатные особы, он неизменно приглашал меня, так как я числился среди приманок Голливуда. Как правило, гости после турецкой бани около восьми отправлялись в «Пикфер», обедали в половине девятого, а после обеда смотрели фильм. Поэтому мне никогда не удавалось познакомиться с гостями особенно близко. Иногда, правда, я освобождал Фербенксов от избытка гостей и помещал кого-нибудь у себя. Но должен признаться, что моему гостеприимству было далеко до фербенксовского.

В общении с великими мира сего Дуглас и Мэри были бесподобны. Они обладали той непринужденностью и свободой в обращении, которых так не хватало мне. Естественно, когда у них в гостях бывали герцоги, то в первый вечер обычно слышалось

официальное «ваша светлость», но очень скоро «ваша светлость» уступало фамильярному «Джорджи» или «Джимми».

За обедом часто появлялась дворняжка Дугласа, и хозяин заставлял собачонку показывать глупые, смешные фокусы — обычно это сразу разряжало атмосферу напряженности и официальности приема. Мне часто приходилось выслушивать от гостей комплименты в адрес Дугласа: «Как он обаятелен!» — признавались мне по секрету дамы. Дуг и в самом деле был обаятелен, и никто не умел так очаровывать женщин, как он.

Но и он однажды пережил свое Ватерлоо. По вполне понятным причинам, я не стану называть имен, скажу лишь, что в тот вечер общество было весьма избранным и изобиловало высокими титулами. Целую неделю Дуглас посвятил их удовольствиям и развлечениям. Виновниками торжества была чета новобрачных, проводивших в Голливуде свой медовый месяц. Для их развлечения делалось все, что только можно было придумать. Была организована поездка на Каталину, где на собственной яхте Дугласа выезжали в море ловить рыбу. В воду заранее бросали убитого оленя, чтобы привлечь побольше рыбы (и все-таки они ничего там не поймали). Потом на территории студии устроили конное состязание ковбоев. Однако молодая новобрачная, стройная красивая женщина, была любезна, но очень молчалива и никаких восторгов не высказывала.

По вечерам, за обедом, Дуглас буквально из кожи вон лез, чтобы как-то ее развлечь, но весь его пыл и остроумие пропадали даром — ему никак не удавалось вывести ее из состояния равнодушия и безучастности. На четвертый день Дуглас отвел меня в сторону.

— Она меня убивает, я не могу с ней разговаривать, — признался он, — сегодня за обедом ты сядешь с ней рядом. — Он хихикнул. — Я уже говорил ей, какой ты блестящий и забавный собеседник.

После такого предисловия, занимая свое место за столом, я чувствовал себя, как парашютист перед первым прыжком. И все-таки я решил испытать особый подход. Взяв со стола салфетку, я склонился к своей соседке и шепнул:

— Не унывайте!

Она повернулась ко мне, не вполне уверенная в том, что правильно меня расслышала.

— Простите?

— Не унывайте! — загадочно повторил я.

Она была удивлена.

— Не унывать?!

— Да, — ответил я, расправляя на коленях салфетку и не глядя на нее.

Она помолчала, внимательно посмотрев на меня.

— Почему вы это сказали?

Была не была — я рискнул:

— Потому что вы очень грустны.

И прежде чем она успела мне что-либо ответить, я продолжал:

— Видите ли, во мне есть цыганская кровь, и я в таких делах разбираюсь. В каком месяце вы родились?

— В апреле.

— Ясно, под знаком Овна! Мне следовало бы догадаться.

Она сразу оживилась, что было ей очень к лицу.

— О чем догадаться? — улыбнулась она.

— В этом месяце ваша жизненная энергия должна быть в упадке.

На какое-то мгновение она задумалась.

— Поразительно, что вы это сказали.

— Это очень просто, если человек обладает настоящим чутьем. Ваша эманация сейчас несчастливая, безрадостная.

— Неужели это заметно?

— Другим, может быть, и не заметно.

Она улыбнулась, снова посмотрела на меня и задумчиво сказала:

— Как странно, что вы это сказали. Но это правда. Я очень угнетена.

Я сочувственно кивнул.

— Но это самый плохой месяц для вас.

— Я так подавлена и в таком отчаянии, — шептала она.

— Мне кажется, я понимаю, — сказал я, еще не сообразив, к чему она клонит.

Она мрачно продолжала:

— Если бы только я могла сбежать — убежать от всего и от всех... Я стала бы делать все что угодно, взяла бы работу, согласилась бы сниматься статисткой в кино... но это причинило бы такую боль всем, кого это касается, а они слишком благородны, чтобы я могла их оскорбить.

Она говорила «о них» во множественном числе, но я понимал, что речь идет о ее муже. Тут уже я обеспокоился, перестал прикидываться мистиком и попытался дать ей совет всерьез, хотя, разумеется, довольно банальный.

— Убегать бесполезно, ответственность всегда настигнет нас, — сказал я. — Жизнь — это лишь проявление желаний, и никто никогда не бывает ею удовлетворен. Поэтому не делайте необдуманно того, о чем будете потом сожалеть всю жизнь.

— Я думаю, вы правы, — сказала она задумчиво. — Но мне стало гораздо легче оттого, что я смогла поговорить с человеком, который понимает меня.

Все остальные гости были заняты оживленным разговором, но Дуглас то и дело поглядывал в нашу сторону. Наконец она с улыбкой обернулась к нему.

Когда обед кончился, Дуглас отвел меня в сторону.

— Черт побери, о чем вы с ней так шушукались? Я боялся, как бы вы друг другу уши не отгрызли.

— Да так, говорили об основах жизни, — ответил я довольно туманно.

## **XIX**

Вскоре я должен был закончить работу по контракту с «Фёрст нейшнл» и с удовольствием думал о своем освобождении. Руководители этой кинокомпании

отличались равнодушием, мелочной придирчивостью и недалёковидностью, и мне хотелось поскорее с ними разделаться. К тому же я мечтал о полнометражных фильмах.

Но снять последние три фильма — эта задача была для меня мучительной. Правда, я уже сделал двухчастную комедию «День получки», и мне предстояло снять еще только два фильма. Но следующая моя комедия, «Пилигрим», разрослась в полнометражный фильм, а это означало новые неприятные переговоры с руководителями «Фёрст нейшнл». Но недаром Сэм Голдвин сказал обо мне: «Чаплин не коммерсант, он знает только одно — что меньше взять он не может». Наши переговоры завершились успешно. После феноменального успеха «Мальша» мне было не так уж трудно добиться согласия на мои условия относительно «Пилигрима»: он должен был считаться за два фильма, и компания гарантировала мне 400 тысяч долларов и проценты от чистой прибыли. Наконец-то я был свободен и мог начать работать в «Юнайтед артистс».

По приглашению Дугласа и Мэри в компанию «Юнайтед артистс» вошел и Честный Джо, как мы называли Джозефа Шенка<sup>1</sup>, вместе со своей женой Нормой Толмедж<sup>2</sup> — мы получили право на прокат ее фильмов. Джо предполагали сделать президентом нашей кинокомпании. Я очень любил Джо, но не считал, что его вклад в наше дело дает ему право на президентское кресло. Хотя Норма и была звездой первой величины, но по кассовым сборам фильмы с ее участием все-таки не могли идти в сравнение с фильмами Мэри или Дугласа. Мы уже отказались взять в компанию Адольфа Цукора, так почему же мы берем Джо Шенка, который в нашем деле менее полезен, чем Цукор? Но Дуглас и Мэри настояли на своем, и Джо стал президентом и равноправным акционером компании «Юнайтед артистс».

Вскоре после этого я получил письмо — меня просили непременно присутствовать на совещании, касающемся будущего нашей кинокомпании.

После официального оптимистического вступительного слова нашего президента заговорила Мэри. Она сказала, что ее тревожит положение в кинопромышленности (ее всегда что-нибудь да тревожило) — прокатные фирмы объединяются, и если мы не примем контрмер, будущее «Юнайтед артистс» окажется под угрозой.

Это заявление меня не слишком обеспокоило, я считал, что качество наших фильмов — достаточная гарантия против любой конкуренции такого рода. Но мои соображения не убедили остальных. Джо Шенк серьезно предостерег нас: хотя наша компания в своей основе вполне здоровое предприятие, все же нам следует застраховаться от излишнего риска и поделиться нашими доходами с другими. Он уже вел переговоры с уоллстритовской фирмой «Диллон, Рид энд компани», которая соглашалась вложить 40 миллионов долларов за пакет акций и соответствующий процент с прибылей нашей компании. Я прямо заявил, что не хочу, чтобы Уолл-стрит имел хоть какое-то отношение к моей работе, и повторил, что нам нечего бояться объединения прокатчиков до тех пор, пока мы будем делать хорошие фильмы. Сдержав раздражение, Джо со спокойным высокомерием заметил, что он пытается помочь нашей компании, и нам следовало бы воспользоваться его предложением.

Тут вновь взяла слово Мэри. У нее была неприятная манера вести деловой разговор — она обращалась не ко мне непосредственно, а к другим, и я почувствовал себя чудовищным эгоистом. Она превозносила достоинства Джо, говорила о том, как самоотверженно он трудился и на какие жертвы шел для того, чтобы укрепить нашу фирму.

— Мы все должны проявлять гибкость и реализм, — заявила она.

Но я был непреклонен, и еще раз повторил, что не хочу, чтобы в мою работу вмешивались посторонние. Я верил в себя и в свою работу и готов был вложить в нее все



свои деньги. Совещание превратилось в жаркий спор, причем жара было больше, чем спора по существу. Но я продолжал стоять на своем и сказал, что могу выйти из компании, если остальные предпочитают обойтись без меня; тогда пусть они поступают, как хотят. За этим немедленно последовали признания в верности друг другу, а Джо объяснил, что он ни в коем случае не собирался нарушать нашей дружбы и согласия. Вопрос об участии Уолл-стрита в делах «Юнайтед артистс» больше не поднимался.

Прежде чем начать первый фильм для «Юнайтед артистс», я решил снять в какой-нибудь картине Эдну Первиэнс и сделать из нее новую кинозвезду. Хотя в наших отношениях с Эдной уже возникла отчужденность, меня по-прежнему заботила ее карьера. Однако я видел, что Эдна начинает обретать уж слишком почтенный вид, который не очень подходит для героинь моих будущих комедий. Кроме того, я не собирался и дальше оставаться в пределах короткометражной комедии с постоянным составом актеров на одни и те же амплуа. Я мечтал о полнометражных фильмах, требующих большего разнообразия исполнителей.

Несколько месяцев я носился с мыслью экранизировать на свой лад «Троянок» с Эдной в главной роли. Но чем больше мы углублялись в изучение темы, тем очевидней становилось, что такая постановка обойдется очень дорого, и в конце концов мы отказались от этой мысли.

Тогда я начал перебирать другие интересные женские образы, которые могла бы воплотить Эдна. Конечно, Жозефина! То обстоятельство, что историческая постановка потребовала бы костюмов той эпохи и обошлась бы вдвое дороже «Троянок», меня уже не смущало. Я был охвачен энтузиазмом.

Мы взялись за изучение эпохи, штудировали «Воспоминания о Наполеоне Бонапарте» Бурьенна и мемуары Констана — лакея Наполеона. Но чем больше мы знакомились с жизнью Жозефины, тем больше нам начинал мешать Наполеон. Я был так пленен блеском его гения, что фильм о Жозефине скоро превратился в полузабытое воспоминание, а я уже думал только о Наполеоне, которого хотел сыграть сам. Это был бы фильм об Итальянской кампании — эпический рассказ о том, как воля и мужество двадцатилетнего генерала берут верх над отчаянным противодействием и завистью старых опытных полководцев. Но, к сожалению, со временем мой пыл угас, и из этого предприятия с Наполеоном и Жозефиной так ничего и не вышло.

Примерно в это же время на голливудском горизонте появилась новая звезда — знаменитая своими замужествами красавица Пегги Хопкинс Джойс. Она вся была усыпана драгоценностями, и к тому же у нее в банке лежало три миллиона долларов, собранных с пяти мужей, — она мне сама об этом рассказывала. Пегги была незнатного происхождения — дочь простого парикмахера; она стала хористкой в ревю Зигфелда, а потом пять раз выходила замуж, и все за миллионеров. Хотя Пегги все еще была красавицей, у нее уже был несколько утомленный вид. В Голливуд она приехала прямо из Парижа, прелестно одетая во все черное — траур по молодому мужу, недавно покончившему из-за нее самоубийством. Этим траурным шиком она покорила весь Голливуд.

Как-то, когда мы с ней мирно пообедали вдвоем, она мне призналась, что ей противна ее скандальная слава.

— Я хочу только одного — выйти замуж и иметь детей. В душе я самая простая женщина, — сказала она, поправляя при этом бриллиантовые и изумрудные браслеты, которые чуть не до локтя украшали ее руку; в одном из них сверкал двадцатикаратный бриллиант. Когда Пегги бывала настроена легкомысленно, она называла их своими «нашивками».

Об одном из своих мужей Пегги рассказывала, что в первую брачную ночь заперлась от него в спальне и заявила, что не впустит его до тех пор, пока он не подсунет ей под дверь чек на полмиллиона долларов.

— И он подсунул? — спросил я.

— Конечно, — ответила она дерзко и не без юмора, — а наутро я первым делом, прежде чем он успел проснуться, получила деньги по этому чеку. Но он был дурак и слишком много пил. В один прекрасный день я стукнула его по голове бутылкой из-под шампанского и отослала в больницу.

— После чего вы и расстались?

— Нет, — рассмеялась она. — Должно быть, ему это очень понравилось, он стал еще больше сходить по мне с ума.

Томас Инс пригласил нас покататься на его яхте. Нас было всего трое — Пегги, Том и я, мы сидели в кают-компании и пили шампанское. Дело было вечером, и бутылка шампанского стояла под рукой у Пегги. Я чувствовал, как интерес Пегги постепенно переходит от меня к Тому Инсу. В обращении со мной у нее стали проскальзывать нотки неприязни, и я вспомнил о ее муже, которого она стукнула по голове бутылкой из-под шампанского, — пожалуй, нечто в этом роде угрожало и мне.

Хотя я тоже немного выпил, однако был трезв и очень вежливо предупредил Пегги, что если у меня явится хоть малейшее подозрение, что в ее хорошенькой головке блеснет такая мысль, я немедленно брошу ее за борт. После этого случая я был изгнан из свиты, а главным объектом привязанности Пегги стал Ирвинг Тальберг из студии «Метро-Голдвин-Майер». На какое-то время ее сомнительная слава ослепила Ирвинга — он был еще очень молод. В студии «Метро-Голдвин-Майер» разнеслись даже тревожные слухи о его предстоящей женитьбе, но вскоре Тальберг излечился, и из этого так ничего и не вышло.

Во время нашего хотя и короткого, но довольно эксцентричного романа Пегги рассказала мне несколько забавных историй о своей связи с известным французским издателем. Это подсказало мне сюжет «Парижанки», в которой главную роль должна была играть Эдна Первиэнс. Я был режиссером этого фильма, но сниматься сам не собирался.

Некоторые критики заявляли, что средства немого кино не дают возможности донести до зрителя психологию действующего лица, так как они ограничиваются конкретными самоисчерпывающимися действиями, — например, герой перегибает даму через ствол дерева и страстно дышит ей в ноздри, либо ввязывается в потасовку, где в ход пускаются кулаки, стулья и т. п. «Парижанка» была вызовом подобному мнению. В этом фильме я намеревался через тонкие детали поведения раскрыть психологию. В одном эпизоде к Эдне, игравшей женщину полусвета, приходит ее подруга и показывает ей журнал, где в рубрике светской хроники сообщается о свадьбе любовника Эдны. Небрежно просмотрев журнал, Эдна с притворным безразличием отбрасывает его и закуривает. Но зритель видит, как она потрясена. Проводив с веселой улыбкой подругу до двери, она бросается к журналу и со страстью и болью еще раз читает заметку. Таких многозначительных штрихов в фильме было немало. В спальне Эдны горничная открывает ящик комода, и оттуда случайно падает на пол мужской воротничок. Это выдает истинные отношения Эдны с героем (которого играл Адольф Менжу<sup>1</sup>).

Фильм очень понравился настоящим ценителям. Это был первый немой фильм, нашедший средства для четкого выражения иронии и психологии. За ним последовали другие фильмы того же рода, включая и фильм Эрнста Любича<sup>2</sup> «Брачный круг», где Менжу снова играл почти тот же образ.

Адольф Менжу после этого фильма сразу стал звездой, но Эдна не добилась такого успеха, хотя ей и предложили сниматься в Италии — за пять недель съемок она должна была получить десять тысяч долларов. Она посоветовалась со мной, и, разумеется, я горячо рекомендовал ей не упускать такой возможности. Но Эдне не хотелось окончательно порывать с нами. Тогда я сказал, что она всегда сможет вернуться к нам, если у нее дело не пойдет, а десять тысяч долларов на земле не валяются. Она снялась в этом фильме, однако он прошел незамеченным, и Эдна снова вернулась к нам.

Еще до окончания съемок «Парижанки» в Америку приехала Пола Негри и явилась в голливудском свете со всей истинно голливудской помпой. Рекламный отдел фирмы «Парамаунт» сумел превзойти в нелепостях даже самого себя. Немедленно была сострепана история о зависти и вражде между Глорией Свенсон и Полой, и подробные отчеты об очередных спорах и выходках обеих звезд фирмы «Парамаунт» способствовали их вящему прославлению. Газетные заголовки кричали: «Негри требует, чтоб ей предоставили уборную Свенсон». «Глория Свенсон отказывается знакомиться с Полой Негри». «Негри согласилась первой нанести визит Свенсон». И так далее и тому подобное до тошноты.

Ни Глория, ни Пола не были повинны в этих нелепых сплетнях. В действительности они отлично ладили с самого начала. Но эта хитро задуманная ссора была для рекламы манной небесной. В честь Полы устраивались вечера и приемы. Во время всей этой шумихи я как-то встретился с Полой на симфоническом концерте в «Голливуд Боул». Она сидела в соседней ложе в окружении свиты рекламных агентов и директоров «Парамаунт».

— Чаарли! Почему вы не подавали признаков жизни? Вы ни разу не позвонили. Неужели вы не понимаете, что я проделала весь этот путь из Германии, только чтобы увидеть вас?

Я был очень польщен, хотя и позволил себе усомниться в правдивости последних слов: в Берлине, где нас познакомили, я провел в ее обществе не более двадцати минут.

— Как вы жестоки, Чаарли. Даже ни разу не позвонили мне! А я так ждала от вас какой-нибудь весточки. Где вы работаете? Дайте мне номер вашего телефона, я вам позвоню.

Я не слишком поверил этим излияниям, но внимание красавицы Полы не оставило меня равнодушным. Несколько дней спустя я был приглашен к ней на вечер в дом, который она снимала в Беверли-хилс. Прием, даже по масштабам Голливуда, был неслыханно великолепен. Несмотря на присутствие других звезд-мужчин, Пола оказывала мне особое внимание. Меня не заботило, насколько она искренна, — все равно это было приятно. Так возник наш бурный роман. В продолжение нескольких недель мы всюду появлялись вместе, и, конечно, репортеры сходили с ума. Очень скоро появились заголовки: «Пола обручена с Чарли». Это очень смутило Полу, она потребовала, чтобы я дал опровержение.

— Но подобное заявление должно исходить от дамы, — возразил я.

— А что я им скажу?

Я уклончиво пожал плечами.

На следующий день мне без всяких объяснений передали, что мисс Негри не сможет со мной увидеться. Но в тот же вечер мне в крайнем волнении позвонила ее горничная и сообщила, что ее хозяйка очень больна, — не могу ли я немедленно приехать. Когда я явился, горничная вся в слезах провела меня в гостиную, где хозяйка лежала распростертая на кушетке, с закрытыми глазами. Открыв глаза, Пола простонала:

— Как ты жесток!

И мне пришлось сыграть роль Казановы.

Дня два спустя мне позвонил Чарли Хайтон, один из директоров студии «Парамаунт».

— Вы нам доставляете массу хлопот, Чарли. Я хотел бы с вами поговорить.

— Пожалуйста. Жду вас.

Хотя время близилось к полуночи, он тут же явился. Хайтон был грузный человек, весьма заурядной внешности — в каком-нибудь оптовом складе он выглядел бы как у себя дома; не успев сесть, он начал без дальних околичностей:

— Чарли, все эти слухи в печати очень расстраивают Полу. Почему вы не сделаете заявление и не положите им конец?

Мне не понравилась такая развязность. Я посмотрел ему прямо в лицо:

— А что вы хотите, чтобы я сказал?

Он попытался скрыть свое смущение шутливой дерзостью.

— Вы же любите ее, верно?

— По-моему, это никого не касается, — заметил я.

— Но мы вложили в эту женщину миллионы! А такие сплетни вредят ей, — он сделал небольшую паузу. — Чарли, если вы ее любите, почему бы вам на ней не жениться?!

Я тогда не оценил всю смехотворность этого наглого наскока.

— Если вы полагаете, что я способен жениться на ком-либо, чтобы спасти капиталовложения «Парамаунта», то вы сильно ошибаетесь.

— Тогда перестаньте с ней видеться, — потребовал он.

— Это должна решить Пола, — ответил я.

Завершился наш разговор на суховатой иронической ноте: не будучи акционером «Парамаунта», я не считал себя обязанным жениться на Поле. И мой роман с Полой оборвался так же внезапно, как и начался. Она мне больше не звонила.

Еще во время этого бурного романа в студии вдруг появилась молоденькая мексиканка — она прошла пешком весь путь от Мехико, чтобы встретиться с Чарли Чаплином. У меня уже был некоторый опыт знакомства с помешанными поклонниками, и я сказал администратору, чтобы он «вежливо отделался от нее».

Больше я не вспоминал о ней до той минуты, пока мне не позвонили из дому и не сообщили, что эта особа сидит на ступеньках перед нашей входной дверью. У меня волосы встали дыбом. Я приказал дворецкому как-нибудь удалить ее, а я пока подожду в студии. Через десять минут поступило известие о том, что путь свободен.

В тот же вечер у меня обедали Пола и доктор Рейнольдс с женой, и я рассказал им об этом случае. Мы даже открыли входную дверь и поглядели вокруг, чтобы удостовериться, не вернулась ли она. Но посреди обеда в столовую вдруг ворвался побелевший от ужаса дворецкий:

— Она наверху, у вас в кровати.

Он рассказал, что поднялся ко мне в комнату, чтобы приготовить постель, и вдруг увидел ее в кровати, в моей пижаме. Я растерялся, не зная, что предпринять.

— Пойду поговорю с ней, — сказал, подымаясь из-за стола, Рейнольдс и торопливо направился вверх. Мы все сидели и ждали, как развернутся события. Некоторое время спустя он вернулся.

— У меня был с ней длинный разговор, — сообщил он. — Она оказалась очень молоденькой и хорошенькой и разговаривает она вполне разумно. Я спросил ее, что она делает в вашей кровати. «Я хочу познакомиться с мистером Чаплином», — сказала она. — «А вы понимаете, — попробовал я ее урезонить, — что ваше поведение может показаться не вполне нормальным и вас могут засадить в дом для умалишенных?» Но она ничуть не смутилась. «Я вовсе не душевнобольная, — ответила она. — Просто я поклонница искусства мистера Чаплина и прошла весь долгий путь от Мехико, чтобы познакомиться с ним». Я посоветовал ей снять вашу пижаму, одеться и немедленно уйти отсюда — в противном случае нам пришлось бы вызвать полицию.

— А мне хотелось бы взглянуть на эту девушку, — легкомысленно заметила Пола. — Пригласите ее спуститься к нам вниз, в гостиную.

Я колебался, мне казалось, что это будет неловко для всех. Но девушка вошла в комнату очень уверенно. Рейнольдс оказался прав — она была молода и весьма привлекательна. Она рассказала нам, что весь день ходила вокруг студии. Я предложил ей пообедать, но она попросила лишь стакан молока.

И пока она потягивала свое молоко, Пола буквально забросала ее вопросами.

— Вы влюблены в мистера Чаплина? (Я поморщился.)

Девушка рассмеялась.

— Влюблена? О нет! Я только восхищаюсь им как великим артистом!

— А вы видели какие-нибудь из моих картин? — продолжала Пола.

— О да, — небрежно ответила девушка.

— И что вы о них думаете?

— Очень хорошо, но, конечно, вы не такая великая артистка, как мистер Чаплин.

Надо было посмотреть на лицо Пола в эту минуту.

Я предупредил девушку, что ее поведение может быть ложно истолковано, и спросил, есть ли у нее деньги на обратный путь в Мехико. Она ответила утвердительно и, выслушав еще несколько советов Рейнольдса, удалилась.

Но на завтра дворецкий снова среди дня ворвался ко мне в комнату и объявил, что она отравилась и сейчас валяется посреди дороги. Тут уж без дальнейших церемоний мы позвонили в полицию, и ее увезли в карете «Скорой помощи».

На следующий день в газетах появились целые развороты с фотографиями девушки, сидящей в кровати в больнице, — после промывания желудка она давала интервью представителям печати. Она сообщила, что и не собиралась травиться, а хотела лишь обратить на себя внимание, что она вовсе не влюблена в Чарли Чаплина, а явилась в Голливуд с одной лишь целью — проникнуть в кино и стать киноактрисой.

После выхода из больницы мексиканку передали на попечение Благотворительной лиги, откуда прислали любезное письмо с просьбой помочь отправить ее обратно в Мехико. «Девушка она милая и безобидная и ничего дурного сделать не может», — писали из Лиги, и я оплатил ее обратный проезд.

Теперь я мог приступить к работе над своей первой комедией для «Юнайтед артистс» — я намерен был сделать такой фильм, который затмил бы даже «Малыша». Несколько недель я мучился, выискивая тему. Я все время твердил себе: «Этот фильм должен быть величайшим фильмом эпохи!» — но ничто не помогало. Затем в одно воскресное утро у Фербенксов мы с Дугласом после завтрака разглядывали стереоскопические снимки. Некоторые из них изображали Аляску и Клондайк, и на одном из снимков я увидел Чилкутский перевал и длинную цепочку золотоискателей, взбирающихся по обледенелому склону. На обратной стороне фотографии кратко описывались опасности и трудности, которые приходилось преодолевать на этом перевале. Наконец-то я нашел тему, способную дать пищу моему воображению! Тут же у меня возникло множество идей, и я принялся придумывать комедийные ситуации, из которых начали постепенно вырисовываться контуры сюжета.

Как ни парадоксально, но в процессе создания комедии смешное рождается из трагического; вероятно, потому, что смех — это вызов судьбе: мы смеемся, сознавая свою беспомощность перед силами природы... смеемся, чтобы не сойти с ума. Я прочел книгу об отряде Доннера, который по пути в Калифорнию сбился с дороги и был застигнут бураном в горах Сьерры-Невады. Из ста шестидесяти человек остались в живых только восемнадцать — почти все погибли от голода и холода. Некоторые не остановились перед людоедством, поедая мертвецов, другие варили мокасины, чтобы как-нибудь обмануть голод. И вот эта жуткая трагедия подсказала мне один из самых смешных эпизодов фильма. Изнемогая от голода, я варю свой башмак и съедаю его, обсасывая гвозди, словно косточки нежного каплуна, а шнурки уписываю, как итальянские спагетти. Моему же товарищу, теряющему рассудок от голода, кажется, что я курица, и он пытается съесть меня.

Полгода я был занят придумыванием комедийных ситуаций и начал снимать фильм без сценария, чувствуя, что сюжет постепенно сложится сам на этом материале. В результате я, конечно, сделал много лишнего, и впоследствии пришлось выбросить очень забавные эпизоды. Например, любовную сцену, в которой эскимосская девушка учила бродягу целоваться по-эскимосски, то есть тереться носами. Отправляясь затем на поиски золота и нежно прощаясь с ней, он страстно трется носом о ее нос, потом, отойдя на некоторое расстояние, оглядывается и, коснувшись носа средним пальцем, посылает ей горячий воздушный поцелуй, а сам незаметно вытирает палец о штаны — у него насморк. Но эпизод с эскимоской пришлось выбросить, потому что он противоречил основной сюжетной линии с красавицей на балу.

Во время съемок «Золотой лихорадки» я женился во второй раз. Я не стану касаться подробностей этого брака — у нас двое взрослых сыновей, которых я очень люблю. Мы прожили с женой два года, пытаюсь создать семью, но ничего не получилось; у обоих осталось лишь чувство горечи.

Премьера «Золотой лихорадки» состоялась в Нью-Йорке, в моем присутствии, в кинотеатре «Стренд». С самого начала фильма, с того момента как я появляюсь, беззаботно шагая по краю пропасти, не замечая, что за мной по пятам идет медведь, зрители начали хохотать и аплодировать. И дальше смех то и дело прерывался аплодисментами. Хайрем Абрамс, заведывавший в «Юнайтед артистс» сбытом, подошел и обнял меня.

— Чарли, я гарантирую, что фильм принесет не меньше шести миллионов долларов.

И он оказался прав.

После премьеры, когда я вернулся к себе в «Ритц», мне вдруг стало дурно. Я почувствовал, что мне нечем дышать. Вне себя от страха, я позвонил своему приятелю:

— Я умираю, — задыхаясь пробормотал я, — вызовите моего адвоката!

— Адвоката? Вам нужен врач, — в испуге сказал он.

— Нет-нет, моего поверенного, я хочу сделать завещание.

Мой приятель, перепугавшись, позвонил и тому и другому, но так как мой поверенный находился в то время в Европе, пришел только врач.

Осмотрев меня, он сказал, что это просто нервное переутомление.

— Всему виной жара, — сказал он. — Уезжайте из Нью-Йорка куда-нибудь на побережье, отдохните и подышите морским воздухом.

В полчаса меня снарядили и отправили на побережье, в Брайтон-бич. По пути я плакал безо всяких на то причин. Мне достался номер, выходящий окнами на океан, и я сидел у окна, глубоко вдыхая морской воздух. Но вскоре перед отелем начали собираться толпы народа и кричать: «Привет, Чарли!», «Молодец, Чарли!» — и мне пришлось отойти от окна, чтобы меня не видели.

И вдруг раздался крик, напоминавший собачий вой, — где-то тонул человек. Спасатели вытащили его, положили прямо под моим окном и стали оказывать ему первую помощь, но было уже поздно — он был мертв. Не успела карета «Скорой помощи» увезти его, как завыл кто-то другой. В общем, из воды вытащили троих; двоих успели откачать. Все это привело меня еще в худшее состояние, и я решил вернуться в Нью-Йорк. Дня через два я уже оправился настолько, что смог уехать в Калифорнию.

## XX

Я вернулся в Беверли-хилс, и один мой друг пригласил меня к себе на завтрак, чтобы познакомить с Гертрудой Стайн<sup>1</sup>. Когда я вошел, мисс Стайн в коричневом платье с белым кружевным воротником сидела в кресле посреди гостиной, положив руки на колени. Почему-то она мне напомнила портрет мадам Рулен Ван-Гога, с той только разницей, что вместо рыжих волос, скрученных на затылке в пучок, у Гертруды были коротко подстриженные каштановые волосы.

На почтительном расстоянии от нее полукругом выстроились гости. Ее компаньонка, шепнув что-то на ухо Гертруде, подошла ко мне.

— Мисс Гертруда Стайн будет очень рада познакомиться с вами.

Я протиснулся к креслу. Мы ни о чем не разговаривали, так как другие гости ждали своей очереди быть ей представленными.

За завтраком хозяйка посадила меня рядом с мисс Стайн, и в конце концов мы заговорили об искусстве. Кажется, разговор начался с того, что я похвалил вид, открывавшийся из окна столовой. Но Гертруда не разделяла моих восторгов.

— Природа, — сказала она, — банальна. Имитация всегда гораздо интересней.

Она стала развивать свою мысль, утверждая, что поддельный мрамор всегда красивее настоящего, и что закат, написанный Тернером, прекраснее настоящего неба. Хотя все это звучало довольно надуманно, я вежливо соглашался с ней.

Затем Гертруда высказала несколько суждений о киносюжете. «Все они слишком затасканы, сложны и натянуты». Она предпочла бы увидеть меня в фильме, где я просто шел бы по улице, сворачивал за один угол, потом за другой, и еще, и еще. Я хотел было

сказать, что она просто перефразирует свое же мистическое изречение: «Роза есть роза, есть роза!» — но инстинкт самосохранения вовремя остановил меня.

Обеденный стол был покрыт прекрасной скатертью из брюссельского кружева, которой все гости дружно восхищались.

Во время нашего разговора подали кофе в очень легких японских чашечках, и мою чашку поставили у самого моего локтя, так что я немедленно опрокинул ее на скатерть. Я помертвел от ужаса! Но пока я смущенно извинялся перед хозяйкой, Гертруда тоже пролила свой кофе. Втайне я почувствовал некоторое облегчение — не один я был так неловок. Но Гертруда даже и бровью не повела.

— Ничего, ничего, — успокоила она хозяйку. — На мое платье не попало ни капли.

Мою студию посетил Джон Мейсфилд. Это был высокий красивый, спокойный человек, добрый и отзывчивый. Но почему-то он внушал мне робость. Хорошо еще, что незадолго перед тем я прочел его «Вдову в переулке» и она мне очень понравилась, так что я не все время молчал при нем, словно язык проглотил, я смог даже процитировать несколько строк, которые мне пришлось особенно по вкусу:

Ждет благовеста траурного люд,  
Толпясь перед тюремною оградой.  
Вот так изголодавшиеся ждут  
Отравы из чужого ада.

Во время съемок «Золотой лихорадки» как-то мне позвонила Элинон Глин:

— Мой дорогой Чарли, вы должны встретиться с Марион Дэвис. Она просто прелесть и будет счастлива с вами познакомиться. Хотите пообедать с нами в отеле «Амбассадор», а потом поехать в Пасадену и посмотреть с нами ваш фильм «Праздничный класс»?

Я ни разу не встречался с Марион, но знал чудовищную рекламу, которой было окружено ее имя. Оно до тошноты навязчиво появлялось в каждой газете и в каждом журнале Херста, бросалось в глаза, шибало в нос. Имя Марион Дэвис стало мишенью для острот. Когда кто-то обратил внимание Беатрис Лилли на гирлянды огней Лос-Анжелоса, она заметила: «Как красиво! И конечно, сейчас все огни сольются в слова: «Марион Дэвис»? Нельзя было открыть ни одной херстовской газеты или журнала, чтобы сразу не кинулся в глаза портрет Марион. Такая назойливость только отваживала публику.

Но я однажды видел у Фербенксов фильм «Когда рыцарство было в расцвете» с участием Марион Дэвис и, к своему удивлению, нашел, что она настоящая комедийная актриса, изящная, обаятельная, — она вполне могла бы стать кинозвездой первой величины и без урагана херстовской рекламы. На обеде у Элинон Глин она показалась мне простой и милой, и с этого дня мы с ней очень подружились.

Роман Херста с Марион стал легендой не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Их связь длилась больше тридцати лет, до самой его смерти.

Если бы меня спросили, кто произвел на меня наиболее сильное впечатление в жизни, я бы ответил: покойный Уильям Рэндольф Херст. Я бы тут же пояснил, что это впечатление далеко не всегда было благоприятным, несмотря на то, что он обладал некоторыми весьма достохвальными качествами. Меня занимала загадка этой натуры: его мальчишество и пронизательность, его доброта и жестокость, его необъятные власть и богатство, и при этом больше всего — его неподдельная естественность. К тому же он был самым независимым человеком из всех, кого мне когда-либо доводилось видеть.



Деловая империя Херста была сказочна по своему могуществу и разнообразию — он владел сотнями издательских предприятий, большой недвижимостью в Нью-Йорке, копиями и огромными пространствами земли в Мексике. Его секретарь рассказал мне, что имущество Херста оценивалось тогда в 400 миллионов долларов, — а в те дни это были огромные деньги.

О Херсте существуют прямо противоположные мнения. Одни считают его настоящим патриотом Америки, а другие — беспринципным дельцом, заинтересованным лишь в более широком распространении своих изданий и увеличении своего состояния. Во всяком случае, в молодости Херст был безрассудно смелым и даже либерально настроенным человеком. Конечно, у него под рукой всегда была отцовская казна. Рассказывают, что финансист Рассел Сейдж, встретившись как-то на 5-й авеню с матерью Херста, Фебой Херст, решил ее предостеречь:

— Если ваш сын не прекратит свои нападки на Уоллстрит, его газета будет терять не меньше миллиона долларов в год.

— В таком случае, мистер Сейдж, он сможет заниматься этим делом еще лет восемьдесят, — отпарировала миссис Херст.

При первой встрече с Херстом я совершил *faux pas*\*. Редактор и издатель «Верайти» Сайм Силвермен повел меня завтракать к Херсту домой на Риверсайд-драйв. Это был роскошный двухэтажный особняк, с редкостными картинами, высокими потолками, панелями красного дерева и встроенными в стены горками, в которых был выставлен фарфор. Меня представили всем членам семьи, и мы сели завтракать.

---

\* — оплошность, неловкость (*франц.*).

Миссис Херст, очень красивая дама, держалась мило и непринужденно. Херст был несколько насторожен и предоставил мне вести разговор.

— В первый раз, мистер Херст, — начал я, — я увидел вас в ресторане «Бозар» с двумя дамами. Мне вас показал кто-то из моих друзей.

Я почувствовал, что под столом мне многозначительно наступают на ногу, — я понял, что это Сайм Силвермен.

— О! — промолвил Херст с комическим выражением.

Я начал запинаться.

— Если это были не вы, то кто-то очень похожий на вас. Мой друг был не совсем уверен, — наивно старался я вывернуться.

— Ну что ж, — подмигнув, сказал Херст, — удобно иметь двойника.

— Да, да, — засмеялся я, может быть, несколько громче, чем следовало. Миссис Херст пришла мне на помощь.

— Да, — поддержала она меня с улыбкой, — это чрезвычайно удобно.

В общем, все обошлось, и завтрак закончился прекрасно.

Марион Дэвис приехала в Голливуд сниматься в херстовской «Космополитен продакшн». Она сняла в Беверли-хилс виллу, а Херст провел через Панамский канал к берегам Калифорнии свою огромную, как крейсер, яхту. С этого дня для всей киноколонии началась жизнь из сказок «Тысячи и одной ночи». Два-три раза в неделю Марион закатывала изумительные обеды человек на сто гостей. Общество было достаточно смешанным: актеры, актрисы, сенаторы, игроки в поло, хористы, иностранные монархи и вдобавок еще херстовские газетчики. На этих вечерах царила довольно

своеобразная атмосфера — смесь фривольности и напряжения, так как никто не мог предсказать, каково будет настроение всемогущего Херста, а от этого полностью зависело, удастся вечер или нет.

Я вспоминаю один случай на обеде у Марион. Человек пятьдесят гостей стояли и ждали, пока Херст, окруженный редакторами, беседовал с ними, с мрачным видом восседая, словно бог, в своем кресле с высокой спинкой. Ослепительно красивая Марион, в платье *a la madame Recamier* \*, возлежала на кушетке. Деловой разговор Херста не прекращался, и Марион с каждой минутой хмурилась все больше и больше. И вдруг она возмущенно крикнула:

---

\* — в стиле мадам Рекамье (*франц.*).

— Эй, вы!

Херст взглянул на нее.

— Вы ко мне обращаетесь? — спросил он.

— Да, к вам! Подите сюда! — ответила она, не спуская с него своих огромных синих глаз. Газетчики расступились, вся гостиная погрузилась в молчание.

Херст остался неподвижен, как сфинкс, глаза его сузились, брови нахмурились, губы сжались в тонкую полоску, а пальцы нервно постукивали по ручке троноподобного кресла, он был готов взорваться в любую минуту. Я уже хотел было шапку в охапку и бежать, но вдруг он встал.

— Ну что ж, как видно, надо подойти, — сказал он и неуклюже заковылял к ее кушетке. — Что прикажет, моя госпожа?

— Занимайтесь своими делами в городе, — презрительно промолвила Марион, — а не у меня в доме. Мои гости хотят выпить, поторопитесь распорядиться.

— Слушаюсь, слушаюсь. — И шутовски ковыляя, Херст поспешил в кухню, а гости, облегченно вздохнув, заулыбались.

Однажды, отправившись из Лос-Анжелоса в Нью-Йорк по какому-то срочному делу, я в поезде получил от Херста телеграмму с приглашением поехать с ним в Мексику. Я телеграфно ответил, что очень сожалею, но срочные дела призывают меня в Нью-Йорк. В Канзас-сити меня встретили два херстовских агента.

— Нам приказано снять вас с поезда, — объявили они, улыбаясь, и сообщили, что мистер Херст дал указание своим нью-йоркским адвокатам, чтобы они там сами занялись моими делами. Но я не смог поехать с Херстом.

Мне еще не приходилось видеть человека, который с такой легкостью, как Херст, сорил бы миллионами. Рокфеллера тяготила моральная ответственность, которую накладывало богатство. Пирпонт Морган упивался властью, которую оно давало. А Херст беспечно тратил огромные суммы, словно карманные деньги.

Вилла на берегу моря в Санта-Моника, которую Херст подарил Марион, была дворцом, символично построенным на песке знаменитыми итальянскими мастерами. Это было трехэтажное здание в георгианском стиле, около ста метров в длину, где было семьдесят комнат, бальный и столовый залы с золочеными стенами. Повсюду были развешаны картины Рейнольдса, Лоуренса и других знаменитых художников, правда, некоторые из них были подделкой. В большой библиотеке, отделанной дубовыми панелями, стоило лишь нажать кнопку — и часть пола подымалась, воздвигая при этом экран для демонстрации кинофильмов.

В столовой Марион удобно рассаживалось до пятидесяти гостей. В изысканно обставленных комнатах для гостей можно было разместить не меньше двадцати человек. В саду, спускавшемся к океану, был устроен итальянский бассейн для плавания, больше тридцати метров длиной, над которым был перекинут венецианский мраморный мостик. К бассейну примыкало некое сооружение, соединявшее в себе бар и небольшой зал для танцев.

Власти Санта-Моники решили построить гавань для небольших судов и яхт, проект был поддержан лос-анжелосским «Таймс». У меня тоже была небольшая яхта, и эта мысль мне очень улыбалась. Как-то за завтраком я заговорил об этом с Херстом.

— Это развратит всю округу, — возмутился он, — матросы начнут заглядывать сюда в окна, будто это публичный дом!

Разговор об этом больше не поднимался.

Херст держался удивительно естественно. Если он бывал в хорошем настроении, он очень неловко, но увлеченно отплясывал свой любимый чарльстон, ничуть не помышляя о том, что могут подумать о нем люди. Он никогда не позировал и всегда делал только то, что ему было интересно. Я считал его довольно скучным человеком, может быть, он и был таким, во всяком случае, он не делал никаких усилий, чтобы казаться другим. Многие считают, что передовые в херстовских газетах писал за него Артур Брисбейн, но сам Брисбейн говорил мне, что Херст умел писать передовые статьи лучше, чем кто-либо.

По временам в нем проявлялась удивительная инфантильность. Он очень легко обижался. Я вспоминаю, как однажды вечером мы выбирали себе партнеров для игры в шарады, и вдруг он пожаловался, что его никто не взял в свою группу.

— Не огорчайтесь, — шутливо заметил Джек Гилберт, — мы с вами вдвоем поставим шараду.

Херст обиделся, голос его задрожал:

— Да я вовсе не хочу играть в ваши дурацкие шарады, — сказал он и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Ранчо Херста в Сан-Симеоне, в четырёхста тысяч акров земли, тянулось по берегу Тихого океана миль на тридцать. Дом, построенный на плато, высотой около двухсот метров над уровнем моря и удаленный от него мили на четыре, напоминал цитадель. Дворец был построен из камней многих старинных замков, привезенных в упакованном виде из Европы. Фасад являл собой некую смесь Реймского собора с гигантским швейцарским шале. На подступах к замку, по самому краю плато, были расположены кольцом пять итальянских вилл, в каждой из которых можно было разместить не меньше шести гостей. Виллы были обставлены в итальянском стиле, с барочных потолков вам улыбались лепные серафимы и херувимы. В замке было еще тридцать комнат для гостей. Зал для приемов, около тридцати метров длиной и двадцати шириной, был сплошь увешан гобеленами — настоящими и поддельными. По углам этого роскошного зала были расставлены столы для игры в триктрак и в шарик, которые надо было загонять в лунки. В столовой, точно воспроизводившей неф Вестминстерского аббатства, с комфортом рассаживалось человек восемьдесят гостей. Штат прислуги доходил до шестидесяти человек.

Недалеке от дворца, так что слышался рев и вой, находился зверинец — там жили львы, тигры, медведи, орангутанги и другие обезьяны, птицы и пресмыкающиеся. От ворот к дому вела подъездная аллея, вдоль которой шли надписи: «Уступайте дорогу животным». Приходилось останавливать машину и ждать, пока паре страусов не

вздумается, наконец, сойти на обочину. Повсюду стадами бродили овцы, олени, лоси и американские бизоны, не давая ни проезда ни прохода.

Были здесь и специальные автомобили, приезжавшие встречать гостей на вокзал, а на случай если бы вы вздумали прилететь самолетом — имелся и свой частный аэродром. Если вам случилось приехать между трапезами, вас провожали в вашу комнату и сообщали, что обед подается в восемь вечера, а коктейли — в половине восьмого, в холле большого дома.

Вы могли развлекаться там плаванием, верховой ездой, теннисом, всеми играми, какие только можно было придумать, или посещениями зверинца. Херст установил железное правило: до шести вечера никто не мог получить ни одного коктейля. Но Марион собирала своих друзей у себя, и там тайком подавались коктейли.

Обеды были изысканные, по обилию и разнообразию они могли соперничать с пирами Карла I. По сезону подавалась и дичь: фазаны, дикие утки, куропатки, дикая оленина. Но при всей этой роскоши мы обходились бумажными салфетками, и лишь когда хозяйкой бывала сама миссис Херст, гостям подавали полотняные.

Раз в году миссис Херст посещала Сан-Симеон, но все протекало мирно. В основу отношений между Марион и миссис Херст был положен принцип сосуществования: когда приближался срок приезда миссис Херст, Марион и мы все потихоньку ретировались или возвращались в виллу Марион, на побережье Санта-Моника. Правда, я был знаком с Миллисент Херст с 1916 года, мы с ней были добрыми друзьями, и поэтому у меня была постоянная въездная виза в оба хозяйства. Приехав на ранчо со своими сан-францисскими светскими друзьями, Миллисент обычно приглашала и меня провести там субботу и воскресенье, и я появлялся так, словно с прошлого года здесь не был. Впрочем, Миллисент никаких иллюзий на этот счет не питала. Она делала вид, будто ей ничего не известно о недавнем великом исходе гостей из Сан-Симеона, но относилась ко всему не без юмора.

— Если не Марион, был бы кто-нибудь другой, — заметила она.

Она часто и вполне доверительно говорила со мной об отношениях Марион с Уильямом Рэндольфом, но в ее словах никогда не чувствовалось горечи.

— Он продолжает вести себя так, будто между нами ничего не произошло, будто Марион и на свете нет, — рассказывала она. — Когда я приезжаю, он неизменно мил и очарователен, но никогда не остается дома дольше двух-трех часов. Уже выработался ритуал: среди обеда дворецкий подает ему записку, Уильям извиняется и встает из-за стола. А когда возвращается, он робко сообщает мне, что какие-то весьма срочные дела требуют его присутствия в Лос-Анжелосе, и мы все делаем вид, что поверили ему. Конечно, все мы понимаем, что он торопится к Марион.

Как-то вечером, после обеда, я пошел погулять с Миллисент по парку. Полная луна заливала своим светом замок, и на живописном фоне семи гор он казался призрачным, фантастическим. Ясное небо было усеяно звездами. Мы постояли немного, любуясь этой красотой. Из зверинца то и дело доносился львиный рык и непрерывный вой огромного орангутанга. Горное эхо возвращало сторицей эти дикие звуки. Впечатление было жуткое и мрачное; каждый вечер на закате орангутанг начинал выть, сначала тихонько, а потом все громче и громче, и этот ужасающий вой слышался всю ночь.

— Это треклятое животное, должно быть, не в своем уме, — сказал я.

— Здесь все безумное. Посмотрите, — сказала Миллисент, указывая на замок, — на это создание сумасшедшего Отто... И он будет продолжать его строить и пристраивать до последнего дня своей жизни. А на что оно нужно? Ни один человек не может

позволить себе содержать такую машину. Как отель его тоже нельзя использовать, и если даже он завещает его государству, я сильно сомневаюсь, смогут ли его использовать хотя бы под университет.

Миллисент всегда говорила о Херсте с материнской нежностью, и это заставляло меня подозревать, что она все еще продолжала его любить. Это была добрая, чуткая женщина, но впоследствии, через много лет, когда я стал политически «не вполне благонадежен», она поспешила от меня отвернуться.

Однажды вечером я приехал в Сан-Симеон па субботу и воскресенье, и Марион встретила меня в очень нервном и возбужденном состоянии. Во время прогулки кто-то напал на одного из гостей и бритвой нанес ему несколько ран.

Когда Марион была чем-нибудь взволнована, она начинала заикаться — и от этого становилась еще очаровательней: такое кроткое беспомощное существо, вызывающее к покровительству.

— М-м-м-ы еще не з-з-наем, кто это сделал, — шептала она. — Но У. Р. уже разослал детективов по всему ранчо. Мы стараемся сохранить все это в секрете от остальных гостей. Кое-кто думает, что нападавший был филиппинцем, и У. Р. отослал всех филиппинцев с ранчо, пока не будет закончено следствие.

— А кто этот человек, на которого было произведено нападение? — спросил я.

— Вы его увидите вечером, за обедом.

За обедом напротив меня сидел молодой человек с забинтованной головой — были видны лишь сверкающие глаза и белые зубы, которые он непрерывно обнажал в улыбке.

Марион толкнула меня под столом.

— Это он, — шепнула она.

Казалось, нападение ничуть не подействовало на него, и ел он с завидным аппетитом. На все вопросы по этому поводу он лишь пожимал плечами и улыбался.

После обеда Марион показала мне место, где произошло нападение.

— Вот здесь, позади этой статуи, — сказала она, указывая на мраморную копию «Крылатой Победы». — Видите пятна крови?

— А что он делал позади статуи? — спросил я.

— П-прятался от р-р-разбойника, — объяснила Марион.

И вдруг из тьмы снова появился наш гость, и, когда он, пошатываясь, прошел мимо нас, мы увидели, что лицо его залито кровью. Марион закричала, я подскочил. В тот же миг его обступило человек двадцать, появившихся неизвестно откуда.

— На меня снова напали, — простонал он.

Двое детективов понесли его на руках в его комнату, и там он дал новые показания. Марион тут же исчезла, но через час я увидел ее в холле.

— Что случилось? — спросил я.

На сей раз она была настроена скептически.

— Они говорят, что он сам это сделал. Этому психу хотелось обратить на себя внимание.

Чудака без сожаления спровадили с ранчо в тот же вечер, а несчастных филиппинцев наутро вернули на работу.

Частым гостем в Сан-Симеоне, а также на вилле Марион был сэр Томас Липтон, прелестный, но очень разговорчивый старый шотландец, болтавший с премилым северным акцентом. Говорил он непрерывно и все время что-то вспоминал.

— Чарли, вы приехали в Америку и добились успеха, и я тоже. Впервые я приехал сюда на судне для перевозки скота, но я тогда же сказал себе: «Следующий раз я приеду сюда на собственной яхте». И я это выполнил.

Он жаловался мне, что в чайном деле его ограбили на миллионы фунтов. Мы часто обедали вместе в Лос-Анжелосе — посол в Испании Александр Мур, сэр Томас Липтон и я, — и обычно Алекс и сэр Томас предавались воспоминаниям, роняя королевские имена, словно сигаретные окурки, и создавая у меня впечатление, что коронованные особы изъясняются исключительно эпитафиями.

В ту пору я много встречался с Херстом и Марион и с удовольствием принимал участие в роскошной жизни, которую они вели. Я широко пользовался предоставленной мне привилегией приезжать в любое время на виллу Марион, особенно когда Дуг и Мэри уезжали в Европу. Однажды утром за завтраком Марион в присутствии других гостей спросила моего совета по поводу ее сценария, но то, что я ей сказал, явно не понравилось У. Р. Сюжет был построен на теме феминизма, и я заметил, что, по-моему, женщины обычно сами выбирают мужчин, а мужчины тут играют пассивную роль.

Однако У. Р. держался другого мнения.

— Ну нет,— возразил он, — выбирает всегда мужчина.

— Это нам только кажется, — ответил я, — а какая-нибудь маленькая мамзель укажет на вас пальчиком и вымолвит: «Вот этого я беру», — и вы уже пропали.

— Вот тут вы ошибаетесь, — самонадеянно заметил Херст.

— Все горе в том, — продолжал я, — что их техника скрыта, и мы в самом деле начинаем верить, будто сами их выбираем.

И вдруг Херст так стукнул кулаком по столу, что вся посуда зазвенела.

— Если я говорю «белое», вы непременно утверждаете, что это черное! — заорал он.

Наверно, я слегка побледнел. Как раз в эту минуту дворецкий подавал мне кофе, я взглянул на него и сказал:

— Попросите, пожалуйста, уложить мои вещи и вызовите мне такси.

Не говоря больше ни слова, я встал, прошел в зал и вне себя от ярости начал расхаживать взад и вперед. Через минуту появилась Марион.

— Что случилось, Чарли?

Голос у меня дрожал.

— Никто не смеет на меня кричать. Он думает, кто он? Нерон? Наполеон?

Ни звука не проронив, она повернулась и быстро вышла из комнаты. Мгновение спустя вошел У. Р., сделав вид, будто ничего не случилось.

— В чем дело, Чарли?

— Я не привык, чтобы на меня кричали, особенно, если я в гостях. Поэтому я уезжаю. Я... — но клубок подкатил к горлу, и я не мог закончить фразу.

У. Р. минуту подумал, а потом, как и я, начал ходить взад и вперед по залу.

— Давайте все-таки объяснимся, — проговорил он, и голос у него тоже задрожал.

Я проследовал за ним в уголок холла, где стоял антикварный диванчик на двоих, подлинный Чиппендейл<sup>1</sup>. Херст был около двух метров ростом и к тому же достаточно толст. Он сел и указал мне на оставшееся место.

— Садитесь, Чарли, и давайте поговорим.

Я кое-как втиснулся и оказался плотно прижатым к нему. Не говоря ни слова, он вдруг протянул мне руку, и хотя я не мог пошевеливаться, я все-таки ухитрился ее пожать. И тут все еще дрожащим от волнения голосом он начал мне объяснять:

— Видите ли, Чарли, я не хочу, чтобы Марион играла в этом фильме, а она очень считается с вашим мнением. И когда вы одобрили сценарий, я, должно быть, взорвался и был немного резок с вами.

Я сразу растаял, постарался все сгладить, настаивал, что я сам был во всем виноват, и тут, когда мы на прощанье еще раз пожали руки друг другу и затем хотели подняться, мы почувствовали, что крепко застряли в чиппендейлевском диванчике, который под нашим нажимом начал тревожно поскрипывать. После нескольких попыток нам все-таки удалось в конце концов кое-как выбраться и даже не сломать ценный Чиппендейл.

Оказывается, Марион, оставив меня, сразу прошла к Херсту, отругала его за грубость и приказала сейчас же извиниться передо мной. Марион умела выбрать минуту, когда она могла требовать, но умела и помолчать, если нужно было. «Когда на него находит, — рассказывала Марион, — он мечет гр-р-ром и молнии».

Сама Марион была весела и обаятельна. Когда дела призывали Херста в Нью-Йорк, она собирала у себя на вилле в Беверли-хилс всех своих друзей (до того как была построена ее вилла на берегу моря); мы проводили там очень веселые вечера и до рассвета играли в шарады. Затем Рудольфо Валентино и я в свою очередь приглашали всех к себе. Иногда мы нанимали автобус, набивали его провизией, приглашали музыканта, игравшего на концертино, и отправлялись компанией человек в десять, а то и в двадцать на пляж Малибу, разводили там костер, ловили рыбу и устраивали ночной пикник.

На этих вечерах неизменно появлялась фельетонистка херстовских изданий Луэлла Парсонс в сопровождении Гарри Кроккера, который впоследствии стал одним из моих ассистентов. Из этих экспедиций мы возвращались домой не раньше четырех-пяти утра, и тут Марион говорила Луэлле:

— Если только У. Р. об этом узнает, кто-нибудь из нас непременно б-б-будет уволен, и-и-и скорей всего не я.

Во время одного из таких веселых обедов в доме у Марион Херст позвонил из Нью-Йорка. Марион вернулась взбешенная.

— Можете себе представить, — в негодовании воскликнула она, — У. Р. установил за мной слежку!

Херст прочел ей по телефону донесение сыщика, в котором подробно сообщалось, что она делала с того момента, как он уехал: ее видели, когда она выходила из дома некоего господина А. в четыре утра, из дома господина Б. — в пять утра, и так далее. Позже она рассказала мне, что Херст немедленно возвращается в Лос-Анжелос, чтобы покончить с ней все отношения, и уже решено, что они расстанутся. Естественно, Марион негодовала — она решительно ни в чем не была виновата и очень невинно веселилась в кругу друзей. Донесение сыщика фактически было правильным, но создавало неправильное представление. У. Р. прислал из Канзас-сити телеграмму: «Я передумал и не

вернусь в Калифорнию. Я не смогу снова увидеть места, где когда-то был так счастлив. Возвращаюсь в Нью-Йорк». Вскоре, однако, последовала другая телеграмма, сообщавшая о его приезде в Лос-Анжелос.

Мы все с трепетом ждали приезда Херста. Но объяснения, которые ему дала Марион, оказали целительное действие, и в результате У. Р. закатил невероятный банкет в честь своего возвращения в Беверли-хилс. К арендованной Марион вилле был пристроен временный банкетный зал, в котором усадили сто шестьдесят человек гостей. За два дня зал был построен, декорирован, было проведено электричество и даже возведена танцевальная площадка. Марион стоило лишь дотронуться до лампы Аладдина — и все ее желания исполнялись. В этот вечер она появилась с новым изумрудным кольцом, стоимостью в сто семьдесят пять тысяч долларов — подарком У. Р.; и, между прочим, никто так и не был уволен.

Иногда для разнообразия — вместо того чтобы отправиться в Сан-Симеон или на виллу Марион, — мы проводили конец недели на яхте Херста, плавали на Каталину или на юг к Сан-Диего. Во время одной из таких экскурсий пришлось снять с борта и отвезти в Сан-Диего Томаса Инса, который в то время возглавлял херстовскую студию «Космополитен филм продакшнс». Я в тот раз на яхте не был, но мне рассказывала присутствовавшая там Элинон Глин, что Инс был очень весел и жизнерадостен, но во время завтрака ему вдруг стало нехорошо, он почувствовал нестерпимую боль и был вынужден выйти из-за стола. Все подумали, что это приступ желудочных колик, но ему делалось все хуже и хуже, и тогда решили, что, очевидно, надо немедленно положить его в больницу. Врачи поставили диагноз тяжелого сердечного приступа, и вскоре Инса переправили из Сан-Диего домой, в Беверли-хилс, где недели три спустя приступ повторился и Инс умер.

Немедленно разнесся мрачный слух, что Инс был убит, и виновником его смерти называли Херста. Эти слухи не имели под собой никакой почвы. Я знаю это вполне достоверно, потому что мы с Марион и Херстом навестили Инса за две недели до его смерти, он был очень рад видеть нас троих у себя и был уверен, что скоро выздоровеет.

Смерть Инса нарушила планы херстовской «Космополитен продакшнс», и она была передана фирме «Уорнер бразерс», но затем, года два спустя, «Продакшнс» Херста перешла к студии «Метро-Голдвин-Майер», при которой было построено роскошное бунгало — отдельная уборная Марион, которую я прозвал ее «Трианомом».

Именно здесь Херст чаще всего занимался делами своих газет. Сколько раз я заставлял его сидящим посреди приемной Марион, а кругом на полу было разложено штук двадцать, а то и больше газет, и Херст со своего места внимательно разглядывал заголовки.

— Слабовато звучит, — говорил он своим высоким голосом, указывая на одну из газет. — А почему вы это помещаете на первой полосе?

Затем он выбирал какой-нибудь номер журнала, начинал его перелистывать и тщательно взвешивал на руках.

— Что у вас делается с рекламой? Почему журнал так похудел в этом месяце? Телеграфируйте Рею Лонгу, пусть немедленно явится ко мне.

Но посреди такой сцены вдруг появлялась в роскошном туалете Марион, только что покинувшая съемочную площадку, и, умышленно ступая на газеты, презрительно говорила:

— Уберите весь этот мусор, и не устраивайте беспорядка у меня в уборной.



Херст иногда бывал удивительно наивен. Собираясь на премьеру фильма, в котором снималась Марион, он обычно приглашал меня поехать вместе с ними, но, не доезжая до кинотеатра, всегда выходил из машины, чтобы его не видели входящим вместе с Марион. Однако, когда херстовский «Экзаминар» вступил в политическую борьбу с лос-анжелосским «Таймс» и благодаря энергичным атакам Херста остался победителем, «Таймс» не погнушался прибегнуть к личным выпадам и обвинил Херста в том, что тот живет двойной жизнью, свил себе гнездышко на берегу моря в Санта-Монике, где предается радостям любви, причем было упомянуто имя Марион. Херст не ответил на этот выпад в своей газете, но на другой день — накануне как раз умерла мать Марион — явился ко мне и сказал:

— Чарли, вы согласны вместе со мной нести покров на похоронах миссис Дэвис?

Понятно, я согласился.

Кажется, в 1933 году Херст пригласил меня поехать с ним в Европу. Для этой поездки он арендовал половину кунардовского лайнера. Я отказался от приглашения; я понимал, что придется плыть в компании двадцати других гостей, задерживаться там, где Херсту заблагорассудится задержаться, и торопиться там, где будет торопиться Херст.

Все это я знал уже по опыту путешествия с ним в Мексику, когда моя вторая жена ждала ребенка. Целая процессия из десяти машин следовала за Херстом и Марион по тряским дорогам, и я проклинал эту злосчастную экспедицию. Дороги оказались настолько непроезжими, что в конце концов пришлось отказаться от намеченного маршрута и остановиться на ночь на какой-то мексиканской ферме. Там нашлось только две комнаты на двадцать человек, и одна из них была щедро предоставлена моей жене, Элинор Глин и мне. Кое-кто устроился на столах и стульях, другие — в курятнике, третьи — на кухне. Наша крохотная комната представляла довольно фантастическое зрелище: в единственной кровати лежала моя жена, я кое-как взгромоздился на два составленных вместе стула, а Элинор, в изысканном туалете, словно она собралась в ресторан «Ритц», в шляпе с вуалеткой и в перчатках, улеглась на колченогой кушетке. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, словно изваяние па старинном надгробии, и в этом положении, ни разу его не сменив, проспала всю ночь. Я могу это подтвердить, так как мне всю ночь не удалось сомкнуть глаз. Утром я уголком глаза наблюдал, как Элинор встала в том же перевозчанном виде, как и легла, — ни один волосок не выбился из-под шляпки, лицо белое и гладкое, как шелк, и вся она свежая и сияющая, будто вышла к вечернему чаю в ресторане «Плаза».

Херст повез с собой в Европу моего бывшего ассистента Гарри Кроккера, который был в то время его личным секретарем. Гарри спросил, не дам ли я Херсту рекомендательного письма к сэру Филиппу Сассуну, и, понятно, я это сделал немедленно.

Филипп помог Херсту прекрасно провести время. Но, зная, что Херст в течение многих лет открыто и очень резко проявлял свои антибританские настроения, он не без умысла устроил ему встречу с принцем Уэльским. Филипп оставил их наедине в своей библиотеке, где, по его словам, принц прямо, без обиняков спросил Херста, почему он так не любит англичан. Они просидели там часа два, и, по мнению Филиппа, принц добился кое-каких результатов.

Я никогда не мог понять причины неприязни Херста к Англии, где у него были значительные владения, приносявшие ему большие доходы. Истоки его прогерманских симпатий восходят еще к первой мировой войне; тогда его связь и даже дружба с германским послом графом Берншторфом в столь острый период приняла почти скандальный характер, и даже неограниченная власть Херста не могла пресечь всех нареканий. А его иностранный корреспондент Карл фон Виганд почти до начала второй мировой войны продолжал писать о Германии в самых благосклонных тонах.

Во время своего путешествия в Европу Херст посетил Германию и взял интервью у Гитлера. В то время никто еще не знал ничего толком о концентрационных лагерях Гитлера. Первое упоминание о них появилось в статьях моего друга Корнелиуса Вандербильта, которому под каким-то предлогом удалось пробраться в один из таких лагерей и написать о тех пытках, которым нацисты подвергали там людей. Но его рассказы о чудовищной жестокости этих выродков казались столь фантастичными, что мало кто ему поверил.

Вандербильт посылал мне серии почтовых открыток с изображением Гитлера, произносящего свои речи. Лицо его было непристойно комичным; это была плохая имитация образа моего бродяги, с его нелепыми усиками, непослушной прядью прямых волос и омерзительной тонкой полосой крепко сжатого рта. Я не мог воспринять Гитлера всерьез. На каждой открытке он был изображен в новой позе: на одной он разглагольствовал, обращаясь к толпе и размахивая руками, напоминающими клешни; на другой одна рука была поднята, а другая опущена, будто он игрок в крикет и вот сейчас подает мяч; на третьей он крепко сжимал руки перед собой, словно поднимая воображаемые гантели. А его приветственный жест откинутой назад от плеча рукой с повернутой кверху ладонью всегда вызывал у меня желание положить на эту ладонь поднос с грязными тарелками.

— Да он полоумный, — думал я. Но когда Эйнштейн и Томас Манн были вынуждены покинуть Германию, лицо Гитлера уже казалось мне не комичным, а страшным.

Я познакомился с Эйнштейном в 1926 году, когда он приезжал в Калифорнию читать лекции. У меня есть теория, что ученые и философы — это чистой воды романтики, только страсть свою они направляют по другому руслу. Эта теория очень подходит к Эйнштейну. Он выглядел типичным тирольским немцем в самом лучшем смысле этого слова, веселым и общительным. Но я чувствовал, что за его спокойствием и мягкостью скрывается крайне эмоциональная натура, и его неукротимая интеллектуальная энергия питалась именно этим источником.

Как-то мне позвонил Карл Леммл из студии «Юниверсл» и сказал, что со мной хотел бы познакомиться профессор Эйнштейн. Я был очень взволнован и польщен. Мы встретились за завтраком в студии «Юниверсл», на котором присутствовали профессор, его жена, его секретарша Элен Дюка и его ассистент, профессор Вальтер Мейер. Миссис Эйнштейн очень хорошо говорила по-английски, гораздо лучше своего мужа. Это была плотная и необычайно жизнерадостная женщина. Она нисколько не скрывала, что ей нравится быть женой великого человека, и откровенно радовалась своему положению, но это было в ней даже привлекательно.

После завтрака, когда мистер Леммл показывал им студию, миссис Эйнштейн отвела меня в сторону и шепнула:

— Почему вы не пригласите профессора к себе? Я знаю, он будет очень рад побеседовать с вами в спокойной обстановке.

Так как миссис Эйнштейн попросила, чтобы мы собрались в тесном кругу, я пригласил еще только двух своих друзей. За обедом она рассказала мне о том памятном утре, когда у Эйнштейна зародилась идея, из которой возникла теория относительности.

— Профессор, как обычно, спустился к завтраку в халате, но он почти не прикоснулся к еде. Я подумала, что он плохо себя чувствует, и спросила, в чем дело? «Дорогая моя, — сказал он, — у меня явилась замечательная мысль». Выпив кофе, он сел

за рояль и начал играть. Время от времени он прекращал игру, делал какие-то записи и снова повторял: «Замечательная, великолепная мысль!»

«Но, ради бога, скажи мне, в чем дело, — взмолилась я, — не оставляй меня в неизвестности».

«Это очень сложно, — ответил он, — мне еще надо все продумать».

— Профессор еще с полчаса продолжал играть и делать заметки, — рассказывала миссис Эйнштейн, — затем он поднялся к себе наверх, попросив, чтобы его не беспокоили, и две недели не покидал кабинета.

— Еду я посылала ему наверх. И только по вечерам он ненадолго выходил погулять и снова возвращался к работе. Наконец, очень побледневший за эти дни, он спустился в гостиную. «Вот», — сказал он мне, устало кладя на стол два исписанных листка. Это была его теория относительности.

Доктор Рейнольдс, которого я пригласил в этот вечер главным образом потому, что он немного разобрался в физике, за обедом спросил профессора, читал ли он книгу Данна «Опыт со временем».

Эйнштейн покачал головой.

— У него интересная теория измерений, — несколько легкомысленно заметил Рейнольдс, — нечто вроде, — здесь он слегка замялся, — нечто вроде протяженности величин.

Эйнштейн быстро обернулся ко мне и лукаво шепнул:

— Протяженность величин? Was ist das? \*

---

\* — Что это такое? (нем.)

После этого Рейнольдс оставил измерения в покое и спросил Эйнштейна, верит ли он в привидения. Эйнштейн признался, что ему ни разу в жизни не приходилось с ними встречаться, и прибавил:

— Если двенадцать человек скажут мне, что они в одно и то же время наблюдали одно и то же явление, тогда я, возможно, поверю в него. — Он улыбнулся.

В эту эпоху спиритизм был в большой моде, и эктоплазма будто смог, окутывала Голливуд, а особенно густо — дома кинозвезд, где происходили спиритические сеансы, общения с духами и прозрения медиумов. Я не бывал на этих бдениях, но известная комедийная актриса Фанни Брайс клялась мне, что однажды на спиритическом сеансе она своими глазами видела, как стол поднялся и поплыл в воздухе по всей комнате. Я спросил профессора, приходилось ли ему наблюдать подобные явления? Он слегка улыбнулся и покачал головой. Я спросил его также, не противоречит ли его теория относительности гипотезе Ньютона?

— Наоборот, — ответил он, — она является дальнейшим ее развитием.

За обедом я сказал миссис Эйнштейн, что, как только у меня явится хоть малейшая возможность, я снова съезжу в Европу,

— В таком случае вы должны в Берлине заглянуть к нам, — сказала она. — Живем мы очень скромно. Ведь профессор небогат, и хотя фонд Рокфеллера предоставил ему больше миллиона долларов на научную работу, он не пользуется этими деньгами.

Впоследствии, будучи в Берлине, я посетил Эйнштейнов в их скромной небольшой квартире. Таковую квартиру, с гостиной (она же — столовая), пол которой застелен старым

потертым ковром, вы могли бы увидеть где-нибудь в Бронксе. Самым дорогим предметом обстановки был здесь рояль, на котором были сделаны те самые исторические предварительные заметки относительно четвертого измерения. Я часто думаю, что случилось о этом роялем? Попал ли он в институт Смита или в музей Метрополитен, или нацисты изрубили его на дрова?

Когда в Германии начался фашистский террор, Эйнштейны нашли убежище в Соединенных Штатах. Миссис Эйнштейн рассказывала интересный случай, иллюстрирующий полную неопытность профессора в денежных делах. Его пригласили работать в Принстонский университет и просили сообщить свои условия. Профессор назвал такую скромную цифру, что ректорат вынужден был разъяснить ему, что названная сумма не обеспечивает в Штатах даже прожиточного минимума и что ему на жизнь потребуется по крайней мере в три раза больше. В 1937 году Эйнштейны снова приехали в Калифорнию и побывали у меня. Профессор очень сердечно расцеловал меня и предупредил, что привел с собой трех музыкантов.

— После обеда мы вам поиграем.

В тот вечер Эйнштейн принимал участие в исполнении моцартовского квартета. Хотя его смычок двигался не очень уверенно и техника была жестковата, тем не менее он играл с упоением, покачиваясь в такт и закрывая глаза. Остальные три музыканта, не выказывавшие особого восторга по поводу участия профессора в их квартете, деликатно посоветовали ему немного отдохнуть, пока они сыграют какое-нибудь трио. Он согласился, подсел к нам и стал слушать. Но, прослушав две-три вещи, он наклонился ко мне и шепнул:

— А когда же я буду играть?

Наконец музыканты ушли, и миссис Эйнштейн, немного раздосадованная, стала уверять мужа:

— Ты играл лучше их всех!

Несколько дней спустя Эйнштейны снова обедали у меня, Я пригласил Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса, Марион Дэвис, У. Р. Херста и еще двух-трех человек. Марион Дэвис я посадил рядом с Эйнштейном, а миссис Эйнштейн по правую руку от себя, рядом с Херстом. До обеда все шло как нельзя лучше. Херст был любезен, а Эйнштейн вежлив. Но в продолжение обеда я чувствовал, что температура все больше падает, и вскоре оба вообще замолчали. Я изо всех сил старался оживить разговор, но никак не мог заставить их заговорить. В столовой воцарилось довольно зловещее молчание. Херст мрачно уставился в свою тарелку с десертом, а профессор, улыбаясь, спокойно думал о чем-то своем.

Марион, с присущим ей легкомыслием, делала какие-то саркастические замечания, обращаясь поочередно ко всем, кроме Эйнштейна. И вдруг она обернулась к профессору:

— Скажите, — спросила она, проказливо повертев пальчиком вокруг его головы, — почему вы не пострижетесь?

Эйнштейн улыбнулся, а я поторопился пригласить всех в гостиную пить кофе.

Русский режиссер Эйзенштейн приехал в Голливуд со своей группой, в составе которой были Григорий Александров и молодой англичанин Айвор Монтегю<sup>1</sup> — друг Эйзенштейна. Я очень часто виделся с ними. Они приходили ко мне на корт играть в теннис.

Эйзенштейн должен был снимать фильм для фирмы «Парамаунт». Он приехал, овеянный славой «Потемкина» и «Десяти дней, которые потрясли мир»<sup>2</sup>. «Парамаунт» пригласил Эйзенштейна поставить фильм по его собственному сценарию. Эйзенштейн написал превосходный сценарий — «Золото Зуттера», на основе очень интересного документального материала о первых днях калифорнийской золотой горячки. В сценарии не было никакой пропаганды, но то обстоятельство, что Эйзенштейн приехал из Советской России, вдруг напугало «Парамаунт», и фирма в конце концов отказалась от своей затеи.

Как-то, беседуя с Эйзенштейном о коммунизме, я спросил, считает ли он, что образованный пролетарий может по интеллектуальному уровню сравниться с аристократом, за которым стоят поколения культурных и образованных предков. Мне показалось, что его удивило мое невежество. Эйзенштейн, происходивший из семьи инженера, ответил: «Интеллектуальные возможности масс я бы сравнил с богатой целиной — дайте только им образование».

Фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», который я увидел после второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов. Эйзенштейн трактует историю поэтически, а, на мой взгляд, это превосходнейший метод ее трактовки. Когда я думаю, до какой степени искажаются события даже самого недавнего прошлого, я начинаю весьма скептически относиться к истории как таковой. Между тем поэтическая интерпретация истории создает общее представление об эпохе. Я бы сказал, что произведения искусства содержат гораздо больше истинных фактов и подробностей, чем исторические трактаты.

## XXI

Как-то я приехал в Нью-Йорк, и один из моих приятелей рассказал мне, что он присутствовал при озвучании фильма и уверен, что в ближайшем будущем звук революционизирует всю кинопромышленность.

Я вспомнил о его пророчестве только несколько месяцев спустя, когда братья Уорнер выпустили свой первый звуковой фильм. Это был исторический фильм с участием очень красивой актрисы, имя которой я не стану называть. Она молча страдала, и ее большие трагические глаза говорили о ее боли выразительней, чем слова Шекспира. И вдруг в фильме появился новый компонент — звук, вернее, шум, который можно услышать, прижав к уху морскую раковину. И прелестная принцесса заговорила, будто прикрыв рот подушкой: «Пусть я лишусь трона, я все равно буду женой Грегори!» Нас постигло ужасное разочарование — до этой минуты мы были захвачены ее игрой. Сюжет фильма разворачивался, диалог становился все забавнее, и все-таки он был не так смешон, как звуковые эффекты. Когда повернулась ручка двери будуара, мне показалось, что кто-то завел трактор, а когда дверь закрылась, раздался такой же грохот, как при столкновении двух грузовиков. Поначалу в кино не умели регулировать силу звука. Латы странствующего рыцаря при малейшем движении гремели, как листы железа в прокатном цеху, семейный обед проходил в гуле, какой мы слышим в дешевом ресторане в часы пик, а бульканье воды, наливаемой в стакан, почему-то шло на очень высокой ноте. Я вернулся с просмотра в полной уверенности, что дни звукового кино сочтены.

Но месяц спустя «Метро-Голдвин-Майер» выпустил на экран полнометражный музыкальный фильм «Мелодии Бродвея», и, хотя картина была пошлой и скучной, она имела огромный кассовый успех. Отсюда все и пошло: все кинотеатры начали требовать только звуковые фильмы. Наступали сумерки немного кино, и это было грустно, потому

что оно начало достигать совершенства. Немецкий режиссер Мурнау<sup>1</sup> да и кое-кто из наших американских режиссеров прекрасно овладели этим средством общения со зрителем. Хороший немой фильм говорил на языке, одинаково понятном и интеллигентному и массовому зрителю всего мира. Теперь все это должно было погибнуть.

Однако я твердо решил по-прежнему делать немые фильмы — мне казалось, что для всякого рода зрелищ найдется место. К тому же я был актером пантомимы, в этом искусстве я был единственным в своем роде и, скажу без ложной скромности, настоящим мастером. Поэтому я продолжал съемки еще одного немого фильма — «Огни большого города».

Сюжет фильма мне подсказала история циркового клоуна, потерявшего зрение в результате несчастного случая. У него была маленькая дочка, очень болезненная и нервная, и перед выпиской из больницы врач предупредил его, что он должен скрывать слепоту от дочери до тех пор, пока она не окрепнет достаточно, чтобы вынести этот удар, который будет ей сейчас не по силам. Дома клоун ходил по комнате, спотыкаясь, наталкиваясь на мебель, а девочка весело смеялась. Однако все это было слишком уж сентиментально, и в «Огнях большого города» слепота клоуна перешла к девушке-цветочнице.

В основу побочной сюжетной линии лег эпизод, который я придумал много лет назад: двое богатых завсегдатаев аристократического клуба спорят о несовершенстве человеческой памяти и решают произвести опыт с бродягой, уснувшим на набережной. Они привозят его к себе, в роскошную виллу, где его ждут вино, женщины и музыка, а когда он засыпает, мертвецки пьяный, отвозят его назад на набережную и укладывают на ту скамью, где они его нашли. Проснувшись, бродяга не сомневается, что все это ему приснилось. Вот так возник образ миллионера в «Огнях большого города»: в пьяном виде он питает нежнейшую дружбу к бродяге, а протрезвившись, не узнает его. Эта линия подкрепляет основной сюжет, объясняя, каким образом бродяге удастся внушить слепой цветочнице, что он богат.

После целого дня работы над «Огнями» я шел в студию Дугласа попариться в его турецкой бане. Там собирались его друзья — актеры, продюсеры и режиссеры, — и за джином и другими напитками мы болтали и спорили о звуковом кино. Все они очень удивились тому, что я снимаю немой фильм.

— А вы смелый человек! — говорили они.

Прежде мои работы всегда вызывали живой интерес у продюсеров. Но теперь они были так увлечены успехом звуковых фильмов, что вскоре я почувствовал себя за бортом. Наверно, я был слишком избалован.

Джо Шенк, прежде открыто выступавший против звукового кино, теперь стал его сторонником.

«Оно появилось, Чарли, и боюсь, теперь от него никуда не денешься», — говорил он и пускался в рассуждения о том, что сейчас только Чаплин еще может создать немой фильм, который будет пользоваться успехом у зрителей. Это было лестно, но не очень утешительно: я не хотел оставаться единственным приверженцем искусства немого кино. Не слишком успокаивали меня и статьи в журналах, полные тревоги и сомнения относительно дальнейшей карьеры Чарли Чаплина.

Тем не менее я видел «Огни большого города» только немым фильмом, — и я снимал его наперекор всему. Но мне пришлось столкнуться с большими трудностями. Звуковое кино существовало уже больше трех лет, и актеры стали забывать искусство пантомимы. Чувство ритма покинуло действие, им полностью завладела речь. Трудно

было найти и девушку, которая могла бы играть слепую, не теряя при этом своей привлекательности. Большинство претенденток на эту роль закатывали глаза, показывая белки, что было очень неприятно. Но мне повезло. На пляже в Санта-Монике шли съемки какого-то фильма, в них участвовало очень много хорошеньких девушек в купальных костюмах. Одна девушка помахала мне рукой. Это была Вирджиния Черрил, с которой меня как-то познакомили.

— Когда я буду сниматься у вас? — спросила она.

Ее красивая фигурка, выгодно подчеркнутая синим купальным костюмом, не слишком вязалась с одухотворенным образом слепой цветочницы. Но попробовав еще двух-трех актрис, я пришел в полное отчаяние и вызвал ее. К моему удивлению, она сумела смотреть невидящим взглядом, как настоящая слепая. Мисс Черрил была очень красива и фотогенична, но до тех пор почти не играла. Впрочем, неопытность иногда оказывается преимуществом, особенно в немых фильмах, где важнее всего техника. Опытные актрисы порой не могут уже отойти от привычной манеры игры, в пантомиме же техника движения требует автоматичности, и это их сбивает. Менее опытные актрисы легче к ней приспосабливаются.

В одном эпизоде бродяга, переходя улицу, забитую машинами, пролезает через лимузин и громко хлопает за собой дверцей. Услышав стук, слепая цветочница протягивает ему цветы, думая, что он хозяин автомобиля. На последние полкроны бродяга покупает у нее букетик, но при этом нечаянно толкает девушку, и цветок падает на тротуар. Став на колени, она шарит руками по земле, стараясь его найти. Бродяга указывает ей, где цветок, но она продолжает искать. В нетерпении он сам поднимает цветок и недоверчиво смотрит на нее. И тут вдруг он понимает, что она не видит; он подносит цветок к ее глазам, убеждается, что она слепа, и виновато помогает ей подняться на ноги.

Эта сцена, длившаяся семьдесят секунд, потребовала пяти съемочных дней, пока, наконец, не получилось то, что мне было нужно. Мисс Черрил была тут ни при чем — невероятное напряжение, с которым я добивался убедительности игры актеров, приводило меня к нервным срывам. Съемки «Огней большого города» заняли больше года.

За это время на бирже произошел крах. К счастью, меня он не коснулся, потому что я в свое время прочел «Общественный кредит» Х. Дугласа, где он, анализируя нашу систему экономики, пришел к выводу, что в конечном счете все прибыли идут из заработной платы. Таким образом, безработица всегда ведет к сокращению прибылей и уменьшению капитала. Эта теория произвела на меня такое впечатление, что в 1928 году, когда число безработных в Соединенных Штатах достигло четырнадцати миллионов, я обратил все свои акции и ценные бумаги в наличный капитал.

Накануне биржевого краха я обедал с Ирвингом Берлином<sup>1</sup>, которому положение дел на бирже внушало самые розовые надежды. Он рассказал, что официантка ресторана, где он обычно обедает, меньше чем за год заработала сорок тысяч долларов, удвоив сумму своих капиталовложений в акции. Он сам купил акций на несколько миллионов долларов, и они принесли ему больше миллиона прибыли. Ирвинг спросил, играю ли я на бирже, и я ответил, что не могу доверять акциям, если в стране имеется четырнадцать миллионов безработных. А когда я посоветовал и ему продать акции, пока он может сделать это с выгодой, он возмутился. Мы с ним чуть не поссорились. «Вы предаете Америку!» — заявил он и обвинил меня в недостатке патриотизма. На следующий день акции на бирже упали на пятьдесят пунктов, и Ирвинг разорился. Несколько дней спустя он пришел ко мне в студию, совершенно ошеломленный, извинился и спросил, из каких источников я получил информацию.

«Огни большого города» были закончены, оставалось только записать музыку. Единственно, что мне нравилось в звуковом кино, это то, что я мог теперь контролировать музыкальное сопровождение фильма, и я сочинял его сам.

Мне нужна была изящная, романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и придавала бы моим комедиям эмоциональную глубину. Аранжировщики никак не могли этого понять. Они считали, что и музыке тоже следует быть смешной. Я пытался объяснить им, что музыка должна не конкурировать со мной, а служить в фильме контрапунктом изящества и обаяния, выражать чувство, без которого, по словам Гэзлита, произведение искусства не завершено. Иногда аранжировщик пытался подавить меня рассуждениями об интервалах хроматической и диатонической гаммы, но я пресекал их замечанием профана: «Важна мелодия, а все остальное не больше, чем аккомпанемент!». Но сочинив музыкальное сопровождение к одному-двум фильмам, я уже как профессионал заглядывал в партитуру и сразу определял, не слишком ли перегружена оркестровка. Если в партиях духовых инструментов я видел много нотных знаков, я говорил: «У медных что-то уж очень черно» или «не стоит так нажимать на деревянные».

Слушая в первый раз, как оркестр в пятьдесят человек исполняет сочиненные тобой мелодии, испытываешь ни с чем не сравнимое, захватывающее волнение.

Когда, наконец, «Огни большого города» были озвучены, мне нетерпелось узнать, какая судьба ожидает фильм, и мы без предварительного объявления устроили просмотр в одном из городских кинотеатров.

Это было ужасно — фильм шел в полупустом зале. Зрители пришли смотреть драму, а не комедию, и до середины фильма никак не могли опомниться. Иногда в зале раздавался слабый, неуверенный смех. Еще до конца фильма я увидел, что в проходе мелькают тени, и толкнул локтем моего ассистента:

— Они уходят, не досмотрев.

— Может, им понадобилось сходить кое-куда, — шепнул он.

Я уже не мог внимательно смотреть на экран и все ждал, вернутся ли те, кто ушел.

— Они не возвращаются, — шепнул я несколько минут спустя.

— Может, они торопились на поезд, — заметил он.

Я покинул зал с ощущением, что два года работы и два миллиона долларов выброшены на ветер. У входа меня поджидал директор кинотеатра:

— Очень хорошая картина, — сказал он, улыбаясь, и добавил довольно двусмысленный комплимент: — А теперь сделайте-ка говорящую, Чарли. Этого ждет весь мир.

Я попытался улыбнуться. Вся наша группа уже вышла из кинотеатра и ждала меня на тротуаре. Я подошел к ним, и Ривс, мой менеджер, весело заявил:

— Ну что ж, по-моему, прошло отлично, принимая во внимание... — Конец фразы звучал весьма зловеще, но я уверенно кивнул.

— При полном зале фильм пройдет великолепно. Но, разумеется, нужно кое-что вырезать еще, — добавил я.

И тут меня, словно громом, поразила тревожная мысль, что фильм еще не продан. Впрочем, об этом я беспокоился меньше, потому что мое имя все еще обеспечивало полные сборы. Джо Шенк, президент нашей кинокомпании «Юнайтед артистс», предупредил меня, что прокатчики не хотят брать «Огни» на тех же условиях, как



«Золотую лихорадку», и что крупные прокатные организации пока выжидают. Еще не так давно прокатчики очень живо интересовались каждым моим новым фильмом, а сейчас они были довольно равнодушны. Возникли осложнения и с премьерой в Нью-Йорке. Мне сообщили, что все нью-йоркские кинотеатры заняты, и мне придется ждать своей очереди.

Свободен в Нью-Йорке был только зал Джорджа М. Коэна на тысячу сто пятьдесят мест, но он находился в стороне от Бродвея и требовал множества дополнительных расходов. Я мог снять эти четыре стены за семь тысяч долларов в неделю, гарантируя владельцу двухмесячный срок аренды. Кроме того, мне предстояло позаботиться о директоре, кассире, билетерах, механике, рабочих и взять на себя оплату расходов на электричество и рекламу. Но я уже затратил на этот фильм два миллиона долларов, при том своих собственных, и, решив рискнуть до конца, арендовал этот зал.

Тем временем Ривс договорился о премьеры в Лос-Анжелосе в новом, только что выстроенном кинотеатре. Эйнштейны, еще не уехавшие из Лос-Анжелоса, выразили желание присутствовать на премьеры: полагаю, они не подозревали, какому испытанию себя подвергают. Перед премьерой мы пообедали у меня, а потом вместе поехали в город. Главная улица на протяжении нескольких кварталов была полна народу. Полицейские машины и кареты «Скорой помощи» пытались прорваться сквозь толпу. Стекла в витринах магазинов по соседству с кинотеатром были все выдавлены. С помощью отряда полиции мы с трудом пробрались в фойе. Я терпеть не могу премьер: и собственное волнение и запах духов — все сливается в одно тошнотворное и мучительное ощущение.

Кинотеатр был действительно первоклассным, но, как и большинство прокатчиков тех лет, его владелец ничего не смыслил в показе фильмов. Сеанс начался, заглавные титры шли, как на всякой премьеры, под аплодисменты. Наконец первый эпизод. Сердце у меня забилось. Это была комедийная сцена торжественного открытия памятника. Зрители начали смеяться. Вскоре смех перешел в дружный хохот. Они были покорены. Все мои сомнения и страхи рассеивались. Я чуть было не заплакал. Три первые части зал смеялся. От волнения и нервного напряжения я тоже смеялся вместе со зрителями.

И тут случилось нечто невероятное. Среди этого смеха экран вдруг погас, в зале вспыхнули люстры, и в репродукторе загремел голос:

— Прежде чем продолжить просмотр этой превосходной комедии, мы позволим себе отнять у вас пять минут и рассказать вам о всех достопримечательностях нового прекрасного здания кинотеатра.

Я не мог поверить своим ушам. Вне себя от ярости, я вскочил с места и бросился к выходу.

— Где этот мерзавец директор? Я убью его!

Публика была на моей стороне, и едва этот идиот стал описывать превосходное оборудование кинотеатра, зрители начали стучать ногами, хлопать и свистеть — ему пришлось умолкнуть. Но прошла целая часть, прежде чем смех в зале снова стал общим. Мне казалось, что, несмотря на досадные обстоятельства, фильм прошел очень хорошо. Я заметил, что в финале Эйнштейн украдкой утирал глаза — лишнее доказательство того, что ученые неизлечимо сентиментальны.

На следующий день, не дожидаясь рецензий, я уехал в Нью-Йорк — до премьеры в зале Коэна у меня оставалось только четыре дня. По приезде, к моему ужасу, выяснилось, что фильм почти не рекламировался — о премьеры сообщали только краткие объявления, вроде «Наш старый друг снова у нас!». Я устроил головойку администрации «Юнайтед артистс»: «Оставьте в покое чувства! Побольше информации! Мы ведь показываем фильм не на Бродвее, а в малоизвестном зале».

Я дал объявление на полстраницы в ведущие нью-йоркские газеты, каждый день они крупным шрифтом печатали:

ТЕАТР КОЭНА  
ЧАРЛЬЗ ЧАПЛИН  
в фильме  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Сеансы в течение всего дня.

Цена билетов от 50 центов до 1 доллара.

Я потратил на эти объявления тридцать тысяч долларов и, кроме того, заказал световую вывеску на фасад театра, которая обошлась мне еще в тридцать тысяч. Так как у нас оставалось мало времени и надо было торопиться, я не ложился всю ночь — проверял проекцию, определял размеры изображения и устранял искажения. На следующий день я встретился с репортерами и рассказал, почему и зачем снял немой фильм.

Сотрудники «Юнайтед артистс» опасались, что я назначил слишком высокую цену на билеты — от пятидесяти центов до доллара, — а в самых первоклассных кинотеатрах билеты были не дороже восьмидесяти пяти центов и дешевые по тридцати пяти центов, причем там показывали звуковые картины, а впридачу давали еще какое-нибудь выступление живых актеров. Но я рассуждал психологически верно: если зритель узнает, что это немой фильм, а идет по повышенным ценам, и ему захочется его посмотреть, лишние пятнадцать центов его уже не остановят. И я настоял на своем.

На премьере фильм был принят очень хорошо. Но премьеры все же не показательны — дело решает рядовой зритель. А заинтересуется ли он немой фильмом? Эти мысли почти всю ночь не давали мне уснуть. Однако в одиннадцать утра ко мне ворвался мой заведующий рекламой и разбудил меня криком:

— Все в порядке! Потрясающий успех! С десяти утра выстроилась очередь на весь квартал, даже машины не могут проехать. С десятков полицейских пытаются навести порядок. Люди рвутся в зал. И вы бы послушали, как они кричат!

Мною овладевало то блаженное чувство, которое испытываешь, когда тебя, наконец, отпускает тревога многих дней. Я заказал завтрак и оделся.

— А где больше всего смеялись? — спросил я, и он подробно начал перечислять, какие сцены вызвали смех, какие хохот, а какие восторженный рев.

— Сходите-ка сами, — посоветовал он. — Получите большое удовольствие.

Боясь разочарования после его восторгов, я пошел не очень охотно и все-таки простоял с полчаса в толпе, в последних рядах, ощущая веселое, напряженное внимание зрителей, то и дело раздражавшихся взрывами смеха. Этого было достаточно. Я ушел очень обрадованный и, чтобы дать выход своим чувствам, четыре часа гулял по Нью-Йорку. Время от времени я возвращался к кинотеатру — растянувшаяся на весь квартал очередь не уменьшалась. В прессе фильм получил единодушные и совершенно восторженные отзывы.

Мы показывали фильм в зале на тысячу сто пятьдесят мест в продолжение трех недель и зарабатывали по 80 тысяч долларов в неделю. А звуковой фильм студии «Парамаунт» с Морисом Шевалье<sup>1</sup> в главной роли, который шел напротив нас в кинотеатре на три тысячи мест, приносил им только 38 тысяч долларов в неделю. «Огни большого города» не сходили с экрана три месяца и дали больше 400 тысяч долларов чистой прибыли. Фильм был снят с экрана только по требованию прокатных организаций:

они купили у меня право его показа за очень большую сумму и справедливо не желали, чтобы к нему угас интерес еще до того, как они пустят его в прокат.

Теперь надо было показать «Огни большого города» в Лондоне. В Нью-Йорке я часто виделся со своим приятелем Ральфом Бартоном, работавшим в журнале «Нью-Йоркер»; тогда как раз вышло с его иллюстрациями новое издание «Озорных рассказов» Бальзака. Ральфу было всего тридцать семь лет. Человек широкообразованный, но весьма эксцентричный, он был женат пять раз. Последнее время Ральф был в угнетенном состоянии и даже пытался покончить самоубийством, приняв большую дозу какого-то снотворного. Я предложил ему поехать со мной в Европу, чтобы переменить обстановку. И вот мы с ним сели на «Олимпик», тот самый лайнер, на котором я первый раз ездил в Англию.

## XXII

Меня очень волновало, какой прием окажет мне Лондон спустя десять лет. Я предпочел бы приехать инкогнито, без всякого шума, но мне следовало присутствовать на премьере «Огней большого города» — это должно было послужить рекламой для фильма. Признаюсь, я не был разочарован количеством людей, которые меня встречали.

На этот раз я остановился в отеле «Карлтон» — он был старше отеля «Ритц», и здесь Лондон казался мне более привычным. У меня был чудесный номер. По-моему, грустно, если человек привыкает к роскоши. Каждый день, когда я переступал порог «Карлтона», мне казалось, что я вхожу в рай. Приехать в Лондон богатым значило почувствовать жизнь увлекательным приключением. Все вокруг было занимательным спектаклем, и представление началось уже с самого утра.

Я выглянул из окна своей спальни и увидел на улице несколько плакатов. На одном из них я прочел: «Чарли все еще избранник сердец». Я улыбнулся, вспомнив, к кому были некогда обращены эти строки. Газеты были очень доброжелательны, несмотря на то, что в одном из интервью я допустил нетактичность: мне задали вопрос, собираюсь ли я посетить Эльстри, и я простодушно спросил: «А где это?» Репортеры с улыбкой переглянулись и объяснили мне, что Эльстри — центр английской кинопромышленности. Мое смущение было так неподдельно, что они даже не обиделись.

Второе посещение Англии было почти столь же ошеломительным и волнующим, как первое, но несомненно более интересным — на этот раз мне посчастливилось познакомиться со многими выдающимися людьми.

Мне позвонил сэр Филипп Сассун и пригласил нас с Ральфом на несколько обедов в его городском доме на Парк-Лейн и в его загородной вилле в Лимпне. Кроме того, мы с ним завтракали в ресторане Палаты общин, в вестибюле которой мы познакомились с леди Астор. Два дня спустя она пригласила нас на завтрак в дом номер 1, на Сент-Джеймс-сквер.

Мы вошли в гостиную, и мне показалось, что мы очутились в Зале Славы у мадам Тюссо<sup>1</sup> — перед нами были Бернард Шоу, Джон Мейнард Кейнс<sup>1</sup>, Ллойд Джордж и многие другие знаменитости, но только не из воска, а из плоти и крови. Остроумная и находчивая леди Астор поддерживала живой разговор, но стоило ей на минуту уйти, как в гостиной наступало неловкое молчание. Тогда занимать гостей стал Бернард Шоу. Он поспешил рассказать забавный анекдот об английском богослове Индже. Возмущаясь учением апостола Павла, Индж однажды воскликнул: «Он так извратил учение нашего Спасителя, будто, выражаясь метафорически, распыл его вниз головой». Эта любезная

готовность помочь обществу в минуту неловкости была в Шоу очень мила и привлекательна.

За завтраком я разговаривал с Кейнсом и рассказал ему, что читал в английском журнале статью о системе кредитования в Английском банке, который тогда был еще частным предприятием. Во время войны золотой запас банка был исчерпан — у них оставалось только четыреста миллионов фунтов иностранных капиталовложений. И в этот момент правительство обратилось в банк с просьбой о займе в пятьсот миллионов фунтов. Директора банка достали из сейфов иностранные капиталовложения, полюбовались на них, снова положили в сейфы и дали правительству требуемый заем. Эта операция была повторена несколько раз.

Кейнс кивнул и подтвердил:

— Примерно так оно и было.

— А как же эти займы были потом возвращены? — спросил я вежливо.

— Теми же самыми деньгами без покрытия, — ответил Кейнс.

К концу завтрака леди Астор вставила в рот театральную челюсть с огромными, как у лошади, зубами и изобразила даму викторианской эпохи, произносящую речь в клубе великосветских наездниц. Эти вставные зубы совсем изменили ее лицо, придав ему очень комическое выражение. Она начала с жаром:

— В дни нашей молодости мы, англичанки, скакали за гончими, как подобает настоящим леди, а не по-мужски, как эти вульгарные потаскушки с американского Запада. Мы сидели в седле боком, уверенно и твердо, не утрачивая достоинства и нежной женственности.

Леди Астор могла бы стать прекрасной актрисой. Она была чудесной хозяйкой дома, и я от души благодарен ей за многие замечательные вечера, давшие мне возможность познакомиться с самыми прославленными людьми Англии.

После завтрака, когда остальные гости уже разошлись, лорд Астор захотел показать нам свой портрет работы Мэннингса. Мэннингс не был склонен пускать нас в студию, но лорду Астору все же удалось его уговорить. Лорд Астор был изображен на этом портрете верхом в окружении своры собак. Я завоевал расположение Мэннингса, искренне восхитившись эскизами бегущих собак, которые понравились мне не меньше законченного портрета.

— Движение — это музыка, — сказал я.

Мэннингс повеселел и охотно показал мне другие наброски.

День-два спустя мы завтракали у Бернарда Шоу. После завтрака Шоу, оставив леди Астор и остальных приглашенных в гостиной, повел меня в свою библиотеку. Это была светлая, веселая комната, выходящая окнами на Темзу. Над камином я увидел полку книг самого Шоу и как дурак — я почти его не читал — воскликнул:

— О, полное собрание ваших сочинений! — и сразу испугался, что, воспользовавшись удобным случаем, Шоу захочет узнать мое мнение о его книгах. Я уже представил себе, как мы сидим, увлеченные этой беседой, и остальные гости в конце концов придут за нами сюда. Ах, если бы это произошло именно так! Но в действительности наступила неловкая пауза, я улыбнулся, отошел от камина, осмотрелся, сказал, что его библиотека выглядит очень мило, и затем мы вернулись к остальным гостям.

После этого визита я еще несколько раз встречался с миссис Шоу. Помню, как мы с ней говорили о пьесе ее мужа «Тележка с яблоками», которую критики встретили

довольно холодно. Миссис Шоу негодовала. «Я сказала Джи Би, — рассказывала она, — что ему надо бросить писать пьесы. Ни публика, ни критики их не заслуживают».

Следующие три недели нас засыпали приглашениями — премьер-министр Рамсей Макдональд, Уинстон Черчилль, леди Астор, сэр Филипп Сассун и так далее по нисходящей линии почета и славы.

С Уинстоном Черчиллем я познакомился еще в Беверли-хилс, на вилле Марион Дэвис. В зале танцев и гостиной уже собралось человек пятьдесят гостей, когда он вошел с Херстом, остановился у двери и, наполеоновским жестом заложив руку за жилет, начал смотреть на танцующих. Казалось, он чувствовал себя здесь чужим и лишним. Херст поздравил меня и познакомил с ним.

Черчилль держался очень просто, но бывал и резок. Херст отошел, и некоторое время мы обменивались какими-то незначительными замечаниями. Но стоило мне заговорить о лейбористском правительстве, как Черчилль оживился.

— Я не понимаю одного, — сказал я, — каким образом приход социалистов к власти не изменил статуса короля и королевы?

Он взглянул на меня с легкой усмешкой.

— Иначе и быть не могло, — сказал он.

— Мне казалось, что социалисты против монархии.

Он засмеялся.

— Живи вы в Англии, мы отрубили бы вам голову за такие слова!

День или два спустя Черчилль пригласил меня пообедать у него в номере отеля. Кроме меня там было еще двое гостей и его сын Рэндольф, красивый юноша лет шестнадцати, вступавший в интеллектуальные споры со страстью и нетерпимостью все критикующей молодости. Я видел, что Уинстон очень гордился им. Мы провели чудесный вечер, отец с сыном все время по пустякам поддразнивали друг друга. Мы встречались до отъезда Черчилля в Англию еще несколько раз в вилле Марион.

А теперь, когда мы приехали в Лондон, мистер Черчилль пригласил нас с Ральфом на субботу и воскресенье в Чартуэлл. Добрались мы туда с трудом и по дороге совсем замерзли. Чартуэлл — прелестный старый дом, скромно, но со вкусом обставленный и по-семейному уютный. Только теперь, во второй раз приехав в Лондон, я начинал лучше узнавать Черчилля. В те годы он еще не был парламентским лидером своей партии.

Я думаю, сэр Уинстон прожил жизнь интереснее многих из нас. Он сыграл немало ролей на жизненной сцене, и сыграл их смело, с неподдельным увлечением. Он мало что упустил в жизни, и жизнь была к нему благосклонна. Он хорошо жил и хорошо играл — ставя на карту самые крупные ставки и всегда выигрывая. Ему нравилась власть, но он никогда не делал из нее фетиша. По горло занятый политикой, он, однако, находил время для разных забавных увлечений, будь то кладка кирпичей, скачки или живопись. В столовой над камином я увидел натюрморт. Уинстон заметил, что он мне понравился.

— Это я писал.

— Но это же великолепно! — восторженно воскликнул я.

— Пустяки! Как-то на юге Франции я увидел, как художник писал пейзаж, и сказал: «Я тоже сумею!»

Наутро он показал мне сложенную им кирпичную ограду. Я был удивлен и заметил, что класть кирпичи, наверно, не так легко, как кажется.

— Я вам покажу, как это делается, и вы за пять минут научитесь.

В первый вечер к обеду были приглашены несколько молодых членов парламента, которые, образно говоря, припадали к стопам хозяина. Среди них был мистер Бутби, ныне лорд Бутби, и покойный Брендан Бреккен, впоследствии лорд Бреккен, — оба очень интересные собеседники. Я рассказал им, что собираюсь встретиться с Ганди, который в это время был в Лондоне.

— Мы слишком долго потакали ему, — сказал Бреккен. — Пусть он объявляет свои голодовки — все равно его надо посадить в тюрьму и держать там. Если мы не проявим достаточной твердости, мы потеряем Индию.

— Держать его в тюрьме проще всего, но что толку? — возразил я. — Посадите одного Ганди, появится новый. Ганди является символом чаяний индийского народа, и пока они не осуществляются, один будет сменять другого.

Черчилль повернулся ко мне и улыбнулся.

— А из вас вышел бы неплохой лейборист!

Обаяние Черчилля заключается в его терпимости и уважении к чужому мнению. Он как будто никогда не питал дурного чувства к тем, кто с ним не согласен.

Бреккен и Бутби в тот же вечер уехали, и на другой день я увидел Черчилля в тесном кругу его семьи. Весь этот день был полон какой-то политической суматохи, непрерывно звонил лорд Бивербрук, и за обедом Уинстону пришлось даже несколько раз выйти из-за стола. Шли как раз выборы, что совпало с довольно тяжелым экономическим кризисом.

Меня очень забавляло, что за столом во время трапез Уинстон ораторствовал на политические темы, а вся семья благодушно слушала. Чувствовалось, что это в порядке вещей, и они уже к этому привыкли.

— Кабинет министров все говорит о трудностях сбалансирования бюджета, — начал Черчилль, мельком взглянув сначала на членов своей семьи, а потом на меня, — о том, что все ассигнования уже исчерпаны и облагать налогами больше нечего, и это когда вся Англия пьет чай, крепкий, как патока.

Он умолк в ожидании, какое впечатление произведут его слова.

— А если повысить акциз на чай, можно было бы сбалансировать бюджет? — спросил я.

Он взглянул на меня.

— Пожалуй, — ответил он, но, по-моему, не слишком убежденно.

Я был пленен простотой и почти спартанскими вкусами обитателей Чартуэлла. Спальня Уинстона служила одновременно ему библиотекой; книги, не помещавшиеся на полках, лежали на полу у стены. Одну стену целиком занимали стеллажи с хансардовскими отчетами о заседаниях парламента. На полках было также много томов, посвященных жизни Наполеона.

— Да, — признался Черчилль, — я большой его почитатель. Я слышал, вы собираетесь ставить картину о Наполеоне — непременно сделайте. Подумайте, какие тут комедийные возможности: скажем, Наполеон принимает ванну, а к нему врывается его брат Жером в шитом золотом мундире — он хочет, чтобы Наполеон смутился и уступил ему в каких-то вопросах. Но Наполеон и не думает смущаться, он нарочно поскользнется в ванне, обдаст мыльной водой весь парадный мундир брата и велит ему убираться вон. И тот с позором удалится. Замечательный комедийный эпизод!

Я вспоминаю, как однажды встретил мистера и миссис Черчилль за завтраком в ресторане «Квальино». Уинстон был в очень дурном настроении. Я подошел к ним поздороваться.

— У вас такой вид, — сказал я улыбаясь, — словно вы взвалили себе на плечи всю тяжесть мира.

Черчилль рассказал, что он только что вернулся из Палаты общин и ему очень не понравились дебаты, которые там велись по поводу Германии. Я сделал какое-то шутовское замечание, но он покачал головой.

— Нет, нет, это серьезно; серьезней, чем вы думаете.

Вскоре после посещения Чартуэлла я познакомился с Ганди. Я всегда уважал этого человека и восхищался его политической проницательностью и железной волей. Но мне казалось, что его поездка в Лондон была ошибкой. В условиях Лондона его легендарный образ тускнел, а его подчеркнутая религиозность утрачивала внушительность. Национальная одежда, которую он носил довольно небрежно, не вязалась с сырым и холодным климатом Англии. Его приезд в Лондон дал обильную пищу для острот и карикатур. Такой человек производит более сильное впечатление на расстоянии.

Меня спросили, хочу ли я с ним познакомиться; конечно, мне было очень интересно его увидеть.

Мы встретились с ним в маленьком скромном доме в трущобах за Ист-Индия на Док-роуд. На улицах толпился народ, оба этажа дома были битком набиты журналистами и фотографами. Наша беседа проходила в небольшой комнатке на втором этаже. Махатма еще не прибыл, и, ожидая его, я думал о том, что ему скажу. Я слышал о его заточении, о голодовках в тюрьме, о его борьбе за освобождение Индии и смутно что-то знал о его противодействии техническому прогрессу в стране.

Наконец послышались громкие крики приветствий — Ганди выходил из такси, неловко подбирая края своей одежды. Это было довольно странное зрелище: среди лондонских трущоб непонятная фигура чужестранца, окруженная радостно возбужденной толпой. Ганди поднялся наверх и подошел к окну, затем поманил меня, и мы вместе приветственно помахали собравшимся на улице людям.

Едва мы сели на диван, как засверкали вспышки фотоаппаратов. Я сидел по правую руку от Махатмы. Наступила неловкая пауза — тот страшный момент, когда мне нужно было сказать что-то очень умное на тему, о которой я имел лишь самое слабое представление. Моя соседка справа, довольно надоедливая девица, принялась что-то мне рассказывать. Я не слушал ее, но согласно кивал головой, все думая о том, что же мне сказать Ганди. Я понимал, что начать разговор должен я, — не мог же Махатма поблагодарить меня за удовольствие, которое ему доставил мой последний фильм. Я сомневался, бывал ли он хоть раз в жизни в кино. И тут одна из индийских дам властно перебила мою словоохотливую соседку:

— Мисс, будьте добры, замолчите и дайте мистеру Чаплину поговорить с Ганди.

В переполненной комнате наступила тишина. Похожее на маску, лицо Махатмы выражало ожидание, и мне показалось, будто вся Индия ждет моих слов.

— Понятно, я всячески сочувствую надеждам Индии и ее борьбе за свободу, — сказал я, откашлявшись. — Однако я не совсем понимаю, почему вы отрицаете машины?

Махатма кивнул и улыбнулся.

— В конце концов, если машины использовать в альтруистических целях, — продолжал я, — они могут освободить человека от цепей рабства, сократить часы его работы и дать ему время развиваться духовно и радоваться жизни.

— Я понимаю, — сказал он невозмутимо. — Но прежде чем Индия сможет достигнуть этой цели, она должна освободиться от господства Англии. В прошлом именно машины поставили нас в зависимость от нее, а избавиться от этой зависимости мы можем, только бойкотируя все товары машинного производства. Вот почему мы считаем патриотическим долгом каждого индийца — самому прясть свой хлопок и самому ткать себе одежду. Это наш способ борьбы с такой могущественной нацией, как Англия, а кроме того, есть и другие причины. В Индии другой климат, не такой, как в Англии, у ее народа другие обычаи, другие потребности. В Англии холодный климат требует энергичного развития машинного производства и сложной экономики. Вам нужно производство вилок, ножей и ложек, а мы обходимся пальцами. И эти различия заходят далеко.

Мне преподали очень понятный и наглядный урок тактики и стратегии борьбы Индии за независимость, разработанной, как это ни парадоксально, очень реалистически и зрело мыслящим мечтателем, обладающим железной волей в достижении своих целей. Ганди сказал мне также, что высшая степень независимости заключается в отказе от всех ненужных вещей и что насилие в конце концов само себя уничтожает.

Когда все разошлись, он спросил меня, не хочу ли я остаться и посмотреть, как они будут молиться. Махатма сел по-турецки на пол, а пятеро остальных уселись в кружок около него. Это было странное зрелище: шесть фигур на полу маленькой комнатки, в самом сердце лондонских трущоб, озаренных шафрановым светом заходящего солнца, а я сам сижу на диване, смотрю на них и слушаю, как они смиренно нараспев произносят свои молитвы. «Что за парадокс!» — думаю я, глядя на этого чрезвычайно здравомыслящего человека с умом юриста, превосходно разбирающегося в политической обстановке, и наблюдая, как вся его прозаическая пронизательность растворяется в напевной молитве.

В вечер премьеры «Огней большого города» дождь лил как из ведра, но тем не менее зал был переполнен и фильм прошел с большим успехом. Я сел рядом с Бернардом Шоу — это вызвало оживление и аплодисменты. Нам обоим пришлось встать и раскланяться. Последовал новый взрыв смеха.

Черчилль присутствовал на премьере и на ужине после нее. Он произнес тост, желая, как он выразился, приветствовать человека, начинавшего свой жизненный путь мальчиком с того берега реки и достигшего признания во всем мире, — Чарли Чаплина! Это было совершенно неожиданно, и я даже был несколько смущен, особенно тем, что он начал свою речь официальным обращением: «Уважаемые лорды, дамы и господа!» Однако, проникнувшись торжественностью обстановки, я решил отвечать в той же манере:

— Уважаемые лорды, дамы и господа, как сказал мой друг, бывший министр финансов... — это было встречено дружным хохотом и комическим негодованием сэра Уинстона.

Малькольм Макдональд, сын премьер-министра лейбориста Рамсея Макдональда, пригласил нас с Ральфом познакомиться с его отцом и провести вечер в загородной резиденции английских премьеров. Сам Макдональд повстречался нам по дороге — он совершал свой моцион. В гольфах, в кепи, на шее шарф, в зубах трубка и трость в руках — типичный сквайр-земледелец; за лидера лейбористской партии его никак уж нельзя



было принять. Он произвел на меня впечатление человека, глубоко сознающего возложенную на него ответственность, держался он с большим достоинством, но спокойно и не без юмора.

В первую половину вечера чувствовалась некоторая натянутость. Но после обеда мы пошли пить кофе в знаменитую историческую Длинную комнату, и после того, как посмотрели подлинную посмертную маску Кромвеля и другие исторические достопримечательности, мы уютно уселись и стали болтать. Я говорил, что со времени моего первого посещения Англии произошли большие перемены к лучшему. В 1921 году я еще видел в Лондоне много бедности, видел седых старушек, спавших на набережной Темзы, а теперь эти старушки куда-то исчезли и вообще на набережной уже нет бездомных бродяг. Магазины переполнены, все дети хорошо обуты — и все это, конечно, нужно отнести за счет правления лейбористов.

Макдональд слушал меня, не прерывая, с непроницаемым выражением лица. Я спросил его, обладает ли лейбористское правительство, которое, как я понимаю, является социалистическим правительством, достаточной властью, чтобы изменить государственное устройство в стране. Его глаза сверкнули, и он с юмором ответил:

— Должно бы обладать, но весь парадокс британской политики заключается в том, что, как только кто-нибудь у нас приходит к власти, он немедленно становится бессильным.

Немного подумав, он рассказал мне историю о том, как его впервые принимали в Букингемском дворце, когда он стал премьер-министром.

Его королевское величество очень сердечно приветствовал его и затем сказал:

— Так что же вы, социалисты, собираетесь сделать со мной?

Премьер-министр рассмеялся и ответил:

— Ничего, кроме того, что постараемся лишь верно служить интересам вашего величества и нашей страны.

Во время выборов леди Астор пригласила нас с Ральфом провести субботу и воскресенье в ее плимутском доме и познакомиться с Т. Лоренсом, который тоже должен был туда приехать. Но Лоренс почему-то не приехал, и леди Астор пригласила нас побывать на митинге в доках, входящих в ее избирательный округ, где она должна была выступить перед рыбаками. Она спросила меня, не скажу ли я им несколько слов. Но я честно предостерег ее, что стою за лейбористов и не согласен с ее политическими взглядами.

— Это неважно, — сказала она, — им просто будет интересно посмотреть на вас.

Митинг проходил на открытом воздухе, и трибуной служил грузовик. На митинге присутствовал местный епископ; он был чем-то очень раздражен и, как мне показалось, не слишком любезно поздоровался с нами. После короткого вступительного слова леди Астор на грузовик взобрался я.

— Здравствуйте, друзья, — обратился я к рыбакам. — Нам, миллионерам, очень легко советовать вам, за кого голосовать, но наше положение сильно отличается от вашего.

Тут вдруг епископ воскликнул:

— Bravo!

Я продолжал:

— Может быть, у вас есть что-то общее с леди Астор — об этом я судить не берусь. Думаю, вы это знаете лучше меня.

— Превосходно! Очень хорошо! — снова воскликнул епископ.

— Что же касается ее политических взглядов и прежней деятельности как депутата от этого... этого...

— ...округа, — подсказал мне епископ (как только я запинался, он немедленно подсказывал нужное слово).

— ...эта деятельность леди Астор несомненно была весьма удовлетворительной. — И я закончил свою речь словами о том, что знаю ее как очень милую и добрую женщину, исполненную самых благих намерений.

Когда я спустился с грузовика, епископ, сияя улыбкой, сердечно пожал мне руку.

Сердечность и искренность — эти лучшие английские национальные черты нередко отличают англиканских священников. Именно такие люди, как доктор Хьюлетт Джонсон или каноник Коллинз, делают англиканскую церковь более жизнеспособной.

Мой друг Ральф Бартон вел себя странно. В гостинной остановились электрические часы, и я заметил, что перерезаны провода. Когда я сказал об этом Ральфу, он ответил:

— Да, это я их перерезал. Я не выношу, когда тикают часы.

Я растерялся и даже немного расстроился, но постарался об этом забыть, решив, что это очередное чудачество Ральфа. Мне казалось, что, уехав из Нью-Йорка, он излечился от своей подавленности. Но теперь он решил вернуться в Штаты.

До отъезда он хотел навестить свою дочь и предложил мне поехать с ним. Год тому назад она постриглась в монахини и жила сейчас в католическом монастыре в Хекней. Это была его старшая дочь от первой жены. Ральф часто рассказывал мне о ней, говорил, что уже с четырнадцати лет она хотела стать монахиней, хотя и он и жена делали все, что было в их силах, чтобы заставить ее отказаться от этой мысли. Он показал мне ее фотографию в шестнадцать лет, и я был поражен ее красотой: большие темные глаза, пухлые, нежные губы, изогнутые в обаятельной улыбке.

Ральф рассказывал, что они повезли ее в Париж, водили на всякие вечера, в ночные рестораны, надеясь отвлечь ее от религиозных устремлений. Они знакомили ее с молодыми людьми, всячески старались развеселить, и им казалось, что она получает удовольствие от этого времяпрепровождения. Но ничто не помогло: она не отступилась от решения постричься в монахини. Последний раз Ральф видел ее полтора года назад. Сейчас она уже прошла послушание и приняла сан.

Темное мрачное здание монастыря ютилось в районе Хекнейских трущоб. Нас встретила мать-настоятельница и провела в небольшую унылую комнату. Мы сидели и ждали нескончаемо долго, пока, наконец, не вошла дочь Ральфа. При первом взгляде на нее меня охватила глубокая грусть — она была еще прекраснее, чем на фотографии. Когда она улыбалась, видно было, что у нее сбоку не хватает двух зубов, и лишь это немного портило ее.

Вся сцена была достаточно нелепой. Мы сидели втроем в этой унылой комнатке: скрестив ноги и куря сигарету, сидел тридцатисемилетний светский жуир — папа, а напротив — его дочь, прелестная, молоденькая монахиня. Я хотел, извинившись, удалиться и сказал, что лучше подожду Ральфа в машине, но оба и слушать не захотели.

Хотя девушка была очень оживлена и даже весела, я чувствовал, что она уже отрешилась от жизни. Она рассказывала о своих обязанностях учительницы, и резковатые движения выдавали ее нервное состояние.

— Маленьких детей так трудно учить, — говорила она, — но когда-нибудь я привыкну.

В глазах Ральфа блистала гордость. Каким бы безбожником он ни был, ему явно импонировала мысль, что у него дочь — монахиня.

И все-таки в их встрече чувствовалась какая-то тоскливая отчужденность. Девушка, несомненно, прошла через тяжелые душевные муки. Как она ни была молода и прекрасна, лицо ее отражало глубокую печаль и отрешенность. Она говорила о красочных газетных отчетах, описывающих, как нас роскошно принимают в Лондоне, и, между прочим, спросила о Жермене Тайльфер, пятой жене Ральфа. Ральф сообщил ей, что они разошлись.

— Ну, конечно, — со смехом обратилась она ко мне, — я не могу уследить за папиными женами.

Мы с Ральфом неловко рассмеялись.

Ральф спросил, долго ли она собирается пробыть в Хекнее. Она задумчиво покачала головой и сказала, что в любую минуту ее могут отослать в Центральную Америку.

— Нам никогда не говорят заранее, куда и когда могут послать.

— Но когда вы уже приедете на место, вы можете написать отцу.

— Мы не должны ни с кем общаться, — не сразу ответила она.

— Даже с родителями? — спросил я.

— Да, — подтвердила она, стараясь сказать это возможно суше, но тут же улыбнулась отцу. Наступила небольшая пауза.

Когда нам пришло время уходить, она нежно взяла руку отца и долго не отпускала ее, словно чутье что-то подсказывало ей. По пути домой Ральф был подавлен, хотя и старался казаться беспечным. Две недели спустя он застрелился в Нью-Йорке, у себя в квартире, лежа в кровати и покрыв голову простыней.

В этот свой приезд в Англию я часто виделся с Г. Уэллсом. В Лондоне он жил на Бейкер-стрит, где четыре секретарши тонули в море справочников; они что-то выясняли, проверяли, делали выписки из всевозможных энциклопедий, книг по технике, различных документов и бумаг.

— Это для моей новой книги «Анатомия денег», — пояснил мне Уэллс — Целое производство.

— У меня такое впечатление, что основную часть работы делают они, — заметил я шутливо.

Верхние полки книжных шкафов были заставлены ящиками, напоминавшими жестянки из-под сухарей, с аккуратными ярлычками: «Биографический материал», «Личные письма», «Философия», «Научные данные» и так далее.

После обеда появились друзья Уэллса, и среди них профессор Ласки, который тогда еще очень молодо выглядел. Гарольд был изумительным оратором. Я слышал его, когда он выступал в Калифорнии перед ассоциацией адвокатов: в течение целого часа он

произносил блестящую речь, ни разу не запнулся, хотя не заглядывал ни в какие заметки. В этот вечер у Уэллса Гарольд рассказывал мне о поразительных новых течениях в философии социализма. Он говорил о том, что малейшее увеличение скорости в конечном счете приводит к колоссальным социальным переменам. Но этому исключительно интересному разговору был безжалостно положен конец, когда Уэллсу настало время ложиться спать, о чем он оповестил присутствующих, выразительно поглядывая то на гостей, то на часы, — и вскоре все разошлись.

Я встречался с Уэллсом много раз и при самых различных обстоятельствах. На юге Франции он построил дом для своей любовницы, очень неуравновешенной русской дамы. Над камином там была высечена надпись готическим шрифтом: «Этот дом построили двое влюбленных».

— Да, — сказал он, заметив, что я проявил интерес к этим словам. — Они тут то появлялись, то исчезали. Когда мы ссоримся, я велю каменщику уничтожить их, а когда миримся, она приказывает каменщику их восстановить. И каменщику столько раз приходилось то сбивать их, то восстанавливать, что в конце концов он не стал нас слушать и так и оставил.

В 1931 году после двух лет работы Уэллс закончил «Анатомию денег». Он был совсем вымотан.

— А что вы собираетесь делать теперь? — спросил я.

— Писать другую книгу, — устало улыбнулся он.

— Боже милостивый, — воскликнул я, — неужели же вам не хочется отдохнуть или заняться чем-нибудь другим?

— А чем же еще можно заниматься?

Низкое происхождение Уэллса, никак не влиявшее ни на его произведения, ни на взгляды, однако, сказывалось, как и у меня, в повышенной ранимости. Я помню, как однажды он произнес какое-то слово с простонародным ударением и сразу покраснел до корней волос. Такая мелочь могла заставить покраснеть великого человека! Я вспоминаю, как он рассказывал о своем дяде — старшем садовнике в имении какого-то лорда. Дядюшка мечтал о такой же карьере для своего племянника. И Уэллс шутливо заметил: «Если бы не особая милость божья, я был бы сейчас вторым дворецким!»

Уэллс как-то спросил меня, каким образом я заинтересовался социализмом. Я рассказал ему, что это случилось, когда я приехал в Соединенные Штаты и познакомился с Эптоном Синклером. Мы отправились к нему в Пасадену завтракать, и по пути он спросил меня своим тихим голосом, верю ли я в систему прибылей? Я шутливо заметил, что ответить на такой вопрос может только бухгалтер. Вопрос казался безобидным, но я почувствовал, что он касается самого существа дела, и с этого момента я заинтересовался и стал рассматривать политику не с исторической, а с экономической точки зрения.

Уэллс с сомнением отнесся к моим словам, когда я признался ему, что обладаю особым даром провидения. Я рассказал ему об одном случае, который трудно было бы назвать простым совпадением. Как-то мы с Анри Кошэ, чемпионом по теннису, и еще одним приятелем зашли в коктейль-бар в Биаррице. Там стояли три рулетки с номерами от одного до десяти. Наполовину в шутку, но актерски убедительно я вдруг объявил, что чувствую себя во власти особой силы и сейчас запущу все три рулетки так, что одна остановится на девятке, вторая — на четверке, а третья — на семерке. И вот первая останавливается на цифре девять, вторая — на четверке, а третья — на семерке, — а ведь это был один шанс из миллиона.

Уэллс сказал, что это было просто совпадением.

— Но если такие совпадения повторяются, они требуют уже изучения, — возразил я и рассказал историю, случившуюся со мной в детстве. Проходя мимо бакалейной лавки на Кэмберуэлл-роуд, я заметил, что ставни были закрыты, — что было необычно для этого часа дня. Сам не зная зачем, я взобрался снаружи на выступ окна и заглянул в ромбовидное отверстие в ставне. Темная лавка была пуста, но товары были разложены, как обычно, и только посередине на полу стоял большой ящик. Я соскочил на землю, охваченный непонятным отвращением, и пошел дальше. Вскоре газеты зашумели о сенсационном процессе — разбиралось дело об убийстве. Эдгар Эдвардс, почтенный шестидесятипятилетний старик, приобрел пять бакалейных лавок, попросту убивая прежних владельцев гирей, а затем прибирая к рукам их заведения. В том ящике, который я видел в Кэмберуэлле, лежали три последние его жертвы — мистер и миссис Дерби и их ребенок.

Но Уэллса это ни в чем не убедило. Он сказал, что в жизни каждого человека обычно бывает много совпадений и они ровно ничего не доказывают. На этом наш спор закончился, но я мог бы рассказать ему еще об одном случае. Как-то в детстве я зашел в пивную на Лондонбридж-роуд и попросил напиток. Черноусый толстяк очень добродушного вида подал мне стакан, но мне почему-то не захотелось пить его воду. Я притворился, что пью, однако едва он отвернулся к какому-то клиенту, я поставил стакан на стойку и ушел. Две недели спустя Джордж Чепмен, владелец этой пивной на Лондонбридж-роуд, был обвинен в том, что отравил пятерых своих жен стрихнином. Последняя жертва умирала в комнате над залом пивной в тот самый день, когда Чепмен дал мне стакан воды. И Чепмен и Эдвардс были повешены.

Кстати о непознаваемом. Примерно за год до того, как я построил свой дом в Беверли-хилс, я получил анонимное письмо. Автор сообщал, что он ясновидящий и недавно во сне увидел дом на вершине холма, перед которым расстилалась лужайка, суживающаяся к краю, как нос корабля. В доме было сорок окон, большой концертный зал с высоким потолком. И стоял он на склоне священного холма, где две тысячи лет тому назад древние индейские племена приносили человеческие жертвы. В этом доме обитали призраки, и поэтому его нельзя было оставлять в темноте. В письме было сказано, что, если дом будет освещен и я не буду оставаться в нем один, призраки являться не будут.

Я тогда не обратил внимания на письмо, считая, что его писал какой-то чужак, однако положил его в стол — оно показалось мне забавным. Но года два спустя, перебирая бумаги в письменном столе, я вдруг наткнулся на него и перечитал. Как это ни странно, но описание дома и лужайки совпадало совершенно точно. Я никогда не считал окон в своем доме, но когда я это сделал, то, к моему великому удивлению, оказалось, что их было именно сорок.

Хотя я не верю в привидения, я решил произвести опыт. В среду был выходной день нашей прислуги, я обедал в ресторане, дом был пуст. Сразу после обеда я вернулся домой и прошел в зал, где стоял орган. Это была длинная и узкая, словно церковный неф, комната с готическим сводом. Плотнo задернув занавеси, я потушил свет, ощупью приблизился к креслу и в продолжение минут десяти, не меньше, сидел в глубоком молчании. Полная темнота, очевидно, подействовала на мои чувства, и мне стало казаться, что перед моими глазами мелькают какие-то бесформенные видения. Но я тут же рассудил, что это, наверно, пробивающийся в узкие просветы в занавесях лунный свет, отраженный хрустальным графином.

Я сдвинул занавеси поплотнее, и мои бесформенные видения исчезли. Еще минут пять я посидел в темноте, но так как ничего не последовало, я довольно вятно заговорил:

— Если тут есть духи, очень прошу их как-нибудь дать мне знать о своем присутствии.

Я подождал еще немного, но ничего не произошло. Я продолжал:

— Существует же какой-нибудь способ общения? Можно подать какой-нибудь знак, например, стуком, а если нет, то, может быть, через мое сознание — внушив мне написать какое-нибудь слово. Наконец, холодное дуновение ветра могло бы указать мне на чье-то присутствие.

Я просидел еще пять минут, но ни дуновения ветра, ни какого-либо другого знака не последовало. Тишина оглушала меня. Голова была пустой.

В конце концов я сдался, зажег свет и прошел в гостиную. Там шторы не были опущены, и рояль четко вырисовывался в лучах луны. Я присел к инструменту, и пальцы мои начали перебирать клавиши. И вдруг один аккорд взволновал меня, я повторял его до тех пор, пока вся комната не зазвучала этим аккордом. Почему я это делал? Может быть, это было мне внушено?! Я все продолжал повторять свой аккорд. И вдруг белый обруч света охватил меня, я пулей выскочил из-за рояля, а сердце у меня колотилось, словно кто-то ударял в него, как в барабан.

Когда я наконец пришел в себя, то попытался рассуждать здраво. Рояль стоял в углу, у окна. Я понял, что то, что я принял за полосу эктоплазмы, было всего лишь светом фар машины, спускавшейся по склону холма. Чтобы окончательно разувериться, я снова сел за рояль и снова несколько раз взял тот же аккорд. Позади гостиной шел темный коридор, и в нем — дверь в столовую. Краем глаза я заметил, что дверь открылась и из столовой кто-то вышел и проскользнул по темному коридору — какое-то нелепое уродливое существо, вроде карлика, с глазами, обведенными белыми кругами, как у клоуна. Не успел я и голову повернуть, как оно уже скрылось в комнате, где стоял орган. Я вскочил в ужасе, бросился за ним, но там уже никого не было. Я подумал, что в моем взвинченном состоянии даже движение ресниц могло вызвать подобный мираж.

Я снова вернулся к роялю, но так как за этим больше ничего не последовало, то вскоре пошел спать.

Надев пижаму, я вошел в ванную, зажег свет и увидел свое привидение — оно сидело в ванне и смотрело на меня! Я выскочил из ванной, как ошпаренный. Это был скунс! Его-то я и видел внизу краем глаза — только там мое воображение сильно преувеличило его.

Утром дворецкий посадил перепуганного звереныша в клетку, и вскоре мы очень привязались к нему. Но в один прекрасный день зверек исчез, и больше мы его не видели.

До моего отъезда из Лондона меня пригласили на завтрак герцог и герцогиня Йоркские. Завтракали в тесном семейном кругу, за столом были лишь герцог, герцогиня, ее отец и мать и брат — подросток лет тринадцати. Позднее появился сэр Филипп Сассун — мы с ним должны были отвезти брата герцогини в Итон.

Это был спокойный мальчик — он не отступал от нас ни на шаг, пока двое старших учеников показывали нам Итонский колледж. Эти двое и несколько других итонцев пригласили нас выпить с ними чаю. Но когда мы вошли в кондитерскую — дешевенькое заведение, где продавали конфеты и подавали чай за шесть пенсов, — мальчик, которого мы привезли, вместе с сотней других итонцев остался ждать нас на улице.

Мы вчетвером усадились за столик в маленьком переполненном зале наверху. Все шло великолепно до той минуты, пока меня не спросили, не хочу ли я выпить еще чашечку, и я необдуманно сказал «да». Это вызвало финансовый кризис, ибо у мальчиков, которые нас угощали, денег больше не было, и ему пришлось срочно созвать тайное совещание с товарищами. Филипп шепнул мне:

— Боюсь, что у них обнаружился безнадежный дефицит в два пенса, но мы с вами ничего не можем поделать.

И все-таки они как-то ухитрились заказать второй чайник чаю, который нам пришлось выпить наспех — зазвонил колокол, оставалась одна минута, чтобы успеть войти в ворота колледжа; пришлось бежать со всех ног. В стенах Итона нас приветствовал директор, он показал нам холл, где Шелли и многие знаменитые люди вписали свои имена. А затем директор снова передал нас нашим гидам — двум старшим ученикам, и они повели нас в святая святых, комнату, которую когда-то занимал Шелли. Маленький брат герцогини Йоркской опять остался на улице.

И тут сопровождавший нас юноша повелительно обратился к нему:

— Что тебе здесь нужно?

— Он с нами, — вмешался Филипп, пояснив, что мы привезли его из Лондона.

— Хорошо, — нетерпеливо сказал старший ученик, — входи.

И тут сэр Филипп шепнул мне на ухо:

— Это большая уступка, что они разрешили ему войти. Другому малышу могло бы испортить всю карьеру, если бы он осмелился перешагнуть порог этой святой обители.

И лишь позднее, когда я посетил Итон вместе с леди Астор, я понял, какая спартанская дисциплина там господствует. Было очень холодно и совсем темно, когда мы туда приехали, и нам пришлось почти ошупью пробираться по слабо освещенному мрачному коридору. У каждой двери на стене висели тазы, в которых итонцы мыли ноги. Наконец, мы подошли к указанной нам двери и постучали. Дверь открыл маленький, бледненький мальчик, сын леди Астор. У небольшого камина над горсткой угля грели руки двое его сожителей по комнате. Все это выглядело довольно грустно.

— Я хочу узнать, не смогу ли я увезти тебя домой на субботу и воскресенье, — сказала леди Астор.

Мы еще немного поговорили, и вдруг раздался стук в дверь; прежде чем кто-нибудь успел сказать: «Войдите», ручка двери повернулась и в комнату вошел надзиратель интерната, стройный красивый блондин лет сорока.

— Добрый вечер, — кратко обратился он к леди Астор и лишь слегка кивнул головой мне. Облокотившись о каминную полку, он закурил трубку. Визит леди Астор был нарушением правил, и она попыталась объясниться:

— Я приехала узнать, не могу ли я взять мальчика на субботу и воскресенье домой.

— К сожалению, не можете, — последовал довольно резкий ответ.

— Ну что вы, — начала леди Астор в своей милой манере, — нельзя же быть таким несговорчивым.

— Я вовсе не несговорчив, а просто поясняю вам положение дел.

— Но он такой бледный.

— Вздор, он совершенно здоров.

Леди Астор встала с кровати мальчика, на которой мы сидели, и подошла к надзирателю.

— Ну, право, согласитесь, — сказала она и легонько толкнула его в бок, как она часто подталкивала Ллойд Джорджа и других великих мира сего, когда хотела их в чем-то убедить.

— Леди Астор, — сказал надзиратель, — у вас скверная привычка толкаться — так можно сбить с ног человека.

И леди Астор, умевшая найтись в любых обстоятельствах, на этот раз спасовала.

Разговор каким-то образом обратился к политике, но надзиратель тут же прекратил его коротким замечанием:

— Все горе английской политики в том, что в нее слишком часто вмешиваются женщины. И на этом, леди Астор, я хотел бы с вами проститься.

Он коротко кивнул нам обоим и вышел.

— Какой он сердитый, — заметила леди Астор.

Но за него неожиданно вступился ее сын.

— Нет, мама, наоборот, он очень хороший.

Мне тоже понравился этот человек, несмотря на его антифеминизм, — чувствовалось, что это честный, прямой человек, может быть, не слишком веселый, но зато искренний.

Я уже много лет не виделся с Сиднеем и решил провести с ним какое-то время в Ницце. Сидней всегда говорил, что как только сумеет скопить двести пятьдесят тысяч долларов, он бросит все дела и уйдет на покой. Могу добавить, что он отложил гораздо больше. Он был не только проницательным дельцом, но и превосходным комиком и создал много комедий, имевших большой успех: «Лоцман подводной лодки», «Тетка Чарлея» и другие фильмы, которые значительно умножили его состояние. Теперь Сидней уже не работал и жил с женой в Ницце.

Фрэнк Гульд, который тоже жил на Лазурном берегу, услышав, что я собираюсь навестить брата, пригласил меня пожить у него в Жуан-ле-Пэне, и я охотно согласился.

По пути в Ниццу я остановился на два дня в Париже и пошел в «Фоли Бержер» повидать Альфреда Джексона, одного из «восьми ланкаширских парней». Он мне рассказал, что семья Джексонов процветает — у них теперь антреприза восьми танцевальных ансамблей; старик еще жив, и, если бы я пришел в «Фоли Бержер» на репетицию, то мог бы его повидать. Хотя ему уже было за восемьдесят, старик выглядел здоровым и бодрым. Мы поговорили с ним о старых временах, то и дело прерывая друг друга восклицаниями: «Ну кто бы мог подумать!»

— Знаешь, Чарли, — сказал он, — когда я вспоминаю тебя, я чаще всего думаю, каким ты был добрым ребенком.

Никогда не следует наслаждаться лестью публики слишком долго. Она вроде суфле: если дать ему постоять, оно опадет. Так было и с оказанным мне восторженным приемом — ко мне вдруг стали охладевать. Сначала повеяло свежим ветерком с газетных страниц. Гиперболы похвал вдруг перешли в свою противоположность — теперь, должно быть, этим рассчитывали заинтересовать читателя.



Шумные дни в Лондоне и Париже начали теперь сказываться — я почувствовал усталость, мне нужно было отдохнуть. Но едва я начал приходить в себя в Жуан-ле-Пэне, как меня уже попросили выступить на некоем официальном благотворительном вечере в лондонском «Палладиуме». Вместо этого я послал чек на двести фунтов. Это вызвало скандал — я оскорбил короля, выказал неуважение к королевскому приказу. Но я не воспринял письмо директора «Палладиума» как королевский эдикт, и к тому же я был неподготовлен и не смог бы сыграть по срочному уведомлению.

Следующей атаке я подвергся недели три спустя. В один прекрасный день, когда я поджидал своего партнера на теннисном корте, ко мне подошел молодой человек и назвался другом моего приятеля. Перекинувшись двумя-тремя вежливыми фразами, мы постепенно разговорились и стали обмениваться мнениями по разным общим вопросам. Молодой человек был приятен и проявлял живой интерес к моим высказываниям. А у меня есть такая слабость: я могу вдруг влюбиться в человека, особенно, если он умеет хорошо слушать, — и я разговорился вовсю. Я говорил о мировой политике, очень пессимистично рисуя положение дел в Европе и утверждая, что оно неминуемо приведет к войне.

— Ну уж меня-то им не удастся загнать в эту бойню, — заметил мой новый приятель.

— А я и не стал бы вас за это винить, — ответил я. — Я не испытываю особого уважения к тем, кто вовлекает нас в беду. Я не хочу, чтобы мне указывали, кого я должен убивать и за что я должен умереть, — и все это будто бы во имя патриотизма.

Расстались мы очень сердечно. Если не ошибаюсь, мы даже стоворились вместе пообедать на другой день, но он больше так и не появлялся. И вдруг я узнаю, что разговаривал не с другом, а с газетным репортером — на следующий день на первой полосе газет появились заголовки, набранные крупным шрифтом: «Чарли Чаплин не патриот!» и так далее и тому подобное.

Это справедливо по существу, но я вовсе не хотел, чтобы мои личные взгляды обнародовались в газетах. Я и в самом деле не патриот, и не только по этическим или чисто интеллектуальным причинам, но и потому, что я попросту лишен этого чувства. Как может человек испытывать чувство патриотизма, когда во имя его было истреблено шесть миллионов евреев? Мне могут возразить, что это касается лишь Германии. Но элементы кровожадности могут оказаться и у других наций.

Я не могу кричать и о национальной гордости. Если за плечами у человека семейные традиции, родной дом и старый сад, счастливое детство, предки и друзья, — я могу понять это чувство, но у меня самого нет такого прошлого. В крайнем случае я признаю патриотизм как приверженность к местным обычаям — к скачкам или к охоте на лисицу, к йоркширскому пудингу или к американскому рубленому шницелю и кока-коле. Но в наши дни самые разные местные достопримечательности распространились по всему миру. Конечно, если бы страна, в которой я живу, подверглась нападению, я уверен, что я, как и большинство из нас, был бы способен пойти на величайшую жертву. Но чрезмерно пылкой любви к своей стране я не питаю; стоит только мне убедиться, что в ней возобладал нацизм, — и я тут же, без малейших угрызений совести, готов покинуть ее пределы. А по моим наблюдениям дремлющие клеточки нацизма в кратчайшие сроки могут активизироваться в любой стране. Поэтому я не хочу ничем жертвовать во имя политики, если только сам не поверю в ту цель, которую она преследует. Я не хочу быть мучеником во имя национализма и не желаю умирать ни за президента, ни за премьер-министра, ни за диктатора.

День или два спустя сэръ Филипп Сассун повез меня завтракать к Консуэло Вандербильт Бальзан. Ее дом был в прелестном местечке на юге Франции. Среди гостей

обращал на себя внимание высокий, худой, темноволосый человек с коротко подстриженными усами, любезный и обходительный. За завтраком я все время разговаривал с ним, обсуждал с ним книгу Дугласа «Экономическая демократия» и говорил, что его теория кредита, на мой взгляд, могла бы помочь удачному разрешению проблемы современного мирового кризиса. Как писала потом Консуэло Бальзан, «Чаплин выказал себя интересным собеседником, но с сильными социалистическими симпатиями».

Должно быть, за завтраком я сказал что-то такое, что особенно заинтересовало высокого джентльмена,— лицо его вдруг осветилось, а глаза раскрылись так широко, что стали видны белки. Казалось, он одобрял все, что я говорил, но лишь до той минуты, пока я не дошел до основного положения, завершавшего мою мысль, — оно-то как раз оказалось прямо противоположным его собственному мнению, и лицо его выразило крайнее разочарование. И тут выяснилось, что я беседовал с сэром Освальдом Мосли, не подозревая, что в будущем этот человек возглавит в Англии движение «чернорубашечников». Но эти выкаченные белки глаз и широко улыбающийся рот остались в моей памяти живыми и по сей час, как странная и чем-то пугающая маска.

На юге Франции я познакомился также с Эмилем Людвигом, плодовитым писателем, биографом Наполеона, Бисмарка, Бальзака и многих других знаменитых людей. Он интересно написал о Наполеоне, хотя слишком увлекся психоанализом, даже в ущерб увлекательности повествования.

Он прислал мне телеграмму, в которой выражал свое восхищение «Огнями большого города» и желание познакомиться со мной. Он оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Людвиг, со своими длинными волосами и женственным изгибом полных губ, был похож на Оскара Уайльда, но еще более утонченного.

Мы встретились у меня в отеле, и он представился мне в довольно-таки цветистой и даже театральной манере, преподнеся мне веточку лавра со следующими словами:

— Когда римлянин достигал величия, его награждали лавровым венком — вот поэтому я и преподношу вам лавр.

Я сначала растерялся от такого красноречия, но вскоре понял, что он просто прикрывал этим способом свое собственное смущение. Когда он оправился от неловкости, я нашел в нем очень умного и интересного собеседника. Я спросил его, что он считает самым существенным для биографа.

— Определенное отношение к своему герою, — ответил Людвиг.

— Но тогда биография будет предвзятой, пристрастной. О чем-то вы будете писать, а о чем-то умолчите, — возразил я.

— Шестьдесят пять процентов материала все равно не попадает в книгу, — ответил он, — из-за того, что затронуты еще какие-то люди.

За обедом он спросил меня, какое зрелище из всего, что я видел в жизни, показалось мне самым прекрасным. Я не задумываясь ответил: вид Элен Уиллс, играющей в теннис, — ее изящество, предельная лаконичность движений и здоровая женская привлекательность. И еще я назвал кадры кинохроники, снятые вскоре после заключения мира: крестьянин, вспахивающий во Фландрии поле, на котором полегли тысячи солдат. Людвиг, в свою очередь, описал закат во Флориде: по берегу медленно едет открытый спортивный автомобиль, в нем сидят хорошенькие девушки в купальных костюмах, одна из них примостилась сзади на крыле, спустила ногу и пальцем чертит по песку длинный волнистый след.

Но теперь я мог бы вспомнить другое прекрасное видение: «Персея» Бенвенуто Челлини на Пьяцца делла Синьория во Флоренции. Была ночь, но площадь была

освещена. Меня потянуло сюда после того, как я посмотрел «Давида» Микеланджело. Но стоило мне увидеть «Персея» — и все другое отошло на второй план. Я был захвачен неувольимой прелестью, изяществом этой фигуры. Персей, высоко поднявший голову Медузы, ее мертвое тело, безжалостно повергнутое к его ногам, показались мне зримым воплощением печали и напомнили мистические строки Уайльда: «И все же каждый из нас убивает то, что любит». В этом таинственном поединке добра и зла он исполнил свой грустный долг.

Я получил телеграмму от герцога Альбы с приглашением приехать к нему в Испанию. Но на другой день во всех газетах появились крупные заголовки: «Революция в Испании». И вместо Испании я поехал в Вену, грустную, прекрасную Вену. Самым ярким венским воспоминанием осталось мое любовное приключение с одной прелестной девушкой. Оно напоминало последнюю главу из романа эпохи королевы Виктории: прощаясь, мы страстно клялись друг другу в вечной любви, нежно целовались, а сами знали, что никогда больше не увидимся.

Из Вены я поехал в Венецию. Стояла осень, и Венеция была пустынна. Когда там снуют туристы, она мне больше нравится, — они придают тепло и жизнь городу, который без них мог бы стать кладбищем. По правде говоря, я люблю туристов — во время отдыха люди гораздо милее, чем тогда, когда они пробегают в вертящихся дверях, торопясь в свои конторы. Венеция была прекрасна, но она навевала грусть, и я пробыл там всего два дня — делать мне там было нечего, разве только пластинки проигрывать, да и то тайком: Муссолини по воскресеньям запрещал не только танцевать, но даже слушать патефон.

Я был не прочь вернуться в Вену и продолжить свой роман, но у меня была назначена в Париже встреча, которую мне не хотелось бы пропустить, — завтрак с Аристидом Брианом, вдохновителем идеи создания Соединенных Штатов Европы. Но когда мы с ним встретились, мсье Бриан был не совсем здоров, подавлен горечью и разочарованием. Завтракали мы в доме у мсье Бальби, издателя «Энтрансижан», беседа была очень интересной, хотя я и не говорил по-французски. Но графиня де Ноайль, умная женщина, похожая на птичку, остроумная и обаятельная, к счастью, говорила по-английски. Здороваясь с ней, мсье Бриан заметил: «Я так редко вижу вас теперь, мы с вами почти не встречаемся, точно бывшие любовники». После завтрака меня повезли в Елисейский дворец, где мне был вручен орден кавалера Почетного легиона.

Хотя и трудно удержаться от искушения, но я не стану описывать бурный энтузиазм огромных толп, которые встречали меня во второй мой приезд в Берлин.

Между прочим, я вспоминаю, как Мэри и Дуглас показывали мне фильм о своей поездке за границу. Я заранее предвкушал удовольствие от интересного видового фильма. Но в первых кадрах был заснят приезд Мэри и Дуга в Лондон, беснующиеся от восторга огромные толпы людей, сначала на вокзале, затем у входа в отель, потом был запечатлен их приезд в Париж, где толпы были еще многочисленней. После того как мне показали фасады всех отелей и вокзалов Лондона, Парижа, Москвы, Вены и Будапешта, я невинно спросил:

— А когда же мы увидим хоть что-нибудь об этих городах и странах?

Оба рассмеялись. Сознаюсь, что и я был не слишком скромно в описании толп почитателей, приветствовавших меня.

В Берлине я был гостем демократического правительства, но в качестве переводчицы при мне была графиня Йоркская, очаровательная молодая немочка. Приехал

я в Берлин в 1931 году, вскоре после того, как нацисты сделались реальной силой в рейхстаге. Я и понятия не имел, что почти половина газет выступала против меня, утверждая, что немцы выставляют себя в смешном виде, устраивая мне, иностранцу, такие фанатические демонстрации восторга. Конечно, это писали нацистские газеты, а я об этом ровно ничего не знал и прекрасно проводил время.

Кузен кайзера любезно водил меня по Потсдаму и Сан-Суси, но мне все дворцы кажутся нелепым, безвкусным и скучным выражением спеси и хвастовства. Когда я думаю о Версале, Кремле, Потсдаме, Букингемском дворце, то, несмотря на исторический интерес, который они собой представляют, мне кажется, что надо быть напыщенными и самовлюбленными людьми, чтобы возводить подобные мавзолеи. Кузен кайзера уверял меня, что небольшой дворец Сан-Суси построен с большим вкусом и выглядит уютнее. Но мне он показался похожим на дамский ридикюль и оставил меня холодным.

Угнетающе подействовало на меня посещение берлинского Музея полиции — все эти фото убитых и самоубийц, дегенератов и всевозможных разновидностей вырождков рода человеческого. Я был рад бежать отсюда и снова вдохнуть немного свежего воздуха.

Доктор фон Фулмюллер, автор «Чуда», устроил в мою честь прием у себя дома, и я встретился у него с представителями театра и искусства Германии. Один вечер я провел у Эйнштейнов, в их маленькой квартирке. Я был приглашен также на обед к генералу фон Гинденбургу, но в последнюю минуту он заболел, и я снова вернулся на юг Франции.

Я уже говорил, что буду упоминать о своих романах, но подчеркивать вопросы секса не стану, потому что ничего нового я здесь не открою. Произведение потомства — главный закон природы, и каждый мужчина, будь он молод или стар, встретив женщину, подумает о возможности близости между ними. Так, по крайней мере, всегда было со мной.

Во время работы женщины никогда меня не интересовали, но между картинами, когда мне нечего было делать, я становился уязвим. Как говорит Г. Уэллс: «Если вы утром написали те страницы, которые хотели, а потом ответили на все письма, и вам уже нечего делать, то тут наступает час, когда вам становится скучно. Это и есть время для любви».

И вот именно в такое время, когда мне решительно нечего было делать на Лазурном берегу, мне повезло: меня познакомили с очаровательной девушкой, обладавшей всеми качествами, необходимыми для того, чтобы избавить человека от скуки. Она, так же как и я, была свободна и могла делать все, что ей вздумается, и мы не обманывались друг в друге. Она мне призналась, что едва только оправилась после неудачного романа с молодым египтянином. В наших отношениях, хотя мы об этом и не говорили, все было ясно — она знала, что я должен вернуться в Америку. Я ей что-то давал «на булавки», мы ходили с ней в казино, в рестораны и на вечера-гала. Мы вместе обедали, танцевали танго, и, в общем, все шло по шаблону. Но вскоре я почувствовал, что запутываюсь в сетях этой прелестной близости; случилось неизбежное — я влюбился. И теперь, думая о возвращении в Америку, я уже был не уверен, смогу ли ее оставить. Одна лишь мысль о том, что я ее бросаю, вызывала во мне сожаление — она была так весела, обаятельна и мила. Однако вскоре кое-какие случайности возбудили во мне недоверие.

Как-то днем мы зашли с ней в казино потанцевать во время чая, и тут вдруг она судорожно сжала мою руку — там оказался ее египтянин С., о котором она мне так много рассказывала. Я был несколько уязвлен, и мы быстро покинули казино. Но когда мы подошли к отелю, она вдруг вспомнила, что оставила в ресторане перчатки и должна за ними вернуться, а я могу идти в номер. Предлог был слишком очевиден. Я ничего на это не возразил, ни слова не обронил по этому поводу и пошел в отель. Но прошло часа два, а

она все еще не возвращалась, и я решил, что тут дело не в паре перчаток. Я пригласил кое-кого из друзей пообедать с нами в этот вечер, время обеда уже подошло, а ее все еще не было. Но в ту минуту, когда я уже собрался уходить, она вдруг появилась, бледная и растрепанная.

— Не стоило торопиться, к обеду ты все равно уже опоздала, — сказал я, — советую тебе вернуться, пока постель не успела остыть.

Она отрицала свою вину, защищалась, умоляла, но ей никак не удавалось найти хоть сколько-нибудь убедительную причину столь долгого отсутствия. Убежденный, что она провела это время со своим египтянином, я разразился обличительной тирадой и ушел обедать без нее.

Кому не приходилось сидеть в ночном ресторане, разговаривать под звуки рыданий саксофона и звон посуды, терпеливо выслушивать обычные банальности и вдруг остро ощутить свое одиночество? Вы разыгрываете роль любезного хозяина, испытывая в глубине души настоящие муки. Я вернулся в отель, но ее там не было. Я испугался. Неужели она ушла? Так быстро! Я вошел к ней в спальню, но тут с великим облегчением увидел, что ее платья и все ее вещи были на месте. Минут через десять она вошла, веселая и оживленная, и сообщила мне, что была в кино. В свою очередь я холодно объявил ей, что завтра уезжаю в Париж и что хотел бы сейчас проститься с ней — нашим отношениям пришел конец. Она покорно согласилась, продолжая, однако, отрицать встречу с египтянином.

— Если еще оставалась какая-то возможность дружеских отношений между нами, — заметил я, — ты ее убиваешь этой ложью.

И тут я солгал, сказав ей, что шел за ней по пятам и выследил, что из казино она пошла со своим египтянином к нему в отель. К моему великому удивлению, она вдруг сдалась, призналась, что все это правда, и клялась всем на свете, что больше никогда в жизни его не увидит.

На другое утро, когда я стал упаковывать вещи и собрался уезжать, она начала потихоньку плакать. Я должен был ехать в Париж в машине приятеля; вскоре он появился и объявил, что все уже готово, он будет ждать меня внизу. Закусив палец, она горько расплакалась.

— Не бросай меня, прошу тебя! Не надо, не надо...

— А чего бы ты хотела? — холодно спросил я.

— Возьми меня только в Париж, — умоляла она, — а потом, клянусь тебе, я больше не стану тебе надоедать.

Она показалась мне в эту минуту такой жалкой, что я не смог устоять. Я предупредил ее, что это будет невеселое путешествие и что оно не имеет никакого смысла: как только мы приедем в Париж, мы должны будем расстаться. Она на все соглашалась. И в то же утро мы втроем уехали в Париж в машине моего приятеля.

Путешествие и в самом деле началось довольно мрачно; она была тиха и покорна, а я вежлив, но холоден. Правда, долго выдержать так мы не могли — что-нибудь по пути вызывало у нас обоих интерес, мы оживлялись, обменивались впечатлениями, но прежняя душевная близость не восстанавливалась.

Мы подвезли ее к тому отелю, где она собиралась остановиться, и простились. Она сделала вид, будто прощается со мной навсегда, но ее притворство было до жалости очевидно. Она поблагодарила меня за все, что я сделал для нее, пожала мою руку и, мелодраматически простившись со мной, исчезла в дверях отеля.

На другое утро она позвонила и спросила, не поведу ли я ее завтракать. Я ответил отказом, но, когда я вышел с приятелем из отеля, она ждала у входа, в мехах и в полном блеске. Мы позавтракали втроем, а потом посетили Мальмезон, где жила и умерла Жозефина, когда Наполеон с ней расстался. Дом был чудесный, но Жозефина пролила здесь немало слез. Невеселый осенний денек как нельзя лучше подходил к нашему грустному настроению. И вдруг я хватился нашей дамы. Я нашел ее в саду, она сидела на каменной скамье, заливаясь слезами, — казалось, она была охвачена печалью, витавшей в воздухе. Сердце мое готово было смягчиться, если бы я дал ему волю, но я все еще не мог забыть египтянина. Мы расстались в Париже, и вскоре я уехал в Лондон.

В Лондоне я несколько раз встречался с принцем Уэльским. Меня познакомила с ним в Биарритце моя приятельница, леди Фернесс. Мы сидели в ресторане с Коше, чемпионом по теннису, и еще двумя приятелями, когда туда вошел принц с леди Фернесс. Леди Фернесс прислала мне записочку с приглашением встретиться с ними позднее в русском ресторане.

Эта встреча показалась мне довольно странной. Меня представили, его королевское высочество заказал вино, а затем встал и пошел танцевать с леди Фернесс. Возвратясь к столу, принц сел подле меня и повел допрос.

— Вы, конечно, американец?

— Нет, я англичанин.

Принц был очень удивлен.

— И давно вы в Штатах?

— С 1910 года.

— А, — он задумчиво покачал головой. — Значит, еще до войны уехали?

— Как будто бы так.

Он рассмеялся.

В разговоре я упомянул, что Шаляпин устраивает сегодня вечер в мою честь. И тут принц совсем по-мальчишески заметил, что ему тоже хотелось бы пойти:

— Я уверен, ваше высочество, — ответил я, — что Шаляпин будет очень рад и почтет это за честь для себя, — и я попросил разрешения у принца договориться с Шаляпиным.

Принц заслужил мое уважение тем, что почти весь вечер просидел с матерью Шаляпина, которой уже было много за восемьдесят. И только когда старушка отправилась на покой, он присоединился к гостям и принял участие в обычных развлечениях.

И вот теперь принц Уэльский оказался в Лондоне и пригласил меня приехать к нему в его загородный дом Форт Бельведер. Старый замок был подновлен и обставлен с весьма относительным вкусом, но зато кухня была превосходной, а принц оказался милым хозяином. Он показал мне весь дом, спальня его была проста, но выглядела несколько наивно с современными красными шелковыми тканями гобеленами и королевской эмблемой в изголовье кровати. Зато другая спальня, выдержанная в красно-белых тонах, в которой стояла кровать с четырьмя колонками, причем на верхушке каждой колонки развевалось еще по три красных пера, привела меня в полное замешательство. Но потом я догадался, что перья, очевидно, входили в королевский герб.

В тот вечер кто-то предложил поиграть в очень распространенную в Америке игру под названием «Откровенные мнения». Всем играющим раздаются карточки, на которых

помечены десять качеств: обаяние, ум, сильный характер, физическая привлекательность, красота, искренность, чувство юмора, приспособляемость и так далее. Один из играющих покидает комнату и помечает в своей карточке откровенное мнение о своих собственных качествах по десятибалльной системе. Например, я поставил себе семерку за чувство юмора, шестерку за привлекательность, шестерку за красоту, восьмерку за приспособляемость и четверку за искренность. Тем временем остальные гости тайно проставляют в своих карточках отметки качествам жертвы, покинувшей комнату. Жертва входит, читает поставленные ею себе отметки, после чего читаются карточки остальных играющих, чтобы установить, насколько они совпадают с мнением жертвы о себе самом.

Когда подошла очередь принца, он поставил себе тройку за привлекательность, гости присудили ему в среднем четверку, а я дал пятерку. За красоту принц поставил себе шестерку, гости — в среднем вывели восьмерку, а я поставил семерку. За обаяние он объявил пятерку, гости поставили ему восьмерку и я поставил восьмерку. За искренность принц поставил себе высший балл — десятку, гости вывели всего тройку с плюсом, а я поставил четверку. Принц был возмущен.

— А я считал, что искренность — это мое самое большое достоинство, — сказал он.

Когда я был еще мальчиком, мне как-то довелось прожить несколько месяцев в Манчестере. И так как сейчас у меня не было никаких особых дел, я решил туда съездить. Несмотря на мрачность, Манчестер привлекал меня своей романтикой, какими-то неуловимыми отблесками света, пробивающимися сквозь дождь и туман. Может быть, это были воспоминания о жарком огне очага в ланкаширской кухне или это светилась душа народа? В общем, я взял машину и поехал на север.

По пути в Манчестер я остановился в Стратфорде-на-Эйвоне — я там никогда еще не бывал. Я приехал туда в субботу поздно вечером и после ужина пошел погулять в надежде отыскать домик Шекспира. Ночь была очень темной, но я чутьем пошел в правильном направлении, остановился перед каким-то домом, чиркнул спичкой и прочел: «Дом Шекспира». Несомненно, меня привел сюда какой-то родственный дух, может быть, дух самого барда!

Утром в отеле появился мэр Стратфорда, сэр Арчибальд Флауэр, и любезно проводил меня в дом Шекспира. Но я никак не мог связать с этим домом образ барда — мне кажется невероятным, что дух великого человека мог обитать или зародиться в такой обстановке. Легко вообразить, как сын простого фермера уезжает в Лондон и становится там знаменитым актером и владельцем театра, но для меня остается непостижимым, как он мог сделаться великим поэтом и драматургом, приобрести такое знание жизни чужеземных дворов, кардиналов и королей. Меня не слишком заботит вопрос, кто именно писал произведения Шекспира — Бэкон, Саутхемптон или Ричмонд. Но я с трудом могу поверить тому, что их мог создать мальчуган из Стратфорда. Кто бы их ни писал — этот человек был аристократом. Даже полное пренебрежение к правилам грамматики изобличает в нем царственно одаренный ум. А после того как я осмотрел дом, выслушал какие-то обрывки скудных сведений о его детстве, посредственных успехах в школе, браконьерстве, о его взглядах типичного деревенщины, я никак не могу поверить в ту метаморфозу духа, которая сделала его величайшим из всех поэтов. Низкое происхождение обязательно где-нибудь нет-нет да и проявится в творчестве даже величайшего из гениев, но у Шекспира нельзя найти ни малейших его следов.

Из Стратфорда я покати́л в Манчестер и приехал туда в воскресенье, часа в три. Манчестер словно вымер, на улицах почти ни души. Я был рад снова сесть в машину и поехать дальше в Блэкберн.

В те дни, когда я ездил в турне с «Шерлоком Холмсом», Блэкберн был одним из моих любимейших городов. Обычно я останавливался там в маленькой гостинице и за четырнадцать шиллингов в неделю получал кров и питание, а в свободные часы еще играл на маленьком бильярде.

Мы приехали в Блэкберн часов около пяти, было уже совсем темно, но тем не менее я сразу отыскал свою гостиницу и неузнанным выпил в баре вина. Владелец сменился, но мой старый приятель — бильярдный стол — стоял на том же месте.

В темноте почти ощупью я дошел до рыночной площади, еле освещенной тремя-четырьмя уличными фонарями. Люди стояли маленькими группками и слушали политических ораторов — это было время глубокой депрессии в экономике Англии. Я переходил от одной группы к другой, слушая разных ораторов — острые речи были полны горечи; один оратор говорил о социализме, другой о коммунизме, третий о плане Дугласа, который, к несчастью, был слишком запутан, чтобы средний рабочий мог в нем разобраться. Оставшись послушать, что говорили люди после митинга, разбившись на маленькие группки, я, к своему удивлению, услышал старого консерватора викторианского толка: «Все горе в том, — ораторствовал он, — что Англия слишком долго роскошествовала: все эти подачки по безработице разоряют страну!». В темноте я не смог устоять и выкрикнул: «А без этих подачек и Англии давно уже не было бы». Меня сразу поддержали восклицаниями: «Слушайте, слушайте!»

Политические перспективы были достаточно безрадостны. В Англии было почти четыре миллиона безработных, причем количество их все возрастало, а предложения партии лейбористов мало чем отличались от предложений консерваторов.

Я отправился в Вулвич и там услышал на выборном митинге речь мистера Каннингема Рейда, выступившего от имени либералов. Речь его, наполненная политической софистикой, не содержала никаких определенных обещаний и не произвела на избирателей особого впечатления. Сидевшая рядом со мной молоденькая девушка-работница вдруг крикнула: «Хватит нас кормить всей этой ученой болтовней! Вы нам лучше скажите, что вы собираетесь сделать для четырех миллионов безработных, — тогда мы будем знать, стоит голосовать за вашу партию или нет».

Я подумал, что если слова этой девушки выражают политические настроения масс, есть надежда, что лейбористы победят на выборах, но я ошибся. После речи Сноудена по радио произошло резкое изменение в распределении голосов в пользу консерваторов, и Сноуден получил звание пэра. Так я оставил Англию, когда консерваторы были на пути к власти, и прибыл в Америку, когда их правительство уже доживало последние дни.

Каникулы в лучшем случае — пустое занятие. Я слишком долго слонялся по курортам Европы и знал, в чем тут была причина. Я был растерян, у меня не было впереди никакой цели. С тех пор как в кино появился звук, я не мог решить, что буду делать дальше. Хотя «Огни большого города» имели огромный успех и принесли мне больше денег, чем какая бы то ни было звуковая картина тех дней, я чувствовал, что поставил бы себя в невыгодное положение, если бы решился сделать еще один немой фильм. Меня угнетал страх показаться отсталым и старомодным. Хотя хороший немой фильм представлялся мне артистичнее, я вынужден был признать, что звук придавал образам большую достоверность.

По временам я начинал раздумывать о возможности поставить звуковой фильм, но от одной лишь мысли мне становилось не по себе. Я понимал, что здесь я никогда не смогу достичь той же высоты, как в немых картинах. Я понимал, что мне навсегда придется расстаться с образом моего бродяги. Кое-кто говорил, что бродяга мог бы заговорить. Но это было немыслимо; как только он сказал бы хоть единое слово, он стал



бы другим человеком: форма, в которой он был отлит, была так же безгласна, как и его лохмотья.

Вот эти печальные мысли и заставляли меня затягивать перерыв в работе, хотя голос совести не переставал меня мучить: «Возвращайся в Голливуд и работай!»

После путешествия на север я вернулся в отель «Карлтон» в Лондоне, собираясь сразу заказать билет в Калифорнию через Нью-Йорк, но тут получил телеграмму от Дугласа Фербенкса, которая изменила все мои планы. «Приезжай в Сан-Мориц. К твоему приезду закажу свежего снега. Буду ждать. Целую. Дуглас».

Не успел я еще дочитать телеграмму, как в дверь робко постучали: «Войдите!» — сказал я, думая, что это коридорный. Но вместо коридорного в двери появилась моя приятельница с Лазурного берега. Я удивился, почувствовал раздражение, но делать было нечего. «Входи!» — повторил я холодно.

Мы пошли за покупками к Харроду, купили полное лыжное обмундирование, а потом зашли к ювелиру на Бонд-стрит купить браслет, который ей очень понравился. День или два спустя мы приехали в Сан-Мориц, и радость снова увидеть Дуга рассеяла тучи на моем горизонте. Хотя перед Дугом стояла та же проблема будущей работы, что и у меня, ни он, ни я об этом не заговаривали. Он приехал один — должно быть, они с Мэри разошлись. Во всяком случае, эта встреча в горах Швейцарии развеяла нашу грусть. Мы вместе ходили на лыжах, или, вернее, вместе учились ходить на лыжах.

Германский экс-кронпринц, сын кайзера, жил с нами в одном отеле, но познакомиться с ним мне не довелось, а когда я как-то очутился с ним вместе в кабине лифта, я улыбнулся, вспомнив свою комедию «На плечо!», в которой кронпринц был комедийным персонажем.

Я пригласил Сиднея приехать ко мне в Сан-Мориц, а так как никакой особой необходимости в спешном возвращении в Беверли-хилс не было, я решил возвращаться через Дальний Восток, и Сидней согласился проводить меня до Японии.

Мы поехали в Неаполь, где я распрощался с моей приятельницей. Но на этот раз она была весела, и при расставании не было слез. Должно быть, она смирилась или даже почувствовала некоторое облегчение — после поездки в Швейцарию нас уже не так тянуло друг к другу, и оба это понимали. Расстались мы добрыми друзьями. И пока отплывал пароход, она шла по набережной, подражая в походке моему бродяге. Такой я видел ее в последний раз.

### **XXIII**

О путешествиях по Востоку написано много превосходных книг, и я не стал бы попусту злоупотреблять терпением читателя. Но в том, что я решил написать о Японии, меня оправдывают лишь весьма таинственные обстоятельства, в которые я там попал. Я прочел книгу о Японии Лафкадио Хирна, и его заметки о японской культуре и театре вызвали у меня желание побывать в этой стране.

Оставив позади ледяные январские ветры, мы вошли на японском пароходе в солнечный Суэцкий канал. В Александрии на борт поднялись новые пассажиры, арабы и индийцы, — и с ними вошел новый мир! На закате арабы расстилали на палубе коврики, обращались лицом к Мекке и нараспев произносили свои молитвы.

На другое утро, скинув свои «нордические шкуры» и надев белые шорты и легкие шелковые рубашки, мы уже плыли по Красному морю. В Александрии мы закупили

тропических фруктов и кокосов, на завтрак нам подавали плоды манго, а за обедом — кокосовое молоко со льда. Однажды мы устроили японский вечер и обедали прямо на полу, на палубе. Морской офицер учил меня, что рис становится гораздо вкуснее, если его полить немного чаем. По мере нашего приближения к какому-нибудь южному порту на пути в Японию росло наше волнение. Капитан-японец спокойно объявил, что утром мы прибываем в Коломбо, но, хотя Цейлон тоже был для нас экзотикой, единственным нашим желанием было как можно скорее добраться до островов Бали и Японии.

Следующим портом на нашем пути был Сингапур; он показался нам будто нарисованным на китайском фарфоровом блюде — индийские смоковницы выросли прямо из океана. Самое яркое воспоминание о Сингапуре оставили у меня китайские актеры, дававшие представления в «Парке увеселений Нового мира». Они показались мне исключительно одаренными и к тому же очень образованными — их пьесы были классическими произведениями великих китайских поэтов. Актеры играли в здании пагоды в своей традиционной манере. Пьесу, которую я видел, играли в продолжение трех вечеров. Ведущей актрисой труппы была девушка лет пятнадцати, она играла принца и пела высоким, пронзительным голосом. Своей кульминации пьеса достигла на третий вечер. Иногда лучше не понимать языка; я думаю, ничто не могло бы подействовать на меня сильнее, чем последний акт с его иронической музыкой, в которой смешивались жалобы струнных инструментов с оглушающим лязгом гонгов и пронзительным, гортанным голосом изгнанного юного принца — в нем слышалась вся боль одинокой души, затерявшейся в небесных сферах.

Сидней посоветовал мне посетить остров Бали — он говорил о его первозданной красоте, не тронутой цивилизацией, красочно описывал его женщин, которые ходят с обнаженной грудью. Это вызвало мой интерес. Мы увидели остров ранним утром; белые облака клубились над зелеными горами, и вершины в облаках казались плавучими островами. В те дни там еще не было ни гавани, ни аэродрома — к старому деревянному настилу пристани надо было подплывать на весельной лодке.

Мы проезжали селения, огороженные прекрасно построенными стенами с внушительными воротами, где жили вместе десять, а то и двадцать семей. И чем дальше мы продвигались, тем все прекрасней становился остров. Серебристо-зеркальные глади рисовых полей ступенями спускались к извилинам реки. И вдруг Сидней подтолкнул меня. По краю дороги величаво выступали друг за другом молодые женщины, лишь бедра их были окутаны батиком, а вся грудь обнажена, на голове они несли корзины, наполненные фруктами. С этой минуты нам то и дело приходилось подталкивать друг друга. Некоторые из женщин были очень красивы. Нас ужасно раздражал наш гид, американский турок, — он сидел рядом с шофером и то и дело с похотливой ухмылкой оборачивался к нам, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением, — можно было подумать, что он все это сам устроил специально для нас.

Отель в Денпазаре был только что выстроен. Гостиные в номерах были просто открытой верандой, разделенной перегородками, а спальни, расположенные позади, были удобны и сияли чистотой.

На острове Бали тогда уже около двух месяцев жил американский художник-акварелист Гиршфельд с женой. Он пригласил нас к себе в дом, где до него жил мексиканский художник Мигель Коваруббиас. Они снимали его у одного балийского вождя и за пятнадцать долларов в неделю жили там, как аристократы-землевладельцы. После обеда Гиршфельды и мы с Сиднеем пошли погулять. Ночь была темной и душной, ни дуновения ветерка. И вдруг — море летающих светлячков, волны их голубоватого света уже затопляли акр за акром рисовые поля. С другой стороны слышался ритмический звон тамбуринов и гонгов.

— Где-то начинаются танцы, — сказал Гиршфельд. — Пойдемте посмотрим.

Пройдя метров двести, мы увидели группу туземцев — мужчины полукругом стояли или сидели на корточках, а девушки, поджав ноги, сидели с корзинами и продавали всякие лакомства. Мы протиснулись сквозь толпу зрителей и увидели двух танцующих девочек лет по десяти с вышитыми саронгами на бедрах и в замысловатых головных уборах из золотых блесток которые при каждом их движении сверкали и переливались под светом фонарей. Мозаичный рисунок их танца развертывался под музыку — высокие переливчатые звуки и в аккомпанемент им глубокие басовые тона гонгов. Головы танцовщиц качались, глаза сверкали, пальцы трепетали в такт этой дьявольской музыке, которая, нарастая, то разливалась бурным потоком, то снова затихала и мирной рекой текла дальше. Конец наступил внезапно: танцовщицы неожиданно остановились и сразу смешались с толпой. Никаких аплодисментов не было — туземцы Бали никогда не аплодируют. Нет у них и слов, означающих любовь или благодарность.

Нас навел и позавтракал с нами в отеле Уолтер Спайс, музыкант и художник. Он жил на острове Бали пятнадцать лет и уже говорил на языке бали. Он аранжировал их музыку для рояля и сыграл нам несколько пьес. Впечатление было такое, будто исполнялся концерт Баха, только в очень ускоренном темпе. Он рассказывал нам, что музыкальные вкусы балийцев весьма утонченны: современный джаз кажется им скучным, а его темпы слишком медленными, Моцарта они считают сентиментальным, их интересует только Бах — рисунок его мелодии и ритм схожи с их собственными. Мне же их музыка показалась холодной, жесткой и бьющей по нервам. Даже в глубоких скорбных пассажах мне слышалось страшное и тоскливое рычание голодного минотавра.

После завтрака Спайс повел нас в глубину джунглей, где должен был происходить обряд бичевания. Чтобы туда добраться, нам пришлось пройти четыре мили пешком по тропам джунглей. Когда мы наконец пришли, то увидели большую толпу туземцев, окруживших длинный алтарь. Юные девушки в красивых саронгах, с обнаженной грудью стояли, держа корзины, наполненные фруктами и всякими дарами, в длинной очереди к жрецу, который своим белым одеянием и волосами, доходившими до пояса, напоминал дервиша. Он благословлял дары и клал их на алтарь. После того как жрецы нараспев проговорили молитвы, юноши, смеясь, прорвались к алтарю и начали хватать все, что на нем лежало, а жрецы нещадно стегали их плетьюми. Некоторые не выдерживали и бросали добычу — слишком жестокими были удары плетей, которые должны были изгнать из них злых духов, искусивших к грабежу.

Мы беспрепятственно, когда вздумается, входили в храмы и за ограды селений, смотрели там петушинные бои, присутствовали на празднествах и религиозных обрядах, которые происходили в любые часы дня и ночи. С одного празднества я вернулся в пять часов утра. Их боги любят развлекаться, и балийцы поклоняются им не в трепете, а с любовью.

Однажды ночью мы со Спайсом видели, как высокая амазонка танцевала при свете факела, а ее маленький сын повторял за ней каждое ее движение. Еще молодой на вид мужчина время от времени давал ей какие-то указания — потом мы узнали, что это был ее отец. Спайс спросил, сколько ему лет.

— А когда было землетрясение? — спросил мужчина.

— Двенадцать лет тому назад, — ответил Спайс.

— Ну вот, к тому времени у меня уже было трое женатых детей.

Но, почувствовав неудовлетворительность своего ответа, он прибавил:

— Я до двух тысяч долларов дожил. — И тут же пояснил, что такую большую сумму он успел истратить за свою жизнь.

За оградами многих селений я успел увидеть новехонькие лимузины, которые там использовались как курятники. Я спросил Спайса о причине столь странного их применения.

— Балийцы живут в таком поселении коммуной и откладывают деньги, которые они получают, экспортируя скот, так что через несколько лет у них собирается порядочная сумма. Однажды на острове появился предприимчивый агент по продаже автомобилей и уговорил их купить роскошные «кадилаки». Первые несколько дней они катались по всему острову и от души веселились, но потом у них кончился бензин. К тому же они узнали, что расходы на содержание машины в один день равняются тому, что они могут заработать за месяц. Вот они и поставили свои «кадилаки» курам под насест.

Юмор балийцев схож с нашим и изобилует шуточками сексуального плана, трюизмами, игрой слов. Я испытал чувство юмора у молодого официанта нашего отеля.

— Ну-ка, скажи, почему курица ходит? — спросил я.

Он презрительно посмотрел на меня.

— Да это каждому известно,— сказал он переводчику.

— Прекрасно, тогда скажи, что появилось раньше — курица или яйцо?

Это его уже несколько озадачило.

— Курица... нет... — он покачал головой, — яйцо... нет...

Он сдвинул на затылок свой тюрбан, немного подумал и с полной уверенностью объявил:

— Яйцо!

— А кто же его снес?

— Черепаха! Черепаха была раньше всех, и все яйца снесла она.

В те времена Бали был настоящим раем. Туземцы работали на рисовых полях четыре месяца в году, а остальные восемь посвящали своему искусству и культуре. Все зрелища были бесплатными, одно селение устраивало представление для другого. Но сейчас этот рай кончается. Цивилизация научила их скрывать свою грудь одеждой и заставила во имя западных богов отказаться от своих, которые так любили повеселиться.

Нам предстояло посетить Японию, и мой секретарь японец Коно выразил желание поехать вперед, чтобы все подготовить к нашему приезду. Мы должны были быть гостями японского правительства. В порту Кобе нас встречали самолеты, кружившие над пароходом и сбрасывавшие листовки с приветствиями, и тысячные толпы народу в доках. Яркие разноцветные кимоно на фоне дымовых труб и тускло-серых доков представляли собой удивительно красивое зрелище. Я бы не сказал, что в этой демонстрации чувств проявилась будто бы присущая японцам сдержанность и непостижимость характера. Толпа была так же взволнованна и эмоциональна, как и всякие другие толпы, какие мне приходилось видеть.

Правительство предоставило в наше распоряжение специальный поезд, который должен был отвезти нас в Токио. С каждой остановкой встречавших становились все больше и волнение — все осязатее. Перроны были заполнены прелестными девушками, которые забрасывали нас подарками. Они стояли в своих кимоно рядами, напоминая выставку цветов. В Токио нас встречала толпа в сорок тысяч человек. В суматохе Сидней поскользнулся и упал, — его чуть не затоптали.

Загадочность, непостижимость Востока стала легендарной. Мне всегда казалось, что мы, европейцы, преувеличиваем ее. Но стоило нам ступить на берег в Кобе — и я почувствовал ее в воздухе, а в Токио она уже начала нас обволакивать. По пути в отель мы свернули в более спокойную часть города. И вдруг машина замедлила ход и остановилась вблизи императорского дворца. Коно тревожно выглянул из машины и вдруг обратился ко мне с довольно странной просьбой: не выйду ли я из машины и не поклонюсь ли я в сторону дворца?

— Здесь такой обычай? — осведомился я.

— Да, — сказал он небрежно. — Вы можете даже не кланяться, просто выйдите из машины — этого будет достаточно.

Такая просьба меня несколько смутила. Вокруг не было ни живой души, если не считать сопровождавших нас двух-трех машин. Если существовал такой обычай, публика, несомненно, знала бы об этом, и здесь, наверно, собралась хоть бы небольшая толпа. Тем не менее я вышел и поклонился. Когда я вернулся в машину, Коно с облегчением вздохнул. Сиднею эта просьба тоже показалась странной, так же как и все поведение Коно. С той минуты, как мы приехали в Кобе, он выглядел расстроенным. Но мне не хотелось над этим задумываться, и я высказал предположение, что Коно попросту устал.

В этот вечер ничего не случилось, но на другое утро Сидней вбежал в гостиную очень взволнованный.

— Мне это не нравится, — сказал он. — Кто-то рылся в моих чемоданах и перепорочил все бумаги.

Я пытался его успокоить, — если даже это и верно, то не так уж важно, но мне не удалось заглушить его опасения.

— Тут творится что-то весьма подозрительное! — заявил Сидней. Я рассмеялся в ответ и обвинил брата в излишней подозрительности.

В то же утро появился правительственный агент, которому было поручено следить за нами, и пояснил, что, если мы захотим куда-нибудь поехать, мы должны через Коно дать ему знать. Сидней продолжал настаивать на том, что за нами установлена слежка и что Коно к этому причастен. Я должен был признать, что Коно с каждым часом становился все более встревоженным и расстроенным.

Подозрения Сиднея оказались не столь уж необоснованными — в этот же день произошло довольно странное событие. Коно рассказал, что некий торговец приглашает меня прийти к нему посмотреть собрание порнографических картинок, нарисованных на шелку. Я просил Коно передать этому человеку, что его коллекция меня не интересует. Коно расстроился.

— А если я попрошу его оставить картинки в отеле? — предложил он.

— Ни в коем случае, — ответил я. — Просто скажите ему, чтоб он не терял времени зря.

Коно заколебался.

— Этих людей отказом не остановишь.

— О чем вы говорите? — спросил я.

— Да ведь они мне уже несколько дней угрожают. Тут, в Токио, есть люди, с которыми не сговоришься.

— Что за чепуха! — воскликнул я. — Заявим в полицию — пусть она их выследит.

Но Коно лишь покачал головой.

На другой день, когда мы обедали с Сиднеем и Коно в отдельном зале ресторана, к нам вдруг вошли шестеро молодых людей. Один из них, скрестив руки на груди, сел рядом с Коно, остальные отступили на шаг и стали вокруг. Тот, что сел, с едва сдерживаемой яростью стал что-то говорить Коно по-японски, и какие-то его слова заставили Коно побелеть.

У меня не было при себе оружия, но тем не менее я опустил руку в карман, будто там лежал револьвер, и крикнул:

— Что это значит?

Коно, не подымая глаз от тарелки, пробормотал:

— Он говорит, что, отказавшись посмотреть его картинки, вы оскорбили его предков.

Я вскочил и, все еще держа руку в кармане, свирепо посмотрел на молодого человека.

— В чем дело? — И, обернувшись к Сиднею, сказал: — Уйдем отсюда. А вы, Коно, вызовите машину.

Выйдя благополучно на улицу, мы почувствовали облегчение. Такси нас ждало, и мы уехали.

Но эта таинственная история достигла своей кульминации на другой день, когда мистер Кен Инукаи, сын премьер-министра, пригласил нас в качестве своих гостей на матч борьбы. Мы смотрели матч, когда к нему подошел кто-то из сопровождавших его лиц, тронул за плечо и что-то шепнул ему на ухо. Кен Инукаи обернулся к нам, извинился, сказав, что весьма срочное дело требует его присутствия и он вынужден уйти, но скоро вернется. К концу матча он действительно вернулся, бледный и чем-то потрясенный. Я спросил его, не болен ли он. Он покачал головой и, вдруг закрыв лицо руками, шепнул:

— Только что убили моего отца.

Мы увели его к себе в номер, предложили ему коньяку. Он рассказал нам, что случилось: шестеро курсантов морского училища убили часовых, стоявших перед дворцом премьер-министра, и ворвались в комнату, где он был в эту минуту с женой и дочерью. Мать рассказала ему, как это произошло: убийцы двадцать минут стояли, направив на премьер-министра револьверы, пока он безуспешно пытался убедить их, что они неправы. Не сказав в ответ ни слова, они уже приготовились стрелять, но отец умолил их не расстреливать его в присутствии жены и дочери, и они разрешили ему с ними проститься. Премьер-министр спокойно встал и повел убийц в другую комнату, где он, очевидно, снова пытался их уговорить, — жена и дочь еще несколько минут терзались мукой неизвестности, а потом услышали выстрелы, которые убили отца.

Убийство произошло в тот час, когда сын был на матче. Если бы он не пошел с нами, его убили бы вместе с отцом.

Я проводил его домой и увидел комнату, в которой два часа тому назад был убит его отец. На циновке еще не высохла лужица крови. Тут уже был целый дивизион кинооператоров и репортеров, но у них хватило деликатности пока снимков не делать. Однако они не преминули попросить у меня интервью. Я мог лишь сказать, что это ужасная трагедия не только для семьи, но и для всей страны.

У меня была назначена встреча с покойным премьер-министром на официальном приеме как раз на следующий день после его убийства. Но прием был, конечно, отменен.

Сидней объявил, что, по его мнению, убийство было также частью той таинственной истории, в которую мы были вовлечены.

— Это не просто совпадение, — горячился он, — что премьер-министра убили шесть человек и что к нам в отдельный зал ресторана тоже явилось шесть человек.

Разгадка этой таинственной истории в той части, где она касалась меня, была получена лишь тогда, когда вышла в свет очень интересная и основательная книга Хью Байеса «Форма правления с помощью убийства», изданная Альфредом Кнопфом. Оказалось, как раз в то время значительно активизировалось тайное общество «Черный дракон» — это по его требованию я должен был поклониться императорскому дворцу. Я процитирую по книге Хью Байеса отрывок из отчета о суде над убийцами премьер-министра:

*«Лейтенант Сейши Кога, главарь заговора на флоте, в своих показаниях военному суду сказал, что заговорщики обсуждали план действий, которые могли бы вызвать объявление военного положения в стране,— предполагалось забросать бомбами здание Палаты представителей. Люди в штатском, которые могли бы туда проникнуть без особого труда, должны были бросать бомбы с галереи для публики, а молодые офицеры должны были ждать у выходов и там убивать выбегавших из здания членов палаты. Другой план, который мог бы показаться слишком нелепым, чтобы ему можно поверить, если бы о нем не говорилось в показаниях перед судом, предполагал убийство Чарльза Чаплина, посетившего в то время Японию. Премьер-министр пригласил мистера Чаплина на чай, и молодые офицеры рассчитывали во время этого приема произвести нападение на резиденцию министра.*

Судья. Какой был смысл в убийстве Чаплина?

Кога. Чаплин — очень популярная личность в Соединенных Штатах и к тому же его очень ценят в капиталистических кругах. Мы рассчитывали, что его убийство вызовет войну с Америкой и что таким образом нам удастся одним выстрелом убить двух зайцев.

Судья. А почему же вы тогда отказались от столь великолепного плана?

Кога. Потому что в газетах появилось сообщение, что еще точно не выяснено, состоится ли этот прием.

Судья. Каковы же были мотивы нападения на резиденцию премьер-министра?

Кога. Ниспровержение премьера, который одновременно был главой правящей политической партии. Другими словами, мы хотели свергнуть правительство.

Судья. Вы намеревались убить премьера?

Кога. Да. Хотя никакого личного недоброжелательства я к нему не испытывал.

*Этот же обвиняемый показал, что план убийства Чаплина был отклонен, потому что «возник спор, стоит ли убивать комика, принимая во внимание, как невелики шансы, что это приведет к войне с Соединенными Штатами и к усилению власти военищины».*

Представляю себе, как убийцы стали бы извиняться, выполнив свой план, а затем, узнав, что я вовсе не американец, а англичанин: «О! Весьма сожалеем!»

Однако мое пребывание в Японии, понятно, не ограничилось одними тайнами и неприятностями. Большую часть времени я проводил там очень интересно. Театр Кабуки доставил мне удовольствие, которое превзошло все мои ожидания. Кабуки — театр не чистой формы: в нем старина сочетается с современностью. Самым важным является здесь искусство актера — пьеса лишь материал для его игры. По нашим западным воззрениям, их технические возможности строго ограничены. Они отвергают реализм там, где не могут достичь его в полной мере. Например, мы, люди Запада, не можем изобразить бой на шпагах без каких-то черт абсурдности, неправдоподобности — как бы жестока ни была эта битва, зритель всегда уловит известную осторожность актеров. А японцы даже и не стремятся здесь к реалистичности. Противники дерутся на расстоянии друг от друга, делая стремительные, щегольские выпады шпагами, причем один пытается отрубить голову противника, а другой — рубит ему ноги. Каждый из них прыгает, танцует, делает пируэты на своей площадке, — и вся битва скорей напоминает балет. Она весьма импрессионистична и заканчивается статуарными позами победителя и побежденного. Но от импрессионизма этой сцены актеры переходят к вполне реалистической сцене смерти.

В основе многих японских пьес лежит ирония. Я видел драму, очень напоминавшую «Ромео и Джульетту», в которой родители тоже противятся браку юных влюбленных. Пьесу показывали на вращающейся сцене, которой японцы пользуются уже триста лет. В первом акте была показана спальня новобрачной, и мы увидели юных влюбленных, только что ставших мужем и женой. В продолжение всего акта друзья вступаются перед родителями за влюбленных, которые все еще надеются, что они добьются примирения. Но традиции слишком сильны, родители неумолимы. И тогда влюбленные решают покончить жизнь самоубийством в традиционной японской манере: каждый из них усыпает лепестками цветов то место, на котором он должен умереть, затем юноша сначала убивает молодую жену, а потом сам бросается на меч.

Но реплики влюбленных, когда они, готовясь к смерти, разбрасывали по полу лепестки цветов, вызвали непонятный нам смех зрителей. Переводчик пояснил мне, что их слова звучат иронично: «Стоит ли жить после этой ночи любви? Только разочаровываться и расстраиваться». Минут десять они вели такой иронический диалог, а потом новобрачная становится на колени на свой цветочный коврик, который находится на некотором расстоянии от его коврика, и обнажает шею. Муж выхватывает меч и медленно направляется в ее сторону. В это время движущийся круг сцены начинает поворачиваться, и, прежде чем острие меча успеет коснуться ее шеи, они оба уже уходят из поля зрения публики. Появляется залитая светом луны улица перед домом влюбленных. Длинная, нескончаемая пауза. Но вот наконец послышались голоса — это идут друзья мертвых влюбленных, чтобы возвестить им радостную весть о том, что родители простили их. Друзья навеселе и спорят, кто первым должен сообщить эту новость. Затем они начинают петь серенаду, но, не получив отклика, стучат в дверь.

— Не мешайте им, — острит кто-то из друзей, — они либо спят, либо слишком заняты.

И они продолжают в том же духе шутить, петь серенады под аккомпанемент ударов, возвещающих конец пьесы: «тик-так, тик-так» — и занавес медленно опускается.

Сможет ли Япония устоять против вируса западной цивилизации и надолго ли — это вопрос спорный. Характерное для ее культуры умение человека наслаждаться простыми мгновениями жизни — задумчиво любоваться лунным сиянием, совершать паломничество в сад к цветущему вишневому деревцу, предаваться тихому раздумью во время чайной церемонии, — по-моему, обречено, оно исчезнет в смоге западной предприимчивости.



Мое путешествие подходило к концу, и хотя за это время многое меня порадовало, но что-то подействовало и угнетающе. Я видел гниющие продукты, видел горы товаров и видел людей, которые смотрели на них голодными глазами, — миллионы новых безработных с болью наблюдали, как гибнут плоды их трудов.

Я сам слышал, как один человек на обеде утверждал, что положение может спасти только открытие новых залежей золота. А когда я заговорил о том, что автоматизация ведет к безработице, кто-то ответил мне, что тут вопрос разрешится сам собой, потому что рабочая сила в конце концов станет так дешева, что сможет конкурировать с автоматизацией. Депрессия была очень жестокой.

## XXIV

Я вернулся в Беверли-хилс и, войдя в дом, остановился посреди гостиной. Был вечер, длинные тени покрывали ковром лужайку перед домом, а комнату освещали золотые лучи заходящего солнца. Все здесь, казалось, дышало безмятежностью, по мне хотелось заплакать. Я не был дома восемь месяцев и сам не знал, рад ли был вернуться. Я был в смятении, у меня не было никаких планов, на душе было беспокойно, я чувствовал себя ужасно одиноким.

У меня была тайная надежда, что я встречу в Европе человека, который смог бы как-то направить мою жизнь. Но ничего не вышло. Из всех женщин, которых мне там довелось встретить, очень немногие способны были бы это сделать, а этим немногим я был не нужен. И вот теперь я вернулся в Калифорнию, будто на кладбище. Дуглас и Мэри расстались, и даже их мир больше не существовал для меня.

В тот вечер мне пришлось бы обедать одному, а я никогда не любил садиться за стол в одиночестве в этом большом доме. Я отменил дома обед и отправился в Голливуд, поставил машину и пошел прогуляться по голливудскому бульвару. Мне показалось, будто я и не уезжал отсюда. Все те же длинные ряды одноэтажных магазинов, старые военные склады, дешевые товары аптек, универсальные магазины Вулворта и Крэга — все это угнетало своей провинциальностью. Голливуд производил впечатление лихорадочно растущего, но все еще не выросшего города.

И пока я гулял по бульварам, мне пришла в голову мысль: а не уйти ли мне на покой, продать все, что у меня есть, и уехать в Китай. Остаться в Голливуде мне было ни к чему — с немymi картинami, несомненно, было покончено, а вступать в единоборство со звуковыми мне не хотелось. К тому же еще я, что называется, вышел из обращения. Я пытался вспомнить хотя бы одного человека, с которым был бы в достаточно близких отношениях, чтобы можно просто, без стеснения, позвонить ему и позвать его пообедать со мной, но такого не было. Я вернулся домой, и мне позвонил лишь Ривс, мой администратор, чтобы сказать, что в студии все в порядке. Но больше ни одна живая душа не позвонила.

У меня было такое ощущение, будто мне надо прыгнуть в ледяную воду, когда я должен был появиться в студии и заняться там какими-то скучными делами. Однако я был очень рад услышать, что «Огни большого города» шли великолепно и что мы уже положили три миллиона долларов в банк и каждый месяц еще получаем чеков больше чем на сто тысяч. Ривс предложил мне пойти в голливудский банк и познакомиться с новым директором. Но я за семь лет ни разу не удосужился побывать в банке, отказался я и на этот раз.

Вскоре после того как я вернулся в Штаты, там начались удивительные перемены. Суровые испытания выявили величие американского народа. Условия жизни день ото дня становились все хуже. Некоторые штаты стали печатать денежные купюры без обеспечения — лишь бы как-то распродать залежавшиеся товары. А угрюмый Гувер тем временем сидел и дулся на всех за то, что его основанная на софистике экономическая практика предоставления кредитов крупному капиталу в надежде, что в конечном счете эти деньги попадут к простым людям, полностью доказала свою несостоятельность. И в этой трагической ситуации Гувер еще смел утверждать в своих предвыборных речах, что если Франклин Рузвельт станет президентом, то самые основы американской системы — не слишком-то надежные в данный момент — окажутся под угрозой.

Тем не менее Франклин Делано Рузвельт стал президентом, а страна не погибла. Его речь о «забытом человеке» пробудила американскую политику от циничного бездействия и положила начало новой и самой вдохновляющей эре в истории Америки. Я слушал эту речь по радио на вилле Сэма Голдвина. У приемника собралось несколько человек — среди них Билл Пелэй, работавший в «Колумбия бродкастинг систем», Джо Шенк, Фрэд Эстер с женой и другие. «Единственно, чего мы должны страшиться, — это чувства страха», — эти слова, подобно солнечному лучу, пронизали мрак. Впрочем, все мы были настроены весьма скептически. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заметил я.

Однако, едва вступив в должность президента, Рузвельт начал претворять свои слова в жизнь и приказал закрыть на десять дней все банки, чтобы предотвратить их крах. И в эти дни Америка проявила себя с самой лучшей стороны. Все магазины и универмаги продолжали торговать, отпуская товары в кредит, даже кинотеатры продавали билеты в кредит. В продолжение десяти дней, пока Рузвельт и его «мозговой трест» формулировали основы «нового курса», народ вел себя превосходно.

Новое законодательство охватило всю экономику страны, испытывавшую кризис: восстановление кредитов фермерам, чтобы прекратить грабительскую практику конфискации заложенных ферм, финансирование крупного государственного строительства, проведение закона «национального восстановления», повышавшего минимум заработной платы, сокращение рабочего дня, которое повлекло за собой уменьшение безработицы, поощрение создания профсоюзов. «Он заходит слишком далеко, это уже социализм», — кричала оппозиция. Так или иначе, но это спасло капитализм от полного краха и положило начало величайшим реформам в истории Соединенных Штатов. Конструктивные предложения нового правительства находили самый живой отклик у американских граждан, и это не могло не воодушевлять.

В Голливуде тоже наступили перемены. Большинство звезд немого кино исчезло с горизонта, и нас осталось очень немного. Теперь с приходом звука в кино очарование и беззаботность Голливуда канули в лету. Он превратился в серьезный деловитый промышленный центр. Звукотехники переоборудовали студии, сооружались сложные звукозаписывающие установки. Камеры, размером с комнату, двигались по павильонам, подобно колесницам Джаггернаута<sup>1</sup>. К сложнейшей аппаратуре тянулись тысячи электрических проводов. Люди в наушниках, экипированные, словно марсиане, сидели возле играющих актеров, над которыми свисали удилица микрофонов. Все это подавляло своей сложностью. Разве можно было сохранять творческое состояние среди такого нагромождения железа? Даже самая мысль об этом была для меня несносна. Затем всю эту сложную технику сумели сделать портативной, а камеры более мобильными, и оборудование стали выдавать напрокат по вполне доступной цене. Однако приниматься за работу все равно не хотелось.

Я все еще носился с мыслью бросить все и уехать в Китай или Гонконг, где я мог бы неплохо жить, а главное — забыть о кино и не чахнуть здесь в Голливуде.

Так я болтался без дела недели три, но однажды позвонил Джо Шенк и пригласил меня провести субботу и воскресенье на его яхте — прелестном парусном судне, на котором удобно размещались четырнадцать человек. Обычно Джо бросал якорь где-нибудь поблизости от острова Каталина, неподалеку от Авалона. Гости у него бывали не очень интересные — большей частью любители покера, а меня покер не интересовал. Но была и другая приманка — Джо обычно приглашал хорошеньких женщин, а так как я чувствовал себя очень одиноким, то надеялся, что, может быть, и для меня засветит там луч солнца.

Так и случилось. Я познакомился с Полетт Годдар<sup>1</sup>. Она была весела и забавна и вечером рассказала мне, что собирается вложить пятьдесят тысяч долларов — часть денег, полученных ею от бывшего мужа, — в постановку какого-то фильма. У нее уже были готовы все документы. Я решил во что бы то ни стало отговорить ее. Ведь это совершенно очевидно была очередная голливудская афера. Я сказал ей, что, работая в кино почти с самого его рождения и зная это дело, никогда не вкладывал ни гроша в чужие фильмы, что даже финансирование собственных картин — и то риск. Если даже Херст, в распоряжении которого был целый штат литераторов и возможность купить право экранизации любой нашумевшей книги, все-таки потерял на кино семь миллионов долларов, то на что может рассчитывать она? В конце концов мне удалось ее уговорить, и с этого началась наша дружба.

Нас связывало с Полетт одиночество. Она недавно приехала из Нью-Йорка и еще никого не знала в Голливуде. Для нас обоих эта встреча была подобна встрече Робинзона Крузо с Пятницей. В будние дни у нас хватало работы — Полетт снималась в фильме Сэма Голдвина, а я занимался делами студии. Но воскресенье было тоскливым днем. И мы с горя совершали далекие автомобильные прогулки; так мы объездили весь берег Калифорнии, но и там нечем было заняться. Самым большим развлечением были поездки в Сан-Педро, где мы любовались прогулочными яхтами. Одна из них продавалась. Это было моторное судно метров двадцати в длину, с тремя каютами, камбузом и очень красивой рубкой — в общем, именно такое судно, какое мне очень хотелось бы иметь.

— Вот если бы у вас была такая яхта, — как-то сказала Полетт, — как было бы весело по воскресеньям — ездили бы на Каталину...

Я навел справки и узнал, что яхта принадлежит некоему мистеру Митчеллу, фабриканту кинокамер. Он сам очень охотно показал ее нам. За неделю мы осматривали ее не меньше трех раз, и это уже становилось неудобным. Тем не менее мистер Митчелл сказал, что, пока яхту не купят, мы можем осматривать ее сколько захотим.

Втайне от Полетт я купил яхту и снабдил ее всем необходимым для рейса на Каталину. С нами должен был ехать мой повар и бывший «кистоуновский полицейский» Энди Андерсон, в прошлом морской капитан. К следующему воскресенью все уже было готово. Я пригласил Полетт на дальнюю прогулку, и мы уговорились выехать очень рано, выпив только по чашке кофе, и позавтракать в пути. Вдруг, к своему удивлению, Полетт заметила, что мы едем по дороге в Сан-Педро.

— Надеюсь, вы не собираетесь опять осматривать эту яхту?

— Мне бы очень хотелось еще разок посмотреть на нее, чтобы наконец на что-то решиться, — ответил я.

— Тогда идите один, мне уже просто неловко, — грустно заметила Полетт. — Я посижу в машине и подожду вас.

Когда мы подъехали к пристани, никакими силами нельзя было уговорить ее выйти из автомобиля.

— Нет уж, придется вам идти одному. Только не задерживайтесь — мы ведь еще не завтракали.

Две-три минуты спустя я вернулся к машине и с трудом уговорил Полетт все-таки подняться на борт яхты. В салоне стол был накрыт яркой скатертью в красно-синюю клетку, на которой был расставлен красно-синий сервиз. Из камбуза доносился упоительный запах яичницы с грудинкой.

— Капитан любезно пригласил нас позавтракать, — сказал я. — Оладьи, яичница с салом, тартинки и кофе.

Полетт заглянула в камбуз и сразу узнала моего повара.

— Вам же хотелось куда-нибудь съездить в воскресенье, — сказал я. — После завтрака мы поедем на Каталину купаться.

И тут я объяснил ей, что купил яхту. Ее реакция была совершенно неожиданной.

— Подождите минуточку, — сказала она, вскочила, сошла на берег и, отбежав метров пятьдесят, закрыла лицо руками.

— Эй, идите скорее завтракать, — закричал я.

Вернувшись на яхту, Полетт вздохнула.

— Я убежала, потому что мне надо было прийти в себя.

Тут, широко улыбаясь, вошел с завтраком Фредди, мой повар-японец. А потом мы запустили мотор и, покинув порт, вышли в Тихий океан, держа курс на Каталину, где и простояли девять дней.

Но я по-прежнему не работал. Мы с Полетт проводили время самым бессмысленным образом: ездили на скачки, посещали ночные кабаки, бывали на приемах — словом, я изо всех сил старался убить время, только бы не оставаться одному и не думать. Но развлечения не заглушали чувства неудовлетворенности. Зачем все это? Почему я не занимаюсь делом?

К тому же меня очень огорчили слова одного молодого критика, сказавшего, что «Огни большого города» — фильм очень хороший, но с привкусом сентиментальности и что в будущих фильмах я должен попытаться приблизиться к реализму. Я чувствовал, что в душе соглашаюсь с ним. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, я сказал бы ему, что так называемый реализм часто бывает искусствен, фальшив, прозаичен и скучен и что для фильма не столь важна действительность, сколько то, что может из нее создать воображение художника.

И вдруг, когда я меньше всего этого ждал, простая случайность пробудила у меня желание сделать еще один немой фильм. Мы с Полетт поехали на скачки на Тихуанский ипподром в Мексику, где разыгрывался приз Кентукки. Полетт попросили вручить серебряный кубок победившему жокею и сказать несколько слов с южным акцентом. Уговаривать ее не пришлось. Я был поражен, услышав ее голос из репродуктора. Будучи родом из Бруклина, она тем не менее великолепно подражала говору светской красавицы из Кентукки. Я поверил, что она умеет играть.

Это послужило толчком для моего воображения. В Полетт была что-то от gamine \*. Это можно было чудесно обыграть в картине. Я уже представлял себе нашу встречу в фильме — бродяги и уличной девчонки — в битком набитой тюремной карете, где

бродяга галантно уступает ей место. Это была та основа, на которой я мог уже создавать сюжет и придумывать всякие трюки.

---

\* — девчонка-сорванец (*франц.*).

Мне вспомнился также один разговор с умным молодым репортером газеты «Нью-Йорк уорлд». Услышав, что я собираюсь посетить Детройт, он рассказал мне о конвейерной системе — страшную историю о том, как крупная промышленность сманивает здоровых молодых фермеров, которые после четырех-пяти лет работы на конвейере заболевают нервным расстройством.

Этот разговор подал мне идею фильма «Новые времена». Я придумал «кормящую машину» — агрегат для экономии времени, который позволил бы рабочим даже во время завтрака не отрываться от конвейера. Эпизод на заводе заканчивался нервным припадком бродяги, а дальше сюжет развивался, следуя естественному ходу событий. По выздоровлении бродягу арестовывают, и тут он знакомится с девушкой, которую забрали за кражу хлеба. Они встречаются в полицейской машине, набитой преступниками. С этого момента начинается тема двух бесприютных созданий, пытающихся как-то просуществовать в «новые времена». Они страдают от депрессии и безработицы, участвуют в забастовках и бунтах. Полетт пришлось одеть в лохмотья; она почти плакала, когда я накладывал ей на лицо грязные пятна грима, чтобы она выглядела неумытой. «Считай, что это мушки», — уговаривал я ее.

Легко сделать актрису привлекательной в модном платье, но одеть нищую цветочницу в «Огнях большого города» так, чтобы она оставалась привлекательной, было нелегко. Костюм девушки в «Золотой лихорадке» не представил для меня особых трудностей, но костюм Полетт в «Новых временах» потребовал от меня не меньше выдумки и тонкости вкуса, чем творение Диора. Если к одежде уличной девчонки отнестись небрежно, ее лохмотья будут выглядеть театрально и неубедительно. Одевая актрису, как уличного сорванца или цветочницу, я старался добиться поэтичности, не лишив ее обаяния.

Перед премьерой «Новых времен» кое-кто из газетчиков писал, что, по слухам, это коммунистический фильм. Я думаю, что слухи породило краткое изложение его сюжета, опубликованное в печати. Однако либеральные обозреватели указывали, что фильм не агитирует ни за, ни против коммунизма и что я, образно говоря, сижу на двух стульях, то есть занимаю нейтральную позицию.

Нет ничего ужаснее сначала услышать, что первая неделя проката фильма побила все рекорды, а потом узнать, что на второй неделе интерес публики ослабел. Поэтому после премьер в Нью-Йорке и Лос-Анжелосе единственным моим желанием было удрать как можно дальше, чтобы не слышать никаких новостей о фильме. Я решил уехать в Гонолулу, взяв с собой Полетт и ее мать, и оставил в студии распоряжение, чтобы мне не пересылали никаких сообщений.

Мы сели на лайнер в Лос-Анжелосе, а когда прибыли в Сан-Франциско, дождь лил как из ведра. Но ничто не в силах было испортить наше хорошее настроение. У нас оставалось лишь время сделать небольшие покупки и вернуться на борт. Проходя мимо складов, я увидел на каких-то грузах надписи: «Китай».

- Давай поедem туда!
- Куда? — спросила Полетт.
- В Китай.

— Ты что, шутишь?

— Поедем сейчас, а то уже никогда не придется, — просил я.

— Но у меня нет даже и платьев с собой.

— В Гонолулу сможешь купить все, что хочешь, — уговаривал я.

По-моему, все пароходы надо называть «Панацея», потому что нет ничего целительней морского путешествия. Все ваши заботы отходят, пароход будто усыновляет вас, лечит, а когда в конце концов прибывает в порт, с неохотой возвращает вас скучному миру.

Но по прибытии в Гонолулу я, к своему ужасу, увидел огромные афиши, возвещающие о показе «Новых времен», и представителей прессы, ожидавших меня в порту и готовых меня сожрать заживо. Спасти от них было немыслимо.

Зато в Токио меня не ждали — капитан был настолько любезен, что записал меня под другим именем. Увидев мой паспорт, японские власти всполошились. «Почему же вы не дали нам знать о своем приезде?» — спрашивали они. Но, так как там только что произошел военный переворот, во время которого было убито несколько сот человек, я посчитал, что так мне будет спокойнее. Во время нашего пребывания в Японии нас ни на минуту не покидал правительственный чиновник. С самого Сан-Франциско на всем пути в Гонконг мы едва ли перекинулись словом с кем-нибудь из пассажиров. Но в Гонконге лед этой чопорности стал таять. Все началось с католического священника.

— Чарли, — обратился ко мне высокий и на вид довольно необщительный бизнесмен, — я хочу вас познакомить с американским священником из Коннектикута, который уже пять лет живет здесь в лепрозории. Он чувствует себя там очень одиноко и каждую субботу приезжает в Гонконг встречать американские пароходы.

Священник оказался высоким, красивым человеком лет под сорок, с розовыми щечками и заискивающей улыбкой. Я заказал вина, потом в свою очередь мой приятель, а потом святой отец. Сначала мы сидели тесным кружком, но вскоре за нашим столом собралось уже человек двадцать пять, причем каждый, кто к нам подсаживался, тоже заказывал по кругу вино. Общество достигало уже тридцати пяти человек, и нам подавали все новые бокалы. Многих уносили на борт уже в беспмятстве, но священник, который не пропустил ни одного круга, улыбался по-прежнему и совсем трезвый помогал тем, кто уже сам не стоял на ногах. Наконец я кое-как поднялся, желая с ним проститься. Он заботливо поддержал меня, и я пожал ему руку. Ладонь была шершавая, я повернул ее и стал рассматривать. На ней были ранки и трещины, а посреди — белое пятно.

— Надеюсь, это не проказа, — пошутил я. Он улыбнулся и покачал головой. Год спустя я узнал, что он умер, заразившись проказой.

Пять месяцев мы прожили вдали от Голливуда. Во время этого путешествия мы с Полетт поженились. В Штаты мы возвращались на японском пароходе, на борт которого сели в Сингапуре.

В первый же день, как только мы вышли в море, я получил записку, автор которой писал, что у нас с ним много общих знакомых и что нам лишь случайно не удавалось познакомиться в течение многих лет. но зато теперь представляется к тому прекрасная возможность среди Южно-Китайского моря. В конце была подпись: «Жан Кокто»<sup>1</sup> — и далее следовал постскриптум: не разрешу ли я ему перед обедом зайти ко мне в каюту и выпить со мной аперитив? Я почему-то решил, что это самозванец. Ну что стал бы делать Кокто — этот парижанин-урбанист — в Южно-Китайском море? И тем не менее это оказалось правдой — Кокто выполнял здесь какое-то задание французской газеты «Фигаро».

Кокто ни слова не говорил по-английски, а я — по-французски, однако его секретарь, хотя и не очень хорошо, но все же кое-как объяснялся по-английски и служил нам переводчиком. В этот вечер мы засиделись далеко за полночь, обмениваясь взглядами на жизнь и искусство. Наш переводчик говорил медленно и запинаясь, а Кокто, прижав свои чудесные руки к груди, выпаливал длинные тирады с быстротой пулемета. И при этом глаза его сверкали, обращаясь с мольбой то ко мне, то к переводчику, который бесстрастно продолжал бормотать: «Мсье Кокто... он говорит... что вы поэт... этого... солнечного сияния... а он поэт... ночи».

Кокто, оставив переводчика, немедленно обращался ко мне и быстро, по-птичьи кивнув, продолжал свою речь. Затем начинал говорить я, забираясь в глубины философии искусства. В те минуты, когда наши мнения в чем-то сходились, мы бросались друг другу в объятия, а наш переводчик невозмутимо наблюдал за нами. В таких восторженных тонах мы беседовали всю ночь, до четырех утра, а расставаясь, уговорились встретиться в час дня за завтраком.

Но, очевидно, достигнув кульминации, наш энтузиазм угас. Ни он, ни я в назначенное время не появились. Днем наши письма с обоюдными извинениями, должно быть, встретились, потому что их содержание оказалось совершенно одинаковым: оба были полны извинений, но осторожно умалчивали о будущих встречах — мы оба до отказа насытились обществом друг друга.

Когда мы пришли в салон обедать, то увидели, что Кокто сидит в самом дальнем углу, повернувшись к нам спиной. Но его секретарь не мог не заметить нас и неловким жестом указал на нас Кокто. Тот поколебался, а потом повернулся в нашу сторону, изобразив приятное удивление, и весело помахал мне письмом, которое я ему послал. Я в свою очередь помахал ему его письмом, и мы оба рассмеялись. А затем спокойно отвернулись друг от друга и погрузились в изучение меню. Кокто первым закончил обед и в ту минуту, когда стюарды подавали нам второе, незаметно и быстро прошел мимо нашего стола. Однако, прежде чем выйти из салона, он обернулся и рукой указал на дверь, будто хотел сказать: «Там увидимся». Я энергично закивал в ответ в знак согласия, но, когда я потом увидел, что он куда-то исчез, почувствовал глубокое облегчение.

На другое утро я в одиночестве прогуливался по палубе. И вдруг, к моему ужасу, на повороте увидел вдали идущего мне навстречу Кокто. Боже мой! Я быстро оглянулся, ища, куда бы удрать, но тут и он, завидя меня, к моему облегчению, нырнул в дверь ресторана. Так закончилась моя утренняя прогулка. Весь день мы с ним играли в кошки-мышки, старательно избегая друг друга. Но все-таки к тому времени, когда мы уже подплывали к Гонконгу, оба настолько оправились, что могли уже ненадолго встретиться. Впрочем, до Токио нам оставалось еще плыть четыре дня.

Кокто рассказал мне, однако, забавную историю. В глубине Китая он видел живого Будду — человека лет пятидесяти, который всю свою жизнь провел в сосуде с маслом: все его тело до шеи было погружено в масло, и лишь голова оставалась наружи. Пропитавшись за много лет маслом, его тело, оставаясь в эмбриональном состоянии, стало таким мягким, что его можно было насквозь проткнуть пальцем. Но где, в какой именно части Китая Кокто его видел, — так и осталось невыясненным; в конце концов ему пришлось сознаться, что сам он его не видел, но слышал от очевидцев.

На остановках мы с Кокто почти не виделись и обменивались лишь короткими «здравствуйте» и «до свидания». Когда же выяснилось, что мы оба возвращаемся в Штаты на одном и том же лайнере «Президент Кулидж», смирились и больше уже не делали попыток вести возвышенно-восторженные разговоры.

В Токио Кокто купил кузнечика, которого он вез в маленькой клетке, и часто с большими предосторожностями приносил ко мне в каюту.

— Он очень умен, — говорил Кокто, — стоит мне лишь заговорить с ним, как он тотчас же начинает петь.

Кокто проявлял такой интерес к своему любимцу, что вскоре это насекомое стало основной темой наших разговоров.

— Как себя чувствует Пилу? — спрашивал я.

— Неважно, — с серьезным видом отвечал Кокто. — Пришлось посадить его на диету.

Когда мы приехали в Сан-Франциско, я настоял на том, чтобы Кокто поехал с нами в Лос-Анжелос — нас ждала машина в порту. Пилу тоже поехал с нами и в пути начал петь.

— Вот видите, — заметил Кокто, — ему понравилась Америка.

И вдруг он опустил стекло в машине, открыл дверцу клетки и выпустил Пилу.

Я изумился и спросил:

— Почему вы это сделали?

— Он возвращает ему свободу, — сказал переводчик.

— Но ведь он здесь чужеземец, — возразил я, — и даже языка не знает.

Кокто пожал плечами.

— Он умный, быстро научится.

Когда мы вернулись в Беверли-хилс, из студии мне сообщили приятные новости — «Новые времена» пользовались огромным успехом.

И снова передо мной встал мучительный вопрос: ставить ли мне еще один немой фильм? Я знал, что, решившись на это, я пойду на большой риск. В Голливуде никто уже не снимал немых фильмов — я остался в одиночестве. Пока мне еще везло, но продолжать и дальше делать немые фильмы, чувствуя, что искусство пантомимы начинает стареть, становилось трудно. Кроме того, было очень уж нелегко придумать немой сюжет на час сорок минут, воплощая остроумие в действии и показывая зрительные шутки через каждые пять-семь метров фильма, метражом больше двух с половиной тысяч метров. С другой стороны, я думал и о том, что, как бы хорошо я ни сыграл в звуковом фильме, мне все равно не удастся превзойти свое мастерство в пантомиме. Я задумывался и о том, какой голос мог бы быть у моего бродяги; может быть, он должен говорить односложно или просто бормотать? Но все это не имело смысла. Если бы я заговорил, я стал бы таким же комиком, как и все. Вот какие грустные мысли одолевали меня.

Мы с Полетт были женаты всего год, но в наших отношениях уже намечался разрыв. Отчасти этому способствовало мое дурное настроение и тщетные попытки продолжать работу. После успеха «Новых времен» «Парамаунт» пригласил Полетт на несколько фильмов. А я не мог ни работать, ни развлекаться. Придя в полное уныние, я решил уехать со своим другом Тимом Дьюрэнтом в Пибл-бич, надеясь, что там я смогу работать.

Пибл-бич, расположенный в ста с лишним милях к югу от Сан-Франциско, был в то время диким и даже страшным местом. Я прозвал его «пристанищем потерпевших кораблекрушение», но он был более известен под названием «Прогулка на семнадцатую милю». В лесу там бродили олени и стояли загородные дома, некогда роскошные, а теперь



заброшенные и объявленные к продаже. На лужайках, среди гниющих стволов упавших деревьев, в изобилии водились клещи, рос ядовитый плющ, цвели олеандры и белладонна — в общем, это была вполне подходящая декорация для духов, предвещающих смерть. На скалах было построено несколько роскошных вилл, обращенных к океану, в которых жили миллионеры. Эта часть побережья называлась «Золотым берегом».

С Тимом Дьюрэнтом я познакомился у себя на корте — кто-то из знакомых привел его на одно из наших воскресных состязаний по теннису. Тим превосходно играл в теннис, и мы с ним часто состязались. Он только что разошелся с женой, дочерью Е.-Ф. Хэттона, и приехал в Калифорнию, чтобы немного отойти после развода. Тим был мне симпатичен, и мы стали с ним добрыми друзьями.

Мы с ним арендовали дом, находившийся в полумиле от океана. Там было сыро и убого, а когда мы разводили огонь в камине, комната наполнялась клубами дыма. У Тима оказалось много знакомых в светском обществе Пибл-бич, и когда он уходил в гости, я пытался работать. День за днем я проводил в одиночестве в библиотеке или гулял в саду, пытаюсь найти какую-нибудь тему, но мне ничего не приходило в голову. В конце концов я перестал огорчаться, присоединился к Тиму и познакомился кое с кем из наших соседей. Я часто думал о том, что они дают богатый материал для рассказов в стиле Мопассана. Один дом, большой и очень комфортабельный, всегда навевал на меня какую-то жуть и печаль. Хозяин, приятный человек, разговаривал громко и непрерывно, а жена всегда сидела молча, не проронив ни слова. С тех пор, как пять лет тому назад у нее умер ребенок, она почти никогда не говорила и не улыбалась. Единственные слова, которые еще можно было от нее услышать, были «добрый вечер» или «спокойной ночи».

В другом доме, построенном на высокой скале, нависшей над морем, жил писатель, потерявший здесь жену. Она занималась в саду фотографией и, увлекшись, должно быть, подошла слишком близко к краю скалы. Когда муж вышел посмотреть, где она, он увидел лишь треножник. А ее так и не нашли.

Сестра Уилсона Майзнера терпеть не могла своих соседей, чей теннисный корт примыкал к ее дому. И как только соседи начинали играть в теннис, она тотчас же разводила костер, и клубы дыма застилали весь корт.

Старики Фэгены, невероятно богатые люди, по воскресеньям устраивали изысканные приемы. Нацистский консул, с которым я у них познакомился, воспитанный молодой блондин, изо всех сил старался быть очаровательным, но я избегал его, как только мог.

Субботу и воскресенье мы проводили иногда у Джона Стейнбека. Он жил в маленьком домике вблизи Монтерейя. Он тогда как раз только что выпустил «Квартал Тортилья-флэт» и сборник рассказов и был у порога славы. Джон работал по утрам и писал в среднем не меньше двух тысяч слов в день. Я был поражен, увидев, как чисто выглядят страницы его рукописей — на них почти не было помарок и исправлений. Признаюсь, я от души ему позавидовал.

Меня всегда интересовало, как работают писатели и сколько они успевают написать за день. Томас Манн писал в среднем около четырехсот слов в день, Лион Фейхтвангер диктовал две тысячи слов, что примерно соответствует шестистам написанным. Сомерсет Моэм писал четыреста слов в день, чтобы только не утерять темпа. Г. Уэллс писал тысячу слов в день. Английский журналист Хеннен Суоффер писал от четырех до пяти тысяч слов в день. Американский критик Александер Уоллкотт на моих глазах за пятнадцать минут написал обзор в семьсот слов и тут же сел играть в покер. Херст за вечер писал передовую в две тысячи слов, Жорж Сименон написал небольшой, но превосходный роман за месяц. Жорж рассказывал мне, что он встает в пять часов утра, сам варит себе кофе, а потом садится за стол и, катая золотой шар, величиной с теннисный

мяч, размышляет. Он пишет пером, а когда я его спросил, почему он пишет так мелко, он ответил: «Меньше работает рука». Сам я диктую примерно тысячу слов в день, но в окончательном варианте моих фильмов остается не больше трехсот.

У Стейнбеков не было служанки, его жена сама занималась домашним хозяйством. Это была замечательная пара, и я очень к ним привязался.

Мы много беседовали с Джоном, и однажды в разговоре о России он сказал, что коммунисты хорошо сделали, что уничтожили проституцию.

— Последнее частное предприятие, — заметил я. — Обидно, это едва ли не единственная профессия, где за ваши деньги с вами расплачиваются сполна. Очень честная профессия. Почему бы не объединить их в профсоюз?

Неподалеку от Пибл-бич жил поэт Робинсон Джефферс. Мы с Тимом познакомились с ним в доме нашего приятеля. Он был молчалив и как будто даже немного высокомерен, а я, чтобы поддержать разговор, как обычно, во всю болтал о бедах и пороках нашего времени. Джефферс все время молчал. Я ушел, досадуя на себя за то, что не дал никому слова сказать. Мне казалось, что я не понравился Джефферсу, но я ошибся: неделю спустя он пригласил меня с Тимом к себе на чай.

Робинсон Джефферс жил с женой в маленьком доме, напоминавшем игрушечный средневековый замок, который он построил на скале, на побережье Тихого океана. В этом я ощутил какую-то его детскость. Самая просторная комната в доме была не больше пятнадцати метров. В нескольких шагах от дома стояла круглая каменная башня — тоже наподобие старинной — метров в шесть вышиной и около полутора метров в диаметре. Узкие каменные ступени вели к маленькой круглой вышке с узкими щелями вместо окон. Здесь был его рабочий кабинет, и здесь был написан «Чалый жеребец». Тим утверждал, что эти погребальные вкусы определяются подсознательным желанием смерти. Но мне довелось увидеть, как Робинсон Джефферс на закате гулял со своей собакой и как он радовался хорошему вечеру — его лицо выражало такой полный душевный покой, будто он был погружен в какую-то далекую, далекую мечту. Я твердо верю, что такой человек, как Робинсон Джефферс, не может желать смерти.

## XXV

В воздухе снова пахло войной. Нацисты начали наступление. Как быстро забыли мы первую мировую войну, четыре мучительных года умирания! Как быстро забыли о тех, кого война выбросила из жизни, забыли о слепых, безруких, безногих, о людях с изуродованными лицами, о припадочных, согнутых в три погибели калеках! И тех, кто не был убит или ранен, война все равно не пощадила, изуродовав их души. Война, словно минотавр, пожирала юность, оставляя в живых циничных стариков. Да, мы быстро забыли эту войну и принялись чуть ли не славить ее в популярных песенках:

Ты на ферме не удержишь

Тех, кто повидал Париж...

Кое-кто утверждал, что в известном смысле война принесла даже пользу. Она, мол, послужила развитию промышленности, двинула вперед технику и дала людям работу. Что нам за дело до миллионов погибших, когда миллионы наживаются на бирже! В дни биржевого «бума» Артур Брисбэйн писал в херстовском «Экзаминер»: «Акции стальных корпораций подскочат до пятисот долларов». Однако акции не подскочили. Вместо этого держатели акций стали высказывать из окон небоскребов.

И вот на пороге новой войны я пытался писать сценарий для Полетт, но дело подвигалось плохо. Разве можно было заниматься описанием женских причуд, придумывать романтический сюжет и любовные эпизоды, когда это чудовище в человеческом облике — Адольф Гитлер — снова нес в мир безумие?

Еще в 1937 году Александр Корда<sup>1</sup> посоветовал мне сделать фильм о Гитлере, построив сюжет на сходстве двух людей — ведь у Гитлера были такие же усики, как и у моего бродяги. Корда сказал, что я мог бы сыграть обе роли. Тогда я не придавал значения его словам, но теперь эта тема стала актуальной. К тому же пора было, наконец, начать работать. И тут мне в голову пришла спасительная мысль. Ну, конечно же! В роли Гитлера я мог заговорить, выступать с речами перед толпой и, неся всякую тарабарщину, сказать все, что мне было нужно, а в роли бродяги по-прежнему оставаться безмолвным. Сценарий о Гитлере давал широкую возможность для бурлеска и пантомимы. В полном восторге я поспешил вернуться в Голливуд и принялся за сценарий. Он потребовал двух лет работы.

Я придумал пролог — он начинался сценой сражения во время первой мировой войны. Сверхдальнобойное орудие «Большую Бертю», с помощью которой немцы рассчитывали запугать союзников, наводят на Реймский собор, но снаряд летит мимо цели и разносит в щепы сортир на окраине города.

Полетт должна была играть в этой картине. Снимаясь последние два года в фильмах «Парамаунт», она имела большой успех. Правда, мы уже разошлись, но оставались с ней добрыми друзьями и не были разведены. Полетт была достаточно капризным созданием. Это могло быть даже забавным, если только вы не сталкивались с ее причудами в самое неподходящее время. Как-то она появилась в студии и вошла ко мне в уборную в сопровождении молодого человека, прилизанного, в превосходно сшитом костюме, который сидел на нем, как влитой. У меня был очень трудный день со сценарием, и я был несколько раздосадован этим неожиданным появлением. Но Полетт заявила, что она пришла по очень важному делу, уселась, попросила молодого человека придвинуть поближе стул и сесть с ней рядом.

— Это мой агент, — сказала Полетт, и тут она взглядом предложила ему начать разговор. Он заговорил быстро, с удовольствием произнося каждое слово.

— Как известно, мистер Чаплин, вы платите Полетт с начала съемок «Новых времен» по две тысячи пятьсот долларов в неделю. Но о чем мы с вами, мистер Чаплин, еще не договорились, так это о рекламе, которая должна занимать семьдесят пять процентов каждой афиши... — Продолжить ему уже не удалось.

— Это еще что такое? — заорал я. — Вы мне будете указывать, какую рекламу я должен ей создать! А вы не думаете, что ее интересы мне ближе, чем вам! Убирайтесь-ка оба отсюда!

В разгаре работы над «Диктатором» я стал получать от кинокомпании «Юнайтед артистс» тревожные вести. Меня предупреждали, что у фильма будут неприятности с цензурой. Английское агентство нашей кинокомпании также беспокоилось о судьбе антигитлеровской картины, полагая, что в Англии ее нельзя будет показать. Но я твердо решил продолжать работу — Гитлера необходимо было высмеять. Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения. Я был полон желаний высмеять бредовую идею о чистокровной расе. Как будто хоть один народ мог сохранить чистоту крови, если не считать разве что австралийских аборигенов.

В те дни в Калифорнию заехал возвратившийся из России сэр Стаффорд Криппс. Он обедал у меня вместе с молодым человеком, только что окончившим Оксфордский университет. Имя юноши испарилось из моей памяти, но одна его фраза запомнилась мне на всю жизнь. «Судя по положению дел в Германии, да и во всем мире, — сказал он, — мне осталось прожить не более пяти лет». Сэр Стаффорд ездил в Россию, чтобы ознакомиться со страной, и находился под глубоким впечатлением того, что увидел. Он описывал грандиозные работы русских и, разумеется, переживаемые ими большие трудности. По-видимому, он считал, что война неизбежна.

Из нью-йоркской конторы приходили все более тревожные известия. Меня умоляли отказаться от этого фильма, уверяя, что он никогда не будет показан ни в Англии, ни в Америке. Но я твердо решил сделать его, даже если мне самому пришлось бы снимать кинозалы для демонстрации.

Я еще не успел кончить «Диктатора», когда Англия объявила войну нацистам: я услышал эту тревожную новость по радио, отдыхая на своей яхте в Каталине. Вначале на всех фронтах наблюдалось затишье. «Немцам никогда не удастся прорвать линию Мажино», — говорили мы. Затем разразилась катастрофа: вторжение нацистов в Бельгию, падение линии Мажино, ужас Дюнкерка — и Франция была оккупирована. Положение в Европе становилось все страшнее. Англия отбивалась в одиночку. Теперь уже наша нью-йоркская контора бомбардировала меня телеграммами: «Торопитесь с фильмом, все его ждут!»

Снять «Диктатора» оказалось нелегким делом. Нужны были макеты декораций и реквизит, на изготовление которых потребовался год. Иначе фильм обошелся бы в пять раз дороже. Но и так еще до начала съемок я истратил на него полмиллиона долларов.

И тут Гитлер решил вторгнуться в Россию. Это было прямым доказательством того, что он окончательно сошел с ума. Соединенные Штаты еще не вступили в войну, но и Англия и Америка испытывали чувство облегчения.

Когда «Диктатор» был уже близок к завершению, однажды к нам на «натуру» приехал Дуглас Фербенкс со своей женой Сильвией. Последние пять лет Дуглас не снимался, и я редко видел его — он то и дело ездил в Англию. Мне показалось, что он сильно постарел, располнел и был чем-то удручен. Впрочем, он оставался все тем же восторженным и неистовым Дугласом. На съемках он шумно хохотал и затем сказал мне: «Не могу дождаться твоего фильма».

Дуг пробыл у меня около часа. Когда он уходил, я долго смотрел ему вслед, смотрел, как он помогает жене подняться по крутому склону, как они, удаляясь, идут по дорожке. И мне вдруг стало очень грустно. Дуг обернулся, я помахал ему рукой, и он помахал мне в ответ. Таким я видел его в последний раз. Месяц спустя мне позвонил Дуглас-младший и сказал, что накануне ночью отец умер от разрыва сердца. Это было ужасным ударом — в нем было так много жизни.

С тех пор мне всегда не хватало Дугласа, не хватало его тепла, его восторженности и обаяния, не хватало его дружеского голоса, который так часто раздавался в телефонной трубке в мои унылые, одинокие воскресные утра.

— Чарли, приходи, вместе позавтракаем, а потом поплаваем, а потом пообедаем и посмотрим какую-нибудь картину? А?

Да, мне очень не хватает его чудесной дружбы.

Если бы меня спросили, в каком мужском обществе я предпочел бы вращаться, наверно, я выбрал бы людей своей профессии. Однако Дуглас был единственным актером, который стал мне близким другом. Встречаясь на голливудских приемах со звездами, я

стал относиться к ним скептически,— может быть, попросту нас было там слишком много. И атмосфера там бывала не столько дружеской, сколько вызывающей на соревнование; стремясь привлечь к себе внимание, человек шел, словно сквозь строй, подвергаясь язвительной критике. Нет, звезды среди звезд дают мало света и еще меньше тепла.

Писатели — милые люди, но они не из тех, кто охотно что-то дает другим. Они не любят делиться тем, что знают сами. Большой частью они прячут свое богатство в переплеты своих книг. Ученые могли бы стать чудесными друзьями, но одно их появление в гостиной парализует все ваши мысли. Художники обычно ужасно скучны — большинство из них стремится вас уверить, что они больше философы, чем художники. Поэты, несомненно, являются существами высшего класса — они приятны, терпимы и прекрасные товарищи. Но мне кажется все-таки, что легче всего дружить с музыкантами. По-моему, нет ничего теплее и трогательнее зрелища симфонического оркестра. Романтический свет пюпитров, настройка инструментов и внезапная тишина при появлении дирижера словно утверждают общественный, основанный на тесном сотрудничестве характер их искусства. Я вспоминаю, как однажды у меня за обедом кто-то из гостей, обсуждая вопросы мировой политики, заметил, что депрессия и безработица могут привести к духовному возрождению. И тут пианист Горовиц, тоже сидевший за столом, вдруг встал и сказал:

— После этих слов мне захотелось сесть к роялю.

Понятно, никто не стал возражать, и Горовиц исполнил Вторую сонату Шумана, и, мне кажется, никому и никогда не сыграть ее так, как он ее тогда сыграл.

Перед самой войной я как-то обедал у Горовица — там были его жена, дочь Тосканини, Рахманинов и Барбиеролли. Рахманинов выглядел необычно — в его внешности было что-то монашеское и в то же время что-то эстетское. Вечер был интимным, нас было всего пятеро.

Боюсь, что всякий раз, говоря об искусстве, я даю ему новое толкование. А почему бы и нет? В тот вечер я сказал, что искусство — это избыток чувства плюс техническое совершенство. Кто-то перевел разговор на религию, и я признался, что я неверующий. Рахманинов быстро вмешался:

— А как может существовать искусство без религии?

На какое-то мгновение я смешался.

— Я думаю, что мы говорим о разных вещах, — сказал я. — Я представляю себе религию, как веру в некую догму, а искусство, по-моему, основано больше на чувстве, чем на вере.

— Так же, как и религия, — ответил Рахманинов.

Я замолчал.

Как-то у меня обедал Игорь Стравинский. И он предложил мне сделать вместе с ним фильм. Я придумал сюжет — фильм должен был быть сюрреалистическим. В модном ночном кабачке за столиками вокруг эстрады сидят группы и парочки, олицетворяющие земные пороки: за одним — алчность, за другим — лицемерие, за третьим — жестокость, а на эстраде показывают страсти господни. И пока распинают Иисуса, посетители кабака равнодушно смотрят на это зрелище, заказывают ужин, ведут деловые переговоры, просто скучают. Толпа, первосвященники и фарисеи, грозя кулаками кресту, кричат: «Если ты сын божий, сойди с креста и спаси самого себя!» И тут же рядом группа коммерсантов

возбужденно обсуждает какую-то крупную сделку. Один из них нервно закуривает, поглядывая на Спасителя и рассеянно пуская дым в его сторону.

За вторым столиком другой коммерсант вместе с женой тщательно изучают меню. Но вот дама взглянула на распятие и нервно отодвинула свой стул подальше от сцены. «Не понимаю, зачем люди ходят сюда, — говорит она раздраженно. — Неприятное зрелище».

«По-моему, неплохо придумано, — возражает ее муж. — Этот кабаk едва не обанкротился, но они вовремя поставили здесь ревю. А теперь они не в убытке».

«По-моему, это кошунство», — говорит жена.

«Наоборот, это очень полезно, — возражает ей муж. — Люди, которые ни разу не были в церкви, приходят сюда и хоть здесь узнают кое-что о христианстве».

Только сидящий в одиночестве пьяница под воздействием алкоголя воспринимает все происходящее по-иному и вдруг начинает рыдать. Он громко кричит:

«Смотрите, они же распинают его! И никому до этого нет дела!»

Он встает и умоляюще протягивает руку к кресту. Но тут сидевшая поблизости от него жена священника жалуется метрдотелю, и горько плачущего пьяницу выводят из кабака, а он со слезами продолжает кричать:

«Никому нет дела до него! Какие же вы после этого христиане!»

— Видите, — сказал я Стравинскому, — его выгоняют, потому что он мешает зрелищу.

Я объяснил ему, что спектакль страстей господних на эстраде ночного кабака должен показать, насколько цинично и формально исповедуется сейчас в мире христианская вера.

Маэстро помрачнел.

— Но это же кошунство! — сказал он.

Я был удивлен и несколько смущен.

— В самом деле? — удивился я. — Это не входило в мои намерения. Я полагал, что это просто критика отношения людей к христианству, но, может быть, импровизируя сюжет, я не очень четко выразил свою мысль.

На том наш разговор и закончился, но несколько недель спустя я получил письмо от Стравинского, в котором он спрашивал, по-прежнему ли я согласен сделать вместе с ним фильм. Но к этому времени я уже несколько поостыл и был захвачен мыслью о собственном фильме.

Ганс Эйслер как-то привел ко мне на студию Шенберга, невысокого человека, откровенного и довольно резкого, музыка которого приводила меня в восхищение. Я видел его на теннисных состязаниях в Лос-Анжелосе — он всегда сидел один на открытой трибуне в белой фуражке и тенниске. Он сказал, что ему понравились «Новые времена», но музыка очень плоха, и мне пришлось до некоторой степени согласиться с ним. Одно из его высказываний о музыке неизгладимо врезалось в мою память:

— Я люблю звуки, прекрасные звуки.

Ганс Эйслер рассказал мне забавную историю об этом замечательном композиторе. Ганс учился у него гармонии, и зимой, в самую стужу шел по снегу пять миль, чтобы к восьми утра явиться на урок к маэстро. Начиная лысеть Шенберг усаживался за рояль, а Ганс, читая через его плечо ноты, начинал насвистывать мотив.

«Молодой человек, — говорил маэстро, — не свистите. От вашего ледяного дыхания у меня зябнет голова».

Во время съемок «Диктатора» я начал получать угрожающие письма, а когда фильм был закончен, количество их резко увеличилось. В некоторых из них мне угрожали, что в кинотеатры, в которых его начнут показывать, будут кидать бомбы с удушливым газом и стрелять в экран, в других грозили скандалами. Сначала я думал обратиться в полицию, но потом решил, что это может отпугнуть зрителей. Кто-то из друзей посоветовал мне поговорить с Гарри Бриджесом, председателем союза портовых грузчиков.

Я пригласил его пообедать у меня и откровенно объяснил ему причину приглашения. Зная, что Бриджес настроен против нацистов, я рассказал ему, что сделал антифашистскую комедию и теперь получаю угрожающие письма.

— Хорошо бы, — сказал я, — пригласить на премьеру ну, скажем, человек двадцать-тридцать ваших грузчиков и рассадить их по всему залу, чтобы они могли вежливо утихомирить фашистских молодчиков, если те вздумают буянить.

Бриджес рассмеялся.

— Не думаю, Чарли, чтобы дело дошло до этого. У вас и среди публики найдется достаточно защитников, которые сумеют справиться с хулиганьем. А если эти письма в самом деле писали фашисты, они в любом случае побоятся пойти в открытую.

Гарри рассказал мне в тот вечер интересную историю о забастовке в Сан-Франциско, когда он фактически был хозяином города, потому что все снабжение находилось под его контролем. Только больницы и дети получали все необходимое. Рассказывая мне об этой забастовке, он сказал:

— Когда борьба идет за справедливое дело, людей не приходится убеждать. Достаточно лишь изложить факты — и люди сами принимают верное решение. Я предупредил своих: если они объявят забастовку, им грозит много неприятностей, а кое-кто, может быть, даже не увидит ее результатов. Но какое бы решение они ни приняли, я ему подчинюсь. Если бастовать, я буду в первых рядах — и все пять тысяч человек единогласно решили бастовать.

«Диктатора» должны были показать в двух нью-йоркских кинотеатрах — в «Асторе» и в «Капитолии». В «Асторе» мы устроили предварительный просмотр для прессы. В тот вечер у меня обедал главный советник Франклина Рузвельта Гарри Гопкинс. После обеда мы вместе отправились на просмотр, но успели лишь ко второй половине картины.

Любой просмотр комедии, устраиваемый для прессы, обладает одной характерной чертой: зрители смеются, словно против воли. И на этом просмотре смеялись точно так же.

— Великолепная картина, — сказал мне Гарри, когда мы покидали кинотеатр. — Ее нужно было непременно сделать, но она не будет иметь успеха у зрителей. Она принесет вам только убытки.

Поскольку я вложил в этот фильм два миллиона собственных денег и два года работы, его предсказания не вызвали у меня никакого восторга. Я сдержанно кивнул. Но, слава богу, Гопкинс ошибся. На премьере в «Капитолии» избранная публика пришла в полный восторг. Фильм демонстрировали в Нью-Йорке три месяца подряд в двух кинотеатрах, и он принес больше прибыли, чем любой из предыдущих.

Однако отзывы прессы были очень разными. Большинство критиков было недоволено моей речью в конце фильма. Нью-йоркская «Дейли ньюс» писала, что я тыкал в зрителей «коммунистическим пальцем». Но, хотя большинство критиков протестовало против речи, утверждая, что она не соответствует характеру героя, зрителям она нравилась, и я получил множество писем с сердечными поздравлениями.

Арчи Л. Мэйо, один из наиболее известных голливудских режиссеров, попросил у меня разрешения напечатать эту речь на своих поздравительных рождественских открытках. Я привожу его вступительную надпись и самую речь:

*«Если бы я жил во времена Линкольна, я послал бы, наверно, вам его речь в Геттисберге, потому что это был самый вдохновенный призыв той эпохи. Сегодня мы стоим перед новым кризисом, и другой человек — честный и искренний — сказал то, что он думает. Хотя я очень мало знаю его, то, что он сказал, глубоко меня взволновало. ...Мне хочется послать вам полный текст речи, написанной Чарльзом Чаплином, чтобы и вы могли разделить со мной выраженную здесь надежду.»*

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ИЗ «ДИКТАТОРА»**

Извините меня, но я не хочу быть императором. Не мое это дело. Я не хочу никем править, не хочу никого завоевывать. Мне бы хотелось, если возможно, помочь каждому— и еврею и не еврею, и черному, и белому.

Мы все хотим помогать друг другу — так уж созданы люди. Мы хотим жить и радоваться счастью ближнего, а не его горю. Мы не хотим ненавидеть и презирать друг друга. В этом мире хватит места для всех. Наша добрая земля плодородна — она легко прокормит нас всех.

Жизнь может быть свободной и прекрасной, но мы сбились с верного пути. Алчность отравила души людей, разделила мир ненавистью, ввергла нас в страдания и кровопролитие. Мы все наращивали скорость, и заперли себя в темнице. Машины, которые дают изобилие, оставили нас в нужде. Наши знания сделали нас циничными, наша рассудительность сделала нас холодными и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Нам нужна человечность больше, чем машины; и больше, чем рассудительность, нам нужна доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь превратится в одно насилие, и тогда все погибло.

Самолеты и радио сократили расстояния. Сама природа этих открытий требует от человека доброты, призывает ко всеобщему братству, к единению всех людей на земле. И даже сейчас мой голос достигает слуха миллионов во всем мире — миллионов отчаявшихся мужчин, женщин и маленьких детей, несчастных жертв той системы, которая заставляет пытаться и заключать в тюрьму невиновных. Тем, кто может услышать меня, я говорю: «Не отчаивайтесь!» Бедствие, которое нас постигло, порождено судорогами алчности — озлоблением людей, которые боятся прогресса человечества. Но и ненависть людская преходяща, диктаторы погибнут, а власть, которую они отняли у народа, вернется к народу. И до тех пор, пока люди умирают за нее, свобода не погибнет.

Солдаты! Не поддавайтесь этим бестиям, которые презирают вас, делают вас рабами, управляют вашей жизнью, приказывают вам, что делать, о чем думать и как мыслить! Тем, кто муштрует вас, сажает вас на паек, обращается с вами, как со скотом, и использует вас, как пушечное мясо! Не поддавайтесь этим чудовищам, людям-машинам, с механическим умом и механическим сердцем! Вы не машины! Вы люди! С любовью к человечеству, которая живет в ваших сердцах, нельзя ненавидеть! Ненавидят лишь те, кого никто не любит, — лишь нелюди и нелюбимые!



Солдаты! Не сражайтесь за рабство! Деритесь за свободу! В семнадцатой главе Евангелия от Луки сказано, что царствие божие внутри нас — не в одном человеке, не в особой группе людей, а во всех людях! В вас! Вы, люди, обладаете властью — властью создавать машины! Властью создавать счастье! Вы, люди, обладаете властью сделать жизнь свободной и прекрасной, сделать эту жизнь изумительным приключением. И поэтому, во имя демократии, давайте используем эту власть, давайте объединимся! Давайте вместе бороться за новый мир, за хороший мир, который даст людям возможность работать, который даст юным будущее, а старым обеспеченность.

С помощью таких обещаний пришли к власти звери. Но они лгут! Они не выполняют своих обещаний и никогда не выполняют! Диктаторы освобождают себя, но поработают народы. Давайте бороться за освобождение мира, за уничтожение национальных барьеров, за уничтожение алчности, ненависти и нетерпимости. Давайте бороться за мир разума, за мир, в котором наука и прогресс создадут всеобщее счастье! Солдаты, объединимся во имя демократии!

Ханна, ты слышишь меня? Где бы ты ни была, посмотри в небо! Посмотри, Ханна! Тучи рассеиваются! Сквозь них прорывается солнце! Мы выходим из мрака на свет! Мы входим в новый мир, и он добрее, — в мир, где люди преодолеют свою алчность, ненависть и жестокость. Посмотри в небо, Ханна! Душе человека даны крылья, и он, наконец, взлетает в небо! Он летит навстречу радуге — свету надежды! Выше голову, Ханна! Взгляни в небо!»

Через неделю после премьеры я был приглашен на завтрак к владельцу «Нью-Йорк таймс» Артуру Сульцбергеру. Меня проводили на самый верхний этаж здания редакции в апартаменты издателя. В гостиной стояла кожаная мебель, на стенах висели картины и фотографии. Около камина, украшая его своим августейшим присутствием, стоял бывший президент США Герберт Гувер, высокий человек с чопорным выражением лица и с очень маленькими глазками.

— Мистер президент, это Чарли Чаплин, — представил меня Сульцбергер.

На морщинистом лице Гувера появилась улыбка:

— Как же, — сказал он любезно, — мы ведь встречались много лет назад.

Я был удивлен, что мистер Гувер это помнит, — в то время он готовился занять место в Белом доме. Он прибыл на обед для представителей прессы в отель «Астор», и меня тоже привел туда кто-то из членов клуба, чтобы подать как бы в виде гарнира перед речью мистера Гувера. Я был подавлен тогда неприятностями развода и, кажется, встав, промямлил что-то о том, что я плохо разбираюсь в государственных делах, думая при этом, что столь же плохо я разбираюсь в своих личных делах. Несколько минут я нес такую околесицу, а потом сел. Меня представили мистеру Гуверу; кажется, я сказал: «Здравствуйте!» — и, по-моему, этим и ограничилось наше знакомство.

Гувер читал свою речь по рукописи, откладывая лист за листом. Прошло полтора часа, и слушатели уже с тоской поглядывали на эту кипу бумаги. После двух часов перед ним лежали две одинаковые стопки листов. Иногда он пропускал с десяток, откладывая их в сторону. Это были светлые мгновения! Но так как ничто не вечно под луной, то и речи Гувера пришел конец. Он очень деловито собрал все свои листки, я улыбнулся и хотел было поздравить его с такой речью, но он решительно прошел мимо, не заметив меня.

И вот сейчас, после многих лет, успев побыть за это время президентом, Гувер стоял, опершись о камин, и с непривычным для него добродушием поглядывал на

окружающих. Нас было двенадцать человек, и мы сели завтракать за большой круглый стол. Меня предупредили, что такие завтраки устраиваются лишь для самых избранных.

Существует особый тип американских чиновников, в их присутствии я чувствую свою неполноценность. Это высокие, красивые мужчины, безупречно одетые, спокойные и ясно мыслящие, которым все в жизни понятно. Громкими и отчетливыми металлическими голосами они говорят о человеческих делах математическими формулами, вроде: «Организационные процессы, наблюдаемые в ежегодной схеме безработицы...» — и так далее и тому подобное. Именно такие типы сидели сейчас за столом, и выглядели они грозно и неприступно, подобно вздымающимся ввысь небоскрегам. Единственным человеческим существом была Энн О'Хара Маккормик — блестящая и обаятельная женщина, известный политический обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс».

Атмосфера за завтраком была довольно официальная, и разговаривать было трудно. Все присутствующие называли Гувера «мистер президент», причем чаще, чем это было необходимо. Постепенно мне становилось ясно, что меня пригласили неспроста. Сульцбергер не оставил на этот счет никаких сомнений. Выбрав подходящий момент, он обратился к Гуверу:

— Мистер президент! Не расскажете ли вы нам о вашей предполагаемой миссии в Европу?

Гувер положил нож и вилку, задумчиво прожевал кусок и начал говорить о том, что, видимо, занимало его мысли все время завтрака. Говорил он, глядя в тарелку, но время от времени искоса поглядывая то на Сульцбергера, то на меня.

— Все мы знаем, в каком плачевном состоянии находится сейчас Европа, знаем, что там с каждым днем усиливаются нищета и голод. Положение настолько серьезное, что мне удалось убедить Вашингтон в необходимости оказания ей немедленной помощи. (Я понял, что под Вашингтоном подразумевается президент Рузвельт.) И тут он стал перечислять факты, цифры и результаты своей миссии во время первой мировой войны, когда «мы кормили всю Европу».

— Такая миссия, — продолжал он, — должна быть вне партийных интересов и преследовать лишь гуманные цели. Вы ведь, кажется, тоже интересуетесь этим, — добавил он, искоса взглянув на меня.

Я утвердительно кивнул.

— Когда вы предполагаете начать осуществление этого плана, мистер президент? — спросил Сульцбергер.

— Как только добьемся одобрения Вашингтона, — ответил Гувер. — Но Вашингтон нужно подтолкнуть с помощью общественного мнения, при поддержке людей, широко известных в стране. — Опять последовал взгляд в мою сторону, и я снова кивнул. — Сейчас в оккупированной Франции, — продолжал он, — миллионы нуждающихся. В Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии — во всей Европе усиливается голод.

Он говорил красочно, четко излагая факты и сдобривая их рассуждениями о милосердии, вере и надежде. Затем наступила пауза. Я откашлялся.

— Положение сейчас, однако, не совсем то, что было во время первой мировой войны, — сказал я. — Франция полностью оккупирована, как и многие другие страны. А мы, естественно, не хотим, чтобы наше продовольствие попало в руки нацистов.

Гувер нахмурился. Присутствующие посмотрели сначала на него, потом на меня.

Гувер снова уставился в свою тарелку.

— Мы создадим абсолютно беспристрастную комиссию, она будет работать совместно с американским Красным Крестом, на основании Гаагской конвенции, в соответствии с двадцать седьмым параграфом сорок третьего раздела, который разрешает комиссиям милосердия оказывать помощь больным и нуждающимся обеих сторон, вне зависимости от того, находятся ли они в состоянии войны или нет. Думаю, что вы, как гуманист, одобрите создание такой комиссии.

Может быть, я не совсем точно воспроизвожу его слова, но общий смысл их был именно таков.

Однако я стоял на своем.

— Я от всего сердца приветствовал бы эту идею, если бы был уверен в том, что наше продовольствие не попадет в руки нацистов.

Мои слова опять вызвали за столом некоторое замешательство.

— Мы уже делали это и раньше, и весьма успешно, — заметил с видом уязвленной добродетели Гувер.

Молодые люди — небоскребы, замыкавшие вокруг стола горизонт, обратили теперь свое милостивое внимание на меня. Один из них улыбнулся:

— Я полагаю, что мистер президент сумеет разобраться.

— Это же замечательная идея, — веско подтвердил Сульцбергер.

— Совершенно с вами согласен, — заметил я мягко, — и я поддержал бы эту идею на сто процентов, если бы ее практическое осуществление могло быть поручено только евреям.

— О, это невозможно! — отрезал мистер Гувер.

Дико было слушать, как лощеные фашистские молодчики на 5-й авеню с импровизированных трибун обращались с речами к кучкам прохожих. Один из этих ораторов высказал следующую истину: «Философия Гитлера основана на глубоком и вдумчивом изучении нашего индустриального века, в котором нет места полукровкам или евреям».

Какая-то женщина перебила его:

— Что это за разговор?! — вскричала она. — Это же Америка! Где вы, по-вашему, находитесь?

Красивый молодой оратор вежливо улыбнулся.

— Я нахожусь в Соединенных Штатах, и, кстати, я американский гражданин, — ответил он невозмутимо.

— Ну и что? Я тоже американская гражданка и еврейка, — сказала она. — И если бы я была мужчиной, я набила бы тебе морду!

Один или двое слушателей присоединились к ней, но большинство равнодушно молчало. Стоявший поблизости полицейский сделал женщине замечание. Я отошел пораженный, не веря своим ушам.

Через день-два я был приглашен в один загородный дом. Перед завтраком меня усиленно донимал разговорами бледный, анемичного вида молодой француз — граф Шамбрэн, зять Пьера Лавалья. Он видел «Диктатора» в Нью-Йорке и сейчас великодушно извинял меня.

— Понятно, вашу точку зрения не следует принимать всерьез.

— В конце концов, это же не больше чем комедия, — ответил я.

Если бы я знал тогда о зверских убийствах и пытках в фашистских концлагерях, я не был бы так вежлив.

Гостей было человек пятьдесят, но мы сидели по четыре человека за столиком. Граф Шамбрэн подсел к нашему столу и пытался втянуть меня в политический спор, но я сказал ему, что предпочитаю политике хорошую еду. Наслушавшись его, я в конце концов поднял бокал и сказал:

— Кажется, я сегодня только и делаю, что пью «виши».

Едва я успел это произнести, как за другим столиком разразилась ссора, и мне показалось, что две женщины вот-вот вцепятся друг другу в волосы. Одна кричала:

— Я не желаю этого слышать! Вы нацистка!

Юный отпрыск одной из видных нью-йоркских семей спросил меня, почему я так настроен против нацистов.

— Потому что они против человечности, — ответил я.

— Ах, да! — сказал он так, словно сделал открытие. — Вы же еврей, не так ли?

— Для того чтобы быть противником нацистов, не обязательно быть евреем, — ответил я. — Достаточно быть просто нормальным и порядочным человеком.

На этом наш разговор закончился.

День или два спустя, по просьбе общества «Дочери американской революции», я должен был выступить в Вашингтоне и произнести по радио последнюю речь из «Диктатора». До выступления меня пригласили на прием к Рузвельту, которому по его просьбе мы заранее послали фильм в Белый дом. Когда я вошел в кабинет президента, он приветствовал меня следующими словами: «Садитесь, Чарли. Ваша картина доставила нам массу хлопот в Аргентине». Это был его единственный отзыв о фильме. Один из моих друзей впоследствии так сформулировал результат этой встречи: «Вас приняли в Белом доме, но не заключили в объятия».

Я пробыл у президента минут сорок, в течение которых он непрерывно угощал меня сухим «мартини», а я в смущении быстро его поглощал. Из Белого дома я вышел пошатываясь и вдруг с ужасом вспомнил, что в десять я должен выступить по радио. Передача должна была идти по всем станциям — это значило, что я буду говорить перед шестьдесятю миллионами слушателей. Приняв холодный душ и выпив очень крепкого кофе, я почувствовал себя более или менее сносно.

Штаты еще не вступили в войну, и в зале радиостудии в этот вечер было полно пронацистских элементов. Едва я успел сказать слово, как они начали грозно кашлять, и притом неестественно громко. От волнения у меня пересохло в горле, язык стал прилипать к нёбу, и мне стало трудно выговаривать слова. Речь была всего на шесть минут. И вдруг посреди речи я остановился и сказал, что не смогу продолжать, если мне не дадут глоток воды. Разумеется, в помещении не оказалось ни капли воды, и я заставил ждать шестьдесят миллионов слушателей. Прошло две нескончаемые минуты, пока мне подали воду в бумажном пакетике, и только тогда я закончил свою речь.

Мы с Полетт должны были расстаться — это было неизбежно. Мы оба знали это еще задолго до того, как я начал снимать «Диктатора», но теперь, когда он был закончен, мы стали перед необходимостью принять какое-то решение. Полетт оставила мне записку, в которой писала, что возвращается в Калифорнию — ей предстояло сниматься в новой картине «Парамаунта», а я задержался еще на некоторое время в Нью-Йорке. Мой дворецкий Фрэнк позвонил мне и сообщил, что, вернувшись в Беверли-хилс, Полетт дома не осталась, а собрала свои вещи и уехала. И когда я появился в Беверли-хилс, она уже уехала в Мехико, чтобы получить там развод. Грустно было в моем доме — не так-то просто разорвать то, что связывало тебя с человеком целых восемь лет.

«Диктатор» пользовался большим успехом у американского зрителя, но он безусловно подогревал и тайную враждебность ко мне. Впервые я почувствовал это при встрече с представителями прессы, когда вернулся из Нью-Йорка в Беверли-хилс. Я застал у себя дома человек двадцать или больше журналистов. Они сидели на застекленной веранде и зловеще молчали. Я предложил им выпить, они отказались — это было довольно необычно для репортеров.

— Чего вы добиваетесь, Чарли? — спросил журналист, видимо, уполномоченный говорить от имени всех.

— Всего лишь небольшой рекламы для «Диктатора», — пошутил я.

Затем я рассказал им о своей встрече с президентом и упомянул, что мой фильм доставляет немало хлопот американскому посольству в Аргентине, полагая, что это хороший материал для газет. Но они продолжали молчать. После паузы я попробовал пошутить:

— Что-то у нас ничего не получается, а?

— Вот именно, не получается, — последовал ответ. — Вы скверно относитесь к нам — уехали и ничего не сообщили, а мы этого не любим.

Хотя я никогда не пользовался особыми симпатиями местных газет, его слова все же удивили меня. Действительно, я уехал из Голливуда, не повидавшись с представителями прессы, так как опасался, что недружественно настроенные журналисты могут разругать фильм до того, как он будет показан в Нью-Йорке. Истратив на него два миллиона долларов, я не мог пойти на такой риск. Я сказал журналистам, что у антифашистской картины есть могущественные враги даже в Америке, и, во избежание риска, я устроил просмотр для прессы в последний момент, перед самой премьерой.

Но мои слова не в силах были растопить лед враждебности. Погода менялась, и в газетах стали появляться всякие инсинуации. Поначалу это были слабые нападки, рассказы о моей скаредности и сплетни о наших отношениях с Полетт. Однако, несмотря на враждебную кампанию, «Диктатор» продолжал побивать все рекорды сборов и в Англии и в Америке.

Хотя Америка еще не вступила в войну, но Рузвельт уже вел холодную войну с Гитлером. Это создавало для президента огромные трудности, потому что нацисты сумели пробраться во многие американские учреждения и организации. Не знаю, отдавали ли эти организации себе в том отчет или нет, но они стали орудием в руках нацистов.

Внезапно разнеслась трагическая весть о нападении японцев на Пирл-Харбор. Этот жестокий удар ошеломил Америку, но она тут же решилась на войну, и вскоре уже немало американских дивизий оказалось за океаном. Русские сдерживали гитлеровские орды под Москвой и призывали к немедленному открытию второго фронта. Рузвельт благожелательно относился к этому призыву. Но, хотя профашистские элементы в стране

теперь притаились, воздух был отравлен их ядом. Чтобы посорить нас с русскими союзниками, в ход шли любые средства, распространялась самая злобная пропаганда. «Пусть-де и те и другие истекут кровью, а мы тогда подоспеем к разделу добычи», — говорили они. Пускались на любые увертки, лишь бы предотвратить открытие второго фронта. Наступили тревожные дни. Каждое утро приносило вести о страшных потерях русских. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, а нацисты все еще стояли под Москвой.

Пожалуй, именно тогда и начались мои неприятности. Комитет помощи России в войне в Сан-Франциско пригласил меня выступить на митинге вместо заболевшего Джозефа Е. Девиса, бывшего американского посла в России. Я согласился, хотя меня предупредили буквально за несколько часов. Митинг был назначен на другой день, я тотчас сел в вечерний поезд, прибывающий в Сан-Франциско в восемь утра.

Весь мой день был уже расписан комитетом по часам: здесь — завтрак, там — обед — у меня буквально не оставалось времени, чтобы обдумать свою речь. А мне предстояло быть основным оратором. Однако за обедом я выпил бокал-другой шампанского, и это меня подбодрило.

Зал, вмещавший десять тысяч зрителей, был переполнен. На сцене сидели американские адмиралы и генералы во главе с мэром города Сан-Франциско Росси. Речи были весьма сдержанными и уклончивыми. Мэр, в частности, сказал:

— Мы должны считаться с тем фактом, что русские — наши союзники.

Он всячески старался преуменьшить трудности, переживаемые русскими, избегал хвалить их доблесть и не упомянул о том, что они стоят насмерть, обратив на себя весь огонь врага и сдерживая натиск двухсот гитлеровских дивизий. «Наши союзники — не больше, чем случайные знакомые», — вот какое отношение к русским почувствовал я в тот вечер.

Председатель комитета просил меня, если возможно, говорить не менее часа. Я оторопел. Моего красноречия хватало самое большее на четыре минуты. Но, наслушавшись глупой, пустой болтовни, я возмутился. На карточке с моей фамилией, которая лежала у моего прибора за обедом, я набросал четыре пункта своей речи и в ожидании расхаживал взад и вперед за кулисами. Наконец меня позвали.

Я был в смокинге и с черным галстуком. Раздались аплодисменты. Это позволило мне как-то собраться с мыслями. Когда шум поутих, я произнес лишь одно слово: «Товарищи!» — и зал разразился хохотом. Выждав, пока прекратится смех, я подчеркнуто повторил: «Именно так я и хотел сказать — товарищи!» И снова смех и аплодисменты. Я продолжал:

— Надеюсь, что сегодня в этом зале много русских, и, зная, как сражаются и умирают в эту минуту ваши соотечественники, я считаю за высокую честь для себя назвать вас товарищами.

Началась овация, многие встали.

И тут, вспомнив рассуждение: «Пусть и те и другие истекут кровью», — и разгорячившись, я хотел было высказать по этому поводу свое возмущение. Но что-то остановило меня.

— Я не коммунист, — сказал я, — я просто человек и думаю, что мне понятна реакция любого другого человека. Коммунисты такие же люди, как мы. Если они теряют руку или ногу, то страдают так же, как и мы, и умирают они точно так же, как мы. Мать коммуниста — такая же женщина, как и всякая мать. Когда она получает трагическое известие о гибели сына, она плачет, как плачут другие матери. Чтобы ее понять, мне нет

нужды быть коммунистом. Достаточно быть просто человеком. И в эти дни очень многие русские матери плачут, и очень многие сыновья их умирают...

Я говорил сорок минут, каждую секунду не зная, о чем буду говорить дальше. Я заставил моих слушателей смеяться и аплодировать, рассказывая им анекдоты о Рузвельте и о своей речи в связи с выпуском военного займа в первую мировую войну — все получилось, как надо.

— А сейчас идет эта война, — продолжал я. — И мне хочется сказать о помощи русским в войне. — Сделав паузу, я повторил: — О помощи русским в войне. Им можно помочь деньгами, но им нужно нечто большее, чем деньги. Мне говорили, что у союзников на севере Ирландии томятся без дела два миллиона солдат, в то время как русские одни противостоят двумстам дивизиям нацистов.

В зале наступила напряженная тишина.

— А ведь русские, — подчеркнул я, — наши союзники, и они борются не только за свою страну, но и за нашу. Американцы же, насколько я их знаю, не любят, чтобы за них дрались другие. Сталин этого хочет, Рузвельт к этому призывает — давайте и мы потребуем: немедленно открыть второй фронт!

Поднялся дикий шум, продолжавшийся минут семь. Я высказал вслух то, о чем думали, чего хотели сами слушатели. Они не давали мне больше говорить, аплодировали, топали ногами. И пока они топали, кричали и бросали в воздух шляпы, я стал подумывать, не переборщил ли я, не зашел ли слишком далеко? Но я тотчас рассердился на себя за такое малодушие перед лицом тех тысяч, которые сейчас сражались и умирали на фронте. И когда публика наконец успокоилась, я сказал:

— Если я вас правильно понял, каждый из вас не откажется послать телеграмму президенту? Будем надеяться, что завтра он получит десять тысяч требований об открытии второго фронта!

После митинга я почувствовал в воздухе какую-то настороженность и неловкость. Дэдди Филд Мелон, Джон Гарфилд и я решили вместе поужинать.

— А вы смелый человек, — сказал Гарфилд, намекая на мою речь.

Его замечание меня встревожило: я вовсе не собирался проявлять свою доблесть и еще меньше — становиться борцом за какое-то дело. Я говорил только то, что чувствовал и что искренне считал правильным. Замечание Джона расстроило меня на весь вечер. Но грозовые тучи, которые, казалось мне, уже нависли надо мной после этой речи, рассеялись, и жизнь в Беверли-хилс после моего возвращения пошла по-прежнему. Несколько недель спустя меня попросили выступить по телефону на массовом митинге в Мэдисон-сквер. Я согласился, поскольку митинг созывался во имя той же цели. Митинг проводили весьма уважаемые люди и организации. Я говорил четырнадцать минут, и впоследствии Совет Конгресса производственных профсоюзов решил издать эту речь вместе с репортажем о митинге отдельной брошюрой. Привожу ее текст:

## **РЕЧЬ**

### **«ВОСТОРЖЕСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ПОГИБНЕТ — ЭТОТ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ В РОССИИ»**

Толпы народа, предупрежденные о том, что оратора нельзя прерывать аплодисментами, молча и напряженно слушали каждое его слово.

Четырнадцать минут слушали они великого артиста Америки Чарльза Чаплина, который говорил с ними из Голливуда по телефону.

Ранним вечером 22 июля 1942 года шестьдесят тысяч членов профсоюзов, гражданских и церковных организаций, различных обществ и братств, а также ветераны и другие лица собрались на митинг в нью-йоркском парке Мэдисон-сквер, чтобы поддержать призыв Франклина Д. Рузвельта о немедленном открытии второго фронта, который помог бы ускорить окончательную победу над Гитлером и странами оси.

Организаторами этой внушительной демонстрации были 250 профессиональных союзов, объединенные Советом промышленных профсоюзов Большого Нью-Йорка; Уэндел Л. Уилки, Филипп Мэррей, Сидней Хиллмен и многие другие известные американцы прислали приветствия митингу.

Погода была безоблачная. На трибуне рядом с американским флагом развевались флаги союзников, а над морем десятков тысяч голов реяли плакаты с призывами поддержать предложение президента и немедленно открыть второй фронт.

Митинг начался пением «Звездного знамени». Пела Люси Монро и с нею все собравшиеся, а затем выступили Джен Фромен, Эрлин Френсис и многие другие звезды американского театра. К собравшимся обратились с речами сенаторы Соединенных Штатов Джеймс М. Мид и Клод Пеппер, мэр города Нью-Йорка Ф. Ла-Гардиа, вице-губернатор Чарльз Полетти, член палаты представителей Витто Маркантонио, Майкл Квилл и Джозеф Кэрран, председатель Совета Конгресса промышленных профсоюзов.

Сенатор Мид сказал: «Мы победим в этой войне только в том случае, если в борьбе за свободу заручимся искренней поддержкой народных масс Азии, Африки и побежденной Европы». Сенатор Пеппер заявил: «Тот, кто мешает нашим усилиям, кто требует невмешательства, является врагом нашей республики». Джозеф Кэрран сказал: «У нас есть люди, есть необходимые материалы. И мы знаем лишь один путь к победе — немедленное открытие второго фронта».

Огромные толпы единодушно приветствовали каждое упоминание имени президента и наших героических союзников, храбрых воинов и народов Советского Союза, Англии, Китая. Затем последовало обращение Чарльза Чаплина, говорившего по междугородному телефону.

### ***В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА О НЕМЕДЛЕННОМ ОТКРЫТИИ ВТОРОГО ФРОНТА!***

*Мэдисон-сквер, 22 июля 1942 года.*

«На полях сражений в России решается сейчас вопрос, восторжествует ли демократия или погибнет. Судьба союзников сейчас в руках коммунистов. Если Россия будет побеждена, весь азиатский континент — самый большой и самый богатый на земном шаре — окажется во власти нацистов. А если на Востоке практически будут распоряжаться японцы, нацисты получат доступ ко всем запасам сырья, необходимого для ведения войны. Какие же шансы останутся у нас на победу над Гитлером?»

Принимая во внимание трудности транспортировки, наши растянутые на тысячи миль коммуникации, проблемы стали, нефти и каучука, а также стратегию Гитлера: «Разделяй и властвуй», — мы окажемся в отчаянном положении, если Россия будет побеждена.

Кое-кто говорит, что это затянет войну лет на десять-двадцать. Я считаю подобных людей оптимистами. При таких условиях и перед лицом такого страшного врага наше будущее представляется мне почти безнадежным.



## ***ЧЕГО МЫ ЖДЕМ?***

Русским очень нужна помощь. Они просят нас открыть второй фронт. Среди союзников существуют разногласия по поводу возможности немедленного его открытия. Нам говорят, что у союзников нет достаточных запасов для снабжения второго фронта. А вслед за тем мы слышим, что такие запасы имеются. Мы слышим также, что союзники не хотят сейчас идти на риск открытия второго фронта, боясь возможного поражения. Они не желают рисковать до тех пор, пока не будут полностью готовы.

Но можем ли мы позволить себе ждать до тех пор, пока будем полностью готовы и уверены в победе? Можем ли мы позволить себе роскошь играть наперняка? На войне не бывает гарантий. В данный момент немцы находятся в тридцати пяти милях от Кавказа. Если будет потерян Кавказ, будут потеряны девяносто пять процентов русской нефти. Когда погибают десятки тысяч, а миллионы стоят на краю гибели, мы обязаны честно говорить то, что думаем. Люди задают себе вопросы. Мы слышим о крупных экспедиционных силах, расквартированных в Ирландии, слышим о том, что девяносто пять процентов наших морских караванов благополучно добираются до Европы и что два миллиона англичан, полностью снаряженных, рвутся в бой. Так чего же мы ждем в столь тяжкий для России час?

## ***МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВДУ***

Официальным кругам Вашингтона и Лондона следует помнить, что целью этих вопросов не является создание разногласий. Мы задаем их для того, чтобы покончить с неразберихой и упрочить доверие и единство наших рядов для окончательной победы. И каким бы ни был ответ, мы имеем право знать правду.

Россия сражается у последней черты. Но эта черта — и последний оплот союзников. Мы защищали Ливию и потеряли ее. Мы защищали Крит и потеряли его. Мы защищали Филиппины и другие острова на Тихом океане и потеряли их. Но мы не можем позволить себе потерять Россию, потому что там проходит последняя линия фронта защиты демократии. Когда рушится наш мир, наша жизнь, наша цивилизация, мы обязаны пойти на риск.

Если русские потеряют Кавказ, это будет величайшим бедствием для дела союзников. И тогда остерегайтесь умиротворителей — они выползут из своих нор и станут требовать заключения мира с Гитлером-победителем и скажут: «К чему жертвовать жизнями американцев — мы можем договориться с Гитлером «по-хорошему»».

## ***ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НАЦИСТСКОЙ ЛОВУШКИ***

Берегитесь нацистской ловушки. Нацистские волки напаят овечью шкуру. Они предложат нам выгодные условия мира, и, не успев опомниться, мы окажемся в плену у нацистской идеологии. И тогда мы станем их рабами. Нацисты отнимут у нас свободу и будут контролировать наши мысли. Гестапо будет управлять миром. Они будут управлять нами и на расстоянии. Да, такова участь, которую они хотят нам уготовить.

И если в руках нацистов окажется такая власть, любая оппозиция нацистскому порядку будет сметена с лица земли. Прогресс человечества будет приостановлен. Права меньшинства, права рабочих, гражданские права — все это уйдет в прошлое. Если мы послушаемся умиротворителей и заключим мир с Гитлером-победителем, на земле воцарится его жестокий порядок.

## ***МЫ МОЖЕМ ПОЙТИ НА РИСК***

Остерегайтесь умиротворителей, которые всегда появляются после беды.

Если мы будем бдительны и сохраним мужество, нам нечего бояться. Вспомните, именно мужество спасло Англию. И если нам удастся сохранить моральную силу, наша победа обеспечена.

Гитлер много раз шел на риск. И самым рискованным предприятием было его вторжение в Россию. Если он не прорвется этим летом на Кавказ, тогда пусть уповает на бога. А если ему придется еще одну зиму провести под Москвой, ему тоже остается уповать только на милость господню. Он рисковал всем и пошел на этот риск. Но если Гитлер может рисковать, неужели же мы не сможем? Давайте действовать! Больше бомб на Берлин! Дайте нам гидросамолеты «Гленн-Мартин», чтобы разрешить проблему транспорта. А главное — немедленно откройте второй фронт!

## ***ПОБЕДИТЬ К ВЕСНЕ!***

Поставим себе целью добиться победы этой же весной. Вы, те, кто на заводах и на полях, вы, в военной форме, и вы, граждане мира,— давайте все работать и бороться во имя этой цели. И вы, официальные представители Вашингтона и Лондона,— пусть нашей целью будет победа к весне.

Если мы будем работать с этой мыслью, жить с этой мыслью, она умножит нашу энергию и ускорит победу.

Давайте стремиться к невозможному! Вспомните, что все великие свершения в истории человечества были победами над невозможным».

Для меня наступили относительно спокойные дни, но это было затишье перед грозой. Обстоятельства, которые привели меня к роковым событиям в моей жизни, выглядели вначале вполне невинно. Как-то в воскресенье Тим Дьюрэнт сказал мне, что после партии в теннис у него назначено свидание с молодой женщиной по имени Джоан Берри — приятельницей Пола Гетти. Она только что приехала из Мехико с рекомендательным письмом от его друга А. Блументаля. Тим сказал, что он идет обедать с ней и еще одной девушкой, и спросил, не хочу ли я к ним присоединиться, прибавив, что мисс Берри выражала желание познакомиться со мной. Мы направились в ресторан Перино. Общество мисс Берри оказалось достаточно приятным и веселым, и мы вчетвером довольно безобидно провели этот вечер, но я не думал с ней больше встречаться.

Однако в следующее воскресенье — в день, когда мой теннисный корт был открыт для всех, Тим привел мисс Берри с собой. По воскресеньям я всегда отпускал прислугу и обычно обедал в ресторане, и в этот день я пригласил Тима и его спутницу пообедать со мной в ресторане Романова, а после обеда я отвез их по домам. Но на другое утро мисс Берри позвонила и спросила, не приглашу ли я ее завтракать. Я сказал ей, что собираюсь поехать за девяносто миль на аукцион в Санта-Барбару, и если ей нечего больше делать, она может поехать со мной — там мы с ней позавтракаем, а потом пойдем на аукцион. Купив там две-три вещицы, я отвез ее обратно в Лос-Анжелос.

Мисс Берри была крупной, красивой женщиной лет двадцати двух, с хорошей фигурой, с могучими округлостями груди, которые весьма соблазнительно представлялись для обозрения в слишком глубоком вырезе летнего платья и не могли не возбудить в пути моего интереса. И тут она рассказала мне, что поссорилась с Полом Гетти и завтра уезжает в Нью-Йорк, но если бы только я захотел, чтобы она осталась, она

все бросит и останется. Я сразу насторожился — слишком уж стремительно и эксцентрично было ее предложение — и сказал ей вполне откровенно, что из-за меня оставаться не стоит. На этом я и простился с ней, оставив ее у дверей ее дома.

К моему изумлению, дня два спустя она мне позвонила снова и сказала, что все-таки осталась и спросила, не могу ли я вечером повидаться с ней. Настойчивость — верный путь к достижению цели. Она добилась своего, и я стал довольно часто встречаться с ней. Последовавшие затем дни были не лишены приятности, но было в них что-то странное и даже не вполне нормальное. Она могла, например, не позвонив предварительно, вдруг неожиданно среди ночи появиться у меня в доме. Это было довольно неудобно. Потом она пропадала на целую неделю. И хотя я не хотел в этом признаваться, мне стало с ней не по себе. Но когда она появлялась, она обезоруживала меня своей веселостью, и мои сомнения и мрачные предчувствия на время оставляли меня.

Как-то я завтракал с сэром Седриком Хардуиком и Синклером Льюисом, и в разговоре Льюис упомянул о пьесе «Призрак и действительность», в которой Седрик играл главную роль. Льюис говорил об образе Бриджет как о современной Жанне д'Арк и о том, что, по его мнению, из этой пьесы можно было бы сделать великолепный фильм. Я заинтересовался пьесой, сказал Седрику, что мне хотелось бы ее прочесть, и он прислал мне экземпляр.

День или два спустя Джоан Берри обедала у меня, и я заговорил о пьесе. Она сказала, что видела ее и что ей хотелось бы сыграть роль Бриджет. Я не воспринял разговора всерьез, но она в тот же вечер прочитала мне отрывки из роли, и, к моему удивлению, прочитала великолепно, воспроизводя даже ирландский акцент. Я пришел в восторг и немедленно сделал несколько немых проб, чтобы посмотреть, фотогенична ли она. Пробы оказались вполне удовлетворительными.

Теперь мои сомнения по поводу ее странностей рассеялись. По правде говоря, мне казалось, что я сделал открытие. Я послал ее учиться в школу драматического искусства Макса Рейнгардта — ей нужно было постигнуть технику актерской игры, и, так как она теперь была там много занята, мы очень редко виделись. У меня еще не было права экранизации пьесы, но я вступил в переговоры с Седриком и при его любезном содействии откупил право экранизации за 25 тысяч долларов, после чего заключил с Берри контракт на двести пятьдесят долларов в неделю.

Существуют в мире мистики, которые полагают, что наша жизнь — наполовину сон и что трудно распознать, где кончается сон и начинается действительность. Так было и со мной. Несколько месяцев я был догружен в свой сценарий, а потом начали происходить какие-то странные, сверхъестественные события. Берри стала приезжать в своем «кадилаке» пьяная вдребезг в любое время ночи, и мне приходилось будить шофера, чтобы он отвозил ее домой. Однажды она так разбила свою машину, что ей пришлось оставить ее на дороге. А так как ее имя было теперь связано со студией Чаплина, я стал беспокоиться, что, если в конце концов полиция заберет ее за езду в пьяном виде, подыметесь скандал. Вскоре она начала так буянить, что я уже перестал подходить к телефону и не стал открывать ей дверь, когда она звонила или появлялась после полуночи. Тогда она начала бить окна. Моя жизнь превратилась в кошмар.

К тому же я узнал, что она уже несколько недель не посещает школу Рейнгардта. Когда я ей об этом сказал, она вдруг заявила мне, что не желает быть актрисой и что, если я оплачу проезд до Нью-Йорка ей и ее матери и еще дам впридачу 5 тысяч долларов, она порвет свой контракт. При таком положении дел я с радостью согласился на ее требования, оплатил их проезд до Нью-Йорка, дал 5 тысяч долларов и был счастлив, что избавился от нее.

Несмотря на то, что предприятие с Берри провалилось, я не жалел, что купил право экранизации «Призрака и действительности» — я уже почти закончил сценарий, и он мне очень нравился.

После митинга в Сан-Франциско прошло много месяцев, а русские продолжали тщетно призывать нас к открытию второго фронта. Однажды я получил приглашение из Нью-Йорка выступить в Карнеги-холле. Я поразмыслил и решил, что уже сделал достаточно и могу не ехать. Однако на другой день, играя в теннис с Джеком Уорнером<sup>1</sup> на своем корте, я заговорил с ним об этом. Он вдруг загадочно покачал головой и сказал:

— Не ездите.

— Почему? — спросил я.

Ничего не объясняя, он лишь добавил:

— Позвольте мне вас предостеречь. Не ездите.

Его слова возымели на меня обратное действие. Мне был брошен вызов. В те дни уже не требовалось особого красноречия, чтобы, говоря о втором фронте, возбудить симпатии американцев — Россия только что одержала победу под Сталинградом. И я уехал в Нью-Йорк, захватив с собой Тима Дьюрента.

На митинге в Карнеги-холле присутствовали Перл Бак, Рокуэлл Кент, Орсон Уэллес<sup>2</sup> и многие другие знаменитости. Передо мной выступал Орсон Уэллес. Но когда в зале поднялся вой и топот, он, как показалось мне, повел свое суденышко ближе к берегу. Он говорил о том, что не видит причин не выступить на этом собрании, поскольку дело идет о помощи русским в войне, а русские — наши союзники. Его речь была кашей без соли и только усилила мою решимость высказать всю правду. Я начал с упоминания о журналисте, обвинившем меня в том, что я хочу командовать в этой войне.

— Судя по ярости, с которой нападает на меня этот журналист, — сказал я, — можно подумать, что ему просто завидно, так как он сам желает командовать. Все горе в том, что мы с ним расходимся в вопросах стратегии — он не хочет открытия второго фронта в данный момент, а я хочу.

«На этом митинге между Чарли и его слушателями царил любовное согласие», — писала «Дейли уоркер». Но у меня после митинга было смутно на душе. Конечно, я испытывал удовлетворение, но вместе с тем меня мучили тревожные предчувствия.

Выйдя из Карнеги-холла, мы с Тимом пошли ужинать с Констанс Коллиер, которая тоже была на митинге. Она была очень взволнованна, хотя уж кто-кто, а Констанс отнюдь не придерживалась левых убеждений. Когда мы вернулись в «Уолдорф-Асторию», мне передали несколько записок, в которых было сказано, что звонила Джоан Берри. У меня мурашки пошли по коже. Я немедленно разорвал эти записки, но телефон снова зазвонил. Я хотел предупредить телефонистку, чтобы меня ни с кем не соединяли, но тут вмешался Тим:

— Не делай этого. Лучше поговори с ней, а то она еще заявится сюда и устроит скандал.

И когда телефон снова зазвонил, я взял трубку. Берри разговаривала нормально и даже мило, сказала, что хотела лишь зайти и поздороваться. Я ответил согласием, но попросил Тима ни на минуту не оставлять меня с ней наедине. В тот вечер Берри рассказала мне, что все время со дня своего приезда в Нью-Йорк живет в отеле «Пьер», принадлежащем Полу Гетти. Я что-то врал ей, говорил, что мы пробудем здесь день или два и что я непременно постараюсь выбрать время и позавтракать с ней где-нибудь. Она

пробыла у меня с полчаса и попросила проводить ее домой, до отеля «Пьер». Но когда затем она стала настаивать, чтобы я проводил ее до лифта, я уже встревожился. Однако я оставил ее у входа в отель — и это был первый и последний раз, что я видел ее в Нью-Йорке.

В результате моих выступлений за открытие второго фронта моя светская жизнь постепенно стала сходиться на нет. Меня больше не приглашали проводить субботу и воскресенье в богатых загородных домах.

Сразу после митинга в Карнеги-холле ко мне в гостиницу зашел Клифтон Фэдимен, писатель и эссеист, работавший в радиоконпании «Колумбия». Он спросил, не соглашусь ли я выступить по радио для заграницы. Мне дают семь минут, и я могу говорить, что угодно. Я было согласился, но когда он упомянул, что я буду выступать в программе Кэт Смит, я немедленно отказался, объяснив, что не желаю излагать свои взгляды на войну, если это должно завершиться рекламой желе. Я не собирался обидеть Фэдимена, очень милого, одаренного и культурного человека, — но при упоминании о желе он покраснел. Я тут же пожалел о словах, глупо сорвавшихся с языка.

Я стал получать огромное количество писем с самыми разнообразными предложениями — читать лекции, вести дискуссии или выступать в защиту второго фронта.

Чувствуя, как меня засасывает мощный поток политической деятельности, я невольно задавал себе вопрос: что же меня к этому побудило? Говорил ли во мне актер, которого подстегивает возможность непосредственного общения с живым зрителем? Пошел ли бы я на столь донкихотский поступок, не сделай я перед этим антифашистского фильма? Может быть, это было проявлением моего раздражения против звуковых фильмов? Думаю, что налицо имелись все эти элементы. Но самым сильным из них была моя ненависть и презрение к фашизму.

## XXVII

Вернувшись в Беверли-хилс, я продолжал работать над экранизацией пьесы «Призрак и действительность». Как-то ко мне пришел Орсон Уэллес<sup>1</sup> и рассказал, что собирается ставить серию документальных фильмов, основой для которых должны послужить случаи из жизни. Героем одного из них должен был стать знаменитый убийца-многоженец француз Ландрю — «Синяя борода». Уэллес считал, что это была бы прекрасная драматическая роль для меня.

Я заинтересовался его предложением — мне хотелось какой-то перемены после комедий, а главное, не надо самому писать, играть и ставить, как я это делал уже в продолжение многих лет. Я попросил показать мне сценарий.

— Он еще не написан, — сказал Уэллес. — Но достаточно взять отчеты о процессе Ландрю, и сценарий готов. Я полагал, может быть, вы захотите участвовать в его создании.

Я был разочарован.

— Если надо еще помогать писать сценарий, тогда меня это не интересует, — сказал я, и на том дело и кончилось.

Но день или два спустя я вдруг подумал, что из истории Ландрю могла бы получиться великолепная комедия. Я тут же позвонил Уэллесу.

— Послушайте, мне пришла в голову мысль сделать на этом материале комедию. Она не будет иметь никакого отношения к вашему «документальному» Ландрю, но во избежание недоразумений я согласен уплатить вам пять тысяч долларов только за то, что вы подсказали мне идею.

Он начал мямлить и отнекиваться.

— Слушайте, но ведь история Ландрю не выдумана вами или кем-нибудь другим, — сказал я. — Она доступна всем.

Поразмыслив, Уэллес согласился и попросил меня связаться с его адвокатом. Вскоре была заключена сделка: Уэллес получает пять тысяч долларов, а я освобождаюсь от каких бы то ни было обязательств. Уэллес принял условия, лишь с одной оговоркой: посмотрев фильм, он имеет право потребовать, чтобы я вставил в титры фильма следующую надпись: «Сюжет подсказан Орсоном Уэллесом».

Увлеченный своим замыслом, я не задумался над этим требованием Уэллеса. Если бы я мог предвидеть, как он впоследствии станет этим злоупотреблять, то, конечно, настоял бы, чтобы никаких дополнений в титрах не было.

Отложив экранизацию пьесы, я начал писать сценарий «Мсье Верду» и уже работал над ним около трех месяцев, когда в Беверли-хилс вдруг появилась Джоан Берри. Мой дворецкий сообщил мне, что она звонила, но я сказал, что ни в коем случае не хочу ее видеть.

Все, что затем последовало, было не только мерзко, но и опасно. Так как я отказался ее видеть, Берри ворвалась ко мне в дом, била стекла, угрожала меня застрелить и требовала денег. В конце концов я был вынужден вызвать полицию — это следовало бы сделать давно, не думая о том, какой это лакомый кусок будет для газет. Во избежание скандала, полицейские власти сделали, что могли, обещая не предъявлять Джоан Берри обвинения в бродяжничестве, если я соглашусь оплатить ее обратный проезд до Нью-Йорка. Я согласился, а полиция со своей стороны предупредила ее, что если она появится в окрестностях Беверли-хилс, то будет арестована за бродяжничество.

Как-то жаль, что самое счастливое событие в моей жизни произошло вслед за этим омерзительным эпизодом. Но ведь так и бывает в жизни: после ночного мрака занимается заря и восходит солнце.

Несколько месяцев спустя мне однажды позвонила мисс Уоллис, голливудский агент по найму киноактеров, и сказала, что на днях из Нью-Йорка приехала актриса, которая, по ее мнению, может подойти для роли Бриджет, героини пьесы «Призрак и действительность», которую я собирался экранизировать. Сценарий «Мсье Верду» шел у меня туго — мне очень трудно давалась психологическая мотивировка поступков героя. В сообщении мисс Уоллис я усмотрел указание судьбы отложить работу над «Мсье Верду» и вернуться к экранизации. Я позвонил мисс Уоллис, чтобы расспросить ее поподробнее об актрисе. Она сказала мне, что это Уна О'Нил, дочь известного драматурга Юджина О'Нила. Лично я не был знаком с ним, но, припомнив мрачноватую серьезность его пьес, почему-то подумал, что дочь такого человека должна быть довольно унылым существом.

— А играть она умеет? — спросил я.

— У нее небольшой опыт работы в театре, — ответила мисс Уоллис. — Летом она ездила с труппой на Восток. Но вы лучше снимите ее на пробу и посмотрите. Или, если не хотите себя связывать, приходите ко мне обедать — я приглашу ее.

Я приехал довольно рано и, войдя в гостиную, увидел молодую девушку, сидевшую у камина. Она была одна. Я представился, сказав, что, очевидно, имею честь говорить с мисс О'Нил. Она улыбнулась, и мои мрачные предчувствия сразу развеялись. Я был пленен ее сияющей прелестью и каким-то особенным, ей одной присущим обаянием. В ожидании хозяйки дома мы непринужденно болтали.

Наконец появилась мисс Уоллис и представила нас друг другу. Обедали вчетвером: мисс Уоллис, мисс О'Нил, Тим Дьюрэнт и я. Хотя мы старались не говорить о делах, разговор все время вертелся вокруг них. Я упомянул, что героиня в «Призраке и действительности» очень молода, и мисс Уоллис, как бы невзначай, заметила, что мисс О'Нил недавно исполнилось семнадцать. У меня упало сердце. Правда, роль требовала молодой исполнительницы, но образ был очень сложен, и я понимал, что тут нужна актриса постарше и гораздо более опытная. С большой неохотой я отказался от мысли пригласить на эту роль мисс О'Нил.

Но когда несколько дней спустя мисс Уоллис снова мне позвонила, чтобы узнать, что я решил относительно актрисы, так как ею заинтересовалась кинокомпания «Фокс», я поспешил подписать с мисс О'Нил контракт. Это положило начало тому полному счастью, которое длится уже двадцать лет и, надеюсь, продлится еще долго-долго.

Чем больше я узнавал Уну, тем больше изумляли меня ее чувство юмора и терпимость — она всегда с уважением относилась к чужому мнению. Я полюбил ее и за это и за многое другое. К этому времени ей едва исполнилось восемнадцать, но я видел, что она не подвержена капризам этого возраста. Она была исключением из правил, но вначале меня все-таки пугала разница в возрасте. Однако Она была настроена решительно, как будто она точно знала, что надо сделать. Мы решили пожениться, как только закончим съемки «Призрака и действительности».

Я сделал первый набросок сценария и готовился к съемкам. Если бы мне удалось передать в фильме редкостное обаяние Уны, «Призрак и действительность» имел бы огромный успех.

Но как раз в этот момент в городе снова появилась Берри и заявила по телефону моему дворецкому, что она на третьем месяце беременности и осталась без всяких средств к существованию; при этом она никого не обвиняла и не давала понять, кто же ответствен в ее горестях. Поскольку меня это ни в коей мере не касалось, я сказал дворецкому, что, если она опять вздумает ворваться ко мне в дом, я вызову полицию, каким бы скандалом мне это ни грозило. Однако она появилась на следующий же день и с самым беззаботным видом начала прогуливаться возле моего дома. Очевидно, она действовала по заранее обдуманному плану. Впоследствии выяснилось, что какая-то сердобольная журналистка, специализировавшаяся на статейках по вопросам морали, посоветовала ей устроить так, чтобы ее арестовали возле моего дома. Я вышел на улицу и предупредил Берри, что, если она немедленно не уйдет, я буду вынужден вызвать полицию. Но она только рассмеялась. Не желая дальше терпеть этот шантаж, я велел дворецкому позвонить в полицию.

Через несколько часов газеты уже пестрели крупными заголовками. Меня пригвоздили к позорному столбу, облили помоями и всячески поносили: «Чаплин, отец неродившегося ребенка, добился ареста матери, которую оставил без средств к существованию». Неделю спустя мне предъявили иск о признании отцовства. Я обратился к своему адвокату Ллойд Райту, объяснив ему, что порвал всякие отношения с Берри более двух лет тому назад.

Зная о моем намерении приступить к съемкам «Призрака и действительности», Райт деликатно посоветовал мне отложить их, а Уну на время отослать в Нью-Йорк. Но мы не последовали его совету — противно было поступать в зависимости от вранья Берри и газетной клеветы. Я еще прежде просил Уну стать моей женой, и теперь мы решили, что нам следует пожениться немедленно. Мой друг Гарри Кроккер заранее обо всем договорился и все устроил. Гарри работал теперь у Херста и пообещал сделать всего лишь несколько снимков свадьбы — пусть уж лучше Херст получит исключительное право их публикации, а Луэлла Парсонс, наша приятельница, сама напишет статью, чем нам отдавать себя на растерзание других газет.

Мы зарегистрировали наш брак в Карпинтерии, тихом маленьком селении, в пятнадцати милях от Санта-Барбары. Но прежде нужно было получить разрешение в ратуше Санта-Барбары. Было еще только восемь часов утра, и город в этот ранний час едва просыпался. Чиновник, выдающий разрешение, обычно оповещает газеты, если один из будущих супругов пользуется известностью. Для этого ему достаточно нажать кнопку под столом. Во избежание нашествия фоторепортеров мой приятель Гарри посоветовал мне не входить в ратушу, пока Уна будет регистрироваться. Записав все необходимые сведения — имя, возраст, чиновник спросил Уну: «А где же жених?»

Когда появился я, он был потрясен: «Вот это сюрприз!» Гарри заметил, что его рука сразу скрылась под столом. Мы стали его торопить изо всех сил, и, хотя он тянул, как только мог, ему все-таки пришлось выдать нам разрешение. Однако в тот момент, когда мы вышли из ратуши и сели в машину, во двор влетели машины с репортерами. Началась погоня — мы мчались по пустынным улицам Санта-Барбары, сворачивая то в один переулок, то в другой, визжали тормоза, машину заносило, но в конце концов нам удалось удрать от репортеров и приехать в Карпинтерию, где мы с Уной тихо зарегистрировали наш брак. Мы сняли на два месяца дом в Санта-Барбаре и, несмотря на поднятый газетами шум, вели там очень мирное существование — никто не знал, где мы живем. Но все-таки при каждом звонке мы невольно вскакивали.

Вечерами мы совершали длинные прогулки, стараясь, однако, чтобы нас не видели и не могли узнать. Иногда меня вдруг охватывало глубокое уныние — я чувствовал неприязнь и ненависть целой нации, обращенную против меня, и думал о том, что моя жизнь в кино теперь кончилась. В такие минуты Уна выводила меня из этого настроения, читая мне вслух «Трильби» — произведение в викторианском вкусе и очень забавное, особенно в тех местах, где автор на многих страницах пытается объяснить и извинить Трильби, великодушно жертвующую своей девственностью. Уна читала, уютно свернувшись калачиком в кресле перед огнем, жарко пылавшим в камине. И эти два месяца в Санта-Барбаре, несмотря на какие-то минуты уныния, были до краев полны романтикой счастья, тревоги и порой отчаяния.

В Лос-Анжелосе нас ждали неприятные известия от моего друга Мерфи, члена Верховного суда Соединенных Штатов. Он сообщал, что слышал за обедом, на котором присутствовали влиятельные лица, как кто-то из них сказал, что они «доберутся до Чаплина». «Если у вас будут неприятности, — писал Мерфи, — обратитесь лучше к малоизвестному, скромному адвокату, только не к знаменитости».

Однако федеральные власти начали действовать лишь некоторое время спустя. Они встретили единодушную поддержку прессы, в глазах которой я был гнуснейшим злодеем.

Тем временем мы готовились к процессу о признании отцовства. Поскольку это был гражданский иск, федеральные власти не имели к нему никакого отношения. Ллойд Райт предложил мне потребовать проверки групп крови, которая могла бы неопровержимо доказать, что я не являюсь отцом ребенка Берри. Некоторое время спустя



он сообщил, что договорился с ее адвокатом о следующих условиях: если я дам Джоан Берри 25 тысяч долларов, она согласится на проверку группы крови и в случае благоприятного для меня результата анализа откажется от своего иска. Я ухватился за это предложение. Однако шансов на благоприятный результат было мало, потому что одна и та же группа встречается у очень многих людей. Адвокат пояснил мне, что если группа крови ребенка будет не та, что у матери, и не та, что у подозреваемого отца, это будет значить, что отцом является другой человек.

Сразу после рождения ребенка Берри федеральные власти начали предварительное расследование и брали у нее показания с явным намерением привлечь меня к ответственности, хотя на каком основании — я не мог себе представить. Друзья посоветовали мне обратиться к Гизлеру, известному адвокату по уголовным делам, что я и сделал, вопреки совету Мерфи. Это было, конечно, ошибкой, так как могло показаться, будто мне грозят серьезные неприятности. Ллойд Райт договорился о встрече с Гизлером, чтобы обсудить, на каких основаниях федеральные власти могли бы затеять против меня дело. Оба адвоката слышали, что меня собираются обвинить в нарушении закона Манна.

Федеральные власти время от времени прибегали к такому законодательному шантажу для дискредитации политического противника. Закон Манна когда-то был принят для того, чтобы воспретить перевозку женщин из одного штата в другой в целях проституции. После запрещения публичных домов закон устарел, но им продолжают пользоваться для расправы с неудобными лицами. Если, например, разведенные супруги вместе переедут границу штата, а потом проведут вдвоем ночь, муж окажется повинным в нарушении закона Манна и может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет. Именно опираясь на этот призрачный закон, правительство Соединенных Штатов предъявило мне обвинение.

Было состряпано и другое обвинение, которое основывалось уже на таком фантастически устарелом параграфе, что в конце концов правительство само от него отказалось. Райт с Гизлером согласились, что оба обвинения нелепы и что добиться моего оправдания будет нетрудно.

Большое жюри<sup>1</sup> начало расследование. Я был уверен, что вся их затея провалится, — ведь Берри, насколько мне было известно, ездила в Нью-Йорк и обратно в сопровождении своей матери. Однако несколько дней спустя мне позвонил Гизлер.

— Чарли, вам предъявлено обвинение по всем пунктам, — сказал он. — Обвинительный акт мы получим позднее. Я вам сообщу, когда будет назначен предварительный разбор дела.

То, что произошло в последующие недели, напоминало страшные рассказы Кафки. Мне пришлось бороться за свою свободу, напрягая все силы. Признание меня виновным по всем пунктам грозило мне двадцатью годами тюрьмы.

После предварительного слушания дела репортеры и фотографы развили бешеную деятельность. Они ворвались в кабинет федерального судебного исполнителя и, несмотря на мои протесты, сфотографировали меня в тот момент, когда у меня снимали отпечатки пальцев.

— Они имеют на это право? — спросил я.

— Нет, — ответил мне судебный исполнитель. — Но разве этих ребят удержишь.

И это говорил правительственный чиновник.

Наконец, врачи разрешили взять кровь на анализ у ребенка Берри. Ее адвокат договорился с моим о клинике, — и у Берри, ее ребенка и у меня была взята кровь. Несколько времени спустя мне позвонил мой адвокат и радостно сообщил:

— Чарли, вы оправданы. Анализ показывает, что вы не могли быть отцом ребенка!

— Вот оно, возмездие! — сказал я с чувством.

Эта новость произвела сенсацию в печати. В одной газете было сказано: «Чарльз Чаплин оправдан». В другой: «Анализы крови с полной очевидностью доказывают, что Чаплин не является отцом ребенка».

Хотя результаты анализов крови поставили федеральные власти в затруднительное положение, дело не было прекращено.

Приближался день суда, и мне приходилось проводить долгие, тоскливые вечера у Гизлера, подробно уточняя каждую деталь моих встреч с Джоан Берри. В это время я получил из Сан-Франциско очень важное письмо от одного католического священника, писавшего, что, по его сведениям, Берри является орудием фашистской организации и что он готов приехать в Лос-Анжелос, чтобы дать показания. Но Гизлер сказал, что это не имеет отношения к предъявляемым мне обвинениям.

У нас было множество доказательств, дискредитирующих Берри и ее прошлое. Несколько недель мы готовились к защите по этой линии, но как-то вечером Гизлер, к моему удивлению, вдруг заявил, что попытки скомпрометировать Берри — устарелый прием и, хотя в деле Эррола Флинна он оказался удачным, мы обойдемся и без этого.

— Мы легко выиграем ваше дело, не пуская в ход эту грязь, — сказал он.

Может быть, для Гизлера это была и «грязь», но для меня все доказательства ее неблагоприятного прошлого имели очень большое значение.

У меня были письма Берри, в которых она просила прощения за все причиненные мне неприятности и благодарила меня за доброту и щедрость. Я хотел представить эти письма суду, чтобы опровергнуть клеветнические выпады печати. Я даже был рад, что скандал достиг такого накала, при котором газеты будут вынуждены напечатать правду, и тогда я буду оправдан в глазах американцев, — так по крайней мере мне казалось.

Тут я должен сказать несколько слов о Дж. Эдгаре Гувере и его организации. Мое дело разбиралось в федеральном суде, и федеральное бюро расследований приложило к нему руку, стараясь добыть хоть какие-нибудь улики, которые могли бы пригодиться обвинению. Много лет тому назад я как-то познакомился с Гувером. Если вам удавалось освоиться с жестоким выражением его лица и со сломанным носом, Гувер мог показаться даже приятным. В тот раз он с восторгом рассказывал мне, что ему удалось привлечь к себе на работу способных людей, включая студентов юридического факультета.

И вот теперь, спустя несколько дней после предъявления мне обвинения, я увидел Гувера в ресторане Чезена — он сидел неподалеку от нас с Уной со своими сотрудниками из ФБР. За его столиком сидел и Типпи Грей, которого я еще с 1918 года по временам встречал в Голливуде. Грей довольно часто появлялся на голливудских приемах — этакий не внушающий доверия тип, но всегда веселый и с неизменной пустой улыбочкой, которая почему-то раздражала меня. Я считал его просто повесой, каким-нибудь статистом в кино. Но тут я никак не мог понять, каким образом он очутился за столиком Гувера. Когда мы с Уной встали, собираясь уйти, я обернулся как раз, когда Типпи Грей посмотрел в нашу сторону, и наши взгляды встретились. Он уклончиво улыбнулся. И тут мне сразу стало понятно неопределимое удобство такой улыбочки.

Наконец наступил день суда. Гизлер назначил мне встречу перед зданием федерального суда точно без десяти минут десять, чтобы мы могли вместе войти в зал, который помещался на втором этаже. Наш приход не произвел особого впечатления — представители печати игнорировали меня. Они рассчитывали получить вдоволь материала

из самого процесса. Усадив меня в кресло, Гизлер стал расхаживать по залу, разговаривая со знакомыми. Казалось, что в этом развлечении участвуют все, кроме меня.

Я взглянул на федерального прокурора. Он читал какие-то бумаги, делал записи, с кем-то разговаривал и самоуверенно посмеивался. Типпи Грей тоже был здесь — он то и дело украдкой поглядывал в мою сторону и улыбался своей ни к чему не обязывающей улыбочкой.

Гизлер оставил на столе бумагу и карандаш, чтобы во время суда делать заметки, а я, чтобы не сидеть без дела и не глазеть, начал рисовать. Гизлер немедленно примчался.

— Перестаньте сейчас же, — зашептал он, выхватывая у меня бумагу и разрывая ее в клочки. — Если бы репортерам удалось завладеть хотя бы одним клочком, они немедля подвергли бы его психоанализу и на этом основании вывели бы какие угодно заключения.

А я успел лишь нарисовать речку, через которую был перекинут живописный мостик, — я еще в детстве любил это рисовать.

Напряжение в зале возросло, все уже сидели на местах. Секретарь суда трижды стукнул молотком, и все встали. В обвинении против меня было выдвинуто четыре пункта: два в нарушении закона Манна и два в нарушении прав гражданина по такому устарелому закону, что о нем никто не слыхивал со времен войны между Севером и Югом. Гизлер попытался отвести весь обвинительный акт целиком, но это была пустая формальность — с таким же успехом он мог бы выставить из цирка зрителей, купивших билеты и ждущих представления.

Два дня ушло на отбор двенадцати присяжных. Был представлен список из двадцати четырех человек, причем каждая из сторон имела право отвести из предложенного состава шестерых. Кандидатов подвергли дотошному допросу под неослабным наблюдением обеих сторон. При этой процедуре судья и представители сторон допрашивают присяжного, сможет ли он судить это дело беспристрастно, задавая ему, примерно, такие вопросы: читал ли он газеты, не оказали ли они на него влияние, не появилось ли у него какого-либо предубеждения после их прочтения, не знает ли он кого-либо, так или иначе связанного с данным процессом? Вся эта процедура казалась мне достаточно циничной, поскольку девяносто процентов газетных статей в течение года и двух месяцев непрерывно поносили меня. Допрос будущего присяжного длился около получаса, и в течение этого времени представители обвинения и защиты посылали своих осведомителей, которые бежали бегом добывать о нем сведения. Как только называли имя кандидата в присяжные заседатели, Гизлер срочно делал какие-то заметки и передавал их одному из своих осведомителей, и он немедленно исчезал. Минут десять спустя осведомитель возвращался и подсовывал Гизлеру записку с такой информацией: «Джо Докс, приказчик галантерейного магазина — жена, двое детей, в кино никогда не ходит». «Пока попридержим его», — шептал в ответ Гизлер. И так продолжался отбор с отводами или согласием сторон, причем прокурор точно так же шептался со своими осведомителями. Время от времени Типпи Грей посматривал со своей неизменной улыбочкой в мою сторону.

Когда было уже отобрано восемь присяжных, на трибуну поднялась женщина, и Гизлер сразу шепнул: «Не нравится она мне». И все время он не переставал повторять: «Что-то в ней мне очень не нравится». И пока даму еще продолжали допрашивать, осведомитель Гизлера вручил ему записку.

— Так я и знал, — шепнул он, прочтя сообщение. — Она была репортером лос-анжелосского «Таймса»! Нам надо избавиться от нее. Заметьте, и прокурор слишком быстро согласился с ее кандидатурой.

Я хотел повнимательнее в нее взглядеться, но я плохо видел и потянулся за очками. Гизлер быстро схватил мою руку.

— Не надевайте очки, — шепнул он.

У меня было такое впечатление, что женщина погружена в свои мысли, но без очков я не мог ее разглядеть как следует.

— К несчастью, — заметил Гизлер, — у нас осталось только два отвода, так что пока придется воздержаться.

В дальнейшем отборе нам пришлось использовать оба оставшихся у нас отвода против кандидатов, явно настроенных против меня, и Гизлеру пришлось согласиться на ввод репортерши.

Я слушал всю эту юридическую абракадабру прокурора и защитника, и мне казалось, что они поглощены какой-то игрой, а я здесь совершенно ни при чем. Но где-то в глубине моего сознания, несмотря на всю нелепость предъявленных мне обвинений, порой мелькала мысль, что меня все-таки могут упрятать за решетку, хотя у меня это не укладывалось в сознании. По временам я начинал думать о моем артистическом будущем, однако эти мысли были сейчас такими далекими и хаотичными. Я старался выбросить их из головы — я мог думать только об одном.

Но какие бы неприятности ни одолевали человека, он не может все время оставаться серьезным. Я вспоминаю какие-то минуты перерыва, когда суд удалился на совещание, чтобы обсудить чисто юридический вопрос. Присяжные вышли, судья и представители сторон тоже покинули зал. И я остался там наедине с публикой и фоторепортером. Фоторепортер пытался заснять меня в позе человека, убитого горем. Едва я надел очки, чтобы почитать, он выхватил фотоаппарат, а я мгновенно снял очки. Это вызвало смех в зале. Он опустил фотоаппарат, и я снова надел очки. Мы довольно добродушно играли с ним в кошки-мышки — он хватал фотоаппарат, я сдергивал очки, а публика веселилась. Но появились присяжные, и я, конечно, тотчас же снял очки и принял серьезный вид.

Суд продолжался несколько дней. Так как дело рассматривалось в федеральном суде, в качестве свидетелей были вынуждены выступить мистер Пол Гетти, приятель Джоан Берри, двое молодых немцев и другие ее поклонники. Пол Гетти признал, что в прошлом был в близких отношениях с Джоан Берри и тоже давал ей деньги. Очень важное значение имели ее письма ко мне, в которых она просила прощения за все причиненные неприятности и благодарила меня за доброту и щедрость. Гизлер пытался приобщить эти письма к делу, но суд этому воспротивился. Мне думается, что Гизлер не проявил достаточной настойчивости.

Защитой были представлены доказательства того, что одну из ночей, предшествовавших вторжению Берри в мой дом, она провела в квартире свидетеля — молодого немца, который подтвердил это.

Пока суд копался в подобной мерзости, у меня было такое чувство, будто меня выставили у позорного столба — ведь я был центром всего происходящего. Но едва я покидал зал суда, как все это забывалось, и после спокойного обеда вдвоем с Уной я, вконец измученный, ложился спать.

Помимо напряжения и неприятного чувства, которое я испытывал в суде, меня еще раздражала необходимость вставать в семь утра и мчаться сразу после завтрака — надо было целый час ехать по забитому машинами Лос-Анжелосу, чтобы попасть к зданию суда точно вовремя, за десять минут до начала заседания. Наконец разбирательство закончилось. Обвинитель и защитник потребовали для своих речей по два с половиной

часа. Я не представлял себе, о чем они будут говорить так долго. Мне казалось совершенно ясным, что обвинение, выдвинутое федеральными властями, провалилось. Я уже не думал, что меня могут признать виновным по всем пунктам и посадить в тюрьму. Мне только казалось, что заключительная речь судьи могла бы быть менее неопределенной. Мне хотелось понять, какое впечатление произвело разбирательство дела на женщину-присяжную, бывшую когда-то репортером в лос-анжелосском «Таймсе», но она сидела, отвернувшись от меня, а когда присяжные уходили совещаться, она вышла из зала, не глядя по сторонам.

Когда мы покидали зал суда, Гизлер шепнул мне на ухо:

— Сегодня нельзя уезжать, пока не будет вынесен приговор. Но, — прибавил он бодро, — мы можем посидеть на балконе и погреться на солнышке.

При этом едва уловимом намеке я почувствовал, словно меня крепко сжала страшная рука, напомнив, что я нахожусь во власти неумолимого закона.

Это было в половине второго; я считал, что присяжные договорятся о вердикте минут за двадцать, не больше, и решил пока не звонить Уне. Однако прошел целый час. Я позвонил и сказал, что присяжные еще совещаются, но как только я узнаю вердикт, я немедленно дам ей знать.

Прошел еще час, а присяжные все совещались. В чем же могла быть причина такой задержки? Им достаточно было десяти минут — они могли вынести только одно решение: о моей невиновности. Все это время мы сидели с Гизлером на балконе, но не обсуждали возможные причины задержки, затем Гизлер, не выдержав, посмотрел на часы.

— Уже четыре, — сказал он небрежно, — не понимаю, почему они так тянут!

И тут мы спокойно и откровенно заговорили о том, какие пункты могли вызвать столь длительный спор между присяжными.

Без четверти пять раздался звонок, возвестивший, что присяжные наконец договорились. У меня забилося сердце, но Гизлер, когда мы входили в зал, торопливо шепнул:

— Будьте сдержанны, каким бы ни был приговор.

Задыхаясь, чуть не бегом, опережая нас, подымался по лестнице очень возбужденный прокурор со своими бодро бежавшими за ним помощниками. Типпи Грей шел последним и, обогнав нас, с улыбочкой оглянулся.

Зал суда быстро наполнялся, напряжение росло. Не знаю, почему, но я был почти спокоен, хотя сердце бешено колотилось и горло сжимало.

Секретарь суда трижды стукнул молотком — это означало, что суд идет, и все встали. Вошли присяжные, и старшина протянул вердикт секретарю суда. Гизлер сидел, опустив голову, глядя под ноги и нервно бормоча:

— Если признали виновным, это будет самой большой судебной ошибкой, с какой мне приходилось встречаться!

Секретарь суда прочитал обвинение, затем снова трижды постучал молотком и среди мертвой тишины объявил:

— Чарльз Чаплин... уголовное дело за номером 337068. По первому пункту обвинения... — последовала долгая пауза — не виновен!

Публика охнула и тотчас воцарилось напряженное молчание.

— По второму пункту обвинения... не виновен!

В зале началось настоящее столпотворение. Я даже не подозревал, что у меня так много друзей, — кто-то, перепрыгнув через барьер, обнимал и целовал меня. Я перехватил взгляд Типпи Грея — он уже не улыбался, и вид у него был смущенный.

И тут ко мне обратился судья:

— Мистер Чаплин, вы можете покинуть зал суда. Вы свободны. — Он пожал мне руку и поздравил; то же самое сделал прокурор. Гизлер шепнул мне:

— Пойдите пожмите руку всем присяжным.

Едва я к ним приблизился, как дама, которой Гизлер не доверял, встала и протянула мне руку. И тут я в первый раз увидел вблизи ее лицо, освещенное умом и человеческим сочувствием, — оно было прекрасно. И пока мы обменивались рукопожатием, она, улыбаясь, сказала: «Все в порядке, Чарли. Эта страна пока еще остается свободной».

Я не решился ничего сказать ей в ответ — ее слова слишком потрясли меня. Я смог лишь кивнуть и улыбнуться, а она продолжала:

— Я видела вас из окна совещательной комнаты, как вы ходили взад и вперед, и мне так хотелось сказать вам, чтоб вы не волновались. Если бы не одна особа, мы бы приняли решение за десять минут.

Я с трудом удерживался от слез и лишь улыбался и продолжал ее благодарить. Наконец я обернулся, чтоб поблагодарить остальных присяжных. Все они сердечно пожимали мне руку, кроме одной женщины, весь вид которой выражал неприкрытую ненависть. Я уже собирался отойти и вдруг услышал голос старшины.

— Ну, хватит сердиться, старушка! Пожмите руки друг другу.

Женщина очень неохотно подала мне руку, а я холодно поблагодарил ее.

Уна — она была в то время на пятом месяце беременности — оставалась дома. Она в одиночестве сидела на лужайке и, услышав решение суда по радио, упала в обморок.

Мы мирно пообедали в тот вечер вдвоем с Уной. Нам не хотелось ни видеть газет, ни отвечать на телефонные звонки. Я был не в состоянии с кем-либо встречаться или разговаривать. Я чувствовал себя опустошенным, оскорбленным, выставленным на посмешище. Даже присутствие прислуги смущало меня.

После обеда Уна приготовила крепкие коктейли, мы с ней сели у камина, и я рассказал ей, почему так задержалось вынесение приговора, передал слова женщины-присяжной о том, что пока это еще свободная страна. После стольких недель напряжения наступила реакция. В эту ночь я лег спать со счастливым сознанием, что мне не надо вскакивать рано утром и мчаться в суд.

Дня через два Лион Фейхтвангер сказал мне шутя:

— Вы единственный актер, который войдет в историю Америки как человек, вызвавший политическую бурю в стране.

И тут вдруг снова возник иск о признании отцовства, который я считал полностью опровергнутым анализами крови. Другому адвокату, достаточно влиятельному среди местных политиканов, с помощью ловкого мошенничества удалось вновь возбудить иск против меня. Весь фокус состоял в том, что он сумел передать опеку над ребенком в руки суда, и поэтому для возбуждения иска уже не требовалось согласия матери. Таким образом, она могла сохранить данные ей мною 25 тысяч долларов, а суд, в качестве опекуна, мог требовать у меня деньги на содержание ребенка.

При первом слушании дела присяжные, к великому разочарованию моего адвоката, считавшего дело выигранным, не пришли к соглашению. Но при втором слушании дела, несмотря на анализы крови, которые по калифорнийским законам при разборах дел о признании отцовства считались непрекаемым доказательством, был вынесен неблагоприятный для меня приговор.

Единственно, чего нам с Уной обоим хотелось, — это уехать из Калифорнии. В год, когда мы с ней стали мужем и женой, мы попали в такую мясорубку, что отдых был нам просто необходим. Мы взяли своего черного котенка, сели в поезд и поехали в Нью-Йорк, а оттуда в Ниак, где сняли дом. Он стоял вдали от всего живого, на сухой каменистой земле, и тем не менее в нем было какое-то свое особое очарование — это был небольшой и очень славный старый дом, построенный еще в 1780 году. Обслуживала нас там премилая экономка, которая к тому же отлично готовила.

Вместе с домом мы унаследовали и доброго, старого фокстерьера, который к нам привязался и неотступно следовал за нами повсюду. Он аккуратно появлялся на веранде во время завтрака и, дружески помахав нам хвостом, спокойно ложился на пол и не мешал, пока мы завтракали. Когда наш черный котенок впервые увидел его, он сразу зашипел и зафырчал. Но пес продолжал лежать, не подымая головы, всем своим видом подчеркивая готовность к мирному сосуществованию.

Эти дни в Ниаке, которые мы проводили в полном одиночестве, были настоящей идиллией. Мы никого не видели, нас никто не посещал. Но это и было прекрасно — я еще не оправился после суда.

Хотя все эти мучения привели меня в очень нетворческое состояние, мне все же удалось довести сценарий «Мсье Верду» почти до конца, и теперь ко мне возвращалось желание как можно скорее завершить работу над ним.

Мы рассчитывали провести на востоке не меньше полугода — Уна хотела там родить. Но я не смог работать в Ниаке, и недель через пять нам пришлось вернуться в Калифорнию.

Вскоре после того как мы поженились, Уна призналась, что ей не хочется быть актрисой ни в кино, ни на сцене. Это меня очень обрадовало: наконец у меня была жена, а не девушка, которая делала карьеру. Я тогда же решил расстаться с мыслью об экранизации «Призрака и действительности» и снова вернулся к работе над сценарием «Мсье Верду», которая была, к сожалению, грубо прервана правительством. Правда, я часто думаю о том, что кино в лице Уны потеряло превосходную комедийную актрису с замечательно тонким чувством юмора.

Я вспоминаю, как перед самым судом мы с Уной зашли к ювелиру в Беверли-хилс, чтобы он починил ее сумочку. В ожидании мы стали разглядывать выставленные в витрине браслеты. Нам очень понравился изящный браслет, осыпанный бриллиантами и рубинами, но цена его показалась Уне слишком высокой. Я сказал ювелиру, что мы еще подумаем, и мы вышли из магазина. Как только мы сели в машину, я нервно зашептал:

— Поторопись! Гони, как можно быстрее! — и, сунув руку в карман, я осторожно вынул понравившийся ей браслет. — Мне удалось его стащить, пока он тебе показывал другие браслеты, — сказал я.

Уна вся побелела.

— Зачем ты это сделал!

Она повела машину, но вдруг завернула в переулок и, подъехав к обочине, остановила ее.

— Давай подумаем, что нам делать, — сказала она и снова повторила: — Зачем ты это сделал!

— Но я же не могу его теперь вернуть, — сказал я. Больше я не смог выдержать, расхохотался и признался в своей шутке: пока она рассматривала другие драгоценности, я отвел ювелира в сторону и купил браслет.

— А ты, думая, что я украл его, хотела стать соучастником преступления? — смеялся я.

— Я не могла допустить, чтобы у тебя были еще какие-то неприятности, — жалобно сказала Уна.

## XXVIII

В дни суда нас окружали добрые друзья, преданные и полные глубокого сочувствия, — Салка Фиртель, Клиффорд Одетс с женой, Эйслеры, Фейхтвангеры и многие другие.

Салка Фиртель, польская актриса, устраивала у себя в Санта-Монике интересные ужины, на которые приглашала людей искусства и литературы. У нее бывали Томас Манн, Бертольт Брехт, Шенберг, Ганс Эйслер, Лион Фейхтвангер, Стефан Спендер, Сирил Коннолли и множество других. Где бы Салка ни жила, она всегда создавала у себя «une maison Copret»<sup>1</sup>.

В доме Ганса Эйслера мы часто встречались с Бертольтом Брехтом — коротко остриженный, с неизменной сигарой во рту, он всегда был полон энергии. Несколько месяцев спустя я показал ему сценарий «Мсье Верду», и он довольно бегло просмотрел его.

— О, вы пишете сценарии на китайский манер. — И больше он мне ничего не сказал.

Как-то я спросил Лиона Фейхтвангера, что он думает о политическом положении в Штатах. Последовал довольно забавный ответ:

— В некоторых совпадениях можно усмотреть нечто весьма знаменательное: когда я построил себе новый дом в Берлине, к власти пришел Гитлер, и мне пришлось оттуда бежать. Не успел обставить себе квартиру в Париже, как и туда явились нацисты, и мне снова пришлось бежать. А теперь в Америке я только что купил себе дом в Санта-Монике... — Тут Фейхтвангер пожал плечами и выразительно улыбнулся.

Иногда мы встречались с Олдосом Хаксли и его женой. В ту пору он очень увлекался мистицизмом, а мне, по правде говоря, гораздо больше нравился циничный молодой человек 20-х годов.

Как-то мне позвонил наш друг Фрэнк Тейлор и сказал, что с нами очень хотел бы познакомиться уэльский поэт Дилан Томас. Я ответил, что мы будем очень рады.

— Хорошо, — с некоторым колебанием сказал Фрэнк, — тогда я приведу его, если только он будет трезв.

В тот же вечер, попозднее, раздался звонок, я открыл дверь, и к нам ввалился Дилан Томас. Если в таком состоянии он считался трезвым, то каков же он бывает



пьяным? — подумал я. День или два спустя он пришел к нам обедать и произвел уже гораздо лучшее впечатление. Глубоким, звучным голосом он прочел нам свои стихи. Я не помню образов, но слово «целлофан» почему-то сверкало в его волшебных строках, словно отраженное солнце.

Среди наших друзей был и Теодор Драйзер, которым я всегда горячо восхищался. Иногда он обедал у нас со своей женой, очаровательной Элен. Драйзер мог в душе горячо негодовать, но в обществе он всегда был мягким, добрым человеком. Когда он умер, драматург Джон Говард Лоусон, который произносил на его похоронах речь, предложил мне нести погребальный покров и прочесть над могилой написанное Драйзером стихотворение. Конечно, я ответил согласием.

Хотя по временам, когда я начинал думать о своей работе, меня мучили приступы малодушия, я все-таки никогда не терял веры в то, что хорошая комедия разрешит все мои трудности, и с этим чувством я закончил «Мсье Верду». Я писал сценарий почти два года — очень трудно было находить мотивировки, — но снимал потом картину всего лишь три месяца — для меня это было рекордным сроком. Затем я послал сценарий на цензуру в управление Брина. Вскоре я получил извещение о том, что на картину в целом наложен запрет.

Управление Брина — это отделение Легиона благопристойности, цензурная инстанция, которую на свою голову организовала «Моушн пикчэр ассосиейшн»<sup>1</sup>. Я согласен, что цензура необходима, но очень трудно установить ее границы. Единственно, что я мог бы здесь предложить, — это, чтобы правила цензуры были более гибкими и не догматичными и чтобы суждения выносились не по затронутой теме, а по тому, насколько умно, тактично и в хорошем вкусе она решена.

С моральной точки зрения я считаю, что показы физического насилия и ошибочной философии могут быть столь же вредны, как и соблазнительная сексуальная сцена. Бернард Шоу сказал, что дать негодю кулаком в зубы — это слишком легкий путь в решении жизненной проблемы.

До того как начать говорить о цензуре «Мсье Верду», необходимо хотя бы коротко рассказать его сюжет. «Синяя борода» Верду, незаметный банковский служащий, потерявший во время депрессии работу, решает заняться новым делом: он женится на богатых старых девах, а потом убивает их ради наследства. Его законная жена, бедная больная женщина, живет в деревне с их маленьким сыном и ничего не знает о преступных действиях мужа. После убийства очередной жертвы мсье Верду возвращается домой, как добрый муж-буржуа после тяжелого трудового дня. Этот человек — своеобразный парадокс добродетели и порока: он ухаживает за своими розами, старается не наступить на гусеницу на дорожке сада, в дальнем углу которого он сжег вместе с мусором одну из своих жертв. В сценарии есть жестокий юмор, горькая сатира и критика социального порядка. Цензоры прислали мне письмо с объяснением причин запрещения сценария. Прочитую часть письма; «...Мы пропускаем те моменты, которые представляются нам по своей идее и значению антиобщественными. Это та часть сценария, где Верду обвиняет «Систему» и осуждает существующий социальный строй. Мы обращаем ваше внимание в первую очередь на те места, которые выдержаны в недопустимо резких тонах и, по существу, являются прямым нарушением правил о нравственности в кинопродукции...

Мысль Верду сводится к тому, что смешно ужасаться его жестокостям, которые в конце концов всего лишь «комедия убийств» по сравнению с узаконенными боями войны, за которые «Система» награждает людей золотыми галунами. Не вступая в теоретический спор на тему о том, является ли война массовой бойней или

необходимой мерой, мы все же указываем на тот факт, что Верду, произнося свои речи, делает серьезную попытку морально оправдать свои преступления.

*Второе основание для запрета сценария может быть изложено короче. В картине речь идет о мошеннике, который обманным путем вынуждает нескольких женщин передать ему свои деньги, притворяясь, что женится на них. Здесь большое место уделяется незаконным любовным сношениям, что, по нашему мнению, дурно».*

В доказательство приводился длинный список конкретных возражений. Прежде чем изложить их, я хочу дать несколько страниц из моего сценария — эпизод Верду и Лидии, одной из его незаконных жен, старой женщины, которую он в эту ночь собирается убить.

*«Лидия входит в слабо освещенный коридор, тушит свет и исчезает в спальне, откуда пробивается луч света в темный теперь коридор. Медленно входит Верду. В конце коридора большое окно, в которое светит полная луна. Захваченный этим зрелищем, он тихонько подходит к окну.*

Верду (*вполголоса*). Как это прекрасно... этот бледный свет — час Эндимиона...

Голос Лидии (*из спальни*). О чем ты говоришь?

Верду (*восторженно*). Об Эндимионе, дорогая моя... о прекрасном юноше, которым овладела Луна.

Голос Лидии. Брось ты его, иди ко мне, ложись.

Верду. Иду, моя дорогая... И ступни наших ног утопали в цветах... (*Он уходит в спальню Лидии, оставляя коридор в полутьме, — лишь луна льет свет в окно.*)

Голос Верду (*из спальни Лидии*). Взгляни на эту луну. Я никогда еще не видел ее такой яркой!.. Бесстыдная луна.

Голос Лидии. «Бесстыдная луна!» Какой ты глупый!.. Ха-ха-ха... «Бесстыдная луна!»

*Музыка становится громче, доходя до ужасающе высокой ноты крещендо, и затем кадр наплывом показывает тот же коридор, но уже утром. Теперь в окно льются лучи солнца. Верду, мурлыча про себя какую-то песенку, выходит из спальни Лидии.*

Привожу возражения цензоров по поводу этого эпизода:

*«Просим заменить реплику Лидии: «Брось ты его, иди ко мне, ложись», следующей: «Брось ты его, ложись спать». Мы полагаем, что эта сцена должна быть сыграна так, чтобы у зрителя не возникала мысль о том, что Верду и Лидия собираются сейчас предаваться радостям супружеской жизни. Нужно также изменить реплику «бесстыдная луна», которая повторяется несколько раз, а также выход Верду из спальни его жены на другое утро, когда он что-то напевает про себя».*

Следующее возражение касалось диалога девушки, которую Верду встречает поздно ночью. Цензоры указывали, что девушка определенно характеризуется в эпизоде как проститутка, что также неприемлемо.

Конечно, девушка в сценарии проститутка — наивно было бы думать, что она приходит в квартиру Верду, только чтобы посмотреть у него гравюры. Но он же приводит ее для того, чтобы на ней испробовать действие смертельного яда, который, не оставляя никаких улик, спустя час после того, как она покинет его квартиру, убьет ее. Эту сцену можно назвать как угодно, но ни в коем случае не непристойной или двусмысленной. Цитирую этот эпизод сценария:

*«Парижская квартира Верду над мебельным магазином. Войдя с девушкой в комнату, Верду видит, что она спрятала под плащом заблудившегося котенка.»*

Верду. Вы любите кошек?

Девушка. Не особенно. Но он промок и озяб. У вас, наверно, не найдется немного молока, дать ему попить?

Верду. А вот и ошиблись, найдется. Как видите, будущее оказывается не таким мрачным, как вам кажется.

Девушка. А разве я произвожу впечатление пессимистки?

Верду. Производите, но я не думаю, что вы действительно пессимистка.

Девушка. Почему?

Верду. Чтобы выйти на улицу в такую ночь, как сегодня, надо быть оптимисткой.

Девушка. Я все, что угодно, только не оптимистка.

Верду. Значит, судьбе назло, наперекор богам?

Девушка (*насмешливо*). Вы удивительно наблюдательны.

Верду. И давно вы уже этим забавляетесь?

Девушка. О... три месяца.

Верду. Я вам не верю.

Девушка. Почему?

Верду. Такая хорошенькая девушка, как вы, могла бы добиться большего.

Девушка (*высокомерно*). Благодарю вас.

Верду. А теперь скажите мне правду. Вы только что вышли из больницы? Или из тюрьмы?.. Откуда?

Девушка (*добродушно, но с вызовом*). А зачем это вам знать?

Верду. Затем, что я хочу вам помочь.

Девушка. Благотворитель, а?

Верду (*вежливо*). Вот именно... И заметьте, что я ничего не прошу взамен.

Девушка (*изучая его*). И кто же вы?.. Из Армии спасения?

Верду. Ну что ж, ваше дело. Можете и дальше продолжать в том же духе, если вам нравится.

Девушка (*коротко*). Я только что вышла из тюрьмы.

Верду. За что вас посадили?

Девушка (*пожимая плечами*). А не все ли равно? Они называют это мелким воровством... Я снесла в заклад пишущую машинку, которую взяла напрокат.

Верду. Ой, ой, ой... Лучше ничего не могли придумать? Сколько же вам дали за это?

Девушка. Три месяца.

Верду. И сегодня первый день, как вы вышли из тюрьмы?

Девушка. Да.

Верду. Хотите есть?

*Девушка утвердительно кивает головой и смущенно улыбается.*

Верду. Тогда помогите мне принести кое-что из кухни, пока я буду заниматься кулинарией. Идем.

*Оба уходят в кухню. Верду готовит яичницу и помогает девушке собрать приборы для ужина на поднос, который она уносит в гостиную. В ту минуту, когда она исчезает за дверью, он, осторожно проводив ее взглядом, быстро открывает шкаф, достает оттуда яд, выливает его в бутылку с красным вином, затыкает ее пробкой, ставит с двумя бокалами на поднос и уходит в гостиную.*

Верду. Не знаю, покажется ли это вам достаточно аппетитным... яичница-болтуня, поджаренные тартинки и немного красного вина.

Девушка. Замечательно! *(Она откладывает книгу, которую начала читать и зевает).*

Верду. Я вижу, вы устали, поэтому сразу после ужина я отвезу вас в ваш отель. *(Откупоривает бутылку.)*

Девушка *(внимательно глядя на него)*. Вы очень добры. Я просто не понимаю, почему вы все это делаете для меня.

Верду. А почему бы и нет? *(Наливая, в ее бокал отравленное вино.)* Разве немножко доброты — это такая уж редкость?

Девушка. Я уже начала думать, что это редкость. *(Он готов налить вина и себе, но вдруг спохватывается.)* О! А где же тартинки? *(Верду с бутылкой в руках убегает в кухню, быстро заменяет эту бутылку другой, захватывает тартинки и возвращается в гостиную, ставит тартинки на стол с возгласом: «Прошу!» — и наливает себе вина из подмененной бутылки).*

Девушка *(сбита с толку)*. Вы смешной.

Верду. Смешной? Почему?

Девушка. Сама не знаю.

Верду. Но вы же голодны. Прошу вас, ешьте. *(Она начинает есть, Верду замечает книгу на столе.)* Что вы читаете?

Девушка. Шопенгауэра.

Верду. Он вам нравится?

Девушка. Да как вам сказать.

Верду. А вы читали его трактат о самоубийстве?

Девушка. Мне это не интересно.

Верду *(гипнотизируя ее)*. Даже в том случае если конец мог бы быть совсем простым. Вот, например, если бы вы могли лечь спать, не думая о смерти, и вдруг наступил бы конец всему... разве вы не предпочли бы его такому жалкому существованию.

Девушка. Не знаю.

Верду. Ведь пугает только приближение смерти.

Девушка *(в раздумье)*. Мне кажется, если бы неродившиеся существа знали о приближении жизни, они были бы ею так же напуганы.

*Верду одобрительно улыбается и пьет вино. Она тоже подымает свой бокал отравленного вина, хочет выпить, но останавливается.*

Девушка (*подумав*). И все-таки жизнь чудесна!

Верду. А что в ней чудесного?

Девушка. Все... весеннее утро, летняя ночь... музыка, искусство, любовь...

Верду (*презрительно*). Любовь!

Девушка (*с легким вызовом*). Представьте, существует такая вещь.

Верду. Откуда вы знаете?

Девушка. А я любила однажды.

Верду. Вы хотите сказать, что вас к кому-то влекло физически?

Девушка (*лукаво*). А вы не любите женщин, правда?

Верду. Напротив, я люблю женщин... но я не поклоняюсь им.

Девушка. Почему?

Верду. Женщины слишком земные... они реалистичны и всецело поглощены материальной стороной жизни.

Девушка (*недоверчиво*). Какая чепуха!

Верду. Стоит женщине обмануть мужчину, и она начинает его презирать. Как бы ни был он добр и уважаем в обществе, она легко променяет его на менее достойного человека... лишь бы он был физически более привлекателен.

Девушка. Как вы плохо знаете женщин.

Верду. Гораздо лучше, чем вы думаете.

Девушка. Тогда это не любовь.

Верду. А в чем же вы видите любовь?

Девушка. В том, чтобы все отдавать... всем жертвовать, это то же чувство, что мать испытывает к своему ребенку.

Верду (*улыбаясь*). И вы так любили?

Девушка. Да.

Верду. Кого?

Девушка. Моего мужа.

Верду (*удивленно*). Вы замужем?

Девушка. Была... он умер, пока я была в тюрьме.

Верду. Понимаю... Расскажите мне о нем.

Девушка. Это длинная история... (*Пауза.*) Он был тяжело ранен во время гражданской войны в Испании... безнадежный инвалид.

Верду (*подаваясь вперед*). Инвалид?

Девушка (*кивнув*). Потому я и любила его. Он нуждался во мне... во всем зависел от меня... как ребенок. Но он значил для меня больше, чем ребенок. Он был моей религией... моим дыханием... Ради него я пошла бы на убийство. (*Она глотает слезы и хочет выпить вина.*)

Верду. Подождите... Мне кажется, в ваше вино попала пробка. Разрешите, я принесу другой бокал. *(Он отбирает у нее вино, ставит его на буфет, достает чистый бокал и наливает ей вина из своей бутылки. Какое-то время они молча пьют вино. Наконец Верду встает.)*

Верду. Уже поздно, и вы устали... Вот, возьмите... *(Дает ей деньги.)* Этого вам хватит на денек или два... Желаю удачи.

Девушка *(она смотрит на деньги)*. Тут слишком много. Я не ждала... *(Закрывая лицо ладонями и плача.)* Как глупо... с моей стороны. Я уже начинала терять веру во все. И вот случается такое, и снова хочется верить.

Верду. Но вы все-таки не очень-то верьте. Мир злой.

Девушка *(качая головой)*. Неправда. В этом мире легко запутаться, и он очень грустный... и все-таки «немножко доброты» может сделать его прекрасным.

Верду. Уходите скорей, пока ваша философия не разложила меня окончательно.

Девушка *подходит к двери, оборачивается, улыбаясь ему, говорит: «Спокойной ночи!» — и исчезает».*

Теперь я приведу несколько возражений цензоров, касающихся этого эпизода:

*«В диалоге между Верду и девушкой нужна заменить следующие реплики: «Чтобы выйти на улицу в такую ночь, как сегодня, надо быть оптимисткой», «И давно вы уже этим забавляетесь?» и, наконец, «Такая хорошенькая, девушка, как вы, могла бы добиться большего».*

*Мы хотели бы также отметить, что замечание, касающееся Армии спасения, с нашей точки зрения, является оскорбительным для этой организации».*

В конце сценария Верду после многих приключений снова встречается с девушкой. Он бедствует, а она теперь богата. Цензура возражала против такого поворота в ее судьбе. Привожу этот эпизод:

*«Верду сидит за столиком перед входом в кафе и читает газету — статью о неизбежности войны в Европе. Затем он расплачивается и уходит, но в ту минуту, когда он пересекает дорогу, едва не попадает под машину. Роскошный лимузин сворачивает на обочину, шофер резко тормозит и нажимает на клаксон, а из окна лимузина протягивается женская рука в перчатке и машет ему. К своему удивлению, Верду видит в окне лимузина улыбающуюся ему девушку, которой он когда-то помог. На ней роскошный туалет.*

Девушка Здравствуйте, господин Благодетель. *(Верду поражен.)* А вы меня не помните? Вы привели меня к себе домой... в холодную дождливую осень.

Верду *(удивленно)*. В самом деле?

Девушка. А после того, как накормили и дали мне денег, позволили мне уйти, как хорошей девочке, куда хочу.

Верду *(с юмором)*. Какой же я был дурак.

Девушка *(искренне)*. Нет, вы были просто очень добры. А куда вы сейчас идете?

Верду. Никуда.

Девушка. Садитесь в машину.

Верду *влезает в машину*.

*В машине.*

Девушка (*шоферу*). В кафе Лафарж... Мне все кажется, что вы меня не вспомнили... Да и почему бы вы могли меня запомнить?

Верду (*восхищенно поглядывая на нее*). У меня были к тому все основания.

Девушка (*улыбаясь*). Неужели не помните? В ту ночь, когда мы встретились... я только что вышла из тюрьмы.

Верду (*приложив палец к губам*). Ш-ш-ш... (*Указывая на шофера, трогает пальцем стекло.*) Нет, ничего, стекло поднято. (*Он в смущении смотрит на нее.*) Но вы... и все это?.. (*Указывает на машину.*) Что произошло?

Девушка. Старая история... от лохмотьев к богатству. После нашей встречи фортуна повернулась ко мне лицом. Я встретила богатого человека — владельца военных заводов.

Верду. Вот производство, которым мне надо было заняться. И что же это за человек?

Девушка. В жизни очень добрый и щедрый, а в делах — совершенно безжалостный.

Верду. А дела — это штука безжалостная, дорогая моя... Вы его любите?

Девушка. Нет, но именно поэтому он и не теряет ко мне интереса».

Возражения цензоров сводились к следующему:

*«Просим заменить подчеркнутые в диалоге реплики: «и позволили мне уйти, как хорошей девочке, куда хочу», и ответ Верду: «Какой же я был дурак!» — эта реплика исключается, потому что от предыдущей фразы она приобретает привкус двусмысленности. Просим также вставить в диалог какую-нибудь реплику, указывающую на то, что владелец военных заводов — жених девушки, чтобы не создавалось впечатление, что она стала его содержанкой».*

Еще какие-то возражения относились к другим эпизодам и разным частностям. Цитирую их:

*«Не должно быть вульгарного подчеркивания «диковинных изгибов и спереди и сзади» тела пожилой женщины.*

*Не должно быть ничего непристойного ни в костюмах, ни в танцах гёрлс. В частности, не следует показывать голые ноги выше колена.*

*Не должно быть ни показа, ни даже намека на то, что в ванной есть унитаз.*

*В речи Верду просим заменить слово «сластолюбивый» другим эпитетом».*

В заключение говорилось, что они всегда к моим услугам и будут счастливы обсудить со мной все подробности и что сценарий безусловно можно привести в соответствие с требованиями Кодекса производства<sup>1</sup>, не нарушая его развлекательной ценности. И вот я явился в управление Брига, и меня провели прямо к нему. Спустя некоторое время появился один из помощников мистера Брига, высокий молодой человек весьма непреклонного вида. Тон, которым он обратился ко мне, никак нельзя было назвать дружеским.

— Что вы имеете против католической церкви? — спросил он.

— Почему вы меня об этом спрашиваете? — ответил я вопросом на вопрос.

— Да вот, — сказал он, швырнув экземпляр моего сценария на стол и листая страницы. — Эпизод в камере приговоренного, где преступник Верду говорит священнику: «Чем я могу быть вам полезен, добрый человек?»

— Ну и что же? А разве он не добрый человек?

— Это непристойные шуточки, — сказал он, пренебрежительно помахивая рукой.

— Я не нахожу ничего непристойного в том, чтобы назвать человека «добрым», — ответил я.

По мере того, как разгорался наш спор, я чувствовал, что играю в диалоге, достойном Шоу.

— Священнослужителя ведь не называют «добрым человеком», к нему обращаются со словом: «Отец!».

— Прекрасно, обратимся к нему со словом «отец».

— А эта реплика, — сказал он, указывая на другую страницу. — Священник у вас говорит: «Я пришел просить вас помириться с богом». И Верду отвечает: «А я с богом не ссорился, у меня произошло недоразумение с людьми». Это, знаете ли, довольно легкомысленная шуточка.

— У вас есть право иметь собственное мнение, — возразил я, — но и у меня оно есть.

— А это? — перебил он меня, читая отрывок: «Священник спрашивает: «Неужели вы не чувствуете угрызений совести за свои грехи?» И Верду отвечает: «А кто знает, что такое грех, рожденный в небесах, от падшего ангела божьего? И кто знает, каково его сокровенное предопределение?»

— Я верю, что грех так же непостижим, как и добродетель, — ответил я.

— Это все псевдофилософия, — презрительно заметил он. — И дальше ваш Верду смотрит на священника и говорит: «А что бы вы стали делать, если бы не было на свете греха?»

— Согласен, что эта реплика может быть спорной, но ведь в конце концов она же иронична и говорится с юмором. Она не будет сказана священнику в неуважительном тоне.

— Но Верду всегда одерживает верх над священником.

— А как бы вы хотели, чтобы священник оказался комиком?

— Конечно, нет, но почему вы нигде не даете ему убедительных реплик?

— Послушайте, — сказал я, — преступник приговорен к смерти, но он пытается бравировать. Священник же полон достоинства, и его реплики должны соответствовать его облику. Я готов придумать что-нибудь другое для ответов священника.

— А эта строка, — неумолимо продолжал он, — «Пусть господь смилуется над вашей душой», а Верду подхватывает: «А почему бы и нет? В конце концов она принадлежит ему!»

— Что же вас тут беспокоит? — спросил я.

— Реплика «А почему бы и нет?» — кратко повторил он. — Так не разговаривают со священником!

— Верду произносит эту реплику как бы про себя. Подождите, пока вы увидите готовый фильм, — сказал я.



— Вы обвиняете общество и все государство!

— Ну что ж, в конце концов и общество и государство могут быть не безупречны, и критиковать их, насколько я знаю, позволяется.

В конце концов сценарий прошел с двумя-тремя другими небольшими поправками. И надо отдать справедливость мистеру Брину, некоторые его замечания оказались полезными. «Не делайте и эту девушку проституткой, — сказал он задумчиво. — Почти в каждом голливудском сценарии есть проститутка».

Должен сознаться, что я смутился, во всяком случае, я пообещал не подчеркивать этого обстоятельства.

Когда фильм был закончен, он был показан двадцати или даже тридцати членам Легиона благопристойности, представителям цензуры и различных религиозных групп. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким, как на этом просмотре. Однако, когда картина кончилась и в зале зажегся свет, Брин обратился ко всем остальным:

— Я полагаю, что все в порядке... пусть так и выходит! — коротко заключил он.

Наступила пауза, а потом кто-то сказал:

— Ну что ж, и, по мне, пусть идет. Я не возражаю.

Остальные угрюмо молчали. Брин, криво усмехнувшись и сделав широкий жест рукой, обратился к ним:

— Значит, согласны? Можно пропустить картину, да?

Никакого отклика не последовало, кое-кто лишь неохотно кивнул головой. Брин, как бы отменяя возражения, которые могли бы последовать, похлопал меня по плечу и сказал:

— Хорошо, Чарли, можете действовать, прокатывайте. — Он хотел сказать: «Печатайте свой фильм».

Меня немного смущало, что они сразу приняли картину, тогда как вначале хотели совсем ее запретить. Слишком уж стремительно они ее одобрили, и это вызывало мои подозрения, — не собираются ли они пустить в ход другие средства?

И вот во время перемонтажа «Верду» судебный исполнитель Соединенных Штатов передал мне по телефону вызов в Вашингтон, в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Нас было вызвано девятнадцать человек.

В это время в Лос-Анжелос приехал сенатор Пеппер, от штата Флориды, и нам рекомендовали встретиться с ним и посоветоваться, как себя вести. Я не пошел к нему, потому что мое положение было особым — я не был американским гражданином. На этом совещании все согласилось на том, что в Вашингтоне вызванные в комиссию должны настаивать на своих правах, предоставляемых им конституцией. (Те, кто на этих правах настаивал, сели на год в тюрьму за неуважение к суду.)

В повестке было сказано, что в течение десяти дней я получу указание, когда мне надлежит явиться в Вашингтон. Но вскоре я получил телеграмму, сообщавшую о том, что мой вызов откладывается еще на десять дней.

После третьей отсрочки я послал телеграмму, в которой писал, что мне приходится останавливать работу крупной организации, что это вызывает значительные расходы, а поскольку их комиссия недавно выезжала в Голливуд для допроса моего друга Ганса Эйлера, они могли бы одновременно допросить здесь и меня и тем самым сберечь

государственные деньги. «На всякий случай, — писал я в заключение, — сообщаю к вашему сведению для экономии времени то, что, как я понимаю, вас интересует. Я не коммунист и никогда в жизни не вступал ни в какие политические партии или организации. Я «поджигатель мира», если придерживаться вашей терминологии. Надеюсь, что это вас не оскорбит. Итак, прошу вас назначить мне точно день, когда я должен буду явиться в Вашингтон. Преданный вам Чарльз Чаплин».

Вскоре я получил неожиданно вежливый ответ, в котором указывалось, что необходимость в моем приезде отпала и что я могу считать вопрос исчерпанным.

## XXIX

Занятый своими неприятностями, я все это время уделял не слишком много внимания делам «Юнайтед артистс». Но теперь мой адвокат предупредил меня, что дефицит компании достиг миллиона долларов. В дни своего процветания она получала от сорока до пятидесяти миллионов прибыли в год, хотя я не помню, чтобы я хоть раз получил больше двойных дивидендов. В момент наивысшего процветания фирма «Юнайтед артистс» приобрела двадцать пять процентов акций четырехсот английских кинотеатров, не заплатив за них ни одного пенни. Я не знаю точно, как это было устроено. Кажется, взамен мы гарантировали им прокат наших фильмов. Другие американские кинокомпании таким же путем получили большие пакеты акций английских кинотеатров. Одно время наш пакет акций в прокатной кинокомпании «Рэнк организейшн» стоил десять миллионов долларов.

Но акционеры «Юнайтед артисте» начали продавать свои акции компании, и это почти исчерпало весь наш наличный капитал. Совершенно неожиданно для себя я вдруг оказался владельцем половины акций компании «Юнайтед артистс», долги которой достигали в это время миллиона долларов. Другая половина принадлежала Мэри Пикфорд. Она прислала мне тревожное письмо, сообщая, что все банки отказывают нам в кредитах. Меня это не слишком обеспокоило — нам и прежде случалось быть в долгу, но фильм, пользовавшийся успехом, всегда выводил компанию из затруднений. А я только что закончил «Мсье Верду», который, по моим расчетам, должен был дать огромные сборы. Мой агент Артур Келли предсказывал, что он принесет по меньшей мере 12 миллионов долларов. Если бы сбылось его предсказание, компания выплатила бы все долги и получила бы миллион долларов чистой прибыли.

Я устроил в Голливуде закрытый просмотр фильма для моих друзей. Когда картина кончилась, Томас Манн, Лион Фейхтвангер и многие другие встали со своих мест и больше минуты стоя аплодировали.

Уверенный в успехе фильма, я уехал в Нью-Йорк. Но сразу по приезде меня атаковала газета «Дейли ньюс»:

*«Чаплин прибыл в Нью-Йорк на премьеру своего фильма. Пусть только этот попутчик красных после всех своих подвигов посмеет устроить пресс-конференцию — уж мы зададим ему два-три нелегких вопроса».*

Отдел рекламы «Юнайтед артистс» сомневался, следует ли мне встречаться с представителями американской печати. Но я был возмущен гнусной заметкой, тем более что накануне меня очень тепло и даже восторженно встретили иностранные корреспонденты. К тому же я не из тех, кого можно запугать.

Наутро мы сняли в отеле зал для встречи с американскими журналистами. Я появился после того, как подали коктейли. Ощувив атмосферу недоброжелательства, я как можно более весело и непринужденно сказал:

— Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я готов сообщить вам все, что вам будет угодно узнать о моем фильме и планах на будущее.

Они встретили мои слова гробовым молчанием.

— Только не все сразу, — сказал я с улыбкой.

Сидевшая впереди женщина-репортер спросила:

— Вы коммунист?

— Нет, — ответил я твердо. — Следующий, вопрос, пожалуйста.

Послышался чей-то бормочущий голос. Я подумал было, что это мой приятель из «Дейли ньюс», но, увы, он блистательно отсутствовал. Оратор оказался довольно неопытным на вид субъектом, не потрудившимся даже снять пальто. Низко наклонившись, он невнятно читал свой вопрос по бумажке.

— Извините, — прервал я его, — вам придется все это прочитать еще раз, я не разобрал ни слова.

— Мы католики, ветераны войны... — начал он.

Я снова перебил его:

— Не понимаю, при чем тут католики — ветераны войны. Здесь пресс-конференция.

— Почему вы не приняли американского гражданства?

— Не видел причин к тому, чтобы менять свое подданство. Я считаю себя гражданином мира, — ответил я.

Поднялся шум. Сразу заговорило несколько человек. Один голос перекрыл всех.

— Но деньги-то вы зарабатываете в Америке.

— Ну что ж, — сказал я, улыбаясь, — раз вы все переводите на почву коммерции, давайте разберемся. Мое дело интернационально. Семьдесят процентов моих доходов идет из-за границы, но вся сумма налогов поступает Соединенным Штатам. Как видите, я довольно выгодный гость.

Тут снова забормотал представитель Католического легиона:

— Где бы вы ни зарабатывали свои деньги, здесь или за границей, мы — те, кто высаживался с десантом на берегах Франции, — все равно возмущены, что вы не стали гражданином США.

— Не вы один высаживались на этих берегах, — сказал я. — Два моих сына тоже были в армии генерала Паттона и сражались на передовой, но они не похваляются и не спекулируют этим, как вы.

— Вы знакомы с Гансом Эйслером? — спросил другой репортер.

— Да, он очень близкий мой друг и замечательный музыкант.

— Вы знаете, что он коммунист?

— Меня это не интересует. Наша дружба основана не на политике.

— Но вам, кажется, нравятся коммунисты?

— Никто не смеет мне указывать, кто мне должен нравиться, а кто нет. Мы еще до этого не дошли.

И вдруг в этой воинственно настроенной аудитории послышался голос:

— Что должен чувствовать художник, подаривший миру столько радости и обогативший его пониманием психологии маленького человека, когда этого художника подвергают оскорблениям, ненависти и насмешкам так называемые представители американской печати?

Я до такой степени не ожидал услышать выражение какого бы то ни было сочувствия, что довольно резко ответил:

— Извините, я вас не понял, вам придется повторить свой вопрос.

Наш агент по рекламе, подтолкнув меня, шепнул:

— Он за вас и очень хорошо сказал.

Это был Джим Эджи, американский поэт и романист, писавший в то время очерки и критические статьи для журнала «Тайм». Я был застигнут врасплох и растерялся.

— Простите, но я не расслышал. Будьте так добры, повторите, пожалуйста, что вы сказали.

— Не знаю, сумею ли, — сказал он, смутившись, и затем повторил почти то же самое.

Я не мог придумать подходящего ответа и, покачав головой, сказал только:

— Ничего не могу ответить... И благодарю вас.

После этого я уже никуда не годился. Его добрые слова лишили меня боевого задора.

— Извините меня, господа, — обратился я к аудитории, — мне казалось, что мы будем говорить о моем фильме, а вместо того началась политическая дискуссия, и я хотел бы кончить на этом.

После пресс-конференции мне стало не по себе — я понял, какой страшной враждебностью я окружен.

И все-таки я не мог до конца этому поверить. Ведь я получил столько чудесных писем от людей, посмотревших «Диктатора». Несмотря на то, что выходу на экран этого фильма тоже предшествовало огромное количество враждебных выпадов, он принес больше дохода, чем какая бы то ни было из моих картин. К тому же, как и весь персонал «Юнайтед артистс», я очень верил в успех «Мсье Верду».

Нам позвонила Мэри Пикфорд и сказала, что хотела бы пойти на премьеру со мной и Уной. Мы пригласили ее пообедать в ресторане «21». Мэри очень запоздала к обеду, сославшись на то, что была в гостях и ей никак не удавалось вырваться оттуда.

Когда мы подъехали к кинотеатру, вся улица была запружена народом. С трудом протиснувшись в фойе, мы услышали диктора, возвестившего по радио: «Только что прибыл Чарли Чаплин с женой, а с ним их гостья — замечательная актриса немого кино, которая все еще остается любимицей Америки, — мисс Мэри Пикфорд. Мэри, может быть, вы скажете несколько слов по поводу этой замечательной премьеры?»

Фойе было забито народом, и Мари с трудом пробилась к микрофону, не отпуская моей руки.

— Сейчас, дамы и господа, вы услышите Мэри Пикфорд.

И в этой чудовищной толкотне и давке Мэри сказала:

— Две тысячи лет тому назад родился Христос, а сегодня... — но ей не удалось продолжить, так как толпа оттерла нас от микрофона. Впоследствии я не раз гадал, каким образом она собиралась закончить эту фразу.

В тот вечер в атмосфере зала чувствовалась какая-то тревога, казалось, что зрители пришли, чтобы что-то доказать своим присутствием. Вместо радостного ожидания и веселого оживления, которые прежде всегда сопутствовали первым кадрам моих картин, раздались нервные аплодисменты и послышалось шиканье. Мне неприятно в этом сознаваться, но это шиканье ранило меня сильнее, чем вражда всей прессы.

Шел просмотр, и я начал волноваться. В зале смеялись, но не все. Это был не тот смех, который вызывали когда-то «Золотая лихорадка», «Огни большого города» или «На плечо!». Этот смех был словно протестом против враждебных выходов группы зрителей. Мне стало страшно, я не мог оставаться в зале и шепнул Уне:

— Я выйду в фойе, не могу этого вынести.

Она сжала мою руку. Программка, которую я в волнении скомкал, жгла мне ладони, и я бросил ее под стул. Направляясь в фойе, я старался как можно незаметнее пройти по проходу. Я разрывался между желанием послушать, где будут смеяться, и стремлением удрать подальше. Затем я поднялся в бельэтаж, чтобы посмотреть, что делается там. Какой-то мужчина смеялся чаще других — несомненно, это был друг, но смеялся он судорожным, нервным смехом, как будто хотел им что-то доказать. То же самое было и на балконе.

Два часа я ходил взад и вперед по фойе и по улицам вокруг кинотеатра, время от времени возвращаясь в зал посмотреть картину. Мне казалось, что фильм идет нескончаемо долго, но, наконец, просмотр кончился. Обозреватель Эрл Уилсон, неплохой человек, встретился мне в фойе одним из первых.

— Мне фильм понравился, — сказал он, подчеркнув слово «мне». Затем подошел мой агент Артур Келли.

— Конечно, двенадцать миллионов он не даст, — объявил он.

— Я бы охотно согласился на любую половину, — пошутил я.

После просмотра мы устроили ужин человек на полтора; среди приглашенных был и кое-кто из старых друзей. Однако в тот вечер чувствовалось, что тут скрестились какие-то враждебные течения, и, несмотря на выпитое шампанское, настроение было подавленное. Уна незаметно скрылась. Уехала домой спать, а я еще оставался с полчаса.

Герберт Бейерд Суоп, человек, который мне нравился и которого я считал проницательным, спорил с моим другом Доном Стюартом по поводу фильма — Суопу он резко не понравился. В этот вечер меня хвалили очень немногие. И только Дон Стюарт, который, как и я, был немного пьян, сказал:

— Все они мерзавцы, Чарли! Хотят использовать твою картину в своих политических целях, а фильм замечательный, и публике он нравится.

Но мне уже было все равно, что думают о фильме, — у меня не было никаких сил. Дон Стюарт проводил меня до отеля. Уна уже спала.

— На каком этаже ты живешь? — спросил Дон.

— На семнадцатом.

— Боже ты мой! Ты понимаешь, какой это номер? Тот самый, из которого человек вышел на карниз и простоял там двенадцать часов, прежде чем решился броситься вниз и разбиться насмерть!

На этой ноте закончился вечер премьеры. И тем не менее я считаю, что «Мсье Верду» — самый умный и самый блестящий из всех созданных мною фильмов.

К моему удивлению, в Нью-Йорке «Мсье Верду» не сходил с экрана полтора месяца, делая полные сборы. А потом вдруг сборы начали падать. Я спросил Греда Сирса из «Юнайтед артистс», чем это можно объяснить, и он мне ответил:

— Любой ваш фильм первые три-четыре недели будет давать большие сборы, пока его смотрят ваши старые поклонники. Но потом приходит обычный зритель. И вот тут-то сказываются десять лет непрерывных нападков в печати — сборы начинают падать.

— Но ведь и обычный зритель тоже не лишен юмора? — сказал я.

— Смотрите! — и он показал мне «Дейли ньюс» и херстовские газеты. — А это читают по всей стране!

На фотоснимке одной из газет я увидел пикетчиков нью-джерсийского Католического легиона перед зданием кинотеатра, где показывали «Мсье Верду». В руках они держали плакаты:

«Чаплин — попутчик красных!»

«Вон из нашей страны чужака!»

«Чаплин слишком долго загостился у нас!»

«Чаплин — неблагодарный! Он прихвостень коммунистов!»

«Выслать Чаплина в Россию!»

Когда человека постигает разочарование и на него обрушивается столько неприятностей, а он все же не падает духом, утешает его либо философия, либо чувство юмора. Когда Гред показал мне фото пикетчиков перед зданием кинотеатра, где не было ни одного зрителя, я пошутил: «Все ясно, снимали в пять часов утра». Однако там, где показывали «Мсье Верду» без постороннего вмешательства, он делал сборы, которые значительно превышали хорошие.

Все крупные кинопрокатные организации покупали картину для показа по всей стране, но получив вслед за тем угрожающие письма от Американского легиона и других влиятельных клик, они отменяли демонстрацию фильма. Легион умел достаточно действенно запугивать прокатчиков, угрожая бойкотом кинотеатров в течение года, если они посмеют показать картину Чаплина или какой-нибудь другой фильм, который им не нравится. В Денвере в первый день фильм сделал большие сборы, а на другой день из-за угроз он был снят.

Наше пребывание в Нью-Йорке на этот раз было самым безрадостным. Каждый день приносил нам сообщения об отмене показов фильма. Вдобавок ко всему мне еще было предъявлено обвинение в плагиате по фильму «Диктатор». Несмотря на просьбу отложить слушание дела, оно разбиралось в момент самой острой вражды и ненависти ко мне со стороны прессы и публики, и четыре сенатора обвиняли меня в здании Сената.

Прежде чем продолжить рассказ, я хочу отметить, что я всегда сам и задумывал и писал свои сценарии. Едва начался процесс, как судья объявил, что у него умирает отец, и спросил, не можем ли мы прийти к соглашению, которое позволило бы ему уйти и побыть с умирающим отцом? Противная сторона ухватилась за такую возможность. При других

обстоятельствах я бы, конечно, настаивал на продолжении процесса. Но моя тогдашняя непопулярность в Штатах и давление со стороны суда меня напугали, я не знал, чего мне ждать,— и мы пришли к соглашению.

Надежды на то, что «Верду» принесет двенадцать миллионов долларов развеялись. Фильм едва мог оправдать затраченные на него деньги, и компания «Юнайтед артистс» встала перед серьезным финансовым кризисом. Мэри в целях экономии настаивала на увольнении моего агента Артура Келли и очень возмутилась, когда я ей напомнил, что являюсь равноправным с нею владельцем нашей компании. «Если уйдут мои агенты, тогда должны будут уйти и ваши», — сказал я ей. Это завело нас в тупик, и я был вынужден заявить: «Кто-то из нас должен либо купить, либо продать свои акции. Назовите вашу цену». Но ни Мэри, ни я не захотели назвать свою цену.

На помощь нам пришла юридическая фирма, представляющая интересы кинопрокатчиков востока. За контрольный пакет акций нашей компании они готовы были уплатить 12 миллионов долларов — 7 миллионов наличными и 5 миллионов акциями. Для нас это было бы спасением.

— Дайте мне пять миллионов наличными, — предложил я Мэри, — и я выйду из компании, а вы получите все остальное.

Она согласилась, и на том мы и порешили.

После переговоров, которые велись в течение нескольких недель, были подготовлены все необходимые документы. Наконец, мне позвонил мой адвокат и сказал:

— Чарли, через десять минут у вас будет пять миллионов.

Но десять минут спустя он снова позвонил:

— Чарли, сделка не состоялась. Мэри уже держала перо в руке и готова была подписать бумагу, но вдруг отказалась: «Нет! С какой это стати он сейчас получит пять миллионов долларов, а мне придется ждать своих еще два года?» Я с ней спорил, говорил, что зато она получает семь миллионов — на два миллиона больше, чем вы. Но она отговаривалась тем, что у нее возникнут трудности с подоходным налогом.

Так мы потеряли представлявшуюся нам блестящую возможность. Впоследствии мы были вынуждены продать «Юнайтед артистс» за значительно меньшую сумму.

Мы вернулись в Калифорнию, и тут я, наконец, оправился от неприятностей, которые мне доставил «Мсье Верду». Я начал уже подумывать о теме нового фильма; я все еще оставался оптимистом, мне казалось немыслимым, что я совсем потерял любовь американцев, не верил я и в то, что они окажутся политически столь сознательными и столь лишенными юмора, что будут бойкотировать человека, который умеет их рассмешить. У меня появилась идея фильма, и она так волновала меня, что я уже не думал, к чему она может меня привести, — я должен был снять этот фильм.

Какими бы новыми веяниями ни увлекались люди, им всегда будет нравиться любовный сюжет. Как сказал Гэзлит, чувство воздействует сильнее, чем интеллект, и, кроме того, произведение искусства больше основывается на чувстве, чем на интеллекте. Темой моего будущего фильма должна была стать история любви — нечто совершенно противоположное циничному пессимизму «Мсье Верду». Однако для меня важней всего было то, что эта тема вдохновляла.

Подготовка к съемкам «Огней рампы» заняла полтора года. Мне надо было сочинить балетную музыку на двенадцать минут, а это было для меня задачей почти непреодолимой трудности, так как приходилось зрительно представлять себе танец.

Прежде я писал музыку, когда фильм был уже снят, и я видел действие. И все-таки я написал эту музыку. Закончив ее, я вовсе не был уверен, в том, что она подойдет для балета, поскольку хореографию в той или иной мере должны придумывать сами танцоры.

Будучи большим поклонником Андре Эглевского, я имел в виду его, когда сочинял свой балет. Я позвонил ему в Нью-Йорк и спросил, не согласится ли он станцевать в моем фильме «Синюю птицу» под новую музыку, а также не подберет ли он себе партнершу. Он ответил, что сначала ему нужно послушать музыку. Сам он танцевал под музыку Чайковского, которая длится сорок пять секунд. Поэтому и мне надо было сочинить что-то такой же длительности.

На аранжировку балетной музыки, которая занимала в фильме двенадцать минут, мы потратили несколько месяцев и записали ее в исполнении оркестра в пятьдесят человек. Разумеется, мне было очень интересно знать, как ее воспримут танцоры. Наконец балерина Мелисса Хейден и Андре Эглевский вылетели в Голливуд. Пока они слушали, я страшно нервничал и смущался, но, слава богу, они оба одобрили музыку и сказали, что она «балетна». И минуты, когда я увидел, как они танцуют под мою музыку, были, пожалуй, одними из самых волнующих в моей артистической жизни. Их интерпретация придавала моей музыке классический характер, и я был очень польщен.

Подыскивая актрису на роль героини, я требовал невозможного: она должна была обладать красотой, талантом и большим эмоциональным диапазоном. После нескольких месяцев поисков и проб, приносивших лишь разочарование, мне, наконец, повезло, и я подписал контракт с Клер Блум<sup>1</sup>, которую мне порекомендовал мой друг Артур Лорентс<sup>2</sup>.

В натуре человека есть какие-то защитные свойства, которые заставляют его забывать и ненависть и всякие неприятности. Воспоминания о суде и о той горечи, которая ему сопутствовала, растаяли, как снег под солнцем. За это время Уна родила четырех наших детей: Джеральдину, Майкла, Джози и Викки. Жизнь в Беверли-хилс стала радостной. Брак наш был очень счастливым, все было чудесно. По воскресеньям дом наш был открыт для всех наших друзей, к нам приходили многие, и среди них Джим Эджи, который писал в Голливуде сценарий для Джона Хьюстона<sup>3</sup>.

В Голливуде жил писатель и философ Уилл Дьюрэнт, читавший в то время лекции в лос-анжелосском университетском колледже. Он был нашим старым другом и довольно часто обедал у нас. Это были очень интересные вечера. Уилл был настоящим энтузиастом, и, чтобы опьянеть, ему вовсе не требовалось спиртное — сама жизнь опьяняла его. Как-то он спросил меня:

— В чем вы видите прекрасное?

Я ответил, что, по-моему, прекрасное заключается в вездесущности смерти и красоты, в той улыбчатой грусти, которую мы распознаем в природе, да и во всех вещах, в таинственной связи меж ними, которую всегда чувствует поэт. Его можно увидеть и в мусорном ведре, на которое падает луч солнца, и в розе, упавшей в канаву. Эль Греко увидел его в Спасителе, распятом на кресте.

Как-то мы снова встретились с Уиллом на обеде у Дугласа Фербенкса-младшего<sup>1</sup>. Там были также Клеменс Дэн и Клер Бут Люс. Я познакомился с Клер много лет тому назад в Нью-Йорке, на маскарадном балу у Херста. В тот вечер, в костюме XVIII века, в белом парике, она была восхитительно хороша и казалась мне обаятельной, но лишь до той минуты, пока я не услышал, как она разделяется с моим другом Джорджем Муром, культурным и тонким человеком. Окруженная толпой поклонников, она громко говорила ему:

— Вы просто загадочная личность. Откуда у вас столько денег?



Это было не слишком любезно, особенно в присутствии других ее поклонников. Но Джордж был очень мил и, смеясь, ответил ей:

— А я торгую углем в в свободное время играю в поло со своим другом Хичкоком<sup>2</sup>. Да вот мой друг, Чарли Чаплин, — я как раз в эту минуту проходил мимо, — знает меня.

С этой минуты отношение мое к Клер переменилось, и меня уже ничуть не удивило, когда я потом услышал, что она стала членом конгресса, а затем послом и что именно она подарила американской политике глубоко философское определение: «глобальная чепуха».

В тот вечер я слушал, как Клер Люс тоном оракула всех поучала. Разговор в конце концов обратился к религии (Клер недавно стала католичкой), и я среди спора вдруг сказал:

— Вовсе не обязательно, чтобы у человека на лбу было написано, что он христианин, — это равно явилось бы доказательством и святости и греховности, а дух святой — он во всем.

В этот вечер мы расстались с чувством некоторой отчужденности.

Когда «Огни рампы» были закончены, я волновался за успех фильма меньше, чем за какой бы то ни было из прежних. Мы устроили просмотр для друзей, и все они пришли в восторг. Мы с Уной начали подумывать об отъезде в Европу; Уне очень хотелось, чтобы дети учились там — она стремилась увести их подальше от влияний Голливуда.

Я подал прошение о выдаче мне обратной визы на въезд в Америку, но в течение трех месяцев не получал никакого ответа. Тем не менее я продолжал приводить в порядок свои финансовые дела, готовясь к отъезду. Все декларации по налогам были поданы и все налоги уплачены. Но когда налоговый департамент узнал, что я уезжаю в Европу, вдруг обнаружилось, что я задолжал большую сумму. Они наскоро состряпали задолженность, округлив ее в шестизначную цифру, поставив условием, чтобы я внес в депозит два миллиона долларов — в десять раз больше того, что, по их мнению, с меня причиталось. Я почувствовал, что не должен уступать, и потребовал, чтобы дело немедленно передали в суд. В результате мы поладили на довольно скромной сумме. И так как теперь уже не было никаких претензий ко мне, я снова подал прошение о выдаче мне обратной визы и снова в течение нескольких недель тщетно ждал ответа. Тогда я послал письмо в Вашингтон, указывая, что уеду даже в том случае, если мне не дадут обратной визы. Неделью спустя позвонил чиновник департамента иммиграции и попросил разрешения зайти ко мне, так как им необходимо выяснить кое-какие вопросы.

— Пожалуйста, — ответил я.

Явилось трое мужчин и женщина — у нее в руках была машинка для стенографической записи, а у мужчин три маленьких чемоданчика, явно с магнитофонами. Вопросы мне задавал в основном высокий худой человек лет сорока, красивый и, несомненно, очень неглупый. Я понимал, что их четверо против одного и что я совершил оплошность, не пригласив своего адвоката, но, с другой стороны, мне нечего было скрывать.

Я проводил их на веранду. Женщина поставила свою машинку на маленьком столике, остальные уселись на диване, поставив перед собой свои магнитофоны. Главный вынул из портфеля объемистое досье, чуть не в полметра толщиной и положил на стол возле себя. Я сел напротив него. Он начал просматривать досье страницу за страницей.

— Чарльз Чаплин — это ваше настоящее имя? — спросил он.

— Да.

— А говорят, что ваше настоящее имя, — он назвал весьма замысловатую, не английскую фамилию, — и что вы родом из Галиции?

— Нет. Меня зовут Чарльз Чаплин, так же, как и моего отца, и родился я в Лондоне, в Англии.

— Вы утверждаете, что никогда не были коммунистом?

— Никогда. Я ни разу в жизни не вступал ни в какие политические организации.

— Но вы произнесли речь, в которой вы обратились к слушателям со словом «товарищи», — что вы хотели этим сказать?

— Именно то, что сказал. Загляните в словарь, у коммунистов нет монополии на это слово.

Он продолжал допрос в том же духе и вдруг неожиданно спросил:

— Вы когда-нибудь совершали прелюбодеяние?

— Послушайте, — ответил я, — если вы ищете формального довода, чтобы не пускать меня назад в страну, скажите прямо, и я соответственно этому устрою свои дела — я вовсе не желаю оставаться где бы то ни было в качестве «персона нон грата».

— Что вы, что вы, — воскликнул он, — просто мы всегда задаем этот вопрос при выдаче обратной визы.

— А как вы определяете слово «прелюбодеяние»? — спросил я.

Пришлось принести толковый словарь.

— Ну, скажем, «блуд с чужой женой», — уточнил он.

— Насколько мне известно, нет, — сказал я, подумав.

— Если бы наша страна подверглась нападению, вы пошли бы сражаться за нее?

— Конечно. Я люблю Америку — это мой дом, я прожил здесь больше сорока лет, — ответил я.

— Но вы так и не стали американским гражданином.

— Но ведь нет такого закона, который запрещал бы мне сохранять свое подданство. Все налоги я плачу здесь.

— Почему же вы следуете линии партии?

— Если вы мне скажете, в чем заключается линия партия, тогда я вам отвечу, следую я ей или нет.

Наступила пауза, которую я вдруг прервал.

— А вы знаете, как я попал во все эти неприятности?

Он покачал головой.

— Оказал услугу вашему правительству.

Он удивленно поднял брови.

— Ваш бывший посол в России, мистер Джозеф Дэвис, должен был выступать в Сан-Франциско на митинге по поводу помощи русским в войне, но в последнюю минуту выяснилось, что у него ларингит. И тогда весьма высокопоставленный представитель

вашего правительства обратился ко мне с просьбой оказать им такую услугу и выступить вместо Дэвиса. И вот с тех пор я и подвергаюсь подобным допросам.

Допрос продолжался часа три. Неделю спустя они снова позвонили мне и спросили, не могу ли я зайти в департамент иммиграции. Мой адвокат настоял, что пойдет со мной, «на случай, если они захотят продолжить допрос».

Встретили меня как нельзя более сердечно. Глава департамента, очень приветливый человек средних лет, говорил почти виноватым тоном:

— Мне очень жаль, что мы вас так задержали, мистер Чаплин. Но сейчас, после того как в Лос-Анжелосе создано отделение департамента иммиграции, мы сможем действовать гораздо быстрее — не придется по каждому поводу сноситься с Вашингтоном. Нам остается выяснить только один вопрос, мистер Чаплин, как долго вы собираетесь пробыть за границей?

— Не больше шести месяцев, — ответил я. — Мы едем просто отдохнуть.

— Но если вы задержитесь, вам придется просить о продлении визы.

Он положил на стол какой-то документ и вышел из комнаты. Мой адвокат успел заглянуть в бумагу.

— Это она и есть, — сказал он. — Ваша виза!

Глава департамента вернулся с авторучкой.

— Подпишите, пожалуйста, мистер Чаплин. Разумеется, вам еще нужно получить проездные документы.

После того как я расписался, он ласково похлопал меня по плечу.

— Вот ваша виза. Хорошенько отдохните, Чарли, и поскорее возвращайтесь домой!

Это произошло в субботу, а в воскресенье утром мы собирались уехать поездом в Нью-Йорк. Я хотел дать Уне доверенность на доступ к сейфу, в котором хранилось почти все мое состояние, на случай, если со мной что-нибудь случится. Уна все откладывала подписание нужных документов в банке. Но сегодня был наш последний день в Лос-Анжелосе, и через десять минут банки закрывались.

— У нас осталось только десять минут, надо поторопиться, — сказал я.

Но именно такие дела Уна любит откладывать.

— А почему нельзя подождать, пока мы вернемся? — спросила она.

К счастью, я настоял на своем, иначе нам пришлось бы до конца жизни вести тяжбу, пытаясь как-нибудь выручить свое состояние.

День нашего отъезда в Нью-Йорк был мучителен. Пока Уна отдавала последние распоряжения по хозяйству, я стоял на лужайке перед домом и смотрел на него с каким-то смешанным чувством. Так много всего было здесь и счастья и боли. А сейчас, в эту минуту, и сад и дом казались такими мирными и родными, что мне стало грустно их покидать.

Протившись с Элен, нашей горничной, и дворецким Генри, я проскользнул в кухню, чтобы проститься и с нашей кухаркой Анной. В таких случаях я становлюсь ужасно застенчив, а Анна, крупная толстая женщина, была к тому же еще и глуховата. «Прощайте», — повторил я и тронул ее за руку. Уна уходила из дому последней и рассказывала мне потом, что застала и кухарку и горничную в слезах. На вокзале нас провожал мой ассистент Джерри Эпстайн.

Путешествие по стране немного успокоило нас. До того как сесть на пароход, мы провели неделю в Нью-Йорке. Но когда я решил там немного развлечься, мне позвонил мой адвокат, Чарльз Шварц, и сообщил, что бывший служащий компании «Юнайтед артистс» предъявил иск к компании на несколько миллионов долларов. «Это пустая претензия, Чарли, но тем не менее я бы не хотел, чтобы вам вручили повестку с вызовом в суд — это значило бы, что вам придется прервать ваш отдых». И вот последние четыре дня я был вынужден провести у себя в номере и лишен был удовольствия посмотреть Нью-Йорк вместе с Уной и детьми. Однако на просмотр «Огней рампы» для представителей печати я все-таки решил поехать, не взирая ни на какие повестки.

Кроккер, который в это время заведовал у меня рекламой, устроил завтрак для сотрудников журналов «Тайм» и «Лайф» — это был случай, что называется, прыгнуть сквозь обруч в целях рекламы. Голые оштукатуренные белые стены их редакции как нельзя лучше гармонировали с холодной атмосферой нашего завтрака. Глядя на весь штат журнала «Тайм», на этих коротко остриженных, суровых мужчин, получающих гонорар построчно, я изо всех сил старался быть как можно приветливее и забавнее. Еда, которую нам подавали, — безвкусная курятина с желтоватой, мучнистой подливкой — была такой же холодной, как вся атмосфера, царившая за столом. И ни мое присутствие, ни еда, ни все мои попытки расположить этих людей в свою пользу не принесли мне ничего хорошего для рекламы «Огней рампы» — «Тайм» безжалостно разругал картину.

И на просмотре прессы я также ясно ощущал недоброжелательство в зале и поэтому был приятно удивлен, прочтя ряд благожелательных отзывов в весьма влиятельных газетах.

### XXX

Я поднялся на борт лайнера «Куин Элизабет» в пять утра — весьма романтический час, если бы только он не был обусловлен изменным стремлением избежать посыльного из суда. Повинуясь инструкциям моего адвоката, я должен был тайком проскользнуть на пароход, запереться в своей каюте и не показываться на палубе до отплытия. Наученный горьким опытом последних десяти лет, убедившим меня, что всегда надо ждать худшего, я повиновался.

А я так мечтал, как буду стоять на верхней палубе, рядом с Уной, окруженный детьми, и радоваться последним волнующим минутам, когда пароход наконец снимается с якоря и отплывает, уходит к новой жизни. Вместо того я был постыдно заперт в своей каюте и мог лишь тайком выглядывать в иллюминатор.

— Это я, — сказала Уна, тихонько постучав в дверь.

Я открыл.

— Джим Эджи приехал нас проводить. Он стоит на пристани. Я крикнула ему, что ты прячешься от посыльных из суда и что ты ему помашешь рукой из иллюминатора. Вон он стоит в конце пирса, — указала мне Уна.

Я увидел Джима, отошедшего немного поодаль от кучки людей, которые под ярким солнцем глазели на наш пароход. Я быстро схватил шляпу и, просунув руку в иллюминатор, стал ею махать, а Уна из другого иллюминатора наблюдала за Эджи.

— Нет, он тебя не видит, — объявила она.

Джим так и не увидел меня, а я его видел тогда в последний раз — он стоял один, будто отделенный от мира и куда-то глядел, искал чего-то. Два года спустя он умер от разрыва сердца.

Наконец лайнер отошел от берега, я открыл дверь и вышел на палубу свободным человеком. Вот они, вздымающиеся ввысь контуры города Нью-Йорка, равнодушные и величественные, — они уходят от меня, освещенные лучами солнца и с каждой минутой становятся все более эфемерными и прекрасными... И когда этот огромный континент стал исчезать в тумане, мною овладело какое-то странное чувство. Хотя я был очень взволнован предстоящим визитом всей моей семьи в Англию, на пароходе я чувствовал себя легко и спокойно.

Необъятный простор Атлантики очищает душу. Я почувствовал себя другим человеком. Я перестал быть легендой киномира, мишенью для злобных нападок и превратился в простого семьянина, который едет отдыхать с женой и детьми. Наши малыши весело играли на верхней палубе, а мы с Уной сидели рядом в шезлонгах. И я ощущал такое полное, совершенное счастье, которое почти граничит с грустью.

Мы с нежностью вспоминали друзей, оставшихся в Штатах, мы даже говорили о дружелюбии департамента иммиграции. Как легко попадается человек на удочку самой маленькой любезности — очень трудно разжигать в себе злобу.

Мы с Уной намеревались только отдыхать и все свое время посвятить удовольствиям, но так как в эти же месяцы на экраны Европы должны были выйти «Огни рампы», наша поездка приобрела и практический смысл. Сознание, что мы соединяем приятное с полезным, доставляло мне удовольствие. На следующий день мы весело позавтракали. Нашими гостями были Артур Рубинштейн с женой и Адольф Грин. Среди завтрака Гарри Крокеру вдруг подали радиogramму. Он хотел положить ее в карман, но посыльный сказал: «Они ждут ответа по радио». Гарри молча прочел радиogramму и сразу помрачнел. Извинившись, он вышел из-за стола.

Позднее он позвал меня к себе в каюту и прочел радиogramму, в которой говорилось, что въезд в Соединенные Штаты для меня закрыт, и прежде чем я получу на него разрешение, мне предстоит ответить комиссии департамента иммиграции на ряд обвинений политического порядка и на обвинение в моральной распущенности. «Юнайтед пресс» спрашивает, не желаю ли я выступить по этому поводу с каким-нибудь заявлением.

Каждый нерв у меня был натянут до предела. Мне было довольно безразлично, вернусь ли я в эту несчастную страну или нет. Я с удовольствием ответил бы им, что буду только рад не дышать этим воздухом, отравленным ненавистью, что я уже сыт по горло оскорблениями Америки и ее ханжеством и что вообще все это мне осточертело. Но все мое состояние оставалось в Штатах, и я с ужасом думал: а вдруг там сумеют найти какой-нибудь предлог его конфисковать — теперь я мог ожидать от них любых, самых незаконных действий. И вместо того что мне так хотелось сказать, я в напыщенной форме заявил, что, разумеется, я вернусь и отвечу на все предъявленные мне обвинения, и я надеюсь, что моя обратная виза — не «клочок бумаги», а документ, выданный мне правительством Соединенных Штатов, и так далее и тому подобное.

С этой минуты я уже не отдыхал на пароходе. Со всех концов мира газеты слали мне радиogramмы, прося высказаться. В Шербуре, на первой остановке перед Саутгемптоном, на борт поднялось свыше ста репортеров европейских газет, требовавших интервью. Условились, что после завтрака я побеседую с ними час в ресторане. Хотя все они были настроены очень сочувственно, пресс-конференция вымотала меня предельно.

В пути от Саутгемптона до Лондона меня не покидало тревожное чувство: еще больше, чем изгнание из Соединенных Штатов, меня волновала мысль о том, каким будет первое впечатление Уны и детей, когда они увидят Англию. Много лет я превозносил изумительные красоты юго-западной части Англии, Девоншира и Корнуэлла, а сейчас мы проезжали мимо уныло теснившихся красных кирпичных домов и узких улочек, вдоль которых вздымались до ужаса одинаковые дома.

— Они все так похожи один на другой, — сказала Уна.

— А ты подожди судить, — ответил я. — Мы едва только выехали из Саутгемптона.

И действительно, мы ехали дальше, и пейзаж становился все более прекрасным.

Подъехав к вокзалу Ватерлоо, мы увидели толпы верных поклонников, которые встречали нас так же преданно и восторженно, как и прежде. Люди продолжали приветственно махать руками и кричать, пока мы уезжали с вокзала. «Всыпь им, как следует, Чарли», — крикнул кто-то. Все это, конечно, согревало душу.

Наконец мы с Уной остались на какое-то мгновение наедине, подошли к окну нашего номера на пятом этаже отеля «Савой», и я показал ей новый мост Ватерлоо. Он был прекрасен, и все-таки теперь он меньше говорил моему сердцу, — разве лишь то, что дорога, проходившая через него, вела к моему детству. Мы стояли молча, вбирая в себя красоту этого самого замечательного города в мире. Я восхищался романтическим благородством площади Согласия в Париже, воспринимал таинственные сигналы, посылаемые тысячью окон Нью-Йорка, сверкающих на закате огнями, — и все-таки вид Темзы из окна нашего отеля в моих глазах превосходил их величием своей нужности людям, своей глубокой человечностью.

Я взглянул на стоявшую у окна Уну и увидел в ее лице волнение, которое делало ее еще моложе ее двадцати семи лет. На ее долю со дня нашей свадьбы выпало из-за меня немало страданий. И вот сейчас, когда она смотрела на Лондон и лучи солнца играли в ее темных волосах, я вдруг впервые увидел в них две-три серебряные нити. Я ничего не сказал, но в ту минуту, когда она шепнула: «Мне нравится Лондон», — я почувствовал себя рабски преданным ей на всю жизнь.

Двадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз приезжал сюда. Я смотрел на изгиб реки — уродливые контуры ее берегов портили пейзаж. Половина моего детства прошла среди шлама и мусора этих закопченных пустырей.

Мы с Уной бродили по Лейстер-сквер и Пикадилли, заполненным теперь американской мишурой, буфетными стойками, сосисочными и молочными, нам то и дело попадались фланирующие юноши без шляп и девушки в синих джинсах. А я помню, как для прогулок по Вест-Энду надевали желтые перчатки и брали с собой трость. Но этот мир ушел в прошлое, и другой мир занял его место — глаза людей смотрят по-другому, и чувства откликаются на другие раздражители. Мужчины плачут, слушая джаз, а жестокость считается теперь проявлением сексуальности. Время идет вперед.

Мы поехали на такси в Кеннингтон, чтобы посмотреть на дом номер 3 на Поунэлл-террас, но дом был пуст — его должны были скоро снести. Мы остановились перед домом 287 по Кеннингтон-роуд, где мы с Сиднеем жили у отца. Мы проехали мимо Бельгравия и увидели в бывших роскошных особняках клерков за письменными столами, освещенных неоновым светом. На месте других особняков вздымались стеклянные аквариумы и цементные спичечные коробки — все это было создано во имя прогресса.

Перед нами стояло много очень трудных задач: прежде всего мы должны были вывезти из Штатов свои деньги. Для этого Уне пришлось лететь в Калифорнию и забрать

то, что хранилось у меня в сейфе. Она была в отъезде десять дней. Вернувшись, она подробно рассказала мне все, что произошло. В банке клерк скрупулезно изучал ее подпись, внимательно посмотрел на нее, а потом вышел и долго совещался с директором банка. И пока они не открыли ей сейф, Уне пришлось пережить очень неприятные четверть часа.

Закончив все дела в банке, Уна поехала домой, в Беверли-хилс. Там все оставалось по-прежнему — и цветы и сад выглядели прелестно. Она немного постояла одна в гостиной, и ее охватила грусть. Но потом она поговорила с Генри, нашим дворецким — швейцарцем, и он рассказал ей, что после нашего отъезда уже два раза приходили агенты Федерального бюро расследования и допрашивали его, что я за человек, знает ли он о том, что в моем доме происходили оргии с голыми женщинами и т. д. Когда он ответил, что я жил очень мирно с женой и детьми, они начали его запугивать, спросили, какой он национальности, давно ли живет в Штатах и потребовали его паспорт.

Уна сказала, что, как только она это услышала, она сразу разлюбила наш дом. Даже слезы нашей горничной Элен, горько плакавшей при расставании с Уной, только ускорили ее отъезд.

Друзья нередко спрашивали меня, чем я мог вызвать такую вражду к себе со стороны американцев. Самым большим моим грехом было и остается то, что я всегда и во всем предпочитаю полагаться на собственное суждение. Хоть я и не коммунист, я отказывался солидаризироваться с теми, кто их ненавидел. Разумеется, это раздражало многих, включая и членов Американского легиона. Я ничего не имею против этой организации, вернее, против тех целей, во имя которых она создавалась: такие меры, как билль о правах военнослужащих и установление других преимуществ для отставных солдат и нуждающихся детей ветеранов войны, — замечательные и очень гуманные мероприятия. Но когда легионеры, вместо того чтобы заниматься своим делом, под флагом патриотизма используют свое влияние для посягательств на права других, они покушаются на самые основы американского строя. Такие сверхпатриоты могут создать те ячейки, из которых в Америке вырастет фашистское государство.

Во-вторых, я выступал против комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, самое название которой — уже передержка, уже готовая петля на шею любого честного американца, которого хотят заставить замолчать только потому, что его мнение расходится с мнением большинства.

И в-третьих, я не принял американского подданства. Но многие американцы, работавшие в Англии, тоже не принимали британского подданства. Представитель «Метро-Голдвин-Майер», получавший несколько тысяч долларов жалованья в неделю, жил и работал в Англии больше тридцати пяти лет, не став британским подданным, и англичане не сокрушались об этом.

Это объяснение, а вовсе не попытка оправдаться. Когда я начинал писать эту книгу, я задал себе вопрос, что меня к этому побудило. Я мог бы назвать несколько причин, но в их число отнюдь не входит желание оправдываться. Подводя итог случившемуся, я могу сказать только, что в эпоху разгула могущественных клик и тайных фактических правителей я вызвал вражду целой нации и, к несчастью, потерял любовь американских зрителей.

Премьера «Огней рампы» должна была состояться в кинотеатре «Одеон» на Лейстер-сквер. Я волновался, как примут картину, — она не была привычной чаплиновской комедией. До премьеры мы устроили просмотр для прессы. После завершения работы над фильмом прошло достаточно времени, я уже отошел от него и мог

смотреть его вполне объективно, и должен сознаться, что он меня тронул. Это не было самолюбованием — я могу радоваться каким-то кускам в моих фильмах и испытывать отвращение к другим. Однако я никогда не плакал, как ввали некоторые репортеры, — но если бы даже я и заплакал, то что в том дурного? Если произведение не волнует самого автора, чего же он может ожидать от зрителей? Откровенно говоря, может быть, я получаю от своих комедий даже больше удовольствия, чем публика.

В тот вечер сбор от «Огней рампы» поступал на благотворительные цели, и в кинотеатре присутствовала принцесса Маргарэт. На другой день состоялась премьера для широкой публики. Рецензии были довольно прохладными, но сборы побивали все мировые рекорды, и, несмотря на то, что фильм был подвергнут в Америке бойкоту, он принес мне денег больше, чем какая бы то ни было из сделанных мною картин.

До нашего отъезда в Париж мы с Уной были гостями лорда Страболли на обеде в Палате лордов. Я сидел рядом с Гербертом Моррисоном и был очень удивлен, услышав, что, будучи социалистом, он тем не менее поддерживал политику атомного вооружения. Я сказал ему, что как бы мы ни усиливали свое атомное вооружение, Англия все равно навсегда останется уязвимой мишенью. Англия — маленький остров, и, если она сразу будет обращена в пепел, возмездие за ее гибель окажется слабым утешением. Я убежден, что самой надежной стратегией в защите Англии был бы ее полный нейтралитет — я сомневаюсь, что он может быть нарушен даже в атомный век. Но мои взгляды никак не совпадали со взглядами Моррисона.

Меня поражает, что так много интеллигентных людей выступает в защиту атомного вооружения. Я познакомился и с лордом Солсбери, который придерживался того же мнения, что и Моррисон. Горячо выразив свое отвращение к защите Англии с помощью атомного вооружения, я почувствовал, что показал себя его светлости не с слишком выгодной стороны.

Мне хотелось бы сказать несколько слов о положении в мире, как оно мне представляется сейчас. Все увеличивающаяся сложность современной жизни, кинетическое наступление XX века застают человека связанным гигантскими организациями, которые угрожают ему со всех сторон, давя на него политически, научно и экономически. Мы становимся жертвами «обработки» наших душ, жертвами санкций и запретов, либо жертвами дозволенного.

И эта форма, в которую мы дали себя отлить, определяется отсутствием у нас культурного провидения. Мы слепо шли к уродству и неразберихе и потеряли способность эстетической оценки. Смысл жизни притупился погоней за выгодой, властью и превосходством. Мы сами позволили этим силам опутать нас и внушить полное пренебрежение к их грозным последствиям.

Наука, лишённая внимательного руководства, которое сознавало бы всю меру своей ответственности, вручила политикам и военщине оружие такой разрушительной силы, что они держат в своих руках судьбу каждого живого существа на земле.

Такая полнота власти, отданная в руки людей, чье чувство моральной ответственности и интеллектуальные способности, по меньшей мере, не являются непогрешимыми, а во многих случаях и просто спорными, может привести нас к такой истребительной войне, которая уничтожит все живое на земле. И все-таки мы слепо идем по этому пути.

Доктор Дж. Роберт Оппенгеймер как-то сказал мне: «Человеком движет жажда познания». Пусть так, но во многих случаях он при этом не задумывается о последствиях. Тут доктор Оппенгеймер согласился со мной. Некоторые ученые напоминают мне



религиозных фанатиков. Они устремляются вперед, глубоко веря, что все, что они открывают, ведет к добру и что их кредо «познай» есть нравственный закон.

А человек — это животное — с первичным инстинктом выживания. И поэтому прежде развивалась его изобретательность, а уж потом его дух. Очевидно, по той же причине и прогресс науки так опережает человеческую нравственность.

Альтруизм на пути прогресса развивается медленно. Он идет вслед за наукой мелкими шажками, часто спотыкается, — и только сила обстоятельств вынуждает его иногда действовать. Нищета сегодня отступила не благодаря альтруизму или правительственной филантропии, а лишь благодаря силам диалектического материализма.

Карлейль сказал, что мир приведут к спасению люди, которые начнут думать. Но человек должен быть вынужден к этому очень серьезными обстоятельствами.

И вот, когда человек добился расщепления атома, он оказался загнан в тупик и вынужден был задуматься. Он стал перед выбором: либо подвергнуть себя разрушению, либо образумиться. Движущая сила науки, ее толчок вынуждает его принять решение. И я верю, что альтруизм в конце концов возобладает и добрая воля человека восторжествует.

После отъезда из Америки жизнь пошла для нас по-другому. В Париже и Риме нас встречали как триумфаторов. Президент Франции Винсент Ориоль пригласил нас позавтракать в Елисейском дворце, мы получили приглашение на завтрак в английское посольство. Правительство Франции пожаловало мне звание кавалера ордена Почетного легиона, и в тот же день я стал почетным членом общества драматургов и композиторов. Меня очень тронуло письмо, написанное мне по этому поводу председателем общества, мсье Роже Фердинандом. Привожу его здесь:

*«Дорогой мистер Чаплин!*

*Если найдутся люди, которые выразят удивление оказанному Вам здесь приему, значит, они просто не знают, за что мы Вас так любим и так восхищаемся Вами; значит, они плохо разбираются в человеческих ценностях и не потрудились посчитать, сколько счастья Вы доставили нам за последние сорок лет, не сумели понять, чему Вы нас учили, и оценить, какие чувства Вы в нас пробуждали и чего стоили эти чувства. Такие люди оказались бы по меньшей мере неблагодарными.*

*Вы принадлежите к числу самых выдающихся людей нашего времени, и Ваша слава столь же заслуженна, как и слава знаменитейших среди людей.*

*Прежде всего Вы гениальны. Слово «гений», которым мы так часто злоупотребляем, обретает свой истинный смысл, когда мы его обращаем к Вам — человеку, который является не только замечательным комедийным актером, но и автором, композитором, режиссером и, что дороже всего, человеком большого сердца и великодушия. А в Вас все это соединяется к тому же с удивительной простотой, которая еще больше возвышает Вас и без всякого умысла или усилий с Вашей стороны, сердечно и непринужденно привлекает к Вам и сегодня сердца людей, которые так же страдают, как Ваше. Но одной гениальности недостаточно, чтобы заслужить уважение и любовь. А ведь любовь — это единственное слово для определения того чувства, которое Вы внушаете людям.*

*Мы смотрели «Огни рампы» и смеялись — часто смеялись от всего сердца, и плакали настоящими слезами — Вашими слезами, потому что и слезы — этот драгоценный дар — подарили нам Вы.*

*Настоящую славу нельзя захватить нечестным путем — она обретает смысл, ценность и долговечность лишь тогда, когда обращена к добру. А Ваша победа — в том, что Вы обладаете глубоко человеческой щедростью и непосредственностью, которые идут не от каких-то правил и приемов искусства, а рождены Вашими страданиями, Вашими радостями, надеждами и разочарованиями. Все это понимают люди, которые страдают свыше своих сил и молят о сочувствии, те, кто не теряет надежды, что им будет даровано утешение и хотя бы мимолетное забвение в смехе, который не сулит исцеления, но может утешить.*

*Можно себе представить, если бы мы этого не знали, какой ценой Вы оплатили свой чудесный дар заставлять людей и смеяться и вдруг заплакать. Человек может угадать или скорей почувствовать, что Вы должны были выстрадать, чтобы суметь донести те мелочи, которые нас так глубоко трогают и которые Вы брали из своей жизни.*

*У Вас хорошая память. Вы остались верны воспоминаниям Вашего детства. Вы ничего не забыли — ни его грусти, ни его тяжелых утрат. Вам хотелось избавить других от горя, которое выпало Вам на долю, или по крайней мере научить их надеяться. Вы никогда не предавали Вашу печальную юность — слава так и не смогла отделить Вас от Вашего прошлого — хотя, увы, такое случается, и нередко.*

*И эта верность Вашим ранним воспоминаниям, может быть, самая большая Ваша заслуга и самое ценное качество, за которое люди так поклоняются Вам. Зрители отзываются на тонкость Вашей игры, — кажется, будто Вы оцутимо касаетесь души своего зрителя. В самом деле, что может быть гармоничнее соединения в одном человеке автора, актера и режиссера, которые отдают свои таланты, собранные воедино, на службу всему человечному и доброму.*

*Вот почему Вы всегда щедры в своем искусстве. Ему не мешают теории и почти не мешает техника — оно навсегда останется исповедью, доверенной нам тайной, молитвой. И каждый из тех, кому Вы доверились, становится Вашим сообщником — он уже и думает и чувствует, как Вы.*

*Своим талантом, и только им одним, Вы давно опровергли Ваших критиков: Вы сумели их пленить, — а это нелегкая задача. Они никогда не согласятся, что Вашему искусству так же присуще очарование старомодной мелодрамы, как и дьявольская «изюминка» Фейдо<sup>1</sup>. А ведь это так и есть, и к тому же Вы еще обладаете изяществом, которое заставляет нас вспомнить о Мюссе<sup>2</sup>, хотя никому из них Вы не подражаете и ни на кого из них Вы не похожи. И в этом тоже заложен секрет Вашей славы.*

*Сегодня нашему Обществу писателей и драматургов выпала честь и радость приветствовать Вас. Мы обременим Вас еще одной встречей, на которые Вы так героически соглашаетесь. А нам страстно хочется Вас увидеть у себя и сказать Вам, как мы восхищаемся Вами и как любим Вас, а также сказать Вам, что Вы по-настоящему один из нас. Сценарии Ваших фильмов написаны мистером Чаплином, музыка сочинена также им, и режиссером их был также мистер Чаплин. Добавочным вкладом остается еще первоклассный актер-комик.*

*Здесь с Вами французские авторы пьес и фильмов, композиторы, режиссеры, и всем им, так же как и Вам, — каждому по-своему, — знакомы гордость и самопожертвование в тяжком труде, который и Вам так хорошо знаком, — они были движимы тем же стремлением тронуть и позабавить людей, показать им радости и горести жизни, изобразить беду погубленной любви, внушить сострадание к незаслуженному горю, помочь заживить раны человечества духом мира, надежды и братства.*

*Спасибо, мистер Чаплин.*

*Роже Фердинанд».*

В Париже на премьере «Огней рампы» присутствовала самая изысканная публика, в том числе министры Франции и иностранные послы. Американский посол, однако, не приехал.

Театр «Комеди Франсэз» дал в нашу честь особое представление мольеровского «Дон-Жуана», в котором участвовали самые великие французские актеры. В этот вечер действовали и были освещены фонтаны Пале-Ройаля. Нас с Уной встречали учащиеся школы «Комеди Франсэз», одетые в костюмы XVIII века, — они держали в руках канделябры с зажженными свечами и так проводили нас до большого фойе, заполненного самыми красивыми женщинами Европы.

В Риме нам был оказан такой же прием. Я был награжден орденом, меня принимали президент и министры. И тут на просмотре «Огней рампы» произошел забавный инцидент. Министр изящных искусств предложил мне пройти в театр через служебный вход, чтобы избежать толпы. Но мне это показалось неудобным, и я ответил, что, если у людей хватило терпения стоять на улице и ждать, чтобы меня увидеть, я по меньшей мере должен быть достаточно вежливым и показаться им. Мне почудилось, что у министра было довольно странное выражение, когда он кротко повторил, что проход через заднюю дверь избавил бы меня от многих трудностей. Но я настаивал на своем, и он вынужден был согласиться.

Премьера в тот вечер была очень пышной. Когда мы подъехали к кинотеатру в закрытой машине, толпы народа были оттеснены канатами к дальнему краю улицы, — и мне показалось, что даже слишком далеко. Я вышел из машины, обошел ее и оказался посреди улицы. Стараясь быть как можно любезнее и обаятельнее, я остановился под светом юпитеров с широкой улыбкой на лице и жестом де Голля поднял руки над головой. И в ту же минуту мимо меня полетели кочаны капусты и помидоры. Я понял, что это пролетело и что, собственно, случилось, только когда услышал, как мой итальянский друг-переводчик простонал у меня за спиной: «И подумать только, что это могло произойти у нас в стране». Однако ни один помидор в меня не попал, мы поторопились пройти в театр, и тут до меня дошел юмор моего положения, и я стал смеяться не умолкая. Даже мой итальянский друг не мог не посмеяться вместе со мной.

Мы узнали потом, что хулиганы оказались молодыми неофашистами. Должен признать, что в их упражнениях не было особой страстности — это была скорей демонстрация. Четверо из них были тут же арестованы, и полиция обратилась ко мне с вопросом, не желаю ли я предъявить им какое-либо обвинение.

— Конечно, нет, — ответил я, — это же мальчишки.

И в самом деле, это были подростки, от четырнадцати до шестнадцати лет. На этом и закончился инцидент.

Перед нашим отъездом из Парижа в Рим мне позвонил Луи Арагон, поэт и редактор газеты «Леттр франсэз», и сказал, что со мной хотели бы познакомиться Жан-Поль Сартр и Пикассо. Я пригласил их пообедать, но так как им хотелось встретиться в спокойной обстановке, мы пообедали у меня в номере. Когда об этом услышал мой заведующий рекламой Гарри Крокер, с ним чуть не случился удар.

— Это погубит все, чего нам удалось достичь с тех пор, как мы покинули Штаты.

— Но, Гарри, это же Европа, а не Штаты, и речь идет о людях с мировым именем, — сказал я.

Я был осторожен и не сообщил ни Гарри, ни кому-нибудь другому о своем намерении не возвращаться в Америку — у меня там оставалось имущество, которым я еще не успел распорядиться. Гарри так волновался, что я сам чуть не поверил, будто знакомство с Арагоном, Пикассо и Сартром было равносильно участию в заговоре против западной демократии. Но тем не менее эти тревоги не помешали ему задержаться, чтобы получить у них автографы.

Я не ждал многого от этого вечера. Только Арагон умел говорить по-английски, а разговор через переводчика всегда подобен стрельбе на дальнюю дистанцию — слишком долго приходится ждать, пока узнаешь, попал ли ты в цель.

Арагон — красивый человек с правильными чертами лица. Лукаво-насмешливое выражение лица Пикассо делает его скорее похожим на циркового акробата или клоуна, чем на художника. У Сартра круглое лицо, которое при ближайшем рассмотрении выглядит грубоватым, но обладает своей особой тонкой красотой и одухотворенностью. Сартр был очень сдержан и почти не говорил. После обеда Пикассо повез нас в свою студию на левом берегу Сены, в которой он продолжает работать и сейчас. На двери квартиры, помещавшейся под его студией, мы увидели объявление: «Студия Пикассо не тут! Поднимитесь, пожалуйста, этажом выше».

Мы вошли в жалкую ободранную мансарду, где, пожалуй, даже Чаттертону <sup>1</sup> не захотелось бы умирать. На гвозде, вбитом прямо в балку, висела электрическая лампочка без абажура, позволившая нам разглядеть старую, шаткую железную кровать и поломанную печку. К стене были прислонены старые запыленные холсты. Пикассо поднял один из них — это оказался превосходный Сезанн. Он стал показывать остальные — мы увидели, должно быть, не меньше пятидесяти шедевров. Меня так и подмывало предложить круглую сумму за все оптом и избавить хозяина от ненужного хлама. Это горьковское «дно» было поистине «золотым».

## XXXI

После премьеры в Париже и Риме мы вернулись в Лондон и провели там несколько недель. Мне еще нужно было решить, где мы поселимся. Кто-то из друзей посоветовал — в Швейцарии. Конечно, я предпочел бы Лондон, но мы боялись, что климат будет вреден для детей, да и валютные ограничения, откровенно говоря, сыграли тут определенную роль.

С грустью упаковали мы вещи и отправились в Швейцарию с четырьмя детьми. Временно мы поселились в Лозанне, в отеле «Бо-Риваж», на самом берегу озера. Стояла грустная осень, но горы были прекрасны.

Мы потратили четыре месяца на поиски подходящего дома. Уна, ожидавшая пятого ребенка, решительно заявила, что не хочет из больницы возвращаться в отель. Таким образом, надо было торопиться, и в конце концов мы обосновались в Мануар-де-Бан, в селении Корсье, чуть выше Веве. К нашему удивлению, мы обнаружили, что при доме есть участок в тридцать семь акров земли, фруктовый сад, в котором растут крупные черные вишни, чудесные зеленые сливы, яблоки и груши, и огород с клубникой, изумительной спаржей и кукурузой. Когда подходит время уборки урожая, мы все — где бы мы ни были — съезжаем, дабы совершить туда паломничество. Перед террасой

расстилается большая, акров на пять, зеленая лужайка, окаймленная прекрасными высокими деревьями, а вдали виднеются горы и озеро.

Мне удалось подобрать очень дельных помощников: мисс Речел Форд занялась нашим хозяйством, а потом стала и моим администратором; швейцарка мадам Бюрнье, мой секретарь-переводчик, много раз перепечатывала эту книгу.

Нас немного напугало великолепие нашего поместья — мы не были уверены, хватит ли у нас доходов, чтобы его содержать, но когда хозяин сказал нам, во что это может обойтись, мы успокоились, — эта сумма была в пределах нашего бюджета. Так мы стали жителями Корсье, население которого насчитывает тысячу триста пятьдесят человек.

Нам понадобилось около года, чтобы привыкнуть к новой жизни. Первое время дети ходили в сельскую школу в Корсье. Сначала им было очень трудно — все предметы преподавались на французском языке, и мы, конечно, волновались, не зная, как это подействует на них психологически. Но они очень быстро начали свободно болтать по-французски. Трогательно было видеть, как они легко приспособились к швейцарскому образу жизни. Даже Кей-Кей и Пинни, нянюшки младших детей, тоже принялись кое-как одолевая французский язык.

Мы начали порывать узы, еще связывавшие нас с Соединенными Штатами. Это заняло у нас довольно много времени. Я поехал к американскому консулу и вручил ему свою обратную визу, заявив, что меняю местожительство.

— Вы не собираетесь вернуться в Соединенные Штаты, Чарли?

— Нет, — ответил я, почти извиняющимся тоном. — Я уже слишком стар, чтобы терпеть всю эту чепуху.

Он не стал спорить и лишь заметил:

— Ну что ж, если захотите, вы всегда сможете вернуться, получив обычную визу.

Я улыбнулся и покачал головой:

— Я решил навсегда поселиться в Швейцарии.

Мы пожали друг другу руки и расстались.

Уна решила отказаться от американского подданства. В одну из наших поездок в Лондон она уведомила об этом американское посольство. Ей сказали, что требуемые при этом формальности займут не меньше трех четвертей часа.

— Какая чепуха! — сказал я Уне. — Смешно, что это должно занять так много времени. Я сам пойду с тобой.

Едва мы переступили порог посольства, как на меня вдруг нахлынули все прошлые обиды и оскорбления, и я уже готов был взорваться. Громким голосом я спросил, где помещается отдел иммиграции. Уна даже смутилась. Одна из дверей сразу открылась и показавшийся в ней человек сказал:

— Здравствуйте, Чарли! Пройдите, пожалуйста, с вашей супругой ко мне в кабинет.

Должно быть, он почувствовал мое настроение и поэтому начал беседу пояснением:

— Каждый американец, отказывающийся от американского подданства, должен ясно отдавать себе отчет в том, что он делает, и при этом быть в здравом уме. Вот почему

мы и прибегаем к процедуре допроса, целью которой является лишь защита наших граждан.

Сознаюсь, это меня несколько отрезвило.

Этому человеку было лет под шестьдесят.

— А ведь я видел вас в Денвере, в старом театре «Эмприсс» в 1911 году, — сказал он, поглядев на меня укоризненно.

Тут я, конечно, сразу растаял, и мы с ним поговорили о добром старом времени.

Но когда было покончено со всей этой мукой, последняя бумага была подписана и мы весело простились, мне стало немного досадно, что я почти ничего не почувствовал в эту минуту.

В Лондоне мы по временам встречаемся с друзьями, среди них — Сидней Бернстайн, Айвор Монтегю, сэр Эдуард Беддингтон-Беренс, Дональд Огден Стюарт, Элла Уинтер, Грэхем Грин, Дж.-Б. Пристли, Макс Рейнгардт и Дуглас Фербенкс-младший. Хотя кое с кем из них мы видимся редко, одно сознание, что они существуют, уже радует, создает уверенность, что, если устанешь плыть, всегда можно причалить к надежной пристани.

Однажды мы с Уной обедали вдвоем в ресторане отеля «Савой», и, когда мы уже заканчивали десерт, к нашему столику подошли сэр Уинстон Черчилль и леди Черчилль. Я не видел сэра Уинстона и не имел от него никаких вестей с 1931 года. Но после премьеры «Огней рампы» в Лондоне я получил письмо от кинокомпании «Юнайтед артистс» — моих прокатчиков, в котором они просили разрешения показать фильм сэру Уинстону у него дома. Конечно, я был этим только польщен. Несколько дней спустя он прислал мне очень милое письмо, где благодарил меня и говорил, какое удовольствие доставила ему картина.

И вот сейчас сэр Уинстон стоял перед нашим столиком.

— Итак, — сказал он. В этом его «итак» мне почудилась какая-то нотка неодобрения.

Я быстро встал, расплываясь в улыбке, и представил Уну, которая уже собиралась уйти.

После ее ухода я попросил разрешения выпить с ними кофе и пересел за их столик.

Я заметил, что сэр Уинстон был как будто чем-то недоволен. Конечно, с 1931 года много воды утекло. Своим непобедимым мужеством и зажигательным красноречием он спас Англию, но мне казалось, что его речь, произнесенная в Фултоне по поводу «железного занавеса», не привела ни к чему хорошему и лишь усилила холодную войну.

Разговор перешел на мой фильм «Огни рампы», и тут он заметил:

— Два года тому назад я послал вам письмо, в котором поздравлял вас с этим фильмом. Вы его получили?

— О да, — ответил я восторженно.

— Почему же вы мне не ответили?

— Мне казалось, что оно не требует ответа, — сказал я виновато.

Но Черчилля трудно было обмануть.

— Гм-м-м, — недовольно пробормотал он, — а я уже решил, что это сделано мне в упрек.

— Нет, нет, конечно, нет, — поспешил я его заверить.

— Во всяком случае, — прибавил он в заключение, — ваши картины всегда доставляют мне радость.

Я был пленен скромностью великого человека, который мог помнить о каком-то письме двухлетней давности. Но я никогда не разделял его взглядов в политике. «Я здесь не для того, чтобы содействовать распаду Британской империи», — сказал когда-то Черчилль. Может быть, сказано это очень хлестко, но перед лицом современной действительности звучит пустой фразой.

Распад империи происходит вовсе не в результате политических махинаций, воздействия коммунистической пропаганды, революционных армий, восстаний черни или речей уличных ораторов. Пропагандистами и инспираторами тут выступают международные фирмы, рекламирующие свои товары, а также радио, телевидение, кино, автомобиль и трактор, новые достижения науки, увеличение скоростей и средств связи во всем мире. Вот те революционизирующие стимулы, которые приводят к распаду империи.

Вскоре после нашего возвращения в Швейцарию я получил письмо от Неру, в которое была вложена рекомендательная записка от леди Маунтбеттен. Она была уверена, что у меня с Неру найдется очень много общего, а так как он проезжал через Корсье, то, может быть, мы могли бы встретиться. Неру должен был присутствовать на ежегодном совещании послов в Люцерне и писал, что был бы очень рад, если бы я смог туда приехать и провести с ним вечер, а на следующий день он обещал отвезти меня в Мануар-де-Бан. Я поехал в Люцерн.

Я был удивлен, увидев невысокого человека, примерно одного со мною роста. С Неру была его дочь, миссис Ганди, очаровательная, спокойная женщина. Неру произвел на меня впечатление человека настроений, сурового и впечатлительного, с исключительно живым и аналитическим умом. До тех пор пока мы не выехали из Люцерна в направлении Мануар-де-Бан, куда я пригласил его позавтракать, он держался несколько неуверенно. Его дочь, направляясь в Женеву, ехала сзади, в другой машине. По пути у нас завязался очень интересный разговор. Неру очень высоко оценил деятельность лорда Луиса Маунтбеттена, который, будучи вице-королем Индии, прекрасно организовал уход англичан оттуда.

Я спросил Неру, каким идеологическим путем идет Индия. Он ответил:

— Тем, который может лучше всего помочь индийскому народу, — и тут же прибавил, что они уже утвердили пятилетний план. Он говорил блестяще, но его шофер мчался по крутым и извилистым горным дорогам со скоростью не менее семидесяти миль в час. Неру увлеченно объяснял мне основы политики Индии, а я, мысленно занятый «советами» шоферу, как нужно вести машину, должен признаться, почти не слушал его, ожидая, что мы вот-вот сорвемся в пропасть. И даже когда резко визжали тормоза и нас бросало вперед, Неру невозмутимо продолжал говорить. Но наконец наступила передышка — мы остановились на перекрестке, где дочь Неру должна была с нами расстаться. И тут он показал себя любящим и заботливым отцом: обнимая дочь, он нежно напомнил ей: «Береги себя!» — слова, которые скорей надо было дочери сказать отцу.

В Веве у нас появились новые друзья, и среди них мсье Эмиль Россье и мсье Мишель Россье с их семьями. Все они — большие любители музыки. Эмиль познакомил

нас с известной пианисткой Кларой Хэскиль. Она жила в Веве, и, когда бывала в городе, она и обе семьи Россье приходили к нам обедать, а после обеда Клара усаживалась за рояль. Хотя ей было уже больше шестидесяти, Клара была на вершине своей славы и пользовалась феноменальным успехом в Европе и в Америке. Но в 1960 году, выходя из поезда где-то в Бельгии, она поскользнулась и упала. Ее отвезли в больницу, где она и скончалась.

Я часто проигрываю ее пластинки, особенно последнюю, которую она записала незадолго перед смертью. Прежде чем начать переписывать эту рукопись в шестой раз, я послушал Третий фортепианный концерт Бетховена в исполнении Клары (дирижер Маркевич). Он является для меня тем предельным приближением к настоящей правде в искусстве, каким может быть лишь великое произведение, и тем источником, из которого я почерпнул силы, чтобы закончить эту книгу.

Если бы мы не были так заняты своей семьей, мы могли бы вести в Швейцарии очень светскую жизнь. Среди наших соседей — королева Испании, граф и графиня Шейро д'Антрег, которые относятся к нам с большой сердечностью. Поблизости от нас живут также многие кинозвезды и писатели. Мы часто видим Джорджа и Бениту Сендерсов, встречаемся также с Ноэлем Коуардом. Весной нас обычно навещает много друзей, американцев и англичан. Часто бывает у нас Трумен Капоте, который иногда работает в Швейцарии. На пасхальные каникулы мы увозим детей на юг Ирландии — удовольствие, которое с восторгом предвкушает вся семья.

Летом мы в шортах обедаем на террасе и часов до десяти остаемся на воздухе, наблюдая, как день сменяется ночью. Иногда нам вдруг взбредет в голову проехать в Лондон или Париж, а то и в Венецию или в Рим — все это близко, всего в нескольких часах езды.

В Париже нас часто принимает очень дорогой наш друг, Поль-Луи Вейлер. В августе он обычно приглашает всю семью на месяц в свое прелестное поместье на берегу Средиземного моря, где дети могут вдоволь плавать и кататься на водяных лыжах.

Друзья нередко спрашивают меня, скучаю ли я по Соединенным Штатам, по Нью-Йорку. Откровенно говоря, — нет. Америка очень изменилась, а вместе с ней и Нью-Йорк. Гигантский размах промышленности, печати, телевидения и коммерческой рекламы сделал для меня неприемлемым американский образ жизни. Меня больше устраивает простая, тихая жизнь, а вовсе не эти поражающие воображение авеню с небоскребами, призванными служить вечным напоминанием о могуществе крупного бизнеса и его великих свершениях.

Однако понадобилось больше года, чтобы я смог ликвидировать все свои дела в Соединенных Штатах. Налоговый департамент вздумал обложить налогом все доходы, полученные мною в Европе по прокату «Огней рампы» по 1955 год, на том основании, что я якобы считался тогда постоянным жителем Америки, хотя на самом деле меня изгнали из страны еще в 1952 году. Я не мог обратиться к защите американского суда, ибо, как объяснил мне мой американский адвокат, у меня было мало надежды вернуться в страну, чтобы защитить свои интересы.

Но так как я к тому времени уже вышел из всех американских компаний и развязался там со всеми делами, я мог бы послать их к черту. Однако, не желая отдавать себя под защиту другой страны и быть ей за это обязанным, я договорился об уплате значительно меньшей суммы, чем они потребовали, но значительно большей, чем я, по справедливости, должен бы уплатить.



Грустно было порывать последние нити, связывавшие меня с Соединенными Штатами. Наша горничная Элен, служившая у нас в Беверли-хилс, услышав, что мы не собираемся вернуться, написала нам вот это письмо:

*«Дорогие мистер и миссис Чаплин!*

*Я писала вам много писем, но все не решалась их отправить. Мне кажется, что с тех пор, как вы уехали, все пошло не так, как надо. Я сама никогда в жизни ни по ком, кроме, может быть, своих родных, не тосковала так, как по вас. Все получилось как-то неправильно, несправедливо, неразумно, и я просто никак не могу с этим примириться. А теперь мы еще получили печальное известие, которого так боялись, хотя и понимали, что оно может прийти, — ваше распоряжение упаковать все, что возможно. Но это же немыслимо... не может быть... все вещи, которые мы укладывали, были омыты нашими слезами. У меня от горя не перестает болеть голова, — не знаю, как люди могут это выдержать. Пожалуйста, миссис Чаплин, пожалуйста, если только можете, не позволяйте мистеру Чаплину продавать дом. В каждой комнате еще живет особый дух, хотя там и остались теперь одни ковры да занавеси, а у меня такое чувство к этому дому, что я бы никого другого и не впустила сюда. Если бы только у меня самой были такие деньги... но это, конечно, глупо и никакого смысла не имело бы для меня. Если желаете, можно сократить все расходы до предела, но прошу вас, прошу вас, не продавайте дом. Я знаю, что не должна бы вам этого говорить, но не могу с собой совладать, — я ни за что не расстанусь с надеждой, что вы все когда-нибудь вернетесь сюда. Ну а сейчас довольно об этом, миссис Чаплин, я должна вам переслать еще три письма, но мне бы нужно достать конверты побольше размером. Передайте, пожалуйста, всем мой привет и простите, что пишу карандашом, — у меня даже авторучка испортилась.*

*Искренне ваша Элен».*

Получили мы также письмо и от нашего дворецкого Генри. Вот что он писал:

*«Уважаемые мистер и миссис Чаплин!*

*Я давно уже вам не писал, потому что мне, швейцарцу, очень трудно правильно выразиться по-английски. Несколько недель тому назад мне выпало счастье — мне удалось посмотреть картину «Огни рампы». Это был просмотр в частном доме, меня пригласила мисс Рансер. Там было человек двадцать, но единственно, кто мне там оказался знаком, это мистер и миссис Сидней Чаплин, мисс Рансер и Ролли. Я сел в уголок подальше, чтобы остаться наедине со своими мыслями. И картина стоила того. Может быть, я смеялся громче всех, но я и плакал горше всех. Это самая лучшая картина из тех, что мне довелось в жизни увидеть. В Лос-Анжелесе ее ни разу не показывали. Правда, несколько пластинок, на которых записана музыка из «Огней рампы», передавали по радио. Какая прекрасная музыка! Когда я ее слышу, она так волнует меня. Но по радио никогда не упоминается имя композитора — мистера Чаплина.*

*Я был очень рад узнать, что детям понравилась Швейцария. Конечно, взрослым нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к чужой стране. Но мне кажется, что Швейцария — одна из лучших стран на свете. Там самые лучшие школы на всем земном шаре и самая старая республика на свете — с 1191 года. Первое августа там — это здешнее 4 июля, День независимости. Там не празднуют этот день, но на всех горных вершинах вы увидите 1 августа огни. В общем, Швейцария осталась одной из немногих мало изменившихся и процветающих стран. Я уехал оттуда в Южную Америку в 1918*

*году. С тех пор два раза приезжал и отслужил два срока в швейцарской армии. Родился я в Сент-Галлене, в восточной части Швейцарии. В Берне живет мой младший брат, а в Сент-Галлене — другой.*

*Шлю вам всем мои самые лучшие пожелания.*

*С уважением ваш Генри».*

Все, кто работал у меня в Калифорнии, оставались у меня на жалованье, но теперь, когда я совсем обосновался в Швейцарии, я уже не мог позволить себе продолжать им платить и дальше. Я дал каждому из них в виде выходного пособия чек; общая сумма этих чеков достигала восьмидесяти тысяч долларов. Но Эдна Первиэнс, получив свой чек, однако, оставалась у меня на службе до последнего дня своей жизни.

Подбирая актеров для «Мсье Верду», я подумал, что Эдна могла бы сыграть мадам Гросней — одну из главных ролей. Я не видел Эдну около двадцати лет; контора пересылала ей по почте ее недельное жалованье, и Эдна никогда не появлялась в студии. Впоследствии она призналась мне, что, когда ей позвонили из студии, она не столько обрадовалась, сколько испугалась.

Когда Эдна приехала, ко мне в уборную вбежал Ролли, мой оператор. Он тоже не видел ее лет двадцать.

— Пришла, — крикнул он, и глаза у него сверкали. — Конечно, она уже не та, но выглядит великолепно!

Он сказал мне, что она будет ждать меня на лужайке, перед своей уборной.

Я боялся какой-нибудь чувствительной сцены и постарался напустить на себя деловой вид, будто мы виделись две-три недели тому назад.

— Ну! Ну! В конце концов мы все-таки добрались до тебя! — начал я весело.

Она улыбнулась, но на ярком солнце я заметил, как у нее дрогнули губы. И тут я начал ей пояснять, зачем я ее вызвал, рассказал ей сценарий.

— По-моему, это замечательно, — сказала она. Эдна всегда была очень восторженной.

Она почитала мне куски роли, и, надо сказать, неплохо. Но одно ее присутствие вызывало во мне какое-то тоскливое чувство — она так живо напоминала мне мои первые успехи в кино, те дни, когда все еще было впереди.

Эдна со страстью погрузилась в работу, правда, из этого ничего не вышло. Образ требовал определенной, чисто европейской утонченности, которой у Эдны никогда не было. Поработав с ней три-четыре дня, я был вынужден признать, что она не годится для этой роли. Но Эдна и сама почувствовала скорей облегчение, чем разочарование. Я больше не видел ее, и она не давала о себе знать. Но потом она написала мне в Швейцарию и поблагодарила меня за полученный чек.

*«Дорогой Чарли!*

*Первый раз в жизни я пишу тебе, хочу поблагодарить за дружбу, которой ты дарил меня в продолжение стольких лет, за все, что ты сделал для меня. Юность считается беззаботной порой, но я знаю, что на твою долю и тогда выпало немало забот. Однако я верю, что теперь зато твоя чаша счастья с такой прелестной женой и детьми полна до краев...*

(Дальше Эдна описывает свою болезнь, чудовищные расходы на докторов и сестер, но кончает, как и всегда, веселой шуткой.)

*Расскажу анекдот, который недавно услышала. Летчика посадили в ракету, запломбировали и выстрелили, чтобы посмотреть, как высоко он может подняться. Ему было предписано следить за высотой. Вот он и считал все время: 25 тысяч... 30 тысяч... 100 тысяч... 500 тысяч... Очутившись на такой высоте, он сказал про себя: «Господи Иисусе Христе!» и тут тихий мягкий голос отозвался: «Э?»*

*Прошу тебя, прошу тебя, Чарли, дай мне о себе знать, как можно скорее, — хотя бы два слова. И, пожалуйста, вернись — твое место здесь!*

*Искренне твоя самая верная и самая большая почитательница.*

*Целую*

*Эдна».*

За все эти годы я не написал Эдне ни одного письма — вся связь с ней шла через студию. Ее последнее письмо было ответом на сообщение о том, что она по-прежнему будет получать свое жалованье.

*13 ноября 1956 года.*

*«Дорогой Чарли!*

*И вот снова сердце мое переполнено благодарностью тебе. И снова я в лечебнице («Ливанские кедры»), — тут мне облучают шею кобальтом и рентгеном. После этого ад уже не страшен. А ведь это надо терпеть, пока человек способен хотя бы пальцем шевельнуть. Но тем не менее это лечение — самое лучшее из всех известных доньше от той болезни, которая меня мучает. Надеюсь, что в конце недели меня отпустят домой, и тогда я буду амбулаторной больной (как это будет замечательно!). Я уж благодарна и за то, что у меня внутренние органы не поражены и что у меня чисто местное заболевание — так, по крайней мере, мне говорят. А мне все это напоминает рассказ о парне, который стоял на углу 7-й авеню и Бродвея и почему-то рвал бумагу на мелкие клочки и разбрасывал их на все четыре стороны. Подходит полицейский и спрашивает, что это ему вздумалось сорить? «Отгоняю слонов», — отвечает парень. Полицейский ему на это: «В моем районе нет никаких слонов!» — «Вот видите, — говорит, — значит, мое средство действует!» Вот тебе моя глупость на сегодняшний день — ты уж прости меня.*

*Надеюсь, что и ты и все твои здоровы и радуетесь тому, ради чего ты работал всю жизнь.*

*Как всегда с любовью*

*Эдна».*

Вскоре после того как я получил это письмо, она умерла. Мир вокруг молодеет, юность побеждает. А мы, чем дольше живем, тем более одинокими становимся.

И вот я подошел к концу своей одиссеи. Я понимаю, что время и обстоятельства благоприятствовали мне. Мне выпало на долю быть любимцем всего мира, меня и любили

и ненавидели. Да, мир дал мне все лучшее, и лишь немного самого плохого. Какими бы ни были превратности моей судьбы, я верю, что и счастье и несчастье приносит случайный ветер, как облака в небе. И, зная это, я не отчаиваюсь, когда приходит беда, но зато радуюсь счастью, как приятной неожиданности. У меня нет определенного плана жизни, нет и своей философии, всем нам — и мудрецам и дуракам — приходится бороться с жизнью. Я бываю и очень непоследователен: мелочи иногда вызывают у меня раздражение, а катастрофы оставляют равнодушным.

Как бы то ни было, сейчас моя жизнь кажется мне увлекательнее, чем когда-либо прежде. Я здоров, все еще способен к творчеству и собираюсь снимать фильмы; может быть, сам я уже не буду в них играть, но буду писать сценарии и ставить фильмы с участием моих детей — некоторые из них обещают стать хорошими актерами. Я по-прежнему честолюбив и никогда не смогу уйти на покой. Мне бы хотелось сделать еще очень много — помимо нескольких сценариев, которые надо закончить, я хотел бы написать пьесу и оперу, если позволит время.

Шопенгауэр говорил, что счастье — это понятие негативное. Я не согласен с ним. За последние двадцать лет я узнал, что такое счастье. Судьба подарила мне замечательную жену. Мне хотелось бы подробнее написать о ней, но тут пришлось бы говорить о любви, а писать о настоящей любви — это значит испытать самое прекрасное из творческих разочарований: ее невозможно ни описать, ни выразить. За эти двадцать лет я каждый день открываю все новую глубину и прелесть характера Уны. И даже когда она просто, с удивительным достоинством идет впереди меня по узкому тротуару Веве и я гляжу на ее изящную, стройную фигурку, на гладко зачесанные темные волосы, в которых уже поблескивает несколько серебряных нитей, к моему сердцу вдруг приливает волна любви и счастья оттого, что она такая, какая есть, и к глазам подступают слезы. И, полный этого счастья, я сажусь иногда в часы заката на террасе и гляжу на широкую зеленую лужайку, на озеро, на спокойные горы вдаль — и, ни о чем не думая, радуюсь их величавой безмятежности.

## ФИЛЬМЫ ЧАРЛЬЗА ЧАПЛИНА

1914. Çàðááàòòúââÿ ìà æèçíü (1 ÷àñòü).	Making a Living
Äàòñèèâ àâòîâííèè â Âáíèñá (1/2 ÷àñòè).	Kid Auto Races at Venice
Íáíáúííâáíí çàððóáíèðàèüíâ ñèíæáíèâ Íýéáè (1 ÷àñòü).	Mabel's Strange Predicament
Ìáæáó àáòìÿ èèâíÿè (1 ÷àñòü).	Between Showers
Äæííè â èèí (1 ÷àñòü).	A Film Johnnie
Òáíáí-íòðàíèòà (1 ÷àñòü).	Tango Tangles
Äáí èðáèíâ áðáìÿðáíðí-âíæááíèâ (1 ÷àñòü).	His Favorite Pastime
Æáñòíèâÿ, æáñòíèâÿ èðáíâ (1 ÷àñòü).	Cruel, Cruel Love
Ëó÷èè æèèáð (1 ÷àñòü).	The Star Boarder
Íýéáè çà ðóèâì (2 ÷àñòè).	Mabel at the Wheel
Äáááðàòü ìèíóð èðááè (1 ÷àñòü).	Twenty Minutes of Love
Çàñòèâííóðüè â èáááðá (2 ÷àñòè).	Caught in a Cabaret
Çàñòèâííóðüè áíæáâì (1 ÷àñòü).	Caught in the Rain

Āāēīāīē āāīū (1/2 ÷āñòè).	A Busy Day
Ďīēīāīē īīēīòīē (1 ÷āñòū).	The Fatal Mallet
Āā āđōā āāīāēò (1 ÷āñòū).	Her Friend the Bandit
Īīēāòò (2 ÷āñòè).	The Knockout
Āāēīāīē āāīū Īýéāē (1 ÷āñòū).	Mabel's Busy Day
Ñāīāēīāý æēçīū Īýéāē (1 ÷āñòū).	Mabel's Married Life
Āāñāēýüēē āāç (1 ÷āñòū).	Laughing Gas
Ďāēāēçèòīđ (2 ÷āñòè).	The Property Man
Ēēōī iā īīēō āāđā (1 ÷āñòū).	The Face on the Bar-room Floor
Īōīōñē (1/2 ÷āñòè).	Recreation
Ēāđīāāāēüīāý iāñēā (1 ÷āñòū).	The Masquerader
Āāī īīāāý īđīōāññēý (1 ÷āñòū).	His New Profession
Ōđāīæēđū (1 ÷āñòū).	The Rounders
Īīāūē īđēāđāòīēē (1 ÷āñòū).	The New Janitor

### ФИЛЬМЫ СТУДИИ „КИСТОУН"

Ýòè ióèè ēpāāē (1 ÷āñòū).	Those Love Pangs
Ōāñòī è æēīāīēò (2 ÷āñòè).	Dough and Dynamite
Īāāīçīòđèīūē āæāīōēüīāī (1 ÷āñòū).	Gentlemen of Nerve
Его музыкальная карьера (1 часть).	His Musical Career
Место его свиданий (2 части).	His Trysting Place
Прерванный роман Тилли (6 частей).	Tillie's Punctured Romance
Ñīñōīýāōāāñý çīāēīñōāī (1 ÷āñòū).	Getting Acquainted
Āāī āīēñòīđē÷āñēīā īđīōēīā (2 ÷āñòè).	His Prehistoric Past

### ŌÈÈÜÏÛ ŌÈĐÏÛ „ÝÑÑĀĪĀÉ"

1915. Āāī īīāāý đāāīđā (2 ÷āñòè).	His New Job
Īí÷ü īāīđīēāò (2 ÷āñòè).	A Night Out
×āīīēīī (2 ÷āñòè).	The Champion
Ā iāđēā (1 ÷āñòū).	In the Park
Āāāñōāī ā āāōīīāēēā (2 ÷āñòè).	The Jitney Elopement
Āđīāýāā (2 ÷āñòè).	The Tramp
Ó īīđý (1 ÷āñòū).	By the Sea
Ďāāīđā (2 ÷āñòè).	Work
Æāīüēīā (2 ÷āñòè).	A Woman
Āāīē (2 ÷āñòè).	The Bank
Çāāāđāīāāīīūē (2 ÷āñòè).	Shanghai'd
Āā÷āđ ā īpçēē-ōīēēā (2 ÷āñòè).	A Night in the Show
1916. Ēāđīāī (4 ÷āñòè).	Carmen
Īīēēōēý (2 ÷āñòè).	Police
1918. Ōđīēīā āāñīīēīēñōāī (2 ÷āñòè).	Triple Trouble

ÔÈÈÛÏÛ ÔÈÐÏÛ „Ï×ÓÝÈ"

1916. Êíîðíεãð óíεããðíãã (2 ÷ãñòε). The Floorwalker

Ïæãðíúε (2 ÷ãñòε).	The Fireman
Ñêεòããö (2 ÷ãñòε).	The Vagabond
Â ÷ãñ íí-ε (2 ÷ãñòε).	One a. m.
Ãðãð (2 ÷ãñòε).	The Count
Èããêà ðñòòíãùεêà (2 ÷ãñòε).	The Pawnshop
Çà εóεεñãíε ýεðãíã (2 ÷ãñòε).	Behind the Screen
Ðεíε (2 ÷ãñòε).	The Rink
1917. Òεðãÿ óεεòã (2 ÷ãñòε).	Easy Street
Èã-ãíεã (2 ÷ãñòε).	The Cure
Èíεãðãíò (2 ÷ãñòε).	The Immigrant
Èñεãðãεü ðεεεþ-ãíεε (2 ÷ãñòε).	The Adventurer

ÔÈÈÛÏÛ „ÔÃÐÑÒ ÍÁÉΘÍÈ"

1918 Собачья жизнь (3 части).	A Dog's Life
Íãεãããöÿ (1/2 ÷ãñòε).	The Bond
Íã ðεã-í! (3 ÷ãñòε).	Shoulder Arms!
1919 Солнечная сторона (3 части).	Sunnyside
Ããíü ðãçãεã-ãíεε (2 ÷ãñòε).	A Day's Pleasure
1920 Ìãεüø (6 ÷ãñòãé).	The Kid
Ïðãçãíúε εεãññ (2 ÷ãñòε).	The Idle Class
1922 День полочки (2 части).	Pay Day
1923 Ìεεεãðè (4 ÷ãñòε).	The Pilgrim

ÔÈÈÛÏÛ ÈÈÍÍÈÍÍÁÍÈÈ „ΡÍÁÉÓÃÃ  
 ÅÐÒÈÑÒÑ"

(ãñã ðεíííãððãεíúã)

1923 Ìãðεããíεã.	A Woman of Paris
1925 Çíεíðãÿ εεðíðããêà.	The Gold Rush
1928 Òεðε.	The Circus
1931 Íãíε áíεüøíãí ãíðíãã.	City Lights
1936 Ííãúã áðãíãíã.	Modern Times
1940 Âãεεεεεã εεεòãòíð.	The Great Dictator
1947 Ìñüã Âãðãó.	Monsieur Verdoux
1953 Íãíε ðãííü.	Limelight
1957 Êíðíεü á Ìþ-Èíðεã.	The King in New York

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Стр. 11

<sup>1</sup> *Гвин Нелл* (Элеонора) — английская актриса, фаворитка короля Карла II (XVII в.).

<sup>2</sup> «*Она*» — инсценировка популярного в конце XIX в. романа английского писателя Райдера Хаггарда.

Стр. 20

<sup>1</sup> *Дрейк Фрэнсис* — мореплаватель и пират XVI в., ставший адмиралом британского флота. Дрейк носил красные чулки, отсюда — детское прозвище Чаплина.

Стр. 37.

<sup>1</sup> *Клогданс* — танец, исполнявшийся в башмаках на деревянной подошве.

Стр. 43

<sup>1</sup> *Крукиенк Джордж* (1792—1878) — английский художник-карикатурист, иллюстратор произведений Диккенса.

Стр. 77

<sup>1</sup> *Джиллет Уильям* (1855—1937) — актер и драматург, с успехом выступавший в собственных пьесах, в частности в инсценировках рассказов Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе.

Стр. 86

<sup>1</sup> *Ирвинг Генри* (1838—1905) — английский режиссер и актер, постановщик многих трагедий Шекспира.

Стр. 104

<sup>1</sup> *Гибсон Чарльз* (1867—1944) — американский художник и график; создатель серии литографских открыток с женскими портретами, получившей широкое распространение в начале XX в.

Стр. 110

<sup>1</sup> *Кокни* — так называют в Лондоне жителей бедных пролетарских районов.

Стр. 117

<sup>1</sup> *Джолсон Ол* (псевдоним Джозефа Розенблатта; 1888—1950) — американский эстрадный певец; в 1927 г. снялся в первом звуковом фильме «Певец джаза», после чего стал одним из популярных киноактеров США.

Стр. 122

<sup>1</sup> *Сэнберг Карл* (р. 1878) — прогрессивный американский поэт и писатель.

Стр. 124

<sup>1</sup> *Ник Картер* — герой многочисленных дешевых детективных рассказов и романов различных авторов, действие которых происходило, как правило, в промышленных и шахтерских городах американского Запада.

Стр. 125

<sup>1</sup> *Гриффит Дэвид Уорк* (1875—1948) — крупнейший режиссер американского кино немого периода, постановщик известных фильмов «Рождение нации», («Нетерпимость»), «Сломанные побеги», «Путь на Восток» и многих других; оказал большое влияние на развитие мирового киноискусства.

<sup>2</sup> «*Байограф*» — одна из первых кинофирм США, в которой начинали свою кинематографическую деятельность многие видные режиссеры и актеры американского кино до первой мировой войны.

<sup>3</sup> *Сеннет Мак* (псевдоним Майкла Синнота; 1884—1960) — кинорежиссер и актер, создатель американского комического фильма. За 20 лет работы выпустил несколько сот короткометражных и более десятка полнометражных трюковых эксцентрических комедий. Под его руководством начинали свой путь комедийные актеры и режиссеры Голливуда старшего поколения. Сеннет снимался в многих своих картинах, был партнером Чаплина в фильмах «Мэйбл за рулем», «Роковой молоток», «Реквизитор».

<sup>4</sup> «*Кистоун*» — кинофирма, организованная в 1912 г. и специализировавшаяся на выпуске комедий; владельцами ее были бизнесмены Кессел и Баумен.

Стр. 130

<sup>1</sup> *Ингерсолл Роберт* (1833—1899) — американский писатель и публицист, выступавший с резкой критикой библии и религиозного ханжества; *Эмерсон Ральф Уолдо* (1803—1882) — американский писатель, поэт и философ-идеалист, у которого призыв к самоусовершенствованию сочетался с защитой буржуазного прагматизма; *Шопенгауэр Артур* (1788—1860) — известный немецкий философ-идеалист, отрицавший научное познание и исторический прогресс.

Стр. 131

<sup>1</sup> *Готорн Натаниэль* (1804—1864) — американский писатель-романтик; *Ирвинг Вашингтон* (1783—1859) — американский писатель, один из зачинателей литературы США; *Гэзлит Уильям* — английский публицист и критик начала XIX в., автор монографии о Шекспире.

Стр. 134

<sup>1</sup> *Стерлинг Форд* (псевдоним Джорджа Стича; 1880—1939) — один из популярных комиков немого кино США. Был партнером Чаплина в нескольких его самых ранних фильмах.

Стр. 137

<sup>1</sup> *Норман Мэйбл* (1894—1930) — знаменитая комедийная актриса; начала сниматься еще у Гриффита в фирме «Байограф», затем стала «звездой» «Кистоуна». Была сорежиссером нескольких чаплиновских картин и главной партнершей в фильмах «Необыкновенно затруднительное положение Мэйбл», «Мэйбл за рулем», «Застигнутый в кабаре», «Роковой молоток», «Ее друг бандит», «Деловой день Мэйбл», «Семейная жизнь Мэйбл», «Отпуск», «Невозмутимый джентльмен», «Место его свиданий», «Прерванный роман Тилли», «Состоявшееся знакомство». Карьера Норман закончилась в 1922 г. из-за того, что ее имя было замешано в скандальном деле об убийстве, и женские клубы объявили бойкот всем фильмам с ее участием.

Стр. 137

<sup>1</sup> «*Кистоуновские полицейские*» — гротесковые персонажи ранних комедий Мака Сеннета, непременные участники «погонь», на которых в основном и строился их юмор.

Стр. 138

<sup>1</sup> *Арбакль Роско* (1881—1933) — крупный комедийный киноактер; учитель Бестера Китона и Монти Венкса, партнер Чаплина по фильмам «Джонни в кино», «Танго-путаница», «Его любимое времяпрепровождение», «Нокаут», «Карнавальная маска», «Транжиры». Создал маску комика-толстяка, откуда пошло его прозвище Фатти (то есть толстый, жирный). В 1921 г. актерской карьере Арбакля пришел конец: в его доме была



убита женщина, и, хотя суд оправдал хозяина, все фильмы с участием Арбакля подверглись бойкоту. В дальнейшем стал режиссером, главным образом короткометражных картин, под псевдонимом Джон Гудрич.

Стр. 139

<sup>1</sup> *Лерман Генри* — режиссер самых первых чаплиновских фильмов «Зарабатывая на жизнь», «Детские автогонки в Венеции».

Стр. 152

<sup>1</sup> *Пикфорд Мэри* (псевдоним Глэдис Мэри Смит; р. 1893) — завоевала мировую славу с амплуа «золушки», бедной девочки-подростка, достигающей счастья благодаря скромности, доброте и трудолюбию. С 1933 г. перестала сниматься в кино.

<sup>2</sup> *Суит Блани* и *Купер Мириам* — снимались во многих фильмах Гриффита и других режиссеров в самых различных амплуа.

<sup>3</sup> *Янг Клара Кимбелл* — была «звездой» одной из старейших американских кинофирм «Вайтаграф» и первой женщиной в Голливуде, организовавшей собственную производственную кинокомпанию.

<sup>4</sup> *Сестры Гиш, Дороти* и *Лилиан* — драматические киноактрисы. Особую известность приобрела более талантливая Лилиан (р. 1896), которая исполняла почти все ведущие женские роли в фильмах Гриффита. С 1930 г. и до самого последнего времени снималась у различных режиссеров на второстепенных ролях.

<sup>5</sup> *Инс Томас* (1882—1924) — крупнейший режиссер и один из основателей Голливуда. Ввел практику «железного сценария» и продюсерство: у него одновременно работали 8—12 режиссеров, за собой же он оставлял общее руководство и монтаж фильмов. Наибольшей популярностью пользовались его ковбойские картины (вестерны).

Стр. 153

<sup>1</sup> *Дресслер Мэри* (1869—1934) — комедийная театральная актриса, снявшаяся у Сеннета вместе с Чаплином в фильме «Прерванный роман Тилли». Позднее исполнила несколько ролей в звуковых фильмах, пользовавшихся большим успехом у зрителей.

Стр. 156

<sup>1</sup> *Андерсон Мак* — водевильный актер, пришедший в кино на самой заре его рождения и создавший первые ковбойские фильмы (в них он выступал под именем Бронко Билли). Материальный успех этих фильмов, названия которых говорят сами за себя — «Сердце бандита», «Бандит и ребенок», «Граф и ковбой» и т. д., — позволили ему заняться предпринимательской деятельностью.

Стр. 161

<sup>1</sup> *Тюрпин Вен* (1874—1940) — комедийный актер. Отличительной чертой его киномаски было косоглазие. Участвовал в фильмах Чаплина «Его новая работа», «Ночь напролет», «Чемпион».

<sup>2</sup> *Свенсон Глория* (р. 1899) — известная киноактриса, снимавшаяся больше всего в немой период, в частности у режиссера Сесилия де Милля в ролях «светских» женщин.

Стр. 162

<sup>1</sup> Фирма «Эссеней» входила в число десяти старейших кинокомпаний США (наравне с «Вайтаграфом», «Байографом» и др.), которые в 1908 г. объединились для конкурентной борьбы с «новичками» в трест «Моушн пикчер пейтентс компани» (МППК). Завладев патентами на киноаппаратуру, трест в течение нескольких лет

противостоял натиску кинопроизводственников и кинопрокатчиков, независимых от МППК. Но консерватизм хозяев МППК, рассматривавших кино только как бизнес, боявшихся всяких нововведений и сковывавших творческую инициативу режиссеров и актеров, привел к тому, что из треста ушли все наиболее талантливые мастера. Это облегчило победу «независимых» кинопродюсеров, покинувших вотчину МППК — Нью-Йорк и основавших новый киноцентр — Голливуд. В 20-х годах «независимые» компании в результате острой конкуренции сами встали на путь объединения и трестирования, побеждая более слабых соперников благодаря финансовой поддержке банков и промышленных корпораций, чьи представители часто назначались директорами и инспекторами кинофирм, а также продюсерами.

Стр. 165

<sup>1</sup> *Первиэнс Эдна* (1894—1958) — исполнительница главных женских ролей в короткометражных комедиях Чаплина начиная с 1915 г., а также в фильмах «Малыш», «Пилигрим» и «Парижанка». В 1926 г. потерпела неудачу у режиссера Джозефа фон Штернберга в фильме «Чайка», который не вышел на экран, а после вторичного провала у французского режиссера Анри Диаман-Берже в фильме «Воспитание принца» больше не снималась в кино, оставаясь до самой смерти в штате студии Чаплина.

Стр. 166

<sup>1</sup> *Роч Хэл* — позднее стал кинорежиссером, снял ряд фильмов с участием Гарольда Ллойда.

<sup>2</sup> *Ллойд Гарольд* (р. 1893) — один из самых популярных комиков американского немого кино («Бабушкин внучек», «Наконец в безопасности», «Женоненавистник» и т. д.). Звуковые его фильмы успеха не имели.

Стр. 169

<sup>1</sup> *Де Милль Сесиль* (1881—1959) — кинорежиссер, один из пионеров Голливуда и своего рода его законодатель; всегда разрабатывал самые «модные» сюжеты, которые могли обеспечить кассовый успех: ставил и пышные «боевики» на псевдоисторические и библейские темы, и мелодрамы, сдобренные сексом, и вестерны, и музыкально-цирковые ревью.

Стр. 175

<sup>1</sup> *Беласко Давид* (1853—1931) — крупный американский театральный антрепренер, режиссер и драматург.

Стр. 181

<sup>1</sup> *ИРМ* (Индустриальные рабочие мира) — профсоюзная организация, созданная в 1905 г. и утратившая влияние в рабочем движении в 20-х гг. из-за развития в ней анархических и сектантских тенденций.

Стр. 182

<sup>1</sup> *Валентино Рудольфо* (1895—1926) — танцор и киноактер, один из наиболее популярных «звезд» Голливуда. Стяжал себе шумный успех во всем мире благодаря красивой внешности и модному амплу «любовника романского типа».

<sup>2</sup> *Кемпбелл Эрик* (?—1917) — исполнял роли «злодеев» — антиподов Чаплина — почти во всех его комедиях фирмы «Мючюзл».

<sup>3</sup> *Бергман Генри* (?—1946) — исполнитель многих ролей в короткометражных комедиях Чаплина, снимался также в фильмах «Малыш», «Пилигрим», «Парижанка», «Золотая лихорадка», «Цирк», «Огни большого города», «Новые времена»; был

ассистентом режиссера в фильмах «Огни большого города», «Новые времена» и «Великий диктатор».

<sup>4</sup> *Остин Альберт* (р. 1885) — работал в труппе Фреда Карно, в Голливуде с 1916 г. на амплу характерного комика. В одном из фильмов снялся с Мэри Пикфорд: позднее был режиссером двух фильмов с участием Джекки Кугана. Партнер Чаплина во многих короткометражных комедиях и в фильмах «Малыш», «Огни большого города» (в «Огнях» — одновременно ассистент режиссера).

<sup>5</sup> *Бэкон Ллойд* — снялся в ряде комедий Чаплина периода «Эссеней»; позднее стал кинорежиссером.

<sup>8</sup> *Рэнд Джон* — исполнитель небольших ролей в нескольких короткометражных комедиях Чаплина, а также в «Цирке», «Огнях большого города» и «Новых временах».

<sup>7</sup> *Колеман Фрэнк Джо* — снимался в амплу комика-простака в ряде короткометражных комедий Чаплина.

<sup>8</sup> *Уайт Лео* — партнер Чаплина по многим короткометражным комедиям, был занят также в эпизодической роли в фильме «Великий диктатор».

Стр. 184

<sup>1</sup> «*Фёрст нейшнл*» — одна из первых крупных прокатных и производственных кинокомпаний США; позднее слилась с фирмой «Уорнер бразерс».

Стр. 190

<sup>1</sup> *Фербенкс Дуглас* (1883—1939) — прославленный киноактер, организатор и президент (1927—1939) голливудской Академии киноискусства и наук. Начал сниматься в кино в 1915 г., создал романтизированный образ «стопроцентного» американца. Наибольшим успехом пользовались приключенческие картины Фербенкса, в которых нашли широкое применение его гимнастические способности («Знак Зорро», «Три мушкетера» и др.).

Стр. 195

<sup>1</sup> *Майер Луи* — один из совладельцев крупнейшей кинофирмы «Метро-Голдвин-Майер»; *Братья Уорнер* — владельцы фирмы «Уорнер бразерс».

Стр. 197

<sup>1</sup> *Мейган Томас* — актер театра, затем немого кино, где выступил в амплу добродетельного обывателя, добывающегося богатства. Все его фильмы отличала дешевая мелодраматичность, рассчитанная на мещанские вкусы.

Стр. 199

<sup>1</sup> *Уорд Фанни* — актриса американской и английской музыкальной комедии конца XIX — начала XX в. В Голливуде снималась с 1913 г. до начала 20-х гг.

Стр. 216

<sup>1</sup> *Харт Уильям* (1870—1946) — один из ветеранов американского «типажного кинематографа», создатель образа ковбоя и «благородного бандита» («Харт из Черного лога», «Железнодорожные волки», «Роуден — голубая метка», «Молчаливый человек» и т. д.). Сначала работал у Томаса Инса; в 20-х гг. занялся кинопредпринимательской деятельностью.

Стр. 223

<sup>1</sup> *Голдвин Сэмюэл* — крупный кинопромышленник, один из создателей фирмы «Метро-Голдвин-Майер», позднее вышедший из нее и ставший «независимым» продюсером.

<sup>2</sup> *Декстер Элиот* — киноактер, чаще всего снимавшийся как партнер какой-нибудь «звезды» (Мэри Пикфорд и других).

Стр. 226

<sup>1</sup> *Куган Джекки* (р. 1914) — киноактер. С раннего детства выступал в театре. Широкую известность приобрел после фильма «Малыш». В дальнейшем голливудские режиссеры, как правило, снимали Кугана в той же самой роли, которую отработал с ним Чаплин, — в роли бездомного ребенка, потерянного родителями и в конце концов обретающего счастье. Когда Куган подрос и не мог больше исполнять свою привычную роль, его слава сразу померкла; позже исполнял эпизодические и второстепенные роли.

Стр. 236

<sup>1</sup> *Либкнехт Вильгельм* (1826—1900) — видный деятель немецкого демократического и рабочего движения.

Стр. 241

<sup>1</sup> *Блейк Уильям* (1757—1827) — английский поэт, выступавший в своих стихах в защиту личности, против всяческой тирании.

<sup>2</sup> *Джонсон Сэмюэл* — английский поэт, прозаик, критик и лингвист XVIII в.

Стр. 249

<sup>1</sup> *Мольнар Ференц* (1878—1952) — венгерский романист и драматург, долгое время живший в США; из написанных им комедий особым успехом пользовалась «Мулен Руж».

Стр. 251

<sup>1</sup> *Оливье Лоренс* (р. 1907) — известный английский актер и режиссер театра и кино.

Стр. 253

<sup>1</sup> *Дрю Джон* и *Уорфилд Дэвид* — американские комедийные театральные актеры.

Стр. 257

<sup>1</sup> *Суэйн Мак* — водевильный актер, в кино начал сниматься у Мака Сеннета в амплуа комика-толстяка. Партнер Чаплина по многим его картинам «кистоуновского» периода; участвовал также в фильмах «Праздничный класс», «День получки», «Пилигрим» и «Золотая лихорадка».

Стр. 259

<sup>1</sup> «*Старая якобитская песенка...*» — якобитами называли после английской революции 1688—1689 гг. сторонников свергнутой династии Стюартов.

Стр. 266

<sup>1</sup> *Гаррик Дэвид* — знаменитый английский актер-трагик и режиссер (XVIII в.)

<sup>2</sup> Здесь Чаплин называет имена представителей английской родовитой аристократии, крупного промышленного капитала, а также некоторых деятелей культуры.

Стр. 269

<sup>1</sup> *Уэст Ребекка* — американский критик.

Стр. 272

<sup>1</sup> *Карпантье Жорж и Демпси Джек* — боксеры.

Стр. 273

<sup>1</sup> *Негри Пола* (настоящее имя Аполлония Шалупез, р. 1897) — актриса немецкого и американского кино немого периода, выступавшая в амплуа «роковой женщины».

Стр. 275

<sup>1</sup> *Копо Жак* (1879—1949) — французский театральный актер и режиссер.

Стр. 278

<sup>1</sup> *Китс Джон* — английский поэт-романтик начала XIX в.

Стр. 283

<sup>1</sup> *Кроккер Гарри* — ассистент Чаплина по фильмам «Цирк» и «Огни большого города», где, кроме того, снялся во второстепенных ролях.

Стр. 286

<sup>1</sup> *Маколей Томас* — английский историк, публицист и политический деятель середины XIX в.

Стр. 291

<sup>1</sup> *Шейк Джозеф* — крупный голливудский продюсер.

<sup>2</sup> *Толмедж Норма* — киноактриса, пользовавшаяся недолгим, но шумным успехом у американских зрителей.

Стр. 295

<sup>1</sup> *Менжу Адольф* (р. 1890) — киноактер, долго работавший статистом, пока не снялся в «Парижанке» Чаплина. После этого чаще всего играл фатоватого героя салонно-адальтерных комедий и мелодрам.

<sup>2</sup> *Любич Эрнст* (1892—1947) — актер и режиссер немецкого кино; с 1922 г. работал режиссером в Голливуде, где прославился постановками салонных комедий и мелодрам.

Стр. 302

<sup>1</sup> *Стайн Гертруда* (1874—1946) — американская писательница и критик.

Стр. 312

<sup>1</sup> «*Чиппендейл*» — стиль мебели, получивший свое название в честь английского мастера XVIII в. Томаса Чиппендейла.

Стр. 325

<sup>1</sup> *Монтегю Айвор* (р. 1898) — прогрессивный английский публицист и критик, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

<sup>2</sup> *Десять дней, которые потрясли мир* — американское прокатное название фильма С. Эйзенштейна «Октябрь».

Стр. 322

<sup>1</sup> *Мурнау Фридрих* (псевдоним Ф.-В. Плюмпе; 1889—1931) — немецкий кинорежиссер; в Голливуде работал с 1927 г.

Стр. 325

<sup>1</sup> *Берлин Ирвинг* (псевдоним Израиля Белайна) — популярный американский композитор-песенник.

Стр. 329

<sup>1</sup> *Шевалье Морис* (р. 1889) — французский эстрадный певец и киноактер; снимался также в Голливуде.

Стр. 331

<sup>1</sup> «...у мадам Тюссо» — музей восковых фигур в Лондоне, носящий имя его создательницы-француженки.

Стр. 332

<sup>1</sup> *Кейнс Джон Мейнард* — английский экономист, оказавший влияние на разработку экономической политики Франклина Рузвельта.

Стр. 380

<sup>1</sup> *Колесница Джаггернаута* — один из атрибутов религиозной церемонии поклонения индусскому богу Вишну.

Стр. 381

<sup>1</sup> *Годдар Полеетт* (настоящее имя Паулина Леви; р. 1911) — киноактриса; снималась в фильмах Чаплина «Новые времена» и «Великий диктатор». После этого неоднократно играла в коммерческих картинах различных режиссеров, не создав значительных образов.

Стр. 387

<sup>1</sup> *Кокто Жан* (1889—1963) — французский поэт, прозаик, драматург, критик и кинорежиссер.

Стр. 394

<sup>1</sup> *Корда Александр* (1893—1956) — английский кинорежиссер и продюсер, ставивший в основном псевдоисторические фильмы, в которых играли многие талантливые актеры (Вивьен Ли, Лоренс Оливье, Чарльз Лоутон и другие).

Стр. 413

<sup>1</sup> *Уорнер Джек* — один из совладельцев фирмы «Уорнер бразерс».

<sup>2</sup> *Уэллес Орсон* (р. 1915) — американский кинорежиссер и актер, прославившийся постановкой фильма «Гражданин Кейн» (1941) — о крупном газетном магнате, многие черты которого напоминали Уильяма Херста.

Стр. 421

<sup>1</sup> «*Большое жюри*» — совет присяжных, решающий вопрос о подсудности того или иного дела.

Стр. 432

<sup>1</sup> «*Une maison Coppet*» — замок Коппе в Швейцарии, близ Женевы; принадлежал известной писательнице XIX в. мадам де Сталь. Литературный салон мадам де Сталь оказал сильное влияние на развитие романтизма во Франции

Стр. 433

<sup>1</sup> «*Моушн пикчер ассошиейшн оф Америка*» (МПАА), или Американская киноассоциация, — картельная организация, объединяющая крупные кинокомпании США. Была создана в 1922 г. под названием Ассоциация кинопродюсеров и

кинопрокатчиков Америки, переименована в 1946 г. В нее не вошли некоторые «независимые» продюсеры (в том числе Чаплин), над которыми она могла все же осуществлять косвенный контроль благодаря монополизированной системе проката. Первоначальной целью МПАА было проведение самоцензуры в кино (помимо официальной цензуры, существующей в ряде штатов, и цензуры религиозных организаций типа католического Легиона благопристойности, осуществляемой по соглашению с МПАА). Но вскоре поле деятельности МПАА значительно расширилось и она стала орудием борьбы крупных фирм против конкуренции «независимых» продюсеров, центром координации политики кинопредпринимателей в вопросах труда и борьбы против забастовочного движения. Она же занимается (при поддержке правительства) проблемами расширения внешних кинорынков, контролирует кинорекламу и т. д.

Стр. 442

<sup>1</sup> *Кодекс производства* — свод правил, выработанный в начале 30-х гг. хозяевами Голливуда формально для «укрепления моральных стандартов», на деле же прежде всего для приглушения критики отрицательных явлений американской действительности.

Стр. 453

<sup>1</sup> *Блум Клер* — английская актриса, участвовавшая в фильме Чаплина «Огни рампы», впоследствии удачно сыграла несколько ролей в исторических драмах: «Ричард III» (реж. Лоренс Оливье), «Александр Великий» (реж. Роберт Россен) и других фильмах.

<sup>2</sup> *Лорентс Артур* — американский драматург; особую известность принесла ему позднее пьеса «Вестсайдская история».

<sup>3</sup> *Хьюстон Джон* (р. 1906) — крупный современный американский кинорежиссер («Сокровища Сьерра-Мадре», «Асфальтовые джунгли», «Моби Дик» и др.).

Стр. 454

<sup>1</sup> *Фербенкс Дуглас-младший* (р. 1909) — сначала голливудский киноактер, позднее телевизионный продюсер в Англии.

<sup>2</sup> *Хичкок Альфред* (р. 1889) — английский кинорежиссер, с 1939 г. работает в Голливуде; постановщик многих психологических детективов и «фильмов ужасов».

Стр. 468

<sup>1</sup> *Фейдо Жорж* (1862—1921) — французский драматург, автор ряда комедий, отличающихся острым юмором.

<sup>2</sup> *Мюссе Альфред* (1810—1875) — французский поэт, романист и драматург романтической школы.

Стр. 469

<sup>1</sup> *Чаттертон Томас* — английский поэт XVIII в.

А. Кукаркин